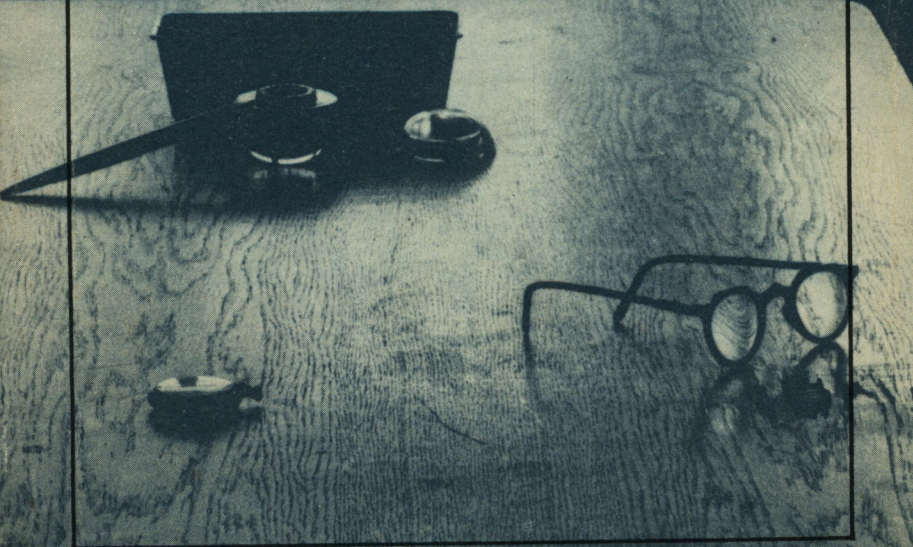


Переписка
Бориса
Пастернака





ПЕРЕПИСКА БОРИСА ПАСТЕРНАКА



Москва
«Художественная
литература»
1990

ББК 84Р7
П27

Вступительная статья
Л. Я. ГИНЗБУРГ

Составление,
подготовка текстов и комментарии
Е. В. ПАСТЕРНАК и Е. Б. ПАСТЕРНАКА

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

На обложке воспроизведена фотография
кабинета Б. Пастернака в Переделкине
работы И. ПАЛЬМИНА

На обороте обложки—фотопортрет 1936 г.
работы Л. ГОРНУНГА

П 4702010201-392 без объявл.
028(01)-90

ISBN 5-280-01597-0

© Состав. Комментарии.
Оформление. Издательство
«Художественная литература», 1990 г.

ПИСЬМА БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Как одно из средств человеческого общения письма имеют разное назначение. Они несут всевозможную информацию, они содержат размышления, наблюдения или выражают эмоции. Они удовлетворяют настоятельную потребность человека в самоотчете, в том, чтобы осознавать и фиксировать протекание своей жизни. Те же функции выполняют письма писателей или тех, кто осуществлял свой литературный дар именно в эпистолярной форме (пример — знаменитые письма госпожи де Севинье). Письма писателя не всегда литература. Но и в этом случае часто есть связь между ними и его писательскими задачами.

Существовали исторические периоды, когда в общей связи фактов культуры письма приобретали специфическую значимость. Обычно это периоды особенно острого самоосознания и самоопределения личности. В русской культуре такова переписка в духе сентиментализма конца XVIII — начала XIX века. Ей на смену приходит жанр *дружеского письма* арзамасского (Вяземский, Александр Тургенев), а потом и пушкинского круга. Русский романтизм 1830-х годов — это, например, переписка с невестой молодого Герцена, которую сам автор определял как двухголосую *поэму*. В 1840-х годах напряженная проблематика личности порождает жанр *философско-исповедального письма*, процветавший в кружке Станкевича — Белинского. Для второй половины XIX века письмо как жанр, как литературный факт гораздо менее характерно. В этом качестве его возрождают индивидуалистические искания символистов. Тому свидетельство — письма Блока к невесте, его переписка с Андреем Белым.

К какому же эпистолярному типу относятся письма Пастернака? На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Охват этих писем широк. Они и литературный факт, и бытовая и автобиографическая информация. В них размышления о творчестве и автохарактеристики, разговор об отношениях с жестокой действительностью и признания в любви — пестрое содержание, отливавшееся в разные формы.

Формы менялись в зависимости от разных причин.

Прежде всего от хронологии. Здесь со временем тот же уход от сложного и изысканного, те же поиски простоты, которые так характерны для поэтического опыта Пастернака. В какой-то мере эти поиски внушены были Пастернаку непомерным давлением времени. Но он осмысляет его требования философски, осваивает их писательски¹. Тот же процесс упрощения и в письмах. Что особенно очевидно на материале многолетней переписки с О. М. Фрейденберг.

Тематические и стилистические изменения в письмах Пастернака соотнесены также с его адресатами. По подборке, включенной в настоящий сборник, можно проследить, как в общении с разными корреспондентами складываются разные эпистолярные сюжеты и стили.

Так, из писем к Горькому явственно вырисовывается единый сюжет: обращение недостойного ученика к Учителю жизни. «У меня, разумеется, есть свои непоколебимые представления о Вашей силе, охвате и историческом значении, о глубине и почти что вездесущности Вашей души» (7 января 1928). Для Пастернака Горький — великий писатель и великий революционер. Он называет Горького *персонификацией* революции. «...Естественная читательская благодарность тонет у меня в более широкой признательности Вам как единственному, по исключительности, историческому олицетворению. Я не знаю, что бы для меня осталось от революции и где была бы ее *правда*, если бы в русской истории не было Вас» (10 октября 1927).

Превознесению адресата противостоит отрицательная оценка самого себя, от письма к письму настойчиво повторяющаяся. Особенно отчетливо эта самооценка сформулирована в письме от 4 марта 1933 года: «Мне не на что жаловаться, Алексей Максимович,— в никчемности и несостоятельности всего мною сделанного я убежден горячее и глубже, чем это звучит в холодных и довольно еще снисходительных намеках критики или предполагается в сферах, куда мне нет доступа отчасти и потому, что меня туда не тянет».

Самоотрицание по отношению к Горькому принимает устойчивую форму чувства вины. Нашелся и конкретный повод. В 1915 году Горький в отредактированном виде напечатал (журнал «Современник») пастернаковский перевод пьесы Клейста «Разбитый кувшин». Не зная, что правка принадлежит самому Горькому, Пастернак направил ему письмо с резким протестом против бесцеремонного обращения с его авторским текстом. Недоразумение выяснилось. Эпизод этот — к нему Пастернак возвращается годы спустя —

¹ Пастернак даже утверждал, что стремился к простоте изначально, понимая под простотой присущую его раннему творчеству спонтанность, первозданность восприятия мира.

становится неиссякаемым источником чувства вины, образует в его письмах к Горькому устойчивую сюжетную линию.

Признание собственной неполноценности, «несостоятельности» в письмах к Горькому достигает своего апогея. Но тот же мотив настойчиво проходит и через письма к другим адресатам (в том числе к Фрейденберг). В письме к Тихонову (21 апреля 1924) Пастернак говорит о «скуке и тупоумии» поэмы «Высокая болезнь» — одного из величайших своих творений. В письме к Шаламову называет книгу «Темы и вариации» — «отходами от «Сестры моей жизни», «отброшенным браком». Все это сопровождается самыми высокими оценками творчества своих адресатов.

В «Охранной грамоте» Пастернак утверждал, что «смотрел на свои стихотворные опыты как на несчастную слабость».

Если суммировать самооценки Пастернака, то получается: отрицание своих ранних стихов, с оговорками признание поздних, и — признание подлинным делом своей жизни романа «Доктор Живаго», — о нем много говорится в письмах к Шаламову, к Фрейденберг. В связи с работой над романом Пастернак 20 марта 1954 года пишет Фрейденберг: «...Писать их (стихи. — Л. Г.) гораздо легче, чем прозу, а только проза приближает меня к той идее безусловного, которая поддерживает меня и включает в себя и мою жизнь, и нормы поведения и прочее и прочее, и создает то внутреннее, душевное построение, в одном из ярусов которого может поместиться бессмысленное и постыдное без этого стихописание».

Творческое самоотрицание имеет в русском культурном сознании большую традицию, традицию Гоголя, Толстого. Но они отрицали свое творчество позже, на другой ступени своего развития. Одновременное, в разгаре творческих усилий, самоотрицание большого поэта, вероятно, беспрецедентно. Мы встречаем его разве что у Тютчева. Но Тютчев был великим поэтом, не будучи профессиональным писателем. С позиции дилетанта он мог себе это позволить. А Пастернак? Не было ли его самоотрицание своего рода ролью, маской, уже сросшейся с личностью?

Во всяком случае, настойчивое самоотрицание Пастернака уходит в какие-то глубинные свойства его психики. Наряду с творческим самоосуждением — соответствующие психологические автохарактеристики, признание своей человеческой «неполноценности». «Боже, до чего я люблю все, чем не был и не буду, и как мне грустно, что я это я» (письмо к Цветаевой от 1 июля 1926). И Фрейденберг, и Цветаевой Пастернак пишет об угнетающих его комплексах, о своей «страдательной» жизненной позиции.

А за маской — могучий творческий напор, смывающий всяческую «неполноценность», неукротимая любовь к претво-

ряемой в стихи жизни, которую он назвал Сестрой. Это в молодые годы, а в 1953 году (20 января) он пишет Фрейденберг, вспоминая перенесенный инфаркт: «В первые минуты опасности в больнице я готов был к мысли о смерти со спокойствием или почти с чувством блаженства... Я радовался, что при помещении в больницу попал в общую смертную кашу переполненного тяжелыми больными больничного коридора, ночью, и благодарил бога за то, что у него так подобрано соседство города за окном и света, и тени, и жизни, и смерти, и за то, что он сделал меня художником, чтобы любить все его формы и плакать над ними от торжества и ликования»¹. В экстремальном положении упала маска «несостоятельности».

Письма Пастернака к Горькому — письма к учителю, к старшему. К Николаю Тихонову он относится как равный. Возникает другой тип письма — письмо как средство профессионального, дружеского общения. Это переписка поэтов, с разговором о литературе, о творчестве своем и творчестве адресата.

Отчасти к тому же типу принадлежит и переписка с Варламом Шаламовым. Но в этом случае Шаламов является младшим, и он обращается к Пастернаку как к учителю. В то же время в этой переписке разговор о литературе поднят на высоту рассмотрения самых больших жизненных вопросов и решения насущнейших творческих задач.

Переписка Пастернака с Шаламовым началась в 1952 году, когда Шаламов находился еще в ссылке на Колыме (из лагеря он освободился в 1951 году). Тем самым в эту переписку вторгается еще одна тема — тема трагической судьбы Шаламова. Вот почему особую значимость в письмах к Шаламову приобретают оценки социальной действительности.

«Ужасна эта торжествующая, самоудовлетворенная, величающаяся своей бездарностью обстановка, бессобытийная, доисторическая, ханжески-застойная» (27 октября 1954). Но отношение Пастернака к социуму никогда не было одномерным; оно отливалось в двойственную форму отталкивания-притяжения. Характерны в этом плане строки из письма к Шаламову от 9 июля 1952 года: «Не думайте, что я сужу и осуждаю себя и вас и столь многих в этом роде с официальных нынешних позиций. Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота не делает еще Вас правым, его бесчеловечности недостаточно, чтобы, не соглашаясь с ним,

¹ О том же душевном опыте и почти теми же словами Пастернак писал Н. А. Табидзе 17 января 1953 года (см.: Пастернак Б. Избранное. В 2-х томах, т. 2. М., Художественная литература, 1985, с. 472). То же переживание отразилось в стихотворении 1956 г. «В больнице».

тем уже и быть человеком. Но его расправа с эстетическими прихотями распущенного поколения благодетельна, даже если она случайна и является следствием нескольких, в отдельности ложно направленных толчков...» Отрицание «эстетических прихотей» модернизма переходит здесь в самоотрицание социальное. Это все то же традиционное для русской интеллигенции пастернаковское понимание коллизии интеллигенции и революции, понимание, породившее строки «Высокой болезни» об интеллигенте, который

Печатал и писал плакаты
Про радость своего заката.

Чересполосицей в оценке социума отмечены и письма Пастернака к Фрейденберг. В поздних письмах он говорит о «страшных годах», удивляется тому, что «уцелел... за те страшные годы. Уму непостижимо, что я себе позволял!!» (7 января 1954). Но именно в 30-х годах Пастернак пробовал найти оправдание действительности, оправдание, которому сопротивлялась его человечность—и потому пронизанное двоящимися оценками. Он пишет Фрейденберг 18 октября 1933 года: «Страшно рад нашему единодушью, сложившемуся в разных городах, без уговора, по взаимно неизвестным причинам и в несходных положениях... На партийных ли чистках, в качестве ли мерила художественных и житейских оценок, в сознании ли и языке детей, но уже складывается какая-то еще не названная истина, составляющая правоту строя и временную непосильность его неуловимой новизны». Те же настроения в письме к Фрейденберг от 3 апреля 1935 года. Но уже в 1936 году (1 октября) Пастернак с отвращением пишет ей о развернувшейся тогда травле интеллигенции (дискуссии о формализме в искусстве).

В противоречивой, в мучительной форме осуществлялось неизбывное пастернаковское стремление найти свое место в новом обществе.

Об этом стремлении Пастернак писал—вспоминая пушкинские «Стансы»—в программном стихотворении 1931 года:

Столетье с лишним—не вчера,
А сила прежняя в соблазне
В надежде славы и добра
Глядеть на вещи без боязни.

Хотеть, в отличие от хлыща
В его существовании кратком,
Труда со всеми сообща
И заодно с правопорядком.

Тягу Пастернака к труду «со всеми сообща» сталинская пора подвергла жесточайшим испытаниям. Это отражено в его письмах.

Среди эпистолярного наследия Пастернака две самых монументальных переписки—это переписка с Мариной Цветаевой и с его двоюродной сестрой Ольгой Михайловной Фрейденберг. Письма к Цветаевой и отчасти к Фрейденберг—это любовные письма, но в совсем особом, уникальном роде. В одном случае объектом любовных признаний является большой поэт (по своему обыкновению Пастернак ставит ее выше себя), в другом случае—будущий большой ученый, с самого начала выдающийся интеллектуальный партнер.

Переписка с Цветаевой, особенно переписка 1926 года, воспринимается сейчас как литература, как своего рода трехсторонний (третий участник—Рильке) роман в письмах. Роман, организованный проходящим мотивом встречи-невстречи. Присутствие Рильке образует своеобразный сюжетный треугольник, замечательный тем, что участники его никогда не видели друг друга.

Для Цветаевой такое соотношение было не случайностью, а эмоциональной нормой. 9 мая 1926 года она пишет Рильке о Пастернаке: «...Люблю его, как любят лишь никогда не виденных (давно ушедших или тех, кто еще впереди: идущих за нами), никогда не виденных или никогда не бывших».

Трехсторонний роман в письмах—это инициатива Цветаевой, и весь он окрашен ее страстной, захлебывающейся тональностью. Стилистика Цветаевой—суммарный романтизм, переработанный опытом литературы XX века с ее языком, раскрепощенным от всяческих норм.

Письма Пастернака к Цветаевой—это письма к поэту, и в них много говорится о творчестве, ее и своем. Пастернак восторженно отзывается о «Поэме Горы» и «Поэме Конца», дает обширный, чрезвычайно подробный разбор поэмы Цветаевой «Крысолов», содержащий положения, важные для понимания эстетики Пастернака.

Но эта переписка поэтов в то же время переписка влюбленных, хотя и странных влюбленных, «никогда не виденных» друг другом. У Пастернака отношение к любимому поэту и к любимой женщине двоятся и скрещивается. «Про страшный твой дар не могу думать... Открытый... и ясный твой дар захватывает тем, что, становясь *долгом*, возвышает человека. Он навязывает *свободу*, как призванье, как край, где тебя можно встретить».

Обширное письмо от 2 июля 1926 года посвящено Цветаевскому «Крысолову». Но тщательнейший анализ поэмы прерывает вдруг вторгшаяся любовная тема: «И опять—живопись, живопись. Живопись и музыка. Как я люблю тебя! Как сильно и давно! Как именно эта волна, именно это люблю, к тебе ходившее когда-то без имени, было тем, что проело изнутри мою судьбу... Как именно *потому*, по роду *этой* страсти, я медлителен и неудачлив, и таков как есть...

Все это в духе этого чувства. Всего этого не изменить. Это я собственно про «Детский Рай» (возвращение к «Крысолову». — Л. Г.). Жестокая и страшная глава, вся вылившаяся из сердца, вся в улыбке, и — жестокая, и страшная». Скрестись любовь и творчество.

Трехголосый роман в письмах организует и вдохновляет Цветаева. И она заражает двух других корреспондентов своей стилистикой. В этой переписке Пастернак тоже идет путем романтической приподнятости, безудержного метафоризма. И все же принцип словоупотребления у него другой, пастернаковский. Цветаева это чувствовала. «У нас разный словарь», — говорит она в письме от 1 июля 1926 года, где жалуется на то, что долго не могла понять рассуждения Пастернака о «Крысолове».

Стилистика писем Пастернака к Цветаевой порой напоминает язык его стихов. Прежде всего это употребление в одном контексте и на равных правах слов изысканных, поэтически приподнятых и самых обыденных, носителей всего того, что Пастернак в письме к Цветаевой называет *житейщиной*.

А вперемежку с «житейщиной» стихоподобное одушевление вещей: «Но такая буря ежедневных примет! Все торжествует, забегает вперед, одаряет, присягает» (5 мая 1926). Или непредсказуемые скрещения значений, пастернаковские познавательные синтезы: «Вот он твой ответ. Странно, что он не фосфоресцирует ночью» (8 мая 1926). Перекликается со стихами описание городского лета в письме от 1 июля 1926: «Я боюсь лета в *городе*, потому что это чистая сводка наисущественнейших существенностей живого, бытийствующего человека, причем каждая из существенностей этих дана наизнанку и *изверщена*, начиная от солнца и кончая чем тебе заблагорассудится. Одиночество дано в таком виде, в каком одиноко сумасшествие или одиноки муки ада. Тема жизни или одна из ее тем подчеркнута зверски и фанатически, с продырявлением нервной системы. Пыль, песок, духота, африканская жара». Здесь на равных правах и философская речь, и повседневная, и поэтические образы, и такие излюбленные Пастернаком *неподходящие* для стихов слова, как *заблагорассудится*. Увлекаемый потоком цветаевской патетики, Пастернак в то же время сохраняет особенности мышления, лежащего в истоках его стихового мира.

Подобное вторжение специфически пастернаковского поэтического мышления наблюдается и в письмах к Фрейденберг. К 1910 году относится стихотворение Пастернака о московских заставах. В том же году (23 июля) он пишет Фрейденберг: «...Я хотел рассказать тебе сказку о заставах, о той самой заставе, где я находился в тот миг, где улица, такая простая, привыкшая к себе, прямо погребенная под

какой-то мощной привычкой тротуаров, такая простая и привычная в центре,— переживает на проходах больших дорог, где кончается город, глубокое потрясение, где она взволнованная машет клубами пыли горизонту на зеленой привязи, где она изменяет себе и, оставаясь теми же раскатами города, начинает сентиментальничать одноэтажным и деревянным, как элементами высшей нежности... О заставе духа, о заставе, где сходятся улицы, где они своим свиданьем обязаны границе, начинающей не вымощенные словами духовные «пространства», и где эти улицы становятся крайностью, вывесками, вперившимися в лужайки с жестянками от консервов, вывесками, спускающимися с окраины в огородную природу навстречу небу, как Иоанну Крестителю...»

Эти строки, предвосхищающие семантику сборников «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации», написаны в пору самых ранних поэтических опытов Пастернака.

Но вот письмо к Фрейденберг гораздо более позднее, 1926 года (21 октября). В нем Пастернак подробно рассказывает о том, что собирается ставить в своей комнате перегородку, о цене этой перегородки и связанных с нею хлопотах. И вдруг происходит переключение. На повседневную речь о топке печей и высыхании штукатурки проецируется поэтическое мышление Пастернака. «...Стояли сквозняки, шел мокрый снег, и его заносило в комнату, и по обе стороны темно-серого текучего известкового компресса клубился горячий, сдобренный раскаленным железом угар. Ты это себе представляешь, и жизнь неизвестно где, пока капризничает сырая каменная каша, заваренная впрок, к новоселью, на насморках, ревматизмах и прочих прелестях».

Переписка Пастернака с О. М. Фрейденберг имеет особое значение. Фрейденберг принадлежат замечательные письма — замечательные силой ума, таланта, остроумия, блестящей выразительностью своеобразного слога.

Отмечу заодно высокий эпистолярный уровень писем дочери Цветаевой Ариадны Эфрон, которую в тяжелейших условиях ссылки Пастернак поддерживал короткими письмами и денежными переводами.

Тональность писем Пастернака к Фрейденберг иная, чем его писем к Цветаевой; она соответствует эпистолярной тональности адресата. Если в письмах к Цветаевой единство интонации, то в письмах к Фрейденберг — пестрые языковые пласты: шутка, неологизм, язык обыденный, язык интеллигентского общения и язык философской, вообще теоретической мысли, поставленный на службу пастернаковской образности. Эта стилистика заставляет вспомнить высокую «болтовню» дружеской переписки пушкинской поры. В этом именно смысле о болтовне «веселой или грустной» говорит и сам Пастернак (21 октября 1926).

Особое значение переписке с Фрейденберг придает и ее временная протяженность — от 1910-го года до 1950-х годов.

Самые ранние письма — любовные. Со всем своеобразием любовных писем, обращенных к высокоинтеллектуальному адресату. «...Я влюблен в Меррекюль, нашу поездку, первый вечер... Стрелку, Петербург, тебя во всем этом, в вокзал, во все, что непрестанно задавалось *мне и тебе вдвоем* — и вот только в конце вся тяжесть признания, все признание» (23 июля 1910). Признание возникает из многих философских и психологических размышлений. И потому Пастернак заканчивает любовное письмо словами: «...прошу тебя простить мне этот теоретический просеминарий».

Любовная тема скоро уходит, на десятилетия остается дружеская переписка огромного биографического охвата. Это разговор с Фрейденберг обо всем — о жизни и смерти, о своем творчестве и ее научных работах, о трудном быте и семейных неурядицах, о семейном счастье со второй женой.

В переписке переплетаются две драматических судьбы — поэта и ученого. Над идеями Фрейденберг издеваются невежды, ее пытаются отлучить от науки. Удел Пастернака сначала постоянная нужда, мешающая работать неустроенность. Потом начинаются преследования. Тупая брань критиков. Пастернака перестают печатать. В зрелые годы — материальное благополучие, но ценой лихорадочной работы над переводами. Переводы Пастернака (Шекспир, «Фауст» Гете, грузинские поэты, многое другое) — драгоценное наследие. Но сквозь этот монументальный труд он только урывками пробивается к собственному творчеству. Он постоянно пишет о том, сколько ему нужно заработать для большой семьи, чтобы иметь возможность некоторое время писать *свое*. А *свое* остается в письменном столе. И в письме 1954 года (12 ноября) он говорит о своей «простой, безымянной, никому не ведомой трудовой жизни». Так в письмах к Фрейденберг развертывается историческая трагедия Пастернака.

В своей совокупности эпистолярное наследие Пастернака являет разные типы письма, стилистику, меняющуюся в зависимости от периодов развития Пастернака и от его разных адресатов. Но у писем этих есть проходящие, сквозные мотивы и темы. Психологическое самоопределение, любовь и семья, мучительные и исполненные пафоса отношения с социумом. И важнейшая тема — творчество.

Сквозь письма проходит стремление подчинить поэзию прозе, отрицание своих стихов. Но подспудно это самоотрицание преодолевается неотменяемой влюбленностью художника в жизнь, во все ее «формы», над которыми он плачет «от торжества и ликования».

Из поздних писем Пастернака вырисовывается его отношение к роману «Доктор Живаго» как главному своему делу и

единственному бесспорному достижению. Вырисовывается то высокое нравственное значение, какое имела для него работа над романом.

13 октября 1946 года Пастернак писал Ольге Фрейденберг: «Собственно это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного, как, в идеале, у Диккенса или Достоевского,—эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое».

Лидия Гинзбург

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Письма Пастернака представляют собой литературное воплощение его жизни и времени, не менее важное, чем его стихи и проза. Но подчас они более откровенны, поскольку его писательская профессиональная деятельность пришлась на эпоху, когда запрет на свободное выражение был частью повседневного обихода. Таким образом, письма Пастернака оказываются основным материалом для его биографии и в более широком плане, чем традиционно понимаемая переписка писателя, представляют собой реальную жизнь эпохи. Этим объясняется возможность публикации писем не как академического собрания, а как литературного целого, обращенного к широкому читателю.

Переписка Пастернака охватывает период в полвека и может составить несколько томов. Первые ее публикации привлекли большой интерес, они кардинальным образом изменили распространенный миф о Пастернаке как человеке отрешенном, далеком от бурь действительной жизни, замкнувшемся в узком кругу своего творчества.

В настоящее издание вошли несколько значительных линий переписки Пастернака, опубликованных за последние годы в различных сборниках и журналах. Его корреспонденты — известные люди, талантливые писатели, поэты и ученые — ведут в письмах к Пастернаку разговор о самом важном, о времени и роли искусства в современном обществе, о путях русской литературы.

Насколько возможно полно в этом разговоре мы старались дать оба голоса, с разных точек зрения освещающих события прошедшего пятидесятилетия. Это позволяло в то же время свести до минимума комментариев и услышать разговор со стороны, увидеть происходившее как бы заочно.

Собрание ни в коей мере, однако, не претендует на полноту: вследствие утерь в одном случае и закрытых фондов архивов — в другом. Кроме того, не располагая оригиналами, мы подключали иногда отрывки или не уточненные из-за недоступности подлинников копии, чтобы наметить хотя бы пунктиром направление разговора, доподлинно сейчас недо-

ступного,—в надежде на будущие документированные дополнения.

Основное содержание книги составляет переписка Пастернака с его двоюродной сестрой Ольгой Фрейденберг, жившей в Петербурге и знаменитой своими работами по классической литературе. Впоследствии она стала заведующей кафедрой античных языков Ленинградского университета. Недостаточная комплектность писем Фрейденберг к Пастернаку пополнена выдержками из ее дневников¹, относящимися к содержанию переписки. Впервые полностью книга переписки двоюродных брата и сестры была издана профессором Пенсильванского университета Эл. Моссманом в Нью-Йорке (Harcourt Brace Jovanovich, 1981) на русском и английском языках. Выборочно она опубликована в журнале «Дружба народов», 1988, № 7—10. В настоящем издании эта переписка значительно расширена по сравнению с журнальным вариантом, частично использованы комментарии, сделанные Н. В. Брагинской.

Переписка Пастернака с Мариной Цветаевой в настоящее время не может быть издана сколько-нибудь полно. Основное количество писем Пастернака (около 100) закрыто для публикации до будущего века. Только письма 1926 года Цветаева выделила из всего собрания, передав в начале войны перед отъездом из Москвы на хранение А. П. Рябининой в сейф Гослитиздата. Рябнина отдала их нам перед смертью с просьбой издать их, не дожидаясь общего собрания переписки.

Пастернак тоже перед отъездом в эвакуацию отдал письма Цветаевой на хранение в Скрябинский музей, где был сейф. Они были спасены от разгрома, которому подверглись его собственная квартира и архив во время отсутствия, но были потеряны в ноябре 1945 года в процессе копирования их А. Е. Крученых. Часть известна в копиях, кое-что сохранилось в оригиналах у коллекционеров. Для подготовки книги в 1976 году нам помогли в ЦГАЛИ выверить некоторые копии по текстам в черновых тетрадях Цветаевой и уточнить даты. В «Вопросах литературы» (1978, № 4) были опубликованы некоторые фрагменты книги, подготовленной при участии К. М. Азадовского для издательства Insel Verlag, где «Переписка 1926 года. Рильке, Цветаева, Пастернак» вышла на немецком языке полностью. С некоторыми сокращениями она была издана в журнале «Дружба народов», 1987, № 6—10. (Перевод с немецкого писем Пастернака к Рильке и Рильке к Пастернаку сделан Е. Б. Пастернаком, переписки Цветаевой с Рильке — К. М. Азадовским.)

¹ Дневники хранятся в семейном собрании Пастернаков в Оксфорде.

Чтобы кратко наметить значение центрального эпизода 1926 года в общей истории отношений и переписки Пастернака и Цветаевой, окруженной легендами нашего мифотворческого времени, мы дополнили известную часть несколькими письмами более раннего и более позднего времени, доступными по другим источникам. В первую очередь, это письма, частично цитированные дочерью Цветаевой, Ариадной Эфрон, в ее воспоминаниях о матери «Страницы былого» («Звезда», 1975, № 6), и письма, опубликованные ею по черновым тетрадям Цветаевой («Новый мир», 1969, № 4). Пополненные сохранившимися в копиях, они дают понятие о начале и конце переписки Пастернака и Цветаевой, во всей сложности их взаимного тяготения и неожиданных «разминовений».

Таким «разминовением» или «невстречей», по определению Цветаевой, было их свидание летом 1935 года в Париже, звучащее трагическим диссонансом в их последних письмах.

Особой главой в биографии Пастернака была его переписка с А. М. Горьким. Она частично опубликована в томе 70 «Литературного наследства» «Горький и советские писатели», 1963. Не вошедшие в том письма, а также краткий очерк истории их знакомства приведены в «Известиях Академии Наук СССР» (Серия литературы и языка), т. LXIV, № 3, 1986. При полной благожелательности отношений Пастернака и Горького, их несомненном интересе друг к другу, переписка со всей отчетливостью говорит о границах их взаимопонимания. Обнаженная искренность исповедей Пастернака натывается на загадочную прямолинейность горьковских вердиктов. Особую ноту в этих письмах составляет несогласие в оценке Цветаевой.

Веселой молодой дружбой веет от переписки Пастернака с Тихоновым, впервые публиковавшейся в томе 93 «Литературного наследства» «Из истории советской литературы 1920—30 гг.», 1983. Но по сравнению с первоначальной публикацией, мы дополнили переписку тремя письмами 1929—1945 годов, одно из которых было утеряно Тихоновым, но у Д. Н. Хренкова сохранилась копия его первой страницы и была любезно предоставлена в наше распоряжение. К сожалению, в архиве Пастернака не сохранились письма Тихонова после 1926 года, которые могли бы приоткрыть нам причину расхождения старых друзей во второй половине 30-х годов. Разница их отношения к жизни обсуждалась еще в письме Пастернака к Цветаевой 11 июля 1926 года. Тогда же он писал жене, как далеко ему тихоновское «субъективное восприятие мира», которое со «здоровой простотой (как у гимназиста)» переводит страшные и грязные стороны действительности в романтику для «детей среднего возраста».

Так же, как письма Пастернака к Цветаевой, письма к ее

дочери Ариадне Эфрон (их около 60) закрыты ею в ЦГАЛИ до 2000 года. Предлагаемая подборка была составлена М. И. Белкиной в 1975 году для книги воспоминаний А. Эфрон, готовившейся в издательстве «Советский писатель» сразу вскоре после ее безвременной кончины. Книга не вышла в свет, подборка писем была опубликована в Париже под названием «Письма из ссылки»¹ в 1980 году. В нее включены несколько писем Пастернака, копии которых были сделаны Ариадной Эфрон и сохранились у ее знакомых И. И. Емельяновой и М. И. Белкиной. В таком виде переписка появилась в журнале «Знамя» (1987, № 7—8) без имени составителя и указания на местонахождение материалов.

Для настоящего издания выбраны письма А. Эфрон, которые непосредственно связаны с имеющимися ответами Пастернака, сверены с оригиналами, причем в некоторых местах мы позволили себе сделать кое-какие сокращения, а письма Пастернака пополнить двумя текстами (1952—1955), оказавшимися у М. И. Белкиной в оригиналах и любезно нам предоставленными.

Переписка Пастернака с В. Шаламовым подготовлена к печати и частично опубликована во «Встречах с прошлым» (1988) и в журнале «Юность» (1988, № 10) И. П. Сиротинской. В свое время В. Т. Шаламов ознакомил нас с полученными им письмами Пастернака и позволил снять с них копии. Мы не видели только первого, самого интересного и большого письма 1952 года, которое Шаламов собирался публиковать сам вместе со своими воспоминаниями и статьей. Письма Шаламова хранятся в семейном собрании и были нами предоставлены Сиротинской для публикации. Исключение составляет январское письмо 1954 года с подробным разбором первой книги «Доктора Живаго», которое вместе с архивом О. В. Ивинской попало в Музей Дружбы народов в Тбилиси и текст которого недоступен. Сиротинская восстановила его по черновику Шаламова, хранящемуся в ЦГАЛИ. Мы несколько сократили корпус писем Шаламова, в некоторых местах купирова его текст в связи с ограниченным объемом издания, в других, однако, устраняя сокращения прежних публикаций. Как и переписка с А. Эфрон, письма Пастернака к Шаламову ложатся на период напряженной работы над романом «Доктор Живаго», и их лаконизм порою тонет в пространных ответах его корреспондентов, за которыми угадывается ежедневная и мучительная борьба за существование и жгучая, неутолимая потребность в духовном общении, которого они преступным образом были лишены.

¹ Ариадна Эфрон. Письма из ссылки. Paris, Умка, 1980.

Б.Л.Пастернак и О.М.Фрейденберг

Ежегодно * зимой приезжал в Петербург дядя¹ для устройства своей выставки, и останавливался у нас. Лето я проводила, обыкновенно, с ними. Наезжал Боря; мы уже давно были большими и близкими друзьями. Промежутки заполнялись интенсивной корреспонденцией; кроме Сашки² и Шурки (брат Бори, флегматичный, моложе, чем Боря), вся семья поперебой писала друг другу. Я привыкла к Бориной нежности, к преувеличенным похвалам и гиперболам чувств, оценок меня, признаний.

Мне было 20 лет, когда он приехал к нам не по-обычному. Он был чересчур внимателен и очарован, хотя никаких поводов наши будни ему не давали. В Москве он жил полной жизнью, учился на философском отделении университета, играл и композиторствовал, был образованным и тонким. Казалось, это будет ученый. В житейском отношении — он был «не от мира сего», налезал на тумбы, был рассеян и самоуглублен. Его пастернаковская природа сказывалась в девичьей чистоте, которую он сохранил вплоть до поздних, сравнительно, лет. Пожалуй, самой отличительной Бориной чертой было редкое душевное благородство.

Я возила его на Стрелку, и мы любовались одинокой поэзией островов. Мы куда-то ходили и ездили, и он был очарован и не отходил от меня ни на шаг. Я таскала его за собой, как брата, он ходил за мной, как влюбленный. У Лившицов³ была где-то у черта на

* Текст переписки с О. Фрейденберг комментируется ее дневниковыми записями (см. в наст. изд. «От составителей»). О. М. Фрейденберг (1890—1955) — двоюродная сестра Б. Пастернака, с 1932 г. — заведующая кафедрой в Ленинградском университете, с 1935 г. — профессор классической филологии.

¹ Дядя — Л. О. Пастернак, знаменитый художник, отец Б. Пастернака.

² Сашка — старший брат О. Фрейденберг, Александр, инженер, был арестован в 1937 г. и, вероятно, расстрелян.

³ Лившицы — семейство Олиных друзей. Елена Лившиц — подруга по гимназии Гедда.

куличках своя бельевая лавка. Мы поставили Борю за прилавок, и он продавал кальсоны и лифчики, рекомендовал, божился, зазывал прохожих с порога. Хохот, молодость, дикие взгляды и смех покупателей!

Наконец, Боря уехал. В марте того же года я была у них в Москве. Он провожал меня и с вокзала прислал две открытки разом.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <1. III. 1910>

I.

Ты понимаешь, конечно, что я пишу из химико-бактериологической лаборатории, куда меня отвезли после приступа баязетовой болезни. Я корчился на перроне, в судороге произнося твое нежное, дорогое имя. Потом я лихорадочно влез на дебаркадер. За мною полез жандарм и сказал, что уже 12 часов. Я посмотрел на часы. Публика рыдала. Дамы смачивали мои раны майским бальзамом. Кондуктор хотел меня усыновить.

II.

Как глупо! В таком состоянии, и тратить 8 копеек! Нет, серьезно, мне грустно. Так вот, я приветствую тебя! С приездом! Здесь стоит старушка, она готова меня убить—я у ней взял карандаш. У меня на это ведь есть перронный билет! Дорогая Оля, ты может быть думаешь, что за этим кривляньем—Мясницкая, 21¹ и спокойная комната после ужина? *Quelle idée?*² когда эта открытка—замаскированная погоня за тобой, и все это на вокзале!

ФРЕЙДЕНБЕРГ—ПАСТЕРНАКУ

СПб., 2. III. 1910

Боря, я не сомневалась, что ты с вокзала попадешь прямо в химико-бактериологическую лабораторию: ты так глазами пожирал курсисток, что твой желу-

¹ Мясницкая, 21—адрес Училища Живописи, Ваяния и Зодчества, где помещалась казенная квартира Пастернаков.

² Что за мысль? (*фр.*)

док неминуемо должен был «решительно запротестовать»...

Омерзительнее моего путешествия ничего нельзя себе представить. Воняло, было адски холодно, темно и угрюмо. Да и места у меня не было. Только после моей угрозы лечь на рельсы или проглотить флакон из-под уксусной эссенции—мне отвели 1/100 места. Вагон был битком набит; спали даже на полках (честное слово!), а лежать на верхней скамье—значило «находиться в бэль-этаже». В том вагоне, где ехала Тараканова¹ со свитой, была устроена вечеринка—с едой, вином и студентками. Пели, трынкали на балалайке и пили. Тараканова получила «в порядке дня» «маленькое слово» и по этому поводу что-то долго и горячо «выясняла». Потом студенты перешли в наш вагон и внесли оживление, ничего общего с благонаравием не имеющее. Один из жертв науки пел—долго и сишло пел о черных и голубых глазах, и эта «цветная» привилегия так меня возмутила, что я громогласно потребовала гимна глазам бутылочного цвета. Как элемент благоразумный, я не принимала никакого участия в попойке и «товарищеском общении» со студентами. Напротив, я была настроена лирически; и, сидя в темноте с одной девицей, говорила ей стихи. Эта девица так расчувствовалась даже, что предложила мне девиз из «Чайки»: «Приди и возьми мою жизнь» (вус, вер, вен)² и была страшно опечалена, когда узнала, что моя жизнь принадлежит мне и никому никогда отдана быть не может. О, проза!..

А ночью случилось нечто в твоём духе: одна девица, все время сосредоточенно молчавшая, вдруг заговорила... о синопском сражении!! Воображаю, если б на моем месте лежал ты! Конечно, ты ответил бы ей тирадой на тему о преимуществе венской мебели над мягкой, а она продекламировала бы что-нибудь из Андрея Белого или Саши Черного... что это была бы за прелесть!..

Или такой курьез: свитная фрейлина Таракановой, социал-демократка, все искала «Русское Знамя». Найти не могла. И вот ночью, когда все спали и сама она лежала под потолком на полке, вдруг я слышу её жалобный, тихий голос: «Полжизни за «Русское Знамя»...» Это было смешно до бесконечности!..

Сегодня началась пытка: надо передавать свои

¹ Тараканова—курсистка, знакомая О. Фрейденберг по курсам Герье.

² Вус, вер, вен—жаргонные словечки: где, что, когда.

впечатления. Стараюсь издавать дикие звуки или просто мычать. Но в мою невменяемость никто не верит, даже после того как я клятвенно уверяю, что провела пять дней под одной кровлей с тобой... Находятся даже люди—и это не выдумка—которые... что бы ты думал?.. верят в твою нормальность! Когда у меня спрашивают: «А как вам понравилась Третьяковская галерея?»—я отвечаю кратко: «Я была там с Борей»...

Ах, все изменчиво. И вот я опять в своей комнате и в Петербурге. Ужасно нехорошо, когда мечты осуществляются. Недаром сказал Надсон, что «только утро любви хорошо»; приятны не результаты желаний, и даже не сами желания, а только их преддверие. В этой абстрактности есть прелесть. Вот Мопассан—у него желания всегда осуществляются, а, между тем, нет писателя более грустного, пессимистического, прямо безнадежного. Мне еще не приходилось с тобой говорить о Мопассане; если б слово любовь не было так бессодержательно и условно, я сказала бы, что люблю его, страшно люблю. Но это все в скобках.

И подумать, что завтра я пойду на курсы, где Сиповский скажет: «Итак, господа, такова была драма», а проф<ессор> Погодин¹ будет два часа говорить, что старья слова нужно заменять новыми...

Боря, ты приезжай непременно. Я хочу тебе сказать, чтобы ты не занимался философией, т. е., чтобы не делал из нее конечной цели. Это будет глупостью, содеянной на всю жизнь.

Сейчас я очень устала и совсем не могу писать. Столько впечатлений! Надо все это замкнуть в себе и забросить ключик. Это тоже свинство, когда человек впечатлительный; лучше бы смотреть на жизнь не как на театр, а как на кинематограф: посмотрел и пошел дальше.

Я уже рассказывала о тебе моей веселой подруге; комната моя оглашалась хохотом...

Твоей книги я еще не раскрывала: трясутся руки, бледнеет лицо. Но не бойся, прочту: я с сегодняшнего дня принимаю бром.

«Подарки» приняты мамой мрачно...

Иду спать. Доброй ночи!

Ольга.

Была на курсах, имитировала Тараканову; курсистки ржали от восторга.

¹ Сиповский и Погодин—преподаватели на курсах Герье.

Боря, спасибо за «Нильса»¹, я его прочла. Ничего о нем не скажу—это очень долго; интересная повесть, интересная психологически. Меня раздражало только настроение автора, которое он все время навязывает читателю; это утомительно и нудно. Знаю, почему ты мне дал читать эту повесть, и чем она тебе нравится... Жаль, что поговорить нельзя; писать, повторяю, долго.

Мне нравится, что ты мне не ответил—серьезно: это указывает на искренность. Ибо «отвечать» на письмо так же глупо и неестественно, как и на посещение. Если я захочу тебе писать, меня не смутит твое сосредоточенное молчание...

Ольга.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

<Талон почтового перевода 55 руб.>

<Москва. 8.VI.1910>

Дорогая Оля!

Так как этот клочок картона уже без моей приписки стоит 55 р., то мне остается прибавить очень мало. Это деньги за рояль, и они тонут в маминой благодарности². И я буду стоять в почтамте в длиннейшей очереди перед «приемом переводов» и, честное слово, не буду проклинать тебя.

Помнишь, в этом году был снег, ах, как это давно было; я еще тогда получил от тебя два письма, одно за другим. Зимой, а потом весной я порывался писать тебе, но когда попадал на тему

- 1) о Нильсе,
- 2) о том, что мне нужно и можно заниматься философией³, то страницы застилали горизонт и мне делалось тоскливо.

¹ «Нильс Люне» — роман норвежского писателя Й.-П. Якобсена, прозу которого Пастернак очень высоко ценил.

² В связи с тем, что на лето Пастернаки сняли дом в Меррекуле, недалеко от Усть-Нарвы, Фрейденберги помогли им достать рояль во временное пользование — для летних занятий Розалии Исидоровны.

³ В это время О. Фрейденберг под сильным влиянием своего отца М. Ф. Фрейденберга, самоучки в науке, журналиста и изобретателя, отрицательно относилась к занятиям философией и наукой.

Дорогая Оля, я тебе напишу еще.
Очень целую всех.

Лето Пастернаки проводили на берегу Балтийско-го моря в живописном Меррекюле.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Меррекюль, 7.VII.1910

Дорогая Оля!

Я не могу писать. Идут целые стопы объяснений; их нельзя довести до конца. Все это так громоздко. И три письма последовательно друг за другом пошли к черту. Цель их была—возвести в куб и без того красноречивый многочлен доводов в пользу твоего приезда сюда.

Дорогая Оля, ради Бога приезжай сюда и поскорее. Тебя, наверное, рассердило мое зимнее безмолвие и вообще ты предубеждена против таких самоочевидных и простых максим, как, например, необходимость твоего присутствия здесь. Что мне делать?

Два слова о зимнем безмолвии: тогда тоже письма шли к черту; и это были большие письма, о Мопассане и Нильсе и о тебе, и этих писем было три. (Это у меня предельная цифра.) Это совсем не интересно. Только я не молчал. И если можешь, не сердись. Мне так хочется видеть тебя, что боюсь сказать. Я сюда приехал на две недели. Три-четыре дня я уже здесь. Мне немного осталось. Знаешь, что мне представляется? Большие, только здесь возможные, интересные прогулки с тобой; я нарочно прикусываю сейчас же «язычок». Но поверь мне, Оля, что все это может быть восхитительным. Скорее, скорее, завтра выезжай. Мама вероятно так убеждена в успехе моих молений, что просила помолиться и за нее. Занятый сейчас ее четками, я вдруг вспоминаю, что есть подушка и одеяло твои, которые ты должна привезти; и потом один фунт грибов: белых, сушеных, без корешков, еще раз белых, первый сорт. И может быть они не будут червивы? Тогда вообще на кухне будет светлое воскресенье.

Дорогая Оля, как ты только поймешь, что даже будучи *неприятно настроена* ко мне или к кому-нибудь из здешних, ты все-таки многое выиграешь от этой поездки в чудную местность со сказочными условиями, как только этот призывный посев взойдет в

тебе аксиомой, ты тотчас пожни его на телеграфе. Ради Бога телеграфируй о номере поезда и дне. Я тогда выеду на станцию встретить тебя. Если ты решительно противишься¹ такой встрече, подпишись на телеграмме Ольга вместо Оля. Оля будет пропуском на станцию. Оля вообще будет громадным пропуском. Оля, дорогая, едь скорее. Станция «Корф». Это будет так хорошо. Я прямо не верю.

И не собирайся. Ради Бога *завтра же!* Я тебя тогда расспрошу о том, почему у тебя на подозрении философия. Я тебя хочу о многом спросить. Обними тетю Асю². Я хочу ей ответить на днях. Я почти обижен. Все-таки это издевательство. «И ты, Брат, тоже?! ты тоже в заговоре и улыбаешься?»

Да! Конечно, это не почтовая бумага. Слава тебе, Господи. Ведь я тоже не слепой и вижу. Но это и не та, которой ты, может быть, готова окрестить ее. Упаси Боже. Ее назначение если и не литература, то и не музыка. Просто это оберточная бумага в столетний юбилей Магницкого. Дело в том, что стопку с Меркурием³ охраняет сейчас родительский храп. Ну и сейчас еще раз, последний раз серьезно и с нажимом: Оля, дорогая, приезжай. Умоляю!

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

СПб., 12.VII.1910

Боря, у меня прошел период «острого помешательства» — и я снова хочу вас видеть, с вами говорить, к вам ехать. Остался, правда, горький осадок в виде воспоминаний о моей открытке — такой скверной после твоего хорошего письма.

Я могла, конечно, выдумать какую-нибудь причину своего нежелания ехать или совсем его замаскировать; но неправда меня шокирует, а особенно в отношении к тебе. Мне казалось, что ты не станешь «обижаться» и вообще приложишь совсем другую мерку ко мне. Подумай: что стоит вся философия и все твое «я» со всеми порываньями — etc., etc., если... тебе нельзя написать правды, самой малой?

¹ В письме стрелка, указывающая на слова «неприятно настроена».

² Тетя Ася — А. О. Фрейденберг, мать Оли, сестра Л. О. Пастернака.

³ Марка хорошей писчей бумаги.

Моя мама была крайне недовольна формой моего отказа: «как, мол, можно» — и т. д.; но я не забывала, что пишу тебе, а ты знал, что пишу это я. И потом мне было очень плохо и совсем не до поездки в «чуждую местность», говоря твоими словами; распространяться об этом не люблю, и потому ограничилась несколькими словами. Впрочем, у меня и сейчас лежит на столе письмо, написанное тебе, но на мотив «из другой оперы». Судьба наших писем, вообще, интересна: писать — пишем, но не отсылаем. Да это и понятно: хочется поговорить, но ведь настоящий разговор — не обрубок. Разрастается мысль, рождаются слова, появляется известная связь, ассоциация — и то летишь вперед, то возвращаешься; между строк, над бумагой что-то вырастает. А тут вспоминаешь, что ведь мы любим друг друга в кредит и больше догадываемся, нежели знаем. И вот нужно вводить новые пояснения, уклоняться в сторону или забегать вперед; это порождает новые мысли, хочется сказать что-то выше слов, — поднимается чувство, напрягается ум, и становится больно от этого хаоса и сознания своей беспомощности. Письмо выбрасывается под стол... И летит в ответ несколько слов, самых существенных и необходимых, но очень далеких от духа твоего; и как должно быть тоскливо, когда получатель не понимает происхождения этих сжатых фраз... В сущности, наша переписка оттого так плачевна, что мы мало знакомы друг с другом: утомительно наше желание все разом втиснуть в узкие рамки письма. Это физически неосуществимо. По крайней мере, мне трудно писать только одному тебе: разве я тебя знаю? Разве ты меня знаешь?

Повторяю: твое молчание как зимой, так и в любое время года, мне вполне понятно. И хочется верить, что тобою поняты некоторые мои эксцентричности, хотя бы в виде последней открытки. Если мы увидимся и я расскажу тебе, как ехать не могла и не хотела, — ты «поймешь и простишь». Бывает в жизни столько того, что не поддается определению, учетам, даже переводу на человеческий язык; а в моей жизни последних лет этого много, очень много. Я оттого «спокойна и молчу» — как сказал ты в недавней открытке к маме. Вот, вот — опять мысль хочет меня увлечь и начинает «чесаться язык»; но нет, надо же послать хоть это письмо!

Мама говорит, что «теперь Боря к нам не приедет, и все из-за тебя». Я не смею верить такой нелепости, Боря. Господи, Господи, как вообще грустно. Но я

опять не о деле. Да, так ты не освятишь этой пошлости из всех пошлостей, правда? Конечно, ты приедешь или нет—смотря по желанию и только. Если мне было тяжело тогда, то почему же мне делать еще зло? Потом, я уезжаю за границу; когда-то мы увидимся?

Теперь мне уже хочется к вам приехать. Ей-Богу, у меня есть воля: я себя переломила—и снова я стала собой. Ну, когда же мне привезти вам белых грибов? Я согласна на все, если на меня не рассердились за «дерзновение»...

Напиши мне что-нибудь, все равно—что! С чем черт не шутит,—ты еще, может, обижен?..

Милый,—чтобы просить прощение, я готова олицетворить собою воплощенный лиризм...

Ольга

Этим лоскутком бумаги я поставила письму естественные границы.

Я поехала в Меррекюль и провела там несколько дней. Боря меня встретил и проводил, и уже от нас поехал в Москву.

Мое пребывание в Меррекюле сломало наши с Борей привычные отношения. Он был сдержан, серьезен, щепетилен в обращении со мной. Мы много были вдвоем, вдвоем гуляли, как он писал и хотел. Но он держался без обычной любви и веселости; мы шли на расстоянии друг от друга и если случайно натыкались, он резко сторонился. Ночью он хотел, чтобы мы оставались в комнате, а я мечтала о звездном небе, об уходе от семьи, о поэзии ночи; тетя следила за нами с беспокойством. Когда же Боря нехотя уступил мне и мы остались на террасе, ничего поэтичного не вышло. Он сидел поодаль и философствовал, стараясь говорить громче и суше обычного, а я скучала и чувствовала разочарование. На другой день, когда мы проходили у заставы, я попросила его рассказать мне сказочку, и он промолчал.

Общий романтический склад сблизил нас. Он говорил, обычно, целыми часами, а я шла молча. Признаться, я почти ничего из того, что он говорил, не понимала. Я и развитием была неизмеримо ниже Бори, и его словарь был мне непонятен. Но меня волновал и увлекал простор, который открывали его глубокие, вдумчивые, какие-то новые слова. Воздвигался новый мир, непонятный, но увлекательный, я вовсе не стремилась знать точный вес и значение каждой фразы; я могла любить и непонятное; новое, широкое,

ритмически и духовно близкое вело меня прочь от обычного на край света.

Наконец, меня потянуло домой; но чувствовалось, что мы не можем расстаться. Я все время молчала, но во мне происходили какие-то сдвиги, и я переживала что-то необъяснимое, но значительное. Боря по обыкновению много говорил.

Поездка вдвоем еще больше слила нас. Люди, которых мы встречали, и названия станций (Вруда, Тикопись, Пудость и т. д.) казались нам какими-то особыми. У Бори было красивое одухотворенное лицо, и ни один смертный не был на него похож ни видом, ни душой. Он всегда казался мне совершенством.

В Петербурге мы уже не могли оторваться друг от друга. Он уезжал с тем, что я приеду в Москву, а потом он проводит меня в Петербург. Пока он ехал и писал мне, я не могла найти себе места и ждала до беспомысленности, ждала до потери чувств и рассудка, сидела на одном месте и ждала. И он едва мог доехать, и в ту же минуту написал мне громадное письмо.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <23.VII.1910>

Помнишь ли ты еще полдень с кричащей собакой и пропадающими Ангелями¹. Вечер наступал быстрее чем мы; вообще мы почему-то ленились; мне хочется, чтобы ты помнила и то, что мы свернули с этой независимо обсаженной дороги влево и, оказалось, сказочку должен был я рассказать тебе, это когда пыль улеглась и Ангели пропали. Если ты даже совсем, совсем таки шутила, то это одно и то же; ведь и шутя, ты оставалась правой: я все больше и больше становился должен тебе; и это был сказочный долг; тогда я хотел рассказать тебе сказку о заставах, о той самой заставе, где я находился в тот миг, где улица, такая простая, привыкшая к себе, прямо погребенная под какой-то мощеной привычкой тротуаров, такая простая и привычная в центре,— переживает на проводах больших дорог, где кончается город, глубокое потрясение, где она взволнованная машет клубами пыли горизонту на зеленой привязи, где она изменяет себе и, оставаясь

¹ Семейство Юлия Дмитриевича Ангеля (1868—1927), музыковед, теоретик, композитор, у которого Пастернак учился искусству композиции.

теми же раскатами города, начинает сентиментальничать одноэтажным и деревянным, как элементами высшей нежности. Это легко принять за провинцию, как легко спутать нежность с простотой или наивностью; но весь аристократизм такой заставы в том, что тут замирает от полноты грохот рассуждающих площадей и мостовых и эта музыка одаренной тысячной, миллионной жизни; что тут молчание, а не косноязычие; но это все неважно; вообще я отошел в сторону и слава Богу, ты дальше увидишь, как невыносимо тяжело мне не уклоняться от главного. Так я еще «уклонен»: о заставе духа, о заставе, где сходятся улицы, где они своим свиданием обязаны границе, начинающей не вымощенные словами духовные «пространства» и где эти улицы становятся крайностью, вывесками, вперившимися в лужайки с жестянками от консервов, вывесками, спускающимися с окраины в огородную природу навстречу небу, как Иоанну Крестителю; и о заставе, где весь рассуждающий перекапывающийся грохот громад охватывает нежность общенности к одному и тому же рубежу. Я тебе наверное когда-нибудь покажу эти «Заставы»¹, то, что сделано и что еще будет. Итак, я мог бы рассказать сказку о двух волчках, которые запели и закружились одновременно, как их пустили на заставе. Но я не хотел рассказывать, знаешь, я был немного озлоблен: я знал, вот ты, рядом, такая чуткая, что в чуткости твоей можно потонуть, вместе со мной переживаешь, это *наступление* окружающего, то, что еще больше волнуется, чем красота, и что в тебе нагорает преданность, почти посвященность этой поступи наступания; то, что мы называем так коротко: лиризмом; когда чувствуешь, что и сам наступаешь; и тогда хочется отсчитывать этот такт спокойного, нетрагического (почти вызывающего радость принадлежности чему-то) фатума. Отсчитывать в признаниях о наступлениях в природе и в себе. Наш долг был однороден, у тебя и у меня, один и тот же долг радостной преданности; но только я должен был гасить этот долг, а ты идти, и слушать, и это было несправедливо еще и вот почему; ты и не поймешь, как ширясь наступала ты сама далеким, далеким долгом во мне. Это как-то называется, такое состояние. Ты понимаешь, ты была свободнее меня; ты

¹ Имеются в виду первые литературные опыты Пастернака. Среди стихотворных набросков 1909—1913 гг.—«За ними пять слепых застав...» (Пастернак Б. Избранное. В 2-х томах, т. 2, с. 333).

принадлежала только своему миру; а я больше всего принадлежал тебе, тебе как беззвучному событию, которое спрашивало одним своим появлением только; ты только являлась, молчала и не спрашивала. И вот сейчас, сегодня я хотел тебе сказать, что эту сказку рассказала ты мне. Она началась в вагоне; это почти исступленная сказка; это—шестисотверстная ночь у окна, где столько мест, вскочивших в фонарях, где по-разному: глубже и ровнее, внезапно или «гипнотизирующе» нет тебя, где ты не можешь наступить, хотя бы как событие, и где приходится считать и различать одно и то же твое отсутствие; и сейчас, этот надтреснутый, полый город!

Что сказать мне тебе, родная Оля? И разве письмо, которое я посылаю тебе с этим—единственное письмо? И почему оно лучше других,—из которых ты должна была узнать, что на всех станциях я подбегал к тому последнему wagon-lit, который стоял твоим сновидением, помнишь, ты сказала,—он будет сниться мне сегодня. И знаешь, он ни разу не попал на платформу, и всегда нужно было выйти из-под навеса; там кончался асфальт, и стояли твои героические бочки, и был кусочек выщипанной черной травы, она гербом лежала на песке; все линии вагона были зарыты в какую-то оседлую, невокзальную ночь, этот вагон был оторван, принадлежал твоему сновидению, стоял и снился тебе; на пятиминутных остановках никогда не стоят за поездом и водокачкой, там, где на человеческий рост отшпал вагонные дверцы. Вот отчего я как-то не относился к этой ночи—перегону.

И разве не разыгрывали что-то зарницы? Они ложились подолгу в облака, зарывались, мотыльками трепетали в них, или протирали всю линию облаков, как запотевшую в фантастических пятнах стеклянную веранду. И чем? Бело-голубым пламенем, которое расшатывало будки и попадало со своими черными обгрызенными нитками палисадников, ящиков и переходящих пути сторожей мимо рельсовых игл, в которые нужно было вправить эти далекие нити. Но к чертям эти огрубелые копавшиеся ладони туч, перебиравших полустанок и равнины. Разве не разыгрывали что-то и звонки, русыми отшельниками заходившие на станции; тогда из зал бежали люди без шляп, с поднятыми воротниками, не своей походкой, и прямоугольные экскурсии ламп разделяли эту толпу, и в каждом наделе лампы выгоняли тени под колеса, под буфера на водопой. Да, все отметала, отметала в сторону эта невыносимая ночь.

Я тебе писал в вагоне: в Чудове или под Чудовым я бросил его в реку. Потом это ужасное состояние стало до такой степени острым, что я на какой-то станции пошел за алкоголем ради отупения; но даже эта значительная доза не изменила ничего и вообще не подействовала, я продолжал стоять у окна, и присел только утром у самой Москвы. А Москва? Она меня ничуть не тронула, ничего не разгладила, напротив, отшатнула от себя тем, что здесь удаление от Петербурга стало апогеем (и то, что я сказал—пошлая неправда) и особенно ненавистны и чужды были мне все эти места своим незнанием о тебе, безотносительностью к тебе (и вот только это— правда); мне не нужно было распаковывать корзину и совсем равнодушно вспомнил я об оставленном ключе¹, вскрыли, я вошел, знакомый запах, связанный с прошлыми приездами и первой музыкой первых осенних свиданий с городом: этот знакомый запах накатывает прошлое, как валики по твоему «сейчас», и вот хочется прильнуть к музыке и отпечататься лирическим шифром. Это я и делаю. Выходит что-то вроде предания; я прямо поражался тому, сколько небывалых перекрестков и закоулков в этой музыке импровизаций,—вечернем городе, такими незнакомыми фигурами спотыкающемся над твоим извозчиком.

Извозчик грустно размыкает все толпы на углах, как живые ползучие замки, и складывает и раскладывает фасады, как кубические дверцы несгораемых касс. Несгораемых, хотя прыгая с пивной на пивную, их лижут лампы и рожки². Извозчик закрывает за собой стены и площади и плывет с одного вокзала на другой, который—на другом конце города. И вот, импровизируя, я сейчас так же в полусне правил на «тот конец» музыки; и вся эта импровизация была как лирическая пересадка и может это был Измайловский проспект. Словом, я искал чего-нибудь связанного с тобою; я перечел письмо в Меррекюль. Там ты говоришь о другом письме, которое еще на столе и на тему из другой оперы; мне стало больно, но не так просто больно, а так, что я убежал из дому, при мысли, что я мог попросить его у тебя в Петербурге и не сделал. Федя³ был за городом. Иначе я вызвал бы много «догадок» у него односторонним рассказом о лете,

¹ Ключ от московской квартиры Пастернак забыл в Меррекюле.

² Рожки—газовое освещение на улицах.

³ Федя—Ф. К. Пастернак, родственник, который жил в это лето в квартире Пастернаков на Мясницкой.

рассказом о тебе. И все нарастала невыносимая тоска. Я поехал к Сереже¹, на край города; он сидел у окна; но я вдруг понял, что решительно «никто» и «ничто» живут и существуют в Москве; я не зашел даже и уехал; я подходил к ресторану, кинематографу, книжному магазину, своим тетрадам, ко всему — и не входил.

Тогда я вдруг стал ребенком и лег совершенно без сил на матрац и плакал, как в одесском детстве². И наконец, чудовищно медленно, но сделалось поздно. И я только ужасался, что же будет дальше, что это будет за жизнь? А теперь уже пятница. Доброе утро, Оля, как ты поживаешь после прогулки по самым страшным суткам в моей жизни? А ты не покидала ни одной секунды в них. А теперь ты спросишь о том, что это такое? И вот что я тебе скажу.

Я говорил тебе о детстве внутреннего мира, которое связывало нас. И даже не говорил, а может быть, слушал твои воспоминания об этом. Но постепенно эта романтика духовного мира, которая отличает детство и кульминирует в 15—16 лет, захватывает внешний мир, который до этого момента мы просто наблюдали, схватывали характерное, имитировали, умели или не умели выражать. Теперь, на этой новой стадии, город, природа, отдельные жизни, которые проходят перед тобой, реальны и отчетливо сознаются тобой только для той функции духа, при помощи которой ты только считаешься так сказать с ними, реальны, пока ты имеешь их в виду как данные, пока они только даются твоей жизни. Если бы ты захотела, я точно и ясно определил бы реальность как этап лишь. Но для этого нужно много фраз, которые сюда не относятся, потому что я хочу лишь выяснить для тебя и для себя эту боль по тебе. Но разве я только считаюсь с окружающими? Иногда предметы перестают быть определенными, конечными, такими, с которыми *порешили*. Которых порешило раз навсегда общее сознание, общая жизнь, та жизнь, в которой спасается Маргулиус³. Тогда они становятся (оставаясь реальными для моего здравого смысла) нереальными, *еще не* реальными образами, для которых должна прийти форма новой реальности, аналогичной с этой прежней, порешившей с объектами

¹ Сережа—С. Н. Дурьлин, поэт и литературный критик, друг Пастернака.

² Одесское детство.—Пастернаки до 1902 г. каждое лето проводили в Одессе, где тогда жили Фрейденберги.

³ Маргулиус А. Л.—муж сестры Р. И. Пастернак, дядя Б. Пастернака, инженер-путеец.

реальностью здравого смысла; это форма — недоступная человеку, но ему доступно порывание за этой формой, ее требование (как лирическое чувство, дает себя знать это требование и как идея сознается). Оля, как трудно говорить об этом!!

Помнишь, это было у меня (и у тебя кажется), когда мы оказались в Питере. Тогда, на извозчике, этот город казался бесконечным содержанием без фабулы, материей, переполнением самого фантастического содержания, темного, прерывающегося, лихорадочного, которое бросалось за сюжетом, за лирическим предметом, лирической темой для себя к нам.

Если ты готова признать особенность и исключительность таких восприятий города, вообще всего объективного, и если ты живо чувствуешь эту особенность, ты поймешь меня, если я скажу, что творчество с таким настроением не отмечает характерное, не наблюдает, а только так или иначе констатирует факт, что и глаголы и существительные переживаемого мира, воплощенные существительные и глаголы стали прилагательными, каким-то водоворотом *качеств*, которые ты должна отнести к носителю высшего типа, к предмету, к реальному, которое не дано нам. И не к предмету религиозного чувства, а к предмету лирически творческого восторга или грусти (то есть они даже тождественны в самом главном определении: лирическое). Я уже говорил тебе, что, как мне кажется, сравнения имеют целью освободить предметы от принадлежности интересам жизни или науки и делают их свободными качествами; чистое, очищенное от других элементов творчество переводит крепостные явления от одного владельца к другому; из принадлежности причинной связи, обреченности, судьбе, как мы переживаем их, оно переводит их в другое владение, они становятся фаталистически зависимыми не от судьбы, предмета и существительного жизни, а от другого предмета, совершенно несуществующего как таковой и только постулируемого, когда мы переживаем такое обращение всего устойчивого в неустойчивое, предметов и действий в качества, когда мы переживаем совершенно иную, качественно иную зависимость воспринимаемого, когда сама жизнь становится качеством. И, чтобы раз навсегда бросить эти скучные рассуждения, я скажу тебе, что так же, как есть одиночное вдохновение, есть вдохновенные восприятия объективного: тогда все эти гуляющие на Стрелке или вечер на Измайловском проспекте делаются покинутыми, брошенными, грустными, поэтому и легендарными качествами без предметов. И эта

беспредметная фантастика фатальна и преходяща, а ее причинность — ритм. И она наступает, и ее отменяет время и вновь и вновь наступает. Обыкновенно я был один за всем этим, всех людей, которые приходили (а некоторых из них я сильно любил и люблю), всех людей я находил там, в объекте. И это даже отождествилось: такое отношение к романтике качеств и любовь.

Так что я влюбился в Петербург и в вашу смешанную семью, особенно в тебя и в папу; в какую-то глубокую фантастику не решенных для меня характеров; я тебе говорил об этом чувстве. Но ты не знаешь, как росло, росло и вдруг стало ясным для меня и другое, мучительное чувство к тебе. Когда ты так безучастно шла рядом, я не умел выразить тебе его. Это какая-то редкая близость, как если бы мы вдвоем, ты и я любили одно и то же, одинаково безучастное к нам, почти покидающее нас в своей необычной непригодности к остальной жизни. И вот я говорил тебе о какой-то деятельности, сменяющей наблюдение, о переживании жизни, ставшей качеством предметов, покинувших предметность жизни (о как скучно это для тебя, и как трудно выразить это); разве не владело это и тобою? И тогда, Боже, что это было за сектанство вдвоем! Теперь отбрось все. Я не скоро, верно, привыкну к тому, что и один могу любить и думать обо всем этом. Мне совсем нестерпимо, когда я вспоминаю о том, что, подавленный этой посвященностью, принадлежностью жизни, приходящей за высшей темой, своеобразно посвященной городу и природе — всему, я в этом чувстве так же женственен, т. е. зависим, как и ты; и что ты в нем так же деятельна, сознательна и лирически-мужественна, как я. Я не знаю, так ли все это, и я хотел бы получить на это ответ. Но понимаешь ли ты, если даже и далека от этого всего, отчего меня так угнетает боль по тебе, и что это за боль? Если даже и от любви можно перейти через дорогу и оттуда смотреть на свое волнение, то с тобой у меня что-то, чего нельзя покинуть и оглянуться.

Ах, Оля, вот я тут написал много, много слов. Я хотел этой артиллерией защититься от недоразумения, которое было бы горько. А ведь ты бы могла подумать что-то другое, если бы я только сказал, что все стало чужими, что я задрожал, увидавши на окне клочок *петербургской* газеты, и что я умоляю тебя что-нибудь написать мне, даже открытку (!!!), но скорее, сейчас, и приехать в Москву! Оля, напиши, можно ли так писать тебе? И не бойся огорчить меня. Если ты другая, нужно это сказать; я ведь немного высказался, тебе,

может быть, легче будет писать. Может быть, все это было признанием. Признанием в том, что я влюблен в Меррекюль, нашу поездку, первый вечер, дяди Мишин¹ день (когда я искал помощи у тебя), Стрелку, Петербург, тебя во всем этом, в вокзал, во все, что непрестанно задавалось *мне и тебе вдвоем*—и вот только в конце вся тяжесть признания, все признание.

Видишь, я не умею писать. Но я многое имел рассказать тебе и о многом спросить; когда я начинал, ты меня не перебивала, не спрашивала, не принимала в этом участия; я замечал, что тебе это не может быть интересно, и быстро покидал затеянное. И теперь я тоже прошу тебя простить мне этот теоретический просеминарий. Долго, долго жму твои руки и целую.

Боря

Сейчас звонил Зайка²: один 22-хлетний композитор, из наших, которого я считал уравновешеннее других, умер от острого помешательства. Зайка просил меня приехать, я умолял его не приезжать ко мне хоть неделю. Напиши мне хоть что-нибудь.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 26.VII.1910

Оля, я знаю, посылка такого письма, как мое, требует «мужества» и «непосредственности», чтобы выразиться мягко. Я рад (ты знаешь анекдот с еврейкой, которая умирала бормоча «ура» проезжавшему государю), да, так я рад, что еще нет ответа от тебя: может быть еще удастся предупредить его. Все эти дни я по праву мучаю себя за эти чудные качества, которые я выказал, которым не помогут сейчас и эти псевдонимы непосредственности, наивности и т. д. Но если я тебе скажу о настоящей (как мне, по крайней мере, кажется) причине такого тяжеловесного и во многом смешного многословия, я, во-первых, дам тебе возможность оставить его без внимания, не отвечать на письмо, что было бы вероятно тяжело тебе, и затем, может быть и поздно (что—хуже чем никогда) и наверное неубедительно, постараюсь показать тебе, что такой «непосредственностью», «необдуманностью» и

¹ Дядя Миша—М. Ф. Фрейденоберг, отец Оли.

² Зайка—домашнее имя Исаия Добровейна, пианиста и дирижера.

т. д. страдаю не хронически, что это лишь исключение, непростительный эксцесс, что хочешь, но что оно не лежит в моем характере.

По-видимому на меня слишком сильно подействовал внезапный переход от массы разнообразных впечатлений, перевитых и усиленных неоправдавшейся надеждой на то, что от них, как от общей почвы, можно будет отправляться к личным мыслям и наблюдениям с теми людьми, которые делили со мной эту общую почву; от этих впечатлений (ты ведь и сама пережила их численную смену) к пустой для меня Москве, пустой чисто условно, вероятно; пустой только потому, что в первый момент она означала только конец праздника, каникул, и их апогея—Петербурга—и больше ничего; была границей той отеческой атмосферы воскресных улиц, когда гимназистиком выходишь в гости. И когда даже пасмурный сентябрь: «сегодняшняя погода», как опекун страхует твой предстоящий диалог. И вдруг настали будни, совершеннолетний учебный день, когда все отвернулось и нет опоры во всех этих неодушевленных опекунах; вот и все. И даже на таком уравновешенном и трезво-рационалистическом характере, как мой, при этом максимуме самообладания, должны были сказаться результаты такого перехода. Это и дало себя знать в письме. Надеюсь, ты извинишь мне его. И затем, ты стала в верную, единственно возможную (как мог я надеяться на другое?) и справедливую позицию по отношению к нему, если нашла это письмо смешным и в «лучшем случае» странным. Во всяком случае безусловно искренно здесь то, что я себя до физического отвращения ненавижу сейчас.

А теперь поблагодарим нацию, школы, миллионные населения городов, тысячи профессий за то, что они создали такие удобные, легко постижимые понятия и, выработав такой точный и содержательный язык, тем самым приняли благосклонное участие в этом интимном объяснении, и принесли, так сказать, посильную помощь, и простимся прежними разъехавшимися родственниками.

Кланяйся пожалуйста всем. И если будет солнечный день, когда ты схватишь подходящую интонацию для упоминания о Феде и для приветствия Карлу¹, зайди пожалуйста к нему и серьезно кланяйся от меня; скажи ему, что я в его Элевзинских подтяжках чувствую себя окрыленным на лиловый лад, что это—мистерия (и это опять серьезно) воспоминания о невы-

¹ Карл Гозиассон, знакомый Фрейденов.

носимой духоте, которая могла быть незаметной и становилась такою иногда, о милой иронической лавочке, которая не хотела знать, что юмор дальше от меня в подобные минуты, чем даже сама лавочка... и ты ведь слишком умна, чтобы не понимать, что я, по-видимому, вновь испытываю переход или что, ради всех святых, что я наговорил тебе там? Ну так это самое я очевидно переживаю вновь, и еще того и гляди явится посыльная¹, как говорят там, на дереве, на нашем родовом дереве, посыльная помощь. И кланяйся тоже Лившиц.

И Карлу, если он страдает в той же мере Фединизмом, как тетя Ася, скажи, что я переговорил с Федей; он готов быть похожим на Карла. Но все это при условии, чтобы Казанская площадь оплывала топленным небом. Разве полдень не грустнее лунных разных там ночей, которые представляются мне минерально железистыми круглыми пилюлями, голубыми пилюлями нервности², которые несколько раз в месяц нисходят в городские глотки, в остальном нечувствительные. Да, так не скупись на поклоны. Тете Асе я хочу написать. А теперь, что сказать мне тебе, Оля. Вот, разве еще нужно повторять, ты стоишь на верном пути, если, как я думаю, я вижу твою спину. Теперь оглянись, и посмотри, что это за прелесть издали, эти уходящие заграничные подтяжки! И это даже не грубо, так уходят в жару в Европейских городах. И наконец addio, я измучен этой глупой болтовней. Что сейчас? Утро понедельника.

Твой Боря.

Есть точка, на которой ты можешь считать это сегодняшнее письмо несуществующим, ненаписанным даже, имей это в виду. Но это только возможность, такая радостная! Есть такая одна точка. Но *ее нет*, вот в чем дело.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

СПб. < 25.VII.10 >

Ты предупреждал, что не напишешь мне из Москвы — и я не имела оснований тебе не верить. Но я ждала твоего письма, ждала все это время; и только сегодня ожидание сменила уверенность. Это не было

¹ Семейное словечко от глагола «посылать».

² Голубые пилюли нервности — таблетки Бло (Блоуди).

даже предчувствие — я ему не верю, оно всегда обманывает меня. Но иногда вдруг находит какое-то просветление, словно дух отходит от тела: это всегда верно. Это минуты откровения, когда все понятно, и видно далеко, далеко. Собственно, я здесь ни при чем: что-то вне меня, надо мною. Я уже много раз предсказывала что-нибудь близким людям, и всегда внезапно; и свою судьбу я тоже знаю, и что ждет меня, и чего не будет. Это не предчувствие, а скорее болезнь духа, грань к сумасшествию. Мне казалось иногда, что я окончу душевной болезнью; но потом я поняла, что нет, что именно все будет себе нормально, очень естественно. Это не слова; у меня есть прямо зачатки болезни в виде страшной сердечной тоски, тоски беспричинной и такой мятущейся, словно она хочет засосать меня всю, и овладеть мною, и уничтожить меня. У меня бывали даже припадки: я куда-нибудь пойду или уйду и вдруг сразу меня схватит тоска, но, Боже, какая страшная, жуткая!.. Разум, рассудок совершенно в стороне: они работают, и я все отлично взвешиваю и сознаю, но это нисколько не помогает. Меня начинает болезненно тянуть домой — и сейчас, сию минуту, и так тянуть, будто я знаю, что там несчастье, Бог знает что! И я, в сущности, не «беспокоюсь»: я не боюсь ничего, я не думаю ни о ком и ни о чем в отдельности; меня даже, собственно, не интересует самый дом с мамой, отцом, Сашкой. Это мой больной дух, в своей беспричинной тоске, апеллирует к рассудку, а он, чтоб к чему-нибудь придраться, отправляет ее к дому: ибо вне меня, вне мира, есть только «дом». И какой ужас я переживаю! Прибегаю домой страшная; дома все на месте, но я все вижу впервые. Мама! Вот какая она, мама... Иду по комнатам — как странно все, так условно, и все стоит себе, и все на месте. Помню, раз я заметила в зале зеркало: как оно висит! Стоят, застыв, кресла. И все, все так ново-странно. Мама пугается меня, успокаивает; я сажусь возле нея, и мне так страшно, и так я дрожу. Сердцу больно, оно бьется и тоже дрожит; и я чувствую, как что-то во мне сгущается, мучает меня и угрожает. Тоска. О, это слово, это чувство! — Припадок проходит медленно, и от ласки; но в нем столько символического, столько обобщения в этом бунте слабого человеческого духа, что нельзя его назвать одним каким-нибудь словом. Это мучительно; только боязнь, что мама боится (бессознательно этого боится), заставляет меня призвать всю свою волю и успокоиться, хотя «дом» мне не помогает. Но раз я почувствовала такой припадок далеко от дома и мне

нужен был переезд по железной дороге. О, этот переезд; еще час, два и я могла бы сойти с ума.

Но чего ради я вдруг вспомнила все это? Ведь я говорила о твоём письме и о том, как его ждала. Ты тогда его писал, когда я ждала; и меня грызла тоска, конечно, оттого, что ты в это время бродил по Москве и тосковал тоже. Помнишь как? Хотелось зарыться куда-то, выбросить самое себя за пределы себя же, освободиться, что-то вырвать. Ни читать, ни писать, ни мыслить даже. У тебя—алкоголь (это очень резко), у меня искусственный сон; но и в том, и в ином случае тоска только сгущалась и обобщалась. Ты говоришь, плакал, как в одесском детстве. У меня тоже это было, но раньше, давно, еще до приезда Тони¹; это слезы, как таковыя, без облегчения, но с болью и мукой на сердце, и чем больше плачешь ребенком, тем тупее безнадежность.

Когда ты уехал и я осталась снова одна, я пошла бродить по городу. Мне цветов захотелось, и страстно. Я их искала, искала; когда усталость связала меня по рукам и ногам, я, наконец, нашла цветы, но красивые и душистые, и накупила на столько, сколько имела денег. В десятом часу пришла домой, и в этих моих цветах было все.

А сегодня и письмо получилось. Знаешь, я раскрыла его, смотрела и держала его, и не прочла: мне захотелось прочесть его не глазами, и выслушать не слова. И когда я ощутила его дух и все взяла от него духовно, перечувствовала и передумала,—тогда я стала читать. Меня ничто не удивило теперь; я могла «выслушать» все. Боря, да это «завещание»; и как много, много ты мне завещал!.. Такая ли я, как ты меня представляешь, или другая?! Ты это спрашиваешь—да; но я поставила бы этот вопрос, не ожидая тебя. Такая—потому что мне страшно сказать—нет; другая, потому что я не хочу давать задатков и обещаний. Если я скажу, что другая—я освобожу и тебя, и себя; ибо это будет абсолютно, и ты не сможешь подходить ко мне ни с какой меркой, ни с каким требованием. Быть же такой—слишком героически; я знаю жизнь, и знаю, верь, хорошо; ты не верь в меня,—я тебя обману; рано ли, поздно, но одним словом, даже молчанием я покажу тебе, что ты во мне ошибался, и причину тебе горе,—потому что никогда не осуществляется до конца возжеланное или задуманное. И так дорого достается

¹ Тоня—подруга Оли, переехала из Одессы под Москву, в Елизаветино.

каждый шаг в себе, и все надо отвоевывать—и во всем сомневаться, за всем следить, а дать себя идеализировать, о нет! Я этого не дам; я такова, какова есть—и слава Богу, что могу себя сознать и измерить; но мне не нужно, чтобы удлинляли меня или укорачивали. Я боюсь, что ты подходишь ко мне с какой-то готовой формой—все равно какой—и хочешь, чтобы я в нее вошла; о, какая это ошибка, ибо, повторяю, какое бы ты ни создал обо мне представление,—я его не оправдаю, и когда-нибудь, где-нибудь ты увидишь, что торчит неуместившееся в форму. Я могу поручиться только за то, что не сожму себя нарочно, и ты никогда не увидишь меня там, влезшей искусственно. Но как тебе узнать меня, когда мы живем далеко друг от друга и видимся раз в несколько лет? Неужели есть только один способ—способ разговора? Но мне он труден, Боря. Я выросла совсем одна; и мне хотелось говорить, и меня мучали разные вопросы,—я человек ведь. Но родители заботливо добывали мне хлеб и в этом толклись; подруги были тупы и жили в другой плоскости,—а больше у меня не было никого. Я была слишком горда, чтобы задавать вопросы родителям, и слишком живуча, чтоб привыкнуть к пониманиям подруг. Потом, все ведь топчется и низводится на уровень житейских воззрений; так не логично ли, что мы *таим завистливо от ближних и друзей надежды лучшие и голос благородный неверием осмеянных страстей*¹. И вот я научилась никого не спрашивать и до всего доходить самой. Слишком сильно мне хотелось прежде говорить и спорить, чтобы теперь не молчать, и мои поиски ответов и сопереживаний были слишком велики, чтобы не замкнуться в себе, и только в себе не черпать всего, что кроме общности. И я сильна в себе—это верно; все, все, что во мне есть,—это все мое, и мне не надо делиться. Даже если я читаю—сначала иду я, а потом книга: и то, что я хочу, я беру, что не нужно, отбрасываю; во мне нет ничего книжного, ни взгляда, ни мысли: себя создала я. Мне анализ почти не дается,—я по природе склонна к синтезу; это мне дает очень много. Прибавь ко всему этому, что я в жизни пережила очень много горя, и самого реального, житейского; мне и говорить этого не хочется, и я никогда этого не говорю, но ведь это ужасно. Где, когда, отчего—это детали; но главное, что очень страдала. В молодости это прямо губительно—и я давно этим отравлена. В 17 лет я чувствовала страшную усталость.

¹ Из «Думы» Лермонтова.

Если б я рассказала тебе все — ты посмотрел бы на меня большими глазами. Но сейчас я все это говорю, чтобы ты понял одно: я давно разучилась «говорить», и меня не может интересовать слово, как выражение мысли, ибо самое выражение для меня лишне. Я закалена и бронирована в свое молчание — это верно. Мне кажется иногда, что я вне времени, вне пространства, что я была всегда, и есть, и буду — не в житейском смысле, а иначе. И я ничего не боюсь, даже возможностей: я сама — возможность, и себя мне не страшно. Потом, я так умею отвлечься от себя, что это меня спасает от всего. Я могу всюду жить — если этого потребует жизнь — и быть всем, чем угодно, — и все это будет вне меня, и везде буду только я. Знаешь, я, например, не представляю себе «несчастья», и в минуты самых реальных страданий я умела отвлечься и обобщить — и я плакала, и мне было очень больно, — но я ни на йоту не отказывалась от своих верований и знаний. Мир, природа и я в них для меня не были звуком и красивой фразой: о, как я их знаю и чувствую — их в себе и себя в них!..

Всем этим я хотела тебе сказать вот что: 1) если я молчу, то это не искусственно и 2) не представляй меня такой, какой меня нет. Ну, «другая» я или нет?

И вот еще что! Ты спрашиваешь: можно ли говорить со мною так, как ты говоришь в этом письме? Да. Я это могу сказать категорически. Не ищи для меня специальных слов и пиши словами своими. Я знаю, они бедны и стары, особенно у меня; но они мало меня интересуют, и потому не бойся этих выражений, многозначительных в житейском смысле, — этот смысл так далек мне. Я пойму их иначе — совсем, совсем.

Четыре часа ночи. Спят — и тихо; в окно смотрит бутафорский блеклый свет. Ноют пароходы на Неве — гулко, жутко... а моим часам все равно — стучат, стучат. Пришел папа со службы, спит тоже. Или думает? Если да — я почти знаю, о чем; папа — да, он мне папа. Ты подошел к нему, посмотрел в него — и сразу этим придвинулся ко мне. В этом было что-то фатальное, что именно ты и именно в этот приезд заглянул папе в душу. Ах, здесь идет целая область. Это совсем вне жизни, вне слов — и этот папа, и наши отношения. Ну, вот — ночи уже нет, уже утро, рассвет; как хорошо... Что мне будет сниться? А потом — завтра. Ах, скорее бы осень, моя осень; я уеду, я уберегу самое себя от себя же; эта тоска меня надрыгает, а ведь с ума я не сойду; нет, будет жизнь — и еще много осталось, больше, чем я думаю.

Утро. Извини — я что-то такое пишу, говорю что-то. И ведь письмо получится днем — значит ночью писать глупо.

Знаешь, все эти дни передо мной стояли «международные» вагоны, и столько в них было значения! Верно, ты стоял возле них — и это мне передавалось твое переживание.

Ты здесь говорил — помнишь, на окне — что я относилась с презрением к тому, что было тебе дорого, или безучастно. Это было свинство, и мне было больно. А, тебе нужны слова, вопросы, замечания; но ведь умею же я понять вне слов, и разве не поняла я всего на вокзале?..

Письмо, твое письмо. Я не знаю, как мне быть. Всегда я была одна, — и вдруг, сразу, передо мной встал ты, и заговорил, и захотел ответа. Я не хочу миража — не доставало только этой пошлости. Но нужно, чтоб ты меня узнал, — тогда ведь я перестану тебя интересоваться: я и без тебя знаю, что тебя манит «неразгаданность характера». Что ж, отгадывай — ведь я перед тобою. И тогда отойдешь, а я буду «отвлекаться» и «обобщать». Кроме шуток — я не боюсь; но только не разукрашивай меня, не надо.

Скажи, разве открытка к Лившиц — не продолжение твоего письма ко мне?.....

Бедная, она читала — и дивилась...

Ты просил написать «что-нибудь» — что-нибудь я и написала.

Ну, до свидания или прощай? И отошлю я тебе это письмо или не отошлю?

Поцелуемся — и я пойду спать.

Скверно, Боря...

Ольга

День, светло.

И письмо отошлю и не скверно.

Фу, еще не отослала письма. Сейчас, сейчас. Мне только хочется... чего?.. я не знаю. Может быть, еще побыть с ним, а может быть, что-то сказать еще... но я опять не знаю чего. Я эту ночь спала только три часа, но чувствую себя такой бодрой, сильной, и мне хорошо. Черт возьми, какая я «жизнеупорная» — это я всегда о себе говорю; знаешь, есть горшки, для которых жар огня — ничто. И я горшок своего рода. Мне иногда тягостна эта вечная, вечная жизнь внутри меня и так хотелось бы уgomониться, осесть, но дух мой — Вечный Жид.

Теперь я могла бы писать до бесконечности и, конечно, совсем не то, что писала вчера. И вот мне хочется сказать тебе что-нибудь хорошее, что-нибудь *твое*, мягкое, навстречу идущее. Боже, эти гадкие слова! Как они искажают мои мысли и делают их банальными. Ты думаешь, я сильная? О нет, слабая, совсем. Сейчас я пойду к своей литературе и в ней утону. Это она была для меня всем, когда я жила одна, одинокая,—и на нее я перенесла все, что во мне выросло. Ты понимаешь романтику? И я. И я люблю Шиллера—особенной любовью, отличной от других; там в нем что-то совсем другое... Это было давно-давно... За Одессой, за детством, за рождением даже; это предание, дух, сверхчувственное. Я люблю Шиллера за то, что он *старый*,—я сама старая...

Вот что я тебе сказала из всего, что хотелось; мне сейчас так хорошо, я почти не живу. Целую тебя: и как целую...

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 28.VII.1910

Сначала я писал тебе о том, как трудно (что даже все сознание, все способности противятся этому), как трудно заговорить после того, что ты и представить себе не можешь, как глубоко ложится все, что ты говоришь; даже слова у тебя какие-то могуче спокойные пространства, и ты что-то возводишь, закладываешь; как мне отделаться хоть бы просто от этого мерного ритма ступающей тоски, в котором ты выстроила свое посещение, свое завещание. Потом я хотел сказать тебе, что ведь есть у меня слух, какое-то глубокое, первично, извечно взволнованное внимание, с которым я ждал всю жизнь, с которым я вскрывал сотни конвертов, и столько встреч, и каких встреч, как конверты, вскрыл я, и я ведь знаю жизнь (ты ведь понимаешь, Оля, что это не то, что называется жизнью и еще в кавычках, а моя жизнь), да, так если бы тебе только рассказать, сколько протянутого мне (иногда я желал этого и сам создавал) вскрыто мною... И вот вчера пришло оно, то, чего не было в этой долгой жизни получаемых так или иначе конвертов, да, твоего письма искал я, а это были разные почерки. Понимаешь, если это риторический шаг, то оно слишком пошло и грязно даже: тогда это—красноречие приказчика. Но ты понимай это просто, в сантиметрах.

Я хочу сказать, что много большого, редкого и чистого, может быть, даже обогащающего, вдохновляющего шло ко мне навстречу. Но навстречу. А здесь, ведь, здесь какое-то спокойное величественное «рядом»; ты какая-то участница того самого, от чего мечется в стороны вся моя судьба! И отчего, спрошу я тебя, не обрывала ты меня, когда я говорил тебе такие слишком знакомые вещи; твое «твое». Может быть, мы пошли бы дальше; а я шел как болван мимо этих елок и говорил тебе о таком существовании, когда живешь через улицу даже от собственной жизни и смотришь: вот там зажгли огонь, вот там хотят писать прелюдию, потому что пришли домой в таком-то состоянии... и тогда перебегаешь улицу, кидаешься в этого, так или иначе настроенного, и пишешь ему его прелюдию; может быть, этот пароксизм большого восторга в такие минуты происходит оттого, что прекращается это объективное «через улицу», и все обрушивается в субъект, в это чистое, твое, Оля, чистое духовное существо. Ну так это неважно. А ты слушала столь знакомое тебе!! Понимаешь ты, это странное «рядом». За несколько дней до твоего приезда я потянулся за одним дорогим, долго не прибывавшим, конвертом, и многое сказал об этом слове.

И вдруг это произошло с тобой. У меня нет ничего, что просилось бы к тебе, туда через улицу; если даже и есть, то это несущественно: существенно то, что ты ничего не прибавила, не обогатила меня, как это бывало у меня, или я не замечаю этого за тем большим, что как мистерия, за которой хочешь следить, как следишь за музыкой, голосовыми мускулами «символически активно»; за тем большим, что должно быть выражено, как это ни трудно. Итак ты не прибавила ни единой монеты к тому, что передо мной; но ты первая действительно сделала эти металлические условия живым глубоким богатством. Меня как-то необычно утомило какое-то недельное соучастие с тобой в том, где я всегда был одинок. И вот такое минование мимо жизни, природы, которое так родственно нам, именно это имели (как какую-то ценность) в виду денежные знаки жизни, условное богатство, идеальным и необходимым условием которого является то, что поставило нас рядом. Понимаешь, если ты даже и положила там целые пригоршни золотых, и я их увижу и уже переживаю, то это ничтожно, незначительно в сравнении с тем, что ты реализовала их, что все это потеряло условный характер; прибавила ты или нет страничку к этой книге, я не

знаю, слишком поразительно то, что этот переплетенный куб сделала книгой ты. Как я тебе сказал, у меня нет ничего, что имело бы смысл для тебя, было тебе интересным, ценным; и это потому, что слишком поразило меня твое письмо; оно — как до высшего *maximum*'а увеличенное Я. Эта «жизнеупорность», это покидание жизни, это: «Я сама возможность и себя мне не страшно», все это подавило меня своим родством со мною и превосходством размеров; но я хочу все время до боли какого-нибудь движения, посвященного тебе, носящего твое имя; и вот мне хочется продолжаться, — как будто я — твой вид, маленький вариант, который не может пойти навстречу, или встретить, а лишь продолжает, специфицирует родовое, что за ним, и что в нем как родное.

Ах, ведь я только хотел сказать тебе, что написал тебе много листов, где было раскаяние и бесконечная, не дававшая передохнуть благодарность. Я хотел отправить письмо на вокзале курьерским поездом, чтобы сегодня же утром задушить то преступное, гадкое письмецо. И как мог, торопливо я просил тебя вчера понять эту гадость. Боже, как часто, если не почти всегда, приходилось мне делать этот духовный реверанс, как это отвратительное письмо, написанное с горечью и ложью; знаешь, я терпеть не могу оставаться непонятым, не оттого, что жалею собеседника или друга, нет, тут эгоистическая причина, я боюсь подозрения в претензии на оригинальность, несходство с другими и т. д. И вот, я говорил тебе, что живу как-то «например», приходяще, как бы только для того, чтобы пережить ряд мыслей как идеальный скелет своих чувств, даже самых дорогих, и вот я рассказываю такому Сереже какое-нибудь новое свое «прозрение» и слежу за ним; он увлекается этим высказанным, но так, так шаблонно не понимает главного, из-за чего вообще только стоит трогать как-нибудь общую всем собственность, так увлекается этим, что я вдруг тушу все огни; нет, сегодня не мое рождение, я обманул вас, или мне, наверное, показалось, что я родился на несколько шагов дальше, или я даже прочел это или выучил или я болен, туп, нарочно подстроил это и т. д., давайте говорить о другом, сегодня будни.

Оля, пойми буквально: слишком невероятно то, что было как чайные и оправдало себя, то, что мы, считая общезначительные, неподчеркнутые свои движения значительными, символическими и читая (еще зимой) в этих движениях, читали то, что другой вписал туда, не вписывая. Ты говоришь, что поняла все на вокзале: у

тебя значит больше: ты понимала и была уверена в том, что все это стоит там, в тексте движений. Я только понимал, только постигал, до меня доходило все, все; я жил его многозначительностью, но было невероятно, чтобы это не снилось, что это на самом деле. И хотя я не мог не послать всей этой «артиллерии»,—но после вдруг я вспомнил о том, как все это может стать смешным в чужих руках... и сделал этот ужасный отрицающий жест. Против рук твоих, рук первой сестры согрешил я. Прости меня, а то мы заразим друг друга этой виной. Но Боже мой, ведь это невероятно, что эти руки не снятся. Ты говоришь о каком-то ложном представлении. Ах, нет, его не может быть, так абсолютно реальна вся ты сейчас! Ах ты такая, такая! Это возмутительно, что ты еще не знаешь о полной несоединимости, нерастворимости твоего и банального, даже с внешней стороны; я понимаю твою учительницу теперь: твое письмо на границе музыки, я читаю его вполголоса, оно как-то падает, нисходит.

Потом я писал тебе о том, как зимой, в дни обращения моего пишущей братией, я задумал такую фабулу. Композиторская бессонная ночь над нотной бумагой, какое-то наитие, в котором после нескольких страниц набрасываются истерически небывалые, но как-то спокойно и бесповоротно явившиеся строчки, и потом долгий экстаз чистого духа (о котором столько говоришь ты и который ты чище и больше и чаще переживаешь, чем я), когда случайно и проблематично все, родные, жизнь, город (странно, язык остается, он не случайный); прогулка по комнате, и потом порыв: зарегистрировать, отметить навсегда все вокруг: пляшущие мысли, состояние просветления, обстановку, имя, все, чем можно отметить, пометить даже этот миг. Это набрасывается у окна, масса листков, а пока просыпается улица, потом уже вполне рассветшая, утренняя осень хлопает дверями за окном, внизу (все это можно так описать, что дождь будет течь по строчкам) идут в школу дети и не дети, кучами и в одиночку; в экстатической комнате отпирается окно, потом дверь... и он уходит в булочную. А листки на подоконнике. Сквозняк и вдруг все эти белые приметы «одиночества в экстазе» летят за окно и на уровне последних этажей вальсируют над слякотью, а внизу проходят в школу дети и не дети, они стоят и ждут. А потом это падает, и разные жизни бросаются за этими «симптомами ночи». И много несущественного, школьных выходов и потом другая нешкольная жизнь, подобравшая листки, мало постигшая, но отобравшая у остальных эти пока еще

иероглифы для нее. Потом порывисто идущее развитие, может быть, влияние даже подобранных фраз, и масса своего, оригинально-одинокого, потому что это — влияние по-своему комментированных знаков; и затем встреча оригинала с переросшей его копией, даже не копией его, может быть даже антитезой. Я не сказал тебе о главном, ради чего конструируется эта фабула, о постоянном фатальном чувстве объективности, зависимости, которая проникает через дополнение и заставляет его постоянно согласовывать все свое развитие и его этапы — переживания с незнакомым ему, странно любимым подлежащим. Все целиком — сложный случай, когда жизнь в роли художника, когда портрет пишется элементами психическими, целыми, своеобразно формирующимися наклонностями и воззрениями, только мнимо несамостоятельными и тем более субъективными и независимыми, что их преследует постоянное сомнение «героя»; мне было интересно это как вид, где и психическое, как краски и звуки, становится средством в творчестве, средством выполнения задуманного. Но вся эта повесть о quasi — заказанной жизни совершенно ни к чему здесь, если бы я не хотел сказать тебе, что у меня такое состояние сейчас, как будто я когда-то на рассвете шел и ждал падения твоих листков; так много такого у меня, что принадлежит тебе! Но я припомню, нет, ведь не подбирал я ничего, Оля? Что же это?

Вот с поездом хотел я многое отправить тебе. Наступило 11 часов, я простился с тобой и, о ужас, я был заперт в собственной квартире. Пойди, стучись здесь! Уже сегодня выяснилось, что я по рассеянности не прикрыл двери и провел целых полдня в настешь открытой квартире. Швейцар, осматривавший вечером классы, не знал, вероятно, что мой ключ в Меррекуле, и «исправил» мою оплошность. Ты знаешь эту боль, когда волнуешься, смотришь на часы, зависишь от этого освещенного вокзала, куда прибежишь, как будто можно повидаться, — и вдруг дверь, плоская — и дверь до последних мелочей... Сегодня утром я так мило орал на весь двор, чтобы меня отперли, и как долго нужно было объяснять это все!

Я перечел письмо и положил его в камин, как положу и это, если не брошу сейчас. Потому что все это так мало, и так трудно писать, Оля, ты же знаешь, как я жду тебя, но не пиши мне, если и тебе это так мучительно трудно, я же боюсь своих писем к тебе и не буду писать. Но если бы ты приехала к Тоне!!!

Не пиши мне таких писем, они столького требуют! Надо стать подвигом, твоим подвигом, прочитавши

тебя. А я! Я отвечаю! Оля, родная, это гадкое письмо из Вруды; и сейчас эти фразы человека, пораженного пудостью, и вообще вся эта тикопись после твоего письма! Правда ли, что мы передавали друг другу этих: кондуктора, извозчика и этого дорогого морского жителя, который искал соли и тоже находил сказочное в Меррекюле! Он ведь едва, едва сдерживал ресницами целый взрыв романтического смеха или какой-то веселой погони за чем-то... и все это висело на рыжем волоске!! Я ведь ими, их присутствием, заменял прямое выражение какой-то строгой нежности к тебе.

О, как ты страдаешь! И я хотел бы успокоить тебя, но не потому, что старше и сильнее. Ты старше, ты сильнее. Но может быть, можно успокоить слабостью.

Ведь мы еще раз увидим друг друга? Мне это матерьяльно невозможно, но если и ты не можешь, я поеду в Петербург, если хочешь через месяц. А теперь дай мне руки свои; простят ли они меня?

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

СПб. <30.VII.(?)1910>

Я тебе пишу, потому что ты ждешь моего письма, потому—что иногда нельзя молчать. Но ты прав: завещания пишутся раз, и каждый раз прощаться с жизнью и становиться потусторонним—тяжело. Но, знаешь, после завещания обыкновенно делаются приготовления для «будущего» и, кроме того, устраиваются земные дела. Итак, я хочу с тобой поговорить на самую житейскую тему. Приехать в Москву? Я приехала бы, но сейчас затрудняюсь сказать, когда именно. На будущей неделе я отвезу маму в Меррекюль; ты себе представляешь, с какой охотой, но сделаю я это по той же причине, по какой ты—помнишь—начал наносить знакомым визиты. Мама пробудет в Меррекюле очень недолго, а я там останусь; кстати, бабушка¹ уедет, и я буду возле девочек², если только твоя мама этого захочет. Но девочки—это единственная возможность жить в Меррекюле и не надрываться от тоски. И если б там не было так хорошо; а то опять этот избыток счастья—и тоска, тоска. Когда же я приеду в Москву? Конечно до переезда с дачи твоих, а то опять

¹ Бабушка—мать Р. И. Пастернак.

² Девочки—Жозя (Жозефина) и Лида, сестры Б. Пастернака, им было тогда 10 и 8 лет.

у меня будут спрашивать «почему» и делать из меня чудака.

Я все-таки надеюсь, что приеду в промежутке между Меррекюлем и выездом оттуда твоих родичей, но все это гадательно. И потом, независимо от этого, мне очень хотелось бы, чтоб ты приехал к нам в сентябре. Я нарочно осталась на этот месяц здесь¹, чтобы пережить еще одну петербургскую осень; сентябрь и Петербург — это очень много. Потом, я хотела бы познакомить тебя с некоторыми своими друзьями; у меня есть друзья, хорошие и любимые, и до такой степени не пошлые, что даже познакомиться с ними хорошо. Я написала, наконец, Тоне письмо, и такое патетическое, что было бы дико, если б она не поняла меня. Между прочим, я пишу, что хотела бы встретиться с нею в Москве или заехать к ней в Елизаветино; интересно, как она к этому отнесется.

Знаешь, бывают чисто зрительныя воспоминания; так, я вдруг вспомнила, что в прошлом письме, на первой строке, стояло слово «предупредил» и... через ять². По этому поводу вчера с Лившиц мы очень смеялись: эта моя неожиданная комбинация страшно ей понравилась и дала повод надо мной смеяться. Да, но мне каково после такого фортеля; одно утешение, что я стала в одну позицию с твоим учеником и его «втечением» — и этим тоже перекинула мостик от себя к тебе.

Смотри, что за пустяки я тебе пишу после твоего письма. Но ведь это все — приведение в порядок земных дел.

Теперь о твоём «гадком» письме. Я, было, хотела, на него ответить несколькими словами, что, мол, понимаю и его, как результат известного рода «переходов» — не тех, так других; но потом подумала, что ты уже получил большое мое письмо и, значит, сам себе ответил. Если же я теперь об этом упоминаю, то только для того, чтобы не замолчать это письмо, а сказать о нем и этим снять с тебя тяжесть.

Одновременно с твоим письмом я получила еще одно, где прочла: «Вы не знаете, как приятно читать ваши письма: какой сочностью, веселостью, жизнью веет от них!» И мне сделалось страшно смешно, когда эти слова обо мне я сопоставила с твоими. Но, кроме шуток, когда это говорится беспристрастно — меня это очень радует. Радует особым образом: это не удоволь-

¹ О. Фрейденберг собиралась ехать за границу.

² Письмо от 25 июля 1910; «Ты предупреждал, что не напишешь мне из Москвы...» — написано правильно, через *е*.

стве в настоящем, не льстит моему тщеславию — ей-Богу, нет. Но меня это переносит в то время, когда слово меня опьяняло: когда у меня был большой подъем, и большая вера в себя и в свое слово, и когда я могла писать и упиваться написанным. И теперь это все так далеко от меня, что я часто задаюсь вопросом: был ли это, действительно, талант? и если талант, то как я могла его убить? То есть, убивала я его сознательно; но как мог он поддаваться? И ты представить себе не можешь, как дороги все эти простые слова, восстанавливающие мое «что-то», хоть в воспоминании, хоть в воображении, — что за дело! Но дороги и приятны этой радостью, смешанной с горечью. О, да, я когда-то могла писать — это ясно; при том моем подъеме, близком к вдохновенью, при влюбленности в бумагу даже, в чернила, в перо — не говоря о самом слове; при этом самозабвении и в то же время какой-то клокочущей вере в свое творчество, — не писать я не могла. И при этом столько вспоминается... Как все это выливалось на бумагу; как, бывало, в простом классном сочинении о жизни Ломоносова или Посошкове я давала столько, что сама трепетала и не знала, что с собою делать. Как сочинение — классное — о завещании Владимира (!) учитель держал в руках, переворачивал страницы и говорил, что не знает, какую выставить отметку; как он смотрел на меня и говорил: «Вы... вы... я не знаю, но это удивительно. Надо вам все бросить, заняться только этим... Вами надо совсем особо заниматься»; и смотрел то на меня, то на тетрадь — удивленно и беспомощно. А потом, год спустя, Никольская¹, с которой мы были ожесточенными врагами, держала мое сочинение о письмах Карамзина (!!) и говорила, что она поражена, что оригинальность моих мыслей прямо замечательна, что как в голову мне пришло так подойти к Карамзину и ввести метод такой тонкой психологии. Да, как приходило мне в голову? И если бы мне дали развернуться, а то Карамзин и эти письма из Швейцарии, и даже план, пошлейший план, по которому Никольская велела писать! И многое, многое я вспоминаю теперь, когда все это ушло — и так далеко, что можно спокойно об этом говорить, не испытывая тщеславия.

О, какое это горе, если бы ты знал — это спокойствие вместо творчества!

Но ты, верно, знаешь. Разве не такова и твоя

¹ Антонов и О. В. Никольская — гимназические учителя Ольги Фрейденберг.

история с музыкой? И вот иногда мне хочется тебе сказать: не ошибся ли ты? Не бросил ли родное? Тогда оно отомстит за себя: всю жизнь не найдешь ничего, на чем бы успокоился, и—главное—вернуться тоже не сможешь.

Как я заговорила, однако! А на дворе осень—холодно и дождливо; скоро пожелтеет лист—и опадет. И будет опять вспоминаться, и не факты, а переживания; еще одна осень, еще одно «увяданье».

«Природы—пышное»¹, человека—убогое.

«Остальное—молчание»².

Ольга.

Мама говорит, что тебе написала и что я там фигурирую; советую тебе относиться с некоторой осторожностью к словам, к <оторые> мама очень любит цитировать... (не ее). Т. е. мама всегда все идеализирует—в ту или иную сторону.

ФРЕЙДЕНБЕРГ—ПАСТЕРНАКУ

СПб. <2.VIII.1910>

Боря, помилосердствуй! 4-го августа приезжает бабушка, и тетя Роза просит меня сообщить Саше Маргулиусу час, в который прибудет поезд в СПб., а поезд, как гласит открытка, «Борин и Олин». Но—увы!—Оля не помнит, что показывала стрелка часов на вокзале милой Балтийской дороги; она тогда не думала о времени. Ты, б. м., помнишь? Ответь мне *сейчас же*: 4-го днем я уже должна переговорить с Сашей. А то, помилуй, скандал: не знать поезда, с к <оторым> приехали!.. Это останется за нами как клеймо. И подумать, что бабушка увидит нашего кондуктора и... он ничего не скажет ей сердцу!..

Ольга.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <3.VIII.1910>

И это дочь изобретателя? И такого?! Ты хочешь знать способ употребления? Берут одну петербургскую

¹ Из стихотворения Пушкина «Осень».

² Последние слова Гамлета перед смертью.

газету с расписанием поездов, находят там что-то вроде 9 ч. 20 м., 9 ч. 40 м. веч<ера>, вообще от 1/2 девятого до 1/2 десятого (и это непременно один поезд) и потом эту щепотку опускают в С. Маргулиуса — денатурированный кипяток, где эти сведения варятся в балтийском перегоне. Если там много приходящих поездов такого вечерне-мечтательного типа, то нужно помнить, что бабушкин поезд не тот, что идет из Гатчины или Петергофа, а дальний; но ты конечно понимаешь, что небо завалено сейчас целым благодарственным адресом от меня за то, что оно выпустило тебя в свет с такими выдающимися способностями разрешать затруднения. Ты, по-видимому, так же высока от уровня моря, как и я. У меня наступает утомление, когда я читаю твои синие строки, утомление, похожее на то, когда смотрят на другую, такую же далекую, но более несложную синеву. Это все вздор! Но ты не можешь себе представить, сколько труда создала ты мне? Ты ничего не понимаешь? Я тебе это расскажу во второй, московской и третьей, петербургской части наших завещаний. Знаешь, я начал «Историю одной жизни» Мопассана. Я дочитал до 40-ой — 50-й стран<ицы> и удрал из Москвы, вечером, в дождь к товарищу в имение¹, куда нелепо и неудобно приезжать в такое время и с такою готовностью «занять» хозяев своим появлением. Ты ведь знаешь, как мы готовили уроки в школе: поздно ночью, безмолвно, у окна; а в последнем классе с враждебностью против этой небольшой, отведенной для срочного ночью. И все твое, только по своим случайным, не внутренне существенным, а вторичным, производным определениям «инородное» для меня — как те ночные уроки-зачеты.

Не потому что твое появление загадочно мне, тогда бы я оставил его, но нужно решить его близость и родство. И это трудно!

Я взял себе 35-рублевый урок с девицей по латыни. Девица — иркутская².

Нужно было выезжать в Москву. Однако, я медлила.

И вот тут-то обнаружилось, что мне не хочется... Все, что у меня произошло с Борей в течение июля, было большой страстью сближения и встречи

¹ К. А. Л. Штиху в Спасское.

² Е. А. Виноград — двоюродная сестра А. Л. Штиха. Уроки не состоялись.

двух, связанных кровью и духом, людей. У меня это была страсть воображения, но не сердца. Никогда Боря не переставал быть для меня братом, как ни был он горячо и нежно мною любим. Какая-то черта лежала за этим... Да, братом... Я не могла бы в него никогда — влюбиться. Когда же у него это появлялось, он становился мне труден... неприятен, не хочется говорить этого о нем, но... отворотителен, — конечно, бессознательно, даже вопреки сознанию и воле, но где-то внутри, в темноте чувств, в крови... Я была ему страстно преданной, любящей сестрой.

И случилось так, что он предупредил меня против «недоразумения», а его-то и не было. Мне становилось душно от его писем и признаний. Сначала я была в «трансе», и такая лирика могла бы продолжаться и дальше, если бы не встала реальность с билетом в Москву и обратно. Она охладила меня. Я стала думать и о других реальных вещах: пыльная квартира; я с Борей вдвоем на 6—7 комнат; он будет поить меня чаем из грязного чайника; как я буду умываться? Что скажет тетя, когда узнает? и т. д.

Уже один этот репертуар вопросов говорил о безнадежности положения. Я умывалась, и ночевала, и жила, когда хотела, в трущобе; я пила, когда хотела, в трактире квас из грязного стакана и пальцами вытаскивала таракана. Когда во мне подымалась тоска по комфорту, значит, в сердце пусто.

К тому же я никогда не любила растянутых сюжетов. Страсти любят законченность, не меньше, чем фабула. Мне хотелось ухода. Я была молода, и самая вечность мне казалась привлекательной при условии ее непродолжительности.

Так я себе говорила. Но дело было проще: я его не любила. И потому, избегая объяснений с ним самим, я (черт его знает, как я могла так грубо, свински поступить!) попросила его передать Тоне, что в Москву не приеду... Попросила открыткой, изображавшей один из видов в Меррекюле.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

СПб. <13.VIII.1910>

Боря, 15-го будет в Москве Тоня; если вы встретитесь, то скажи ей, что быть в Москве я не смогу, и прошу ее Одесский адрес (я получила от нее прелестное письмо из Елизаветина, но уже не успею на него

ответить—она уезжает). Знаешь, мама была в Мерре-кюле без меня и вчера приехала. Посмотри на эти камни: «Чуешь, батько!» 19-го приезжают в Москву твои родители, а 18-го они у нас.

Ольга.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <14.VIII.1910>

Да? Ну что ж делать,—я передам Тоне. Бабушка говорила мне о каком-то предполагавшемся письме твоём; как хорошо, что ты прекратила мое ожидание своей милой открыткой. Да, это действительно Мерре-кюль. Я думал, что наши приедут 15-го. Твое сообщение неприятно поразило меня: еще 5 дней одиночества! С моим уроком ничего не вышло, условия неподходящи, так что я не смогу быть в Петербурге. Да, понимаешь ли, Оля, у меня болят зубы. О как больно!!

Борис.

ФРЕЙДЕНБЕРГ—ПАСТЕРНАКУ

СПб. <16.VIII.1910>

Ты, очевидно, написал свою открытку в припадке тикописи. И не было тебе стыдно?

Я не верю в фиаско твоего урока, и мысль, что ты сказал мне неправду, огорчает меня больше, чем твой неприезд. А сегодня твой папа переслал маме твое письмо к ней,—и меня поразило не обещание быть в СПб., а резкая разница тона того письма и этой открытки ко мне. Очевидно, ты снова находишься под влиянием «переходов», и я даже знаю, каких.

Лучше раскайся и на мой вопрос о правдивости твоих слов чистосердечно скажи: «Вру, да».

Ольга.

Когда болят зубы—их вырывают.

ПАСТЕРНАК—А. О. и О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <19 августа(?)1910>

Моя дорогая тетя Ася!

Я хотел сейчас же после вашей открытки благодарить вас за готовность помочь моей поездке и за

сладкое. Но я боялся. Вот напишу, а послезавтра придут наши, скажут два-три живых слова о СПбурге, и меня прямо захлестнет, заломит в позу Николаевской железной дороги: захочется много писать вам, и так, что это многое скорее должно будет быть отнесено к Оле, и к ней захочется писать, но опять-таки буду писать я и такие письма, которые были уже обсуждаемы Вами и ею с иронией и т. д. Словом, я чувствовал несвоевременность ответа и ждал приезда наших. Они приехали... ах, в Меррекуле были такие чудные (может быть скверные, я не помню) погоды, у детей на маскараде были превосходные костюмы!..— А Петербург?..—ах что у нас вышло с билетами! Бор-ря...—Нет, нет, скажите, вы видали город и «их»!..— Да мы видели на вокзале... Одним словом, как будто это не люди, а овощи, которые были подвергнуты последовательной пересадке из местности в местность. Свойство пастернака расти в земле и обрастать землею; да, таково свойство этого вида. Вы понимаете, для них совершенно закрыт был вид на Екатерининском канале! В этом смысле папа оказался меньше всего пастернаком. Так что жаль, что я не ответил вам до приезда наших. Один итальянец, Papini¹, говорит, что художник делает обыкновенное необыкновенным и обычное необычайным. Значит у меня нет ничего художнического, но моя судьба за то, она-то вероятно суфлировала Папине: ибо все, что кажется мне обыкновенным в моих поступках, взглядах etc., признается «несколько странным».

А вот три дня в вашем городе, это уже далекое прошлое, которое каким-то глухим рупором иногда веет на меня издали: это необычайное из необычайных, которое имеет свои вибрации (прошлое вибрирует сильнее всего на свете) и приближения—оно оказывается самым обычным в глазах наших; самым обычным городом с обычной встречей обычных близких людей и т. д. Но не думаете ли вы, что Лившиц, распределившая в двух последовательных открытках так удачно в обеих столицах атмосферные осадки (она писала о дождях в Петербурге и Москве и наоборот), и ее недоумение при моих советах хоть сколько-нибудь изменят мою природу и мои наклонности? Вероятно, я останусь тем же, несмотря на ее кузена с его заботами о нравственности кузины, несмотря на всю эту квизизану² этического.

¹ Джованни Папини, известный итальянский поэт, отошедший от футуризма.

² Общедоступная столовая.

И, думается, Петербург и дядя Миша и Оля и все останется сложной, притягательной темой, оказавшейся для наших — постройками, людьми, понятным, доступным, оформленным. Если я пишу так глупо, что ничего нельзя понять, то скажу просто: наши поехали из Петербурга в Москву; я, выехавши от вас, поехал в страшно далекий Петербург, но Петербург, а не Москву. Вы видели мою угнетенность в начале этой поездки: это настроение было просто показанием далемера. Меня огорчило, что наши привезли такую румяную простоту после свидания с тем, что заставило меня немного заболеть. Но тут оказалось что-то роковое в судьбе семьи художника. Они пережили коллизия с городом на *полотне...* железной дороги. Эта коллизия — скандал с билетами на перроне.

Скоро начинается университет. Я запишусь на высшую математику. Скоро у меня экзамены. Один убийственно интересный! Основной курс чистой логики. Проф<ессор>¹ уже знает меня с весны, я поступлю к нему в просеминарий по опытной психологии, но он меня предупредил, что может быть я разочаруюсь, т<ак> к<ак> слишком отвлеченно мыслю (это после экзамена по филос<офии>). Я это говорю вам *из-за* тщеславия. Потом я вспомнил, когда здесь по какой-то строчке поплыла Оля, что урока у меня действительно нет, так что я написал правду, но правду на тикопирующей машине,— в этом она права.

Тетя, что бы вы сказали, если бы я поручил вам *передать* Карлу, или нет, кому-ниб<удь> еще, что меня исключили из университета или, если вы не суеверны, что Шура сошел с ума, я убил человека и заболел коклюшем. Лида занозила дыхательные пути, Жоня поехала в Нарву писать дневник и всю ночь в Кремле били набат, чтобы она могла ориентироваться в своей пропаже... и еще и еще, такое за душу хватающее, ужасающее, зачесывающее бобриком все фибры вашей души... и все это *передать*... как будто бы вы только калькируете это известие и не настолько сопереживаете эти катастрофы, чтобы и вам это передавали, как конечной станции, а не узловому пункту.

Я передал, Оля, Тоне о твоём отсутствии в Москве. Фибры ее души... одним словом, я ее чуть не побил... она не царапнула ни одной обои и не дотронулась до пепла, хотя я заготовил к ее приходу целый склад окурков. Но все-таки она была страшно огорчена. У нее еще нет адреса. Она напишет тебе при первой

¹ Имеется в виду Г. Г. Шпет.

возможности. А Вруда и Тикопись, ты права,—какие-то святые Дары. С ними нужно являться в решительные минуты неверия.

А зубы: — зачем их рвать; они такие чистые! И ведь это зубы мудрости болели; но только нервной болью.

Понимаешь ли ты эту сигнализацию сквозь зубы, Оля? Мои неоромантики¹ съезжаются. Уже одного видел из Бретани, другого из Парижа. Этот катает наизусть Ад по-итальянски, так что прямо в круг попадаешь. Он это преподносит как Горацио Картер свой электровалидор от ревматизма. Но хорошие ребята. Мне так странно лепиться на карнизе моего письма к твоей маме, но ты понимаешь, что *приписка* тебе самопротиворечивое понятие.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

СПб. <Август (?) 1910>

Это уже старая история, что в конце твоих писем к маме, где-то внизу, у края, между строк, вдруг вырастает Оля—вверх ногами, сдавленная и суженная. К счастью, только в письмах... И потом, хорошо еще, что я умею читать между строк...

А ты все еще там разгадываешь меня? Это недурно. Боже мой, как жаль, что я сейчас не так себя чувствую, чтобы дать тебе свою отгадку в той форме, как дала ее одна любящая кухарка любимому куму,—ты это знаешь? Первый слог кушанье, второй плод. Вместе: «щислива». Но этот ответ тебя не удовлетворил бы? Зато, как подходит к тебе ответ кума! Он отблагодарил кухарку за ее «чувства» подарком и тоже в виде шарады: первое—кушанье, второе—растение. Итого: «суприс». Так вот, и ты тоже вместе с разгадкой себя прислал мне сюрприз, но только—увы—не в значении подарка.

Но это хорошо, Боря, что ты не отказался от приезда в СПб. категорически; ах, ведь наука и надежда одинаково питают юношей...

Знай, я в сентябре опять напишу тебе, и опять тебя буду звать. А если приехать ты не сможешь и тогда,—мы простимся письменно *minimum* на год. Я только немного страшусь этих завещаний, потому что после истинного завещания неминуемо должна последовать

¹ Литературно-художественный кружок «Сердарда». См.: Пастернак Б. Люди и положения.

смерть—иначе оно не оправдывает своего назначения. И оно так выношено, выстрадано, живо, что остается только написать. Но хочется жить! И вот тебе на практике рядом с логикой, психологией и философией (правда, они здесь подразумеваются в кавычках)—глупая «жизнеупорность», о которой я тебе уже писала.

Ну, а твои зубы? Я, положим, догадывалась по тому письму, что пострадала мудрость... зубов. Но предложила тебе вырвать оттого, что к этому сводятся все врачевания; и чем чище зуб, тем сильнее боль, ибо к боли физической примешивается боль жалости и любви к зубу,—так не лучше ли его вырвать? А согласишься, что зубы обладают редким и драгоценным свойством: когда они болят, их вырывают...

Чистая логика, опытная психология, высшая математика,—как хорошо все это звучит, и как хорошо, что ты там в гуще всего этого. Даже университет, профессор, экзамены—и это отлично. А я тут совсем одна в своей комнате—и ничего решительно не делаю, и ничего, кроме Мопассана, не могу читать: так-таки ничего. И ты представить себе не можешь, как хорошо, что ты в университете, и у тебя экзамены, и профессора читают о чистой логике. И, может быть, к лучшему даже тот ужасный факт, что ты в своей комнате не один¹.

А у нас, в СПб. университете, преобразован филос<офский> отдел и там введены обязательные курсы высшей математики и естествознания. Это по-твоему.

Итак, пока до сентября; шлю тебе бумажное про-сти. Хотя... Ведь, наверное, тебе мама еще напишет, ты ей опять ответишь, и на ее ответ ответишь снова,—и, кто знает, вдруг мы опять с тобою встретимся где-нибудь у обрыва... не пугайся, твоего письма.

Ольга.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

<Открытка с фотографией Леонида Осиповича и Анны Осиповны в Меррекуле, без даты, осталась не отосланной в бумагах Б. Пастернака.>

Вот эти две фигуры! Сколько мучительных вопросов напрашивается при виде их! Почему они, например, не сидят на скамье?! Что ждет их впереди, как смело,

¹ Б. Пастернак делил свою комнату с братом.

отважно смотрит он, обнаживши голову, в глаза аппарату, с кулачком и галстуком, в то время, как сестра его умывает руки! Кто разрешит эти неотложные проблемы!

Мы давно не виделись с тобою, Оля, даже в том переносном смысле, который способна перенести открытка! (Тетя, здравствуйте.) Я хотел бы очень знать, поедешь ли ты, и когда, в Париж. Вообще ты доставила бы мне такую радость, если бы написала о себе! Ты и не знаешь, как я буду ждать вестей от тебя, подкинувши на почте тетю и папу. Ты, может быть, восстановлена против меня чем-нибудь? Но на каких основаниях? Как ты чувствуешь себя? И если тебе плохо, то напиши, я сейчас же отвечу, и вот ты увидишь, как безнадежно симметрично выйдет это.

Уже через год после Меррекюля произошло событие, которое внесло много нового в мою жизнь. Я заболела плевритом, который быстро перешел в туберкулез, и наш врач велел немедленно везти меня за границу в горы Шварцвальда. Мама, перепуганная моей болезнью, оставила семью и повезла меня в Германию. Я поехала с трудом, так была слаба. Господин придворный советник, главный врач Шварцвальдского санатория после неудачных попыток лечения уславил меня в Швейцарию,—во французскую, конечно, я в немецкую не хотела. И я с мамой очутились в Глионе, над Монтре, на горах, которые окружали Женевское озеро. Мы поселились в отеле на полной свободе. В голубом, поистине бирюзовом озере отражался там, внизу, Шильонский замок. И я быстро окрепла и стала поправляться. Через три месяца мои легкие зарубцевались и туберкулез был остановлен.

В одну из следующих зим я ездила в Москву. Боря был ласков, как обычно, и наши старые братские отношения восстановились; бывал он и в Петербурге, привязывался больше к маме, чем к отцу, и его сердечная теплота и мягкость, его нежное внимание ко мне носило привычный с детства, родственный характер.

Я была на этот раз более взволнована, чем Боря. Я испытывала разочарование. Мне было грустно, что все так прозаически у нас кончилось. Я ждала еще чего-то,—очевидно, того самого, чего не хотела. Мне казалось, что я глубже Бори, что я трудней вхожу и ухожу, а он поверхностный, скользкий, наплывающий. Время показало, что это было как раз наоборот и что я капризничала. Но мне было искренне грустно.

Мне хотелось поехать за границу одной, без мамы. Отец, любивший английское воспитание, охотно отпустил меня, но поставил условие, чтоб один месяц я провела в горах Швейцарии для укрепления здоровья. С тех пор я еще три года ездила за границу преимущественно одна; там застала меня война 1914 года.

Я влюблялась в страны и людей, и знала, что навсегда их покину. И это делало для меня приятным, легким и максимально насыщенным каждое увлечение. Я не боялась ни случайности знакомств, ни двусмысленности встреч и свиданий. Я текла по течению, полудремотная и активная, открытая всем впечатлениям и чувствам.

Как-то раз, проезжая Германию, я нарочно свернула во Франкфурт, недалеко от которого, в Марбурге, Боря учился философии у знаменитого Когена¹. Я остановилась здесь с коварной целью: написала письмо Боре и ждала, не откликнется ли он; если нет, то незаметней уехать с носом из Франкфурта, чем из Марбурга. Мне хотелось повидать Борю, но я боялась набиваться, боялась звать его, потому что за границей как-то особенно ощутила возможность новых волн старого чувства.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

<Франкфурт, 26 июня 1912 г.>

Среда

Меня отделяет от тебя два часа езды: я во Франкфурте. При таких условиях добрые родственники встречаются. Не дашь ли мне аудиенцию? 3 дня я провела в Берлине с твоими родичами, и история Лейбница, вторников и пятниц² мне известна; поэтому боюсь, чтоб ты не понял в этом письме намек на завоевание других дней недели. Я свободна, приехать

¹ Коген Герман (1842—1918)— глава марбургской школы неокантианства. Б. Л. Пастернак учился у Когена на протяжении летнего семестра 1912 г. и удостоился благосклонного внимания немецкого философа, но круто разорвал с философией при обстоятельствах, о которых позднее рассказал в автобиографической повести «Охранная грамота» (1931).

² Посещая по вторникам и пятницам семинар Г. Когена, Б. Л. Пастернак одновременно готовил для профессора П. Натторпа (1854—1924) реферат по Г.-В. Лейбницу (1646—1716), великому немецкому философу и математику.

могу в тот час, который тебе наиболее удобен — днем ли, вечером ли, утром. И во Франкфурте я остановилась не для тебя одного, хотя и для тебя, конечно. После Берлина, твоих родителей с их хождениями по магазинам и после Вертгейма — я нечувствительна к сильным ощущениям. Все это ставлю тебе на вид, дабы ты не стеснялся «высказаться» — попросту, не тратить времени и энергии на нашу встречу. Ты знаешь ведь — искренность должна быть максимальной, и твой ответ должен быть решителен. Но ответ обязательно — я жду.

Ольга.

В том или ином случае прости мне мое колебание.

Едва я отправила ему письмо, как уже прилетел ответ.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

< Marburg, 27 июня 1912 >

Господи! Вчера ночью, в кафе, говорил о той осени одному человеку: сегодня не могу войти в нужную колею; — и вдруг, Франкфурт!!! Отчего же мы не удивляемся, не удивляемся этой последовательности? Ты спрашиваешь день, час? А вот я, — не спрошу! Итак, существуй под Дамокловым мечом. Я тебя не застаю в гостинице? Ну, так я пойду в Гетевский домик. Там тоже нет? Ну, так я услышу, как трава растет. Словом — я отмстил тебе.

Понимаешь ли ты, что значит: из-за тридцати земель, из-за тысячи дней наконец добраться до Когена и вдруг оказаться значением того слова, которое, между прочим, не воробей, ибо, когда оно вылетит, то, естественно, его не поймаешь. Это может, казалось бы, понять ребенок. И вот это слово: Pasternak вылетело у Senior'a Семинария на вопрос боготворимого мага: кто ему будет реферировать в этот вторник. Отказаться нельзя. Но можно ли удержать, не растрясти поднос с таким множеством строк, как те книги, в которые нужно взглянуть для реферата — при этой килевой качке: Марбург — Франкфурт. Милая, я бегу наконец от морской болезни, и если я перед лицом философии оказываюсь глупым как пробка, — то навигационный характер всей картины делает это качество во всяком случае завидным. Лейбница я уже отвел на

место. Мазурка с этикой уже обещана. Но—vogue la galère¹.

Оставить тебе место для двойки с минусом?

В конце концов ты не знаешь, что тебе делать?—Ничего. Ты ничего не успеешь. Это—моментальная фотография за пяточок. И как всегда, ты себя не узнаешь. Но может быть, тебя оттолкнет мой тон? О нет, я не фамильярен. Я просто раб. И даже без твоего аншлага: «...остановилась не для тебя одного» — даже и без него, говорю я, я тщательно вытер бы ноги, без шума ступал по коврику и перед тем, как постучать, оправился бы готовый встретить оживленное общество у тебя.

Я вообще не понимаю таких предостерегающих замечаний. Разве я так самоуверенно лезу на интимность?—Хотя, быть может, иногда неудачный тон моих писем давал тебе основания так меня понять.

Мне даже нравится та нотка старшинства, которая против твоей воли вкрадывается в твои письма ко мне. Это как раз та нотка, с которой ты заказывала Шуре цветы. Что ж, я к твоим услугам.

В пятницу к завтраку низко тебя привечу. То есть завтра.

Вслед за письмом явился ко мне и сам Боря.

Я сидела в ресторане своего отеля в огромной летней шляпе, усыпанной розами, и пожирала бифштекс с кровью. Напротив меня стоял лакей, с которым я флиртывала. Я уже привыкла к широкой заграничной жизни, к мужской прислуге, к лакеям, стоящим напротив стола и следящим за ртом и вилкой, к исполнению всех прихотей и капризов. Я привыкла нажимать кнопки и заказывать автомобили, билеты в театр, ванны. На этот раз молодой, шикарный официант на стену лез, чтобы угодить мне. Я любила хорошо поесть—разные черепаховые супы, тонкие вина, кремы, особенно мясо с кровью; мой молодой приятель уверял меня, что повар готовит мне с особым старанием по его просьбе.

Вдруг дверь открывается, и по длинному ковру идет ко мне чья-то растерянная фигура. Это Боря. У него почти падают штаны. Одет небрежно, бросается меня обнимать и целовать. Я разочарованно спешу с ним выйти. Мы проводим целый день на улице, а к вечеру я хочу есть, и он угощает меня в какой-то харчевне сосисками. Я уезжаю, он меня провожает на

¹ Кривая вывезет (фр.).

вокзале¹ и без устали говорит, говорит, а я молчу, как закупоренная бутылка.

Эту встречу он описывает потом в «Охранной грамоте». У него тогда происходила большая душевная драма: он только что объяснился Высоцкой в любви, но был отвергнут. Я ничего этого не знала. Но и мне он как-то в этот раз не нравился. Я не только была безучастна, но внутренне чуждалась его и считала болтуном, растеряхой. Я прошла мимо его благородства и душевной нежности и даже не заметила их.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Франкфурт, 28 июня 1912

Я все-таки очень рада, что встретила с тобой, хотя это свидание монархов история и назовет неудачным. Хотелось бы, конечно, совсем иного; но я заметила, что в наших встречах удача и неудача всегда чередуются,—и уже одно это непостоянство меня очень радует. За все то время, что мы с тобой не видались, во мне очень многое изменилось, я хочу сказать—была большая смена разных деятельностей (это не то слово, которое нужно, но ты понимаешь); оценить все это качественно я, конечно, могу, но про себя, количественно же это тоже так понятно, что нетрудно подвести итог. Бывают все же периоды более или менее интенсивные; за эти два года во мне произошло многое такое, что исчерпало не только свое время, но захватило еще некоторый промежуток будущего. К чему говорю я все это? Да, вот что. Мне хотелось сказать, что я ждала от тебя большего. Потому ли это, что прежде я была менее подготовлена к тебе и возводила тебя в степень, бóльшую, чем ты был? Такая теория была бы в твоём вкусе; ты раз очень остроумно назвал ее «духовным реверансом». И вот теперь в своем письме, говоря об интимности, которая, якобы, кажется мне в тебе навязчивой, ты ссылаешься на «некоторый тон» твоих старых писем: он-де превратно был понят мною. Я этого не люблю. И не хочу, чтоб ты комментировал те письма, как бы глубокомысленно это ни было. И как ты ни определяй себя того, петербургского периода, все же ты не

¹ Судя по следующим письмам, О. Фрейденберг провожала Б. Пастернака на вокзале, а потом вернулась в отель, уехала вечером.

можешь его заслонить этими определениями. Я, правда, не совсем была подготовлена для «того» тебя; но я боюсь, что ты сейчас не совсем подготовлен для меня. Прогрессия за это время очень увеличилась—и ты не вырос настолько, насколько я ждала. Ах, это было такое тяжелое, тяжелое время, когда приходилось вырастать в несколько дней, иногда часов, и видеть, как от этого уменьшается то, что казалось большим. Эта радость изменчивости, движения вперед и роста всегда сопровождалась горечью все большего одиночества. Некоторые люди были для меня станциями; я их видела издали, знала, что они далеко от меня, и не скоро я до них доеду. Я даже не верила в то, чтоб можно было поравняться с ними; и тогда они служили мне, как нечто путеводное, как то, к чему надо идти. Потом—сильное движение вперед, невероятное напряжение этой силы—и оказалось, что станции мною проеханы, и я даже не стояла на них. Тогда мною овладевала непередаваемая тоска; не хватало самодовольства, чтоб опьяняться своим пробегом, и только сознавалось одиночество уже сверх нормы—злое, упорное. В письме все это выходит гладко; но ты должен же почувствовать, как это все было трудно. Что же делать? не бежать же назад? Я тогда залезла в себя с большей силой—это так естественно; я порвала со всеми подругами—и не постепенно, а уничтожила нашу связь обыкновенным письмом за три копейки. Мне все казалось, что у меня воруют время; ко мне ходила итальянка и испанец (учителя), и хотя они мне нужны были, но я им отказала в один день, на что я обыкновенно совсем не способна. Я была замкнута до последней степени и не переставала «там внутри» работать; когда я разомкнулась—я была закалена. Во мне необыкновенный запас самоуверенности и упорства; я всегда могу расчесть все свои пробелы и расстояние от человека, стоящего надо мной,—но и сама умею смотреть вниз, не скрывая этого. То, что ты любишь иногда самобичевание—это не то еще, нет—то, что ты любишь уменьшить себя—я называю тщеславной скромностью. У меня этого нет; я знаю, что имею право называть себя собственным именем. И мне иногда думалось: как теперь я тебя встречу? какой пробег предстоит мне теперь? И я создавала мысленно нечто очень далекое, чтоб посмотреть на себя в беге и поймать себя на остановке обессиленной.

Повторяю, я могла выдержать очень большое напряжение и встретить тебя мелькающим из-за дали. Тогда я погналась бы за тобой—и я в себя верю,

ей-Богу!—я дошла бы до тебя. И вот тебе все, как следует быть: ты вдали в Марбурге, я на остановке во Франкфурте! Почему я с тобой не говорила? В Мерре-кюле—потому что ты чудом невозможное делал возможным, и сам говорил за меня; все, что говорил ты—принадлежало мне. А сегодня—просто от истощения. Я столько готовилась к этой встрече, столько раз ты был мне нужен и тебя не было, что я выгорела, как копеечная свеча. Когда мне хочется чего-нибудь—ты представить себе не можешь, как это должно быть исполнено, потому что иначе я опустошаюсь от этого желания. Как хорошо, что ты уехал, не втягивая себя и меня в эту пустоту молчания; и как я могла не понять, что после всей этой тоски по тебе, после сопротивления своему желанию встретиться с тобой и этих дней, которым нет числа—что после всего этого может остаться одно измученное молчание!.. Так суждено мне жить в себе и для себя; и когда я не делаю для себя того, чего хочу—тогда я мщу себе тем, что ничего не забываю.

Да, ты должен перевернуть карту и увидеть, что не ты вдали в Марбурге, а я на остановке во Франкфурте, а наоборот. Догонять тебя я не хочу; скорее тебе придется возвращаться. Если проедешь Глион, то вот адрес: Suisse. Glion s/Montreux. Hôtel de Glion.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Marburg <30.VI.1912>

Как бы это сказать?.. Мне досадно. Конечно, я вернусь к твоему письму и к сознанию тоже вернусь. *В понедельник, вечером.* А пока. Мне досадно, Оля, что ты так неосторожно запоздала со своим письмом; оно должно было прийти в августе 1910 года. Как раз тогда, когда, вернувшись больным из Петербурга, я был извлечен в одно прекрасное утро на Божий свет одним сердобольным другом и на его увещания, что так нельзя, что так и погибнуть можно и что при таких условиях нужно, бросив все, вернуться в Петербург... На все эти увещания—сослался на преждевременность этой поездки. При этом я с трудом только втолковал ему, что мне нужно в корне измениться: приходили тети Асины реактивы—где фиолетовым на белом была начертана моя—недоброкачественность; твоего же письма из Франкфурта не было тогда. И вот я решил перевоспитать свое сознание (я, Оля, сейчас не синтези-

рую, а точно обозначаю все)—для того, чтобы быть ближе «Петербургу».—Правда, цель эта держалась недолго, но первые дисциплинарные приемы мои определили для меня целое направление работы над собой. Являлись иные цели: люди, которые тоже были, как и «Петербург», классичнее, законченнее, определеннее меня...—И вот я попросту отрицал всю эту чащу в себе, которая бродила и требовала выражения—в угоду тех, кто... опаздывали, ибо, как это ни курьезно, до тебя, этим же летом я услышал тоже запоздавший «отзыв», которого не подозревал.

Я не знаю, поверишь ли ты мне, что меня согрело от того приветливого взгляда, который ты бросила в ту невозвратную даль. Я и сам люблю его, бедного. И потому я не могу не быть тронутым тобой. И мне надо все это. Я тебе объясню в закрытом письме.

Не сердись на меня, Оля, но все это, правда, досадно. Если бы мне время повернуть.

ФРЕЙДЕНБЕРГ—ПАСТЕРНАКУ

<Glion, Первые числа июля 1912 г.>

Все это очень скучно. Менее всего меня интересуют итоги. Вспоминаю, как ты говорил, что я бываю тебе нужна именно во время самоподсчета: в самое скучное для меня время! Очевидно, наши отношения поехали по рельсам нелепости.

Ей-Богу, твоя открытка нагнала на меня тоскующую скуку. Мне стало так скверно, что я даже сразу села тебе писать. Ну, да—ты был в отъезде и теперь хочешь посмотреть, что случилось за 2 года с твоим покинутым краем. Боже, как ты неопытен; в таких случаях берут билет «aller et retour» и в любую минуту возвращаются по удешевленному тарифу. Ты же с 1910 года взял круговой билет и скачешь с места на место; помнишь, сидя в садике, ты сам сознался, что тебя ждут еще многие места чуждые тебе, но необходимые в силу раз взятого направления. И пока ты не завершишь указанного в билете круга, ты не сможешь вернуться в старые места. Итак, сейчас Марбург; через месяц ты, кажется, обязан его покинуть? А потом куда и насколько?

У тебя страсть к определениям; ты всегда очень любезно приглашаешь меня к самоопределению. Но ведь это так избито, что определить—значит сузить. Я оттого и выбрала меньшее из двух зол и принялась тебя

определять. Но все-таки от этого и я страдаю. Не забудь, что я всегда рассматриваю тебя со *своей* точки зрения: только в связи с собой и по отношению к себе. Это, верно, подействует на тебя, как ушат горячей воды: неожиданно и жарко! Но я говорю это серьезно, хотя и шучу. У нас общая манера серьезничать шутками—и наоборот; мы постоянно шутим. Это, должно быть, оттого, что нам слишком грустно, когда мы вместе. И это опять-таки серьезно. Мне всегда очень грустно при тебе.

Ты поймешь ерундистику моего письма, когда узнаешь, что у меня повышенная температура и общее дрянное состояние, которому доверять нельзя: поэтому я пишу противоположное тому, что хочется. Серьезно, я больна и у меня нет сил; я так привыкла обходиться без их помощи, что нездоровья не замечала бы. Но когда надо сидеть над бумагой и держать вставку—так их участие необходимо. Уж года два, как наша вражда непримирима: я тогда вполне овладеваю собой, когда вне сил; тогда я лежу или сижу—и все так мило. Оттого и портится мое самочувствие, когда мне надо встать: мне кажется, что это ко мне вернулись мои силы.

Пишу сейчас в такой обстановке: черная ночь. Надвигается гроза—горная гроза с ужасным грохотом и чертовскими молниями. На улице шум и пожарные сигналы труб. Черт, до чего эти ситоены обожают свои трубы! Оттого эти сигналы не беспокоят меня, что я знаю, раз трубы в ходу—Швейцария вне опасности.

У меня какая-то спокойная самоуверенность относительно того, что ты это письмо прочтешь до конца. Патология тебя не интересует? Вспоминаю, что да; ведь ты уже начал, кажется, изучать юридические науки.

Так твой реферат сошел хорошо? Значит, Франкфурт на нем не отразился. А я в тот вечер была изгнана из отеля: у немцев правило об «очищении» (люблю этот термин!) за четыре часа до... до того часа, в кот<орый> ты приехал, т. е. до твоего законного часа. Это официально; а в обиходе—вещи лежат внизу, а ты в любой из комнат-салонов. Но я оскорбилась, выбросила все свои пожитки, ушла сразу из отеля и провела 4 часа на перроне. Стояла, сидела или пила Apollinaris. Вообще, меня удручало то, что я при тебе не умела говорить, а ты говорил хорошо и много; чтоб научиться этой удивительной способности, я выпила массу воды и в том числе пять бутылок Apollinaris'a. Я не преувеличиваю—пять. Это оценили гейдельберг-

ские студенты: ночью, на вокзале, они устроили дебош на пьяной подкладке, а перед моим окном что-то хрипло цели и размахивали руками. Я писала в Киссинген, что хочу приехать за Жозей¹; ответа не получила. Жозя непременно хотела приехать ко мне с тобой и говорила о твоём посещении Глиона так уверенно, словно здешняя католическая капелла со скамьями была обращена в университет с философским факультетом.

Я все-таки надеюсь, что мама отпустит Жозю, если я за ней приеду по выздоровлении. Если же мне не поверят, что я была больна—то это письмо будет доказательством. Какой сейчас воздух, какое приволье! Так вот—сесть и написать что-нибудь лирическое!.. Но мне нужно лечь; и почему лирика дается только сидя!

В конце концов, не сердись на меня за то, что я подражаю твоему разговору *quand même*². Когда-ниб<удь> встретимся. Когда-ниб<удь> пойдем вдвоем погулять, или в музей, или на вокзал за ближайшим поездом. Когда-ниб<удь> опять напишем друг другу, и опять в високосном году. Словом, я еще исправлю свою ошибку и тем скорее, чем это «когда-нибудь» быстрее повторится. И я ведь деликатна: смотри, на какой мягкой бумаге я пишу.

Ольга.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Marburg <11.VII.1912>

Дорогая Оля! Если бы слова были необитаемыми островами, если бы их не осыпал скрытый в туманах архипелаг предположений, я бы просто сказал тебе, что таким письмом кончить нельзя; т<о> е<сть> просто словесно нельзя. Вообще я писал бы то, что хочется. А то я должен объяснить тебе, что с философией у меня все обстоит отлично. Коген был приятно удивлен моей работой; я даже вторично реферировал ему с еще большим успехом.—Так что мое молчание—совсем не меланхолия после неудачи. Затем, я должен был оговориться, что ничуть не предполагаю с твоей стороны какой-нибудь потребности в письме от меня—и это объяснение лишено всякой опоры в виде самоуверенно-

¹ Родители Б. Пастернака с дочерьми были на курорте в Киссингене.

² Хотя (*фр.*).

сти. И еще много было бы оговорок.—Но если бы слова падали с неба как неорганические части,—и не разрастались в догадках etc., я бы сказал тебе, что так кончить нельзя; потому что то твое письмо (страшно справедливое и чрезвычайно важное, почти спасительное для меня)—было каким-то предварительным. Ты там говорила о своем стремительном развитии. Я просто дивлюсь той пронизательности, с какой ты уловила что-то чужое, общее и упадочное, что изменило меня. Ты и понятия не имеешь, как я сбился со *своего* пути. Но ты ошибаешься: это случилось сознательно и умышленно: я думал, что у «моего» нет права на существование. Ты писала: я выразил тогда и твой мир. Неужели же ты откажешь мне в том, чтобы теперь дать известие о том, что случилось за два года с тем миром, который ведь был и моим. Я был в отъезде, и от себя самого в философии, математике, праве. Может быть, можно вернуться, но я не говорю, что ты в долгу передо мной. Написать о том мире—это значит написать о себе. Но не так: я развилась, я выросла, я—в разбеге... О, какие полые глаголы с дуплом!! Ты, кажется, шутишь словами. У меня ж—серьезные трудные времена.

ФРЕЙДЕНБЕРГ—ПАСТЕРНАКУ

Glion <Середина июля 1912>

Нет, теперь это не столько скучно, как глупо. Оскорбление? Право на оскорбление? Что за возмутительные слова? Вот у тебя надо спросить—откуда взялась в тебе эта любовь к словесным фейерверкам? Не виновата же я, если у тебя такой удачный ассортимент знакомых, что каждое мое слово ты можешь раскладывать по группам слов своих знакомых. Тебя там, может быть, оскорбляют и без права на оскорбление, но я далека от таких жестокостей. Ты назвал в открытке свой теперешний период «чужим, общим и упадочным». Я этого не думаю; не думаю, что у тебя это упадочное время. Скорее у меня. И ты мог не оскорбляться—потому что я только могла сказать, что даже и этот период для тебя важен, и ты, конечно, пройдешь его. Если что и могло огорчать меня во всем этом, то только я одна, потому что я не знаю, чужд ли ты сейчас самому себе, но мне ты чужд. Что же в этом оскорбительного для тебя-то? Я тебя не трогаю; я даже согласна признать, что так оно и должно быть. Но

позволь же мне, когда я хочу, посторониться: просто мирно отойти от тебя на другую сторону. Я это и сделала. И—повторяю—можно говорить сейчас обо мне, а не о тебе; здесь все сплошь мое личное дело. Я даже не смотрела, чужой ли ты или упадочный; я сразу заметила, что в тебе появилось это «общее»—ты удачно нашел это слово. С меня было этого достаточно; остальное меня не интересовало. Остальное интересовало тебя.

Ты не доволен, что я тебе пишу? Но я не могу примириться с твоим письмом. Мало ли о чем ты можешь просить; не ответить на твое необыкновенное письмо было бы еще более нелепо, чем его написать. И мое здоровье! Ты начинаешь повторять собою С. Маргулиуса: он тоже советовал тебе пить молоко и есть яйца на даче у Осипа¹—и это тогда, когда ты сидел у нас в Петербурге и говорил о разных близких тебе предметах. Вспоминаю твои слова во Франкфурте: ты стал делать то, над чем прежде смеялся.

Как мне подписаться? В единственном числе или во множественном?

Ах, как глупо, когда подумаешь, что я говорю то, что твои знакомые уже сказали тебе или скажут. Ты пишешь им такие же письма, как мне? И они тебе, наперекор стихиям, отвечают?

То, что ты едешь в Россию, очень хорошо; я тебе завидую. А то ты, бедный, уже ездил в Киссинген. Курорты до добра не доводят; то-то ты написал мне такое добродетельное письмо, соль которого годится только для ванны. Ну, прощай, Боря. Желаю тебе всего хорошего. И все-таки рада нашей встрече.

Я обещала Пастернакам заехать к ним в Маринанди-Пиза, где они снимали виллу на берегу Средиземного моря. У дяди меня встретили с восторгом. Только Боря держался отчужденно. Он, видимо, переживал большой духовный рост, а я—что я была рядом с ним? Ему не о чем было со мной говорить. По вечерам черная итальянская ночь наполнялась необычайной музыкой—это он импровизировал, а тетя, большой и тонкий музыкант, сидела у темного окна и вся дрожала.

Мы поехали с Борей осматривать Пизу—собор, башню, знаменитую, падающую, но не упдающую, колонну, о которой не известно—падает ли она, или нарочно так построена. Я хотела смотреть и идти

¹ О. И. Кауфман, брат Р. И. Пастернак, врач.

дальше. охватывать впечатлением и забывать. А Боря, с путеводителем в руках, тщательно изучал все детали собора, все фигуры барельефов, все карнизы и порталы. Меня это бесило. Его раздражало мое легкомыслие. Мы ссорились. Я отошла в сторону, а он наклонялся, читал, опять наклонялся, всматривался, ковырялся. Мы уже не разговаривали друг с другом. С этого дня ни единого звука Боря со мной не проронил; мы жили вместе, рядом, в полном бойкоте. Семейная обстановка и южная, слишком роскошная красота природы утомляли меня. Я мечтала удрать. За мной следом тянулась переписка, голубые конверты, телеграммы. Я, сидя под Пизой, назначала с легкостью свидания на вершинах гор и за тридцать земель, точно это был угол Канала и Гороховой. Однажды тетя «по ошибке» вскрыла телеграмму, которая начиналась по-французски словами «я буду совершенно один...» и шло место свидания, день и час. Я стала быстро собираться. Хотя смысл содержания этой депеши был очень невинный, она была от Жозе-де-Союза, поджидавшего меня в Швейцарии,—но я придралась к возможности обидеться и уехать: дома у нас святость переписки была первой заповедью, а в «ошибки» я не верила.

Издевались надо мной ужасно! Шурка называл Жозе-де-Союза «Соусом» и прекрасно острил («под каким бы соусом тебе ни телеграфировали...»), а Боря не достаивал меня словесами. Он еще в начале осудил меня за встречу и поездки с Винченцо Перна (я не скрывала своих походов), и очень остроумно называл этого уроженца Павии «твой павиан». Но это было весело, хоть и враки!

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

<Зима 1913 г. Не отправлено.>

Я о тебе не думал ни разу больше года, кажется. Но сегодня мне пришлось вспомнить о тебе и так, что это воспоминание погнало меня из дому, и я вернулся только для письма. Я не стану рассказывать тебе об этом состоянии, ведь не вызывать же мне в самом деле соответствующих впечатлений в тебе. Но иногда ощущаешь время, как порыв каких-то пассатов в прошлое, и это прошлое кажется тебе только что оторванным, как ставень в бурю, и отнесенным в сторону и кинутым поодаль, в те сроки. Мне кажется, я был еще так

недавно с ним и только сейчас испытал мгновенное разорение. И как не сказать тебе о нем?

Это письмо попадет в Петербург, и его перешлют тебе оттуда. Да ему и нужно побыть в городе воспоминаний, этому «нынешнему» письму.

Ты не поняла вероятно моего летнего упрека, хотя в той форме, как я его высказал тебе из Марбурга в Швейцарию — он был тяжеловесен и не говорил о жизни. Но это было просто недостатком выражения. Ты еще помнишь? Однажды утром, в обстановке немецкого университета, куда меня привел разрыв с иным, совершенно несходным прошлым, которое тогда казалось мне заблуждением, я узнал, что оно было живою истиною. Если до этого заявления я страдал просто непривлекательностью чуждых мне занятий, навыков и интересов, к которым я приневолил себя силою, как к некоторой обязательной норме, чтобы не быть таким смешным, лиловым, и таким одиноким, чтобы приблизиться к тем немногим дорогим мне людям, которые заставляли меня произносить длинные речи без конца и без ответа и, очевидно, ждали другого языка, при котором они могли бы стать собеседниками; — но теперь к этому мученью присоединилось сознание, что все это было ни к чему и что их бывшее молчание скрывало в себе согласие и было знаком единомыслия.

Да, это случилось как-то раз в Марбурге. Я бродил с письмом, которое запоздало на два года с лишком и все перепутало в моей жизни. Было так ясно: предстоял новый разрыв, и я не остановился перед ним. Хотелось многое восстановить. Ты вероятно приписываешь мне разные эффектные побуждения и, оделив меня мысленно ими, не можешь не смеяться затем над этим банальным и бедным образом.

Но я тут ни при чем.

Мне надо оговориться. Нужно быть справедливым и благодарным. Твое письмо, то осеннее, из Петербурга, после Меррекюля, длинное, длинное, благодатное, в которое можно было уйти до самозабвения и которое не закрывалось для тебя при твоём приближении; может быть оно только и припомнилось мне сегодня и опрокинуло меня.

Ты думаешь, я вот сижу сейчас и роюсь в старых воспоминаниях и старчески кашляю над выдвигаемыми ящиками стола?

А между тем я перебираю способы, какими можно было бы испытать твоё существование сейчас помимо того, больного и почти невыносимого воспоминания.

*<Надпись на книге «Близнец в тучах».
Издательство «Лирика». Москва, 1914.>*

Дорогой Оле с любовью и признательностью за одну летнюю встречу...

До следующего свидания на подобной странице

Боря

20. XII. 1913.

Я поступила в Петербургский университет. Стояла осень 1917—1918 учебного года. Университет еще имел старый вид. Знаменитые старые профессора читали открытые публичные лекции. Я помню амфиатраы, профессоров в черных сюртуках, читавших с кафедры. Революция породила вольность. Интеллигентная публика свободно слушала кого хотела. В университет я пришла разбитая бурями пережитого. Как иннок я молилась и служила. Это было мое убежище.

В марте я уже училась по-настоящему, по отделению филологии, но еще не знала, какой. Я чувствовала великую силу своей зрелости, которая позволяла, как мне казалось, лучше постигать существо науки. Свобода университетского преподавания чудесно формировала мой кругозор. Профессора отличались друг от друга, имели свое умственное лицо, объявляли курсы, какие им хотелось. Я слушала всех философов.

1919 год был для меня очень важным. Самым важным. В этом году я начала заниматься у Жебелева на классическом отделении....

В ноябре я заболела и слегла. Мы все переехали в одну комнату, где дымилась жестяная «буржуйка». Мама хлопотала на кухне, которая была для нее семейным очагом.....

Страшные дни! Жизнь пустела. Профессора умирали. Живых арестовывали. Университет перестал функционировать, покрывался пылью и тлением. Все боролись, как на войне, дома. Занятия распались...

Отец был смертельно болен, лежал в постели, не вставал. Он страдал жаждой и вкусовыми капризами, которыми терзал маму. Ужасно было ее положение с двумя тяжело больными, без денег и перспектив. 1 августа 1920 года папа скончался.

У меня не было настоящего великого горя. Оно было поглощено ужасом пережитых лет, месяцев, дней, последнего свидания с ним в больнице.

Мама порвала с дядей Ленчиком. Она не могла простить ему, что он после смерти папы не заехал к нам и, легально покидая Россию, не нашел возможности повидать маму и проститься. Правда, получив письмо, адресованное рукой Сашки, он понял его страшное содержание и предложил нам с мамой переехать к ним в Москву и жить с мальчиками (то есть у Бори и Шуры). С какой горькой гордостью мы отринули это приглашение!

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, Волхонка, 14, кв. 9

29 декабря 1921

Дорогая Оля!

У меня до сих пор лежит летнее письмо мое в ответ на твое издевательское и жестокое. Ты меня тогда не поняла и жестоко высмеяла. Но я так устроен и так люблю твой Humour (это шире ведь, чем юмор?), что полез к папе и сестрам хвастаться тобой: каково, мол, отхлестала! И нашим понравилось, как ты меня отче-хвостила, несмотря на то, что моего письма к тебе они не читали и, следовательно, судить о справедливости твоей карикатуры не могли. Так как для тебя не было бы приобретеньем усвоенье более правильного взгляда на все то, что я в своем письме тогда разумел, а ты для меня не делаешься хуже от того, как на меня смотришь, то больше не будем этой темы касаться, а вот что.

Немедленно же, немедленно, прошу тебя, напиши мне, как вы все поживаете, тетя Ася и ты и Сашка, как живете и что ты делаешь. И ради Бога попрacticalнее (прости за варваризм). Промедленье в этом отношении с твоей стороны очень меня бы огорчило и даже взволновало. Ради Бога, садись писать, не откладывая. Где же я был до сих пор, скажешь ты, если мне так загорелось все это узнать? Оно и правда, да мне и самому неясно, зачем я предпочел месяцы провести в неосновательных пожеланьях вестей о вас и от вас, ни разу не сделав попытки заложить для этой мечты оснований. Не будь же строга в меру моей глупости, избери ее в мерку своей снисходительности.

Пусть тур эпистолярного контрданса замкнется до истечения года, я прошу тебя, поскольку это в силах — возможностях почты. А если новогодняя ночь ляжет промеж привета и ответа, то вот тебе и тете и Сашке

мой поцелуй за всех шестерых, крепкий и молчаливо до краев налитый всей терпкостью невыразимого в его глухой силе пожеланья, того, которое братается с фатумом и в своей фатальности сбывается, того, которое в живой своей горечи дает богатую цену правдоподобного оптимизма, того, которое видит будущее за теми, к кому обращено.

С Новым годом, Олечка!

Прости, что пишу тебе только сердечно, а не содержательно вдобавок. Прости за небрежность. Я пользуюсь перерывом между двумя порциями новообразовавшегося за последние мои годы глухонемого безделья. Как глухонемые, эти приступы безделья и идиотичны кроме того. А я не хотел, чтобы письма к тебе шли от идиотов. Оля, прошу тебя, садись писать сейчас же. И не пиши ответа на письмо: то есть не считайся с ним; что оно де тебя огорчило или тебя порадовало. Оно ни на мизинец не должно урезать твоего письма, став хотя бы вводной его темой, приступом, поводом или придижкой. Пишут ли вам наши из-за границы? Ты знаешь, они ожили там, и письма родителей моложе адресатов и их глаз, которые тут их читают, стыдно сознаться.

О себе не пишу. Это либо в скорости в очередном письме (за твоим), либо же еще как-нибудь. Мне не хочется целоваться с тобой и тетей после того новогоднего объятия, которое было почти калечащим по иллюзии: оно размягчило мой почерк и заставило руку плясать.

Твой Боря.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

*<Надпись на книге «Сестра моя жизнь».
Издательство З. И. Гржебина
Москва, 1922 г.>*

Дорогой сестре Олечке Фрейденберг
от горячо ее любящего

Бори

16.VI.1922

Москва

Боря, женившись на Жене, приезжал с нею в Петербург к ее семье. Женя была художница, очень одухотворенное существо. Она любила нас, мы любили ее.

Боря приезжал к нам, всегда охваченный странной нежностью ко мне, и вместе с ним врывалась атмосфера большого родства, большого праздника, большой внутренней лирики. На этот раз он уже был жонат, и рассказывал о Жене, и приводил ее к нам, и изливал на нее такую нежность, что она краснела.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Тайцы. Балтийской. Воскресенье. <25.VII.1924(?)>

Олюшка, дорогая моя сестра!

Ради Бога, не торопись говорить мне подлеца, не зови негодяем и выслушай. В минувшую среду от поезда к поезду я был в Петербурге, и не надо говорить, как меня подмывало повидаться с тобой. Физически это было возможно. У меня было три часа времени. Но я был неуверен в том, как ты, и в особенности тетя, встретите меня. Если уже от этих нескольких слов веет здоровьем, устойчивостью и благополучьем, то я просто писать не умею. Ничего подобного нет. Ничего нет, ничего не было. Если бы я пришел, ты это прекрасно знаешь, то никогда не с тем, чтобы показывать и рассказывать что-нибудь,—я ведь не допускаю мысли, чтобы тебе или тете как-нибудь недоставало меня, но только оттого, что это чувство испытываю я к вам, оттого, иначе сказать, что в этой большой, далеко вглубь прошлого уходящей, еще продолжающейся, заторможенной на десять лет, тяжелой, невыносимой повести, которую мы признаем за нашу жизнь, вы—лучшие, любимейшие, глубочайшие главы. Я пришел бы, мы поговорили бы втроем, и я *засуше-*ствовал бы вновь, с вами, за вас, ты все это знаешь.

И вот я боялся, что вместо этого всего будут Мони, Яши, Берлины¹, обидные темы, недостойные комнат на Канале—и, дорогая Оля, о неужели заслуженные мной? В три же часа успеть подготовить письмом и потом прийти нельзя было, и я эту возможность упустил, обалделыми глазами следя за тем, как мимо трамвая бегут улицы города, который для меня летом есть город Оли,—город Оли и никакой другой.

Помнишь, тринадцать лет тому назад возвращались мы из Меррекюля. Помнишь, как звучали названия станций Вруда, Пудость. Тикопись? Мы их потом

¹ Речь идет о разных родственниках. Родители Б. Пастернака жили в Берлине.

никогда не вспоминали. Они попадались впоследствии в датировках Северянинских стихов. А ты мне тогда о нем рассказывала, на извозчике кажется, по дороге с вокзала. Помнишь? Помнишь все? Так тебя тогда папа, дядя Миша встретил! Как я любил его в этот вечер! Помнишь, Оля? Я поворачиваю голову в сторону и вглядываюсь в эту страшную даль. Точно недавно ударившим ветром это все за край поля отнесло, подбежать — подберешь.

Слушай, как чудно, как безрадостно чудесно. Я пишу тебе из Тайц, со станции, смежной с Пудостью. Ты — петербуржка, тебя этот язык Балтийской дороги не может удивить и привести в возбужденье, ты летами вероятно возобновляла прямо или косвенно звучанье этих чухонских заклятий. Но можешь себе представить, что делает этот словарь со мной. Вот как это случилось. К весне Женя измучилась и истоцилась до невозможности: надо тебе знать, что у нас ребенок, мальчик, зовут также Женичкой, она малокровна, кормила, изнервничалась, и материальные обстоятельства всю зиму у нас был прескверные. Вот она и отправилась к своей матери, где тоже свои незадачи, болезни, трудности. Летом ей сняли верх в две комнаты в Тайцах.

Я остался в Москве, чтобы поработать и написать Илиаду, Божественную комедию или Войну и мир и таким образом радикально поправить дела надолго. Надо ли говорить, что я с таким самочувствием и до Аверченки не поднялся, т<о> е<сть> попросту ничего не сделал. Тем временем я успел захворать, болел пустяковойшей ангиной, которая, однако, отозвалась на сердце, страшно скучал по Жене, и все никак не мог достать денег, чтобы оплатить квартиру за несколько месяцев, разделаться с долгами и к ним съездить. Теперь я наконец попал к ним в Тайцы, и вот тебе объяснение моего трехчасового пребывания в городе. Первою мыслью моей было просить тебя погостить у нас, об этом бы я стал просить тебя на коленях, принимая на себя все обидные слова и клички, которые ты написала в Берлин. Скажу вскользь, наверно ты права, наверное я мерзок, я этого не чувствую, не знаю за собой, но тебе лучше знать, что с того, что в моем опыте с тобой и с тетей ничего от неловкости, оплошности и т. д. нет, а только всегда порыв, волнение, интерес и преданность. Но это мимоходом. Я собирался в город вчера, в субботу, но опоздал на поезд. Мне хотелось завезти тебя на воскресенье. Дело в том, что по приезде в Тайцы я увидел, что поселиться

просто у нас тебе негде будет (ты сама увидишь), т. е. что тебе тесно будет, неудобно и отдыха никакого. Тогда же Женя стала подыскивать для тебя комнату поблизости, и одна уже есть на примете, точно узнаем на днях. Письмо это преследует одну цель. Напомнить о себе и о том, что пишет письмо не собака. Начинать с этого при встрече было бы тягостно. В середине недели (среда, четверг) днем буду у тебя. Был бы и раньше, но, как сказано, до письма боюсь. При проезде же настоящей причиной того, что не зашел, была невозможность видеть кого бы то ни было до своих, я по ним сильно стосковался. Теперь они тут, и, начав письмо, об этом забыл. Крепко целую тебя, тетю и Сашу.

Твой Боря

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Тайцы. Понедельник <4.III.1924(?)>

Дорогая Олюшка!

У меня болит горло и несколько повышена температура (37,4). В другое бы время я не обратил на это внимания и приехал в точности в назначенный час, тем более, что это для меня одно удовольствие и счастье победить твою несговорчивость насчет издателя¹ и поездки к нам, но летом я очень провозился с ангиной, трижды возвращавшейся и отразившейся на сердце, что и делает меня до смешного осторожным. Слово тети о тяжести понедельника таким образом сбывается с неожиданной стороны. Я приеду в город в следующий приемный день Современника², т. е. в пятницу в три часа, как предполагал сегодня. Не сердись же на меня, если тебе из-за меня пришлось потерять два-три дневных часа, и ради Бога не наказывай меня за движение бактерий, которое не в моей воле. Вот на всякий случай наш адрес: Тайцы Балтийской ж. д. Евгеньевский пер., 3, дача Карновского. Если бы ты собралась к нам до пятницы, это было бы для нас большой радостью. Жене мало тебя, она еще очень просит тетю и горячо вас обеих целует. От вас на Балтийский ходит трамвай № 2, остановка на углу Садовой и Гороховой, как ты

¹ Тихонов А. Н., редактор «Всемирной литературы». Речь идет о переводе первого тома «Золотой ветви» Фрезера.

² В журнале «Русский современник» Пастернак публиковал стихотворения М. Цветаевой.

мне говорила. На сегодня у меня был такой план. Если бы мне удалось уломать тебя на завтра (вторник) к нам в гости приехать, то мы бы отправились с тобой на поезде, отходящем из города в 9 часов утра (по городскому времени), и для того, чтобы не проспять его и вовремя поспеть, я бы к вам ночевать напросился. Следующий, к сожалению, идет только во втором часу (1.40) по городскому, а это поздно, половина дня пропадает. Ах, Оля, как жалко, что я тебя сегодня не увижу. Но если два часа назад у меня еще были колебанья и некоторая надежда, что может быть я все же поеду, теперь об этом и говорить нечего: у меня жар увеличивается. Итак, если Бог даст,—до пятницы.

Целую тебя и тетю.

Поклон Саше и его жене.

Твой Боря.

Окончив университет и перестав быть учащимся, я потеряла «социальное положение», без которого жить при социализме недопустимо.

Я металась в поисках опубликования своей работы¹. К кому я могла взывать?.. Марра² человек не интересовал. Он жил своей теорией, и человек становился ему виден, когда речь шла об этой его теории. Он прекрасно ко мне относился, и я у него бывала, и он читал мне свои работы, но ему не было до меня, как живого человека, никакого дела.

Я писала с исступлением Боре, писала ему слезами и кровью. Я умоляла помочь моей работе. Луначарский, наркомпрос, и Покровский³, наркомпрос (не помню их соотношения) хорошо его знали.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <Конец сентября 1924(?) г.>

Дорогая Олюшка!

Не думай, что я о твоих делах забыл. Я с первого же дня стал наводить нужные справки, но пока ничего, на мой собственный взгляд, стоящего упоминанья не узнал. Твои предначертанья я исчерпал на третий же

¹ Работа о происхождении греческого романа.

² Марр Н. Я.—заведующий славянской секцией в Институте литературы и языка Запада и Востока.

³ Покровский М. Н.—председатель Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦеКУБУ).

день по приезде. Председатель Цекубу не Покровский, а Лавров, лицо мне неизвестное и совершенно для тебя непригодное, т<ак> к<ак> судя уже по тому, где и по каким делам он принимает, он в ученых, а тем более специально филологических вопросах совсем некомпетентен. Мне сказали, что принимает он в учреждении, ведающем муниципальным и национализированным имуществом г. Москвы, т<о> е<сть> это больше касается местных передряг по квартирным делам, нежели твоего дела. Но я ведь взялся не только тебя слушаться и по твоей записке жить, вот отчего и предпочел бы ничего тебе пока не писать. Если я еще не посылаю тебе телеграммы о выезде, то только оттого, что сейчас почти все нужные люди в отпуску. Я говорил с Женей о том, что всего лучше было бы тебе сейчас уже к нам приехать, потому что походя, при разговорах и упоминаниях ты возбуждаешь тут большой интерес, а вообще говоря среда моих частных знакомств непосредственно и постепенно переходит в ту, которую составляют люди с полномочьями и влиянием. Женя меня разбранила, говоря, что как ты тут во всякое время и на любой срок желанна, должно быть известна и маме и тебе, и что не в этом дело, а в том, что ты с тетей Асей без экстренных оснований разлучаться не согласна. Если дело действительно так обстоит, то это очень жалко. Если же ты могла бы отлучиться недели на две, то я был бы на седьмом небе от счастья и стал бы тебя звать уже и сейчас. Между прочим твое недовольство Кубу разрешимо по установленной форме. Можно протестовать о дисквалификации. Заявление о повышении квалификации подается в местное Кубу (значит ЛенКубу) с приложением отзыва двух членов Кубу по данной специальности не ниже 4-й категории. Но мне хочется для тебя совсем другого, и хотя я ясно не представляю, чего именно, но продолжаю действовать в принятом направлении, в котором и надеюсь достигнуть обязательно чего-нибудь радостного, конкретного и по размерам вполне тобой заслуженного. На днях напишу тебе еще и о том, как мы приехали. Все в наилучшем порядке. Крепко тебя и тетю Асю целую.

Твой Боря.

Женя будет на меня сердиться, что отправляю письмо без нее и ее приписки. Но это и не письмо вовсе, и пишу я второпях. Поговорим по-человечески в следующем. Но ты знай, что каждый день занят чем-нибудь и из твоих дел.

1924 год был, как известно, годом наводнения. Это тоже принесло ужасные переживания. С утра пушки объявили о приливе воды. Ветер страшной силы ревел и бушевал. Наш канал наливался изнутри, снизу, водой. Она рвалась волнами и металась в узких стенах водоема. Почему-то все люди кинулись в булочные, и среди исступленных была и я. Наполнялся водой двор, наполнялись улицы. С канала уже нельзя было войти. Я еще успела, с бьющимся сердцем, пробраться через Казанскую (наш дом — проходной). Мама с ума сходила в поисках меня во дворе. Вот канал расплескался по набережной. Город стал обращаться в сосуд. Вода поднималась со дна к небу. Мы стояли у окна и видели, как исчезали этажи. Хотя наша квартира на четвертом этаже, чувство ужаса было непередаваемо. Не верилось в пределы. Мне казалось, что либо дом рухнет, либо вода полезет вверх беспредельно. Мама волновалась больше по части вселения. Я умоляла ее отправиться к соседям выше, на пятый этаж. Хотелось людей. Отдельными точками карабкались по воде несчастные человеческие фигурки. Позже появились лодки, но их было очень мало. Страшное чувство рождалось при мысли, что человек бессилен, что никакое государство не может организовать помощи во время такого бедствия.

Никогда не забуду утра следующего дня. Стояла райская идиллическая погода. Голубое небо. Солнце. Безветрие. Покой и радость в природе... Я ходила по улице в полном опустошении от пережитого. Гармония жестокой стихии потрясла меня не меньше, чем ее разнузданная свирепость. Я не умела прощать мучительства. Мостовые лежали наизнанку, улицы трепетали. Каким страшным и коварным казался садистнебо!

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 28.IX.1924

Дорогая Оля!

Как сильно и выразительно ты пишешь! Не бывши там, я с твоих слов все увидел и пережил и потрясся! Странное совпадение. Точно столетний юбилей того наводнения, что легло в основу Медного Всадника. И это совпало со столетьем ссылки в Михайловское.

А тут — бабье лето, по зною и духоте не уступающее настоящему. И сквозь пыль, летящие бумажки,

серые бульвары, вновь поехал в полные зною, сору и бестолочи комиссарьяты—твоя правда—во главе экспертной комиссии—Покровский. Но ты очень заблуждаешься, если думаешь, что это что-нибудь для тебя значит. По каким дням принимает?—Никогда и никого не принимает.—??—А по какому делу.—Излагаю, приблизительно, с дозволенной степенью приближенья.—Подать заявленье в местное Кубу. Если речь идет о Ленинградском, то тем паче: оно обладает и компетенцией высокой и полномочьями, равносильными Цекубу—это все провинциальное отделение.—Да я не про то, да вы послушайте и т. д. и т. д. Посоветуйте Вашим знакомым написать в экспертную комиссию сюда, если, как видно из Ваших слов, это дело исключительное; тогда, в меру исключительности, оно быть может дойдет до Мих<аила> Ник<олаеви> ча. Мы рассмотрим.

К чему я пишу это тебе? К тому, чтобы ты не упорствовала на своем отношении к этому делу, вернее, на одной детали своих планов или предположений. Чтобы ты знала, что такого порядка, который готов, и тебя ждет, и эмбрионально заключает возможность разрешенья твоего дела,—нет.

В моих расплывчатых и, может быть, требующих недели времени и твоего присутствия представлениях гораздо больше опыта, знанья обстановки и чутья, чем ты думаешь. Приезжайте вдвоем с тетей Асей! Ну чем это невозможно или трудно! У вас будет отдельная комната. Мы будем действовать с тобой вовсю. Представь, я мог бы ворваться к Покровскому. Но этот прорыв имел бы смысл только с тобой. Когда ты будешь тут, мы этого, мы и многого другого добьемся.

Вот мы хотим тут все порядки Кубу вверх ногами поставить, а для твоей поездки, что, объективно рассуждая, гораздо легче, требуется повод, зацепка, основание, вызов. Но ради Бога выезжай без вызова,—завтра, послезавтра. Стань на ту точку зренья, что ты отправляешься пожить у нас и познакомиться с той частью Москвы, с кот<орой> тебе познакомиться будет полезно. Твой взгляд на очную ставку, на красноречивость внезапного визита вполне правилен. Но тут-то ты только или я с тобой и увидим, кому и когда и какие визиты надо нанести, т<о> е<сть> иными словами, почвы щупать тут не приходится, все готово, и я бы даже мог соврать тебе с преспокойным видом: Покровский дескать принимает по средам от двух до трех,—и в среду утром на Волхонке, 14, кв.9 (вход со двора, трамвай 34) обман бы этот обнаружил-

ся, а в пятницу вечером мы бы пошли к Луначарскому или не к Луначарскому, потому что до пятницы мы еще бы кого-нибудь увидели, и у того бы блеснула гениальная мысль, и этот «тот» бы, конечно, был во всяком случае коммунистом, сведущим, знающим и пр. и пр. Это построение тем естественнее вырастает передо мной, что ты мне всячески запретила идти путем ходатайств и просьб за человека, с целью улучшения той или иной его участи. Что речь идет о деле, говорящем за себя, и о человеке, ни о чем другом говорить не желающем.

Вначале ведь и тебе это все представлялось в таком свете. Ты помнишь как говорила о том, что воспоследует за пятнадцатым сентября. Потом изменилось. Да кстати, если на этот вопрос ты мне не ответишь уже устно, с глазу на глаз,—скажи, напиши, что нового у тебя с диссертацией? Вернулся ли Марр? Когда ты будешь защищать ее? Или все осталось в той формулировке, за какой мы с тобою расстались? Если Покровский—виденье Жанны д'Арк, то ему конечно надо довериться. Я в навязчивость таких представлений верю и сам многим их силе обязан. Как странно, что ты еще не тут! Какая глупая переписка! Но отпуск ты должна взять минимум недельный. А что б тебе тетю Асю уговорить?—Но какие вы малoverы! Это мы-то забыли вас?! Итак.—Б. Конюшенная, второй или третий дом по левой с Невского стороне, городская касса Октябрьской жел<езной> дор<оги>, 2-й этаж, окошко, кажется, 21, плацкарту на спальное жесткое место до Москвы в *ускоренном*. В Москве конечно остановка трамвая 34 несколько левее выхода вокзального, против смежного с Николаевским, Ярославского вокзала.

Против ваших, в особенности тетиных, ожиданий въехали мы в квартиру, олицетворявшую чистоту, порядок, внутренний мир и тишину, и сделано это было как раз руками соседей, и никаких у них нет бород, и ничем у них не пахнет, и все это было, когда еще чистая сволочность нашей породы не знала никаких смесей и мерила были не поколеблены. Теперь же, на мой грешный и еще немного сволочной глаз, наша квартира Лицей, Στοα ποικυλη¹, пропилен в сравнении с Ямской. Здесь ждал меня сюрприз, в форме случайной и неожиданной, обостренной предшествующим контрастом. Когда с остатком от проданной медали² в

¹ Цветной портик в Афинах времен Перикла.

² Пастернак продал золотую медаль, полученную за окончание гимназии, чтобы оплатить дачу в Тайцах.

кармане, с договором с Ленгнзом на книжку прозы, для которой я должен написать новый рассказ (и тогда окупится все старое), которого я не напишу, потому что перестал понимать, что значит писать, когда с этими отрадными вещами и ощущениями в левом боку я подскакивал на телеге с десятью местами багажа и глядел на Москву, словно ветром вытащенную в сентябрь из мукомольного амбара— смертельно жаркую и серо-белую, всю в глицериновых каплях мух и пота, я собственно не понимал, зачем я тут и что все это значит. В сумерки мучной характер миража сменился мышинным, измученность взяла над нами верх, мы впали в стадию святости и легкой походки, какая бывает после бессонницы. Естественно, что с этим Тютчевским «изнеможением в кости», толкнувшись к друзьям и знакомым, среди которых много всякого такого от «юного племени», я пооткрывал, что дело дрянь—кто поохладел, а кто и вовсе врагом стал,—знаешь ты это ощущение, когда вдруг кажется, что начатая глава кончилась и, словно без тебя, в твое отсутствие ее дочитали, и надо новую начать, тебе надо, и будет ли—так вот, в таких духах я встретил первый вечер. И всегда я теперь боюсь Сашкиной нумизматики. Что твой упадок тебе вычеканят с полной художественностью, и твою грусть поймет лучше всех и разделит (на себе ощутив) твой кошелек. Надо ли говорить, что я тут разумею то, как флюиды отражаются на бюджете? И твое *душевное* состоянье станет *физической* действительностью для двух ни в чем не повинных Евгениев¹.

Прескверная и неотвратимая метаморфоза.—На другой день утром я по телефону узнал, что вещь, о которой я давным-давно и думать позабыл, перевод пятиэтажной, сорокаведерной, во сто лошадиных сил, похожей по объему на оба дома на Троицкой, комедии Бен Джонсона (171 стр. в лист ремингтонного шрифта) принята к изданию в Украинск. Госиздате (Харьков)². Это несколько освежило нумизматические центры. Я отправился *sur le champ*³ в представительство издательства. Сходя с трамвая, я инстинктивно взялся за голову. С афишного столба на меня глядел «Алхимик»,

¹ Жены и сына.

² Перевод комедии английского поэта Бена Джонсона (1573—1637) «Алхимик» (1610) был сделан в 1919 г. Издание в Харькове не состоялось.

³ Тотчас же (*фр.*).

выведенный аршинными буквами. Он же смеялся надо мной с заборов. Я подошел к столбу, откашливаясь, в убеждены, что где-то кто-то ставит комедию, о которой я сейчас бегу договариваться через три дома налево, конечно, как бывает, как *должно* быть, *не в моем* переводе. Но как очистились и освежили упомянутые центры, когда рядом с именем режиссера я увидел свое!¹ Замечательно, что эти факты ни в какой связи между собой не находятся, ничего общего между постановкой и печатаньем нет, и друг о друге они даже и не знают. Я готов поспорить, что это совпадение, что эту чепуху породила за ночь моя беспросветная неутешность, и я сделал большую ошибку, успокоившись после афиши. Не расстанься с пессимизмом я и тут, я убежден, душевный мрак стал бы порождать случай за случаем, подобные названным, и может быть, за исчерпанностью форм применения, Алхимика стали бы в этот день пить, курить, употреблять в качестве шин для автомобилей, ставить в кино, применять в политике и в виде почтовых и гербовых марок. Но я поторопился успокоиться.

Когда по многим личным основаниям, в связи со справками для тебя, с особенною же легкостью на генеральной репетиции ко мне вернулось утраченное сернистое настроенье, оно уже оказалось стерильным и неплодным. Алхимика не только не разыгрывают в лотерею, не только не шпигуют им гусей, но и ставить-то вероятно его будут недолго, и во всяком случае с убывающей частотой: он поразительно скучен и глуп на сцене, несмотря на то, что режиссер сделал из него фарс, и фарс этот актеры играют совсем недурно. Вероятно, виноват бедный Бен. Перевод мой хорош. По моему крайнему разуменью, все, что мог, сделал и режиссер. Но вещь не сценична. Это та форма до-мольеровской комедии, все движенье которой сводится к последовательной экспозиции характеров и фигур. С этой стороны вещь, и особенно в чтении, обладает крепостью своего рода. Но я кажется забываю, что пишу письмо, и может случиться, что предисловье к изданию начну словами «Дорогие тетя Ася и Оля! Часто ли к вам ходит Юлиус? Бен Джонсон, современник, приятель и литературный антипод Шекспира и т. д. и т. д.».

¹ Постановка В. Сахновского в Театре им. Комиссаржевской.

Приезжай, Оля, вот все, что можно сказать, приезжай, и думаю, мы об этом не пожалеем. Свиданья с Покровским, я думаю, мы добьемся, в особенности при твоём убеждении, что это правильный путь и что «войти» к нему ты сумеешь. Во всяком случае, я твоего дела не оставляю, и если у тебя еще нет билета на поезд, напишу на днях. Ты же в свою очередь извести меня о состоянии своей диссертации, и не раздражайся, если что в моем письме тебе покажется недостаточно живым и порывистым. Я пишу в конце дурацкого дня, немножко устал и вообще — писать не умею.

Дорогая тетя Ася! Спасибо за золотые строки! Все мы крепко обнимаем вас обеих и любим.

Ваш Боря.

В последний приезд Бори я умоляла его помочь мне хотя бы переводом Фрезера. Он взял меня к Тихонову¹, который ведал чем-то большим. Но представил он меня так, что тот не обратил на меня ни малейшего внимания. Боря как раз находился в периоде бесплодия, ныл и жаловался. Ему было не до меня, ни до кого на свете. Вскоре я ему писала: «С Тихоновым чушь. Была относительно Фрезера. Его нет; секретарша сказала, что ответ из Москвы гласит: ничего нельзя говорить пока о «Козле отпущения», ибо надо посмотреть, как я переведу «что-то золотое», на перевод которого я, мол, тоже подавала заявление. Ничего толковой сказать она не могла, хоть лопни. Золотое что-то — это «Золотая Ветвь», но все его работы носят это общее заглавие, имея и подзаголовки. Я иных заявлений (кроме того, что велел Тихонов) не подавала. Мне ли поручен перевод 1 тома? Какова моя роль? Она объяснить не может, до А. Н. не добратья. Как ты полагаешь мне поступить?»

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 6.X.1924

Дорогая Олюшка!

Что ж ты не едешь? Каждое утро около 11-ти мы ждем, вот постучатся, откроем, и ты войдешь. Прием у Луначарского тебе обеспечен, к Покровскому не сове-

¹ Тихонов А. Н. (Серебров) — редактор издательства «Всемирная литература».

тует человек, очень близкий Л<уначарскому>. Кроме того узнал, что ваш Кристи большой друг Л<уначарского>. Ты во всяком случае письмо от него к кому бы то ни было из них получишь. Итак, приезжай не откладывая, Женя и то меня бранит, что все тебя нет, словно я виноват. Не мешало бы тебе захватить рекомендательное письмо (или осведомляющее) от акад. Марра: ты не становись на дыбы и выслушай. Дело в том, что я эту публику знаю и знаю, насколько *привыкли* они к чудесам во всемирном масштабе; только этим они и занимаются ведь все семь лет; вот почему им и примелькалась исключительность как разряд, они верят тебе и не верят. Тебе кажется, что самого указания на факт *докторской* диссертации достаточно, чтобы сделать из этого должный вывод. Они могут не желать этот вывод делать по своей воле, и ради экономии энергии было бы неплохо, если бы этот вывод о значительности твоей работы делался ими под давлением чьего-нибудь компетентного суждения или во всяком случае стимул для вывода исходил не от нас, для того чтобы с тем большей свежестью мы могли добиваться всех остальных практических заключений. Кроме того, обязательно захвати с собой работу. Ведь ее надо издать. Легко может стать, что здесь зайдет об этом речь. Требование это совсем очевидное и не нуждается в объяснении. Есть ли у тебя «Золотая Ветвь» Фрезера? Если есть, привези ее обязательно и «Козла». Я не пишу тебе ни о Госиздате, ни о Кубу, надеясь на твой скорый приезд, которому помешать может одна лишь защита диссертации. Не сердись за промедленье в переписке: не привожу причин. Ты приедешь и сама увидишь, как я живу и как у меня проходит день. Целую тебя. До скорого свиданья.

Твой Боря.

Дорогая тетя Ася! Что же Вы не гоните Оли в Москву? Если в ее академической судьбе не приключилось какой-нибудь отрадной новости, которая ее привязывает к городу, то ей давно следовало бы быть здесь. Перед ее поездкой взгляните здраво и объективно на то, чего ей в первую голову хочется добиться, и логика, чутье и знание жизни подскажут вам, как ей следует ехать. Являться, например, без работы или сведений о ней— значит продешевлять или ронять себя. Но ведь разговаривать с Вами разумно— значит быть заподозренным в холоде или измене. Ну, Бог вам

судья. По счастью, Оле достаточно приехать сюда как и с чем угодно.

Итак, мы ждем ее. Комната ей давно готова. Крепко Вас обнимаю.

Ваш Боря.

Крепко целую тетю Асю.
Олечка, приезжайте поскорее. *Женя.*

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 11.X.<19> 24

Дорогая Олечка!

Что же это все значит? Здоровы ли ты и тетя? Прошу тебя, ответь поскорее.

13.X.1924

Я собственно не знал, что дальше писать, и это должно было бы скорее служить текстом телеграммы или во всяком случае и всего прежде — почтового перевода. Я очень хорошо и скоро понял, что мерзко с моей стороны слать тебе письма с запросами, и увидел, у какого почтового окошка место мое в этой переписке о переезде. Это фатально, что до сих пор я перед это окошко встать не волен. Сегодня пришло твое письмо, которое, несмотря на свою высокую содержательность и насыщенность сюрпризами, ни в какой мере для меня не было неожиданностью. Из него я вывел заключение, что через неделю-другую ты заявишься к нам, — таков смысл приписки, с другой же стороны, и у меня за эти полторы недели, быть может, несколько прояснится горизонт. Мне больше ничего прибавлять не хочется, желаю тебе от всей души полного и заслуженного успеха. Побывать в Москве тебе обязательно надо, и судя по твоим заключительным словам, это не за горами. Назначенье настоящей записки сказать тебе, что твое письмо во всем и по всем статьям дошло по принадлежности. В самом непродолжительном времени я, может быть, сообщу тебе что-нибудь более <...>¹ и отрадное. Ты и сама не знаешь, какая счастливая случайность, что ты мне написала это письмо и так написала. Знаменательный по исчерпывающей отчетли-

¹ Край листа оборван.

востии и определительности документ. Его значение еще как-то или в чем-то скажется. Итак, до скорого свиданья, до ближайшего отчетного (с моей стороны) письма, где будет уже дело, а не чувствительная словесность.

При всей скромности наших трудов и дней нам, однако, не на что пожаловаться. Мы здоровы и благополучны, хотя призрак всевозможных болезней похаживает вокруг да около, в непосредственной близости от мальчика. Не посчастливилось той комнате, которую я в этом году поступился в пользу молодого поколения. Несколько дней в ней лежала прислуга соседей, больная брюшным тифом. Ее сменило трое вселенных студентов, из которых один похож на водолаза, так как у этого Митрофанушки голова сплошь обмотана полотенцами и лицо скрыто марлей— у него экзема по всему бытию. А комната эта, уставленная теперь койками и благоухающая смесью естественнейших запахов с махоркою и карболовой кислотой,—проходная на пути в кухню, к воде и пр. и смежная с мальчиковой. Вчера, хлопоча за одного невинно сосланного мальчика¹, попал в Кремле в квартиру, где дифтерит. Однако, как говорили в старину, бог милует и проносит. Мальчик охрип, ежедневно на все лады выводя тотя уоля. По странности у него образовалась прочная ассоциация: 1) Тети Асиной фотографии у нас на стене, 2) яблока и 3) слов тудль, дудль². Мальчик совсем уже вырос.

Крепко тебя и тетю целую. Твой *Боря*.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 2.XI.1924

Дорогая Олечка!

Что у тебя нового и как вам живется? Последний вопрос очень меня тревожит. Как твоя диссертация. Хотя, кажется, и не полагалось мне писать до твоего циркуляра, но вовсе не из повиновения тебе я был все это время так молчалив. Я и сейчас не прервал бы молчанья, когда бы не беспокойство за вас и желанье узнать, как твои дела. Писать же, значит писать о себе. Всего менее я стал бы делать это сейчас. Опять это не та жизнь,

¹ Иосиф Филиппович Кунин.

² Детское звуко сочетание, давшее основание прозвищу Дудль.

которую я себе наметил. А все началось так чудесно. Я нашел работу, которую не назову службой только оттого, что она — сдельная, и я не включен в штаты. Во всем же остальном это самая настоящая должность. В своем роде она даже приятна. Я получил работу по составлению библиографии по Ленину, и взял на себя иностранную часть. Для этого хожу в библиотеку Наркоминдела, где получается большинство иностранных журналов, и тону в них и захлебываюсь статьями, рецензиями и публикациями с десяти до четырех. Того, что от меня требуется, всего в них меньше. Но мимоходом просматриваю множество интереснейших вещей, по отношению к которым «Современный Запад» с Прустом и Сати лишь отраженье в малой капле. Так было с месяц назад, когда я соразмерил все потребности жизни и свои собственные чайня с величиной этого заработка, с размером остающегося досуга и со сделанными долгами, с двумя договорами, по которым я должен был получить деньги из Харькова и Петербурга, и очень порадовался возможностям и вероятьям, представившимся мне при том. Я тут же раскрыл Гамлета и принялся за его перевод,— замысел, который у меня откладывался годами. О предположеньях оригинальных не хочу говорить—их смутным ощущеньем всегда бываешь полон. Но тут это не было похоже нисколько на пассивное и темное колыханье непроверенной потенции. Нет, вновь, как когда-то очень давно, все это представлялось делом каждого дня, перспективой постоянных и регулярных, ежевечерних осуществлений. И вот еще Горацио не успел усомниться в действительности появления тени, как из Харькова, а вслед за тем и из Петербурга, пришли отказы от договоров, из которых один находился в стадии заключенья (на Алхимика), а другой, на прозу, был уже и подписан Ленгизом и мной, в мою бытность у вас — оставалось только рассказ один им дослать и деньги получить. Ты легко себе представишь, насколько тверды были мои расчеты на эти поступленья: что может быть надежнее аффирмированного договора,— так было по крайней мере до сих пор. С «годовой росписи» скинули таким образом до 100 червонцев, в общей сложности. Ты сама догадаешься, что со дня полученья таких известий я и внешне изменился, и из Наркоминдела стал приходиться в 9-м часу,— хорошо еще, что там библиотечарши сменяются и читальня с 10 до 8-ми открыта. Было бы прямо спасеньем, если бы принцип сдельности проводился на манер чистых математических пропорций. Но боюсь, что тут имеются абсолютные критические пределы, выше которых отра-

ботанного не исчисляют. Боюсь также, что критический этот предел просто совпадает с тем, что мне было предположительно предложено. Думаю, что больше ста двадцати рублей в месяц мне не отработать и при двойной работе. Но так как все равно дома после пяти я ни о чем, кроме как о вероломности случая, думать не в состоянии, то я предпочитаю забивать эти часы еженедельниками, трехмесячниками, ежегодниками и прочим. Вот как обстоит у меня дело, и когда я возвращаюсь домой, то «обои» Жени уже ложатся спать. Конечно, я все усилия приложу к тому, чтобы это положение изменить и дело поправить; да и хотя не хотя, все равно придется, библиографией мне и долга Фене (Жениной няне) не покрыть: я ей, не считая жалованья, должен 120 рублей.

Чтобы сразу с этой темой покончить, прибавлю, что жаловаться мне не на что. Я сам во всем виноват, на службу следовало уже поступить прошлую зиму. И еще скажу, что, несмотря на все «вышеописанное», я внутренне себя чувствую так хорошо, как уже давно не запомню. А теперь, таким образом, избавившись от ваших вопрошающих взглядов и их удовлетворив, кончу тем, с чего начал. Напиши про себя и про свою работу. Все, когда-то сказанное тебе о твоём приезде и прочем, остается в силе и в ней только еще приобрело. Никакого отношения моя информация до наших осенних планов не имеет. Чем грустнее мне, тем больше вероятия, что эта грусть при твоём появлении пройдет. Чем больше у меня причин возмущаться широтою госиздатовских телодвижений, с тем большим возмущеньем я брошусь в разговоры о тебе и за тебя. Засим, как писали, прощай. Крепко тебя и тетю целую.

Я защищала свою работу 14 ноября 1924 года. Оное событие происходило в холодный петербургский день, в университете, в зале совета, который тогда находился на III этаже главного здания.

Зал полон незнакомых людей.

Я в первый раз вхожу в ученое собрание. Никогда не бывала и не видела никаких заседаний. Никогда на людях не читала. Никогда не видела прений.

Держусь спокойно, в том высшем спокойствии, какое стоит волненья.

За большим торжественным столом члены совета, вся старая профессура, далекая, страшная, непонятная. Меня просят сесть напротив спиной к публике и лицом к президиуму и оппонентам. Холодно. Все одеты.

Марр, очень хмурый, садится посредине. Рядом Ильинский, ученый секретарь, зачитывает документы. И произношу краткое слово на чисто теоретическую тему.

Начались прения. Первым говорил Жебелев, очень спокойно, домовито, по-хозяйски. Он начал со своего профанства, сразу отгородившись от ответственности. Я резко разоблачила своего учителя. Зал натянулся, как пузырь. Вторым говорил Толстой. Он все отрицал в моей работе, все порицал.

Возражения Толстого пробудили в Марре все его внимание. Он жил, дышал, участвовал каждым биением своего пульса в происходящем. Он усмехался, мне подмигивал, в Толстого бросал реплики.

Тогда взялся распарывать мне кишки Малейн. Со злобой, издевательски он принялся уличать меня в ошибках,—я настаивала на том, что он, как и Толстой, принимают за ошибки новые принципы. К этому времени зал был полностью наэлектризован.

Официальные оппоненты кончили. Теперь идут страсти из публики. Уже несколько часов шла борьба неравных сил. Когда слово взял Франк-Каменецкий, я почувствовала страх.

Эти не были страшны. Страшен только он.

Он сказал: «Если бы это я прочел десять лет назад, вся моя научная работа пошла бы по совершенно иному пути».

Он говорил умно, светло, научно, всецело поддерживая меня. Марр счастливо и жадно слушал, весь—сплошное одобрение.

И вдруг я поняла, что это друг, что это высокая похвала—мне. Как краска заливает лицо, так горячее счастье залило мое сердце. Я поняла, что выиграла эту битву в каком-то очень большом и настоящем плане. Остальное меня не интересовало.

Марр бесцеремонно закрыл прения. Он встал и зачитал написанные им самим слова резолюции. Там в сильных выражениях говорилось о том, что «принимая во внимание совершенно новые, прогрессивные»... я уж не помню что,—но принимая во внимание что-то необычайно хорошее, ученый совет присуждает...

Я ничего не успела запомнить, как Марр, зачитывавший это стоя, сам (вместо ученого секретаря) в мгновение ока кивнул налево и направо, сказал «возражений нет»—и закрыл собрание. Никто не успел опомниться.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

<Отрезной купон к почтовому переводу на 100 руб.>

Москва <19.XI.1924>

Дорогая тетя Ася!

В закрытом письме я более подробно напишу о том, как папа меня упрасивал скрыть от Вас происхождение этих денег из боязни, что Вы его обидите и их не возьмете. Живое чувство подсказало мне его в этом отношении не слушаться. Уже с месяц назад он поручил нам продать одну его картину, и только теперь это удалось сделать. Вырученная сумма в частях получила разнообразное назначение. Сто рублей он просил переслать Вам. Что у вас и у Оли слышно? Скоро напишу. Целую. Ваш Боря.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 20.XI.1924

Дорогая Олечка!

Спасибо, что ты тотчас же написала мне. Я твое письмо прочел с большим волнением. Ты молодчина, что смотришь на все стрясшееся как надо. Я легко, по личному опыту представляю себе, с каким чувством ты думаешь о Марре и Франк-Каменецком. Но сколько тебе пришлось выстрадать в этот день! Мысленно сравнивая тебя с собою, я с радостью нахожу в тебе твердость и мужество, мне в такой форме и в такой степени не свойственные. Если я верил в тебя раньше, если картина диспута, в своей природе понятная и естественная, эту веру поддерживает и объективно подтверждает, то она особенно возрастает от того, как ты на этом позорище держалась и как судишь, вспоминаешь и пишешь о том. Завидная преданность своему назначению и в своей непоколебимости — знаменательная и многообещающая. Так и почти всегда только так открываются поприща с большим будущим, — ты это не хуже меня знаешь, потому что читала во всяком случае больше моего. Вероятно, ты теперь отдохнешь и некоторое время никаких планов строить не будешь. Я хотел тебе предложить на это время приехать к нам. Если хочешь и тебе удобнее провести его дома с тетей, а приезд к нам связать с возобновлением этих планов, будь по-твоему. Мне очень тебя

хотелось бы видеть, и ты знаешь, как я тебе буду рад. Тоже и о Жене.— Что касается меня, то я мало и редко бываю дома и томлюсь по воскресеньям, когда представлений не даю. Мне нравится мой быстрый, механизированный машинный день, свинченный из службы, из дел и занятий, связанных с ней, и из множества других хлопот, с ней не связанных и касающихся до дома, до сношений с людьми, исполняя всяких просьб и поручений и пр. Я как игру переживаю всю эту гонку и с увлечением, словно фигурируя в каком-то сочиненном романе, изображаю взрослого, вечно торопящегося, лаконического, забывчивого и скачущего из ведомства в ведомство, с трамвая на трамвай. Вот о чем я говорил тогда у вас, я вовсе не «слиянья» хотел, а именно этого. Я получаю 15 черв<онцев> в месяц, если бы не долги, это было бы 3/4 того, что нам нужно. В будущем, думаю, мне и работать удастся. Дай Бог, чтобы в этом отношении я не ошибся. А пока что, должен сказать, я провожу день в непрерывных наслаждениях, ибо, повторяю, наполненность дня густою сетью несложных и стремительных пустяков меня чарует. Бездарная эта горячка все-таки больше похожа на бывалую горячку духа, которая сделала меня поэтом, нежели то вынужденное бездействие, в какое я впал в последние два-три года, когда узнал, что индивидуализм ересь, а идеализм запрещен. Но полно о чепухе такой речь заводить. Вчера я перевел вам по просьбе папы 10 червонцев. Он так пространно и сложно и наивно умолял меня Вам их переслать без обозначенья источника, что будет преступленьем с вашей стороны, если вы хоть чем-нибудь оправдаете его опасенья. Оля, золотая, прошу вас, не надо — примите.

Боря.

Напиши все-таки, когда думаешь к нам собраться. Крепко целуем тетю.

Чтоб скрасить картину, Боря выслал нам 100 рублей, якобы от дяди. О, как мы волновались! Эти деньги мы поклялись с негодованьем отправить обратно. Но наша нужда была так велика, что деньги начали, как прогнившая ткань, расходиться под нашими пальцами. Я хотела задержать этот процесс — и не могла. Но принять эту подачку, эту затычку, эту плату за поруганные надежды — о, нет! Со слезами я взяла нашу последнюю опору, мамину золотую цепочку, и отнесла ее на продажу. С каким трудом, с каким чувством утраты я возвращала Борису его

подлые сто рублей—все деньги, вырученные за прекрасную цепь; с каким искушеньем, с каким трагическим сожаленьем! Итак, Боря вверг нас в дополнительные горести.

ФРЕЙДЕНБЕРГ—Е. В. ПАСТЕРНАК

Ленинград, 27.ХІ.1924

Дорогая Женечка!

Пишу Вам, а не Боре, потому что настал тот час, о котором мы говорили летом, и мне нужно твердое слово *Ваше*, а не зыбкое Борино.

Настал час, говорю: за плечами отзывы, диспут, взвешиванье сил, пробный хлебок из чана с ядом... Все уже перевалило, все уже испытано. Настал час действовать. И мне нужен Ваш «завет верности», признание летних слов,—чтоб я знала, одна я или с Вами.

До сих пор—вы свидетель—я не только ни о чем не просила Борю, но останавливала его и охлаждала; сберегла ли я тем его внутренний напор—сомневаюсь. Вот вся моя история за это время; я просила о справке о Покровском, остальное отодвигала до сегодняшнего дня,—не так ли?—Да, но не такова история Бори. Она совсем другая. Боря с первых же шагов вопреки мне, следовательно, совершенно добровольно стал что-то делать и о чем-то отписываться. Что? О чем?—Не знаю, как и Вы, вероятно. Он сразу взял тон таинственный, с недомолвками, многообещающий. Он, ничем не вызываемый мною, стал писать, что ежедневно занимается моими делами, что-то подготавливает и вот-вот о чем-то возвестит. Он сделал из своих писем анонсы, заставлял *ждать* их (и как мы ждали!), поддерживал непрерывно нарост внимания, обещал и не называл своих обещаний. Женечка, я достаточно Вас знаю, чтоб не сомневаться, что Вы меня хорошо поймете: не правда ли, как духовно нецеломудренно всякое *обещание*, какой дряблостью чувства оно вызывается, как женской сильной натуре, знающей страсть бесперснадочных *действий*, оно претит! Но ладно,—он обещался. Какой же конец?—Молчание. До него—слова о моем письме, как о человеческом необходимом документе, пришедшем с фатальной нужностью, о чем-то радостном и большом, о последующем «отчетном деловом письме». Потом молчание—я все жду. И наконец, мирный апофеоз с «ничем».

Кому это было нужно? Ему или мне? Вам или маме?

Выжидательный период, прошедший в словесном «воздержании», был бы чище и содержательней. Я, повторяю, ничего за это время не возлагала на Боря и ничего не ждала. Но *сам он* настойчиво обострял мою наблюдательность, наводил эксперимент на самого себя, и я клянусь Вам, что ни я, ни моя любовь к Боре не виноваты нисколько, если все неотвязней и отчетливей его образ переходил в Хлестаковский.

Мама—иначе. Она выбаливала Боря. И эти деньги! Заключить невыполненные, оборванные в клочки обещания родственной подачкой! Как это бестактно само по себе! Если б Вы знали, какая горечь, какая жгучая боль была в этой сторублевке! Мама так рыдала, так возмущалась; я переживала чувство чего-то фатального—за что такое нагроможденье одних горестей?

И опять поднимаешь голову, опять начинаешь принимать жизнь, продолжаешь ее опять и опять.

В конце концов, когда вкладываешь в жизнь героическое содержание, отбиваешься беспрестанно от ее гротесков, смотришь ей прямо в глаза своей нуждой, своим не желающим передышки упорством—о, как тогда мерзка кажется и преступна чья-то невыполненность! Разве Боря не понимает, что моя жизнь уже стала биографией? Что ее страдания давно перешли за норму реальности и сделались приемом искусства? Это уже стало частью эпоса—скажите ему, давать мне *обещания*—значит не иметь литературного чутья.

Оттого я отвечаю не ему, а Вам. Для меня настал час действовать, подготовленный моими трудами и созревший до высшего предела в безысходности моих неудач. Ответьте же мне: ждать мне чего-нибудь или нет? Если нет, имейте мужество это сказать; только, ради Бога, без обещаний. Я поняла очень скоро, что то, чего я не могу, не может и Боря; в Кубу я не могу попасть—и он не поможет; к Покровскому попасть не могу—и он нет, и пр. и пр. Это все я отбрасываю,—хотя грех Бори в том, что он не отклонил мои надежды, а я сама разбила их о него же. В таинственность и многообещанность я уже не верю. Мои желания стали ограниченные и потому точны: я хочу напечатать свою работу, которую диспут очень осветил в смысле ее новизны и научной революционности, во-первых, а затем я хочу места, которое в самой незначительности и мизерности спасет меня от «вольной профессии» и от пивяки—Сашки. Жить при такой насыщенной длительности всех и отовсюду лишений я

больше не в состоянии. Узел из Сашки, вольной профессии и абсолютной нужды — должен быть разрублен.

Это мой *minimum* к СССР. Но и теперь я не стану обременять Борю просьбами; ни одну из своих забот не перекладываю на него. К нему — вот что: может ли он устроить мне прием у Л<уначарского> или нет? Переговоры, изложение дела etc. я беру на себя; мне нужна только услуга — огромная, разумеется — в устройстве приема.

Повторяю, пишу Вам, потому что Вы женским чутьем уловите серьезность моего тона и положения. Вы честно и прямо ответите мне — да или нет.

Поехать в Москву мне денежно очень трудно. Но пружина моя еще туга достаточно, чтоб все-таки приехать. Если Вы писать не любите, заставьте Боря, — это все равно будет для меня ответ Ваш.

Я буду ждать очень сильно. Если Вы найдете, что прием я могу получить (за его исход Боря не понесет ответственности), то я приеду сейчас же по получении письма от Вас или от Бори. Злосчастные деньги я привезу, в ином случае переведу.

Крепко и горячо Вас целую.

Ваша Оля.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <30.XI.1924(?)>

Дорогая Оля!

Выезжай. Я тебя просил об этом в каждом письме, и теперь очень рад, что и у тебя самой приезд стоит на очереди. Дело в том, что я на свои письма смотрю иначе, чем ты, и если в каком-нибудь из них есть что-нибудь о приезде, последуй тем советам, что там имеются. Из того что помню: захвати обязательно с собою работу, если можешь, то в двух экземплярах. Если это удобно и не вне твоих планов, то посоветуйся с Марром, чего и как тебе добиваться, и возьми у него письмо к Луначарскому. Только не сердись и не отчаивайся. Твой диспут был реальным фактом в реальной обстановке. Неужели ты думаешь, что в реальные условия поставлена ты одна, я же нахожусь в пространстве, насквозь пропитанном симпатическими токами и построенном в согласии с моими взглядами, чувствами и намереньями. Единственное, что было и

остается в моих силах, это вывести тебя и твое дело из зависимости от меня и того, что с нами делается. Что это значит, узнаешь, когда приедешь. Между прочим мне не раз бывал нужен Л<уначарский>, и я воздерживался от встреч с ним, п<отому> ч<то> берег его про тебя. Твое письмо меня естественно очень огорчило. В нем сказались признаки такой несправедливости, которая по своим размерам указывает, что ее источники субъективны. Тем нетерпеливей я тебя жду. Л<уначарский> нас примет. Это я тебе гарантирую. Крепко тебя и тетю целую. Счастливой дороги.

Протелеграфируй, я или Женя тебя встретим.

Твой Боря.

Р. С. Олечка дорогая, и если только это возможно, то не откладывай поездки в долгий ящик,—мне Л<уначарского> и самому надо неотложно видеть—на этой неделе обязательно будь. И не мудрствуй. Обнимаю тебя.

Б.

ФРЕЙДЕНБЕРГ—ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 3. XII. 1924

Дорогие Женечка и Боря!

Большое вам и сердечное спасибо, что ответили тотчас же. И я делаю то же, чтоб не задерживать визит Бори к Л<уначарскому>.

Я в Москву не приеду. Пожалуйста не принимайте этого на свой счет. В сущности, имей я деньги, я приехала бы, но чтоб обнять вас обоих и Дудля и доказать вам свое миролюбие,—а затем уехать. Если хотите—я очень утомлена жизнью; начинать экспедицией новую главу я сейчас не в состоянии. То, что ты, Боря, советуешь мне захватить записку от Марра, раскрывает мне характер твоей протекции. Во-первых, никогда я не научусь в ученом видеть влиятельного человека, никогда не стану форсировать научное доброе отношение к себе и менять его на звонкую монету. Никогда. А во-вторых, если Марр так влиятелен, что его имя нужно присоединять к экспедиции за жемчугом, то не проще ли ориентироваться на него одного? Чудак, чудак ты, Боря! Да если б я внутренне могла брать записки у ученых, была б ли такая у меня жизнь! Но так скроено природой: берущие записки ничего не дают сами, а дающие—не берут!

Тебе, впрочем, может показаться (или показалось уже), что я впадаю в тон величайшего самомнения. Я о скромности тебе говорила: что люди называют скромностью. Но я убедилась и в том, что такое самомнение и гордость: чувство концентрации, то, что Ницше гениально называл «пафосом дистанции», в глазах толпы есть самомнение и гордость.

Я достаточно резка и откровенна, чтобы очиститься перед вами в подозрении недоговоренности. Еще раз: у меня нет ни малейшей обиды или неосуществившихся претензий к тебе, Боря. Я, в конечном итоге, сердилась только на твой духовный темперамент,—а как раз это есть свойство врожденное, произвольное. Упаси Боже,—разве в твоих обещаниях меня раздражала их неосуществленность? Это грубо и не точно во всяком случае. Нет, я сама слишком сурова и насыщена (орфография сознательная!), чтобы простить в близком человеке одну потенциальность; об остальном речи нет. Ты не сжат, ты импульсивен—за это ведь нет права обижаться, можно только бунтовать против этого *an und für sich*¹,—что я и сделала. Все житейское при этом выключается.

Но то, что я не приеду в Москву, совершенно диктуется не этим, и ничего скрытого не читай между строк, затаенного не ищи. Причина лишь та, что маршрут трамвая не совпадает с моим путем; я убеждаюсь, что идти пешком мне будет легче. Да, я утомлена самой жизнью и, быть может, взбунтовалась и против тебя рикошетом. Я хотела бы служить приказчицей в чужом и частном предприятии, где ответственность несет хозяин, я хотела бы складывать работы в письменный стол и скрывать их от мифических издателей; запоздавший поезд с летними планами уже не застает меня. Я утомлена мирщиной, шарадностью истины, понимаемой каждым по-своему, зыбкостью слов, черепными перегородками и тютчевским «сочувствием», которое дается нам в виде «благодати».

Конфликт оказался сложнее, чем суфлировала житейская инсценировка. Коллизия не только двух миропониманий, но хуже гораздо: даже и с тем лагерем коллизия, и на берегу противоположном.

И как ни трудна жизнь человека, но жизнь личности еще труднее.

¹ На себя и против себя (нем.).

Кроме того, на улице поймал меня профессор-иранист и целый час не отпускал, облобызав сердце и заморозив ноги. Я и так была до и после (и во время) диспута отчаянно простужена.

Мои враги воспитывают уже новое поколение в ненависти к моей книге. Ходят по университету и говорят гнусности. Но дурное все же выветривается, а самый факт «Магистрата» остается, и в конце концов всякий, пожимая мне руку, будет помнить об ученой степени и больше ни о чем. Следить за их психологией — какая трагическая отрада! Карты перемешиваются тем, что среди единомышленников у меня завистливые враги, среди традиционных ученых — сердечно относящиеся доброжелатели. Это так мучительно и сложно! Куда сложнее диспута, прошедшего для меня легко, как двенадцатые роды. Меня тянут во все стороны, — а я хотела бы уйти от всех и от всего. Широта моей специальности тоже осложняет дело — вместо десятка врагов у меня их будет сотня. Пока злы одни классики — но близка очередь ориенталистов, и тех как раз, которые лелеют меня на своей груди. Трагедия моя еще и в том, что при революционно настроенном научном мышлении у меня овечья мирная натура. Я счастлива, когда меня не трогают. И все же должна сказать, что подготовленная враждебность на диспуте несколько разряжается, и голоса в мою пользу раздаются все больше. Но и в этом беда: враждебность лучше цементирует научные свойства, чем дряблая доброта. Занимаюсь много, сама, за исключением грузинского у Марра, который очень воспаляет меня. Делаю у него успехи. Кончаю санскрит и древнееврейский, переходя уже к чтению; санскрит кошмарно труден, что-то невероятное, почти цирковое. С рождества начну ассирийский. Надеюсь, с помощью богов, за зиму окончить подготовку фундамента для следующей, формально-докторской работы, по замыслу и материалу уже разработанной.

Живу «по ту сторону». От скверной стороны жизни спасаюсь и возрождаюсь в этой. Выхожу освеженная и радостная, все принимающая легко и емко.

Чего и Вам желаю. Разживусь деньгой, приеду к Вам, заговорю с Вами по-вавилонски. А Вы растите Дудля и готовьте его в академики.

Крепко вас целую!

Ваша Оля.

Теперь напишу вам не скоро.

Москва. <начало декабря (?) 1924 г.>

Дорогая Оля! Что ты наделала! Это уже шестое письмо тебе в ответ,—такие темы не по мне,—не могу, делай что хочешь. Разбирать, убеждать, доказывать? Какая чепуха. Все было ясно как день, обо всем было говорено больше трех месяцев, и вдруг оказывается, дело не в тебе было и не в твоей работе, а просто ставился психологический опыт со мной. Ну и поздравляю. Только не стоило столько нервов на это тратить. Я бы подписался под любой твоей или тетиной аттестацией с самого начала, как в конце концов всегда и делал. Вы не можете жить без галереи мерзавцев, ну и чудесно,—коллекция пополнилась мною. Как это все тонко и похоже на правду. И для всего у тебя есть блестящие формулировки (вроде сопровождения к деньгам). Были живые чувства, были живые планы, мы уже видели тебя приехавшею, я в каждом письме об этом писал, ты и сама знала и чувствовала, что за твоим приездом и за твоей работой все дело стало, но поездка откладывалась до диспута, наконец эта причина отпала и надо было либо приехать, либо в чем-то себе и другим честно сознаться, либо же наконец искать новых причин, чтобы не сделать простейшего и настоятельно-необходимого шага. И самым удобным тебе показалось искать их во мне, в каких-то моих недостатках, словно для исправности Ник<олаевской> жел<езной> дороги и для надежных перспектив исключительного по качеству научного труда требуется наличие в Москве совершенного ангелоподобья. Да ты и успела бы еще разочароваться во мне, приехавши и осмотревшись. Вот этот пункт изумляет меня всего больше и доводит до отчаянья. При чем тут я и мои качества, когда ты ничего не желаешь делать и, по-видимому, весь наш летний разговор—сплошное недоразуменье. А если это так, то на что я тебе дался, и отчего *ты сама*, Оля, не остановишь мамы или сама не объяснишь Жене: что Вы дескать мало в это посвящены, а я понимаю,—Боре *ничего* вообще делать без меня и моего языка, и моих потребностей и моего труда. Оля, Оля, как тебе не стыдно так играть правдой! Ведь вся эта история только (отчасти) ясна мне и—вполне—тебе. Жениной же маме, Жене самой и пр. можно говорить что угодно, это аудитория удобная. Я и этой потребности не понимаю. Я негодяй, пустослов, бахвал, мерзавец—ты—естественная этому

противуположность, все это я принимаю без спора;— но мне казалось, будто речь шла не об этих легких победах и поражениях и вообще—вне детской комнаты—моей или твоей—отчего же это все вдруг настолько изменилось и отчего ты вовремя не объявила мне и другим, что переносишь дело в детскую? Так вот. Столь же живо, как живы эти мечты, должна ты была съездить к нам. С верою, с готовностью проездить зря, как ездит живой человек в твои годы. Вместо этого, как воск на огне, видоизменялись и таяли переговоры по поводу приезда. Ты словно торговалась со мной или с судьбой. Скажите на милость, иначе ты не можешь! А я, помню, *требовал* этого, *такого* приезда. При неоформленности (фатальной и объяснимой, как у всех, и у меня) твоих претензий и потребностей в настоящих условиях, надо было и поступать так, т<о> е<сть> добиться всего неожиданно, мимоходом, за чаем, где не ожидали.—Ах, если этого не желать понимать, то к чему и объяснять! О чем говорить. В близкой связи со всем происшедший я могу только об одном. Что было задумано *живое* дело. Поездка твоя в Москву, в административный центр, где ты бы у нас жила, с нами бы, при желании, свои планы обсуждала и приводила в исполнение, где я бы тебе своими знакомствами помог (когда я дохожу до этого пункта, я не знаю, как выразаться: ты болезненно самолюбива). Отсюда. 1) Я выражаюсь бледно; тогда ты в этом усматриваешь слабую увлеченность тобой—пустословие и пр. 2) Я выражаюсь отчетливее: тогда ты отстраняешь меня и указываешь точные границы: узнать часы приема у Покровского; ворвешься же ты сама. И врываешься. В виду того, что это намеренье еще не осуществилось, то его-то только и осталось осуществить. В этом отношении ничего не изменилось. *Только* в этом направлении я и вижу тебя и тетю, и способен думать с вами и на близкую вам тему. Вот отчего я и не отвечаю на твою выходку: это область ошибок, микробиотики, неприбранных комнат, маленьких драм и, словом, тот край, куда лучше не соваться—тоска без форм, без сметы, вроде паутины,—тронуть,—не оберешься, не исчерпаешь. Так что все, что вне твоего приезда—осталось за флагом. Плюнь на все, Олечка, и езжай. Мы с тобой надо всем этим посмеемся и так, в лучшем настроении, отправимся к Луначарскому. Без тебя я не пойду, так и знай. Такой уж я мерзавец. Чудно было бы, если бы приехала ты на Рождество, самое и для дела время. Глупо было, что ты деньги отослала, тебе приехать надо было на них, потом бы, при первом авансе от

издательства, возвратила. Ты на мгновение сильно упала в моих глазах, я подумал о том, как я бы поступил в твоём случае. Так карьеры не строят и путей не прокладывают. Езжай же, Оля, умоляю тебя, а то ничего из тебя не выйдет, если тебе до Москвы доехать такое дело мудреное.

Говорил о тебе с Марром и Ольденбургом. Когда приедешь, расскажу, что про тебя говорили.

Ах тетя, тетя! И Вы все это видите и не защитите меня! Да гоните ее к нам, ей приехать надо, вот что. А папа прав был, я Вашу простоту и широкость переоценил.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 10.V.1926

Дорогая, дорогая Оля!

Ты попала в точку. Спасибо за пифическое письмо. Судьба, обнаруживавшая в последнее время случаи обостренного ясновиденья, в твоём,—дала его пароксизм в кругу семьи. Не возмущайся,—тетя Ася его однажды очертила. Она сказала как-то: «Что с тобой будет, меня не занимает, хоть совсем не работай, мне важно, что будет с ней». Так как это касалось Жени, и целого ее периода, то, замороженный тетиной теплотой к близкой мне девочке, я проникся ее словами, как внушением. Я не говорю, что ее слова что бы то ни было определили сами по себе, но они дали формулу тому самоограничению, которым я жил два года, предшествующие разговору, и два, за ним последовавшие. Нет человека на свете, который, зная меня, и многое еще другое, и зная по-настоящему значение тех звуков, которые произнесла тетя, повторил бы их.—И вот, последний год, и главным образом к весне, пошли и скопились, главным образом из-за границы, слова не меньшей теплоты, чем тетины, но значения совершенно обратного¹. Мне кажется, они и человечнее и мудрее тех, которые слышишь в семье. Это—отзывы и переводы иностранцев, статьи в лучшей, т<о> е<сть> не черносотенной эмигрантской печати², и множество проявлений большой, высокой, облагораживающей любви, рассеянной во времени и пространстве и этою

¹ В письме сказывается волнение от недавнего известия, полученного от отца, о том, что Рильке читал стихи Пастернака.

² В частности, статья Д. П. Святополк-Мирского (Благонамеренный, 1926, № 1). См. переписку с Цветаевой.

сеялкой очищенной до греческой, до вечной чистоты. Я не только этого никому не показываю, но я живу-то на счет этих волн с большим трудом и неумело, по вине семьи, где на этом веществе иногда лежал налет хвастовства. Крепость этих устоев сказана и в тете. Той весной, что стала сбываться моя судьба, точь-в-точь, как она выясняется периодами и в жизни всякого человека, и я *только об этом* вам рассказывал, тете привиделось, что я приезжал к вам похвалиться и, в этом смысле, потряхнуть родовой стариной. Ах, Оля, есть Бог на свете, нет, лучше скажем, есть, в противовес земному тяготенью, в противовес падучей тяга ввысь, тяга своеобразной, самооглушенной формы к форме форм. Ты, того не ведая, написала мне, что если я полагаю, что семилетний мой период нравственной спячки миновал, то это не сновиденье. Ах, Оля, остаток моей жизни будет похож на давно прожитую половину, отделенную от меня этим пустым перерывом. Тут молчу, нечего говорить, рано говорить. Какое у тебя чутье, Оля! Я показал твое письмо Жене, безмолвно, без комментария. Она заплакала, увидав: срок придет, все случится. Не ищи растолковать мои слова. Не надо и нельзя. Я сам все скажу через год или позже. Цель сегодняшнего письма: обнять тебя и горячо поблагодарить за породу, сказавшуюся в этом прорицаньи втемную, таком безошибочном.

Главное же, мы опять брат с сестрой, и ты на меня не дуешься. Обнимаю тебя и тетю. Не ходи на такие доклады. Ведь это позор. Все это делалось и было закончено тогда, когда и тротуары были поэтами. А с тех пор ведь (семь лет!) ничего своего и нового.

Боря был мне благодарен за то, что я предсказала ему возврат вдохновенья.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 21.X.1926

Олюшка, дорогая моя!

Давно прошло лето, а мы так и не повидались. Сказать по совести, я и не знаю, на что оно у меня ушло. Окна нашей комнаты поперек спуска к набережной. Мостовая прямо ложится на оба подоконника. Все лето они у меня стояли настезь, и вот мне кажется, что три месяца я только и знал, что вытирал пыль и

подметал пол. Только уборку и помню, да несколько неотвеченных писем и недочитанных книг. Работалось же через пень колоду.— Не знаю, говорил ли я тебе в свое время, что в квартире у нас мне негде заниматься, что, в результате ряда передвижений, комбинаций, приращений и других метаморфоз, у меня третий год не стало отдельной комнаты. Это б еще с полбебды: прошлую зиму всю я проработал в комнате Шуры и Ирины¹, зачастую с ними вместе, когда же это их стесняло, то перебирался в переднюю, служащую нам в то же время и кухней и столовой. По некоторым причинам и такой способ стал недоступен. И вот есть внешний, объективный признак, превращающий внутреннюю и, может быть, спорную невозможность заниматься в одной комнате с Женей, Женичкой и няней, в никем не оспариваемый факт: я много курю за работой, закуривать же детскую нельзя. Мы решили в комнате поставить перегородку. Не странно ли: все это я рассказываю тебе в объяснение причин, почему пишу тебе именно сегодня. А внешний повод таков. Женя привезла мне из-за границы блок почтовой бумаги, и обновить его я хочу тобой. Ты помнишь бывшую папину мастерскую. Это, по размерам, сущий манеж. Мне пришлось искать плотников, рядиться с ними, как любому непосвященному: Шура и Ирина, как архитекторы, мне помочь не могли. Они с утра до вечера заняты. Шура—на постройке, Ирина—в строительной конторе. Стоимость перегородки исчислили мне в 200 с чем-то рублей. Хотя рабочие и дерут с меня несколько против меры, все же источник этой торжественной и ужасной цифры не в их жадности, а в размерах помещения. Они должны были сегодня с утра начать возить матерьял. Вчера, после их ухода, я был обнаружен на общей кухне в состоянии глубокого и молчаливого рассеянья. На вопрос соседей, зашедших минут пять спустя, чего я ищу и не нахожу там, я пресерьезно ответил, что вот, дескать, беседовал с Мурзилкой (соседской кошкой), где мне достать эти деньги; но и на нее это подействовало так угнетающе, что она забралась от меня за кухонный стол. Я говорил это почти что не шутя, т<о> е<сть> я никого смешить не собирался. Я находился во власти прискорбной и умиляющей бессмыслицы, и вариации ее были мне безразличны. Один абсурд другого стоит, немыслимость кошачьего совета немыслимости нашей затеи не слабей. Потом—вопрос со штукатуркой. Плотники

¹ А. Л. Пастернак и его жена И. Н. Вильям (1899—1986).

уверяют, будто бы за неделю при жаровнях и постоянной, по несколько раз в день топке печей она усохнет. Люди же посторонние и незаинтересованные говорят, — кто — две-три недели, а кто и месяц. В моем кухонном столбняке шуршали не одни червонцы. Так же и стояли сквозняки, шел мокрый снег, и его заносило в комнату, и по обе стороны темно-серого, текучего известкового компресса клубился горячий, сдобренный раскаленным железом угар. Ты это себе представляешь, и жизнь неизвестно где, пока капризничает сырая каменная каша, заваренная впрок, к новоселью, на насморках, ревматизмах и прочих прелестях.

Нет ничего удивительного, что после таких видений я полночи не мог уснуть. Я ворочался в постели и думал о разных разностях. Когда я перешел на людей, то первыми вообразил и живо увидел вас, тебя и маму. Утром первым делом мне хотелось напомнить вам обоим, какие вы золотые и как я вас люблю.

Есть у человека потребность родовая и распротра-неннейшая, прямейшим образом связанная со всею музыкой сознания, и она так обща, так свойственна всем, что для нее верно существует и название, и только сейчас оно улетучилось у меня из памяти, а завтра же, когда я отправлю письмо, будет на языке. Идут годы, меняются основанья и приложенья собственного недовольства, несовершенные слагаемые гороятся одно на другое, взгляд вперед чает совершенств и теряется в этих гаданьях, и вот, пожалуй, лучшие из мгновений этой движущейся живой задачи на сложенье, — те, когда все частности перевешивают чувство живущей за всем этим беспокойной, ворочающейся суммы. Тогда хочется дорассказаться именно до нее, т<о> е<сть> начать болтать о себе, как раз так, чтобы эту болтовню, веселую или грустную, обняла, повалила и встала над ней общая кантилена бытованья, человеческая повесть, больше того — ее закон. Потребность эта обманчива. Она редко удовлетворяется всерьез. Человек, являясь с вокзала, после долголетней разлуки, раздражается восклицаньями и говорит отрывочными, малозначащими фразами. Романа от первого лица за ним не запишешь, да и этой дичью слишком тормозилась бы жизнь. Наплыв памяти настоящего времени не останавливает и ему не помеха. Потребность эта — величина воображаемая, однако без ее воображаемости формула души и ее роста обесмыслилась бы и распалась. Так вот, цельней всего потребность эта пробуждается во мне представленьем четырех окон на канал, сейчас и в прошлом, а может быть, и в

вечности. Отчего же не образом родителей и родных сестер? Тут удовлетворенье общительности оголено во всем противоречьи и настоящим полно до предела. Слишком реальна и велика близость.

Какое дурацкое письмо! Тем не менее, я его не обрываю.

Если надумаешь писать, непременно сообщи, здорова ли тетя и как ты сама.

Нелады наши с Женей отошли в область преданий. Они не кажутся мне вздором оттого, что о них уже начинаешь забывать. Я только, может быть, глупо писал о них в самом их разгаре. Уже и тогда я понимал, какая роль отводится доброй, благоразумной воле в зрелом возрасте и к какому скромному значенью низводит себя судьба и случайность. Со своим значеньем она, конечно, всего меньше расстается в этом перемещеньи. Но с переднего она отступает на задний план. Или, может быть, перестает играть, а становится поприщем игры, т^о е^{сть} по-видимому отсутствуя, целиком присваивает себе всю сцену. Игрою же и ее темой овладевает воля. Понял я это, разумеется, не вчера. Но часть наших препирательств именно к тому и сводилась: связывать ли нам нашу волю воедино, во благо ли это обоим, или же расстаться. Думаю, мы не раскаемся в принятом решеньи,—дай Бог.

Они чудесно провели время за границей. У Жени был даже целый месяц отдыха от ребенка, который она прожила одна в местности, о которой рассказывает сбивчиво и восторженно, на берегу озера, близ Тирольских Альп, с экскурсиями в горы, лодками, купаньем и романтикой новых знакомств. Тут, по старинному рецепту тети, мне должно бы хотя бы нахмуриться. На свете иногда ходят такие фразы: «Может быть, я вообще никого не люблю и любить не умею». И еще афоризмы о творчестве, об одиночестве и его холоде. Мой случай проще всех этих истин. Думаю, теплотой и обычностью чувств я не ниже нормы. Ревность,—не на ревности ли стоит все, вообще говоря, воображенье,—ревность я знаю слишком хорошо и пристально, чтобы барахтаться в ней, как в мутном и ослепляющем водовороте. Я люблю хорошую, благородную объективность, и, если эти слова имеют смысл, она мне платит взаимностью. К ней я не ревную, и страшно ревную ко всему, что хуже нее, что не она. Местность, в которой жила Женя, и ее времяпрепровождение были именно таковы, и люди, по всем признакам достойные, растворялись в грандиозной объективности щедрого

горного пейзажа. Я рад, что при мне, т<о> е<сть> в мою бытность в Жениной истории, у нее есть, отдельно от меня, отрывок, к которому она будет возвращаться и не исчерпает в воспоминаньях. Вот из каких атомов должны бы мы состоять.

При многосемейности и дружности квартиры, я знал, что тотчас после встречи, на перроне же, мы сразу окажемся в гостях, и из них уже больше не выйдем. Чтобы немножко побыть наедине (типическая московская подробность),— я поехал навстречу едущим в Можайск. И вот, *два часа жизни*, проведенные у Жени с мальчиком в купе, это, по контрасту, такой оазис, что получилось бы новое и нескончаемое письмо, начни я их описывать.

Жениной маме, проболевшей десять месяцев опухолью спинного мозга (распространяющийся с конечностей на все тело паралич), вырезали пять позвонков незадолго до приезда Жени. Операция, очень сложная и опасная, поначалу будто удалась. Она уже было стала поправляться, как вдруг заболела чем-то тяжким и сорокаградусным, что одновременно и—зараженье крови и гнойная лихорадка, и целый ряд каких-то других, неопределимых воспалений. В промежутках температура падает и к больной возвращается сознание. Состоянье это, почти не оставляющее никаких надежд, длится вот уже третью неделю. Это удивительно и ужасно. У организма, верно, есть цель, и в какой-то мере вероятная, раз он так сопротивляется. Ее болезнь в этом смысле почти загадочна.

Да, а о *настоящей* радости, которой хотел поделиться с вами обеими, не написал ни слова! Папина выставка в Берлине протекает блестяще и встречает баснословный прием. По моей давно забежавшей вперед просьбе, он выслал мне три газетных вырезки из лучших берлинских газет, при записке, прямо начинающейся восклицаньем: «Успех небывалый!» Таким образом мою стихийную, т<о> е<сть> элементарную радость по поводу его победы сопровождает еще и другая, идущая от сознания того, как он, в таких летах, еще несогбенно молод, и как я, несмотря на мои годы, фатально стар, т<о> е<сть> *добровольно сед*. Какое живое, почти детское по непосредственности *доверье к радости* сказалось в этих словах, в моей судьбе немислимых, даже и наедине с собою! Но за этой простой, молодящей параллелью вскрывается другая,— роковой пласт, и тут—только реветь да руками разводить. Дело в том, что он недооценивался всю жизнь и недооценен и по сей день настолько же, насколько меня

преследует переоценка. Гордитесь, тетя, братом и своей костью, и давайте обнимемся и поплачем втроем.

Крепко тебя и маму обнимаю. Тудель-Дудель¹ — большой мальчик, чудной и занятный, который начинает явно умилять и меня. Тайно, разумеется, он и всегда так на меня действовал. Жени сейчас дома нет, она в клинике. Отправляю без ее приписки, последней дожидаться нескоро, сейчас же — в особенности, когда ей действительно не до того.

Твой Боря.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 3.I.1928

Дорогая Оля! Твое письмо дочитывал со слезами на глазах. Ты не можешь себе представить, до чего мне нестерпимо бывает читать твои печальные письма. Если бы ты была моей женой, с которой я жил, т<о> е<сть> от любви которой все взял, и потом бросил, в мое огорченье наверное не столько замешивалось бы роковой тревоги и *раскаянья*, как когда я читаю твои страницы, в которых утоплена такая бездна горделивой задушевности и почти бесстрастного, почти пластического, т<о> е<сть> не нуждающегося ни в ком и ни в чем, ни даже в разумной причине, страдания! Боже, каким непосильным и давно мною утраченным воздухом ты дышишь! Он разреженно, — нет, убийственно чист, в нем нет ни пылинки того облегчительного, уступочного сору, который мы привносим к возрасту, чтобы вынести парадокс бессмертия среди болезней и сделать его мыслимым и правдоподобным. Ты же ослепительно гибка и молода сердцем, и этого нельзя видеть, не потрясаясь, даже и не будучи братом. Ты не всегда писала мне, как сегодня, но ты сама всегда такова. С таким ощущеньем тебя, твоей матери и твоей крови, твоей комнаты и твоего дара, твоего дьявола и твоей судьбы, т<о> е<сть> в таких чувствах я ведь и переступил порог вашего дома!² И хотя я достаточно знал, каким оттенком сдержанной властности ограждаетесь вы обе от всяких любвей и пониманий и тому подобного, и значит, в наивысшей

¹ «Домашнее» имя, которое О. М. Фрейденоберг дала сыну Б. Л. Пастернака, Жене.

² Разговор о приезде в сентябре 1927 г.

пассивности, на какую был способен, нес себя в ваше, т<о> е<сть> лучше и вернее, твое распоряжение, но и эта мера безынициативности показалась мне недостаточной при первых тетиных словах.

Помнишь, ты сказала мне, что обычно я более веселым и шумным приезжал, чем на этот раз? Вы должны были себе представить, что моим настроеньям есть причины, коренящиеся во мне или оставшиеся в Москве, что у моего приезда есть какие-то деловые цели. А между тем я приехал только к тебе, и вошел к вам *только* взволнованный, за исключением же этого волнения, во всем прочем весь начисто посвященный встрече, как только что для зарядки взятая светочувствительная пластинка. Это — о причинах моей грусти и сдержанности. А теперь о «деловых» целях. Я просто приехал сделать все, о чем ты меня попросишь, и следовать всюду, куда ты меня позовешь. Все это вранье о Царском Селе и Гатчине было тем минимумом активной мечты или предвосхищения, который я привез с собой и который, как я говорю, мне показался еще не довольно малым. Но что мне не к кому было в Питере, как только к тебе и маме, я и так, без всякой пользы и радости для тебя, доказал. У меня литературных друзей пол-Ленинграда, и ведь я не видал ни Ахматовой, ни Кузмина, ни Чуковского, ни десятка других менее милых, хотя почему же — менее, этого, может быть, о них нельзя сказать. Единственным исключением был Тихонов, но ведь это же почти младший брат мне. — Не знаю как и благодарить тебя, что ты не попрекнула меня моим свинским молчаньем. Ты знаешь или легко догадываешься, что первые дни по приезде меня так и тянуло писать тебе и благодарить тетю за ласку. Но просто и не сказать, сколько напоздло отовсюду разнообразных неотложностей. Однако обстоятельства сложились так несчастливо, что сейчас, когда я пишу тебе, их еще вдесятеро больше. Дело в том, что почти все это время я проболел. Я разорвал себе плечевые связки на левой руке, и на это, т<о> е<сть> на неопишуемые мученья и потом постепенное овладение отхворавшей и атрофировавшейся рукой, ушел месяц. Тогда же болел и весь дом и, как вы его зовете, — Дудлик, представь, — воспаленьем почвенных (как *он* говорит) лоханок. Потом по истеченьи недельной передышки схватил я грипп, и кончился он на самое Рождество — флюсом, так что Новый год встретил я... чрезвычайно надут. А работать и надо и хочется. А писем, писем! Олечка, замечательные были среди них о «1905-м». От Горького. От лучших и

независимейших из эмиграции. Конечно, права ты, а не Канский¹, но никому этого не говори, говорю и я достаточно. Статью в «Печ<ати> и Рев<олюции>, конечно, знал до приезда к вам. Статья прискорбная, но нельзя ее ругать: автор, очевидно, желал мне блага и вынужден был сделать это в «терминах эпохи». Он москвич и я его даже в лицо не знаю². Но если эти статьи тебе что-то по-сестрински дают (обстоятельство это меня волнует до крайности), то найди способ достать где-нибудь у вас июльский номер консервативного английского журнала «The London Mercury» за этот год. (July, 1927). Там статья князя Святополк-Мирского о современной русской литературе, и хотя оценка, которую он мне дает, незаслуженно преувеличенная, но это—единственная, о которой тебе не придется «спорить с Канским». И потом я тебе о Цветаевой рассказывал. Там тоже удивительно хорошо о ней. Но прочти *всю* статью³.

Я и эту статью читал еще летом, как и «Печ. и Рев»скую.—Я знаю, что не ответил тебе на письмо. Прости. Горячо тебя за все благодарю и целую. Так же и маму. Жени тоже.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <17.11.1928>

Дорогой мой друг! Вероятно, мое письмо показалось тебе темным или обидно коротким в ответ на всю глубину и силу твоего, и ты не рассчитала того, что я еще на бóльшей каторге, чем ты, и едва себя держу в руках, чтобы все не посыпалось, не поползло и не поскокало. Мне трудно, дорогая и родная моя, потому что все держится на памяти, на нервах, ведущих в былое,—и сейчас ничем живым не компенсируется. Сейчас я к тебе с просьбой, которой мне стыдно,—но начав с твоей легкой руки собирать вырезки, я стал их

¹ Канский Р. Б.—искусствовед, который жил в квартире Фрейденов.

² Красильников В.

³ Цветаева познакомила Пастернака с князем Д. П. Святополк-Мирским, жившим тогда в Англии. Во 2-м томе изданной им в 1926 г. в Лондоне «Истории русской литературы» Святополк-Мирский дал очень высокую оценку творчеству Бориса Пастернака. В 1927 г. он пишет Пастернаку об удивительной историчности «1905 года» и посылает ему свою статью в «The London Mercury», где в общем обзоре современной литературы выводит Пастернака на первое место.

коллекционировать с чужих слов и передач—то один, то другой скажет и укажет источник. А на днях натурщица в Жениной школе сказала ей, что в пятницу что-то читала в Красной газете. Это либо от 10.2, либо от 9-го. Газета—ваша, вечерняя. Не достанешь ли, Олюшка? Прости и не смейся надо мной и, если любишь, напиши о себе. Целую тебя и тетю крепко-крепко.

Твой Б.

Я уже полным ходом писала свою Поэтику, которую назвала Прокридой: я хотела поставить во главу угла мысль о различиях, которые оказываются тождеством. В Прокриде я впервые давала полную систему античных семантик. Я брала образы в их многообразии и показывала их единство. Мне хотелось установить закон формообразования и многообразия. Хаос сюжетов, мифов, обрядов, вещей становился у меня закономерной системой определенных смыслов.

Философски я хотела показать, что литература может быть таким же матерьялом теории познания, как и естествознание или точные науки. Что до фактического матерьяла, то тут у меня было много конкретных мыслей, много новых результатов: происхождение драмы, хора, лирической метафористики. Вскрывать генетическую семантику и находить связи среди самого разнородного—на это я была мастер!

Впервые я выдвинула по-новому проблему жанра и жанрообразования, освободив их от формального толкования.

Если над жанром никто в моем духе не работал, то иначе вышло с сюжетом. Интерес к сюжету у Марра и у Франк-Каменецкого всецело определялся семантикой, в то время как для меня семантика была целью определения морфологии,—закономерности формообразования.

У меня есть претензия считать, что я первая в научной литературе увидела в литературном сюжете систему мировоззрения.

В сущности, речь шла о гносеологии. Сюжет получал у меня характер произвольный, непосредственно выразивший первобытное образное (мифическое) мышление. Он имел свои законы и в области формообразования, и конкретного содержания, потому что являлся исторически обусловленным мировосприятием, которое складывалось по законам образования.

В 1928 году Прокрида уже была закончена.

Москва, 19.11.1928

Дорогая Олюшка! По-видимому, моя открытка вышла в одно время с твоим письмом и встретились они в Бологом. Стыжусь и благодарю. Спасибо большое за радостные вести о твоих работах. От души желаю тебе спокойствия и самообладания при дописывании второй диссертации: сознание, что она на корню предназначена для Ак<адемии> Наук, вообще, в дальнейшей судьбе предрешена—будет тебе помехой, и дай Бог тебе справиться с этими перебоями завтрашнего живого дня в сосредоточенном движении нынешнего. Мне очень нравится заглавие и широкий интерпретационный круг, который вокруг него раскидывается. Не делай только *за работой* последних напрашивающихся выводов о самой себе: они всегда язвят, нервируют и растравливают без проку. Они опускают все деловые промежуточные звенья и разом переносят к субъективно-тревожному итогу, упирающемуся в чувство и судьбу.

Говорю прекрасно известные тебе вещи, говорю, потому что знаю по себе.

Целую и поздравляю. Поцелуй тетю.

Твой Б.

Не сердись, что открытка. Это, чтоб поскорей.

Под Академией наук он разумел вот что. Как только книга была мною написана, напечатана на машинке и сброшюрована, я взяла ее и повезла в Академию материальной культуры Марру.

Я попросила его напечатать Прокриду. Он обещал. Я попросила его прикрепить Прокриду к Яфетическому институту для докторской защиты. Он обещал. Я уехала от него, несмотря на обычный дружелюбный прием, без всяких надежд.

Москва, 10.V.1928

Дорогая Олюшка! Жалею, что не было меня дома, когда звонил М-г Лившиц¹,—он с Шурой говорил;

¹ Лившиц И. Г.—египтолог, жил в квартире О. Фрейденберг.

расспросил бы я его по-своему и побольше. Все же знаю, что готовишься ты к осенней защите и день ото дня идешь в гору. Болел я. Началось с гриппа, кончилось скверным осложнением. Только тут, смущенный странной точностью и упорством головных болей, и обратился я к врачу. Оказалось — воспаление лобной пазухи (есть и такая), т<о> е<сть> полости, находящейся под височной костью. Слава богу обошлось без трепанации,—и выздоравливаю, а то бы не писал тебе. Больше месяца ничего не делал, да и сейчас берусь за работу с большой опаской: а ну как опять стрельнет в висок и все пойдет сначала.—Сидим пока без денег, но я их, разумеется, добуду. Когда поселяешься на лето тут под Москвой, кругом только и говорят, что о дешевизне Кавказа или Крыма. Справляются о деньгах, зарываемых где-нибудь в 60-ти верстах от Москвы, приходят в ужас и доказывают, что за них вчетвером по Кавказу можно доехать до Персии. Так с осени Кавказ пускает глубокие корни, по закону озимых посевов, зимой о нем не думаешь, весной же оказывается, что дело зашло так далеко, что вся твоя семья давно уже в Кабарде или Теберде, и только остается эту галлюцинацию дополнительным образом оформит.

— Я много болел этой зимой и мало чего сделал. В двух-трех работах, которые мне предстоит довести до конца, я теперь дошел до очень тяжелой и критической черты, за которой находится, по теме,—истекшее десятилетье—его события, его смысл и пр<очее>, но не в объективно эпическом построении, как это было с «1905-м», а в изображении личном, «субъективном», т<о> е<сть> придется рассказывать о том, как мы все это видели и переживали.

Я не двинусь ни в жизни, ни в работе ни на шаг вперед, если об этом куске времени себе не отрапортую. Обойти это препятствие, занявшись чем-нибудь другим, при всех моих склонностях и складе значит обесценить наперед все, что мне осталось пережить. Я бы мог это сделать, только если бы знал, что буду жить дважды. Тогда я до второй и более удобной жизни отложил бы эту ужасную и колючую задачу. Но нужно мне об этом написать, и интересно это может быть лишь при том условии, что это будет сделано более или менее искренно. А ты знаешь, террор возобновился, без тех нравственных оснований или оправданий, какие для него находили когда-то, в самый разгар торговли, карьеризма, невзрачной «греховности»: это ведь давно уже и далеко не те пуританские

святые, что выступали в свое время ангелами карающего правосудья. И вообще — страшная путаница, прокатываются какие-то ко времени не относящиеся волны, ничего не поймешь. Вообще, — осенью я не того ждал и не так было грустно. Я боюсь, что попытка, о которой говорю выше и без которой я не могу закончить двух вещей, принесет мне неприятности и снова затруднит мне жизнь, если не хуже. Но это — в естественной последовательности должного и предопределенного, вовсе не из задора какого-нибудь или чего-нибудь в этом роде. А может быть, все обойдется благополучно. Скорее верю в последнее.

20. V. Дорогая Олюша! Вот всегда так. Письмо лежит десять дней. Я его не кончил, потому что тем временем пришло тети Асино, замечательное, на которое хотелось и надо было тут же ответить, но в котором заключались вопросы, ответ на которые, как мне казалось, придет в теченье ближайших двух-трех дней, но эти вопросы задержались и до сих пор не получили разрешения: мы все еще не знаем, что предпримем летом. Кажется, я на месяц отправлю Женю с Женичкой на Кавказ, а сам в городе останусь, по их же возвращеньи поселимся где-нибудь тут на даче. Но все это еще в предположении. Во всяком случае, где бы то ни было, ты всегда будешь желанной гостьей (хоть на Кавказе). Если же (или — когда) мы поселимся под Москвой, то я очень бы хотел, чтобы пожила у нас и тетя. Крепко тебя обнимаю. Не сердись, что не отвечал тебе. Часть объяснений почерпнешь из письма, всех же не перечить.

Твой *Боря*.

ПАСТЕРНАК — А. О. и О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 5. VI. 1928

Дорогая тетя!

Час от часу не легче. Вы меня решили загнать в угол своей нежностью. Я приперт к стене. Ну что мне сказать, как ответить? Письма Вашего нельзя читать без волнения. Так именно читала и перечитывала его Женя. И Вы вся в нем, живая, так прямо и видишь и слышишь Вас. Не знаю как и благодарить Вас за приглашенье, больше же еще за то, как оно делается. Оно так заманчиво, что в тот же вечер, что я о нем прочел, я его

уже принял и у Вас поселился. Однако за полуторамесячную задержку в его исполнении я готов поручиться. Может быть, в середине июля мне удастся сочинить какое-нибудь дело до Ленгиза, чтобы попасть к вам, как я всегда это делал. Это очень вероятно. Сейчас же мне надо быть тут обязательно.— Два часа тому назад отбыла в Геленджик (Северный Кавказ) Женя с мальчиком и прислужгой. Я остался тут. Не только потому, что на всех бы не хватило денег, но и потому, что для дальнейшего их поступления мне надо и поработать и походить в здешние издательства. Я сейчас не напишу Вам ничего путного, как не смогу ответить и Оле, которую горячо благодарю за письмо. Тут за время болезни набежало много дел, еще же больше вызвал отъезд Жени, и надо спешно работать.

Если Оля хочет наверняка заручиться от меня ответом, то пусть оставит меня без писем, и лишенье скажется, и насильно заставит меня написать. Если же можешь, родная Олюшка, то прости мне его. Но вот я и отвечаю тебе; не о чем говорить, я чист перед тобою. Как догадаться мне о втором плане биографии по тем недосказанностям, которыми ты его касаешься. Ужасно жаль, что я не могу повидать тебя завтра и расспросить напрямик. Что же тогда дорогого на свете, если не твое душевное спокойствие и счастье? Благодарю и тебя за приглашение и гостеприимство. В июле я наверное воспользуюсь им. Теперь же крепко обнимаю вас обеих. Пустое письмо, я пишу его лишь из боязни промедленья, при таких окликах, как ваши, недопустимого.

Tout à Vous deux¹.

Боря.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 19.VII.1928

Дорогая Олечка! Прости за новое свинство: на твой привет из Царского и приглашение, переданное через Канского, до сих пор не ответил. Но, друг мой, если бы ты знала, что это была за гонка, что за каторга! Конечно, человеку постороннему достаточно на меня только взглянуть, чтобы по ввалившимся щекам сразу догадаться, что я не у вас в Питере провел этот трудный месяц. Но успел ли бы я столько, если бы за это не заплатил

¹ Весь Ваш (*фр.*).

долей здоровья, тоже вопрос. Что это именно была за работа, долго рассказывать. Это и переделка старых книг, вроде «Поверх барьеров», которые обезображены были опечатками да и независимо от этого достаточно дики, и многое другое. Друг мой Олечка, если хочешь взглянуть, как я просто стал писать, достань 7-й номер Красной Нови, это продолжение одного моего романа в стихах, но самостоятельная часть и ее можно читать, не зная начала; в крайнем случае посмотри № 1 того же журнала за этот год¹. Уезжаю совершенно истомленный и тебя и тетю страшно люблю.

Геленджик, ул. д-ра Гааза, 22.

Обнимаю вас обеих. Весь ваш Б.

Я писала Боре о пережитом, в виде итога. Мне хотелось сказать ему, наконец, что мое сердце занято, хоть и несчастливо. Он писал мне в конце октября, после холодного молчания, вызванного этим известием.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 22.X.1928

Оля, дорогая, я наверное потерял тебя и тетю, и этого уже ничем не поправить, вы вправе навсегда отказаться от меня и забыть, тем более что мне нечего выставить в свое оправдание. Я не знаю, что это у меня было во вторую половину лета и всю осень, но в этом состоянии, которым я нисколько не тяготился, я не ответил бы тебе и в том случае, если бы твое письмо состояло только из двух первых четвертушек и не было третьей, в которой ты говоришь о своей «регенерации» и, как бы успокаиваясь, смягчаешь остроту неотложности, к которой взывает начало письма. Вот видишь ты, насколько я виноват, и не знаю, не жалеешь ли о доверии, которым меня подарила. Все остальное (в отношении допущенного свинства) совершенные пустяки: и то, что приехали мы 16-го, и письмо твое «все равно» не по моей вине пошло, т<ак> ск<азать>, в лежку, самостоятельно ее открыло; и то, что нашли мы квартиру в состоянии ремонтного разгрома, а это всегда колеблет ощущение времени, во всех отношениях, и особенно в отношении нравственной ответственно-

¹ Публикация глав из романа «Спекторский».

сти; и то, наконец, что до твоего письма в этой полосе безнадежно-усталого и блаженного «рукомахательства» (от: рукой махнуть) — были еще более вопиющие прецеденты.

Сейчас я пишу тебе без надежды услышать что-нибудь в ответ: такая неожиданность меня бы даже смутила и пристыдила, мне бы этого не хотелось. Я придрался к случаю. Тут человек один привез полный чемодан подарков от наших, где есть вещи и вам и нам, и в разные города. Вдвойне рад этой посылке, как поводу заговорить, наконец, по-человечески.

Ах, Оля, Оля, точно ты не знаешь, в виде правила, не меняющегося ни от времени, ни от чего другого, что видеть тебя для меня всегда большая радость, пока к несчастью все еще остающаяся мечтой? И кстати. Вот когда я почувствовал роковые последствия своего молчания. Весной только и разговору было о том, чтобы снять дачу под Москвой и тебя с тетей сюда законтраковать насильно, либо же тебя вызвать на Кавказ. Удивительно, что Женя этого не вспомнила и вам не сказала.

Теперь о том, что ты пережила. Но если бы ты и не внушала мне, что этого не надо касаться, как вещи, якобы отошедшей в прошлое, я бы не знал, как об этом заговорить. Ты и себе, насколько я могу судить, всякие счеты с этим затрудняешь, как только можешь; ты переводишь то, что наполовину в твоей воле, в безраздельное веденье судьбы; по-видимому тебе ничего «этого» (т<о> е<сть> вторжения чужой жизни) в последней волевой глубине не хочется. И кто тебе тут судья и советчик? Странно тебе будет это от меня услышать, но, думаю, ты должна слепо довериться собственному *упрямству*, т. е. тому, что отдает, так сказать, часами с большим заводом, все равно старые ли это и знакомые тебе часы или новые, нелепые, но упрямо навязчивые в своей неожиданности. Потому что вопрос не в доводах разума или чувства и не в их вескости, а в той силе, которая обещает остаться в тебе по принятии решения и перемене... если не пути, то хотя бы жизненных привычек. Но наверное я ломлюсь в открытую дверь или грубо заблуждаюсь. Потому что я как будто бы говорю о каком-то житейском шаге, пусть и в предположении, ты же, не рассказывая, рассказала мне о чувстве, которое всегда, конечно, несоизмеримо больше всякого такого шага.

Вероятно, тебя можно уже поздравить с окончанием «Прокриды», т<о> е<сть> с приведением работы в

окончательный, дорожно-отпускной вид. Разрешились ли все те вопросы, которые предшествуют сдаче ее в печать, ты мне их в конце письма торопливо перечислила. Вижу и знаю, как напряженно трудно тебе в последней установке осуществлений, в той, уже не требующей ни мысли, ни нового наплыва чувства «уборке жизни», которая требует от людей легкости и других недостатков, и становится неопишимо трудной не столько от внешних неудач, сколько от прирожденных достоинств. Не пиши мне, пожалуйста. Дай,— уладится тут кое-что у меня, и я сам тебе напишу. Ты увидишь, что я переживаю много с твоим сходного. Но открытку ты все же пошли мне, о здоровьи тети. Женя видела ее простуженной, в состоянии легкого гриппа. Хотя я этого не заслужил, однако неизбежно и механическое извещение о получении посылки. Вот тут ты и скажи мне о тетиним здоровьи и о своей работе. Крепко вас обеих обнимаю и люблю. От всех поклоны и поцелуи.

Твой Боря.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 24.XII.1928

Дорогой Боря!

Мне суждено поздравить тебя с праздниками и пожелать всего лучшего перед наступлением Нового Года. Ведь ты знаешь, что переписка наша такова, что я могу тебе писать только по деловым поводам. Сейчас он таков.

Секретарь литературного отделения Института истории искусств Борис Васильевич Казанский, добрый мой приятель, просит, чтоб я передала тебе просьбу института и его. Институт выпускает о тебе исследование Бухштаба, и у них принято, чтоб в начале книги шла статья самого автора. Она может быть автобиографическая (примечание мое: ради бога, без Одесс и т. д.), либо принципиальная, либо о поэзии вообще или о своей и т. д. Так вот, просят тебя прислать им такую статью и спешно, кажется (не помню)¹.

¹ Отделанное начало работы Б. Я. Бухштаба (1904—1985) под названием «Лирика Пастернака» опубликовано Г. Г. Шаповаловой в «Литературном обозрении», 1987, № 9.

Эпиграф я забыла надписать: «благослови вас бог, а я не виноват». Не могу отказать милому Борису Васильевичу в его невинной просьбе, и исполняю ее механически. Мне в этом деле нечего ни прибавить, ни убавить. Сам Б. В. тоже тебе напишет, так как я отказалась брать на себя функции более делового характера. Почему он хотел моего посредничества — для меня непонятно; возможно, что он слишком ценит мои слова и переоценивает письма.

Мы ждали Женечку и одно время были приподняты мелькнувшей возможностью ее приезда. Крепко вас целую.

Твоя Оля.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 27. XII. 1928

Дорогая Олечка! Ах, если б ты знала, как мне плохо, как безысходно-неопределенно-трудно последнее время. С самой весны я как-то справлялся только с житейскими нуждами, ничего же нового и живого не сделал. Виноват в этом не я один, а также и время, т<о> е<сть> официальные его настроения. Сейчас ничего не могу тебе ответить на предложение Института, вероятно, инспирированное тобой, со дня на день собираюсь засесть за дело, что только меня и спасет душевно, и только отсюда, из вновь отвоеванного круга этого, не только *теперь*, но и *извечно* обреченного, благородно обреченного чистосердечья, способен буду сообразить, что написать и сделать. Но, думаю, писать теперь, в эти дни, стал бы лишь об этом: о невольном самоограничении «попутчиков», ставшем их второй природой, и об искаженье, которому подвергается оценка их исторической роли в самое последнее время. Но если ты знаешь Бухштаба¹ лично, передай ему, чтобы он цитатами из моей второй книги «Поверх барьеров»² не пользовался, не справясь у меня; эта книга испещрена опечатками, она вышла без моей правки, в год, когда я был на Урале. Крепко целую тебя и тетю.

¹ Б. Я. Бухштаб в 1929 г. показывал Пастернаку сделанную часть работы. Но издание ее в условиях нараставшей критики «попутчиков» было нереально. Вероятно, по этой причине Пастернак отказался писать предисловие.

² М., изд-во «Центрифуга», 1917.

Москва, 8. II. 1929

Дорогие тетя Ася и Олюшка!

Я знаю, я знаю, что обе вы на меня наверное сердитесь, и что у вас неизбежно превратные представления о моем житье-бытье и о причинах моего молчания. Но все это побоку, а вы поскорее успокойте меня насчет того, как вы справляетесь с этими дьявольскими холодами, и *вволю ли у вас хлеба*, и легко ли Вы достаете его. Ах, такие иногда прокатываются слухи! Скорей открыточкой «отпишите» мне, что вы делаете в эти страшные, сорокаградусные по Цельсию, фантазмагорические морозы,—ведь водки вы не пьете! Так как же вы тогда спасаетесь? Я знаю, что Вы сейчас подумаете. О нет, нет. —Пишу вам в изыбшем, не согретом еще состояньи, и взволнованный мой тон объясняется тем, что, во-первых, запущенные, на полгода (а что было в те полгода, я вам писал) запоздалые мои работы *me tiennent en haleine et encore un pareil mois de plus me rendra fou*¹; во-вторых, потому что я сейчас из сторонних источников узнал тревожно вздорные какие-то вещи о Ленинграде; в-третьих же, наконец потому, что я верю, что это известия вздорные (из Парижа), и с нетерпением буду ждать от вас подтвержденья. И третья эта причина разумеется важнейшая, если не единственная, моего волненья: если бы я не верил, что все в порядке, я, понятно, был бы не взволнован, а удручен или убит.

А у меня вот что. У меня бюджет и заработок так разошлись, что я во все тяжкие пустился в долги и авансы и сейчас, например, поедаю сентябрьские мои посулы и предположенья. Можете себе представить, какая у меня гонка, и какое, по ней, настроение, и какой досуг! Разумеется, я не «вдохновляюсь» сплошь по 16 часов в сутки. Но сколько надо и приходится читать! К тому же мне обязательно хочется *освежить* в памяти языки, порядком позабытые. Вот день и оказывается расписанным, не считая часов, уходящих на наш адский, полусумасшедший дом с его дырами, многолюдьем и непоправимым неумением людей делать что-либо по-настоящему, сверх механизации, остановившейся на каком-нибудь бытовом стандарте: на удовлет-

¹ Меня держат в неизвестности, и еще один такой месяц сведет меня с ума (фр.).

ворительном, скажем, зарботке, уличной температуре не ниже -10 или 15° и т. д. и т. д. О, если бы вы знали!

Крепко обнимаю вас и целую, жду открытки и наперед сознаю: свиной буду, свиной не смогу не быть до самого может быть 1930 г.

Любящий вас Боря.

Как горько я расхохоталась, когда читала февральское письмо Бори. Подумаешь, «морозы, хлеб!» — волновали его. Курсивом душевным запросил: волю ли у нас хлеба — хлеба! А наука, а бедствия, а все наши муки, на это он не откликнулся. Хлеб его волновал!

Я готовилась к отъезду в Москву. В коммунистической Академии орудовал почитатель Марра, фамилия которого была Аптекарь, а имя — Валериан. Марр договорился с ним о Прокриде.

В Москве я познакомилась с Аптекарем. Это был разухабистый, развязный и дородный парень в кожаном пальто, какое носили одни «ответственные работники». Ходил он раскачиваясь, словно не желая признавать препятствий. Весело и самоуверенно он признавался в отсутствии образования. Такие вот парни, как Аптекарь, неучи, приходили из деревень или местечек, нахватывались партийных лозунгов, марксистских схем, газетных фразеологий и чувствовали себя вождями и диктаторами. Они со спокойной совестью поучали ученых и были искренне убеждены, что для правильной систематизации знаний («методологии») не нужны самые знания.

Боря не особенно был рад мне. У него болели зубы. Женя находилась в Крыму. В огромной дядиной казенной квартире Борю третировали коммунальные жильцы с их пятнадцатью примусами и вечно осаждаемой уборной. В ванной, передней и в коридоре жили.

Я ни за что не хотела останавливаться у Бори.

— Мне нужно поселиться как можно ближе к Комакадемии.

Тогда он подвел меня к окну, выходившему во двор, и засмеялся:

— В таком случае тебе придется остановиться здесь!

Передо мной, во дворе, стояло здание Комакадемии...

Вечером я читала доклад и со мной пошел, вопреки моим просьбам, Боря, у которого болели зубы.

— Только поскорей кончай! — говорил он мне, совершенно не считаясь с тем, какое значение имел для

меня этот доклад, какое это было для меня большое событие, сколько я ждала и как радостно волновалась. Людей явилось очень мало. Фриче, тогдашний царь и бог, лежал больной в больнице. Председательствовал Нусинов, его заместитель, в то время большой человек, слова которого ценились на вес золота. Мой доклад (автореферат) имел большой успех. Мне говорили хорошие вещи, Аптекарь стал моим покровителем. Нусинов принял Прокриду к печати.

Боря, держась за щеку, мрачный, торопил меня. По дороге он сказал мне, что я не признаю в своей работе категории времени, и я удивилась его тонкости. Он еще что-то говорил мне верное, но не профессиональное, и я видела, что он прав, но слишком абсолютен, как человек, не знающий истории науки.

Ночевала я у него. Мы, как в детстве, лежали в одной и той же комнате и переговаривались со своих постелей. Было что-то от дядиной семьи, от тети, от родства нашей крови, и свежие простыни, запах пастернаковской квартиры создавали что-то хорошее в душе.

Первого мая я вернулась домой.

В конце мая в Москве происходил какой-то научный съезд (уже не помню какой), на который был командирован Франк-Каменецкий. Я ему дала на дорогу Прокриду для Аптекаря.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 23 мая 1929

Дорогая Олюша, золото!

Задержу провизию, пригодится нам, спасибо. Франк-Каменецкий был у меня и расскажет тебе о моем беспримерном свинстве. Но, дорогая, я не говорил тебе тогда, как я занят, как по-тревожному — торопливо я работаю. И по тому, чему ты была свидетельницей два дня, нельзя судить о моем обиходе, я, разумеется, все побросал, чтобы быть с тобой. Теперь так. Мне как раз приезд Франк-Каменецкого напомнил о листке, тобой оставленном, и о твоей просьбе. Вероятно, испуг стоял у меня в глазах, за его посещение, и он не мог этого не заметить. На другой день я отнес записку в канцелярию Раниона¹, но не мог ни у кого выяснить, не

¹ Ранион — Российская Ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук.

поздно ли это, то есть не повредил ли я тебе этой трехнедельной просрочкой. Сегодня пошел за справкой или, вернее, за утешеньем. И как нам с тобой не везет. Страшная случайность остановила меня как раз перед порогом. В двух шагах от Раниона в эту минуту мальчику отрезало колесом трамвая кончик ступни и—что тут описывать. Из Раниона как раз вызывали по телефону карету скорой помощи, перед Ранионом стояла толпа, под окнами Раниона лежал он на тротуаре, и кричал, и оправдывался, и просил сбегать за матерью, и, подчиняясь звуку этого слова, принимался голосить: мамочка моя!

Через час я пошел в канцелярию и вернулся, не произнеся ни слова. Не мог, открывал рот и чувствовал, что зареву.

Тетю целую.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 29.V.1929

Дорогая Олюшка! Прости, что не успокоил тебя вовремя насчет Раниона. По счастью, я тебе ничем не повредил и планового заседания за срок моей зевки ни одного не было, а хватился я и отдал препроводительную записку за неделю до него. Тем временем и в моей жизни кое-что делалось. В конце января я начал большой роман (в прозе) и недавно закончил первую его часть (четверть предполагаемого целого)¹. Кажется ничего, но ты и сама будешь иметь возможность о нем судить; когда узнаю точно, где и когда пойдет, извещу. Моя конопатая рябушка часто тебя вспоминает. За мамин отпуск он успел удачно отболеть свинкой, и давно уже здоров; разумеется мы Жене ничего не писали, но и тебе, кажется, я это забыл сообщить. В первую ночь он бредил, хватал меня за руку и смотрел вдаль, причем называл меня Прасковьей Петровной². У него были большие глаза, и я по-новому многое в нем почувствовал. Самые большие вещи на свете рядятся всегда в форму беспредельного спокойствия. Такой афоризм можно себе позволить только на полях открытки.

Целую тебя и тетю. Твой Б.

¹ Опубликовано под названием «Повесть».

² Соседка по квартире.

Москва, 9.VII.1929

Дорогие мои тетя Ася и Олюшка!

Пишу Вам, чтоб не думали, что забыл. Скоро опять за работу придется взяться и тут будет не до писанья, перерыв был длительный и много, верно, упущенного сбежится. Так что не сердитесь—предупреждаю,—если вздумаете написать в ответ, а я потом на ваше письмо не отвечу. А перерыв был неприятный и вот какой. Помнишь, Олюшка, говорил я тебе про свое пяти последних лет проклятие, про периодические, длительные боли в нижней челюсти, хуже всякой зубной, распространявшиеся по всему подбородку? Пошел наконец на просвечиванье, и оказалось, что никакая не невралгия, а мое ощущение было научно точным. Рентген показал громадную дыру под зубами там, где полагалось бы быть кости,—результат ее долголетнего, периодами, разрушенья. И вот мне сделали операцию, удалили костную кисту, там сидевшую, и доломали, для гладкости, костные фестоны и зубцы—остатки ее работы. По мне, т. е. по моей внешности, сейчас ничего не сказать, я даже принялся уже за работу и только совершенно пока не разговариваю. По окончательном заживленьи раны дело, надо надеяться, сведется просто к частичной беззубости, потому что эта операция потребовала предварительного удаления семи зубов, и в их числе всех передних. А потом, месяца через три, и это горе поправят. Но это было очень мучительно, операция, рассчитанная на 20 минут, длилась полтора часа, и я за нею терял сознание, потому что местная анестезия не удалась, в костной дыре нечему было анестезироваться, а общую побоялись делать, чтобы не перерезать центрального лицевого нерва; а тут, когда, извлекая кисту, зацепляли за него, или, не видя его под кровью, проводили вдоль по нему ватой, я кричал, конечно, и сигнализировал им фактом обморока. А Женя, бедная, за дверью стояла, и к ней бегали и без успеха пробовали увести. Но теперь, слава Богу, все это уже за плечами, и только думается еще временами: ведь это были врачи, старавшиеся, насколько можно, не причинять боли; что же тогда выносили люди на пытках? И как хорошо, что наше воображенье притуплено и не обо всем имеет живое представленья! Ну всего лучшего. Крепко обнимаю вас. Напишите непременно как и что у вас, главное, как

здоровье, как жактерия ваша. Дайте нам устроиться на остаток лета где-нибудь. Может быть, удастся вызвать вас к нам?

Ваш Боря.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 11.VII.1929

Боря, бедный, твое письмо читала с содроганием. Ужасно жаль тебя. Но хорошо то, что ты с этим покончил. Это нужно было сделать давно и избавить себя от пережитого в последнее время. Ну, я от души рада, что ты уже без этой злополучной пластинки. Теперь отдохни непременно, работы не переделаешь. Я с удовольствием провела бы с вами недельку-другую. На июль я была назначена в Сестрорецкий курорт (там — земной рай, и я бы на твоём месте взяла семью сюда, полный пансион 115 р. в месяц, ребенок 58 р., показано для детей, все, что нужно Дудлику, а также для Женечки и тебя — лечение нервной системы, ванны и т. д., сосна, море, чудесно), но через шесть дней вернулась со скандалом (случай «персональный», расскажу как-нибудь и либо вернусь, либо поеду в Петергоф, либо застряну в городе. Раздел в разгаре — приостановлен пока. Обнимаю вас всех.

Твоя Оля.

Весь 1929 год прошел у нас под знаком неслыханного квартирного процесса.

Квартирные условия становились все тяжелей; нам стало не под силу содержать квартирантов. Правительство начало поощрять раздел квартир. Мы хотели отделить себе две комнаты, а остальные отгородить. Разрешение было быстро получено. Но жулики, стоявшие во главе домоуправления (Жакт), захотели эту квартиру для себя. Одиннадцать судебных процессов! И двадцать два обследования нашей квартиры различными комиссиями, в любое время врывавшимися в дом.

Наша квартира была обращена в груды строительного мусора. Мы жили в грязи и пыли среди балок и сломанной штукатурки. К нам выстроилась очередь вселяющихся в нашу квартиру чужих людей.

Мы проиграли дело во всех инстанциях. Но этого мало. Нам предъявили иск в такую сумму, что мы лишились не только квартиры, покоя, независимости,

но должны были продать все свое имущество и остаться нищими.

И вдруг,—чистейшая случайность,—смена прокуроров—спасла нас на краю несчастья. <...>

То было время становящегося сталинизма, разгрома крестьян, «головокруженья от успехов». Начинаясь эра советского фашизма, но мы пока что принимали его в виде продолжающейся революции с ее жаждой разрушения.

В начале марта 1930 г. Франк-Каменецкий отправился с антирелигиозной бригадой Маторина в колхозы. Он сильно увлекался колхозами, теоретизировал, говорил наивные благоглупости и выступал публично. Я переживала это новое и неумное увлечение; перед моим душевным взором стояла картина, которую раз увидел в ужасе Боря—длинные эшелоны «раскулаченных»—ссылаемых крестьянских семей, целые поезда, целые деревни.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 11.VI.1930

Дорогие мои Олюшка и тетя Ася!

Часто переносился мыслями к вам в этом году, часто собирался писать и ни разу не написал, если не считать одной, оставленной Олею без ответа, открытки.

И сейчас пишу неизвестно почему. Повод посочувствовать вашим квартирным напастям и таске по судам, о чем сообщил однажды папа зимою, давно, по счастью, утрачен. Повод поздравить тетю с семидесятилетием я сам позорно пропустил. Поводов для письма нет, кроме одного. Я боюсь, что, если не напишу сейчас, этого никогда больше не случится. Итак, я почти прощаюсь. Не пугайтесь, это не надо понимать буквально. Я ничем серьезным не болен, мне ничего непосредственно не грозит. Но чувство конца все чаще меня преследует, и оно исходит от самого решающего в моем случае, от наблюдений над моей работой. Она уперлась в прошлое, и я бессилён сдвинуть ее с мертвой точки: я не участвовал в создании настоящего и живой любви у меня к нему нет.

Что всякому человеку положены границы и всему наступает свой конец, отнюдь не открытие. Но тяжело в этом убеждаться на своем примере. У меня нет перспектив, я не знаю, что со мною будет.

И однако письмо все-таки не так беспричинно, как мне показалось. Собираясь изо дня в день вам написать, я постепенно забыл о первичном мотиве. Новые знакомые сманили нас на это лето под Киев и сняли нам дачу там¹. Женя с Женичкой и воспитательницей уже с конца мая на месте. По-видимому, затея была не из умных: первые впечатленья Жени и Шуриной жены (его семья тоже поселилась в той же местности) граничили с отчаяньем: так далеко и с такими трудностями ездить было незачем. Но всеобщее мнение, что с продовольствием на Украине все же будет лучше, чем на севере. Послезавтра, 14-го, и я к ним отправлюсь. Не погостили ли бы вы у нас, или по крайней мере ты, Олюшка? У меня есть причины предполагать, что среди лета мне придется, может быть, вернуться в Москву. Но и до этого разрешенья жилой площади, все это, кажется, возможно,— дача большая. Напиши мне, Оля, туда, если будет охота, по адресу: Ирпень, Киевского окр. Юго-Западной ж. д., Пушкинская ул., 13, мне. Крепко вас обеих обнимаю. Прошу прощенья за грустное письмо.

Ваш Боря.

P.S. Бумага — подарок одной американки, — которую не трогал, пока не стало простой почтовой бумаги; и нигде не достать.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Ирпень, 21.VIII.1930

Дорогая Олюшка!

И опять я не думаю *писать* тебе, а только хочу поблагодарить за письмо. Сколько ты в них иногда умеешь вложить, и как изумительно их пишешь! Просто жалко, что такой отряд мыслей, выхваченных сгоряча, из прямых состояний духа, стройный, на всем ходу, куда-то отправляется и кем-то получается, и все кончается известием о его прибытии.

Я умышленно воздерживаюсь сейчас от сообщенья чего-либо, мало-мальски стоящего упоминанья. Все это я расскажу при свиданьи. Для того, чтобы проронить в письме хоть слово о своих, о себе и лете, о свободных видах и сознании фатального, мне надо было бы себя

¹ Г. Г. и З. Н. Нейгаузы пригласили Пастернаков поехать вместе с ними на дачу в Ирпень под Киевом.

уверить, что нет и скоро не будет обеденного стола посреди комнаты, и буфета у левой стены, и платяного шкафа в углу у окна. Отталкиваться же от такого грустного допущенья просто невозможно.

Крепко тебя и маму целую. Мне мешают сейчас глупые ночные бабочки в мохнатых штанах, которые безбожно вьются вокруг лампы, с разлета кидаются в чернильницу или садятся на перо и на ручку. Свежая ночь после душного дня, далеко стороной где-то проходящая гроза, керосиновая лампа на большой (и действительно, посреди этого черного воздуха кругом кажущейся неизмеримой) террасе, главное же, эти мошки и мотыльки,— сколько это все должно было бы напомнить! Но революция или возраст,— а прошлое работает слабо, субъективный лабиринт не отклоняет простых и прямых ощущений, и мне жалко *только* их, а не себя, как это бывало раньше. Жалко того, что раскаленное стекло не *охлаждает* их пыла, а не того, что все это однажды было августовской ночью на Большом Фонтане, и море было впереди, чуть вправо, где теперь, за рекой, обдаваемый зарницами лес.— Но это похоже на «описание природы» и притом — пошлейшего разбора, что в мои планы не входило.

Твои объяснения случая с А <птекарем> представили мне все дело с иной и совсем неизвестной мне стороны. (Ты замечаешь, какая тут мазня? Это все — бабочки. С особенным остервенением они налетели на А <птекаря>.) Открытку твою я толковал иначе, эгоистичнее и своекорыстнее с твоей стороны. Но в этой теме, в основном, мы так схожи и так сходно поставлены, что я даже и отрицанье родства принял бы по-родственному, в глубочайшем смысле этого слова. Объяснения тут более или менее безразличны именно потому, что существом и центром сплетенья служит здесь то, чего никак объяснить нельзя, и наша одинаково фатальная подчиненность этой необъяснимости. Короче говоря, если бы ты *не могла* написать такой открытки — ты была бы далеким мне человеком. Обнимаю тебя.

Твой Боря.

P.S. Когда я стал читать твое письмо, надо мной наклонилась Женя, предложив читать его вместе, т. е. то, чего я совершенно не умею. Я предложил ей прочесть его даже до меня, но только отдельно. Она на меня так обиделась, что и до сих пор его не читала и не хочет читать. Этим объясняется вновь ее отсутствие в письме. Но ты, конечно, знаешь, как она вас любит.

Москва, 20.X.1930

Дорогая Олюшка!

Страшно рад твоему письму. Из просьбы и тона ее изложения можно сделать успокоительные выводы, хотя и неопределенные.

В подчеркнутых твоих извиненьях прочел я скрытый упрек, и опять: — он приемлем, если сделан в самой неопределенной форме. Разумеется, в каком-то очень общем смысле, я — свинья, в наше свинское, в общем смысле, время. Но я растерялся бы, если бы узнал, что укор твой имеет в виду что-нибудь положительное и определенное. Переписку? Но отчего никогда не пишешь ты, зная, как мне дорого знать вовремя все о вас? Или тебя обидело, что на твои тяжелые известия я отозвался открыткой? Я не помню, — но я должен был предлагать дело в ней, что-нибудь о даче или о чем-нибудь еще. И как раз от тебя ждал на все это ответа. Правда и то (разве я отрицаю?), что показал, как ждал: довольно-таки вяло и безмолвно. А что ты поделаешь? Писать становится все трудней и трудней. Замолкает все. Замерла за граница в моей переписке, замер, предупреждая ее, и я.

А лето было восхитительное, замечательные друзья, замечательная обстановка. И то, с чем я прощался в весеннем письме к вам, — работа, вдруг как-то отошла на солнце, и мне давно, давно уже не работалось так, как там, в Ирпене. Конечно — мир совершенной оторванности и изоляции, вроде одиночества Гамсуновского голода, но мир здоровый и ровный¹.

Написал я своего Медного всадника, Оля, — скромного, серого, но цельного и, кажется, настоящего². Вероятно, он не увидит света. Цензура стала кромсать меня в повторных изданиях и, навостывая свое прежнее невнимание ко мне, с излишним вниманием впивается в рукописи, еще не напечатанные.

Но ты напиши мне поподробнее. Я и боюсь спросить о тете. Упреки упреками, — а твое молчанье (по ситу-

¹ Имеется в виду популярная в России повесть Кнута Гамсуна «Голод».

² Летом 1930 г. была завершена работа над «Спекторским». В издании 1931 г. поэма имела эпиграф из «Медного всадника» Пушкина: «Были здесь ворота...»

ации и пр. и пр.) много жесточе моего. И вряд ли последствия моего так сказываются на тебе, как обратно. Итак, прошу тебя,—напиши.

Теперь об А<птекаре>. Я только что звонил ему и ничего путнее того, о чем ниже, не мог добиться. Он будет в течение двух дней, первого и второго (ноября), в Ленинграде, утрами в Яфетическом институте, постоем—в Академии наук и просит тебя *ловить* его там (это его выражение), преимущественно по утрам. Я сказал, что собираюсь писать тебе, и не сообщит ли он мне чего-нибудь кроме ловли, и—ближе к твоему вопросу, т. к. одно от другого ничуть не пострадает. Но он с любезностями по твоему адресу отклонил меня, как третье лицо, вероятно потому, что не захотел показаться непосвященным в дела Комакадемии. А теперь ты будешь на меня сердиться. Но, ей-Богу, я со всем уваженьем адресовался к нему. Крепко целую тебя и тетю.

И вкратце—о житье-бытье. Я зимы себе как-то не представляю, и потому в квартире у нас как-то все более, чем когда, по-временному: непрочно, в полвздоха и малореально. Но—сыты, слава Богу, и в деньгах пока не отказывают (ради Бога, всегда имей в виду,—осчастливишь!).—Только Женя худа.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 5.XII.1930

Олечка, дорогой мой друг, и Вы, дорогая тетя Ася! Надо ли говорить, как подействовало на нас твое, Оля, письмо, и как вся, ничуть не переменявшаяся, живете Вы, тетя, в своем! Я слышал о ваших прошлогодних невзгодах, но и в десятой доле не мог вообразить, что они таковы.

И твой упрек в отрыве, Оля (справедливый!), горько прозвучал и оставил горький отзвук. И это отзвук моей жизни. Так все родилось, так все сложилось,—что делать!

Недавно как-то вечером в гостях Женя сентенцией разрешилась, что в Ленинграде женщины замечательные и все оттуда. Сказано это было по поводу присутствовавшей и действительно замечательной вашей пианистки М. Юдиной. А в пример привела, кроме названной, бывавших и близко знакомых: Ахматову,

сестер Радловых¹ и вас обеих. Тогда и хозяйка, где ужинали, напомнила, что она из Петербурга. Жене же пришлось рассказать о вас, в виду заявленного.

И вот я люблю вас, как самое свое, а и не запишу до конца страницы. Тут верно и начинается то, что ты, Оля, назвала: отрыв. Но рассказывать о чем-нибудь своем — значит делиться, значит угощать, значит что-то предлагать, для всего же этого надо держать в руке что-то осязаемое. Осязаема ли нынешняя жизнь? Или повести́ это все одним восклицаньем, и сказать так? Что сотой доли неизвестно за что выпадающего мне счастья было бы в былое время достаточно, чтобы вправлять его в кольца и резать им стекло. Что вновь и вновь встречаются люди, которых невозможно не любить, что до меня доходят волны, которых я не заслужил и отдаленно, что моя обыденность испещрена драгоценностями, и следовательно, тем горше, что все это пропадает даром. Потому что это происходит в наше время, превратившее жизнь в нематерьяльный, отвлеченный сон. И чудесам человеческого сердца некуда лечь, не на чем отгиснуться, не в чем отразиться.

Но ведь я к вам с большою просьбой. Помогите мне, пожалуйста. Я не оставил надежды послать Женю с Дудликом, как вы его называете, к своим. В известных целях мне надо бы последовательно обязать их на известную сумму. Вы оказали бы мне серьезнейшую услугу и я не знал бы, как за нее благодарить, если бы согласились раз-другой на перевод от меня, причем только половину я бы отнес на папу. Неужели вы меня оттолкнете? Тогда я просто не понимаю, для чего мне зарабатывать. И всего меньше, — в чем мой отрыв. Потому что с людьми близкими из московских или из друзей, с которыми мы жили в Ирпене, этого отрыва нет и в этом вопросе, и ведь это легчайшее доказательство взаимного доверья. И вы мне в нем откажете? А главное, главное, главное: услуга, которую Вы мне при этом могли бы оказать, вдесятеро серьезнее той химерической брезгливости, которую всегда ко мне питаете. Клянусь Дудликовым здоровьем! Ваш отказ будет не только пощечиной мне, но и... нуллификацией будущих Дудликовых ресурсов. И это было бы так гадко, что я этого и вообразить не в состоянии. Простите за длинный разговор на эту гнусную тему, но я так боюсь вас! Как раз этот страх

¹ Сестры Дармолатовы: скульптор С. Д. Лебедева и поэт А. Д. Радлова.

причина того, что пишу вам обоим сразу. Не пощадит Оля, пожалеете, тетя Ася, Вы. Тетечка, заступитесь за меня перед нею. Наедине же страшно. Крепко целую и обнимаю. Ваш *Боря*.

Писал ли вам папа о смерти тети Розы?¹

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 1.VI.1932

Дорогие мои Олюшка и тетя Ася!

Как хорошо, что я все время не писал Вам! Сколько глупостей бы Вы наслышались, сколько тяжелого бы, и теперь уже лишнего, прочли!

Ах, какая тяжелая зима была, в особенности после приезда Жени. Мучилась, бедная, в первую очередь и она, но сколько и всем, и мне в том числе, было страданий. Сколько неразрешимых трудностей с квартирой (нам с Зиной и ее мальчиками некуда было деваться, когда очистили Волхонку, и надо было бы написать много страниц, чтобы рассказать, как все это рассовывалось и рассасывалось)... Невозможным бременем, реальным, как с пятнадцатилетнего возраста сурово *реальна* вся ее жизнь женщины, легло все это на Зину. Вы думаете, не случилось той самой «небылицы, сказки и пр.», о которой Вы и слышать не хотели, и от безумья которой меня предостерегали?² О, конечно! Я и на эту низость пустился, и если бы Вы знали, как боготворил я Зину, отпуская ее на это обидное закланье. Но пусть я и вернулся на несколько суток, пройти это насилие над жизнью не могло: я с ума сошел от тоски. Между прочим, я травился в те месяцы и спасла меня Зина. Ах, страшная была зима. Я, а потом и она со мной поселились у Шуры с Ириной. Начались ежедневные ее хождения к детям и по рынкам (все, относящееся к закрытым распределителям, я оставил Жене), Зина по несколько раз сваливалась в гриппах и, наконец, к весне заболела воспалением легких. Мы были у Шуры, где тоже все время хворал Федя (сейчас у него корь с ушным осложнением), мальчики же ее находились у отца, в совершенно

¹ Р. О. Шапиро, сестра Л. О. Пастернака.

² Зная мягкость характера Б. Пастернака, Анна Осиповна предупреждала его, как мучительны будут колебания в этом вопросе и недопустимо возвращение обратно.

запущенной квартире, потому что Зина не справлялась с двумя хозяйствами и ей приходилось быть им, так сказать, «приходящей» матерью, а не живущей,—я страшно виноват перед ней, ужасно расшатал ее здоровье и состарил, но и я в последнем счете был несвободен, мною слишком владела жалость к Жене, я как бы ей весь год предоставлял возможность сделать благородное движение, признать свершившееся и простить, но не так, как она это делает, сурово и злобно, или насмешливо, а широко, благородно, с затратой каких-то, пусть и дорого стоящих сил, но с той добротой без расчета, от которой одной и можно только ждать мыслимого какого-то будущего, человеческого и достойного. Станным образом у нее совершенно нет этих задатков и она даже смеется над теми, кто этою мягкостью обладает. Да, так вот, мы жили с Зиной у Шуры, когда вдруг заболел скарлатиной Женичка, и мне в последний, вероятно, раз со всей наивностью стало страшно за нее, и тогда Зина предложила мне поселиться на Волхонке на срок его болезни, а сама осталась на квартире у Шуры. И опять Жене было сказано, что я поселяюсь у них на положеньи друга на шесть недель, и вновь это была, пускай и горькая для нее, но мыслимая и совершенно определенная рама, в которой можно и надо было найтись и как-то проявить себя, и вновь с этой стороны не было показано ничего отрадного. Хотя я и чистил платье щеткой в сулеме, но, встречаясь с Зиной у нее на дворе или на воздухе, подвергал ее детей страшной опасности, и просто чудесно, что они до сих пор не заразились.

Но я очень многословен,—доскажу, что осталось, короче.

Женичке болеть еще полторы недели. До сих пор все шло благополучно. С неделю я живу с Зиной в двухкомнатной и еще недоделанной квартире, уделенной нам Союзом Писателей на Тверском бульваре. Здесь не проведено еще электричество и не собрана ванна. С нами же ее чудесные мальчики. Они на руках у нее, и Зина чуть ли не ежедневно стирает и моет полы, т. к. кругом ведутся строительные работы, и когда входят со двора, следят мелом и песком. Через неделю мы вчетвером поедem на Урал, и на этот срок брать работницу не имеет смысла. Не думайте, что Женя оставлена материально и, так сказать, в загоне. При Женичке воспитательница, и у Жени пожилая опытная прислуга. Будьте справедливы и к ней: все это делается против ее воли, для меня большим облегченьем служит сравнительная сносность ее внешнего быта,

и всякий раз, как дело доходит до новых денег, мне больших и горьких трудов стоит, чтобы она их приняла. Но, Бог ей судья, в ней есть что-то совершенно непонятное мне и глубоко чужое. Когда я о ней думаю после длительных разлук, я всегда прихожу в ужас от той черной двойственности и неискренности, в которой держал ее всегда, и несу ей навстречу волну готовой прямоты, чтобы все исправить, и когда оказываюсь вместе с ней, то вновь и вновь единственной моей целью становится, чтобы она была весела, а для этого я должен говорить не то, что думаю, потому что она не терпит прекословий, и все это повторяется вновь и вновь, и всегда мучит тем, что то чужое, что сидит в ней, совершенно расходится с ее внешним обликом и ее внутренней сутью в другие минуты, и все это так странно, что похоже на колдовство.

Я совершенно счастлив с Зиной. Не говоря обо мне, думаю, что и для нее встреча со мной не случайна. Я не знаю, как вы к ней относитесь. Вы плакали, особенно ты, Оля, когда мы уходили. Эти слезы были к месту, потому что ничего веселого мои гаданья не заключали, но я не знаю, к кому они относились.

Она очень хороша, но страшно дурнеет в те дни, когда в торжественных случаях ходит в парикмахерскую и приходит оттуда вульгарно изуродованною на два на три дня, пока не разовьется завивка. Таким торжественным случаем было посещение Вас, и она к Вам пришла прямо от парикмахера. Я не знаю, как Вы ее нашли и к ней относитесь. О полученном же ею впечатленьи я Вам говорил.

Она несколько раз порывалась писать Вам, тетя, в декабре истекшего года, когда вдруг так быстро стали близиться события, предсказанные Вами в качестве недопустимостей или неслыханностей. Я вам их уже описал. Она бросалась к Вам за помощью в их предупреждение. Тогда же она думала обратиться к папе. Она справедливо боялась искаженного изображения всего происшедшего, какое могло получиться за границей. Ей было очень тяжело, и эта тягостность была тем нелепее, чем мы взаимно были уверены друг во друге и в наших чувствах. Я помешал ей написать Вам и родителям из страха, как бы это не повредило Жене. В отношении последней у меня за годы жизни с ней развилась неестественная, безрадостная заботливость, часто расходящаяся со всеми моими убеждениями и внутренне меня возмущающая, потому что я никогда не видал человека, воспитанного в таком глупом, по-детски бездеятельном ослепляющем эгоиз-

ме, как она. Плоды этого дурацкого воспитания сказались в виде такой опасности, что я никогда не мог избавиться от суеверного страха за нее, тем более суеверного, чем дальше меня отталкивали некоторые ее проявления. Последним случаем такой нежности, основанной на осуждении, ужасе и испуге, были зимние месяцы, когда, как я повторяю, я опять, было, готов был пожертвовать ей не только собственным счастьем, но и счастьем и честью близкого человека, но на этот раз уже восстала сама логика вещей, и этот бред не имел продолженья.

Если захотите, напишите мне, пожалуйста, в Свердловск, Главный почтамт, до востребованья¹,— Вы знаете, какую радостью будет весть от Вас. Напиши, пожалуйста, ты, Оля, родная. Было бы очень мило, если бы у Вас нашлись слова для Зины, она бы оценила их. Она очень простой, горячо привязывающийся и страшно родной мне человек и чудесная, незаслуженно естественная, природно сужденная мне—жена.

Ваш Боря.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <Вторая половина октября 1932 г.>

Дорогие мои!

Говорят, вино хорошее, но только вид бутылок мне не нравится. Воспользовался любезностью тов. Лавута², который вслед за мной теперь повезет показывать вашей публике Пант<елеймона> Романова,—он доставит вам это Карданахи.

Коле³ сообщил по телефону о твоих, Оля, подношениях, он очень благодарит и на днях зайдет за ними,—до сих пор с ним не видались, он по-прежнему занят по горло, затрепали и меня.

Квартиру нашел *неузнаваемой!* За четыре дня Зина успела позвать стекольщика и достать стекло—остальное все сделала сама, своими руками: смастерила раздвижные гардины на шнурах, заново перебила и перевязала два совершенно негодных пружинных мат-

¹ Пастернак был приглашен в Свердловск для сбора материалов о социалистической реконструкции Урала.

² П. С. Лавут организовал авторский вечер чтения Б. Пастернака в Ленинградской филармонии.

³ Н. С. Тихонов.

раца и из одного сделала диван, сама полы натерла и пр. и пр. Комнату мне устроила на славу, и этого не описать, потому что надо было видеть, что тут было раньше!

По приезде застал письмо большое от папы, надо ответить глубоко, исчерпывающе и ото всей души, и наверное в ближайшие дни это будет невозможно технически, а он тем временем будет подыскивать этой неспешности свои и теперь совсем неподходящие объяснения.

Крепко Вас обеих целую и за все горячо благодарю.

Ваш Боря.

На Зину не сердитесь, что не пишет: весь день все на ней, она о вас все расспрашивала, да и нет ее сейчас дома, завтра Ирина к Шуре¹ в Крым отправляется.

«Три сюжета» и «Сюжетная семантика Одиссеи» вышли в 1929 году, я послала их Боре. Способность удивляться, создающая творца, родилась у меня именно над Одиссеей.

Вот почему это и была моя первая научная работа в настоящем смысле. Она шла как-то вкось и от моих основных занятий, и от будущего. Моя мысль пробовала себя. Еще не веря в греческий роман и не предвидя его значения, я задержалась на Гомере. Ища жанрового объяснения романа, я занималась Одиссеей. Меня поразили восточные аналогии. Я села писать.

В Одиссее мой внутренний глаз неожиданно стал видеть тавтологию мотивов. Но то, что наиболее изумило меня какой-то математической достоверностью, заключалось в законах композиции сюжета (а то и целого жанра); достаточно узнать композицию, чтоб узнать содержание.

В своей работе «Три сюжета или семантика одного» я разбирала такую картину: веревка литературной преемственности; за веревку держатся гении различных наций; по веревке бежит кольцо готового сюжета, которое передается из рук в руки. От кого к кому?—это основной вопрос так называемого «развития». Но, конечно, не менее важен и генезис<...>.

Великие писатели XVII века, культивируя древний сюжет, не прибегают к нему в качестве случайного, только им свойственного личного приема творчества, а оказываются представителями общей идеологии

того времени, требовавшей именно такого литературного приема.

Но несомненно одно: XIX век является конечной границей готового сюжета и началом сюжета свободного.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <21.X.1932>

Дорогая Олюшка! Как ты великолепно пишешь, — мне бы так! С увлечением, между дел, проглотил одну из твоих работ (Три сюжета) и урывками читаю другую. Страшно близкий мне круг мыслей. Как я жалею, что не знаю и не узнаю никогда всего этого течения в его главных основах. В основаниях методологии он мне родной (Кассирер восходит к Когену¹), но философией языка я никогда не занимался. О принципиальном символизме всякого искусства думал сам, невежественно и невооруженно, когда писал «Охранную грамоту», и потому так жадно подчеркиваю твои строчки вроде «Процесса действий нет, а есть их плоскостное и одновременное<...> присутствие». «Единство проявляется только в отличиях». «В силу закона плоскостности, заменяющего процесс», «Образ порождается реальностью, воспринимаемой антизначно этой реальности» и пр. и пр. И как удачно ты себя формулируешь, какие находишь слова!

Спасибо. Крепко обнимаю. Получили ли вино?

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <27.XI.1932>

Дорогая Олюшка! Все ждал и ждал извещения о здоровье тети (падение со стула и ушибы) и беспокоился. И вдруг вспомнил, что я об этом тебя не спросил! Скорей же отвечай мне, даже в том случае, если бы ты считала, что я этого недостоин! Ты и тетя, верно, допускаете, что я живой человек, Вам, надо думать, это кажется вероятным! Отчего же не продолжаете Вы тратить Ваше великодушие в мою сторону хотя бы

¹ Кассирер Э.— американский философ, ученик Г. Когена, главы Марбургской школы.

впустую. Неужели то обстоятельство, пишу ли я Вам или нет, имеет значение. И не объясняется ли, временами, это молчанье профессиональными причинами? Желю отдала в школу, и он в восторге. Напиши, как тетя, заклинаю тебя и обнимаю.

Дорогие Анна Осиповна и Ольга Михайловна! Шлю Вам свой сердечный привет и крепко целую. Не пишу, потому что если бы начала писать, то Бориного запаса бумаги не хватило. Живем очень хорошо. Пишите нам чаще и не сердитесь на нас!

Ваша Зина.

Вы видите, и Зина грамоте научилась.

Когда в ЛИФЛИ (бывший филологический факультет университета, выведенный в самостоятельное высшее учебное заведение) открывалась кафедра классической филологии, новый директор Горловский просил меня организовать ее.

Я стала отказываться в пользу Жебелева, Маленина, Толстого. Однако Горловский не принимал их кандидатуры и остановился на мне, т. к. мое научное лицо было широко известно, а он хотел сочетания академической школы Жебелева с новым учением о языке Марра. Я долго отказывалась. Я не имела стремлений к педагогической работе, никогда не преподавала, а тут сразу профессором. Давно я примирилась с изгнанием из стен высших учебных заведений; сколько я ни билась в свое время, никуда меня не принимали простым грецистом. И вдруг — кафедра.

Когда я пришла в ЛИФЛИ, ко мне вышел сам Горловский, еще довольно молодой, приятный, с розовыми щеками, державшийся доступно, но с достоинством.

Впервые я вошла в студенческую аудиторию 24 декабря 1932 г. Прием был небольшой, человек 10, все больше грецисты. Мне пришлось самой сочинять учебные курсы.

Я завязывала связи с классиками всей России, приглашая их на лекции. Я специально привлекала к работе всех, несправедливо затертых жестокой академической средой, всех, кого третировали Богаевский и Толстые. Я ввела в университет Беркова, Баранова, византинистку Ел. Эмм. Липшиц, когда та была в полном унижении, и отсюда началась ее блистательная карьера. Так у меня получали работу и становились на ноги Мих. Карл. Клеман, Ал. Ник. Зограф,

Гинцбург (голодный переводчик Горация), Малоземова, Егунов, Доватур, Ернштедт, Раиса Викт. Шмидт, Залесский, Казанский, учитель Соколов, романист Бобович. Я умела находить применение для каждого, и меня увлекала широта, разрывавшая с приятельскими отношениями, круговой порукой. Научная работа кафедр была новшеством в то время. Но я придавала ей первенствующее значение. Много читая сама, я вынуждала кафедру не отставать—и мы принялись за живую научную работу.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <3.VI.1933>

Дорогие тетя Ася и Оля! Честное слово,—получив открытку, тотчас же стал отвечать закрытым, но в том-то и беда: закрытое бог знает куда меня завело и, без времени увянув от собственного многословья, осталось без конца и неотосланным. А время идет и Вы тем временем по праву меня свиной считаете. Про наших верно уже от них самих знаете. Живут и здравствуют, и даже Лида еще службы не потеряла в Мюнхене¹, что меня в общем страшно удивляет, потому что от одного недавно приехавшего немца и из вполне арийских источников знаю, что там форменный сумасшедший дом, и даже бледно у нас представляемый. Гоненью и искорененью подвергается даже не столько ирландство, сколько все, требующее знания и таланта, чтобы быть понятым из чисто немецкого. Это власть начального училища и средней домхозяйки.—Правда, в последнем письме папа много говорит о скоро открывающейся выставке трехсотлетия французского портрета. Но, очевидно, сняться и съездить на выставку не так-то легко технически. Я телеграммою звал их сюда, а потом узнал, что и Вы их приглашали. Переписываться, во всяком случае, стало труднее. И так противно было по-немецки пробовать писать, что обратился к французскому языку, хотя знаю его плохо.

Все у нас здоровы. Лето проведем в Москве по финансовым и многим другим причинам. Не сердитесь на дам за их молчанье. Зина вечно в хоз<яйственных> хлопотах и работах. Женя зарабатывает, комсостав Кр<асной> Армии рисовала.

Обнимаю Вас крепко. Ваш Боря.

¹ Родители и сестры Б. Пастернака.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 30.VIII.1933

Дорогая Оля! По-моему, оба наши письма, твое и мое,—приступ сходного психоза. По-видимому, наши никуда не собираются трогаться, ни даже в Париж, не говоря о нас. На днях Ирина (Шура в Крыму) получила от стариков письмо, из которого заключает, что они остаются. А из того факта, что они—на даче, и по характеру снимков, которые Лида посылает своим знакомым с пляжа, никакой трагедии не явствует. Я писал им и на днях телеграфировал. Пропажа большого моего письма к ним—установлена. Другое, с теми же сведениями но в более приватном тоне, получено. Привет, жму руку, целую. Обнимаю тетю.

Б.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 18.X.1933

Дорогая Олюшка!

Как же это случилось, что ты профессор и у тебя кафедра, а я не узнал этого вовремя и тебя не поздравил! С чем только ни поздравляли мы друг друга в жизни, а с этим упустили.

У меня страшно болит голова, я только второй день с постели. Как-то вымылся я в ванне у знакомого в гостинице, а потом, позабыв дома гребенку, подобрал у него в номере старую частую расческу, неизвестно чью, из разряда вещей, оставляемых прежними жильцами в углах выдвижных ящиков и пр., и в кровь изодрал ею кожу на голове. Царапины покрылись корочками, они долго не сходили, я стал этому удивляться, оформить удивленье во что-нибудь было некогда, пока это не дало мне жару и не свалило в постель. По вызове специалиста оказалось, что это не сифилис (в XIX-ом веке я бы иначе писал двоюродной сестре), не фурункулез, не экзема, а загрязненье кровеносной и лимфатической сетки, от которого через три дня ничего не осталось, кроме головных болей, обыкновенных, как мигрень.

Ты совершенно права насчет стариков. В двух-трех местах своего письма ты нашла слова для моих собственных ощущений (твое недовольство постановкой вопроса, взвешиванье преимуществ, с точки зрения комфорта,

концепция Феди и т. д.). Я и сам высказал папе свое недоумение по поводу того, что еще тут можно было бы готовить целый год, настолько дело все просто. Что касается потребности его в приглашении, то не относится ли это скорее к моменту выезда, а не въезда, и не в интересах ли вывоза вещей и чего-нибудь другого хочет папа заручиться официальным вызовом? Ведь тамошних законов и ограничений мы не знаем. Впрочем, это только моя догадка и, может быть, я ошибаюсь.

Перед перспективой перевозки вещей (холстов хотя бы) руки бы опустились и у меня, не семидесятилетнего. И в этом отношении также требуется подход более радикальный или, скажем, отчаянный. Согласится ли Федя взять на подержанье остающееся? Весьма в этом сомневаюсь. Но при официальном приглашении папа мог бы, может быть, найти поддержку в полпредстве. Хотя и это, при увеличивающемся дипломатическом напряжении, подвержено сомненьям. Одно ясно, формула взвешиванья должна быть именно твоя, и должна основываться на какой-то максималистской истине, а не на сравнении гарантированных вероятностей.

На днях я, по всей вероятности, уеду по делам в Грузию¹, а когда вернусь, начну исподволь развращать наших в названном направлении. Хотя по твоему примеру и сам я недавно склонялся к выжиданью, но теперь мне вчуже страшно чего-то, и хотелось бы как можно скорее иметь их при себе, и налегке, в качестве «временных гостей» (для отвода их собственных глаз), т. е. не отягощенными иллюзорною ответственностью перед самими собою: правильно ли или нет разрешен ими этот шаг (точно жизнь математика,— вот опять оно тут, мещанское самомучительство, святошествующее и не святое).

Ах, много бы я мог тебе написать на эту тему пережитого и передуманного, но всякий раз, как в письме ли или работе подходишь к главному и уже готовому, потому что найденному до всего остального, то такая тоска прутковская охватывает (необнимаемости необъятного), что именно главное это и оставляешь в умолчаньи. Не потому, чтобы мысль изреченная была ложью или вообще изречению не поддавалась. Нет, нет, совсем не потому. Но физическое ощущение бесконечности, коренящейся во всяком общем положении, так перевешивает у меня интерес к его содержанию, что я его изложением жертвую из какой-то

¹ В конце ноября 1933 г. Пастернак ездил в Грузию в составе писательской бригады.

внутренней зябкости, из страха озноба, который для меня неминуем на этом пустыре.

Оттого-то и захвачено у меня одно второстепенное, и сколько я ни писал, теза оставалась неназванной. У всех этих вещей отрублены хвосты, каждый из которых, если бы дать им волю, должен был бы разрастись в трактат или, точнее, в нечто бесконечное о бесконечном.

Тут-то и пролегал водораздел между гением и человеком средних способностей. Первый именно не боится этого холода, и только. И тогда, вопреки Пруткову, Паскаль охватывает необъятное и только и делает, что пишет принципиально о принципах и набрасывает бесконечность бисернее и непринужденнее, чем Бунин какою-нибудь осень.

Дорогая тетя Ася! Я только хотел поблагодарить Вас и Олю за Ваши письма и незаметно с Олею заболтался.

Страшно рад нашему единодушью, сложившемуся в разных городах, без уговора, по взаимно неизвестным причинам и в несходных положениях. Именно это ведь и характеризует наше время. На партийных ли чистках, в качестве ли мерил художественных и житейских оценок, в сознании ли и языке детей, но уже складывается какая-то еще не названная истина, составляющая правоту строя и временную непосильность его неуловимой новизны.

Какой-то ночной разговор девяностых годов затянулся и стал жизнью. Очаровательный своим полубезумьем у первоисточника, в клубах табачного дыма, может ли не казаться безумьем этот бред русского революционного дворянства *теперь*, когда дым окаменел, а разговор стал частью географической карты, и такую солидной! Но ничего аристократичнее и свободнее свет не видал, чем эта голая и хамская и пока еще проклинаяемая и стонов достойная наша действительность.—Ваша, тетя, правда. Это я по поводу керосина, что Вы папе написали или хотели написать. Крепко Вас и Олю обнимаю, Зина целует и благодарит за память.

Женичка совсем уже большой мальчик. Ему 10 лет. Он живой, рассеянный, впечатлительный и, как все дети нашего времени, полон тех живых знаний, которые почерпываются в каком-то промежутке между бытом беспризорников и усилиями педагогов. Разве я не писал Вам о нем?

Но это тема не для приписки. Будьте здоровы. Еще раз обнимаю Вас. Зовите наших, но не к себе, а ко мне

или к нам, и по-Олиному, т. е. в духе сурового фатализма и под керосиновым аспектом. Все это правильно, и было бы, если бы принялось, им во благо.

Ваш *Боря*.

Поздно, запечатаваю, не перечитывая. Не знаю, что писал.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <30.X.1934>

Дорогие мои! Как Ваше здоровье, тетя Ася? Как ты, Олюшка? Дикая жизнь, ни минуты свободной. Давно вам собираюсь написать, и еще больше хотел бы о Вас узнать. Не сердитесь на меня, честное слово, не вру. Еще больше хотел бы обо всем забыть и удрать куда-нибудь на год, на два. Страшно работать хочется. Написать бы наконец впервые что-нибудь стоящее, человеческое, прозой, серо, скучно и скромно, что-нибудь большое, питательное. И нельзя. Телефонный разврат какой-то, всюду требуют, точно я соержанка общественная. Я борюсь с этим, ото всего отказываюсь. На отказы время и силы все уходят. Как стыдно и печально. Я прошлый год грузин множество напереводил, зимой выйдут. А сейчас один вышел в Тифлисе отдельной книжечкой¹. Не знаю, какой в моем переводе. В оригинале был до слез настоящий и трогательный. Хотите, пошлю? Женя в Ленинград собирается на неделю, просила о Вас разузнать. Олечка, черкни открытку. Крепко Вас целую. Напишите о себе.

Ваш *Б.*

Для нас первый гром раздался в тот момент, когда сослали Горловского. Он находился в Москве, приехал, узнал об увольнении, снова поехал хлопотать. Тогда его сослали. Позже все его следы исчезли.

Горловского любили, уважали, жалели. Все были чрезвычайно подавлены. В Институте пошла карательная работа. В нашей газете появилась 14.I.1935 г. передовица, написанная жирным шрифтом: «Знать, чем дышит каждый». «<...> Дело Горловского и уже с ним наглядно показало, что с чистотой партийных рядов в нашем Институте не все благополучно...»

¹ Важа Пшавела. Змеед. Закгиз, 1934.

Конечно, я была очень наивна, когда изумлялась открытому призыву к сыску и доносам. Междуцарствие, разгул политической полиции вызывали разброд в среде студентов. Пошла полоса демагогии, студенческого главенства, партийных диктатов. Партсекретарь Ида Снитковская заявила мне, что партия мне доверяет, а потому просит снижать отметки детям служащих в пользу повышения — детям рабочих. Я наотрез отказалась.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 3.IV.1935

Дорогая Олюша, извести, как вы и что у вас слышно. Т. к. меня не миновали беды некоторых ленинградских несчастливцев, то мне особенно хотелось бы знать, здоровы ли вы и все ли у вас в порядке.

Оля, вот я не пишу тебе,—ты—мне, и так жизнь пройдет. И притом довольно скоро. Но мне ее не переделать. Я и не пытаюсь, потому что та, что налицо, еще лучшая и наимыслимейшая, при всем том, из чего она у меня неизбежно составлена. Если бы знала ты, на что у меня день уходит! А как же иначе, если уж мне такое счастье, что среди поедаемых ко мне почему-то относятся по-человечески.

А так хочется работать. И здоровьем бы не грех позаняться, когда бы больше времени. Впрочем, ничего серьезного, ты не думай, всякие преходящие пустяки. Но я не падаю духом. Сейчас я временно на очень строгом режиме, потому что урывками все же пишу, и большую вещь¹. Мне ее очень хочется написать. А как слажу с ней (через год-полтора), надо будет все же посуществовать хоть недолго по-другому. Невозможно все время жить по часам, и наполовину по чужим. А знаешь, чем дальше, тем больше, несмотря на все, полон я веры во все, что у нас делается. Многое поражает дикостью, а нет-нет и удивишься. Все-таки при расseyских ресурсах, в первооснове оставшихся без перемен, никогда не смотрели так далеко и достойно, и из таких живых некосных оснований. Временами, и притом труднейшими, очень все глядит тонко и умно².

¹ С 1932 г. Пастернак писал роман в прозе, отдельные главы печатались в периодике, работа не была окончена.

² Надежды Пастернака объясняются подготовкой Н. Бухариным проекта Конституции.

У нас все благополучны. Крепко целую тебя и маму. Итак, успокой, хотя бы короткой открыткой, даже именно предпочтительно открыткой, чтобы долго не собираться.

Твой Боря.

И не надо ли тебе чего, Оля?

А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ—Е. В. ПАСТЕРНАК

Ленинград <19.VI.1935>

Дорогая Женечка, Вы меня очень обрадовали (конечно,— ответ). Скажу Вам в чем дело. Дело в том, что Оля сего 9-го июня защитила докторск<ую> диссертацию и послала, по моей просьбе (она знала, что все равно ни Боря, ни Шура не откликнутся, и не хотела этого делать, но я все же настояла, и она послала Боре тезисы и повестку). Вот почему я и написала Вам, желая узнать, в Москве ли они?¹ Знаете... мне очень стыдно за них... Оля имела громадный успех, в газетах писали о ней, массу роз получила, и еще теперь ее все поздравляют и звонят в телефон, поздравляя ее! Полный актовый зал был полон, что редко бывает. Первая женщина, защитившая докторскую диссертацию и вообще, и в этом Институте, и в советское время. Она получила звание доктора античных языков и литературоведенья. Я очень извиняюсь за мой гадкий почерк! Теперь вернусь к Боре и Шуре. Как им не стыдно?! Какое варварство со стороны таких близких людей! Ни словом не обмолвиться, ни ответом, ни-ни... Я так огорчена, я так обижена. Боря не мог не получить ее письма, обратный адрес она написала! Значит, пришло бы письмо к нам! Я напишу об этом брату и скажу ему, что освобождаю их от родственных цепей... О, верьте, милая Женя, что я уже забыла о моих племянниках (впрочем, я Шуру и не виню, так как он давно перестал существовать для меня, но Боря!?). Я ничем не оправдываю его! Ничем! Ну, ладно! Их нет для меня, правда, я одной ногой уже в могиле... Но все же я другой ногой еще тут. <...>

¹ В это время Пастернак находился в состоянии тяжелой душевной депрессии, невзирая на что 21 июня 1935 г. был послан в Париж на антифашистский конгресс. На обратном пути в 10-х числах июля он останавливался в Ленинграде у Фрейденбергов.

Москва, 14.I.1936

Дорогая тетя Ася!

Говорят, Вам уже ответили, но все равно это не лишает Вас и Оли правоты в Вашем справедливом возмущении. Надо оправдать и Елизавету Михайловну, Женину воспитательницу: она долго и опасно болела. Наконец: когда Вы и Оля перечисляете множество адресов, по которым вы безответно обращались, Вы касаетесь той сложности, которая ведь не облегчает мне жизни и досуга не прибавляет. Оля написала Шуре, что она занята легендарно, и это слово подчеркнула. Следует ли из этого, что я бездельник?

Беспримерно, конечно, и ни на что не похоже, что я за эти месяцы ни разу не написал Вам. Но почему из Олина молчанья я не вывожу никаких сказок насчет ее равнодушья к тому, выздоровел ли я или нет, жив ли или умер? Почему только мое молчанье что-то значит и обязательно одно дурное? Но это все равно, так всегда было и будет.

Не писал я Вам не из прирожденного свинства и не за недостатком времени, не писал потому же, почему трудно мне было тогда от Вас написать или телеграфировать своим в противоположном истине успокоительном духе¹. Потому что ведь не скоро все образовалось, и долго, долго потом со мной творилось, что там ни говорите, нечто странное, кончившееся к осени круглодневными болями сердца, рук и полным беспорядком всего того, что у человека должно быть в порядке. Лишь теперь, когда в исходе медленного, одною силою *времени* достигнутого выздоровленья, я опять такой, как был прежде, и опять ковыряюсь и строчу в меру сил своих, лишь теперь понимаю я, что со мной было и где его причины.

Но теперь я здоров, и снова кругом такая бестолочь, что нет времени книгу прочесть, когда того хочется, а подчас и нужно. Что сказать Вам. Вы знаете, как я люблю Вас и Олю и как боюсь Вас. Вы обе дико несправедливы ко мне. На Ваш невысказанный взгляд я чем-то виноват перед вами, а чем, до сих пор не могу понять.

Я не помню, посылал ли я Вам своих грузин или нет? Там половина—чепуха ужасная. И жалко, что

¹ Пастернак отправил телеграмму из Ленинграда З. Н. Пастернак 16 июля 1935 г. с просьбой, чтоб она не приезжала.

крупницы достойного отяжелены стольким мусором. Но это мне навязали из соображений плохо понятой объективности. «Змеееда» же прочтите, и это будет взамен нескольких ненаписанных писем Вам обеим, которые конечно же я вам писал, из той дичи, в какой находился.

Поцелуйте Сашку.

Боря.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

<Надпись на книге «Грузинские лирики». Москва, Советский писатель, 1935>

Дорогой сестре Олюшке от крепко ее любящего брата.

Когда позволит время, найди терпенье просмотреть все до конца. Потому что среди ерунды, которую, хотя и в ограниченном количестве, я был вынужден включить в свою работу, здесь есть неподдельные дарованья, понятие о которых я старался посылить дать. И никогда не сердись на меня.

Боря

15.1.1936

В самом начале мая 1936 г. вышла в свет моя «Поэтика сюжета и жанра». Десять лет я делала эту книгу; не дни, но и ночи; не во время работы, но и во время отдыха, в праздники, в каникулы.

Книга вышла и стала быстро раскупаться. Через три недели после выхода в свет—книгу конфисковали.

28 сентября в отделе «Библиография» газеты «Известия» была напечатана рецензия Ц. Лейтейзен «Вредная галиматья», с добавлением редакционного примечания: «Печатаемая нами статья о книге О. Фрейденберг показывает, какие научные кадры воспитывал Ленинградский институт философии, литературы, лингвистики и истории и какие «научные» труды он выпускал. Книга Фрейденберг—диссертация на степень доктора литературоведения—вышла под маркой этого института. Что же думает обо всем этом Наркомпрос?»

«Известия» были сугубо официальной партийной газетой. Каждое слово этого органа имело официальное значение, практические результаты которого (или, как принято было говорить, оргвыводы) невозможно было переоценить.

Как врывались эти репрессии и удары в мирную жизнь человека, только что пережившего невзгоды и начинавшего думать, что все позади и можно, наконец, отдохнуть! О, эти вести, которых мы вечно ждали в трепете! Эти вести, которые звонили, наступали, прибегали в дом и срывали крыши со всех убежищ.

Едва ли кто-нибудь поймет в будущем, как это было плохо! Как грозно и зловеще!

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 1.X.1936

Дорогая моя Оля.

Я зимую на даче с затрудненной почтой, без газет,—но об этом после. Вчера я был в городе и Женя мне показала статью в «Известиях»,—она плакала.

Во всем этом мне страшно *только* то, что ты еще не закалена и с тобой это впервые. Наверное, это уже подхвачено ленинградской печатью, а если еще нет, то ты должна быть к этому готова. Это будет множиться с той же подлой механичностью без мысли, сплошь в прозрачных, каждому ясных передержках, с неслыханной аргументацией (всем известно, как Маркс относился к Гомеру,—как будто ты пишешь о Марксе и, приводя противное, искажаешь факты—как будто твои аналитические вскрытия есть осуждения, как будто тебе Гомер дальше, чем этой репортерской пешке, своими руками затягивающей петлю на своей собственной шее, точно этому газетчику дышится слишком вольно и надо постараться, чтобы дышать стало еще труднее...).

Я не могу сейчас, на этих ближайших днях приехать к Вам, как мне бы хотелось и было бы, может быть, нужно. Не могла ли бы ты приехать ко мне? Здесь у тебя была бы отдельная комната, и ты попала бы в поселок, состоящий сплошь из таких же жертв, как ты¹.

Зимой была дискуссия о формализме. Я не знаю, дошло ли все это до тебя, но это началось со статей о Шостаковиче, потом перекинулось на театр и литературу (с нападками той же развязной, омерзительно

¹ Соседями Пастернака по Переделкину были Б. Пильняк, К. Федин, Вс. Иванов, Л. Леонов, подвергшиеся суровой критике и обвинениям в формализме.

несамостоятельной, эхоподобной и производной природы на Мейерхольда, Мариэтту Шагинян, Булгакова и др.). Потом коснулось художников, и опять-таки лучших, как, например, Владимир Лебедев и др.

Когда на тему этих статей открылась устная дискуссия в Союзе Писателей, я имел глупость однажды пойти на нее и, послушав как совершеннейшие ничтожества говорят о Пильняках, Фединых и Леоновых почти что во множественном числе, не сдержался и попробовал выступить против именно этой стороны всей нашей печати, называя все своими настоящими именами¹. Прежде всего я столкнулся с искренним удивленьем людей ответственных и даже официальных, зачем-де я лез заступаться за товарищей, когда не только никто меня не трогал, но трогать и не собирались. Отпор мне был дан такой, что потом, и опять-таки по официальной инициативе, ко мне отряжали товарищей из союза (очень хороших и иногда близких мне людей) справляться о моем здоровье. И никто не хотел поверить, что чувствую я себя превосходно, хорошо сплю и работаю. И это тоже расценивали, как фронду.

Я не знаю, как тебе быть, издали этого не сказать, надо знать, как далеко зашла у тебя эта беда в объективных фактах, надо увидаться. Я знаю случаи, когда люди, получив *такой* щелчок, пытались объяснить по существу, писали письма в ЦК и, добившись того, что там ознакамливались с поводом разноса (книгой, пьесой или картиной), только усугубляли свое положение, и уже непоправимо, вторичным, усиленным на них наскоком, в подтверждение первого. Так было с поэтом Светловым и его пьесой. Во всех этих случаях, как и со мной, урон был только моральный и, значит, при нравах нашей прессы, лишь видимый и призрачный, с эффектом обратного действия для всякого не обделенного нравственным чутьем и силой.

Я не знаю, как это по твоей неопытности разыгрывается с тобой, я не знаю твоих друзей и знакомых, твоих корней в среде,—я говорю только о вещах для внутреннего душевного употребления,—самом в таком случае важном, если бы даже возможность самозащи-

¹ Развернувшаяся в печати и на собраниях творческих союзов дискуссия о формализме открылась редакционной статьей о Шостаковиче «Сумбур вместо музыки», инспирированной Сталиным и опубликованной 28 января 1936 г. в «Правде». 13 марта 1936 г. на Общественном собрании писателей выступил Пастернак по поводу своего несогласия с директивными статьями, обвиняющими в формализме лучшие проявления советской литературы.

ты была нужна или доступна нам. Мне страшно себе представить, как ты все это переносишь и как это отражается на здоровье тети. Об этом, пока об этом, я прошу тебя немедленно протелеграфировать мне по адресу: Москва, Белорусско-Балтийская дорога, Баков-ка, городок писателей 48 Пастернаку.

Женя сказала, что я должен был бы вступить за тебя в печати, т. е. написать контрстатью о книге. Если я это сделаю, я знаю наперед, что случится. Если бы даже это напечатали, меня в ответ высмеяли бы довольно мягко и милостиво, а тебе бы влетело еще больше, и, как это ни странно, еще и за меня.

У меня и на этот счет есть опыт, так всегда бывало, когда я за кого-нибудь вступался, хоть и устно, но публично.

Но зато, если бы потребовалось, негласными путями, т. е. личными встречами и уговорами, апелляциями людям с весом и т. д., я готов тебе служить, как могу, рвусь в бой и хотел бы только знать, что именно надо. И вслед за телеграммой, очень прошу тебя, поторопись подробно написать мне и пошли письмо спешной почтой по тому же адресу.

Теперь главное. Ты наверное давно ждала (и удивлялась и обижалась, может быть,—его непоступлению)—*моего* отклика и мненья о книге, и права была, не находя безобразию этому имени. И я сумел бы соврать или обойти вопрос молчанием, если бы не знал, что, будь ты тут, ты меня бы оправдала;—но факт тот, что я еще ее толком не прочел. Я пробежал—это было весной—при первом получении всю книгу поверхностно, через пятое в десятое, но и этого было достаточно, чтобы подивиться как раз тому, что этот мерзавец намеренно проглядывает и нагло искажает: глубине и цельности общей мысли, методологическому ее членению из главы в главу через всю книгу. Кроме того, я прочел страницы о лирике, восходящие к тогдашнему разговору твоему на кухне, когда ты мне эти мысли поясняла снимками с позднейшей греческой скульптуры. «Укрощенье» я знал в оттиске¹.

Я так уже тогда боялся, что не скоро улучу минуту для этого верха наслажденья (книга на интереснейшую тему, в новом, весь генезис ее преобразующем разрезе, увлекательно написанная, да притом еще тобою!), что

¹ В «Поэтике» было Приложение — перепечатка одной из первых публикаций Фрейденберг, посвященной сюжетам классической драмы, в том числе «Укрощению строптивой» Шекспира («Три сюжета или семантика одного». — Язык и литература, т. 5. Л., 1929).

написал тебе телеграмму с ничего не значащим выражением голый радости (неужели я и ее даже не отправил!). Тогда Женя болела и я должен был ее устроить на юг в санаторий, а затем и их обоих с Елизаветой Михайловной на все лето в дом отдыха. Достраивались эти писательские дачи, которые доставались отнюдь не даром, надо было решить, брать ли ее, ездить следить за ее достройкой, изворачиваться, доставать деньги. В те же месяцы денежно и принципиально решался вопрос о новой городской квартире, подходило к концу возведение дома, начиналось распределение квартир. Все эти перспективы так очевидно выходят из рамок моего бюджета и настолько (раза в три) превышают мои потребности, что во всякое время я бы отказался ото всего или, по крайней мере, от половины и сберег бы время, силы и душевный покой, не говоря о деньгах. Но на этот раз, по-видимому, серьезно собираются возвращаться наши. Папе обещают квартиру, но из этого обещания ничего не выходит и не выйдет. Надо их иметь в виду в планировке собственных возможностей. Я страшно хочу жить с ними, как хотел бы, чтобы ты приехала ко мне, т. е. хочу этого для себя, как радости, но совсем не знаю, лучшее ли бы это было из того, что они могли бы сделать, для них самих. Это остается в неопределенности, а я уже живу под эту неопределенность, и трачусь, и разбрасываюсь, может быть впустую. Однако эта неопределенность с родителями лишь часть общей неизвестности, в которой я нахожусь,—жить так, как мне приходится жить сейчас, весь век было бы неисполнимым безумьем, если бы даже это мне улыбалось,—и опять-таки их проблематический приезд осложняет дело, временно фиксируя меня в том положении, в каком застает, и отсрочивая некоторые неотложности на неопределенное время. Но об этом я даже и не вправе распространяться.

Короче говоря, я все задерживал переезд на дачу, пока Зина не собралась сама и в одно прекрасное утро не перевезла всей мебели и хозяйства. Я тоже бросился туда, как был, без книг и вещей, необходимых мне в работе. О последней я, после кризиса, составлявшего существо моей прошлогодней болезни (он, между прочим, заключался и в судьбе работ, подобных твоей)—редко мечтаю¹. Я пишу невероятно мало, и такое, прости меня, невозможное говно, что, не будь других поводов,

¹ Имеется в виду судьба «Охранной грамоты», выкинутой из сборника «Воздушные пути» 1934 г. и запрещенной к переизданию.

можно было бы сойти с ума от одного этого. Но так вообще все это не останется, я вырвусь, даю тебе слово, ты меня, если тебе это интересно, опять увидишь другим. Как раз сейчас, дня два-три, как я урывками взялся за сюжетную совокупность, с 32 года преграждающую мне всякий путь вперед, пока я ее не осилю,—но не только недостаток сил ее тормозит, а оглядка на объективные условия, представляющая весь этот замысел непозволительным, по наивности, притязаньем. И все же у меня выбора нет, я буду писать эту повесть. Да, но это к делу не относится, я заболтался, что же это я хотел сказать?

Да, так вот только вчера я поехал за нужными книгами, и также за твоею, которая все лето оставалась в неприступной квартире, опустошаемой и загроможденной ремонтом. Способна и согласишься ли ты это постигнуть?

Все дальнейшее, что я стал бы говорить тебе и рассказывать, я бы притянул к делу только для того, чтобы ускорить твой ответ. Поэтому прошу тебя прямо: как бы тебе ни было трудно, как бы ни было мало мое право просить тебя об этом и на это рассчитывать, умоляю тебя, найди минуту и немедленно телеграфируй мне, что с вами обеими; затем пересиль себя и напиши мне подробнее. Наконец, если это в твоих возможностях (не переехал ли бы на это время Саша к тете?), приезжай ко мне. У тебя будет тут, если захочешь, отдельная комната, а рядом, под боком, все товарищи по несчастью: Пильняк, Федин и другие, обтерпевшиеся как раз в той травле, которая тебе еще в новинку. И, наконец, последнее, на то короткое время, которое меня отделяет от твоей телеграммы, письма и приезда: мне ли, невежде, напоминать тебе, историку, об извечной судьбе всякой истины? Напиши ты компиляцию о прочитанном, ни мизинцем не отмеченную ничем собственным и новым, и исход был бы, конечно, совсем другой. А тут ты выходишь с совершенно своею точкой зрения, с *произведением*, что-то прибавляющим к привычному инвентарю, с делом до осязательности новым, и гуси, конечно, в бешенстве. Есть еще одно обстоятельство, невообразимое, так оно на первый взгляд противоречит смыслу. Существуют несчастные, совершенно забытые ничтожества, силой собственной бездарности вынужденные считать стилем и духом эпохи ту бессловесную и трепещущую угодливость, на которую они осуждены отсутствием для них выбора, т. е. убожеством своих умственных ресурсов. И когда они слышат человека,

полагающего величие революции в том, что и при ней, и при ней в особенности, можно открыто говорить и смело думать, они такой взгляд на время готовы объявить чуть ли не контрреволюционным. Это верное наблюденье, но я второпях его скомкал, это надо было бы выразить в двух словах, и тогда бы тебе этот нонсенс был ясен.

Обнимаю тебя, и не буду знать покоя, пока не протелеграфируешь и не ответишь. Тетя, целую Вас.

Б.

Вызвался поехать в Москву Хона <Франк-Каменецкий>. Дома он объяснил, что катастрофа со мной подорвет и его, рецензента книги. В этом была правда.

Мы долго думали, к кому должен Хона кинуться, и решили, что к Боре. Мы решили Борю просить переговорить с Бухариным, редактором «Известий», который его высоко чтит. Доверить такое решение нельзя было ни письму, ни телефону: все вскрывалось, читалось, подслушивалось. <...>

Хона уехал в тот же вечер. Из Москвы он проделал тяжелое путешествие по грязи в Переделкино, где жил Боря. Усталый и нервный, он попал к Боре за стол, где сидели чужие, и в том числе Нейгауз, профессор Московской консерватории, близкий друг Бори, муж Зины, второй Бориной жены. (Эта «женитьба», сказал мне как-то Боря с улыбкой, «просто была формой моего увлечения Гарриком Нейгаузом, а потому и его женой».) С трудом удалось ему поговорить с Борисом наедине (он очень нравился, как человек, Хоне). Боря рассказал ему, что Бухарин сам находится под вопросительным знаком, и сидит дома, и повидать его трудно. <...>

В тот же вечер Хона возвращался в Ленинград. Стоял холодный черный вечер поздней осени. Шел дождь с мокрым снегом. Из Переделкина отправлялась в Москву машина, и Боря втиснул в нее Хону. Грязь по колено, дождь со снегом, шум мотора, темнота, битком набитый автомобиль. Хона грохнулся на сиденье, и не успел он опомниться, как у него на коленях уселись две оживленные особы женского рода, ехавшие из гостей от писателей. Из их щебетанья Хона понял, что у него на коленях сидит Лейтейзен. Он так был утомлен и жизнь казалась ему таким сумасшедшим домом, что он не имел сил найти в себе какого-то отношения к происходящему. И он мчался в темноте, держа на коленях ту, из-за

которой так был утомлен и измучен. Советская действительность представлялась ему фантомом, и он не мог четко различить, из-за чего качнуло в такую даль и по такой грязи,—уж не для того ли, чтоб посадить к себе на колени веселого товарища Цилю Лейтейзен?..

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 7.X.1936

Дорогая Оля!

Я совершенно потрясен самопожертвованьем Франк-Каменецкого, свет не видал ничего подобного. Зато как разочарует он тебя на мой счет отчетом о своей поездке!

Я не знал, чем компенсировать бескорыстие и благородство его вмешательства. К сожалению, у нас были в этот день гости с ночевкой, и я не мог предложить ему остаться у меня. Но он ведь сам все тебе расскажет, свободно и без инспирации, не как передатчик, но как судья и наблюдатель.

Я ему обязан бесконечно многим: никакое письмо от тебя не могло бы, конечно, дать мне столько сведений, в конце концов успокоительных, как его рассказ о тебе и тете в ходе моих четырехчасовых расспросов.

Когда я звал к себе тебя, я имел в виду не только улаженье этой неприятности, но вообще хотел поговорить с тобой и тебя видеть. Мне хотелось, чтобы ты пожила у меня или у Жени, и тут, разумеется, менее всего Фр<анк-Каменецкий> мог тебя заменить.

Единственной помощью, которую я мог предложить ему (устройством ему приема, где это бы понадобилось, и обеспечением нужного разговора), он не захотел воспользоваться, находя это неудобным для тебя и нецелесообразным. Он передаст тебе, какую малость, очень спорной и ничего не стоящей, я попытался послужить тебе по его совету.

Не унывай, Оля. Мне верится, что, хотя большинство таких историй, в виде правила, никогда не улаживается, так что постепенно их перестали считать «историями», твоя, с какою-то долей приемлемого для тебя компромисса, уладится. Назначенье комиссии подает мне эти надежды.

Нет смысла писать тебе сейчас: ты раньше письма и гораздо больше узнаешь от И. Г.¹. Поблагодари его от моего имени еще раз.

¹ Израиль Григорьевич Франк-Каменецкий (Хона; Ф.-К.).

Тетя, напишите папе и маме. Как поймут они меня, если я, сын, стану их отговаривать. Ни разу я в этом отношении им ничего не рекомендовал. Вот границы, в которых, не расходясь с правдою, я звал их и продолжаю звать в последнее время: я пишу им, что их приезд был бы счастьем для меня и что я всегда готов разделить с ними ту жизнь, в какой они меня застанут, и большей радости для себя не знаю. В глубине души я не верю в их приезд.

Ваш Б.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — Е. В. ПАСТЕРНАК

Ленинград, 8.X.1936

Женечка, спасибо Вам, дорогая, что вы так хорошо приняли моего посланца. Он в Вас совсем влюблен. Говорит, что его мозг горел все дни дома, в поезде, у Бори, у родственников. Единственные часы, когда он не думал обо всей этой истории,— это у Вас, с Вами. Словом, я ужасно рада. Я просила его побывать у Вас и давала ему Ваш адрес (он остался на конверте к Боре), но у него все вылетело из головы. Впрочем, он собирался у Вас побывать еще до Бори, но поезд опоздал на два часа и спутал его планы.

Как Вам нравится вся эта идиотская история? Если б Вы знали, сколько мы ссорились дома! Я была против поездки Ф<ранк>-К<аменецкого> к Боре, я дрожала, чтоб он не втянул его в эту музыку. Но его фаршировали дома, жена и родственники. Мама его не любит и ссорила нас, «натравливала». А тут, в разгар событий, оказывается, что я забыла заплатить за телефон—его выключают. И то я вызываю Ф.-К. и прошу не ехать, то он появляется и объявляет, что едет... Словом, волнений масса. И кому нужна была эта поездка? Добро только, что он с Вами познакомился. О Дудаленочке он почти ничего не мог рассказать, а мы жадно расспрашивали.

Боря мне писал, что это Вы показали ему Известия и настаивали, чтоб он выступил в печати. Да, если б он не был моим братом. Это может сделать только чужой человек.

А я-то все мечтала побывать у Вас, посмотреть Дудлика. Мы так хотим его видеть! Но я не приехала бы по постному случаю. Да и маму не на кого оставить.

Она очень плохо видит, бедняжка, с каждым днем хуже. Писать ей очень трудно. Не читает.

Горячо Вас обнимаю. Чувствую Вас.

Ваша Оля.

Мама говорит, что не может писать, очень огорчается за стариков, боится их переезда.

Ко мне стали приходиться факультетские друзья, сочувствовать, давать советы. Мне советовали общественно выступить, признать ошибки в мелочах, чтобы отстоять книгу в главном. Надлежало быстро, пока я стояла на ногах, принимать какие-то меры. Но решение уже было мною принято.

О покаянье и речи не могло быть. Но я не хотела новой вины, еще более тяжелой, вины перед учеными, друзьями, перед оппонентами по Институту; от меня все требовали, чтобы я не забывала последствий начатой кампании для других ученых.

Решение было мной принято. Я написала Сталину.

То было время, когда я еще искренне верила, как сотни тысяч других людей, в искажение партийных распоряжений, вредительство, проделки местных негодяев. Говорили, что Сталин желает добра, что все письма он читает. Я решила действовать своими обычными средствами — личным непосредственным обращением к наивысшей инстанции, без посредников, полумер и компромиссов. Одно в жизни было у меня, безоружной, оружие: мое перо, моя страсть, моя честность.

Письмо составляло мою тайну. Но оно составляло и тайну политическую, не допускавшую разглашения.

Это происходило в начале октября. Я сразу успокоилась и только выжидала. Но дни шли, отклика не поступало, а последствия диффамации вступали в силу.

Со мной старались не сталкиваться, чтобы не раскланиваться. Товарищи перестали мне звонить по телефону. <...>

Я продолжала читать лекции и ходить на заседания, где студенты презирали меня, а товарищи оставляли вокруг меня все стулья пустыми; председатели не давали мне, под разными предложениями, слова. В эти дни я увидела, что значит трусость, какой цвет лица у низости, как выглядит обезличенность, лакейство, отсутствие чести.

Меня заставляли работать в этих условиях, и я работала, тщательно следя за тем, чтоб не давать поводов к тем обвинениям, которые подстерегали меня на каждом моем шагу. Я привыкла входить в двери, ставшие для меня тюремными, и делать свое дело, ни на кого не обращая внимания, с глубоким ощущением своего достоинства, оставшегося при мне вместе с чувством моральной чистоты.

Дома было тяжело. Бедная моя мама, в вечных переживаниях бедствий и мук за меня, лежала с воспалением легких. Пользовавшийся ее знаменитый советский профессор, бахвал и себялюбец, объявил мне, что спасенья не ждать. Я призывала последние силы духа, чтоб не ощутить полного отчаяния.

Расправа со мной задерживалась праздниками 7—9 ноября. Уже все мои ожиданья ответа из Москвы истлели.

Это было 6 ноября. Мне позвонили из Университета, чтоб немедленно приехать. В каких чувствах я оставила больную и приехала, говорить не приходится. Меня встречают...предупредительно. Получена телеграмма из Москвы, подкрепленная телефоном, чтоб немедленно командировать меня на прием к Волину (зам. наркома просвещения) 10-го числа. Университет достает мне билет на «Красную стрелу» (экспресс). Ректор велит передать мне, чтоб я по приезде немедленно явилась к нему, вне очереди, лично.

Уже звонок в наркомат показал, что меня ждет почет и ласка. Куда я ни шла, под моими ногами лежали розы.

Волин принимал меня свыше трех часов, отменив все приемы и дела.

Это был старый четырехугольный, коренастый человек с седыми взрыхленными копнами волос, с лицом и нравом Держиморды: заслуженный советский цензор. Я слышала, что Сталин хорошо к нему относился, так как он-де был воспитатель его детей.

Он встретил меня по-стариковски, ласково: «Ну, что? обидели?» И дальше рассказал, что мое письмо к Сталину у него и что ему поручено разобрать это дело (позже я сообразила, что Сталин два месяца отдыхал, и письмо, по-видимому, ожидало его резолюции). Разумеется, старый цензор на сей раз не нашел в моей книге ничего предосудительного: у нас логика вставляется в мозги в механизированном виде и зависит не от объекта суждения, а от рук вставляющего. Он, оказывается, «изучил» мою книгу, но

никаких расхождений с марксизмом не заметил. Лишь отечески бранил за непонятный язык и «ковырянье». Именно — отечески. <...>

На прощанье Волин мне сказал: — Никто не тронет вас больше. Если когда-либо кто-нибудь в чем-нибудь притеснит вас или захочет создать ограничения, — пишите прямо ко мне. Вы имеете право свободно печататься и ничем не скомпрометированы.

В веселом расположении духа я провела вечер у Жени в обществе Бори и Шуры. Боря проводил меня на вокзал.

В Ленинграде меня ждала совершенно новая обстановка, словно все старое было фата-моргана. Куда, откуда все было известно? По какому радио? Но разве по радио изменяется климат?

Все были ласковы. Мне улыбались. Ко мне свободно подходили и выражали сочувствие. Меня поздравляли.

В университете меня нетерпеливо ждал ректор. Он двумя руками пожимал мою руку.

— Ну поздравляю! Поздравляю. Себя — прежде всего! Потом — вас!

И вдруг, сделав серьезное лицо, прибавил:

— А, знаете, пока вы были в Москве, я еще раз перечитал вашу книгу, внимательней, глубже! И должен вам сказать, что ведь все понял! Представьте: я понял — и только тогда оценил.

Это было 13 ноября: день полной моей реабилитации, успокоенья и победы. А 14 ноября в тех же «Известиях» появилась грозная заметка, в которой говорилось примерно так, что терпенье у научной общественности лопнуло, что дирекция ЛИФЛИ не желает, видимо, понять значенья своего потворства мне, и потому теперь голос за судом общественности. Взвился вихрь. Зам. директора Морген говорил мне: «Что же это такое? Сигнал к травле?» В глазах ректора я оказывалась самозванцем. Трудно было переоценить значение заметки. Это был знак к началу моего растерзания, то есть созыва общественного собрания (всех работников науки), шельмования моей книги и меня — и волчьего паспорта.

Нужно было экстренно, в одни сутки, задушить и эту заметку. Она представляла собой корреспонденцию из Ленинграда, а потому показывала, что злые силы идут отсюда, а не из Москвы. Писал кто-то из работников ЛИФЛИ, от имени его «общественности».

В редакцию «Известий».

<...> Я как-то говорил Живову¹ о книге Фрейденберг и рецензии Лейтейзен. Я знаю книгу и автора. Рецензия с книгой имеет мало общего. Книга посвящена анализу культурно-исторических напластований, предшествовавших поре сложения литературных памятников античности. Вводя в этот анализ, автор показывает, что кажущаяся гладкость сюжетов, форм и художественных канонов в древней Греции гладка лишь на первый и беглый взгляд, что она заключает непоследовательности, которые могут стать несуразностями, если их не объяснить; что это нуждается в анализе; что это наталкивает на изыскания.

Не ловите меня на сравнениях. Ни с чем роли и значения книги я не сравниваю, потому что не судья, не филолог и не теоретик. Но скажите, какое изучение и исследование не начинается именно с этого? Не с отклонения ли мнимой очевидности зарождается всякая проблема? Не надо ли удивляться падающему яблоку (уж на что глаже, вот вредная-то галиматья), чтобы искать этому диву закона? И,—опять без сравнений,—Лейтейзен вычитывает у Платона, что всякое философствование начинается с недоумения *απορία*², кажется (пишу из Переделкина, и у меня нет под рукою книг, чтобы проверить), и, упуская из виду, что благодаренье богу, он вслед за этим наворачивает диалог за диалогом, всюду расславляет<...>, что, по Платону, философ тот, кто чаще других оказывается в дураках.

Но не в этом дело. Эту самую Фрейденберг 10-го вызывал в Москву замнаркома Волин, убедил остаться на работе, от которой она хотела отказаться, успокоил, что книга поступит в продажу, и даже признал, что она в себе не заключает ничего вредного ни с какой, в том числе и марксистско-методической, точки зрения. Единственно, в чем он ее упрекнул, так это в некоторой тяжеловесности слога, затрудняющего чтение, и в том, что она согласилась на выпуск ученой и очень специальной диссертации широким тиражом, ведущим к нежелательным недоразумениям (в том числе и с т. Лейтейзен).—А в Известиях от 14-го появляется

¹ Живов М. С.—заместитель заведующего отделом литературы и искусства в «Известиях», позже известный полонист.

² *απορία*—недоумение (греч.).

новая телефонная лейтейзениада из Ленинграда. Где же тут согласованность?

Б. Пастернак.

Разыгравшиеся вскоре политические события заставили меня засекретить этот документ, выбросив начало и конец, адресованные к Бухарину. Я переписала своей рукой середину письма, относившуюся ко мне. В ожидании возможного обыска я все сделала с этим историческим документом, чтобы спасти его и нас с мамой.

Борино письмо, к счастью, не попало к Бухарину, а где-то затерлось в промежуточных инстанциях, слава богу, важнейшая из них в советских редакциях — корзина.

Как мы вскоре узнали, Бухарин находился под домашним арестом. Пока шло следствие, «Известия» цинично подписывались именем приговоренного к смерти.

Телефонная корреспонденция из Ленинграда обо мне явно запоздала. Она как-то повисла в воздухе, который успел вокруг меня разрядиться вызовом в Москву. Было очевидно, что эта заметка была написана до этого вызова и не успела вовремя выйти; ее действительность после моего возвращения зачерствела. Волин, получив мое письмо, лично позвонил Моргену¹ с требованием никаких собраний не проводить и ничем меня не ограничивать («не ущемлять», как у нас говорили).

Сталиным была запущена истребительная машина, известная под именем Ежовщины. Во главе политической полиции стоял Ежов, имевший стоячие гомеровские эпитеты «железный нарком» и «соратник Сталина». Начались ужасные политические процессы, аресты и ссылки. Неизгладимое впечатление произвел процесс Бухарина. Кровавыми руками палача Вышинского Сталин отрубал у советского народа голову, — его революционную интеллигенцию. По вечерам, после радиопередач о кровавом, грязно состряпанном процессе, запускалась пластинка с камаринской или гопаком. Куранты, которые били полночь, с тех пор травмировали мою душу своим медленным тюремным звоном. У нас не было радио, но оно кричало от соседей и ударяло в мой мозг, в мои кости. Особенно зловеще была полночь после страшных слов «приговор приведен в исполнение».

¹ Ректор Ленинградского университета.

Зимой арестовали Мусю¹, жену Сашки. Она служила на военном заводе, где директор, многолетний член партии Богомолов, сделал ее своим секретарем. Между ними возник роман. Муся не скрывала его от Сашки, который мирился с этим в силу «безусловности» своего характера. <...>

Арест жены потряс его. Он стал задумчив и кроток. <...>

Сашка, не щадя себя в такой ужасный политический час, кинулся «выручать» Мусю. Он писал кляузы, бегал, звонил, припадал к стопам своих бывших начальников. Все было тщетно. Надвигался—и уже надвинулся—очередной сталинский самум.

Далеким кошмаром вспоминается это страшное лето в Царском, эта «дача». Сашка, вопреки своему нраву, и перевез нас на такси, и устроил, и приезжал,—чего нельзя было в нем и предположить. Чувствуя, что дни его сочтены, он стремился лишний раз взглянуть на мать. <...>

Приехали к нам из Москвы Шура с женой Ириной и сыном Федей. Они были архитекторами. Шурка (очень похожий лицом на дядю) строил тогда канал Москва—Волга, носил форму и должен был получить орден; он боялся и этого своего ордена, и этой своей военно-чекистской формы. Сашка кинулся просить его, чтоб он, при вручении ему Калининым ордена, подал Калининину прошение о Мусе. Просьба была фантастична, абсолютно невыполнима. Получив отказ, Саша и мама возненавидели Шурку, и с тех пор мама отреклась от своего племянника и не принимала его семьи.

Пальцы Ежова щупали вокруг. Тягостное было лето! Политическая полиция начинала с «глубоко принципиальных» тем и кончала арестами. Прокатилась речь Ставского о поэтах. Борю травили за чудное стихотворенье:

Счастливы, кто целиком,
Без тени чужеродья,
Всем детством с бедняком,
Всей кровию в народе.

Эти строки были нарочито истолкованы как антинародные, и высокий пафос последних строк нарочито был извращен в обратную сторону. В сущности, это была придирка, верней, подлог: гнали поэта за его нежеланье подписаться под смертным приговором, его уговаривали, ему угрожали.

¹ М. Н. Филоненко, жена А. М. Фрейденберга.

Ходили страшные грозы.

В последний раз Сашка приехал, прошел на балкон и, свесив голову, спал. У него в городе такое чувство, говорил он, словно за ним гонятся. Он чувствовал себя затравленным; ему казалось, что за его спиной кто-то находится. «Но теперь мне легче»,—говорил он.<...>

Пока мы были на даче, он принес на нашу городскую квартиру две фамильные картины, среди них свой детский портрет кисти дяди¹. В Эрмитаж он пожертвовал всю коллекцию своих монет: он надеялся, что этой ценой купит спасение.

Мы решили возвращаться в город в начале августа.<...>

Он должен был перевезти маму в город. «Если все будет благополучно»,—добавлял он теперь.

Он не приехал. Мы с вещами прождали весь день. Нашему возмущению не было границ. Мне пришлось с ужасными трудностями все снова взять на себя.

Но прошел день в негодовании, два, а на третий я призадумалась, на четвертый впала в тревогу, на пятый стала сходить с ума. Страшные мысли ходили в голове. Самоубийство!

Оставалось одно: найти его адрес и съездить. Он скрывал; где живет, и к себе не допускал. Жил он у тещи и тещи.

В непередаваемом душевном ужасе я поехала, тайком от мамы, на Крестовский остров, к нему в дом. Я едва нашла эту старинную дачу, с калиткой, с колонками. Все лежало в зелени. Деревянный домик старинного фасона имел широкую внутреннюю лестницу с галереей, садик, газоны, огородик.

В душевном беспомоществе я открывала калитку и всходила по лестнице. Нет, говорила я себе, слишком безмятежно. Тут не могло произойти ничего ужасного.

Никого не оказалось дома. Я присела на пыльную деревянную ступеньку дачи и, сгорбившись, принялась ждать. Тоска терзала мое сердце. Как ужасно, что я приехала сюда за страшной вестью, и еще должна растягивать ожиданье. Мысль о первом миге, о вопросе и ответе, точила меня. Подавленная, убитая глубоким горем, бессильная, я сидела в молчаливом саду, склонившись чуть не до земли.

Но вот Валя, младшая сестра Муси. Дрожь с ног до головы, я едва смею взглянуть на нее. Она це-

¹ Теперь в коллекции Русского музея.

лует меня. «Саша... жив?» — спрашиваю я, задыхаясь. «Жив».

Она уединяется со мной и рассказывает, что у него был обыск, при котором забрали его пишущую машинку и бинокль, как «вещественные доказательства» его шпионской деятельности. 3-го августа, накануне нашего переезда с дачи, его увезли в чем есть на черном вороне (так назывались в народе закрытые тюремные машины). <...>

Передачи к нему не принимали, свиданий не давали. Но в конце каждого месяца выдавали о нем справку, и тогда можно было приносить для него деньги. Эти концы месяцев составляли цель моей жизни. Я ждала их в безумном напряжении, и мысль, что я могу хоть чем-нибудь послать весть о нас и состраданье, была для меня дороже, чем желанье поддержать его физически.

С особым напряжением я ждала заветного конца месяца в январе 1938 г. 30-го января мать Муси Ольга Ивановна Шмидт позвонила мне, что я ей нужна с глазу на глаз, без мамы. <...> Не помню, как и где она сообщила мне, что 9 января Сашу отправили этапом на пять лет в Читу, «по подозрению в шпионаже». От мамы мы надолго скрыли.

Жизнь совершенно умерла для меня. Я представляла себе мое бедное доброе животное, гордого и несуразного Сашку, среди вшивых бандитов, на полу, на нарах, избиваемого, с руками за спиной, раздетого на морозе... боже мой, боже мой! Без права переписки! Какой дьявол, кроме Сталина, мог придумать для человека такую пытку? Слова «Байкал, Чита» внушали мне ужас.

В этом я жила. Надежды не было. Всем была известна сталинская лагерная каторга, так называемое «строительство» — болото по пояс, избиванье до полусмерти, с переломами черепа и костей, замерзание.

Некоторое время я еще чувствовала его страдальческие взоры к нам, а в один из тех дней властно ощутила какой-то предел его мук — и конец.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 1.XI.1938

Дорогая Оля!

Ирина рассказала мне о своем летнем посещении Вас. Тогда узнал я горькую и потрясающую новость о

Саше. В этих случаях человеческое участие дальше вытаращенных глаз и вздохов не идет. За последние два года несчастья этого порядка так обставлены, что просьбы со стороны ни к чему не ведут и только усугубляют дело.

Но она рассказала мне еще и о маминых слезах, и о приеме, и о тяготеющей над нами анафеме. Что сказать тут?

Вот мы прожили эти десятилетия, разделенные пространством и соединенные общей беспросветностью нашей судьбы, практически друг другу бесполезные, в молчаньи и неизвестности, растягивавшихся на целые годы. Вносит ли проклятье, постигшее нас, какие-нибудь перемены в этот распорядок? Реально как будто бы нет, если разлука и неведение друг о друге не были лишеньями до сих пор, отчего бы стать им всем этим после нашего осуждения? И однако сознание, что вы отныне совершенно недоступны нам, а мы перестали для вас существовать — невысказанно и нестерпимо. Да и насколько это заслужено? Могли ли мы, я и ты, в чем-нибудь так повлиять на судьбу другого, чтобы расколдовать ее и восстановить в ее былой и прирожденной плодотворности взамен тупого обречения, в которое обе вместе со всеми все больше и больше попадали. В чьих вообще это было силах? Это и, вообще, что-нибудь в эту завидную нашу бытность на свете. Единственное, что можно было для душевного облегчения, это жить вместе. И как я всегда этого хотел, как всегда вас звал к себе.

Ах, да разве не из-за этого сходил я с ума в моменты, казалось бы более подобающие для радости и удовлетворения. Но всякое вынужденное приближение к фантазмагии, насколько еще далекое (!), кончалось для меня общим припадком.

Оля, напиши мне о себе и маме. Как номер твоего телефона? Можно ли будет позвонить вам зимой, когда я буду в Москве? О себе пока сообщать бессмысленно, да и нечего. Главное: мне страшно бы хотелось повидать родителей. Невозможность этого отравляет мне существование.

Обними маму, когда она наконец простит меня, и сама позволь обнять себя.

Твой Боря.

Наш адрес:
Москва, 17, Лаврушинский пер.,
д. 17/19, кв. 72.

Москва, 1.V.1939

Дорогая Оля!

Ну, слава, слава богу! Надо ли говорить, какую радостной неожиданностью было твое письмо! Подробностей о тети Асиной болезни я не знал¹. Но ведь это совершенно чудесно! Не знаю, правильно ли, но строки о Саше понял я так, что от него был устный привет через соседа. Я думаю, твое письмо, даже и в изображении пережитых драм, не дышало бы такой силой, если бы у Вас не было надежды на скорое разрешение и этого узла.

Спасибо тебе и тете за добрые чувства. Зимой мне дважды представлялась возможность съездить в Ленинград, и я ей не пользовался из страха бессцельности.

Очень трудно писать. Мне о многом надо было бы расспросить тебя. Как страшно все, что ты рассказываешь². Разумеется, я не знал половины. Но жил вместе с другими эти два года и я, и многое близко меня коснулось, как нельзя догадаться, ибо это тайны.

И в эти же два страшных года родился Леничка и вышла замуж Женя³, две больших радости, чем-то связанных и одновременных, полных самой невероятной символики, и валились еще какие-то благодетания.

Ты по-прежнему замечательно пишешь,—я не смогу так же ответить тебе. Но у меня совершенно такое же настроенье: ощущение завершившегося периода (целой может быть жизни), очень освобождающее и здоровое, радостное и в том случае, если времени осталось мало⁴.

Надо бы обязательно повидаться. Поговорить бы нашлось о чем. Ах, как бы чудно было, если бы ты приехала! Нет ли у тебя все-таки, часом, такого плана? А то что скажешь в письме? Видишь, только попробовал и пошел вымарывать. Главное, я Вас обеих крепко, крепко целую, и летом, если ты этого не ускорить, увижу.

Твой *Боря*.

¹ В ноябре 1938 г. окулист Соловьев вернул А. О. Фрейденберг зрение после того, как ей предрекали неминуемую слепоту.

² К политической чуме, во время которой была арестована жена брата, а следом и сам брат, добавилась случайная смерть задавленно-го грузовиком ближайшего друга О. Фрейденберг И. Г. Франк-Каменецкого.

³ Младший сын Б. Пастернака Леонид родился 1 января 1938 г. Брак Е. В. Пастернак с Д. В. Лясковским был недолговечен, распался на следующий год.

⁴ Далее в письме зачеркнуты две строки.

Москва, 14. II. 1940

Дорогая Оля!

Я тебе задолжал письмо с того самого дня, как ты меня пожалела в моем горе¹. Спасибо тебе.

Живы ли вы обе и что с вами? Я знаю, что у вас грабежи и потемки, и беспокоюсь о вас.

Когда я весной надеялся увидеться, повод был следующий: я должен был перевести Гамлета для Александринки, ты, наверное, догадываешься, по чьей просьбе. Два или три раза я должен был поехать с ним посмотреть у вас его Маскарад, и все откладывал. Потом с ним случилось несчастье, а его жену зарезали².

Все это неопишимо, все это близко коснулось меня.

Последние месяцы меня преследовал страх, как бы какая-нибудь случайность не помешала мне довести перевод до конца. Под влиянием этого страха я не отвечал папе и оставил без ответа твое письмо. Папа с девочками и их семьями в Оксфорде,— ты знаешь³. На днях я сдал перевод. Ставить его на правах первой постановки будут в Художественном театре. Я до последнего дня не верил, что театру это разрешат. Ставить будет Немирович-Данченко, 84-летний *viveur*⁴ в гетрах, со стриженной бородой, без единой морщинки. Перевод не заслуга, даже если он хорош. «*C'est pas grand-chose*»⁵. Но каким счастьем и спасеньем была работа над ним! Впрочем, что убеждать тебя: это ты писала об «Укрощеньи...». Высшее, ни с чем не сравнимое наслажденье читать вслух без купюр хотя бы половину. Три часа чувствуешь себя в высшем смысле человеком: чем-то небессловесным, независимым, горячим, три часа находишься в сферах, знакомых по рождению и первой половине жизни, а потом в изнеможеньи от потраченной энергии падаешь неведомо куда, «возвращаешься к действительности».

Однако что расписывать? Напиши, пожалуйста, мне, как ты и тетя. Мыслимо ли *технически* теперь приехать к вам на сутки, на двое, только к вам и только

¹ 23 августа 1939 г. скончалась мать Б. Пастернака.

² Речь идет о В. Э. Мейерхольде и З. Н. Райх.

³ Л. О. Пастернак с женой переехали в Англию к дочери в 1938 г. Сначала они жили в Лондоне, потом в Оксфорде.

⁴ Прожигатель жизни (*фр.*).

⁵ Не велико дело (*фр.*).

повидаться. Если это возможно, я приеду, когда будут деньги. Напиши мне, пожалуйста, но без принуждения, когда у тебя будет время. Обязательно напиши, что слышно о Саше; об этом можно писать.

Обнимаю вас.

Ваш *Боря*.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <6.V.1940>

Дорогая Оля!

Я было бросил уже думать о приезде к Вам, о чем думал написать тебе, а теперь это становится по-другому вероятным. Очень может быть, что во второй половине мая мы увидимся. В этом случае м<ожет> б<ыть> поездка обойдется без технических стеснений, хотя, конечно, приеду я только к Вам и для свидания с Вами. Спасибо за письмо, прости, что не отвечал, обнимаю тебя и маму.

Твой *Б.*

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <14.V.1940>

Дорогая Оля!

Наверное я неловко выразился, подав повод к превратным толкованиям. Никаких неудобств я из твоих первоначальных слов не вычитал, с самого начала знал, что наша встреча будет нам обоюдной радостью, и наверное приеду в самом конце мая. Целую тебя и маму. Кланяйся, если у них есть телефон, семьям Машуры и тети Клары¹.

Твой *Боря*.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 21.V.1940

Дорогая Оля!

Это просто фатально. Представь, дней пять тому назад я растянул или слегка надорвал себе мышцу на

¹ Клара Исидоровна Маргулиус, во втором браке Лапшова — сестра Р. И. Пастернак. Машура — ее дочь.

спине, и это до сих пор не проходит. Я думал почитать у вас публично Гамлета, чтобы повидать тебя и тетю и доставить себе и вам удовольствие, и вот поди же ты! До нынешнего дня я не отменял предполагавшегося чтения (оно было назначено на 30-е), так велика была моя надежда на встречу.

Но сроки приближаются, мне не становится лучше, и скрепя сердце я сейчас протелеграфирую об отмене вечера. Я терплю невыносимые муки, ни встать, ни сесть. Зина с детьми на даче, из-за здешних чтений, театра и предполагаемой поездки я остался в городе, и вдруг такое невезенье! Крепко целую тебя и тетю. Если бы я не верил, что это переносится на осень, я бы обливал письмо слезами.

Твой *Боря*.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва < 28.V.1940 >

Дорогая Оля, пишу тебе из больницы, которою кончились все мои предполагаемые путешествия. У меня очень сильный радикулит. Говорят, это долгая история и пролежать придется немало. Как все это фатально! И в высшей степени не кстати,— у меня такие были удачи последнее время и так везло! Целую тебя и маму крепко-крепко.

Неудобно писать.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 18.VI.1940

Дорогая Оля!

Я попал в больницу и только сейчас прочел твою открытку. Ты была права в предсказаньи: это были именно мучительные пустяки, немного впрочем затянувшиеся и обострившиеся, потому что я на них не сразу обратил внимание, а именно поясничный радикулит, в котором я пролежал около месяца. Представь, перед заболеваньем имел открытку от папы, очень спокойную, вплоть до разговоров о Гамлете и т. п. А недавно один художник с чьих-то слов (сведенья тоже из чьей-то переписки) передавал, будто папа еще работает и в Оксфорде написал портрет какой-то дамы. Крепко целую тебя и маму.

Твой *Б.*

14 июня, день рождения Тамары Николаевны Петуховой. Она мучит меня, чтоб непременно вечером к ней. День пасмурный, тяжелый. Душе тяжело. Ужасающе не хочется к Тамаре. Ну, просто не могу. Мама начинает упрасивать, чтоб не ехала. Нет, думаю, так докачусь до полной апатии, нужно преодолеть. Насильно, с тоской на сердце ухожу. По дороге покупаю у Норда конфеты и стою на Невском у трамвайной остановки. Подходит трамвай. Один советский гражданин, желая влезть, со всего размаха бросает меня головой о мостовую. Я падаю плашмя, лбом о камни. Гражданин, слава богу, в трамвай попадает. Остановка пустеет; кто-то с ужасом шепчется надо мной, но никто не помогает встать. Первое, что я сознаю, это ощущение сознания. Потом—есть ли у меня глаза. Есть. Встаю, обливаясь кровью. На земле вижу свою кровь. Боюсь тронуть, есть ли нос, щеки. Кажется, есть. Теперь сверлит одна мысль: мама! Я должна во что бы то ни стало вернуться домой, но не идти в больницу. Иду, обливаясь кровью; платок носовой сам капает на пальто. Поднимаюсь. Вот наша дверь. Бросаюсь в ванную, оттуда говорю маме, что упала. Только после этого вхожу, подхожу к зеркалу. О, ужас! Я вижу над переносицей огромную дыру и в ней—свою лобную кость.

Тогда я ложусь, теряя силы, и еле могу вызвать врача и Лившиц. Врач велит немедленно идти в больницу. Иду пешком с Лившиц. Мне делают противостолбнячную прививку. На операционном столе накладывают швы.

В лице этого хирурга, Тюлькина, я нашла талантливого врача и преданного друга.

Я лежала долго. У меня было сотрясение мозга, и меня лечили и терапевт, и психоневролог, и этот хирург. Во время болезни со мной случился припадок страшной силы, сопровождавшийся чувством ужаса: спазм сосудов сердца.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

<29.VI.40. М.>

Дорогая Оля! Ошеломлен твоей открыткой. Как счастливо ты, сравнительно, отделалась! А может быть, и рана зарастет совсем гладко? Ай-ай-ай, ты подумай! Это ты наверное соскочила в обратном на-

правлении (постоянная Зинина привычка). Она сердечно тебе и маме кланяется. Опять от папы из Оксфорда две открытки, вторая от 30/V, это после Бельгии и Голландии¹ — спокойные, как ни в чем не бывало. Достань журнал «Молодая гвардия» № 5-6, там мой Гамлет. Он вам не понравится непривычною прозаичностью, обыкновенностью и т. д.

Все же полюбопытствуй.

Твой Б.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 15.XI.1940

Дорогая Оля! Твое молчанье все больше тревожит меня. Что с тобою, все ли у тебя благополучно? Я боюсь задавать вопросы тебе, мне страшно их договаривать из суеверья. Напиши мне пару слов, успокой меня. Не в обиде ли ты на меня? Кажется, меня выругали у Вас в Ленинграде. Может быть, это так уронило меня в твоих глазах, что ты больше не желаешь знать меня? Или, может быть, действительно ты не понимаешь моей шутливости в отношении себя и тебя, и это тебя задевает?

Если бы ты только знала, как мне тебя недостает! Каким счастьем было бы, если бы ты могла немного погостить у меня. Как твоё здоровье после весеннего падения? Неужели нет ничего нового относительно Саша? Я так встревожен твоей безответностью, что начинаю сомневаться в твоей собственной безопасности и собираюсь запросить Ленинградский университет, существуешь ли ты в природе.

Ах, до чего часто нужно тебя! Жизнь уходит, а то и ушла уже вся, но, как ты писала в прошлом году, живешь разрозненными взрывами какой-то «седьмой молодости» (твое выражение). Их много было этим летом у меня. После долгого периода сплошных переводов я стал набрасывать что-то свое. Однако главное было не в этом. Поразительно, что в нашей жизни урожайность этого чудного, живого лета сыграла не меньшую роль, чем в жизни какого-нибудь колхоза. Мы с Зиной (инициатива ее) развели большущий огород, так что я осенью боялся, что у меня с нею не хватит сил собрать все и сохранить. Я с Леничкой

¹ Имеется в виду захват Бельгии и Голландии Гитлером.

зиму на даче, а Зина разрывается между нами и мальчиками, которые учатся в городе. Какая непередаваемая красота жизнь зимой в лесу, в мороз, когда есть дрова. Глаза разбегаются, это совершенное ослепление. Сказочность этого не в одном созерцании, а в мельчайших особенностях трудного, настороженного обихода. Час упустишь, и дом охолодает так, что потом никакими топками не нагонишь. Заезаешься, и в погребе начнет мерзнуть картошка или заплесневеют огурцы. И все это дышит и пахнет, все живо и может умереть. У нас полподвала своего картофеля, две бочки шинкованной капусты, две бочки огурцов. А поездки в город, с пробуждением в шестом часу утра и утренней прогулкой за три километра темным, ночным еще полем и лесом, и линия зимнего полотна, идеальная и строгая, как смерть, и пламя утреннего поезда, к которому ты опоздал и который тебя обгоняет у выхода с лесной опушки к переезду! Ах, как вкусно еще живется, особенно в периоды трудности и безденежья (странным образом постигшего нас в последние месяцы), как еще рано сдаваться, как хочется жить.

Представь, Дудлика надо определять в университет (естеств<енный> или физ<ико-> мат<ематический>): чтобы предупредить солдатчину, а то он все забудет,— как время бежит,— а Леничка, совершенный дед, умный, строгий, восприимчивый (2 года 10 месяцев), так запутался в семейных осложнениях, что не считает Зину своей матерью и удивляется, зачем Женичке столько пап (он считает, что папа вещь производная от дома, и в каждом доме есть свой папа).

Но самое удивительное было с вестями от наших. Весной и в начале лета, когда я лежал в больнице, я мысленно распростился со всем, что любил и что было достойного любви в преданиях и чаяньях Западной Европы, оплакал это и похоронил, в том числе, значит, и своих. Особенно когда ко мне стало возвращаться здоровье и когда впервые, серьезно столкнувшись с медициной, я увидел, как дано мне еще жить и как много у меня еще сил, которых я не знал. Я думал, на что это мне и куда все это будет приложить, когда тем временем до такой неузнаваемости изгадили планету? И вдруг, о чудо, бог не выдал, свинья не съела! Стало возвращаться и *это*, мировое, здоровое, воскресло и вызывает тайное и всеобщее умиление, скрытное и суеверное, как запретная (и самая сильная) любовь,— молодцы англичане, что ты скажешь! Но ведь еще рано, что еще будет, однако вместе с тем и не рано, потому что обо всех дорогих я знаю, что они есть на

свете, и это солнцем встает каждый день над этой зимнею жизнью в лесу. Очень странно, что на этом обрываю письмо, писать можно было бы без конца, но напиши со своей стороны и ты, как и что, прошу тебя.

Р. С. Напиши мне, пожалуйста, обо всех, о тете, о Кларинной и Машуриной семье (кланяйся им, пожалуйста), о себе и о своих работах. Тебе, должно быть, очень трудно сейчас, не правда ли,—сужу по нашим затруднениям. А Гамлет начнет окупаться только года через полтора после постановки.

Вышел сборник моих переводов¹, выбор случайный, больше половины—вещи безразличные для меня, но среди них, между прочим, и *очень важный* для меня Верлен, послать ли тебе?

Напиши хоть открытку, что ты и тетя живы!

Твой Б.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

<Надпись на книге «Избранные переводы»>

Дорогой сестре Оле, с обычным у близких чувством нежности, вины и недоумения перед быстротою жизни.

От Бори.
15.XI.40.

Переделкино.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

27.XII.1940

Дорогая моя Олюшка!

Так как по странному совпадению обстоятельств свои письма пишешь ты сама, то наверное отчасти знаешь их достоинства и не нуждаешься в их восхищенном описании. Да, но какое наслаждение читать их и получать! Какая бездна остроумия и смысла во всей части о Гомере и газете и Лариссе! Как удивительны слова о существе переводов, и как поразительно они

¹ Борис Пастернак. Избранные переводы. М., Советский писатель, 1940. В книгу вошли переводы из Г. Клейста, Г. Сакса, Шекспира, Байрона, Ралея, Китса, Петефи, Верлена и других поэтов.

выражают то самое, что я откинул в своем письме из опасенья, как бы эта тема не завела меня в бесконечность и не потащила за собою всего письма. А у тебя—в одной строчке!

Без конца благодарю тебя за скорый и такой драгоценный ответ, радостный, во-первых, своей талантливостью, а во-вторых, и утешительностью главных сведений. Опять была телеграмма из Оксфорда о здоровье и благополучьи.

Но сейчас я огорчу тебя: умерла в Одессе Соня Геникес¹. Она жила очень трудно и бедно в последнее время, но из гордости об этом не распространялась и до конца дней сохранила остроумье и изящество образованной женщины, выросшей в этом сознании и с ним свыкшейся. Из ее трех дочерей в Одессе осталась Тася, остальные кто где, но все—существа довольно странные, полуграмотные и дикие: вероятно, из эгоизма ими мало занимались, а потом этот эгоизм, единственное, что им сообщили от родителей, у них удесятерился, поддержанный чувством дочерней мстительности.

Не могла ли бы ты узнать мне, как здоровье Ахматовой? Я знаю, что она очень нездорова, но хотел бы знать это все поточнее. Писать ей дело безнадежное, да к тому же я и не знаю, в состоянии ли она теперь отвечать. Справиться можешь как тебе будет удобнее, непосредственно ли по телефону, не скрывая кто ты и т. д., или же через знакомых и университет.

У меня какое-то предчувствие, что С<аша> скоро объявится. С этой верой и кончаю, вкладывая ее выражение в свои новогодние пожеланья тебе и маме.

Крепко Вас обеих обнимаю.

Твой *Боря*.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 4. II. 1941

Дорогая Оля!

Эти строки застанут тебя за повтореньем того оледененья², которое ты так замечательно описала, или вскоре после него. Напрасно ты думаешь, что я это говорю, чтобы сказать тебе приятное. Ты сама знаешь

¹ Двоюродная сестра Б. Пастернака и О. Фрейденберг.

² «Оледенением» Фрейденберг называла состояние творческой собранности.

цену своим талантам и характеру, что же удивительно, если я так ценю каждый их знак.

Итак, спасибо за письмо, бывшее для меня полной неожиданностью. Мне казалось, что написать тебе, поздравить тебя с мамой с Новым годом и попросить насчет Ахматовой было у меня в идее и осталось неисполненным намереньем. Я не помню своего письма, и, несмотря на твои слова о нем, у меня ощущение, будто ты угадала мои мысли и на них отвечаешь.

Не представляю себе, как вы живете, так все кругом затруднилось. Напиши мне искренне, как я этого заслужил, не нужно ли тебе денег.

Ты говоришь, что я молодец, а между тем и я стал приходить в отчаянье. Как ты знаешь, атмосфера опять сгустилась. Благодетелю¹ нашему кажется, что до сих пор были слишком сентиментальны, и пора одуматься. Петр Первый уже оказывается параллелью не подходящей. Новое увлечение, открыто исповедуемое,— Грозный, причина, жестокость. На эти темы пишутся новые оперы, драмы и сценарии². Не шутя. Меня последнее время преследуют неудачи, и если бы не остаток какого-то уваженья в неофициальной части общества, в официальной меня уморили бы голодом. Ты сказала Ахматовой, будто я занят прозой. Куда там! Я насилу добился, чтобы несамостоятельный труд, который мне только и остался, можно было посвятить чему-нибудь стоящему, вроде Ромео и Джульетты, а то мне предлагали переводить второстепенных драматургов из нацреспублик. Жить, даже в лучшем случае, все-таки осталось так недолго. Я что-то ношу в себе, что-то знаю, что-то умею. И все это остается невыраженным. Прости, что некоторыми местами письма, может быть, огорчаю тебя, больше никогда не буду.

Зина благодарит за память и очень кланяется тебе и маме. Леню на днях возили в город и повели в парикмахерскую. Он спросил, что тут будут покупать, и, когда узнал о назначении заведенья, поднял шум и потребовал, чтобы его увели. Тот же интерес к предмету торговли проявил он у фотографа и кончил тем же скандалом и требованием. Я попрошу, чтобы его снял кто-нибудь из знакомых с аппаратом, и пришлю карточку, а пока нечего посылать. Он растет дикарем, хотя и очень хитрым, трусливым и нервным.

¹ Диктатор в повести Е. Замятина «Мы».

² А. Н. Толстой приступил к работе над диалогией «Иван Грозный». С. Эйзенштейн писал сценарий и ставил фильм, музыку писал С. Прокофьев.

Ты получишь журнал с Гамлетом, если Зина исполнила мою просьбу и была на почте. Если у тебя будет время прочесть его, сделай это не осложняя этого мыслью, всегда неприятной, что потом тебе придется писать о нем. Мне страшно бы хотелось, чтобы он понравился тебе и маме, и хотя я знаю, *чем* он вам не понравится, и хотя именно эти резкости или странности сглажены в редакции, предназначенной для Гослитиздатовского издания¹ (но не для МХАТа!), и я мог бы дождаться его выхода, я послал тебе именно этот первоначально вылившийся и, по мнению некоторых, *рискованный* (я этого, конечно, не сознаю, это естественно) и даже неудачный вариант. Кое-что из доделанного его, конечно, улучшает, меня к концу торопили.

Но не шучу: если в виде одобренья или порицанья у тебя будет о нем больше двух строчек, это огорчит меня; достаточно и той жертвы, которую тебе придется принести, в смысле сил и времени, на его прочтенье.

Крепко тебя и маму целую. Сделай мне удовольствие, ответь по поводу одной из низких истин, относительно денег. Однажды ты меня на этот счет успокоила. Так ли все это еще и теперь?

Пишу тебе в самый мороз, весь день топлю печи и сжигаю все, что наработаю.

Твой *Боря*.

Я забыл поблагодарить тебя за Ахматову, большое спасибо.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 11. II. 1941

Дорогая Оля!

Чудак Шура, что не сказал или не передал мне о своей предстоящей поездке в Ленинград. И каким-то образом он вас еще не видел! Он мне объяснял это сегодня по телефону (я сегодня был в Москве и звонил ему), но я ничего не понял. Жизнь все-таки так странна, что при наилучших братских чувствах друг к другу мы, бывает, не видимся годами. Итак, грипп возобновился у тебя? Погода резко переменялась, стало тепло, и,

¹ «Молодая гвардия» (№ 4-5, 1940) опубликовала первую редакцию перевода «Гамлета», для издания в Гослитиздате была сделана новая версия.

вероятно, больше таких морозов не будет. Это я заключаю из того, что ветер с юго-запада, и еще кроме того из следующего обстоятельства.

Сегодня я ездил в город, а тем временем у меня были гости, привезшие в подарок мне барометр и уличный термометр.

Вид у этих предметов был такой, как будто они *больше не понадобятся*. Итак, Шура был у Вас в один из описанных тобою ледниковых периодов? Отчего ты об этом ничего не написала? Но я, наверное, все путаю от старости или проспал часть февраля и у меня все перемешалось.

Не удивляйся короткому и бессодержательному письму. Мне не хотелось бы, чтобы неожиданность и неизвестность Шуриной поездки представила в каком-нибудь неестественном свете нашу переписку или внесла между нами какую-нибудь путаницу. Это одно.

Другое, это глубокое огорченье Шуры по поводу его собственных с вами недоразумений. Но об этом не распространяюсь, потому что торопился и говорил с ним недолго и... ничего не знаю.

Твой Б.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 20. III. 1941

Дорогая Оля!

Вот Ленечка, мое утешенье.— Я тебя не поблагодарил еще за письмо.— Итак, Гамлет тебе не понравился, несмотря на глубокомыслие твоих отговорок. Но именно за их ласковую шутливость тебе спасибо, за Боречку, которым ты меня назвала.

Недавно я разбирал сундук с папиными набросками, самыми сырыми и черновыми, с его рабочей макулатурой. Помимо радости и гордости, которые всегда выносишь из этих пересмотров, действие этого зрелища уничтожающе. Нельзя составить понятия, не измерив этого в ощущении разницы несхоластического времени, когда естественно развивавшаяся деятельность человека наполняла жизнь, как растительный мир—пространство, когда все передвигались и каждый существовал для того, чтоб отличаться от другого.

Оля, Оля, мое существование жалко и позорно. Часть этой досады тебе знакома по твоему собственному опыту. Но ты наталкиваешься на препятствия, тебе

мешают интриги, у меня же нет этого оправданья. Мне кажется, что у меня давным-давно сами собой опустились руки. Иногда под влияньем этой горечи срываешься¹.

Прости за неожиданную остановку. Дальше следовали совершенно ненужные нескромности.

Лучше вернемся к цели письма. Я хотел сообщить тебе, что Лида² родила девочку. У ней два мальчика, это третий ребенок. Что же касается Лени, то, конечно, он вылитая Зина, но не кажется ли тебе, что в то же время он напоминает Жоню?

Крепко-крепко целую тебя и тетю Асю. Как ее здоровье? Еще раз горячо тебя благодарю за заботливость в отношении Гамлета. Меня страшно интересует, чем кончится твоя борьба с темными силами в университете.

Твой Боря.

ПАСТЕРНАК—О. М. и А. О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 8.IV.1941

Дорогая Оля! Сердечное, сердечное тебе спасибо за твое золотое письмо. Тебя справедливо удивляет, наверное, такое промедленье ответом. Между прочим,—как я пишу маме,—я ждал этой эстонской бумаги, которую хотел «почать» письмом к тебе. Кстати, у вас она должна быть в Ленинграде, и если ее не продают при университете, то, может быть, она имеется у писателей. Хочешь, я напишу в ваш литфонд, чтобы тебе отпустили пачку?

Благодарю за чувства, за слова о Лене, за поддержку, за доброту. Твое письмо пришло в воскресенье 30-го, ты спрашиваешь о Дудлике. Он у меня гостил как раз в те дни, а в воскресенье на даче была и Женя. В прошлом письме я стал было тебе писать про разные интимности и бросил. Не ставь этого ни в какую связь с упоминанием о Жене и Женечке, но в общем клубке недовольств, из которых главное—недовольство зря потраченной жизнью и собою, было у меня и раздраженье того свойства, что мне опять захотелось сломать и по-новому сложить свою жизнь. Полтора месяца тому назад я поссорился и расстался с Зиной. Я немного

¹ В тексте следует вычеркнутое место.

² Сестра Б. Пастернака, Л. Л. Слейтер.

помучился, а потом вновь поражен был шумом и оглушительностью свободы, ее живостью, движением, пестротой. Этот мир рядом. Куда же он проваливается, когда мы не одни? Я преобразился, снова поверил в будущее. Меня окружили товарищи. Стали происходить неожиданности. Так бы и осталось, если бы не удары, посыпавшиеся на Зину.

Во-первых, я не думал, что она примет это все так трагически. Писать и говорить об этом вообще нельзя и нескромно. Но когда к ее горестям прибавилась болезнь старшего мальчика, которого на днях повезут в Евпаторию, выдерживать свое решение стало, может быть на время, невозможно. Я тут помогу ей, а там будет видно. Чего-то забытого и вновь недавно испытанного я назад не уступлю. Я пишу тебе сбивчиво, с пропусками и помарками, и бесчеловечно. Она чудная, работающая, человек со страшно трудною жизнью и такая же рева, как Леничка.

Но поговорим о другом. При мысли о Греции у меня сердце сжимается. Мне кажется обстановка опять, как прошлым летом, когда неслись лавиной и брали страну за страной. Дай бог, чтоб я ошибся. С восхищением читал твой рассказ об университетских «Ра» (доктора, профессора). Чем же в итоге все кончится, будут ли они тебя печатать? Ах, как везде все повторяется! Но твое письмо так содержательно, что на него нет возможности ответить сразу. Разумеется, пошли телеграмму нашим, можешь себе представить, как они будут рады. Телеграмма из 25 слов стоит 12 руб. и озаглавливается ELT (вероятно: Europe letter telegram). Телеграфируй по-английски. Адрес Pasternak. 20 Park Town, Oxford. Если по каким-нибудь внутренним соображениям раздумаешь, сообщи мне, что хочешь им сказать, и я введу твои слова каким-нибудь Olga reports...¹ в свою телеграмму. Итак, на днях, может быть, повезу одного из наших мальчиков в Евпаторию. Спасибо тебе еще раз. Ты не можешь себе представить, как ценю я твою поддержку, и — дай мне только уладить годами скопившиеся упущенья, ты увидишь, я не обману тебя. Зина вам кланяется и действительно, когда вернется из Крыма, напишет маме. Крепко тебя целую.

Твой Боря.

Прости за эти пустые записки, столь оскорбительно торопливые в ответ на твое глубокое, значительное письмо, но это мое проклятье, все второпях и на ходу.

¹ Ольга передает (англ.).

Дорогая тетя Ася!

Какою радостью было для меня и Зины опять увидеть строки, написанные Вашей рукою! Горячо благодарю Вас за сказанное. Мне очень хотелось бы, чтобы Вы повидали Леню. Он все же очень и в меня. Он страшно серьезный, мрачный, рассудительный и упрямый; чувствительный, обидчивый и пугливый; может, например, перепугаться моли, или куска материи, или клочка мочалы в матрасе и будет плохо спать несколько ночей; видит иногда ужасные кошмары; очень наблюдателен и умен. Фантазиями и страхами он в Жоничку и в свою бабушку с моей стороны.

У Женички, при всей тонкости, не было таких нервов. Вы о нем спрашиваете. Он весною кончает среднюю школу и верно попадет в солдаты. Я хотел добиться, чтобы он побывал до этого в университете, как бывало в наше время, и сначала хлопоты, как казалось, могли увенчаться успехом. Но для этого пришлось бы идти по очень нескромной линии и выдавать его за вундеркинда, чего на самом деле нет, и мне не хотелось. И у Жени осталось такое чувство, точно я недостаточно по отношению к нему заботлив. Пока я жил в городе, т<о> е<сть> в прошлом году, я туда водил иногда Леничку. Они его очень любят. Но скоро год, как они его не видали. Зина обязательно напишет Вам, тетя, и уже написала бы, но ее надо простить и она достойна сожаленья. К утомленью от зимы у ней прибавилось несколько огорчений, из которых главное — болезнь старшего мальчика. У него костный туберкулез левой ступни, он лежит в гипсовой повязке, и на днях она повезет его в Евпаторию. Если мне будет кого оставить на даче, я для помощи поеду тоже.

Тетя, я обращаюсь к Вам и себе не верю. Разумеется, если бы я по всей серьезности последовал своему чувству, я должен был бы написать Вам нечто бесконечное. Если бы 25 лет тому назад нам сказали, что будет с каждым из нас, мы бы сочли это сказками. И оттого после каждого письма Вам, Оле или самым близким людям остается ощущение промаха и оплошности, точно не сделал чего-то должного или обещанного. Олино письмо так осчастливило меня, доставило такую радость, что я сейчас же ответил бы ей, и только ждал этой эстонской бумаги, чтобы обновить ее письмом к Вам.

Крепко целую Вас.

Ваш Боря.

8. V. 1941

Дорогая Оля!

Сегодня я был в городе и узнал от Женички, что Женя в Ленинграде. Наверное, она была у вас, и значит, по ее возвращении будут новые причины благодарить тебя и писать вам особо. Спешу написать тебе до наступленья этих поводов, в силу более ранних побуждений.

Последние две недели я все боялся, что ты успеешь ответить мне до моего нового письма. Мне хотелось предупредить тебя, а я все время очень занят. Ты должна знать, что я себя чувствую твоим неоплатным должником и чем-то вроде вампира, насасывающегося лучшими соками твоей сердечности и свыкшегося с периодичностью этого дарового питания. Береги свои силы, у тебя свой путь, они нужны тебе. Да и просто говоря, ты человек занятой, открытки о здоровье, вот все, на что я притяжаю.

Зимняя переписка с тобою (т. е. твои письма, я не так сказал) сыграла серьезнейшую роль в моих новейших переменах. Речь не о семейных, я напрасно о них заговаривал в прошлом письме. Но спустя почти 15 лет или более того, я опять себя чувствую как когда-то, у меня опять закипает каждодневная работа во всей былой необязательности, когда она только и естественна, без ощущения наведенности в фокус «всей страны» и пр. и пр. Я уже что-то строчу, а буду и больше, отчего и такая торопливость тона.

Итак, мне не только хотелось забежать вперед и попросить тебя, чтобы ты не тратилась на меня так безмерно душой и воображеньем, потому что твоя доброта уничтожает меня,—и чем я на нее отвечу? Но это идет и дальше. Например. Как я ни люблю Леничку, но ваше отношенье к нему тоже превосходит все ожидания. Надо умерить и эту волну. Приложенную карточку я посылаю именно потому, что на ней он хуже. Его обкорнали наголо, он особенно на ней смущен и растерян и больше, чем на первой, похож на меня.

Наконец, главное, это просьба моя и Зины. Приезжай с мамою летом к нам на дачу, устрой это, подумай, как это будет чудесно. Может быть, в середине лета приедет и будет с Вами наша лучшая приятельница Нина Табидзе, муж которой в лучшем случае четвертый год в неизвестности, да Леничка, да мы. Правда, подумай.

Не судите Зины. На днях она переедет сюда и напишет, а пока в тоске и хлопотах в городе с другим сыном, целыми днями шьет на нас и плачет,—старший мальчик за месяц потерял пуд в весе. Температура с незапамятного времени все высокая, одним туберкулезом сустава не объяснимая.

Итак спасибо, спасибо, спасибо. Крепко обнимаю тебя и маму. Тетя Ася права, ругая мой почерк. Но виновата не рука, карандашом я пишу каллиграфически, а не везет мне на перья. Нормальных, не щепящихся и не зацепляющих за бумагу я уже давно не помню.

Твой Боря.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 8.VI.1941

Дорогая Оля.

Сердечное тебе спасибо за золотые строки о Жене. Как это все интересно, верно и талантливо, не говоря о том, как это ласково и человечно.

С нетерпением буду ждать Теофраста¹. Страшно заинтригован, потому что просто не представляю себе, как воссоздавать научную древность. Вам наверное приходилось создавать свою предположительную терминологию? Чем вы в таком случае руководствовались? Тебе, наверное, пришлось заняться историей естествознания? Как это все замечательно! Ботаника была моей первой детской страстью.

Не сердись, пожалуйста, за отрывочность и запоздалость моих последних писем. Не могу изобразить тебе «многозаботности» и сложности моего существования. Половина таких «ответов» пишется наспех, в виде бессмысленных повторяющихся восклицаний,—это должно раздражать тебя.

Я немного верил в исполнимость твоего приезда с мамой и огорчен тем, как вы обе на это смотрите. Мы бы с обеих сторон друг на друга понасмотрелись, это дает так много! Нашему больному лучше в том смысле, что, по-видимому, жизнь его вне опасности. Теперь это обычный тяжелый случай костного туберкулеза, который потребует какого-то долгого времени для излечения, без дополнительных пугающих загадок.

¹ «Характеры» Теофраста.—Ученые записки ЛГУ № 63. Серия филологических наук, вып. 7, 1941, с. 129—141.

Если у тебя есть возможность сделать это по телефону, позвони, пожалуйста, когда у тебя будет время, Машуре¹. Я забыл или не знаю отчества тети Вари², а хотел бы написать ей (адрес, наверное, несложен, просто город Касимов и больше ничего). Может быть, Машура черкнет мне? Тогда как Машуре ответить, чтобы этого не знала тетя Клара? Целую тебя и обнимаю.

Твой Боря.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 17.VI.1941

Дорогая Оля!

Браво, браво, горячо тебя поздравляю. Это мог я тебе сказать уже ровно неделю, и только эта подлая жизнь виной тому, что я этого не сделал. Да и сейчас пишу, высуня язык.

Теофраст бесподобен, я и отдаленно не предполагал ничего похожего, и поглотил разом, как только Леня подал мне пакет. Я читал его гостям, им наслаждался бывший у меня в воскресенье Женя, я всем его показываю, и когда буду в городе, хочу, чтобы его прочел философ Асмус. Жаль хоронить это в ученых записках. Если бы существовала по-прежнему «Академия», его надо было бы издать с чем-нибудь параллельным этого же порядка.

Очень хорошо, что вы переводили дословно,— «силен сделать» и т. д. В вашем объеме я, конечно, никогда этого не знал,—речь о твоём «греческом запахе»,—но и то небольшое, что я когда-то восторженно усвоил, я безбожно перезабыл, и из запаха помню только какие-то *αποτρετεις την κεφαλην* (обезглавленный) и, как вижу, даже писать разучился.

Все мои восклицанья наравне с документом относятся к твоему увлекательному вступлению. Интереснейшие, блестящие страницы! Замечательные мысли о параллелизме этики и комедии, о видоизменении значений при неизменности смыслового образа или термина, об истории перемещения прицела (боги, герои, посредственности) и историко-публицистические характеристики времени и обстановки.

¹ М. А. Маркова, двоюродная сестра О. М. Фрейденберг.

² Жена О. И. Кауфмана, брата Р. И. Пастернак.

Я знаю, что еще больше интересных и поучительных мыслей и неожиданностей почерпну в другой работе, о древнегреческом фольклоре¹ (как смело сформулирован вопрос гумбольдтоподобной широты и напряженности!), но я ее еще не прочел.

Прости, что я тебя, наверное, невольно обидел, промедлив выраженьями своего восхищенья. По-моему, твое торжество должно быть полным. Чего ему недостает, чем еще могут быть тут недовольны придиры?

Крепко тебя целую, вновь и вновь благодарю и поздравляю. Мне очень хочется поскорей развязаться с Ромео, есть и еще кой-какие осложненья, вот отчего у меня такой загнанный вид и язык. Если у тебя будет свободное время и возможность, попроси своих учеников достать тебе 6-й, июньский номер «Красной нови»². Я им дал несколько своих пустяков, написанных о зиме и прошлом лете нынешнею весною. Обнимаю тебя и тетю Асю.

Твой Б.

22-го июня, в один из приятных летних дней, я от нечего делать позвонила по телефону. Было воскресенье около полудня. Меня изумило, когда чей-то женский голос ответил, что Бобович, которому я звонила, сейчас не подойдет.

— Он слушает радио.

Я изумилась еще больше. После незначительной паузы женский голос добавил:

— Объявлена война с Германией. Немцы напали на нас и перешли границу.

Это было страшно неожиданно, почти неправдоподобно, хотя и предсказывалось с несомненностью. Невероятно было не это нападение,—кто не ждал его? Невероятна была и не война с Гитлером: наша политика никому не внушала доверия. Невероятен был переворот в жизни, день так быстро нагрянувшей межи прошлого с настоящим. Тихий день с раскрытыми окнами, приятное спокойное воскресенье, чувство жизни в душе, надежды и желанья, как нечто объективно вросшее в меня, хочу я или нет,—и вдруг война! Не верилось и не хотелось.

Кто же, однако, не знал, что это начало величайших событий и бедствий? Я понимала теоретическое

¹ Проблемы греческого фольклорного языка.—Ученые записки ЛГУ. Серия филологических наук, вып. 7, 1941, с. 41—69.

² Начавшаяся война помешала публикации стихов, они вышли в книге «На ранних поездах» только летом 1943 г.

значение случившегося. Но я наблюдала, как эта страшная весть не произвела на меня никакого впечатления, кроме сенсации. Ничто из 1914 года не шло в сравнение. В сущности, душа была совершенно безразлична, и только становилось страшно за быт. Какие впереди бедствия!

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <9.VII.1941>

Дорогая, золотая моя Олюшка!

Ну вот, ну как это тебе нравится! Пишу тебе совсем в слезах, но, представь себе, о первой радости и первой миновавшей страсти в ряду предстоящего нам: Зину взяли работницей в эшелон, с которым эвакуируют Леничку, и таким образом, он с божьей помощью будет не один и будет знать, кто он и что он. Сейчас их отправляют, и я расстанусь со всем, для чего я последнее время жил и существовал.

Женичка в армии, где-то в самом пекле, в Вашем направлении.

Ты удивишься, но в самых неподходящих условиях, среди трагических разговоров и в бомбоубежище, я вдруг начинаю рассказывать о тебе и твоём Теофрасте, чем привожу всех в восхищение.

Пиши мне по городскому адресу: Москва, 17. Лаврушинский пер., д. 17/19, кв. 72.

Как здоровье тети Аси?

Крепко целую Вас обоих. Пиши мне, помни меня, пользуйся мной.

Детей отправляют на восток от Казани, на Каму.

Что будет со мною, не знаю. На даче я вырыл глубоченную траншею, но дорога эта западная, там будет по отъезде моих пусто и мертво, я, наверное, там не выживу.

Обнимаю тебя. Твой Б.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 12.VII.1941

<Получено в Москве 21.VII.1941>

Да, родной Боря, в какие дни мы встречаемся! Сердце и разум не вмещают событий, суешь дни, как в

набитый чемодан, и не влазят. Сейчас села писать, духота такая, что мозг разварен. В комнате 27°.

Я позвала бы тебя к нам, если б верила, что с московским паспортом это возможно. У нас души устоялись, мы спокойны. Может быть, возле нас ты обрел бы обиходный покой.

Женечку, нашего Дудлика, жаль до боли. Скажи Жене, что мама сидит и плачет. Скажи ей, что мы ее сердечно целуем и любим. Обязательно и немедленно пошли ему наш адрес. Мало ли что бывает, он может оказаться в Ленинграде. Наше направление благоприятное. Как они расставались, как прощались, Боже мой! Он такой нежный, незакаленный мальчик!

Что у Шуры? Как Зина поступила с больным мальчиком? Это очень хорошо, что Ленечка имеет маму около себя; ужасны, безумны отрывы¹.

Повезло одной Кларе, которая вовремя очутилась у Вари².

Тяжелый кризис мы пережили третьего дня, когда встал вопрос — ехать ли со службой или увольняться? Но проблема не в службе, конечно, а в факте переезда к черту на кулички. С утра до вечера приходят друзья, знакомые, члены кафедры. Советуются, прощаются. Поездка А<кадемии> н<аук>, с десятками друзей и сотоварищей, заставила нас дрогнуть, а тут уже списки и на нас. Мучительная коллизия! Но сразу стало легче, как только я приняла решение. Мы остаемся. Я не в силах покинуть любимый город, мама не в силах доехать. Решение, предусматривающее смерть, легкое всегда решение. Оно не требует ни условий, ни программного образа действий. Это единственное решение, которое милосердно и ни на что не покушается. А душа цела и живет. Она контрабандой протаскивает созидание. Страстно интересуют военные события, и с первых дней я записалась в госпиталь. Но покупаю цветы и пишу о сравнениях у Гомера³.

Обнимаю тебя, родной. Будь бодр и не расставайся с собой. Придет обетованный час мирового обновления,

¹ З. Н. Пастернак с двумя сыновьями была эвакуирована 9 июля 1941 г. в Берсут на Каме, работала сестрой-хозяйкой детского интерната, в котором жил трехлетний Ленечка.

² Начало войны застало К. И. Лапшову в Касимове у вдовы ее брата О. И. Кауфмана.

³ Экстракт работы «Гомеровские сравнения» был опубликован в 1946 г. в «Трудах юбилейной научной сессии ЛГУ. Секция филологических наук» под названием «Происхождение эпического сравнения (на материале «Илиады»)».

кровавых зверей задушат. Я верю в уничтожение гитлеризма.

Твоя Оля.

Мама молодцом. А что папа и девочки? Есть ли вести?

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 12.VIII.1941
<в Москве 16.VIII.1941>

Дорогой Боречка, что ты и где ты? Хочется обменяться вестью. Напомню, что давно уже имела от тебя письмо об отъезде Лёначки, и сейчас же ответила тебе, но с тех пор ничего от тебя не имела. Что Дудлик, есть ли от него известия? Непременно пошли ему наш адрес, хотя возможности встречи сужаются. Мы надеялись (как я тебе писала), что ты сумеешь по командировке писателей попасть к нам и тут пожить и отдохнуть. Вопросов тьма: как дядя дорогой, где Женя, Шура, что с Федей, есть ли вести от Зины? Поторопись с ответом. Мы живы и здоровы. Пока не зову тебя до полного устройства.

Чмок! Твоя Оля.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 22.VIII.1941
<в Ленинграде 22.IX.1941>

Дорогая моя Олюшка! Спасибо за письмо и открытку. Крепко обнимаю тебя и маму. Женя в свое время вернулся со своих работ, и недавно перевелся и уехал с Женею старшей в Ташкент. Будет большим чудом и счастьем, если эта открытка достигнет тебя. Я совершенно один, и, м<ожет> б<ыть>, если будет можно, в компании с двумя-тремя такими же холостяками, проведем своих жен под Казанью. Они все здоровы, но им, как и естественно, очень трудно.

Твой Боря.

Смерч приближался. Первого сентября произошло самое ужасное бытовое бедствие: закрылись так называемые коммерческие лавки. Это были магазины, где провизия продавалась правительством по взвинченным ценам. Карточки, введенные на хлеб и продукты

еще в августе или июле, особого значения не имели, так как все, что нужно было, можно было купить в магазинах.

И вдруг это все исчезло. Что мы будем есть, что я буду доставать.

Смерч еще ближе. 8-го сентября днем вдруг раздалась в воздухе оглушительная частая стрельба. Это был, казалось, град взрывов, стремительная охалка рокочущей пальбы, разверзающийся поток частых громов, вихрь шума, треска и катастрофы.

Прошло несколько дней, мы уже знали, что такое налеты, бомбы и пожары. Но вдруг — адский взрыв — выстрел. Сотрясается дом, кричат стекла. Мы вскакиваем, как угорелые. Тихо. И вдруг снова выстрел — гром, с грохотаньем ударяющий в дом и рассыпающийся страшным взрывом. Люди, обезумев, не знают, где спастись. Бегут на лестницы, в пролеты, вниз.

Это было еще страшнее, еще слепее, еще непредугаданнее, чем налет с воздуха, еще более неестественно и бесчеловечно. Это был артиллерийский обстрел из тяжелых орудий. К такому ужасу привыкнуть нельзя!
<...>

Немцы совершали налеты на Ленинград ежедневно, и каждый день по несколько раз, через час, через два, по пять и шесть раз, и по девяти, и по одиннадцати раз в день. Сколько им позволял бег времени и солнца, они убивали людей и превращали в развалины пятиэтажные дома. О, эти груды щепок и куски железных кроватей, жилища бедняков, жалкий скарб среди кирпичей и балок. Как все люди бывают уравнены в обнаженном виде, так одинаковы казались все квартиры среди мусора и обломков. У одних домов оставался зияющий скелет, в других поражала дверь, кусок коридора, каменная переборка. Как только начиналась воздушная тревога, мы, трепещущие, судорожно одевались и выходили в пролет лестницы, этажом ниже. Это наивное самообольщение успокаивало нас. О, этот ужас, эта темнота, этот свист пикирующих немецких бомбардировщиков, этот миг ожидания взрыва, и тотчас же падение смерти, сотрясение дома, глухой крик воздуха.

К налетам город не был подготовлен. Настоящих бомбоубежищ почти не было. Укрывались в подвалах, погребках, в газоубежищах, в холодных, сырых страшных подземельях. Прохожих загоняли туда насильственно, и в случае попадания фугасной бомбы эти подвалы засыпало.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 14.IX.1941
В Ленинграде 27.IX.1941

Дорогая Олюшка! Какое время, какое время! Как я тревожусь и болею душой за тебя и тетю! Безумно, я тебе сказать не могу! У вас ужасные бомбардировки. Мы это испытали месяц тому назад. Я часто дежурил тогда на крыше во время ночных налетов.

В одну из ночей, как раз в мое дежурство, в наш дом попали две фугасные бомбы. Дом 12-ти этажный, с четырьмя подъездами. Разрушило пять квартир в одном из подъездов и половину надворного флигеля. Меня все эти опасности и пугали и опьяняли. Я один, но, наверное, буду зимовать вчетвером с Фединым, Всеволодом Ивановым и Леоновым в одной из наших дач. Женя с Дудликом в Ташкенте. Зина с Леничкой и еще одним мальчиком в Чистополе на Каме, другой ее сын, с костным туберкулезом, на Урале. Было известие из Оксфорда. Все живы.

Твой Б.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 8.X.1941
<в Ленинграде 21.X.1941>

I Дорогие Олюшка и тетя Ася!

Адрес Жени: Ташкент, Выставочная, 8, у Ивченко, Евг. Влад. Пастернак. Кажется, пока они не жалуются, по слухам, Женя поступил в университет на матем<атический> факультет, а также подвизается в театре. Милый друг Оля, спасибо за открытку и телеграмму. Можешь себе представить как я им обрадовался!! Я доживаю на даче последние дни со старой Жениной работницей: я все-таки навещу Зину, пока не стали реки. Там все спокойно, хотя у Лёнички корь и условия в общежитии, где помещается Зина наверное трудные. Она недавно страшно сглупила, заплатив в Лит. фонд за себя и детей за все три месяца, несмотря на свою адскую работу при столовой, между тем как ничего не делающие жены богачей-лауреатов живут в долг той же организации, не ударяя пальцем о палец. «Зачем рождается столько детей» — вот последнее Лёнино mot¹, привезенное в Москву эвакуированными.

¹ Высказывание (фр.).

II Дорогие, золотые мои! Вот еще раз на всякий случай адрес Жени: Ташкент, Выставочная, 8, у Ивченки, ей. Какое счастье было бы, если бы вы съехались! Папа и сестры живы, справлялись о нас по телеграфу, — перед отъездом к Зине в Чистополь протелеграфирую им Pasternak 20 Park Town, Oxford о вас и о нас. Конечно, я страшно соскучился по Леничке, он просил Зину «пусть папа придет, чтобы не летали бомбы». Вызовы Зины все требовательнее и ультимативнее, мне хочется съездить к ней. Если бы случилось такое чудо, и вы проездом ли или в виде окончательной цели оказались в Москве как раз в мое временное отсутствие, тут будут всякие возможности, начиная с квартиры, некоторого топлива, некоторого количества картошки и капусты и т. д. и т. д. в ведении Жениной старой работницы, Елены Петровны Кузьминой, Тверской бульв., 25, кв. 7, Е. В. Пастернак. Может быть, у ней будет жить и Ахматова, вас это нисколько не стеснит, это хороший и простой человек.

III Трижды родные! Адрес Жени: Ташкент, Выставочная, 8, у Ивченки, Евг. Влад. Пастернак. На время моего выезда из Москвы, если бы вы в ней случились, к вашим услугам все пустующее, городское и деревенское, в Лаврушинском и на Тверском бульваре (25, кв. 7) и какие будут запасы овощей и топлива. Все это в ведении старой Жениной работницы, Елены Петровны Кузьминой (кроме Жениной квартиры она может быть у своей сестры: Москва, Кропоткинская, 3, кв. 20: у М. А. Родионовой). Кто бы у меня ни поместился в мое отсутствие, вам всегда все обеспечено. Я ей про вас рассказал, и введет вас к ней Шура (Гоголевский бульв., 8, кв. 52, тел. К-4-31-50). Если вас судьба закинет к Женям, это будет благо и праздник, которому нет названья. Посмотрите тогда за ними. Пусть работают и зарабатывают, это главное. У них, кажется, хорошо и беззаботно.

С декабря пошло двойное усиление: морозов и голода. Такой ледяной зимы никогда еще не было. Город не имел топлива. Ни дров, ни керосина не выдавали, электроплитки были запрещены. Нормы все уменьшались. Большинство населения получало на целый день 125 гр. хлеба. Уже давно, впрочем, это был не хлеб. Подозрительное полумокрое месиво всяких суррогатов, пропитанных отголосками керосина. Чем меньше хлеба, тем больше очереди. На морозе в

25—30° истощенные люди стояли часами, чтобы получить убогий паек.

Уже в декабре люди стали пухнуть и отекать от голода.

Стал трамвай. Не было топлива, а потому и тока. Громадные городские и пригородные расстояния люди одолевали ногами. Ходили молча, из района в район, через мосты, по льду рек. Тащили за собой санки, на них балки, бревна, доски, щепки, палки.

Вдруг пошли аресты профессоров. Арестовали Жирмунского, Гуковского.

С первого января по двадцатое ровно ничего не выдавали.

Голодные, опухшие, отекишие стояли люди в ожидании привоза по 8—10 часов на жгучем морозе, в платках, шалях, одеялах поверх ватников и пальто. День за днем, неделю за неделей человеку не давали ничего есть. Государство, взяв на себя питание людей и запретив им торговать, добывать и обменивать, ровно ничего не давало.

Начались повальные смерти. Никакая эпидемия, никакие бомбы и снаряды немцев не могли убить столько людей. Люди шли и падали, стояли и валились. Улицы были усеяны трупами. В аптеках, в подворотнях, в подъездах, на порогах лестниц и входов лежали трупы. Дворники к утру выгребали их словно мусор. <...>

Когда арестовали Сашу, счастьем для меня было готовить для него передачу, которую позволяли ссылаемым вместе со свиданьем или без него. Я бегала по лавкам и радовалась, когда что-либо изобретала или находила.

Теперь в эту зиму эти запасы были основой нашего существования, и месяц за месяцем мы вскрывали коробку за коробкой с бесценным содержимым, с Сашкиными деликатесами.

Мамино душевное состоянье ухудшалось. Суровые испытания делали ее нервной и ожесточали ее душу. Как ребенок, она считала виновной во многом меня и совершенно не хотела понимать причинности вещей.

У нас было 3° ниже нуля, минуты вставанья были мучительны, т<ак> к<ак> мы на ночь раздевались, боясь завшиветь, как все в городе.

Мы невыразимо страдали от замерзших рук. О, эта колкая, острая, нестерпимая боль пальцев! Слезы подступали к глазам, кричали на крик. Мы поминутно отогревали руки на чайнике, кастрюле. С

утра до вечера шла борьба с этой болью замерзающих рук и ног.

Мы любили сидеть у печки. Это называлось «миг вожделенный настал». Спускался вечер, страдания дня кончались. Мы садились у печки и наслаждались теплом. Уют, горящие дрова, покой.

И вдруг—завыванье сирены, жалобный, протяжный—мучительно плачущий вой... Потом свист, взрыв, сотрясение, баханье зениток. Мы замерли, ждем: взорвет нас сейчас или нет? С нами ли сейчас стряется страшное или с другим кем-то? На кого пал жребий.

Молчало радио. В этой мертвой тишине, охватившей даже большевистскую агитацию, заключалось что-то страшное. Отпал весь окружающий мир. Было жутко ничего не знать, что делалось на свете, в стране, в городе, за границей. Люди, в острейший период бедствий, были искусственно разобщены и не могли ни подать руку, ни крикнуть «спасите».<...>

Началась эвакуация университета. Пошли бесконечные мучительные колебания, бессонные ночи, тысячи изменчивых решений, советы. Одни говорили—ехать, бежать, идти пешком из этого города смерти. Другие ухмылялись—уезжать теперь, когда столько пережито, в новые условия голода? Мы с мамой ночи не спали, говорили и говорили все на ту же тему.

Мои ноги уже почти не выпрямлялись. С каждым днем мне становилось все хуже и хуже. Мучительны были боли по утрам, когда ноги должны были стать и держать тело. О, эти страшные утра и дни, которые начинались судорогой в икрах, ужасной болью сведенных, искривленных, волком сердитым сжавшихся мышц!

И наконец, утром 24 февраля я не могла от боли ни стать, ни прыгать, ни передвигаться по комнате. Тело дрожало в ознобе, руки немели и теряли чувствительность.

Это было начало моей долгой, двухмесячной болезни. <...>

Оказалось, заболел уже весь город. Единственное лечение—разновидности витамина С и согревающие компрессы.

Все лето и осень, под разрывы артиллерийских снарядов, под канонады и свист бомб я продолжала работать. Сперва я писала «Гомеровские сравнения». К зиме закончив «Сравнения», я стала искать работы, которая не требовала бы книг и литературы. Я стала записывать свои лекции по теории фольклора. <...>

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Чистополь, 18.III.1942
<в Ленинграде 6.VI.1942>

Дорогая Оля, у меня дрожат руки в то время, как я вывожу твое имя. Тут ли вы с тетей и живы ли? Как я надеялся, что вы вырветесь в Ташкент к Жене, как вас там ждали!! Если бы ты с тетей Асей были вне Ленинграда, я думаю, я бы об этом узнал, мы бы друг друга разыскали. Безотлагательно дай мне весть о себе сюда, тогда спишемся подробнее о том, что делать дальше. Шура с семьей остался в Москве. Я, может быть, поеду туда по делам через месяц. Поторопись ответить мне и подумай, не выехать ли вам? О папе и сестрах ничего не знаю. Леня при Зине, она служит в детском доме. Пиши скорее. Целую.

Боря.

Что и как Машура?

ФРЕЙДЕНБЕРГ—ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 26.VI.1942
<в Чистополе, 18.VII.1942>

Дорогой Боря! Посылаю тебе открытку с оказией. Мне трудно тебе писать. Можешь ли ты себе представить, чтоб Данте (пока Вергилий завтракает) присел черкнуть письмецо? Что тебе сказать, чтоб не теребить твоих нервов? Ничего. Или вот. Я решительно не знала, как понимать твое восьмимесячное молчание. Телеграфировала Жене в Ташкент, но ответа не получила. Наконец, событие: в июне пришло твое письмо от 25 марта, и наконец адрес. Что Шура в Москве, я не полагала. К Новому году обменялась приветствием с Лидочкой¹; все здоровы. В феврале получила от нее телеграмму с тревогой о тебе и Шуре; ответила ей, бедняге, только через три месяца (лежала в цинге), и тогда за двумя сортами фамилий полетели благодарности и благословения,—я, конечно, сообщала наугад, что вы здоровы, но трудно сноситься. Тебе на открытку я ответила срочной телеграммой. Пока ответа нет, хотя подходит двухнедельный срок. «Остальное —

¹ Лидия Леонидовна Пастернак-Слейтер вместе с сестрой и отцом жила в Оксфорде.

молчанье». Моя кафедра со службой в Саратове, где меня требуют, и условия хорошие, но я боюсь тащить ветхую маму в 82 года. Долго ли проживем, не знаю. Сердечно целуем тебя, Зину и Ленечку.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Чистополь, 18.VII.1942
<в Ленинграде 3.VIII.1942>

Дорогая Оля! Сейчас твоя открытка попала в такую обстановку, что я, не тратя ни минуты, отвечу тебе. Воскресенье, семь часов утра, день выходной. Это значит, что с вечера у меня Зина, а в десять часов утра придет Ленечка. Остальную неделю они оба в детдоме, где Зина за сестру-хозяйку. Свежее дождливое утро, на мое счастье, потому что иначе по глубине континентальности была бы африканская жара, а я не сплю в сильное солнце. Я встал в шесть часов утра, потому что в колонке нашего района, откуда я ношу воду, часто портятся трубы, и, кроме того, ее дают два раза в день в определенные часы. Надо ловить момент. Сквозь сон я услышал звяканье ведер, которым наполнилась улица. Тут у каждой хозяйки по коромыслу, ими полон город.

Одно окно у меня на дорогу, за которою большой сад, называемый «Парком культуры и отдыха», а другое в поросший ромашками двор нарсуда, куда часто партиями водят изможденных заключенных, эвакуированных в здешнюю тюрьму из других городов, и где голосят на крик, когда судят кого-нибудь из местных.

Дорога покрыта толстым слоем черной грязи, выпирающей из-под бульжной мостовой. Здесь редкостная чудотворная почва, чернозем такого качества, что кажется смешанным с угольной пылью, и если бы такую землю трудолюбивому, дисциплинированному населению, которое бы знало, что оно может, чего оно хочет и чего вправе требовать, любые социальные и экономические задачи были бы разрешены, и в этой Новой Бургундии расцвело бы искусство типа Рабле или Гофманского «Щелкунчика». В окно я увидел почтальоншу, поднимающуюся на крыльцо нарсуда, и узнал, что она бросила к нам в ящик открытку.

Я без всякого препятствия взялся сейчас за письмо вследствие раннего часа, тишины и живописности кругом. Телеграмма от тебя была для меня понятным

потрясением, я плакал от счастья. Но я, наверное, долго бы не мог преодолеть робости и удивленья перед мерой перенесенного вами и еще переносимого, и долго бы не мог написать тебе, потому что никакие восклицанья не казались бы мне достаточными для их выраженья.

Когда я сюда приехал в конце октября, я почему-то надеялся, что вы попадете к Жене в Ташкент. Я ее о вас запрашивал. Но дело в том, что и от самой Жени я не имел ни слова первые четыре месяца, и письма оттуда пошли только с конца января. Мне помнится, что я тебе писал перед отъездом из Москвы или вскоре по приезде в Чистополь, и мне казалось, что Зинин адрес (Чистополь, детдом Литфонда) тебе известен. Главное же, я в глубине души так же, вероятно, не допускал мысли, что вы в Ленинграде, как тебе не верилось, что Шура остался в Москве. Наконец, последнее: только в марте я узнал на практике, что из отрезанного Ленинграда и туда бывает почта, что в природе это имеется. Но даже и тогда мне казалось дерзостью покушаться писать на ваш обыкновенный адрес, суеверный страх того, что ваша квартира опустеет от одной смелости допущенья, будто в ней постарому может быть кто-нибудь, чтобы отпирать почтальону. И я наводил о вас справки через С. Спасского¹ и, с помощью ленинградца Шкапского², живущего здесь, собирался запрашивать о тебе Ленинградский университет. Только случайно естественнейшая мысль пришла мне в голову. Дай-ка напишу я им все-таки простую открытку.

Вот, в конце концов, и все. Продолжается хорошо тебе известная жизнь с видоизмененьями, какие внесла в нее война. Пока я был в Москве, я с большой охотой и интересом разделял все новое, что сопряжено было с налетами и приближеньем фронта. Я очень многое видел и перенес. Для размышлений, наблюдений и проявления себя в слове и на деле это был непочатый край. Я пробовал выражать себя в разных направлениях, но всякий раз с тою долей (может быть, воображаемой и ошибочной) правды и дельности, которую считаю для себя обязательной, и почти ни одна из этих попыток не имела приложения. Между тем надо жить.

Сюда я привез с собой чувство предвиденности и знакомости всего случившегося и личную ноту недо-

¹ Сергей Дмитриевич Спасский — ленинградский поэт, близкий друг Пастернака.

² Шкапский Г. О. — инженер, был в эвакуации в Чистополе.

вольства собой и раздраженного недоумения. Пришлось опять вернуться к вечным переводам. Зимой я провел с пользой и приготовил для Гослитиздата избранного Словацкого, а для Комитета по делам искусств перевел Ромео и Джульетту. Теперь я свободен. Для возвращения в Москву требуется правительственный вызов. Их дают неохотно. Месяц тому назад я просил, чтобы мне его выхлопотали.

Пройдет, наверное, еще месяц, пока я его получу. Тогда я поеду в Москву из целого множества естественных чувств, и между прочим любопытства. Пока же я свободен, и торопливо пишу, переписываю и уничтожаю современную пьесу в прозе, которую пишу исключительно для себя из чистой любви к искусству¹.

Что-то не выходит у меня письмо к тебе и, чувствую я (такие ощущения никогда не обманывают), читаешь ты его с холодом и отчуждением. Все мои тут и в Ташкенте здоровы, но, конечно, одна кожа да кости, феноменально похудели. Хорошо еще, что тут хлеба досыта, но это почти и все. Зинин старший мальчик (с костным туберкулезом) в санатории на Урале, она его не видела около года, собирается к нему. Леня, которому я сегодня сказал, что получил от тебя открытку, помнит тебя по прошлогодним рассказам. Крепко обнимаю тебя и тетю Асю. Что же ты думаешь все-таки делать?

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 7.VIII.1942
<в Чистополе 24.VIII.1942>

Дорогой Боря! Как я счастлива, что наконец обрела тебя! Не делай больше таких пауз. Если б ты ответил мне сразу на телеграмму! А я телеграфировала Шуре, разыскивая тебя, но ответа и от него не получила. Твое письмо пришло быстро, в две недели. Ты пишешь, что оно вызовет во мне холод и отчуждение, что оно тебе не дается. Мне стало печально от него, пусто, но не за себя, а за тебя. Ты не все мог и хотел написать. Но форма (чушь, не форма в литературном значении)

¹ Рукопись переводов из польского поэта Ю. Словацкого была отослана в издательство весной 1942 г., печатание было отложено, рукопись потеряна. Работа над «Ромео и Джульеттой» была начата до войны, окончена в феврале 1942 г. В августе 1941 г. Пастернак подписал заявку на пьесу «На этом свете», осенью 1942 г. прервал работу над ней.

умолченного и сказанного так легко придвинула меня к тебе, как внутренний бинокль. Это ли жизнь для тебя, когда тебе ничего не надо, кроме самовыраженья, а его-то надо занафталинить до будущего сезона,— и тяжело, и страшно; есть ли еще внутренние силы— страшно, что скоро засохнут без движенья; молчанье ли—страшно, что это конец. Но нет, глупости! Ты сам себе не представляешь, как душа живуча, как гибель трудна, всякая гибель,—погибнуть не легче, чем спастись: и тут нужна доля, нужна участь—и чтоб погибнуть, своего рода удача. Сильна, сильна кровь! Ты—донор. Полежишь на кушетке, иссякший—и к вечеру восстановишься. Я—не пример, когда речь идет о силах, тебе дарованных. Но и мне была страшна не соматическая гибель; казалось, душа изменится. Так нет! Одна страница настоящего искусства, две-три строчки большой научной мысли: и жив курилка! Поднимается опять страсть и пеплом пылится отвратительная псевдореальность, и мираж как раз она, и она будет ли жить и кровообращаться, вот вопрос. Мое несчастье,—одно из сильнейших,—в оптимизме, конечно; он меня, в конце концов, погубит; это не теоретическая предвзятость идеи, а чересчур громкое жизнеощущенье. Однако, и без оптимизма—правда ведь, что смеется тот, кто смеется последний, и мы еще не на свалке; и благодетелен этот снежный покров, под которым вызревает плод. Хаос: недаром все народы начинали с него, а не с черта, борьбу света. Повидимому, мы приступаем к зачатию. Ты увидишь, мы родимся,—посмотри, сколько его, как он распространяется. Только бы сохранить душу.

Боже, я совсем не это хотела писать. Дорога каждая строчка, а я измарала уже половину письма.

Я была разочарована, что ты не откликнулся на весть об оксфордцах. Я так из кожи лезла, чтоб втиснуть в депешу. Видишь ли, под Новый год я послала им поздравленье, на которое моментально пришел ответ. Вдруг в феврале запрос Лидочки о вас, полный ужасной тревоги. И на него-то (пойми!) я три месяца не отвечала. О, что это были за три месяца!.. Выбрав день, когда ноги могли передвигаться и еще не начался обстрел из тяжелых орудий, я пошкандыбала на Главный Телеграф. Я сообщала, что могла: что вы все здоровы, что сообщаться трудно, что ты в Ташкенте (как я считала). Через день пришли благодаренья, благословенья, счастливые слезы...

Наш город чист, как никогда ни один в истории. Он абсолютно свят. Он пастеризован. И я прохожу воен-

ное дело без отрыва от производства. Умею отличать, сидя у себя в комнате, 12-ти дюймовое от 8-ми дюймового орудия; знаю, как строить гаубицы и пулеметные гнезда; зенитные снаряды не спутаю с минометами, береговую артиллерию с полевой. Я различаю пике наших бомбардировщиков от змеиношипящих немецких, и больше не смешиваю вражеский налет с воздушными (немецкими) разведчиками. Мало того: когда свистят снаряды и колышется дом, я знаю по звукам разрывов и раскатов, наши ли это или вражеские приступы. В остальном прочем—но мы свыклись с фронтом и давно забыли о тыле. Я его стала бояться. Мне страшно туда уехать, как в страшилище, сутолоку и давку. Мы разучились ласке и улыбкам. Мы отвыкли от людей и быта, от рынка и от меню, от того, что планируется и разыгрывается в четыре руки. Если квартал имеет воду и кран на улице, мы выходим стирать или мыть посуду на угол такого-то и такой-то; мы читаем Котошихина и Олеария¹, наклоняясь над рвом во чреве мостовой и шайками, чайниками, кастрюлями черпая воду,—шум, крики, сани с кадками, скользкий лед, в платках и одеялах пестрая, густая женская толпа; но это март, февраль; вольготно, легко выходить летом с чашкой мокрого белья и полоскать его на тротуаре. Мы питаемся дикими травами и подножным кормом; мы делаем огонь и тепло, и добываем, согрев мемуарами и полом, и проза оказывается горячей стихов, на истории вскипает чайник; прекрасным полом выходит паркет. «Завтра» нет для нас. Я спросила, когда придет телеграмма. «Я не знаю, что будет с вами и мной через 10 минут»,—ответила телеграфистка. Это все не быт, конечно, а вереница суровых дней и дел, футуристическая композиция, которая для обывательского глаза представляется грудой падающих и пересекающихся нелепостей в квадрате и квадратов в нелепости: это новое воспроизведение пространства и невиданный аспект времени, с каузальностью, которая не снилась ни Гегелю, ни твоему доброму, старому марбуржцу².

Кстати, я забывала тебе сказать,—пока до темы смерти письма не доходили. В мировой литературе—конкурс описаний смерти. Толстой и Мопассан очень

¹ Котошихин Г. К. (ок. 1630—1667) оставил описание жизни и нравов в России XVII в., которое должно было служить шведам в сношениях с русскими. Олеарий Адам (1603—1671)—немецкий путешественник, описавший Московию своего времени.

² Имеется в виду Герман Коген.

сильны; они переворачивали мне душу. Но мощный удар в сердце, по-настоящему, я ощутила над Охранной грамотой, где ты даешь смерть Когена. Это потрясающе по адекватности, ибо по простоте констатации нуля. С величайшим тактом и глубиной ты исчерпываешь описание смерти тем, что показываешь пустое зеркало. Ты все наполняешь Когеном и навертываешь Марбург до сгустка, не упоминая того, кому он однозначен. И вот в самом конце: а где же Коген? Его нет. Он умер.

У меня нет цитаты, но я помню впечатление. Шекспир пытался в «Лире» дать это нулевое качество, когда на зеркале нет дыхания Корделии. Чистое у рта зеркало! Вот образ смерти. Он художественен метафоричностью, у тебя же и метафоры нет, а показано «ничего». Коген просто не упомянут. Где же он? Его нет. Я не помню, говоришь ли ты даже, что он умер.—Милый друг, с какой охотой и радостью я с тобой говорю. В городе осталась одна Лившиц, ибо врач; живет с мужем, почти помешанным,—таких очень много, и к этому есть простая кантовская каузальность. Я делала много попыток уйти от детских уз. Теперь в Лившиц много открылось мудрости, хорошей, настоящей. Она героически еженедельно навещает нас, и это большие дни. Как Сади некогда сказал, нет ни друга у меня ни одного, ни знакомого,—Боря, Боря... Я строила жизнь для Саши; как каменщик, складывала песок и консервы, банки с жиром, чемоданы с арктической одеждой, даже открытки и марки. Вот почему мы живы и я могу посылать открытые и закрытые письма. Второй год осады города! Вот как мы уцелели в декабре—феврале. Потом мучительнейший скорбунт¹, крики мои и стоны от ног, сведенных в конвульсиях. Я лежала февраль, март. Бедная мама! Ты представляешь? Отморозить ноги и руки в комнате, где мы спали при трех градусах мороза и вода обращалась в лед. Нервы ее очень исчахли. Она меня замучала. И наша физическая структура! И ее старость! И эта больная боль друг за друга. И ее непреклонная душа, без скидок на жизнь, без уступок на человека!

Только 12 июля мы наконец уехали. Мое учреждение в Саратове. Там комната в центральной гостинице, хороший свой стол с особым пайком, работа, жизнь, жалованье. Они уехали зимой, в лютые морозы, когда я лежала. Меня звали, ждали, понуждали. Я не

¹ Цинга.

решалась из-за мамы. И разоренье. И мир книг! И комната с детских дней! И всякие иррациональные вещи. Наконец, уехали 12 июля после большой физической и душевной укладки. Судьба послала мне крупного оборонного человека, отправлявшего нас на машинах, с военной помощью¹. И вот эпилог. Уже на первом этапе путешествия я свалилась; мама держалась молодцом, и в ней проснулась светская женщина. Пришлось пресечь путешествие и вернуть меня обратно, на предмет леченья. Тот же военный подобрал нас в чистом поле (а я уже мечтала о Чистополе) и доставил лично. Распечатали двери... свалили груды тюков... и так и живем, не зная, как быть, что же делать. Тут свалилась с температурой сорок и мама, но скоро ожила, хотя и медленно. События сгрудились. Военный уехал. В Саратов далеко, опасно. Зимовать здесь вторично пагуба. Вот и сидим.

Я не люблю Римского-Корсакова. Он слишком академичен и чересчур музыкально прав. Я написала бы к его «Китежу» новое либретто. Я сделала бы из него пастеризованный город, без единой бациллы жизни; там нет ни беременных женщин, ни детских голосов. Это была бы колба, из которой выкачали воздух,—нет, время. Будущее его! А настоящее? Там вечно ждут футурности, а настоящее футуристично.

На этом обнимаю тебя и твоих. Целую Зину, Ленечку, дорогого тебя. Предполагай, что я тут, и пиши при всех обстоятельствах сюда.—Так рука попадает в щель, как наша жизнь в эти попала дни. Будем ли живы?—Я работала, хоть урывками, все время,—писала, ради «чистой души». И как хочется! Но нет ни сил, ни возможности: все упаковано.

Обнимаю! Твоя Оля.

В доме ничего нет. Мы, бледные, истощенные, умученные, пьем воду с крохами хлеба. Но и самовар нечем подогреть. Я сижу у себя за столом, но работать не могу из-за анемии мозга. Передо мной листики, исписанные моей рукой, с моими «Лекциями по теории фольклора», но голова не варит. Завтра еще более страшный день, даже без пустого супа.

Я бегала в поисках работы, т<ак> к<ак> паек первой категории теперь выдавался только служа-

¹ Отец студентки Фрейденберг, Н. А. Чистяковой (ныне она профессор ЛГУ), отправлял дочь в Саратов и, поручая ее опеке профессора, помог Фрейденбергам добраться до вокзала—Анна Осиповна уже давно не выходила из дому.

щим. Меня рекомендовали для работы в Архиве. Я не смела отказываться. С конца июля начались мои визиты в здание Сената, где располагались архивы, где меня ласково встречали, но не могли придумать формы, в которой протекала бы моя работа. Тогда мне предложили тему о героизме ленинградских женщин. Мне понравилась мысль показать, как работали в осажденном городе деятельницы духовных профессий.

Знакомство с ленинградскими героинями было мало интересно. Меня больше занимали маленькие люди. С двумя женщинами мое знакомство оказалось прочно. Одна из них была Мария Вениаминовна Юдина. Я ее знала давно, когда к ней ходили Доватур и Егунов¹, почти студенты, и таскали для нее античные книги из нашего кабинета. Потом я узнала, что она приятельница Бори и Жени. Давно я хотела с ней познакомиться.

Профессор нашей консерватории, она была изгнана за открыто исповедовавшуюся религиозность, и теперь приезжала из Москвы на концерты. Ее героизм был подлинным. Нужно было иметь высокий стойкий дух, чтоб добровольно жить в нашем страшном городе, выносить смертельные обстрелы и в крошечной тьме возвращаться черными вечерами на седьмой этаж Астории. Юдина очаровала маму, которая сразу почувствовала к ней какую-то семейную любовь и близость.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 5.XI.1943

Дорогие тетя Ася и Оля!

На днях Юдина нашла и вновь подарила мне вас. В прошлом году я послал вам несколько писем и телеграмм, оставшихся без ответа. Из последнего твоего письма, Олюшка, я знал, что вы двинулись было из Ленинграда и опять туда вернулись. Больше известий от вас не поступало, и запросы оставались без ответа. Но не я один был в отношении вас в таком положении. Факт близкого нашего родства очевидно широко известен, что доставляет мне всегда живейшую радость. В прошлом году, когда как раз я терзался неведением о

¹ Филологи-классики, историки античной литературы.

вас, в одном издательстве ко мне подошла незнакомая и очень милая молодая женщина, сказавшая мне, что она твоя ученица по фамилии, кажется, Полякова, и что после твоего несостоявшегося выезда из Ленинграда она потеряла твой след¹. Вскоре с теми же сожалениями ко мне обратился проф. Б. В. Казанский. В последней открытке, которую я тебе написал, я упоминал тебе с радостью, как тебя знают и любят. В результате вашего молчания я пришел к нескольким допущеньям, из которых самым легким было предположение, что вы все-таки выбрались в какую-нибудь сибирскую глушь. Я был уверен, что вас в Ленинграде нет, а вашего дома (раз письма не находят вас) и подавно: что его снесло снарядам. Розыски вас я приостановил в конце декабря. Нынешним летом Казанский посоветовал мне написать в Центроэвак в Бугуруслан, и я этого не сделал только потому, что были едущие в Ленинград, и я надеялся запросить через них университет. Вы для меня были настолько потеряны, что мне трудно даже было скрывать это в телеграммах от папы.

В конце декабря я опять уехал от холодов к Зине и Леничке в Чистополь на елку; ведь он родился как раз в новогоднюю ночь. Я очень полюбил это звероподобное пошехонье, где я без отвращения чистил нужники и вращался среди детей природы на почти что волчьей или медвежьей грани. Все-таки, элементарные вещи, как хлеб, вода и топливо, были как-то достижимы там, не то что в многоэтажных московских ребусах, в которых зимами останавливаются все токи, как кровь в жилах, и которые в меня вселяют мистический ужас. Я там опять прожил несколько месяцев и перевел «Антония и Клеопатру». Их печатают, а «Ромео и Джульетту», мою прошлогоднюю работу, я, может быть, пришлю тебе до Рождества. Когда я летом прошлого (42-го года) приехал в Москву, я столкнулся с полным нашим разореньем, из которого потрясла меня только почти полная гибель папиных эскизов и набросков, а частью и законченных вещей, которые у меня имелись. Я уезжал среди паники и хаоса октябрьской эвакуации. Мы с Шурой ходили в Третьяковскую галерею с просьбой принять на хранение отцовские папки. Нику-

¹ Софья Викторовна Полякова училась на романском отделении, но, услышав однажды доклад Фрейденберг, сдала за год древние языки за два курса, стала античником и «главной» ученицей О. М.; впоследствии — известный византист и переводчик. В начале 50-х произошел разрыв Фрейденберг и Шуляковой, после которого Фрейденберг изменила завещание. Первоначально архив должен был перейти любимой ученице.

да ничего не принимали, кроме Толстовского музея, который далеко и куда не было ни тележек, ни машин.

У нас на городской квартире (восьмой и девятый этаж) поселились зенитчики. Они превратили верхний, не занятый ими этаж в проходной двор с настееж стоявшими дверями. Можешь себе представить, в каком виде я все там нашел в те единственные 5—10 минут, что я там побывал. В Переделкине стояли наши части. Наши вещи вынесли в дом Всеволода Иванова, в том числе большой сундук со множеством папиных масляных этюдов, и вскоре ивановская дача сгорела до основания. Эта главная рана была для меня так болезненна, что я махнул рукой на какие бы то ни было следы собственного пристанища, раз пропало главное, что меня связывало с воспоминаньями. Я не мог заставить себя пойти на свою городскую квартиру еще раз и прожил осень и половину прошлой зимы, не побывав ни разу в Переделкине, где прожил лучшее время с Леничкой, которое любил и где сосредоточенно и в тишине работал, хотя знал, что там живет Ленкина няня и что туда надо было бы съездить. Всю зиму (до Чистополя) я кочевал, некоторое время жил у Шуры, а больше у больших своих друзей профессора В. Ф. Асмуса и его жены, где зажился и сейчас и откуда сейчас пишу тебе. В июле я привез в это разоренье Зину с ее сыном Стасиком и Леничкой. За старшим, Адрианом, с ампутированной ногой (костный туберкулез), она недавно со страшным трудом ездила в Свердловск и привезла полуумирающим. Он под Москвой в санатории. Страшных трудов стоило выселить из квартиры зенитчиков. Это удалось только на прошлой неделе. Зина героически перебралась в этот неотопленный пустырь постепенно обживать его. Ее другой сын, Стасик—живет у знакомых близ Курского вокзала, она в Лаврушинском, я у Асмусов близ Киевского, Леничка со своей прежней няней, странной, чтобы не сказать больше, женщиной, не чающей в нем души, живет у ней на кухне нашего пустого дома в Переделкине. Я надеюсь, что холода, в конце концов, всех нас туда загонят. Когда Леня тихо подходит к моему столу во время моей работы, чтобы посмотреть, как это мне помешает (как теребят корочку на губе), это на меня действует как присутствие музыки. В конце концов он самое крепкое, что связывает меня с жизнью. Кроме того, зима в лесу, что может быть проще в смысле разрешения дровяной проблемы. Если мы там очутимся, я примусь за «Лира». Мне заказали «избранного

Шекспира»; Лира, Макбета или Бурю, и две хроники, Ричарда II и Генриха IV.

Нам сейчас очень трудно, ни угла, ни обстановки, жизнь приходится начинать сначала. В сентябре я был на Брянском фронте. Мне было очень хорошо с военными (армия была все время в передвижении), я там отдохнул. Когда позволят обстоятельства, я опять туда поеду. Посылаю тебе книжечку, слишком тощую, очень запоздалую и чересчур ничтожную, чтобы можно было о ней говорить. В ней есть только несколько здоровых страниц, написанных по-настоящему. Это цикл начала 1941 г. «Переделкино» (в конце книги). Это образец того, как стал бы я теперь писать вообще, если бы мог заниматься свободной оригинальной работой. Это было перед самой войной. Ты догадываешься по почерку и стилю, что пишу я страшно второпях. Я очень много работаю эти недели (жизнь у Асмусов в этом отношении очень благоприятна: он мне уступил свой кабинет, я им только что много о вас рассказывал. Она — Ирина Сергеевна Асмус, моя приятельница, в ней есть какие-то тети Асины черточки). Я очень много работаю. Мне хочется пролезть в газеты. Я поздно хватился, но мне хочется обеспечить Зине и Леничке «положенье». Зина страшно состарилась и худа, как щепка. Приехала из Ташкента Женя с Женечкой. Он учится в Академии танкостроения, лейтенант (20 лет), на втором курсе, на хорошем счету, любим товарищами. Я пишу, перевожу, сочиняю поэму на современную тему с войной и буду ее печатать в «Знамени» и «Правде»¹. Папа и сестры с Федей и семьями живы и благополучны.

Без конца целую и обнимаю вас.

Ваш Боря.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

*<Надпись на книге «На ранних поездах»
М., Советский писатель, 1943 г.>*

Новообретенным тете Асе и Оле в знак обожанья с просьбой извинить эти запоздалые пустяки и не судить за их ничтожность.

Боря.
2.XI.43

¹ Поэма «Зарево» писалась в октябре 1943 г., вступление опубликовано в «Правде», первая глава была отвергнута, работа оборвана.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 6. XI. 1943
<в Ленинграде 14. II. 1943>

Дорогие тетя Ася и Оля! Знаете ли Вы, что я прошлой осенью безуспешно справлялся о вашем местопребывании, после того что несколько моих писем к вам осталось без ответа? Сейчас пишу эту открытку для проверки. Я вам отправляю два заказных и телеграмму. Авось что-нибудь дойдет. Сообщения Юдиной были для меня непередаваемым счастьем. Я вас уже не чаял в живых. Все,—папа и сестры, Женя и Женек и все мои живы и здоровы,—подробности в большом письме.

Извести меня как-нибудь, Оля, о вашем здоровье, хотя Юдина много мне рассказала и меня успокоила.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

<Телеграмма срочная 8. II. 43>

НЕ ПОЛУЧАЛ ОТВЕТОВ. РАДУЮСЬ СВЕДЕНИЯМ ЮДИНОЙ.
ЗДОРОВЫ, ОБНИМАЕМ, ПИШИТЕ — БОРЯ.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 12. XI. 1943
<в Ленинграде 22. II. 1943>

Дорогая Олюшка! Поздравил папу и сестер с октябрьскими днями и в телеграмме сообщил о Вашем здоровье. Получил ответ: Thanks often read about you heard transmission Moscow celebration rejoice with you long live our great fatherland all well father Pasternaks Slaters¹. Мне очень трудно бороться с царящим в печати тоном. Ничего не удастся; вероятно, я опять сдамся и уйду в Шекспира. Целую тебя и тетю. Твой Боря.

¹ Благодарим часто читали о вас слушаем передачи из Москвы поздравляем радуемся вместе с вами, желаем много лет нашей великой родине все благополучны—отец, Пастернаки, Слейтеры (англ.).

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград. 18.XI.1943
<в Москве 25.XI.43>

Дорогой, родной Боря!

Спасибо за все (стихи, телеграмму, письмо). Я до 1 декабря трагически занята, не могу тебе написать. Сейчас одно: мы тебя зовем к себе перезимовать, отдохнуть, поработать в спокойствии. Ты найдешь на нашем фронте, в городе-фронте, нужный для тебя материал, какого нет нигде. Дровами я запасена, в остальном — устроимся, моя комната и наши сердца — твои. Мама рыдала, слушая твое письмо, о Зине особенно.

Мы обнимаем вас, целуем, плачем о пережитом. Привет Юдиной и Женям, Шуре с Ириной.

Твоя Оля.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 20 дек<абря> 1943

Дорогой мой Боря, рука не поднимается сообщить тебе, что в тот самый день 25 ноября (как видно по обратной расписке), когда тебе вручили наш зов на отдых и мирное житье — наша жизнь рухнула. С мамой произошел около десяти часов утра удар, с поражением правой стороны, речи и рассудка.

Через что прошла моя душа — не могу сказать. Инстинкт крови и духа подсказал мне через пятнадцать минут после катастрофы, что это несчастье, но не смерть. И с тех пор я живу напряженным, неживым счастьем, точно некромант. Только в благополучии люди могут горевать, тосковать, хандрить. В потрясающем несчастье жизнь оборачивается, как медаль, основным значеньем. Я все простила жизни за это счастье, за не заслуженный мною дар каждого дня, каждого маминого дыханья. Ей уже все это не нужно. Она сделала свой путь скорби и, по-видимому, завершила его каким-то высоким примиреньем, не бытию свойственным. Именно в это утро на ее душу, дотоле надорванную и ожесточенную блокадой быта и того, что зовется жизнью и днями — как раз она встала

успокоенная, утишенная, самоуглубленная, почти радостная.

Ужасно для моей души следовать за ее вывихами и параличом памяти и сознания. Она, подобно душе в метампсихозе, проходит круг своей былой жизни, бредет своим детством, потом своей семьей и ее заботами. А я следую за нею по страшным лабиринтам небытия. Мороз пробежал у меня сперва, члены мои тряслись, когда она спрашивала «Где мои дети?», и называла меня Ленчиком, и говорила с возмущением гордой матери, что я не Оля. Как только лопнули шлюзы сознания, реальности, так появился Сашка, и Ленчик, и мама (бабушка), и это шло в своей строгой и доброкачественной логике без бреда. И вот я привыкла переселяться в наше детство, в нашу семью, в смещение времени и сроков, и тоже без бреда, и тоже в инобытие.

Уход за ней мне привычен — это героика вытаскивания из-под страшной гольбейновской косы. Черчилля сейчас кормят не лучше, чем ее. Я неотлучно берегу ее днем и ночью, одна.

Сначала руки опускались у меня перед ее бассейнами в постели. Теперь и это нашло свою встречу в своеобразной технике и в создавшемся прецеденте. Меня ласкают ее запахи тем больше, чем они матерьяльней, и все то теплое, физиологическое, что телесно из нее излучается и дает себя прощупать, подобно самой природе или доказательству.

Сколько времени продлится мое счастье? Тьфу, тьфу, тьфу, но страстной волей некроманта я гипнотизирую, пока что, события, и мама медленно поправляется. Жив Господь! Зачем пытаться жизнь? Она может быть и великодушной.

На столе остались ее книги, очки на них: Шекспир, раскрытые страницы Электры. Едва придя в себя, косноязычно она рассказала мне остроту Лукулла, переданную Плутархом.

Около меня «Смерть Тентажиля»¹ выплывает, далеким вспоминается. Если б ты знал, как мама любила тебя! Ее последние слезы и состраданье — о Зине.

Обнимаю тебя, плачу. Оля.

¹ Пьеса М. Метерлинка.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

<Телеграмма 12.1.44>

УБИТ ИЗВЕСТИЕМ ДУШОЙ С ТОБОЮ НАДЕЙСЯ. С ШУРИНОЙ ТЕЩЕЙ БЫЛО ПОЛГОДА ТО ЖЕ САМОЕ, ВЫЗДОРОВЕЛА. ОБНИМАЮ ЦЕЛУЮ — БОРЯ.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 10.1.1944

Дорогой мой Боря, сердечное спасибо за телеграмму и участие, которое в такие дни особенно утишает душевную боль. Спасибо за надежду. Мама поправляется, но парализована и часто безумна. Я — подобно богине, вымолившей бессмертие своему земному возлюбленному, но забывшей попросить и преодоление старости; так и остался он при ней, но дряхлый, перегруженный днями.

Получила телеграмму от Поляковой. Это моя ученица, настоящая, наследница. Я не знаю ее адреса. Борису Васильевичу Казанскому, моему старому приятелю, большой привет. Я по неделям не выхожу, некому бросить открытки.

Обнимаю тебя и твоих. Оля.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 12.1.1944

Дорогой Боря, спасибо за «Переделкино» (и «Художника»). Мои сейчас обстоятельства — лучший эксперт по установлению подлинности искусства. Я ожила, читая тебя. Бесконечно горжусь твоей творческой «несгибаемостью», зная ей цену, чего стоит и за что идет. Сложность твоей простоты напоминает мне дорогие материи, — чем, бывало, проще, тем дороже. Это настоящее, большое, вечное.

Мама успешно квалифицируется на калеку, — я хочу сказать, поправляется. Сознание правильное, но слова забыты. Например: «Ленчик давно нашел Гезиода» значит: «Дай мне салола». Мы обе несчастны.

Обнимаю тебя.

Твоя Оля.

Пишу ночью. Уход очень трудный—да еще зима, морозы.

А мама приходила в себя и поправлялась. Она уже говорила, хотя вначале шепотом, потом вернулся и голос. Потом рядом с бредом стало появляться ясное логическое сознание. Светлой, мудрой, прежней воскресала мама. Уже и лицо стало прежнее, одухотворенное, мягкое, прекрасное. О, сколько любви, сколько материнской ласки давала мне мама. Как будто она возвращала мне свой долг за дни осады и давала силы на многие дни одиночества впереди.

И преисподняя забывалась. Раны исцелялись.

В начале января у мамы появились боли в животе.

Одновременно обстрелы стали особенно невыносимы. 17 января после полудня залпы стали ужасны. Я увидела, что очередь доходит до нас.

Я села на кровать к маме. Страшный гром и разрыв. Посмотрела на часы, следя за интервалами. Вдруг снова гром, потрясающий, уже без разрыва. Рядом! Гром—землетрясение. В нас. Оглядываюсь, что происходит: одновременно с моим взглядом падают все стекла разом. И январская улица врывается в комнату.

Во мне рождаются сверхъестественные силы. Я хватаю шубу, укутываю мать, тещу тяжелую кровать в коридор, вдвигаю мамину кровать к себе в комнату. Там одно окно цело, другое затыкаю тряпками.

Все живой человек переживает. Время движется. Это был последний обстрел Ленинграда. <...>

С марта месяца пошло явное ухудшение. У мамы пропал аппетит. <...>

6 апреля, после ночных мучений, она засыпала и просыпалась. Четверо суток мама спит. Я ничем не занимаюсь. Я жду, когда прервется ее жизнь. Сажу на стуле. Но страшно дышит мученица. Одно у нее осталось недоделанное дело на земле: дышать.

Мама дышала то громко, то неслышно. Но вдруг меня ударила совсем особая значимая тишина. Я упала на колени и так долго стояла. Я благодарила ее за долгие годы верности, любви, терпенья, за все совместно пережитое, за 54 года нашего содружества, за дыханье, которое она мне дала.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 14.IV.1944

Дорогой Боря,

я осталась одна. Как-нибудь наберусь сил написать тебе, но не знаю когда. Живу одна в большой пустой квартире. Если б ты мог достать командировку! Ты отдохнул бы и поработал у меня.

Пережито ужасное. Мама нечеловечески страдала четыре с половиной месяца, но заснула 6-го и спала до 9-го, когда в девять часов вечера ее дыхание оборвалось.

Ко мне не доходили письма (четвертый этаж!), а на имя дворничихи уже доходят. Живу я там же (если, когда захочешь телеграфировать, то на старый мой адрес).

Обнимаю тебя.

Твоя Оля.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

<Телеграмма 5.V.44>

БЕДНАЯ ОЛЯ РАЗДЕЛЯЮ ТВОЕ ГОРЕ И ОДИНОЧЕСТВО. ОПЛАКИВАЮ ДОРОГУЮ ТЕТЮ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ. БОРЯ.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 12.VI.1944

Дорогая моя Оля, не удивляйся, что я не пишу тебе! Ужасно много кругом дел, народу, забот, чепухи, помех и трудностей. Между тем надо и поработать, и немного поболеть и пр<очее>. Зина сбилась с ног, она и в городе и на огороде: месяц уже как не видал Ленички,—я в городе; деньги, деньги. Окольным путем вдруг узнаешь что-ниб<удь> о тебе. Так из Новосибирска (!) привезли слух, будто в квартиру еще при тете попал снаряд. Этим объяснил я себе сообщенье через дворничиху.

Воображаю, как тебе пусто и одиноко, бедная моя! И опять у вас война началась: вчера салютовали Териокам. Крепко тебя целую, твой Боря.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 16.VI.1944

Дорогая Оля! Я не написал главного. Приезжай к нам! Будем жить на даче по-бивуачному. Без обстановки, но с огородом. Окучивать картошку, полоть грядки, сводить червяка с капусты. При тебе Ленька будет не таким дураком. Ей-Богу, подумай. Сам-то я пока в городе, но это несущественно, и потом в июле я, наверное, перееду. А ты отдохнешь. Напиши мне, что ты делаешь? А я перевожу против воли Отелло, которого никогда не любил. Шекспиром я занимаюсь уже полубессознательно. Он мне кажется членом былой семьи, времен Мясницкой и я его страшно упрячаю.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 30.VII.1944

Дорогая Оля! Как тебе не стыдно писать мне такие эпиграфы и страшные слова! Получила ли ты мою открытку, где я тебя зову пожить у нас?

Торопись, лето уже на исходе. Если ты решишь отдохнуть у нас в Переделкине, я нарочно тоже туда перееду посмотреть на тебя на нашем огороде, среди зелени, Зины, Ленички, живущих у нас Асмусов и прочих прелестей этого места. Я застрял в городе и ни разу там не был совсем не по непреодолимым каким-нибудь роковым причинам. Лето нежаркое, каждые три дня в неделю Зина бывает в городе, где навещает старшего своего сына в туберкулезном институте и стряпает нам, мне и другому своему мальчику, Стасику, пианисту, ученику Консерватории, на остальные три-четыре дня, и уезжает, с тяжестями и покупками на половину недели на дачу, поддерживать тамошнее хозяйство: ходить за созданием своих рук, огородом и пр. и пр. Так она и мечется. А у меня были дела и работы, которые удобнее было делать, не выезжая из города, я кончал перевод Отелло для одного театра, который меня подгонял и торопил. На днях, когда получу их из издательства, pošлю тебе своих «Ромео» и «Антония»¹.

¹ Перевод «Отелло» предназначался для постановки в Малом театре. «Ромео и Джульетта», «Антоний и Клеопатра» вышли отдельными книжками летом 1944 г.

Горе мое не во внешних трудностях жизни, горе в том, что я литератор, и мне есть, что сказать, у меня свои мысли, а литературы у нас нет и при данных условиях не будет и быть не может. Зимой я подписал договоры с двумя театрами на написание в будущем (которое я по своим расчетам приурочивал к нынешней осени) самостоятельной трагедии из наших дней, на военную тему¹. Я думал, обстоятельства к этому времени изменятся и станет немного свободнее. Однако, положение не меняется и можно мечтать только об одном, чтобы постановкой какого-нибудь из этих переводов добиться некоторой материальной независимости, при которой можно было бы писать, что думаешь впрок, отложив печатанье на неопределенное время.

Недавно я телеграфировал нашим о смерти тети. Меня удивляет и беспокоит, что от них нет телеграммы в ответ, обычно они отзывались скорее. Не случилось ли там чего-нибудь? Завтра я повторю запрос.

Я хотел много написать тебе, но, видимо, это обманчивая или неправильно понятая потребность. Вероятно, на самом деле, мне хочется повидать тебя, здесь рядом у нас, а часть того, что я мог бы сказать тебе, надо совершить и сделать.

Как ты живешь? Не надо ли тебе денег? Еще недавно такой вопрос в моих устах был бы чистым пустословьем. Но в ближайшие месяцы мне должно стать гораздо легче. Но все это вздор. Серьезно— соберись, приезжай.

Крепко целую тебя.

Твой Боря.

Первые месяцы после мамы я лежала лицом к стене. Потом ходила. Потом ждала кого-нибудь, сидела, опять лежала, бродила, убирала вещи. <...>

Теперь у меня много времени. Я брошена в него. Вокруг меня бескрайнее время. Я хочу его ограничить заботой, забить движеньем в пространстве, но ничто не укорачивает его. Сколько у меня ни было дел, время не сокращается. Только поздними вечерами я чувствую некоторое оживанье: сейчас кончится еще один день. Умиротворенная я ложусь и на семь часов ухожу из времени. Я вижу нашу семью, маму, всегда Сашку. Ужасны утра в постели, первое после ночи сознание. Я здесь! Опять время!

¹ Пьесу хотели ставить в Новосибирске театр «Красный факел» и в Москве Камерный театр.

Я сравнивала себя с разбомбленным домом. После ужасного напряжения вдруг падала чудовищная тяжесть, дом шатался,—и вдруг, после грохота и пыли, наступала непоправимая тишина.

Так и вокруг меня покой. Все сохранено в своих видимых формах. Полная, совершенная тишина и беспредельная освобожденность.

Это смерть. Осталось совсем немного: пройти через время. Вопрос только в нем. И оно же само доделает это прохожденье. День за днем.

Я ездила на острова, которые открылись после трех лет впервые. Там я сидела у моря целыми днями.

Несправедливость причиняла мне боль. Я ждала приезда Бори и прихода вернувшихся из эвакуации друзей.

Ко мне никто не зашел из товарищей по факультету, где я работала десять лет. Боря не приехал и писал изредка, с трудом, без тепла.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

<Телеграмма 1.X.44>

СЛЫШАЛ О РАЗРУШЕНИЯХ ТРЕВОЖУСЬ ТЕЛЕГРАФИРУЙ ЦЕЛОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, ЦЕЛУЮ. ВЕРЮ ВО ВСТРЕЧУ. БОРЯ

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

<Надпись на книге «Антоний и Клеопатра». М., ГИХЛ, 1944 г.>

Дорогой моей Оле с несчетными поцелуями

Боря
16.XI.44

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

п.

Москва, 22.I.1945

Дорогая Оля! Спасибо тебе за телеграмму. Мне не надо, чтобы ты мне писала о Шекспире! Напиши мне о себе. Как чудовищно, что ты там одна, борешься, наверное и побеждаешь, но и терпишь лишения и страдаешь, а я так глупо и бесплодно-далеко! Я как-то

по счастью справляюсь с задачами зимовки на даче, но каких это стоит трудов! Не покладая рук гоню «Генриха IV-го». Нет времени ни на что. Недавно две недели болел воспалением надкостницы как последний сапожник, некогда было в город. Леня учится. Он говорит: папа, я понимаю эту задачу, но не знаю, надо ли прибавить или отнять.

Крепко целую тебя. Твой Б.

26 июня 1945 г.

Пустая квартира. Я сижу и пишу «Паллиату». Мое лицо изменилось. Я стала одутловатой, с тенденцией к четырехугольности. Глаза уменьшаются и тускнеют. Руки давно умерли. Кости оплотнели. Пальцы толстые и плоские. На ногах подушки. От неправильного обмена веществ появляются отложения и вся фигура разбухает.

Сердце стало сухое и пустое. Оно не восприимчиво к радости. Я пишу, готовлю своих учениц — Соню Полякову и Бебу Галеркину¹, но холодно. Только одна мысль способна оживить меня — мысль о смерти. Больше ничем я по-настоящему не интересуюсь.

Я утратила чувство родства и дружбы. Друзья меня тяготят, я не вспоминаю о Боре. Это мираж далекой, перегоревшей и отшумевшей жизни. У меня почерк изменился, походка. Я слепну.

Долгий пустой сон. Я доживаю дни. У меня нет ни цели, ни желаний, ни интересов. Жизнь в моих глазах поругана и оскорблена. Я пережила все, что мне дала эпоха: нравственные пытки, истощение заживо. Я прошла через все гадкое, — довольно. Дух угас.

Он погиб не в борьбе с природой или препятствиями. Его уничтожило разочарование. Он не вынес самого ужасного, что есть на земле — человеческого унижения и ничтожества. Я видела биологию в глаза. Я жила при Сталине. Таких двух ужасов человек пережить не может.

Перенести такие мучительства возможно было только при крепкой опоре любви и родства. Я осталась одна. Мою жизнь вырвало с корнем.

¹ Берта Львовна Галеркина преподавала на кафедре классической филологии ЛГУ; от ученичества не отрекалась и после изгнания Фрейденберг: ухаживает за могилой О. М., заботится о памяти учителя.

Москва, 21.VI.1945

Дорогая Оля! 31-го мая умер папа. За месяц перед тем ему удалили катаракт с глаза, он сталправляться в лечебнице, переехал домой, но тут сердце у него сдало, и он умер в четверг три недели тому назад.

В момент кончины вокруг него были Федя и девочки, он умер, вспоминая меня,—это все из их телеграммы.

Зимой мне хотелось полнее и определеннее, чем я это делал прежде, сказать ему, каким потрясающим сопровождением стоит всегда предо мной и следует при мне его ошеломляющий талант, чудодейственное мастерство, легкость работы, его фантастическая плодовитость, его богатая, гордо сосредоточенная, реальная, по-настоящему прожитая жизнь, и как всегда без зависти, с радостью за него посрамляет и уничтожает это сравнение меня, мою разбросанную неосуществленную жизнь, бездарность моего быта, неоправданные обещанья, малочисленность и ничтожество сделанного, на какую трагическую высоту поднято его поприще его недооценкой, и до какой скандальности перехвалено это все у меня. Я все это написал ему, короче и лучше, чем тебе, в письме, препровожденном через дипломатические каналы Майского при дюжине, по крайней мере, моих Шекспиров, нарочно туда посланных в виде повода для этой записки. Они телеграфно известили меня о получении одной книги (из 12-ти). Письмо не дошло. Месяца два тому назад я послал им несколько устных поклонов.

Меня очень волнует твоя болезнь. Я не мог сообразить всего сразу и очень жалею, что не ближе посвятил Чечельницкую¹ в обстоятельства нашего житья-бытья и не передал с ней постоянной и главной своей мечты о том, чтобы ты пожила с нами на даче. В нижней закрытой стеклянной террасе живут, как прошлым летом, Асмусы, верхняя, рядом с Леничкой, свободная, и тебе было бы очень удобно в ней.

¹ Чечельницкая Г. Я. писала в Ленинградском университете диссертацию на тему русских связей Рильке. Начавшаяся кампания ей бороться с космополитизмом помешала ей защититься. Сейчас — профессор Казанского университета.

Чечельницкая застала меня в состоянии крайней нервной расшатанности. Это было перед моим вечером, которого устроитель не подготовил, я боялся, что зал будет пустой¹; были гости; накануне мы с Зиной перевезли из Москвы и похоронили у себя в саду под смородиновым кустом, который он сажал маленьким мальчиком, прах ее старшего сына, умершего от туберкулезного менингита 29 апреля. У меня три месяца: 1) жесточайше болит правая рука от плеча до кисти (плексит), и велено носить ее на перевязи,—черновик Генриха IV я пишу левою, 2) заболевают по два раза в неделю глаза конъюнктивитом от малейшего напряжения, 3) увеличена печень, и болит решительно все, но нет ни времени, ни желания лечиться, напротив, сквозь все страдания и слезы прилив непонятого юмора, неистребимой веры и какого-то задора... Короче говоря, я стал рассказывать Чечельницкой о смерти папы, о Рильке, о повесившейся в эвакуации Марине², и так разволновался, что мне захватило дыханье и я не смог говорить. Но ты своих представлений о нас не строй по этой стороне ее рассказов: она видела меня в невыгодный день и затем вечер.

Дорогая Оля, мне сейчас придется прекратить письмо, которое я противозаконно пишу тебе правою рукою: она слишком разболелась. Мне надо еще уйму сказать тебе, из чего я не заикнулся и о мельчайшей доле. Это как-нибудь в другой раз. Приезжай, пожалуйста!! Сообщи Лапшовым о смерти папы и передай им *(это — правда, не слова)* им обоим и Машуре мою нежнейшую любовь и радость по поводу того, что они живы и благополучны. Как приятно мне было бы с ними повидаться! Достань 22-й номер «Британского союзника», там о моих Шекспирах, тебе будет приятно. И будь здорова, не болей, ради бога, и приезжай, приезжай!!! Обнимаю тебя.

Твой Боря.

Боря известил меня, что скончался дядя. Я пережила эту последнюю утрату кратко, но очень тяжело. С проклятьем я думала о том порядке, когда сын не имел права переписываться с отцом, а отец с детьми. И мы попрощались на расстоянии молча.

¹ Вероятно, имеется в виду авторский вечер Пастернака 28 мая 1945 г. в Доме ученых.

² Марина Цветаева покончила с собой 31 августа 1941 г. в Елабуге:

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <13.VII.1945>

Дорогая Оля! Не стоит писать писем, так их много пропадает. 31-го мая умер папа. Я об этом тебе писал, но письмо наверное не дошло. Я страшно огорчен твоей болезнью. Приезжай к нам, поживи у нас на даче. Я уверен, тебе понравится. Если буду жив и здоров (у меня четыре месяца болит правая рука, и я ее большей частью держу на перевязи), я зимою постараюсь приехать в Ленинград по делам. Кажется, Чечельницкая задержалась тут. Повидай ее. Обнимаю тебя.

Твой *Боря*.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <28.VII.1945>

Дорогая Оля! Твое молчание беспокоило меня. Я даже начал телеграфные розыски. Вчера косвенно узнал, что ты жива и написала мне. Кто-то (неизвестно кто) справлялся о моем адресе у Асеева, как стороной узнала в городе Зина. Если это в твоих силах, срочно предпиши сдать твое письмо в *управлении нашего дома* (Лаврушинский, 17/19), тогда я его получу, а то никак. У меня чудное настроенье, занят умопомрачительно и трудная, чуждая, непосильная жизнь. *Приезжай*.

Целую. Твой *Боря*.

Читала ли ты статью о папе?

Читала ли ты статью Грабаря о папе в номере 28 (960) «Советского искусства», пятница, 13 июля 1945.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

<Телеграмма 1.VIII.1945>

КАЗАНСКИЙ ПЕРЕДАЛ ПИСЬМО. БЛАГОДАРИЮ ОБНИМАЮ ПОСТАРАЙСЯ ПРИЕХАТЬ.— *БОРЯ*

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 2.XI.1945

Дорогая Оля! Я летал на 2 недели в Тифлис и два раза по пути, туда и назад перелетал над Черным морем с пакетами изабеллы, купленными за копейки в Сухуме и Адлере, и в эти часы думал о тебе. Оно сверху самого лучшего цвета на свете, которого нельзя запомнить и назвать, серо-зеленоватого, благородного, самого некрикливого, глинисто-голубого, матового оттенка. Жизнь в Тифлисе была как эта, дух захватывающая гамма. Странно, что я вернулся. Перед отъездом были оказии из Англии. Бедную Лиду оставил муж. Это с четырьмя-то детьми. Но про это как-нибудь в другой раз. Целую.

Твой Б.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 23.XII.1945

Оля, Оля, Оля, что же это такое, когда это кончится? Я не пишу тебе, потому что мне некогда. Но это меня гонит не жизнь, не ее трудности, а менее благородные и, наверное, более смешные мотивы. Теперь, когда это недоразуменье насчет меня и скандал так укореняются, мне действительно хочется стать человеком! Я глупейшим образом надеюсь исправить и оправдать все эти недомолвки и недоделки. Мне в первый раз в жизни хочется написать что-то взаправду настоящее. Ах, Оля, ты не представляешь себе, в каком непомерном долгу я перед жизнью, как щедра и милостива она ко мне! Но как мало времени, как много надо нагнать и наверстать!

Ты и Шура должны долго жить и быть где-то рядом. Я даже не представляю себе, что бы я мог такое отделить от себя и переслать тебе, чтобы тебе не было так одиноко! Ты должна была бы все же побывать у нас и тогда или бы осталась, или что-то бы с собою увезла, отчего бы тебе стало светлее и лучше (потому что мне ведь очень легко (ликующе-легко, а не материально) и незаслуженно хорошо!).

Ты прости, ты еще, чего доброго, не поймешь и обидишься, или воспримешь это как волну ослепленно-го, оскорбительно-участливого хвастовства и важничанья!!

Какое несчастье! Как мне объяснить тебе это все и, главное, второпях?

Обнимаю, обнимаю тебя. Устрой так, подготовь, чтобы летом, если бог даст мы будем живы, нам быть вместе.

В моей жизни сейчас больше нет никакой гряди, никакого ущемленья. Я вдруг стал страшно свободен. Вокруг меня все страшно свое.

Эта атмосфера особенно велика бывает на даче, летом. У нас живут Асмусы, Шура с Ириной, бывал Женя.

Его командируют в Ленинград, и он зайдет к тебе.

Дорогая Олечка! Приезжайте к нам обязательно летом отдохнуть и пожить с нами. Я буду очень рада Вас повидать. Тороплюсь на концерт, где выступает мой старший сын Стасик, а потому больше не пишу.

Крепко Вас целую, и ждем весной к нам.

Ваша Зина.

Куча новостей. Но это тебе расскажет Чечельницкая. Еще раз всего лучшего. Страшно бы хотел видеть тетю Клару и всех «ейных».

Твой Боря.

Знаешь что, надпишу-ка я книгу тете Кларе и Владимиру Ивановичу, и ты им передай, если считаешь, что это им доставит радость, а если нет, вырви листок с надписью и не надо.

(Тебе не посылаю, п<отому> ч<то> 'это все у тебя есть. Если же хочешь, напиши, и я пришлю.)

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

*<Надпись на сборнике «Избранные стихи и поэмы».
М., ГИХЛ, 1945>*

Дорогой моей Оле с пожеланием наилучших предзнаменований на новый 1946-й год.

От Бори.
23.XII.45
Москва

Москва, 1. II. 1946

Что же ты никогда не пишешь, Оля? Так ли я черен и виноват перед тобой, что не заслуживаю и доброго слова? Как трудно бывает временами и как неожиданно обидно! Вообще, какой подбор неподходящих обстоятельств: времени, рождения и прочих этикеток! И как все они противоречат существу, направлению судьбы, разговору с миром! Как из этого выскочить? Пожелай мне выдержки, т<о> е<сть> чтобы я не поникал под бременем усталости и скуки. Я начал большую прозу¹, в которую хочу вложить самое главное, из-за чего у меня «сыр-бор» в жизни загорелся, и тороплюсь, чтобы ее кончить к твоему летнему приезду и тогда прочесть. Передала ли тебе записку Чечельницкая?

Твой Б.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <24. II. 1946>

Дорогой мой друг Олюшка! Какую радость доставила ты нам своим сегодняшним письмом! Зина тебе благодарна и крепко целует. Нет, ты мне о сердце в карандашном с островов ничего не писала,—как меня это огорчает и напугало! Но ты не расстраивайся. У меня было два периода в жизни, когда мне о сердце такое говорили! Как ты чудно пишешь, можно позавидовать. Впрочем, ты сама, верно, это хорошо знаешь. Я великолепно представляю себе, какой костяк вопросов поддерживает твой интерес к проблеме прозы, и как это будет глубоко!! Это наверное (в сопоставлении с условностью не-прозы) будет параллель двух культур или систем, и душу одной будут составлять преемственность и форма, а другой—новшество и откровение. А твои слова о бессмертии—в самую точку! Это—тема или главное настроение моей нынешней прозы. Я пишу ее слишком разбросанно, не по-писательски, точно и не пишу. Только бы хватило у меня денег дописать ее, а то она приостановила мои заработки и нарушает все расчеты. Но чувствую я себя как тридцать с чем-то лет тому назад, просто стыдно. Целую тебя крепко, моя хорошая.

¹ Начало работы над романом «Доктор Живаго» датируется зимой 1945—1946 гг.

Москва, 31.V.1946

Дорогая Оля!

Ну вот опять лето и опять, не веря в то, что это когда-нибудь случится, я прошу тебя к нам. А между тем, смутные расчеты на то, что вдруг ты когда-нибудь возьмешь да приедешь, таятся где-то в глубине души, потому что, например, мы выдерживаем Асмусов на крытой стеклянной террасе и бережем внизу одну комнату либо для тебя, либо для Шуры с Ириной или еще для кого-нибудь.

Я еще в городе,—я хочу и должен написать общее предисловие к собранию своих Шекспировских переводов (известные тебе, плюс Отелло и Генрих IV), а вместо этого все время страшно хочется спать. Если бог даст я буду жив, я в октябре или ноябре обязательно съезжу в Ленинград.

Ничего не могу сообщить тебе нового, соотношения сторон моей жизни прежние, мне очень хорошо внутренне, лучше, чем кому-либо на свете, но внешне, даже не мне, а моему Шекспиру, для того, чтобы он пошел на сцене, требуется производство в камер-юнкеры, то самое, чего мне никогда не дадут и потребность в чем тебя с моей стороны так удивляла. Но у меня все сложилось бы совершенно по-иному и я, может быть, сделал бы много нового, если бы на меня стал работать театр.

Как твое здоровье? Я не жду от тебя большого письма, я знаю, как трудно бывает писать, когда считаешь, что это нужно. Всего лучше было бы, если бы ты к нам собралась. Леня уже на даче, Зина и там и тут, Женя кончает академию. Прости за эти вялые строки, я тебе ничего не собирался сообщить, а только хотел напомнить, что наступило лето.

Крепко целую тебя. За открытку все-таки был бы благодарен. Зина всегда ждет тебя так же, как я.

Твой Б.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 29.VI.1946

Дорогой Боря!

Прости меня, что я не отвечаю на твое доброе письмо. Я разварилась от жары, склок и внутреннего омертвения. Через несколько дней закончится учебный

год, состоявший не так из академических занятий, как из выпутывания из силков, в которые меня загоняли мои товарищи — доносчики и интриганы типа Толстого¹. Перед глазами горит фраза из «Чайки»:

«Вы, рутинеры, захватили первенство в искусстве и считаете законным и настоящим лишь то, что делаете вы сами, а остальное вы гнетете и душите!»

Когда отдохну, напишу тебе. Сердечно обнимаю тебя и Зину.

Твоя Оля.

Новый учебный год начался собранием преподавателей, которых поучал и напутствовал ректор. В августе вышло знаменитое по открытому полицейскому цинизму постановление ЦК о «Звезде» и «Ленинграде», где мы показали на весь мир, что искусство создается у нас по прямой указке регулирующего органа. Все ждали и жаждали напутствий.

Ректор появился в русской рубаше под пиджаком, с расхристанным воротом. Это символизировало перемену политического курса и поворот идеологии в сторону «великого русского народа», прочь от «низкоклонства» перед западом. Он говорил о постановлении ЦК, о дипломатической войне, о противопоставлении двух миров. У него была такая фраза: «К сожалению, многие из советских людей увидели за границу. Это заставило их ослепиться показной культурой. Мы теперь должны разоблачить этих людей и их неправильные взгляды. Нужен величайший отбор людей, тщательная осторожность в отношении всего, что идет в печать».

Университет от меня внутренне отпал. Я потеряла последние остатки живых соков в душе. Тяжелое, свинцовое лицо стало у меня. И сама я, глядя на себя со стороны, поражалась этой мертвой давящей убитости, стараясь найти для нее термин. Нет, никакая «подавленность», никакая «депрессия», даже «убитость» не передавала этого холодного, каменного состояния.

После речи Жданова все последние ростки жизни были задушены. Европейская культура и низкоклонство были объявлены синонимами. Опять идет

¹ Отношение к И. И. Толстому — учителю, благодаря которому Фрейденберг стала специализироваться как классик, многократно менялось в течение жизни: от студенческой влюбленности, от душевного тепла и понимания после пережитого в войне до крайнего ожесточения и презрения, вроде выразившегося в этом письме.

волна публичного опозориванья видных ученых. Когда знаешь, что это старики с трясущейся головой, со старческими болезнями, полуживые люди, от которых жены скрывают такую «критику»,—впечатление получается еще более тяжелое.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 5 октября 1946

Дорогая Оля!

Как твои дела и здоровье? У меня и у Зины летом была некоторая, хотя и слабая надежда, что ты приедешь. У нас все время было много народа, Шура с Ириной, разная молодежь и мы все время берегли для тебя то комнату, то верхнюю стеклянную террасу.

Прости, что я не написал тебе. Я с чрезвычайною, редкою удачей работал в последнее время, особенно весной и летом. Мне надо было к собранию пяти моих шекспировских переводов написать вступительную статью, и я не верил, что я это одолею. Удивительным образом это удалось. Я на тридцати страницах сумел сказать, что хотел о поэзии вообще, о стиле Шекспира, о каждой из пяти переведенных пьес и по некоторым вопросам, связанным с Шекспиром: о состоянии тогдашнего образования, о достоверности Шекспировской биографии. Экземпляр статьи есть в злополучной вашей «Звезде» или «Ленинграде» (т. е. в их редакции) у Саянова или Лихачева¹, если у тебя есть общие знакомые, достань ее, пожалуйста. Мне хотелось бы, чтобы ты ее прочла,—хотя с таким же пожеланием я уже обратился к Ахматовой и Ольге Берггольц.

А с июля месяца я начал писать роман в прозе «Мальчики и девочки», который в десяти главах должен охватить сорокалетие 1902—1946 г., и с большим увлечением написал четверть всего задуманного или пятую его часть. Это все очень серьезные работы. Я уже стар, скоро, может быть, умру, и нельзя до бесконечности откладывать свободного выражения настоящих своих мыслей. Занятия этого года—первые шаги на этом пути,—и они необычайны. Нельзя без конца и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят шесть лет

¹ Саянов В. М. (1903—1959)—поэт и главный редактор журнала «Звезда»; Лихачев Б. М.—главный редактор журнала «Ленинград».

жить тем, чем живет восьмилетний ребенок: пассивными признаками твоих способностей и хорошим отношением окружающих к тебе,—а вся жизнь прошла по этой вынужденно сдержанной программе.

Сначала все это «ныне происходящее» в моей собственной части ни капельки не тронуло меня. Я сидел в Переделкине и увлеченно работал над третьей главой моей эпопеи.

Но вот все чаще из города стала Зина возвращаться черною, несчастною, страдающей и постаревшею из чувства уязвленной гордости за меня, и только таким образом эти неприятности, в виде боли за нее, нашли ко мне дорогу. На несколько дней в конце сентября наши дни и будущее (главным образом, в материальной форме) омрачились. Мы переехали в город в неизвестности насчет того, как сложится год с этой стороны.

Но сейчас я думаю, что все наладится. Ко мне полностью вернулось чувство счастья и живейшая вера в него, которые переполняют меня весь последний год. И перед возобновлением прерванной работы (я решил сегодня снова засесть за нее) мне хотелось, пока у меня есть время, дать тебе весть о нас всех.

Наверное, эта «кампания» бьет и по тебе, и твои неприятности усилились?

Как это все старо и глупо и надоело!

Ты тогда очень хорошо процитировала выкрики Треплева из «Чайки».

Крепко целую тебя. Зина тоже кланяется тебе и тебя целует. В последнюю минуту решил все же послать тебе статью в единственно оставшемся у меня полустертом экземпляре. Если после твоего чтения не изглядятся совершенно последние следы букв, передай прочесть кому-нибудь.

И вот еще я, Леня, Зина и работница Оля в разных комбинациях.

Твой Б.

Напиши, как твое здоровье. Есть ли у тебя мой перевод Отелло?

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 13 октября 1946

Дорогая Оля!

Написал тебе и в тот же день заболел ангиной, пролежал несколько дней.

Сейчас у меня очень нехорошее настроение, одна из

тех полос, которые продолжительными периодами пересекали несколько раз мою жизнь, но сейчас это соединяется с действительной старостью, и, кроме того, за последние пять лет я так привык к здоровью и удачам, что стал считать счастье обязательной и постоянной принадлежностью существования.

В одном отношении я постараюсь взять себя в руки,—в работе. Я уже говорил тебе, что начал писать большой роман в прозе. Собственно это первая настоящая моя работа. Я в ней хочу дать исторический образ России за последнее сорокапятилетие, и в то же время всеми сторонами своего сюжета, тяжелого, печального и подробно разработанного как, в идеале, у Диккенса или Достоевского,—эта вещь будет выражением моих взглядов на искусство, на Евангелие, на жизнь человека в истории и на многое другое. Роман пока называется «Мальчики и девочки». Я в нем свожу счеты с еврейством, со всеми видами национализма (и в интернационализме), со всеми оттенками антихристианства и его допущениями, будто существуют еще после падения Римской империи какие-то народы и есть возможность строить культуру на их сырой национальной сущности.

Атмосфера вещи — мое христианство, в своей широте немного иное, чем квакерское и толстовское, идущее от других сторон Евангелия в придачу к нравственным.

Это все так важно и краска так впопад ложится в задуманные очертания, что я не протяну и года, если в течение его не будет жить и расти это мое перевоплощение, в которое с почти физической определенностью переселились какие-то мои внутренности и частицы нервов.

Пакет с фотографиями, статьей, книжками и прочим я отправлял не сам, а дал отправить нашей почтальонше, так что когда ты получишь, не задумывай большого ответного письма, но извести открыткой о своем здоровье и житье-бытье.

Целую тебя. Мне совсем невесело.

Твой Боря.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 11 октября 1946

Боря, дорогой! Еще только тебе одному на целом свете я могу сказать — родной! Ты единственный оставшийся у меня родной — нет даже Сашки, дяди, совсем я

одна. Кто-то как-то спросил меня, с кем я живу, и я ответила, не замечая: «У меня нет родных». Сказала легко, но звуки стукнули мне в уши. И эта фраза пережилась, как нечто большее, чем утрата в ее реальности. Ты так щедр! Узнаю тебя. Пакет, вроде елочного дедки, с целым ворохом всего самого дорогого. С тобой самим. В лицах, в поэзии, в душе и мысли.

Ты не можешь, к счастью, представить моего потрясения, когда я увидела семейные карточки. Первое движение — броситься показывать, и вдруг срыв. Некому! Мамы нет дома.

Страшная эта первая встреча нас с тобой. Я ее боялась. Быть может, из-за этого я и не приехала. Мне страшно обнять тебя пустыми руками. И ты, с Зиной, с Леней, — не видишь, что и за тобой нет фона, как на круче. Я всегда целовала тебя и за дядю, обрывая время и расстоянье. Страшно быть родными без родных, целовать за могилы. Я даже не верю, говоря откровенно, что вообще можно быть родными в одиночку.

Ты изменился. От твоего лица и мысли идет что-то серьезное; хочется даже сказать, серьезное большой серьезностью. Такое впечатление, что ты поклялся отмести случай и случайность, что ты дышишь только настоящим. Меня знобило нервной дрожью, когда я читала Шекспира в стертой и измятой машинке. Эта машинка говорила со мной языком, которого так же не знал Гуттенберг, как рука античного раба не знала буквоотливной машины. Далекой вечностью пахнуло на меня.

Что-то есть в этом от протокола истории. Твои мысли о Шекспире выглядят, как документ из архива бессмертия, хранящегося, разумеется, в рукописном виде. Теперь уже печатные буквы — нечто проходящее и несовершенное. Стертая машинка куда красноречивей и громче. Она перекричит все радио и литографии.

К Саянову есть короткий путь, если только этот пьяница на что-нибудь способен, хотя бы на возврат рукописи. Не знаю, отсылать ли тебе твой, вот этот, экземпляр, или только саяновский? Если нужно тебе возвратить, я сниму копию.

В статье все интересно, величественно и ужасно серьезно. Такое чувство, что ты говоришь во что бы то ни стало. Но я ведь не читатель тебя. Я не знаю, читают ли брата. Тут та стихия родственных встреч, семейных поцелуев и восклицаний, которые происходят у добрых людей на пляже Меррекюля и под Пизой, на

Московском вокзале, на Мясницкой или Екатерининском канале. Это дубликат фотографической карточки, на которую смотришь глазами двух семейств. Много родового, кровного, как будто ты обязан говорить за всех нас.

То новое, что есть в твоём лице, ново в твоей лексике. Не верится, что это твой словарь, т. е. что ты умеешь говорить самыми обыденными конструкциями и словами. Меня такой язык коробит. Я ему не прощаю. Какое право он имеет налагать на человека такой груз? Нужно всю тяжесть смыслов передавать одними мыслями, без помощи языка. Это хорошо для экзамена, но не для стиля.

Тем виртуозней твои средства. Кто хочет, пусть покупает по наличию; имеющий уши пусть слышит.

В популярной и краткой статье ты макрокосмичен. Тут дыхание больших мыслей, напролом в историю. Мы все в Шекспире, и в первую голову наши семьи. Сказать о Шекспире—это отчитаться в прожитой жизни, встрясти молодость, высказать поэтическое и философское credo. И ты это сделал в популярной статье. Привкус схоластической логики, Шекспировская мыслительная схоластика и спряжение во всех временах всех событий, биография в таверне, любовь шепотом в тишину, скоропись метафоризма—это все очень, очень хорошо. Я нашла свои мысли в трактовке Гамлета и Отелло. Эта драма громадной, как теперь говорят, целеустремленности, а не бисер; сцену с Офелией я понимаю, как ты¹. Религиозность Отелловского зверства—это прекрасно. Он жалеет Дездемону, ты прав. Превосходно дана Клеопатра с Антонием. Разгул и распутство глазами Шекспировского макрокосма. Но я еще буду и буду перечитывать твою статью.

Меня поразило, что ты ввел Викторию рядом с Войной и миром. Виктория—величайшая вещь, да!²

Очень хороши твои переводы Бараташвили. Дай бог, чтоб он был таков, чтоб такой прекрасный был у него стих.

¹ «В сцене, где Гамлет посылает Офелию в монастырь, он разговаривает с любящей его девушкой, которую он растаптывает с безжалостностью послебайроновского отщепенца»,—писал Пастернак в «Заметках о переводах шекспировских драм» (первом варианте статьи).

² «Речь Ромео и Джульетты—образец настороженного и прерывающегося разговора тайком вполголоса. Это будущая прелесть «Виктории» и «Войны и мира» и та же чарующая чистота и непредвосхитимость» («Виктория»—роман Кнута Гамсуна)

Я почти заново встречалась с Зиной, с новым тобой, особенно с Леней. Это тонкий мальчик, овальный, «субтельный». Кто знает, кем он будет! Да, я говорю «овальный», потому что решительно не люблю и не верю в круглое лицо. Он хорошее, красивое дитя. Можно ли без слез думать о том, что он никогда не увидит бабушки и дедушки, что они его никогда не видели?

Мне он кажется даже лицом в стихии нашего покойного Женички, такой же лоб и овал¹.

Как хорошо, что ты пишешь: что ты допущен своей цензурой. Это самое главное. Твое счастье—чужое, настоящее. Жаль только одного в происшедшем—что ты не приедешь. Но я не сомневаюсь в твоём самообладании.

Размеры этого письма скажут тебе, что я достигла прожиточной нормы. Я так не писала три года. Я достигла, так сказать, морфологии нормы. Не раз я тебе писала, что моя жизнь есть только прохожденье через время. Я приспособилась к далекому путешествию, уселась, приобрела навыки опытного истопника, которого уже не пугает количество километров. Что делать! Я осталась жить.

Сердце я излечила сахаром. Летом болела радикулитом, закончившимся ишиасом. Не выезжала. Не работала. Волосы, после цинги, лезут; зрение повреждено. Мозг оскудел. Когда-то бесплодие было коротким эпизодом, теперь эпизодичны просветы мысли. Печататься нельзя. Ученики подражают и утрируют. В августе я задумала оставить кафедру и перейти на полставки. Зимы ужасают меня. Я, однако, не ушла. Меня затягивает небытие, я боюсь этого. Под влиянием друзей я снова привязала себя к грузу, чтоб не отлететь. Весной терзали меня зело, пили из меня лимитную кровь: пошли защиты моих учениц, а этого не прощают². Я вела себя решительно и спокойно, и после провала в совете факультета диссертантки прошли в совете университета. Занимаюсь, очень бесплодно, греческой лирикой, полной шарад. И дело нейдет, и перспектив опубликованья нет, и голова плохая. Читаю много. Чтоб оглушить себя, набрала часов. Конечно, никто не может так читать греческую литературу, как я, потому что все главное прошло у меня исследовани-

¹ Брат О. М. Фрейденберг, умерший в отрочестве.

² Речь идет о защитах С. В. Поляковой и Б. Л. Галеркиной, которые превращались в повод для групповой борьбы и сведения счетов

ями, и я вот уже два месяца верчу одну Илиаду, и конца не видно. Прошлись по мне в «Ленинградской правде», на собраниях, но тут же со мной примирились. Меня зовут попом Аввакумом.

Сегодня я дома, занездоровилось. Твой пакет получила вчера вечером.

Что делает Женя и Женечка? Каков он? Где Федька?¹ Имеешь ли вести о Жоне, о бедной Лиде?

Я бываю у Лапшовых. Слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, живы и бодры. Сегодня в восемь часов утра раззвонился Владимир Иванович, и что же? — обедать зовут.

Они писали тебе летом. Я повезу им новости о тебе. Сердечно обнимаю тебя и Зину, будь здоров. Не претендую на скорый ответ, но со временем не забывай меня и обо мне.

Твоя Оля.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 15 октября 1946

Дорогая Оля! Благодарю тебя за такой быстрый, живой и богатый ответ. Мне больно, что ты потратила на меня так много сил. Статьи мне не нужно. Но если у Саянова можно отобрать его экземпляр, это было бы очень хорошо. Твои слова насчет серьезности и насчет того, что не для кого жить без стариков, глубоко верны, но горечь второго я в последнее время победил. Я жалею, что успел отправить тебе новое письмо, невеселое, кажется. Ты ему не верь. Это я расхандрился, как теперь вижу, без причины. Все устроится. Привет Лапшовым, поцелуй тетю Клару. Послать ли тебе Отелло?

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

<Надпись на оттиске «Происхождение эпического сравнения» (на материале Илиады). Труды юбилейной научной сессии ЛГУ 1946 г.>

Моему дорогому Боре в знак манифестации жизни

Оля.
30. X. 46 г.

¹ Сын А. Л. Пастернака.

Доклады, прочитанные на ежегодной научной сессии, гарантировались печатанием. Поэтому я дорожила возможностью такого выступления. Но я никогда не придавала значения тезисам и экстрактам, которые всегда сознательно уводила от конкретного доказательства, и потому враждебно отношусь к предварительной публикации интеллектуальной фабулы и всего наиболее интересного. Наука имеет свой стиль, свою композицию и свою экспозицию. Как грубы, как убийственны тезисы и экстракты, когда они предваряют, а не завершают исследование!

Работа о гомеровских сравнениях, которую я теперь намеревалась изложить в экстракте, писалась под гром бомбежек в октябре-декабре 1941 года.

Анализ сравнений, сделанный на примере Илиады, показал, что развернутой, независимой и реалистической частью является второй, сравнивающий член сравнения, заключающий в себе звериные, космические, растительные и бытовые аналогии.

Тематика ярости, нападения, насилия доминирует в звериных сравнениях, космические — трактуют тему гибели, мрака и разрушения. Сравнения Илиады не дают картин солнечного света, оперируя только бурей, штормом, грозой.

Причем во всяком развернутом сравнении мифологический план составляет основу сравниваемой части, — реалистический — сравнивающей.

Мифологическая концепция сравнения строится на представлении о борьбе двух состояний тотема, об его действии и бездействии; оба состоянья мыслятся конкретно и образно в виде обычной мифологической полярности; злая сила, берущая верх, представляется лишь подобием истинного тотема, его агрессивным двойником, когда побеждает светлая сторона, тогда хтонический мнимый тотем, подобье светлого, терпит поражение и временно укрощается.

Мифологическое мышление не знает сравнения, потому что сравнение требует чисто понятийных процессов отвлечения. Это мышление прибегает только к уподоблению, пружиной которого служит образ борьбы.

Понятийное мышление перерабатывает традиционное наследие, ничего не сочиняя, но подчиняясь уже не мифотворческому, а реалистическому сознанию. Реализм — не бытописание, бытовизм — результат реалистического сознания. Реализм сказывается на концепции времени как длительности, в отличие от мифологического пространственного и статичного

времени. Пространство из замкнутого и плоского становится стереоскопичным. Причинные связи принимают каузальный характер. Совершается переход от восприятия единичной конкретности к отнесению и обобщению, объект отделяется от субъекта, актив от пассива. Сравнение — произвольный результат именно реалистического сознания с его понятийным мышлением.

Эпическое развернутое сравнение, древнейшее из всех, создается до возникновения категории качества. Как только рождается и она, сравнение обращается в компаратив. «Как» из показателя подобия обращается в показатель качества («каков», «какой»). Сравнение с этих позиций может быть названо докачественной категорией.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 3 ноября 1946

Дорогой Боря!

Есть много смысла в том, что работа, которую я писала под дождем бомб и снарядов, в истощении, при светопреставлении — потом читалась мною в торжественной обстановке университетского юбилея¹. Мне казалось, это не я, а Георгий держит голову дракона. И читала-то я в самый свой страшный день — ровно в год катастрофы с мамой.

Теперь это все забылось. Мне не разрешили сделать маленького вступленья, вроде только что написанного. Идиоты не понимают того, чем наполнена вся твоя поэзия — семантики времени.

Но я уже утратила высокий пафос истории, бессмертия тоже. Я еще верю в историю науки, но это уже не пламень, а постулат. Ты же — величайший памятник культуры. Ты весь заложен на доверии к величию иллюзии.

Твое второе письмо и открытку я получила. Я хотела спросить тебя еще вот о чем. Давать ли читать

¹ Доклад Фрейденберг о происхождении греческой лирики читался на научной сессии ЛГУ в 1946 г. Статья с таким названием опубликована посмертно в «Вопросах литературы» (1973, № 11), а также в НРБ; монография «Сафо (К происхождению греческой лирики)» (1946—1947) не опубликована. Тезисы «Сафо» напечатаны в Докладах и сообщениях Филологического института ЛГУ (вып. 1, Л., 1949) и присланы Пастернаку. Он откликнулся на них в письме 16.11.47.

твою статью? Ведь ее моментально украдут, оставив «аппартом». На нее кинутся. В ней много шедевров. Вот на это ответь при случае.

Потом меня интересует Bowга¹. Мне говорила Чечельницкая, что он критик твой и даже переводчик? Тот ли это, кто написал Greek Lyric Poetry? Ты произносишь «Бавра»? В его книжке много свежего. В толковании Алкмана он, разбойник, дал материал, который я лелеяла для своего «Происхождения лирики». При случае ответь мне.

О Саянове я помню. Жду Катерины, именин его жены, чтоб пойти за статьей.

Готовлюсь к ежегодной научной сессии Университета. Сделаю предварительное обобщение о происхождении греческой лирики. Сейчас занимаюсь Сафо, одним из самых трудных вопросов всей античной литературы. Жду Отелло.

Обнимаю тебя и Зину.

Твоя Оля.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 12.XI.1946

I. Дорогая Оля, спешу ответить открыткой (а то — безденежье, дела, бог знает когда еще смогу написать по-человечески). Самое замечательное — про сравнивающую часть сравнения, про ее реализм, про самостоятельность, про то, что в ней вся суть, что ради нее-то и пишут (лучше всего на примере «образа закипевшей кухонной посуды, где варится свинина»). Но направление интереса в 5 разделе (слишком для меня специально, *тут я невежда*, — «тотемизм» и пр.) не все доступно, кажется местами насильственным, натяжкой. К 6-му опять выправляется, становится текучим (путь от сравнения к категории качества), это очень хорошо. А вообще страшно близко и похоже на мою манеру думать, и силою и слабостями, и живой, от предмета к предмету переходящей свободой, и грехами ложной

¹ Оксфордский профессор Баура (С. М. Bowга) был автором книги «Greek Lyric Poetry» (OUP, 1936) и в то же время переводчиком и знатоком русской поэзии. Баура в газете «Британский союзник» от 3 февраля 1946 г. поместил статью «Стихи Эренбурга и Пастернака»; в составленную им «Антологию русской поэзии» включил несколько стихотворений Пастернака в своем переводе

(это я про себя... грехи!!) обстоятельности и «абсолютизма». Про свои грехи в Шекспире, для иллюстрации, напишу.

А вообще ты молодчина, это замечательно свежо, смело и правильно (в отмеченной части). Скоро напишу о Bowга и пр.

II. Главное, что очень молодо, сильно и горделиво, с сознанием собственного значения. После таких вещей хочется читать, думать, изучать. Только, как мне кажется, стихия, подобная «5»-му, тормозит. Когда я ее нахожу в себе, то сознаю ее как отрицательную, занесенную извне тенденцию к аналитизму, топчущемуся на месте и добивающемуся универсальности. Но повторяю, это я о себе, по рефлексу.

Баура профессор античной литературы в Оксфорде, изучивший русский язык, как древнегреческий, и переводящий Ахматову, как он читает студентам Сафо. Это именно он. Я не знаю его книги, названной тобою (Greek Lyric Poetry). У него много трудов — «From Virgyl to Milton», «The heritage of symbolism», он составил русскую антологию, много переводил Блока и, действительно, один из тех, которые пристыжают меня своим вниманием.

Я тебя очень люблю, Оля, и очень крепко целую. А Зина тебя целует так, даже страшно.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 24. XI. 1946

Дорогой Боря, спасибо за Отелло. Тебе, верно, уши прожужжали, но твой перевод — чудесный. Ты не только на русский язык перевел, но на язык смысла. Шекспировская простота, свойственная всякому гению, впервые появилась на русском языке. Таких переводов не знает греческая трагедия. Найти язык для *простоты величия* — это под силу не переводчику, а большому поэту.

Может быть, я поступаю дурно, что твои дубликаты даю не Лапшовым или Машуре, а чужим людям, но для которых это величайший подарок, которые знают тебя и тонко ценят? Ведь это подарки духа, а не крови.

Спасибо за суждение о моих Сравнениях. Но в науке есть только контекст. Надо знать, что там полно

изобретенья, что до сих пор *ничего* не могли сказать о развернутых сравнениях. Просто я не люблю ни полемики, ни указок на оригинальность.

Я задыхаюсь от отсутствия печатанья. Редколлегия печатает только себя («Еще раз к вопросу о...»). Не потому, что меня не печатают, но никого, кроме самих себя. А я пишу книгу за книгой. Как вечный жид, я вечный фармацевт с экстрактами. О, эта трагедия пересказов и сокращений. Но и это — в лучшем случае. Обнимаю вас.

Твоя Оля.

Боря, Саянов уже не имеет отношения к Звезде, а к Друзину¹ у меня нет хода.

Мой адрес на обороте. С канала дом закрыт².

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 24 января 1947

Дорогая Оля, как это могло случиться, что я не поздравил тебя с Новым годом, что не пожелал тебе самого стереотипного: — здоровья и денег, двух вещей, из которых можно сложить все остальное! Успокой меня, пожалуйста, что ты жива, и еще чем-нибудь, что может уместиться в открытке.

Отчего я не пишу тебе?

Оттого, что разрываюсь между обычным течением дня и писанием последнего счастья моего и моего безумья — романа в прозе, который тоже ведь не всегда идет как по маслу.

Да и что остается мне еще сказать тебе, до сих пор остается, в каждом письме? Чтобы ты как-нибудь так устроилась с Ленинградской квартирой на лето (поручила ее хранить кому-нибудь), чтобы могла пожить летом у нас, близ нашей жизни и ее каждодневного копошения.

После всего сказанного становится интересно не то, почему я молчу, а скорее обратное. Итак, по какой причине, не имея сообщить ничего нового, сорвался я сейчас писать тебе?

¹ Друзин В. П. — новый главный редактор «Звезды», заменивший Саянова после ждановского постановления.

² С этого времени адрес Фрейденаберг меняется: вместо канала Грибоедова — улица Плеханова.

До меня все чаще доходят слухи, что проф. А. А. Смирнов (а может быть еще и многие, кроме него) ведут подкоп под моих Шекспиров¹. Я вдруг вспомнил, что это—в университете и настолько по соседству с тобой, что, может быть, тебе это обидно и огорчает тебя? Спешу тебя успокоить и уверить тебя, что это решительные пустяки и будут ими в любой пропорции, даже если бы они возросли стократно. Это пустяки даже в том случае, если бы это меня било не только по карману, а он был совершенно прав (а может быть, он и прав).

Я сделал, в особенности в последнее время (или мне померещилось, что я сделал, все равно, безразлично), тот большой ход, когда в жизни, игре или драме остаются позади и перестают ранить, радовать и существовать оттенки и акценты, переходы, полутона и сопутствующие представления, надо разом выиграть или (и тоже целиком) провалиться,—либо пан, либо пропал.

И что мне Смирнов, когда самый злейший и опаснейший враг себе и Смирнову—я сам, мой возраст и ограниченность моих сил, которые, может быть, не вытянут того, что от них требуется, и меня утопят?

Так что ты не печалься за меня, если тебе пришла в голову такая фантазия. Ты не можешь себе представить, как мало я заслуживаю сочувствия, до чего я противен и самоуверен!

Меня серьезно это обеспокоило в отношении к Зине, когда (как в осеннюю проработку) я начинаю косвенно чувствовать, что я задет и запачкан тем, что ей приходится болеть и оскорбляться за меня, а я это сношу и не смываю двойным ответным оскорблением.

В последние дни декабря за одну неделю я потерял двух своих ровесниц и приятельниц, умерла Оля Серова (старшая дочь художника) и Ирина Сергеевна, жена Асмуса.

Целую тебя.

Твой Б.

¹ Смирнов А. А.—ведущий советский шекспировед; препятствовал изданию Шекспира в переводах Пастернака в «Искусстве». Договор был заключен в 1945 г., книга вышла только в 1949-м, статья «Замечания к переводам шекспировских трагедий» в собрание не вошла, появилась только в 1956 г. в альманахе «Литературная Москва», № 1.

Ленинград, 31.I.1947

Мой дорогой Боря!

Это удивительно. Ты ли меня чувствуешь, я ли тебя, но наши письма (хотя и редкие) всегда скрещиваются. А я как раз все думаю о тебе и ищущу минуты, чтобы написать... почти без повода.— Новый год — чепуха, у меня нет никаких «новых» годов. Я не заметила отсутствия твоих поздравлений, да они и ни к чему.

Хочу сказать тебе вот о чем. В январе я, по своей традиции, единственно живой для меня, выступала на ежегодной научной сессии Ун-та. Ее трижды откладывали, с ноября на декабрь, с декабря 46 г. на январь 47-го. Посылаю тебе тезисы. В самом докладе я показывала неповторимые особенности древнегреческой метафоры, и чтоб показать это как следует, взяла полюс, пример твоего художника из «ранних поездов», там, помнишь, «на столе стакан не допит» — все это место такое замечательное. Зал слушал с напряженным вниманием (о нашем родстве знали только друзья). На тебе (так сказать) мне удалось понять античную поэтическую метафору. Об этой разнице как-нибудь поговорим. Мне очень хочется сделать статью «К теории метафоры», т. к. я имею тут ряд новых мыслей, и при том чисто своих, т. е. на основании многих и многолетних работ. Я пишу книгу о происхождении греческой лирики, и сейчас много нового написала о Сафо, досель незамеченного. Что дала бы такая публикация. Но абсолютно никаких перспектив. Заметки, и той не напечатать. Возможности, которые есть, существуют лишь для лиц, сидящих у пирога.

Так что живу с трудом.

О Смирнове я знаю. Он произнес гнусную речь, разгромную и именно гнусную. Но она не понравилась. Даже в те дни и в тех условиях. Его все осуждали.

Знаю я Смирнова лет пятнадцать. Мы работаем бок о бок. Это совершенное ничтожество. О научном его лице говорить не приходится: его нет! Но тип любопытный. В прошлом матерый развратник, державший на юге виллу для целей недозволенного «экспериментаторства», чем и стал известен. Потом женился на богатой даме. Откупщик, за неимением водки, художественных переводов, своего рода «капиталист» Литиздата, имеющий своих производителей, которых обирает. Внешняя манера — головка набок, отвисшая губа, молящий взгляд. Пресмыкается. На (учебной) кафедре леопард.

Говорит о «гедонизме» и «эстетизме». Неудачно играл на религии и мистике средних веков, переехал на Шекспира, был зело бит, начал маскироваться под шекспироведа; цепляется, чтоб и тут быть откупщиком.

В 1937 г., сильно перепуганный, всем объяснял, что он не дворянин, не Александр Александрович, не Смирнов, а Абрам Абрамович, незаконный сын банкира и экономки, душой и телом с демократией.

Саянов отнесся мило и обещал статью вернуть. Это будет вот-вот. Он полон к тебе пиэтета. Обнимаю тебя и Зину.

Твоя Оля.

Я поражена смертью жены Асмуса. Ведь она была, по-видимому, еще не стара. Почему-то ее преждевременная кончина очень меня поразила.

Давно уже я должна была разделаться с лирикой, такой чуждой для меня у греков. Я никогда ею не занималась и не интересовалась. Я мало знала ее. Она лежала очень от меня далеко, этот жанр без мифов, без сюжетов, без семантики. Что это за такое не античное явление?

Наконец я решила прибегнуть к последнему средству, наиболее для меня верному: сесть писать. И тогда-то, в процессе наибольшего самозабвения, я и стала находить такие вещи, которыми потрясалась сама.

Лирика—величайшее изменение общественного сознания, один из самых значительных этапов познавательного процесса. Она знаменует перемену видения мифа на путях от образного мышления к понятийному, от мифологического мировоззрения к реалистическому. Это в лирике вселенная впервые заселяется на социальной земле людьми и все функции стихийных сил природы переходят к человеку.

Отделение субъекта от объекта—длительный процесс, отражением этого процесса в VII в. до н. э. стало—рождение автора. Лирический автор никак не позднейший лирический поэт, но мусический певец. Мифы о богах и героях становятся биографиями поэтов, культовые темы оказываются темами лириков. Поэтическая метафора—это образ в функции понятия. В Греции процесс метафоризации не имеет художественных функций, это отражение изменения общественного сознания, но не поэтическая индивидуальность. Греческая поэтическая метафора черпает свое переносное значение из своего же конкретного.

Диаметральная противоположность этому — современная лирика.

У Пастернака:

Что ему почет и слава,
Место в мире и молва
В миг, когда дыханьем сплава
В слово сплочены слова!

Он на это мебель стопит,
Дружбу, разум, совесть, быт.
На столе стакан не допит,
Век не дожит, свет забыт.

Метафора недопитого стакана стоит в одном ряду с метафорами недожитого века и забытого света. Метафора и реальный смысл разорваны, между ними бесконечная свобода. У Пастернака новый микрокосм, но в нем нет мифологизма, он снимает условную старую семантику и вводит многоплановость образов. Греческий лирик берет метафоры не из свободно созерцаемой действительности, он смотрит глазами древних образцов.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 16 февраля 1947

Милая моя Олюшка, мамочка моя!

Что я, право, за собака, что когда хочется и естественно ответить по-человечески и подробно, я оттягиваюсь открытками или краткими записками.

Три странички твоего конспекта — это дело бездоннейшей глубины и целый переворот, вроде Коммунистического манифеста или апостольского послания. Как высоко тебе свойственна способность видеть вещи в их подлинности и первичной свежести!

Вот геркулесовы столпы этого конспекта.

2. Лирика — величайшее изменение общественного сознания, этап познавательного процесса, перемена виденья мира. Вселенная впервые заселяется на социальной земле людьми.

3. Мифы о богах становятся биографиями поэтов.

5. Из инкарнации становится метафорой, перенесением объективного на субъективное.

6. Наличие факта и момента. Не знает обобщающей многократности.

11. Возникает одновременно с нарождающейся философией.

Все это потрясающе верно и необычайно близко мне вообще, и тому, чего ты не можешь знать и что я теперь пишу в романе (там есть такой, размышляющий, расстрига священник из литературного круга символистов, и записи его, о Евангелии, об образе, о бессмертии)¹. Некоторые выражения прямо оттуда.

Какая ты молодчина, и как все жалко, и в то же время как все чудесно и как похоже!

Я страшно занят сейчас. В довершение общей спешки осилил то, мысль о чем всегда гнал от себя как нечто не сформулированно-расплывчатое и неосуществимое,—пересмотр и переделку «Гамлета»... какую-то требующуюся, но какую именно?—непонятно какую. Его переиздает «Детгиз», и вот, отложив в сторону роман, я легко с разбега прошел его, облегчил и упростил. И то же самое надо сделать с «Девятьсот пятым годом» для другого переиздания.

Благодарю тебя за возвращенье статьи, ее только что подали. И за письмо, с донесеньем. (На пакете не твой почерк, ты наверное кому-то поручила отправить!)

Если я урву минуту, я кому-нибудь из вас троих—тебе или Берггольц или Ахматовой—пошлю стихи из романа (насколько они стали проще у меня!), чтоб вы хоть что-нибудь обо мне знали, чтобы переписать или дать переписать остальным. Вернее всего Ахматовой, как преимущественной мученице, а твою тезку попрошу переписать и отнести тебе.

Крепко тебя целую! Ты не можешь себе представить, как я стал вынужденно тороплив!

А лето?

Твой Б.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 2 марта 1947

Дорогая Оля! Нас страшно порадовало твое согласие приехать к нам летом. Остается только сдержать данное слово.

Очень, видно, тебе не хочется, чтобы я тебя связывал с моими «литературными дамами»,—твоя

¹ Имеется в виду Николай Николаевич Веденяпин, дядюшка Юрия Живина.

ответная открытка прилетела скорее телеграммы. Но, представь, я уже написал Анне Андреевне, с просьбой о тебе. Я тебе не могу гарантировать абсолютной неприкосновенности, но, с другой стороны, Ахматова так ленива на ответы и исполнение просьб, что, может быть, эта радость тебя минует. Женя—адъютант военной академии, т. е. после блестящего ее окончания оставлен при ней. Как тебе не стыдно сообщать мне в виде «слухов» о моей прозе то, что я сам сказал о ней Чечельницкой, а она с моих слов—тебе. Пишу страшно не выславшись, а вчера упал и расшиб себе нос в кровь об край кухонной раковины. Целую тебя.

Твой *Боря*.

9 марта. Прости, письмо страшно залежалось.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 26 марта 1947

Дорогая Оля! Я болел гриппом и еще не выхожу, а Леничка, заболевший вместе со мною, еще лежит с небольшим послегриппозным осложнением (небольшое воспаление уха). Но чувствую я себя хорошо и настроение у меня по-обычному бодрое, несмотря на участвовавшие нападки (например, статья в «Культуре и жизни»). Кстати: «Слезы вселенной в лопатках». «В лопатках» когда-то говорили вместо «в стручках». В зеленых, когда мы были детьми, продавали горох в лопатках, иначе не говорили. А теперь все думают, что это спинные кости¹.

Разумеется, я всегда ко всему готов. Почему с Сашкой и со всеми могло быть, а со мной не будет? Ничего никому не пишу, ничего не отвечаю. Нечего. Не оправдываюсь, не вступаю в объяснения. Наверное денежно будет труднее. Это я пишу тебе, чтобы ты не огорчалась и не беспокоилась. Может быть, все обойдется. В прошлом у меня действительно много глупой путаницы. Но ведь моя нынешняя ясность еще менее приемлема.

Целую тебя. Твой *Боря*.

¹ Статья А. А. Суркова «О поэзии Б. Пастернака» была напечатана в газете «Культура и жизнь» 21 марта 1947 г. Как пример отрешенности поэзии Пастернака от «общественных эмоций» он и приводил эту строчку из стихотворения 1917 г. «Определение поэзии».

Все это не имеет никакого отношения к твоему приезду. Наоборот, еще нужнее, чтобы ты приехала.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 28. III. 1947

Дорогой мой Боречка! Крепко целую тебя и Зину, желаю всяческой бодрости. Если я тебе не пишу, то лишь потому (но это «лишь» очень объемисто!), что эпистолярный жанр устарел. Он больше не поспевает за жизнью и не соответствует умонастроению, не говоря об эмоциях.

Мы с тобой — не дядя с мамой. Им можно было регулярно переписываться, да еще изливаться.

Никогда не терзайся, что не можешь мне ответить. Конечно, мне, как сестре, приятней узнавать о тебе от тебя, а не через газету или журнал, но я понимаю дороговизну твоего времени. Спешу работать, а условности вот таких писем — вздор.

Вчера я слышала по радио о Бетховене фразу, которая засела во мне. Несмотря на удары судьбы и неисчислимы страдания, говорилось из рупора, «он осуществлял человеческое значенье». Как хорошо сказало пространство.

Сегодня у меня самый печальный день. Ровно 57 лет назад я родилась. Из них 54 года в нашей семье, ссыхавшейся, как человек к старости, в этот день справлялся праздник. А три года назад в этот же день мама в последний раз поцеловала меня.

Но мне даже не грустно, и я ничего не прибавляю от себя к факту самому по себе. Это называется у всех народов жизнью.

Итак, пойдем дальше. Я тоже пишу книгу, о Сафо. У каждого своя манера веселиться.

С сердечными поцелуями.

Твоя Оля.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 9 апреля 1947

Дорогая моя Олюшка, благодарю тебя за письмо. По-моему, я был в grippe, когда его получил. Говорю «по-моему», потому что действительно, как ты справедливо заметила, все так быстро мелькает, что очень

скоро забывается. Никому не писал, ни с кем не объяснялся. Кажется дышу, насколько могу судить. Ничего не произошло, но постоянные мои надежды, что Шекспир пойдет и станет рентой, не оправдываются вследствие все время поддерживаемой неблагоприятной атмосферы. Опять придется переводить, как все эти годы. Хотят дать перевести первую часть Фауста, но договора пока не заключили. Но вообще ничего, нельзя жаловаться. А подспудная судьба—неслыханная, волшебная¹.

Целую. Твой Б.

Радиослова о Бетховене—поразительны!

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 24 апреля 1947

Дорогая Оля. Уже три дня как на дворе жарко и Зина поговаривает о переезде на дачу. И мне интересно whether you have made up your mind² по поводу твоего приезда к нам? В нашем сознании ты живешь так прочно, что Зина ссылается уже и на тебя в числе гостей, когда надо отказать другим. Я никогда не играл в карты и не ездил на скачки, и вдруг на старости лет моя жизнь стала азартной игрой. Оказалось, что это очень интересно. Я чувствую себя очень хорошо, большею частью занят работой, но она ничем не компенсируется. Скучно, страшно скучно, как в какой-нибудь пустыне.

Целую тебя.

Твой Б.

Летом моя натура преображалась.

Солнце меня опьяняло. Я любила солнце!

Загар меня делал другой женщиной. Вместе со всей природой, со всей вселенной я шла и тянулась лицом к солнцу, из сырой земли вверх. Опять возрождение!

Мне хотелось вырваться из своих цепей, далеко уехать от своих тусклых и однотонных приятельниц. Я готова была поехать к Боре,—он давно звал меня к ним. Поехать, встряхнуться, забыться.

¹ Известие о первом выдвижении кандидатуры Пастернака на Нобелевскую премию.

² Что вы имеете в виду (англ.).

Отдых, каникулы, отрыв от склочной службы с ее огорчениями, острова! Я отошла от прежней своей тональности и плавала в забвении.

Боря звал меня и бомбардировал письмами. По-видимому, Боре было плохо. Его лягали, где могли. Ведь искусство, как наука, не имело права переписки и числилось среди арестантов, а Боря был человек искусства.

Я сообщила ему, что готова приехать.

У меня было такое чувство, что мое горло сжимают. Я не смела написать Боре. Вся частная переписка перлюстрировалась. И теперь я ждала каких-либо вестей от Бори.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва 20.V.1947

Дорогая Олюшка! Самое главное, что ты пришла к этому радостному решению, а приезжать—приезжай хоть завтра. Твое утешительное намерение в такой же степени приятно Зине, как и мне, но т<ак> к<ак> она нас перевозит на этой неделе и все время в хлопотах, то она просила меня от ее имени выразить тебе ее радость по этому поводу и благодарность за твои приветы ей. В том же смысле, в каком ты спрашиваешь о времени приезда, для тебя всего лучше будет приехать в июле, когда и Шура с Ириной будут на даче. А о твоих двух-трех днях, т. е. о сроке пребывания, мы поговорим на месте. На всякий случай адрес дачи: Киевский вокзал (метро Киевский вокз.), Киевская жел. дор., станция Переделкино (18-й километр), Городок писателей, дача 3, Пастернака. Если я не успею встретить тебя, пусть это сделает Шура.

Это продолжение открытки. Спишись с Шурой, который до июля будет в городе, чтобы он тебя встретил и отвез к нам. Его адрес: Москва, Гоголевский бульвар, 8, квартира 52, тел. К-4-31-50.

Наш городской адрес ты знаешь, телефон В-1-77-45. Но от нас в город будут наезжать редко и только на несколько часов.

Я из переводческого возраста давно вышел, но т. к. обстоятельства в последнее время складывались неблагоприятно, я с отвращением должен был вернуться к нескольким предположениям этого характера, да и тех на первых порах не принимали, отчего я одно предло-

женье и заменял другим, пока вдруг не приняли все. Таким образом оказалось, что за лето я должен перевести Фауста, Короля Лира и одну поэму Петефи «Рыцарь Януш». Но писать-то я буду в двадцать пять часов суток свой роман. Но в общем все налаживается. Обыкновенно в июле и Жени (она и он) попадают в Переделкино.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

<Телеграмма 15.VII.47>

ОТЧЕГО МОЛЧИШЬ НЕ ЕДЕШЬ. ЖДЕМ ЕЖЕДНЕВНО. ИЗВЕСТИ ОТКРЫТКОЙ О ЗДОРОВЬЕ, О ПЛАНАХ, ЦЕЛУЮ. БОРЯ

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 8 сентября 1947

Дорогая Оля!

Что ты и как твое здоровье? Я тебе буркнул что-то нелюбезное и черствое на твой отказ приехать. Виной всему этому собачья спешка. Такая работа даже не столько утомляет, сколько портит характер. Разучаешься отдыхать, радоваться, перестаешь понимать, что такое удовольствие. Мне все время чего-то страшно хочется, но я собственно не знаю чего, и потому не знаю, чем себя премировать, хочется ли мне сыру к чаю, или поехать в Москву, или кого-то увидеть, или быть уверенным, что я не увижу никого. Вероятно, это скрытое желание того, чтобы получить назад молодость без запродажи за это своей души.

Жаль, что ты не приехала. Жили Шура с Ириной, Зинин сын с женой, приезжал Женя, гостила Нина Табидзе, много было народа, тебе было бы хорошо и не скучно. Леничка и Зина научили бы тебя азартным играм, в карты, в маджонг.

А я бог знает что выделывал, нечто варварское, непозволительное. Две с половиной тысячи рифмованных строк лирики Петефи (среди них одна поэма в 1500 строк) в месяц с неделей, Короля Лира в полтора месяца. Но когда-то я переводил очень хорошо и ничего не добился. Единственный способ отомстить, это делать теперь то же самое плохо и до недобросове-

стности быстро. Роман, или, вернее, мир, к которому я повернулся в последнюю зиму, то, что я себе позволяю и (выходит!) могу позволить, это так далеко, так несоизмеримо, что какое мне дело до Лира и до того, плохо или хорошо я переведу его, т. е. *насколько* плохо. Ах, это теперь решительно все равно.

Мне весной писал Смирнов, по поводу их Ленинградского Шекспира¹, и соглашусь ли я что-то переделывать в Ромео и Джульетте. Я ему ответил очень легко и хорошо, чтобы он знал, с кем имеет дело, очень *sans façon*², но с очень добродушным концом, что, дескать, хотя он своим непониманием погубил моего Шекспира, но я по прирожденной глупости неспособен переживать ничего неприятного и его в своей жизни не заметил, как человек избалованный и толстокожий. Беда только, что я письмо отправил простым, а у меня бывали случаи, когда простые письма пропадали.

Я тебе мараю это письмо, дострочив до конца беловик Лира, завтра повезу переписчице в город, это для Детгиза, для школьных библиотек. Зина с Ленечкой уже в городе, у него начались занятия в школе.

Это лето (в смысле работы)—это первые шаги на моем новом пути (это очень трудно, и это первая вещь, которою я бы стал гордиться в жизни): жить и работать в двух планах: часть года (очень спешно) для обеспечения всего года, а другую часть по-настоящему, для себя. И это при большой семье, которую я приучил жить хорошо, при необходимости выколачивать текущею новою и кровною работой от 10 до 15 тысяч ежемесячно. Ты не ахай и не бросай отраженных чувствований в сторону Зины. Она тоже трудится не покладая рук. А одни ее летние огороды чего стоят!

Вот я опять ничего не написал тебе. Сообщи, как твое здоровье. Оправдались ли также и твои трудовые расчеты? Как твоя задуманная работа?

Тут хорошо. Наверное, я тоже скоро перееду. Выкопаем картошку, и перееду. Я еще ведь портить Фауста обязался. Но до этого допишу первую книгу (?) или часть (?) романа. Осталось главу о первой империалистической (1914 г.) войне.

Целую тебя.

Твой Б.

¹ Ленинградский Шекспир—издание Шекспира в Ленинграде.

² Напрямик (*фр.*).

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 14 октября 1947

Дорогая Оля! Вчера через Москву проезжала Машура и рассказывала очень тревожные вещи о твоём здоровье, о том, как утомляются от работы твои глаза. Жива ли ты ещё вообще? Отчего ты ни звуком не откликаешься на мои запросы? Не обиделась ли ты на меня, что я так огрызнулся в ответ на твой отказ или на выраженную тобою невозможность приехать к нам и не разорвала ли со мной отношений? У меня все по-прежнему, т<о> е<сть> внешне более или менее хорошо. Летний заработочный период был слишком долгим перерывом в писании романа, и теперь трудно сдвинуть работу с места («Лиха беда начало»), собраться с мыслями и восстановить настроение. Как фамилия Машуры? У меня есть её адрес, но неловко было спросить её об этом.

Крепко целую тебя.

Твой Б.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 29 июня 1948

Дорогая Олюшка! Как это горько, что родовые драмы так повторяются! Теперь ты меня наказываешь своим молчанием или даже полным исключением из твоего сердца за мой эгоизм, за то, что мои чувства — «слова, слова, слова», «литература», что если бы все было по-настоящему, я бы свою любовь доказал делами, а не вздохами, изображенными на бумаге.

1-го октября. Олюшка моя, вот начало весеннего моего письма к тебе, прерванного на втором слове из-за сознания его вероятной безрезультатности, к тому же усугубленного вечной спешкой. Тогда я задержался один в городе (Зина жила уже на даче), как сейчас по такой же причине застрял в одиночестве на огромной и холодной даче. Тогда я дописывал первую книгу романа в прозе и в то же время кроил и перекраивал семь переведенных своих Шекспировских драм, поступавших из разных издательств, согласно разноречивым пожеланиям бесчисленных редакторов, сидящих там.

А теперь я с такой же бешеной торопливостью перевожу первую часть Гетевского Фауста, чтобы этой гонкой заработать возможность и право продолжать и,

может быть, закончить зимою роман, начинание совершенно бескорыстное и убыточное, потому что он для текущей современной печати не предназначен. И даже больше, я совсем его не пишу, как произведение искусства, хотя это в большем смысле беллетристика, чем то, что я делал раньше. Но я не знаю, осталось ли на свете искусство, и что оно значит еще. Есть люди, которые очень любят меня (их очень немного), и мое сердце перед ними в долгу. Для них я пишу этот роман, пишу как длинное большое свое письмо им, в двух книгах. Я рад, что довел первую до конца. Хочешь, я пришлю тебе экземпляр рукописи недели на две, на месяц? Там только тяжело будет тебе читать (с целью более рельефного и разительного выделения существа христианства) до шаржа доведенные, упрощенные формулировки античности.

Будь милостива, прости меня, если я чем-нибудь виноват перед тобой, и что-нибудь напиши мне о себе или попроси кого-нибудь, может быть, Машуру. Я ее люблю ничуть не меньше тебя, то, что я пишу тебе, а не ей, ничего не значит, как из разнообразных сторон и случайностей моего поведения вообще не следует ничего фактического и разумного. Пусть меня кто-нибудь известит о тебе, жива ли ты, как твое здоровье и не нужно ли тебе денег. Я год за годом тружусь как каторжный и всегда мне всех: Зину, тебя, Леничку, нескольких твоих тезок и не тезок до слез жаль, словно все кругом несчастные и только я один позволяю себе быть счастливым и, значит, у всех перечисленных как бы на шее. И действительно, я до безумия, неизобразимо счастлив открытою, широкою свободой отношений с жизнью, таким мне следовало или таким лучше бы мне было быть в восемнадцать или двадцать лет, но тогда я был скован, тогда я еще не сравнился в чем-то главном со всем на свете и не знал так хорошо языка жизни, языка неба, языка земли, как их знаю сейчас.

Все мы живы и здоровы, и Женя с Женечкой, и Шурина семья, все у нас в порядке.

Удостою меня, пожалуйста, хоть строчки-другой от себя (не трать времени, не надо писать много). Я охвачен почему-то страшной тревогой о тебе, и хочу, чтобы кто-нибудь вывел меня из неизвестности (в университете ли ты?), и наперед боюсь этого.

Твой *Боря*.

И кланяйся тете Кларе, Владимиру Ивановичу, Машуре и всем близким.

Ленинград, 9.X.1948

Дорогой Боря!

Ты увидишь Машуру до этого письма: возвращаясь снова из Кисловодска, она позвонит тебе. От нее ты, наверно, узнаешь о моем житье-бытье, хотя то, что она знает, относится только к окаменелым, тектоническим частям моей жизни.

В истекшем феврале, сразу после отъезда Феде, я тяжело заболела горловой болезнью, приведшей меня к так называемому хроническому сепсису. Весь второй семестр я совсем не работала. В начале мая я встречала свежую, сияющую весну в Териоках. Крепкий морской воздух, финская сосна и целительное благоуханье молодых почек вернули меня к жизни.

Моя болезнь совпала с известными событиями на литературоведческом фронте. Пришлось сразу перенести много встрясок¹. Выйдя из них с честью, но и с полным срывом сил, я подала, по болезни, в отставку. Меня не отпустили, хотя логика, казалось, требовала этого.

Летом мне был предписан покой и воздух, но я так была счастлива отдыху, что пришла в себя от одних прогулок по островам.

С начала учебного года я возобновила свое ходатайство. Сейчас я нахожусь в периоде, когда эти дела стоят ребром. Мне созданы возмутительные условия, от которых я освобожусь во что бы то ни стало, ценой уступки кафедры, мной созданной впервые в СССР, 16 лет руководимой мною,—большого дела моей жизни.

Однако, наш новый ректор—невиданное существо, прекрасный человек, отказавшийся дать меня на поруганье. Мои ученики были у него, и он отставки не принимает².

Сейчас это все уже на глазах отходит в даль. Мысль занята иным: ко мне едет из другой части света моя belle-sœur³, и что придется поднять из душевной памяти! Я вижу каждую ночь во сне Сашку и маму. В Москву собирается моя ученица, и тогда она приве-

¹ Так называемая «борьба с космополитизмом» вылилась в открытые политические проработки университетских ученых.

² Ректор Домнин.

³ Жена брата, вернувшаяся из лагеря, М. Н. Филоненко

зет твой роман. Это твое счастье, о как я его знаю! Незабываемое счастье пишущей руки и не поспевающего за ней сердца.

Теперь я стала умна и искусна,—признак старости.

С Лапшовыми¹ мы ближе, чем они с Машуркой или она с ними. Я люблю и ценю этот обломок нашей семьи, я, одинокая. Ты этого, к счастью, понять не можешь. Я восхищаюсь вечной молодостью (тьфу-тьфу-тьфу) Клары и живучестью ее чувств.

Вот я тебе и написала. А все думаю о едущей где-то вдалеке невестке...

Обнимаю тебя.

Твоя Оля.

ПАСТЕРНАК—К. И. и В. И. ЛАПШОВЫМ и О. ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва <середина октября 1948>

Дорогие тетя Клара, Оля, Владимир Иванович! Оля, ты так чудно написала о тете Кларе и Владимире Ивановиче, что я вдруг увидел ее, молодую, вне возраста, как она всегда живет в моей душе, и меня потянуло так написать ей, как когда бывает роман с кем-нибудь. И тут утром позвонила Машура. Я посылаю эту рукопись вам всем. Читайте в каком угодно порядке, но, может быть, очередь чтения начнете с Оли, она скорее потом напишет мне. Читайте, если можно, не очень подолгу каждый, может быть, рукопись мне потом понадобится.

Наверное, эта, первая книга написана для и ради второй, которая охватит время от 1917 г. до 1945-го. Останутся живы Дудоров и Гордон. Юра умрет в 1929-м году, и после его смерти в бумагах, которые будет разбирать его сводный брат Евграф, будет найдена тетрадь стихотворений, уже написанная, часть которых тут приложена. Все эти стихотворения, одно за другим подряд, составят одну из глав будущей второй книги.

Сюжетно и по мысли эта вторая книга более готова в моем сознании, чем при своем зарождении была первая, но для того, чтобы существовать (а ведь эта проза не предназначена пока для напечатанья), я должен заниматься переводами и, следовательно, работу над романом мне надо было прервать. Сейчас я

¹ К. И. Лапшова, сестра Р. И. Пастернак, ее муж

спешно, в расчете на то, что справлюсь с этим до Рождества, перевожу Гетевского Фауста (1-ую часть) и одного венгерского классика. Меня так и распирает от разных мыслей и предположений, и хочется работать как никогда.

Мы все-таки, помимо революции, жили еще во время общего распада основных форм сознания, полюблены были все полезные навыки и понятия, все виды целесообразного умения.

Так поздно приходишь к нужному, только теперь я овладел тем, в чем всю жизнь нуждался,—но что делать, спасибо и на том.

Но, если Вам интересно, я счастлив действительно, не в экзальтации какой-нибудь или в парадоксальном каком-нибудь преломлении, а по-настоящему, потому что внутренне свободен и пока, благодарение Создателю, здоров. Крепко вас всех целую и очень люблю.

Ваш Боря.

Жалко, что я такое пугало, если бы я был так красив, как тетя, я только бы снимался, но так как мы давно не видались, то вот две-три фотографии для осведомления.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

31.X.48

Дорогой Боря! Не прими моего молчания за хамство. Я знаю, какой драгоценный подарок ты мне прислал. Но он попал, естественно, к Машуре, от нее к тете Кларе, а я получу не раньше, чем через неделю. Правда, я утопала в делах. Но я немедленно тебе напишу.

Обнимаю тебя за «уже» и за «потом»!

Твоя Оля.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 6 нояб<ря> 1948

Дорогая Оля!

Спасибо за открыточку и еще раньше за письмо. Не делай себе муки из чтения, можешь ничего не писать мне, если тебе будет некогда или трудно, но по

прошествии некоторого времени мне надо будет знать, где и у кого рукопись, для возвращения ее или передачи кому-нибудь дальше. Когда у тебя минует надобность в ней, можешь дать ее прочесть, кому захочешь. Я тебя предупредил о невежественных обмолвках в отношении античности (Рима). Что сказали Лапшовы и Машура? Помнит ли еще меня кто-нибудь? Кто эта твоя belle-sœur,—Сашкина жена? Приехала ли она? Перевожу первую часть Гетевского Фауста, это для денег,—заказ.

Выходит, представь себе, и это естественно, пот<ому> что подготовлено всем предшествующим: многое из сильнейшего у Лермонтова, Тютчева и Блока пошло именно отсюда. Меня удивляет, как могла Брюсова и Фета (в их переводах Фауста) миновать эта преемственность, Фауст по-русски может удаваться *невольню, импульсивно*.

Целую тебя.

Твой Б.

ФРЕЙДЕНБЕРГ—ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 29.XI.1948

Дорогой мой Боря!

Наконец-то я достигла чтения твоего романа. Какое мое суждение о нем? Я в затрудненьи: какое мое суждение о жизни? Это жизнь—в самом широком и великом значеньи. Твоя книга выше сужденья. К ней применимо то, что ты говоришь об истории, как о второй вселенной. То, что дышит из нее—огромно. Ее особенность какая-то особая (тавтология нечаянная), и она не в жанре и не в сюжетоведении, тем менее в характерах. Мне недоступно ее определение, и я хотела бы услышать, что скажут о ней люди. Это особый вариант книги Бытия. Твоя гениальность в ней очень глубока. Меня мороз по коже подирал в ее философских местах, я просто пугалась, что вот-вот откроется конечная тайна, которую носишь внутри себя, всю жизнь хочешь выразить ее, ждешь ее выраженья в искусстве или науке—и боишься этого до смерти, т. к. она должна жить вечной загадкой. Ты не можешь себе представить, что я за читатель: я читаю книгу и тебя, и нашу с тобой кровь, и поэтому мое сужденье не похоже на человеческое, доступное. Этим нужно всем обладать, а не просто читать, как не читают женщину, а

обладают ею. Поэтому такое чтение напрокат почти бессмысленно.

Как реализм жанра и языка меня это не интересует. Не это я ценю. В романе есть грандиозность иного сорта, почти непереносимая по масштабам, больше, чем идейная. Но, знаешь, последнее впечатление, когда закрываешь книгу, страшное для меня. Мне представляется, что ты боишься смерти, и что этим все объясняется—твоя страстная бессмертность, которую ты строишь, как кровное свое дело. Я всецело с тобой в этом; но мне горестно, как человеку одной с тобой семьи—одних уж нет, а те далече—и тютчевского «на роковой стою очереди». Это такое чувство, словно при спуске в метро: стоишь на месте, а уж не вверху, а внизу...

Много близкого, родного, совершенно своего, от семейной потребности в большом и главном, до формулировок и разрешений частных проблем. Но я под родным и семейным (так и под боязнью смерти) разумею великое, транспонированное в частное (а не конкретные малости). Но не говори глупостей, что все до этого было пустяком, что только теперь...

Ты—един, и весь твой путь лежит тут, вроде картины с перспективной далью дороги, которую видишь всю вглубь. Стихи, тобой приложенные, едины с прозой и с твоей всегдашней поэзией. И очень хороши.

Но все, что я пишу, не то, что я воспринимаю. Следовало бы ответить не письмом, а долгим поцелуем. Как я понимаю тебя в твоём главном!

За карточку спасибо, хотя мне досталась не очень удачная, с челюстью и выгнутой шеей.

Работы у меня—ужас! Да, как быть с книгой? Жду оказии, почтой боюсь. Скоро представится случай передать из рук в руки. С благодарностью обнимаю тебя.

Твоя Оля.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 30 ноября 1948

Дорогая моя Олюшка!

Как поразительно ты мне написала!

Твое письмо в тысячу раз лучше и больше моей рукописи. Так это дошло до тебя?! Это не страх смерти, а сознание безрезультатности наилучших наме-

рений и достижений, и наилучших ручательств, и вытекающее из этого стремление избегать наивности и идти по правильной дороге, с тем, чтобы если уже чему-нибудь пропадать, то чтоб погибало безошибочное, чтобы оно гибло не по вине твоей ошибки. Не ломай себе головы над этими словами. Если они непонятны, то это только к лучшему.

Ты часто говоришь о крови, о семье. Представь себе, это было только авансценой в виденном, только местом наибольшего сосредоточенья всей драмы, в основном очень однородной. Главное мое потрясение,— папа, его блеск, его фантастическое владенье формой, его глаз, как почти ни у кого из современников, легкость его мастерства, его способность играючи охватывать по несколько работ в день и несоответственная малость его признания, потом вдруг повторилось (потрясение) в судьбе Цветаевой, необычайно талантливой, смелой, образованной, прошедшей все перипетии нашей «эпики», близкой мне и дорогой, и приехавшей из очень большого далека затем, чтобы в начале войны повеситься в совершенной неизвестности в глухом захолустье.

Часто жизнь рядом со мной бывала революционизирующе, возмущающе—мрачна и несправедлива, это делало меня чем-то вроде мстителя за нее или защитником ее чести, воинствующе усердным и пронизательным, и приносило мне имя и делало меня счастливым, хотя, в сущности говоря, я только страдал за них, расплачивался за них.

Так умер Рильке через несколько месяцев после того, как я списался с ним, так потерял я своих грузинских друзей¹, и что-то в этом роде—ты, наше возвращение из Меррекуля летом 1911 года² (Вруда, Пудость, Тикопись), и что-то в твоей жизни, стоящее мне вечною уликой.

И перед всеми я виноват. Но что же мне делать? Так вот, роман—часть этого моего долга, доказательство, что хоть я старался.

Прости, что я наспех наваял тебе столько глупостей, только в этой приблизительности и реальных. Из-за них собственно надо было бы начать новое письмо, разорвавши это, но когда я его напишу?

Поразительна близость твоего понимания, мгновен-

¹ Пастернак обменялся письмами с Р.-М. Рильке в апреле—мае 1926 г. Рильке скончался 29 декабря 1926 г. Паоло Яшвили и Тициан Табидзе погибли в 1937 г.

² В действительности—летом 1910-го.

ного, вырастающего совсем рядом, уверенно распоряжающегося; так понимала только та же Марина Цветаева и редко, со свойственными ему нарушениями действительности и смысла, — Маяковский, — удивительно даже, что я его назвал.

Можешь дать рукопись посмотреть, кому захочешь. Когда у тебя минует надобность в ней, пришлешь именно так, как предлагаешь.

Спасибо, что, несмотря на степень своей занятости, ты прочла ее. В этих условиях, если бы даже рукопись фосфоресцировала в темноте и обладала тепловым лучеиспусканием, ты была вправе рассматривать ее как вторгшееся лишнее и не хотеть ее существования.

В такой обстановке и таких чувствах я занят сейчас Фаустом.

Всего тебе лучшего. Крепко обнимаю и целую тебя. Всегда помню твою поразительную теорию сравнения, *это из таких именно вещей.*

Будь здорова.

Твой Б.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 7 августа 1949

Дорогая Олюшка, родная моя!

Как благодарить мне тебя за твое письмо! Я только не понял, когда в действительности умерла бедная тетя? Она всегда, правда (как я пишу Владимиру Ивановичу), стояла перед моими глазами молодою, красивою, в кормиличном кокошнике, как ее написал папа больше пятидесяти лет тому назад¹. Он ведь не раз ее писал, не раз писал с нее видоизмененных героинь в первых своих жанровых картинах с сюжетом, поры передвижничества. И такую всю жизнь она оставалась, высокой, стройной, доверчиво-порывистой, сильной. Я очень надеялся ее еще когда-нибудь повидать и много радости обещал себе от этой встречи.

Потом я не понял твоих слов о твоём, будто бы, хамстве, что ты рукопись передала без записки благодарности (по-видимому, особе, изъявившей согласие привезти ее?). Потому что неужели ты могла забыть

¹ Неоконченный портрет Клары с маленьким Борей на руках работы Л. О. Пастернака был сделан в 1890 г.

свое удивительное письмо ко мне после прочтения рукописи и разве не получила моего ответного?

Меня особенно поразило прибытие твоего письма в дни, когда меня с особенною силой стало одолевать желание написать тебе и беспокойство о тебе. Помнишь, ты тогда ждала приезда своей невестки? Кто это, Оля, неужто жена бедного Саши? И где она? С тобой ли она теперь?¹

С моей потребностью выговориться с тобой я благоразумно борюсь, потому что эта мысль неисполнима. У меня была одна новая большая привязанность, но так как моя жизнь с Зиной настоящая, мне рано или поздно надо было первою пожертвовать, и, странное дело, пока все было полно терзаний, раздвоения, укорами больной совести и даже ужасами, я легко сносил, и даже мне казалось счастьем все то, что теперь, когда я целиком всею своею совестью безвыходно со своими, наводит на меня безутешное уныние: мое одиночество и хождение по острию ножа в литературе, конечная бесцельность моих писательских усилий, странная двойственность моей судьбы «здесь» и «там» и пр. и пр.

Тогда я писал первую книгу романа и переводил Фауста среди помех и препятствий, с отсутствующей головой, в вечной смене трагедий с самым беззаботным ликованием, и все мне было трын-трава и казалось, что все мне удастся.

Сейчас мне пришлось запереться дома отчасти и вследствие истощившихся средств. Вышедшие теперь переводы «Генриха IV-го» и «Короля Лира» и два тома всех Шекспировских переводов в «Искусстве» давно прожиты вперед за последние три-четыре года. Месяца через два-три мне придется напроситься на какой-нибудь заказ вроде перевода второй части Фауста (я не люблю ее) ради рентабельности работы, а пока спешно я принялся за вторую книгу романа. Я хочу его дописать для самого себя, т<о> е<сть> и в этой части мне на темы жизни и времени хочется высказаться до конца и в ясности, так, как дано мне, и все глупее и противоречивее представляется задача, и все посредственнее и бездарнее мои силы, работа, моя позиция и положение.

Мне показывали Оксфордскую университетскую Антологию русской поэзии с русским текстом и Бауровскую переводную (второй выпуск) и Бауровскую

¹ М. Н. Филоненко выжила в лагере и вышла замуж за своего же охранника. Фрейденберг изо всех сил старалась ей помочь.

книгу об Аполлинере, Маяковском, мне, Элиоте и испанце Лорка¹. В тамошних собраниях по периодам (я даже тебе стыжусь и не знаю, как это сказать) больше всего места отведено Пушкину, Блоку и мне. Из примечаний и предисловий явствует, что отдельные мои сборники в переводах (и в отдельности речь только о них), очевидно, выдержали испытание рублем, если новое издательство выпускает их в другом, новом переводе. При этом разговор не о «лучшем» или «первом» советском поэте или о чем-нибудь подобном, а без всяких эпитетов о Борисе Пастернаке, как будто это что-то значит, как когда, например, у нас просто издавали Верлена или Верхарна.

Лет пять тому назад, когда такие факты не опорочивались (даже субъективно для самого себя) совершенно новым их преломлением, эти сведения могли служить удовлетворением. Сейчас их действие (я опять говорю о себе самом) совершенно обратное. Они подчеркивают мне позор моего здешнего провала (и официального, и, очевидно, в самом обществе). Чего я, в последнем счете, значит, стою, если препятствие крови и происхождения осталось непреодоленным (единственное, что надо было преодолеть) и может что-то значить, хотя бы в оттенке, и какое я действительно притязательное ничтожество, если кончаю узкой негласной популярностью среди интеллигентов-евреев, из самых загнанных и несчастных? О, ведь если так, то тогда лучше ничего не надо, и какой я могу быть и какой обо мне может быть разговор, когда с такой легкостью и полнотой от меня отворачивается небо?

Однажды, во время войны, кажется, еще тетя Ася жива была, я тебе тоже жаловался в припадке отчаяния, и ты меня утешала. Я бы не позволил себе так «обнажаться» перед тобой, если бы наперед молчаливо не исключил твоих возражений. Но это письмо все безобразно по своему ничем не ограниченному эгоцентризму. Два слова в слабое его оправдание. 1) В искусстве надо быть победителем, а так как это мой вынужденный, неутомимый и неизбежный труд и заработок, мне надо простить, что я отравлен производственным эгоизмом этой области. 2) Говоря на сердечные темы, я писал о себе, а не о другом человеке не по случайной слепоте, а оттого что я в этой теме несвободен и даже тем немногим, в чем проговорился, наверное, нарушил долг молчания перед Зиною.

¹ Heritage of Symbolism.

Р. С. Я что-то вдруг не уверен в Лиговском адресе Владимира Ивановича. Будь добра, вложи в конверт и пошли ему эту записку городским.

Далее, если случится тебе что-нибудь мне ответить, не касайся, естественно, романической стороны письма.

Я очень люблю тебя, Оля. Мне что-то печально. Жизнь уже не принадлежит мне, а какая-то сказавшаяся, уже оформившаяся роль. Ее надо достойно доиграть до конца. Роман, с Божьей помощью, если буду жив, я допишу. Все доработаю. И надо, чтобы хорошо жилось близким. Все у меня, слава богу, здоровы. Опять на даче привольно, красиво и чудно, несмотря на дожди. Женя с Женичкой в Коктебеле, Стасик, Зинин сын — хороший пианист, и наверное поедет на конкурс имени Шопена в Варшаву. Крепко целую тебя.

Прости за бездушное письмо.

Стала я работать над Сафо. Как я ее ни грызла, как ни брала штурмом догадок, ничто не помогало. Я очень долго над ней работала без всяких результатов. Я не верила обывательски понятой Сафо. Это противоречило всем законам.

В песнях Сафо имеется мужская роль, выраженная в типично матриархальных формах, что помешало исследователям-модернизаторам распознать ее. Точно датировке песни Сафо не поддаются. Но можно сказать одно: Сафо подобно Гомеру принадлежит народному творчеству. Непосредственный фактор слома жанров — слом общественного сознания. Изменившийся социальный план, где главную роль играют не боги и внешняя природа, а человек и общество, создает лирику. Сафическая лирика стоит на меже образного и понятийного мышления. Мифическая картина мира вытеснена реалистической, социальной.

Из разновидности темы и персонажа возникает «автор» песни. Сафо выступает то в косвенной роли третьего лица, то (реже) в прямой роли первого. Она еще и объект и субъект темы. Подобно своему персонажу, Сафо фигурирует среди богов и тематически сливается с теми богинями, которые носят мифические имена.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

<Надпись на оттиске «Сафо». «Доклады и сообщения»,
вып. 1. Филологический ин-т ЛГУ, 1949 >

Боре, дорогому брату

Оля.
27.ХІ.1949

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 27.ХІ.1949

Дорогой мой Боря, посылаю тебе осадок вместо вина. Но и то надо бы сделать эпитафия: «Всюду жизнь». Пробылось хоть это. В оригинале ударение стоит на анализе текстов: под женскими образами нахожу мужские. Работа трудная по филологической тонкости, но первая во всей научной литературе. По-видимому, лебединая моя песня. Оскудеваю, камению. С января собираюсь в отставку, на пенсию (новый закон).

Занималась много отцом. Ко мне приезжали из Москвы от Академии наук. Посылаю им уникальные документы для изучения. Архив отца уже взят тут Музеем Связи. Пристроила я его, неудачника трагического (как вся наша семья). Был крупнейший изобретатель. Вспоминаю, как ты один это почувствовал в молодости, в Петербурге — помнишь?

Роюсь в прошлом, в фотографиях. Тяжко! Пишу биографию отца. Это все трудно, сложно, трагично и величественно. Человек и история! Антиподы! Но есть момент, когда они сливаются. Я уж одурела от мыслей и миганий.

Письма уже не годятся для разговоров. Думала быть в Москве, и должна бы, но руки на ослабевшей резинке; висит голова, болтаются ноги.

Я понимаю тебя, но не спрягай ты себя в одном прошедшем, это грамматическая ошибка. Вздор, что заспанные евреи одни остались (твои ценители). Уж кто-кто, а ты-то хорошо знаешь историю, как она есть летопись не прошедшего, а бессмертного настоящего. Никакие годы не сделают тебя стариком, потому что то, что называется твоим именем, не стареет. Ты будешь прекрасно писать, твое сердце будет живо, и

тобой гордятся и будут гордиться не заспанные и не евреи, а великий круг людей в твоей стране. Ты человек не потока, а перебоев. Греки были мудрецы; они учили, что без интервалов не было бы музыки и ритма. Ах, сколько хотелось бы тебе сказать! Но—обнимаю и крепко целую.

Твоя Оля.

Я сидела в глубокой депрессии. Думала о своей жизни. Ушли близкие. Ушла вера и совесть. Пришла зрелость. Отпало творчество. И вот миновало последнее, что было,—работа. Съездившись в отцовских дряхло-семейных креслах, я вдруг начинаю осязательно ощущать свой долг перед отцом. Надо написать о нем, ввести в историю техники. Ведь я—последняя. На мне оборван ряд.

Где-то, помнится, лежал ненужный и тяжелый сверток патентов на его изобретенья. Сашка, ожидая ареста, принес свой детский портрет, сберегательную книжку и этот пакет.

С сильным волнением я нашла этот пыльный пакет, дрожащими руками разворачиваю его на подоконнике.

Патенты. Я увидела один, два, десять, английских, русских, на автоматический телефон, на буквоотливную машину!.. Есть документ о полетах 1881 года, старые афиши, статья из истории первого драматического театра в Евпатории.

И вдруг—огромная рукопись «Воспоминания изобретателя», самим отцом написанная на машинке.

Я сажусь с утра ее читать, читаю до позднего вечера, не смея прервать священного чтенья ни для еды, ни для роздыха.

Казалось, заговорило само время. Бедный страдалец, одинокий, ни от кого не ждавший спасенья, сам говорил с будущим. Горькая повесть задушенного гения. Беспредельная вера в историю. Провидение. Вера в самозащиту и непоколебимая в своей наивности и чистоте сила духа. Надо же было, чтоб столько лет эта рукопись не рождалась, и чтоб она возникла именно тогда, когда я созрела для ее глубочайшего пониманья; когда темная и ненавидящая человека Россия своекорыстно начала интересоваться всем, чем можно торговать,—в том числе мировыми открытиями, и русским приоритетом.

Я поняла значение «написанного». Написанное—создает. Там, где его нет,—хаос и обрыв.

Отцовские записки казались мне внезапным чудом. И я, единственная из всей семьи, обязана была найти эти рукописи и взять патент на отцовскую жизнь.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 9 декабря 1949

Дорогая Олюшка!

Пишу тебе страшно второпях (вечный припев). Но на этот раз, правда, не жди ничего от письма и не «льсти себя надеждами».

Как всегда очень острая статья, порывисто, немногословно изложенная, как надо.

Больше всего остановила старая твоя мысль о возникновении лирики вместе с образованием социально расчлененного общества, о том, что «душа лирики — реальный план». И распространяться о Сафо я не буду *только* из торопливости.

Все, что ты пишешь и писала в предыдущем письме о дяде Мише — поразительно, поразительно интересно и ошеломляет со стороны твоей роли и твоего мужества: очень высоко, и мне, например, недоступно, что обезнадеживание и изнеможение, исходящее от прошлого, от переворачивания ушедших вдаль памятников жизни, к которой ты причастна, не затмевает ясности твоего взора, что память даже не отца, а просто победителя, не дожившего до раскрытия своей победы, все время перед тобой, и подымает тебя и настраивает героически; что ты ее не упускаешь из виду. Это поразительно!

Новы были, конечно, и приковали к себе частности, которых я не знал, разнообразие открытий, пророчески-исчерпывающий их, так сказать, состав, угадавший имевшее последовать техническое будущее. И о Томсоне, конечно. Но ты права, я это все чувствовал в нем, и как удивительно, что ты это запомнила.

Теперь о «заспанных...» (неужели я так тогда написал? Странное определение)¹. Наверное под тем письмом был приступ действительного непритворного отчаяния, может быть продолжавшегося несколько часов.

Но вообще скорее наоборот, я слишком уверен в себе, и то, что я тебя, тебя, чистую, талантливую, умницу мою родную смел натолкнуть на этот тяжелый

¹ Неправильно прочитанное слово «загнанных» в письме от 7 августа 1949 г.

путь ободряющих возражений, в надежде услышать что-нибудь еще такое приятное и объективное, чего бы я не мог предугадать,— последняя низость, не имеющая имени.

Но в те дни я был вообще свиньей. Меня пробудило от спячки и немного призвало к порядку большое огорчение. Моя знакомая и тезка твоя, о которой я тебе писал, попала в беду и переместилась в пространстве подобно, когда-то, Сашке¹. Я страшно много работаю, причем все сразу, свое и переводное в стихах и прозе, и, лучше сказать, глушу себя работой.

Целую тебя. Твой Б.

Какая жалость, что ты не едешь.

Это главное.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 1 августа 1950

Дорогая Олюша!

О тебе чудно, подробно и приятно рассказывает Ирина: как Вы встретились на улице, как ты к ней приехала на вокзал с пирожками и припасами, об угощенье, о том, как ты одета, о твоей приятельнице, о том, как тебя любят, о твоей популярности в доме. Я точно побывал у тебя и погрузился в облагораживающую атмосферу чистоты, прохлады, душевной высоты и ясности.

Жалко, что ты не собралась с Ириной. Возможность была очень удобная, подходящая и в смысле переезда, и въезда к нам и совместного пребывания у нас. Но этот упущенный случай легко восстановим. Телеграфируй Феде, он в городе, и встретит тебя и водворит к нам.

Собственно, ты, может быть, этой верностью домохозяйству ничего не потеряла, кроме одного: ты бы каждую минуту видела, какую радость ты мне доставляешь своим присутствием, а сознание этого всегда ведь приятно.

Вот и все. Мне хотелось сказать тебе, что я тебя вижу, и поцеловать тебя. The rest is silence².

Твой Б.

¹ Арест О. В. Ивинской.

² Остальное — молчание (англ.). Последние слова Гамлета.

Дорогая Олюшка!

После Бороного такого письма трудно что-либо сказать. Я могу только повторить то, что писал тебе в последней открытке. А приезд Ирины и ее рассказы о тебе — еще более усиливают желание тебя увидеть здесь.

Крепко тебя целую и надеюсь на твой к нам приезд.

Твой *Шура*. Переделкино, 1.VIII (уже!).

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 11 октября 1951

Оля, где ты и что с тобой, т. е. как твое здоровье? Прошлой зимой ты так жаловалась на кишечник, что напугала меня и сама была в страхе (или наоборот: в полном бесстрашии готова была к самому ужасному). Как теперь? Поправилась ли ты, как мне все время верилось?

Последний год самый процесс писания вызывает у меня сильные боли в левом плече и прилегающих частях спины и шеи. Вот отчего я не писал даже и тебе, ограничиваясь писаньем для заработка, по долгу службы.

Жив ли Владимир Иванович и как Машура, ее муж и семья? Кланяйся им всем и напиши о них и о себе самой. Растолкуй Машуре, что это не слова и не отписка, ты же в таких увереньях не нуждаешься.

Крепко целую тебя.

Твой *Боря*.

Поклон от всех: от Зины, Лени, Жени (а Женя — он в Черкассах), Шуры, Ирины (Федя на работе в Новороссийске, у него маленькая дочь), Розы (Фединой жены) и т. д. Все здоровы и благополучны.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 17.X.1951

Дорогой Боря!

Я тебе очень благодарна за письмо — и за память, и за незлобивость. В последнее время так много о тебе думала, что ты не мог этого не чувствовать.

Зина наверняка ставила мое молчанье в связь с нашей последней встречей и ее тематикой. Но, вообра-

зи, как раз навыворот, не себя я жалела, а тебя. У меня были огорчения, которыми я не хотела тебя заражать.

Что сказать о своем здоровьи? К весне мне стало так плохо, что пришлось уехать на два месяца под Ленинград, где я затратила огромные деньги, чтоб создать себе санаторные условия. Только что я стала выходить из прострации, как неприятности отыскивали меня и вызвали в город, на факультет. Два тяжелых месяца спутали во мне грани между лечением и страданием.

Сейчас я на пенсии, в отставке. Не откликайся на это лирикой, ни в стихах, ни в прозе.

С Машурой мы весной этого года вдруг подружились. Это очень нас обеих поддерживает. У нее живой ум, прямая и преданная душа, темперамент ее матери, и она всесторонне—культурна. Сейчас у них беда: Павел, ее муж, заболел серьезной сосудистой болезнью.

— Спасибо всем за приветы, а особенно тебе за целительную имажинарность этой ласки. Я храбрюсь, не даю себе падать, работаю, живу, много бываю в театре. С желудком опять не хорошо, да и не с ним одним. Но центр тяжести не в этом.

Сердечно Вас всех обнимаю и я и Машура.

Твоя Оля.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 16 июля 1952

Дорогая Оля!

Как странно, что именно в эти дни пришло твое письмо. Удивительное стечение обстоятельств! Как раз Ливанов¹ с женою очень уговаривали меня с Зиной поехать с ними в Ленинград на время Мхатовских гастролей, убеждали, посылали за нами художницу театра В. М. Ходасевич, имелась готовность административной части театра на устройство комнаты в гостинице и в предоставленном артистам доме в Териоках и прочая и прочая, а я отказался.

Но то, что Ленинград был некоторое время предметом обсуждения, осталось в воздухе, и на днях Зина и Леня все же поехали в Ленинград с женой и дочерью грузинского писателя Леонидзе. Они уезжали из города в то время, как я безвыездно живу на даче.

¹ Ливанов Б. Н.—актер Художественного театра.

Вчера, пятнадцатого, я был в городе и подумал, попадет ли Зина с Леной на «Ромео» в эту поездку (об этом не было речи при отъезде, я их не провожал, а в Перedelкине забыл ей об этом напомнить).

Кажется, в пятницу восемнадцатого они вернутся. Может быть, я от них узнаю, что они столкнулись с тобой где-нибудь на улице, или что какая-нибудь другая случайность свела вас вместе. Она, я знаю, и в случае каких-нибудь формальных затруднений в гостинице (вследствие отсутствия командировки) не будет обращаться ни в издательства, ни в Союз писателей, никуда, а выпутываться сама, как сама она предприняла эту поездку на естественных основаниях. Она не взяла, сколько я знаю, с собой ни одного Ленинградского адреса и не собиралась разыскивать даже Ливанову, так нас именно звавшую в Ленинград, которая на нее так же верно обидится, как теперь и ты, если только, по какой-нибудь непредвиденности, вы не встретитесь.

Как молодо и с какой отчетливостью мысли ты рассуждаешь о перемене художественных форм и их назначении, о театре, о кино, как по-философски талантливо и с какой безошибочностью судишь о строении разных творческих явлений и их подобии!

Я разметил несколько таких мест твоего письма, удививших меня близостью к тому, на чем стою и как думаю и я, и превосходством твоей немногословной ясности над моей манерой прикасаться к тем же предметам. Это все очень хорошо, и для того чтобы не превратить письмо в трактат, я воздерживаюсь от ссылок и примечаний по их поводу.

И если ты даже выделила Ливанова, потому что знаешь, что это мой лучший друг, то и в таком случае меня радует, что наше отношение к нему сходится. Его нельзя назвать неудачником, нельзя сказать, что он не понят, недооценен, но широта его мира, разносторонность, образованность и то, что он не замкнулся в рамки характерного актера, позволяет его собратьям коситься на него под многими предлогами: под тем, что он недисциплинирован, что он страдает манией величия, что он недостаточно профессионален и не вполне отгородился от стихии дилетантизма, что он пьяница и буйан и пр. и пр.

19<июля 1952 г.>

Вчера приехала Зина. Все, конечно, получилось так, как я предполагал. У них были затруднения с номером,

и они с трудом остановились в Октябрьской гостинице. Среди объезда окрестностей они даже были в Териоках и не удосужились узнать адрес Ливановой, ее и не искали.

Еще раз спасибо тебе за яркое письмо, распираемое теснящимся, набегающим содержанием. В конце письма у тебя есть фраза: (ты ею объясняешь отсутствие упоминаний о быте, здоровье и пр.): «Но я давно потеряла тебя и Шуру как братьев» и пр. Если это упрек и написано в тоне сожаления, то это горе очень легко поправимо. В ту самую минуту, как тебе под каким-либо видом потребуются эти братья, ты убедишься, что ты их не теряла.

Если же эти слова сказаны в совсем другом смысле и определяют род существования, протекающий вне начала семейственности, то я очень хорошо знаю этот мир, и в таком случае все тоже в порядке.

Крепко целую тебя.

Твой Б.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград <3.I.1953>

Боречка, милый, родной, я прямо-таки потрясена письмом Шуры с известием о модном несчастье, которое стряслось с тобой¹. Не могу сказать, как я взволнована и опечалена, сколько встало в душе. Я-то думала — «родственные начала», о которых ты писал, что они чужды тебе. Но все это вздор, когда наступает то серьезное, большое, что вершит нами. Они есть, эти родственные начала, они сильны, и может быть, только они одни на свете и настоящие. В такие минуты постигаешь это.

Дорогой мой! Надо же, чтобы до меня не дошло то письмо Шуры, где он извещал меня о твоем заболевании. И я узнала только что. Он говорит, ты уже на ногах. Слава Богу!

Я пережила с самого начала, словно это произошло только что,—и за себя, и за маму, и за дядю с тетей. Через всю семью, через все десятилетия.

Обнимаю тебя, мой родной, и плачу вместе с тобой над пережитым.

У меня много вокруг знакомых инфарктных, но

¹ Инфаркт миокарда.

самый разительный пример — Борис Михайлович Эйхенбаум, раз за разом, за один присест, перенесший три инфаркта в очень тяжелой форме и ныне веселый, здоровый, просто как огурчик.

Все, бог даст, пройдет благополучно, и ты ничем не будешь чувствовать себя хуже всех здоровых людей. Мы все в шатком «сосудном» состоянии, это стало неизбежным.

Крепко, нежно, горячо тебя обнимаю и всей силой души с тобой. Будь здоров в Новом Году, поправься, окрепни. Я обязательно летом повидаюсь с тобой.

Твоя Оля.

Машура просила сказать тебе от ее имени самое сердечное.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 20 января 1953

Дорогая Оля!

Твое письмо ждало меня дома, я выписался в день его получения. Самый внешний вид его доставил мне огромное удовольствие: ровный, полный энергии полет размашистого уверенного почерка, каким он был до войны или еще раньше.

Спасибо в отдельности за обращение к Зине. Она на тебя ничуть не сердится и никогда не чувствовала, чтобы что-нибудь осложняло ваши отношения.

Все, что я пишу тебе, относится также к Машуре, но я не могу написать ей отдельного письма, потому что это мне пока еще трудно (оттого же пишу карандашом). Спасибо ей и тебе, что вы приняли мою болезнь так близко к сердцу. Покажи ей это письмо или перешли.

Мне вменили в обязанность соблюдать осторожность. Я не знаю, до каких пределов ее распространять. Ощущение присутствия сердца внутри почти никогда не прекращается, в самых разнообразных формах, которые неудобны только тем, что я не понимаю, опасны или неопасны эти сигналы.

Этот вынужденно-бездеятельный, выжидательный способ существования (говорят, полгода или год надо считать себя больным) очень сходится с прежним вынужденным бездействием по причине избытка сил и здоровья и им подготовлен.

В первые минуты опасности в больнице я готов был

к мысли о смерти со спокойствием или почти с чувством блаженства. Я сознавал, что оставляю семью на первое время не в беспомощности и что у них будут друзья. Я оглядывал свою жизнь и не находил в ней ничего случайного, но одну внутреннюю закономерность, готовую повториться.

Сила этой закономерности сказывалась и в настроениях этих мгновений. Я радовался, что при помещении в больницу попал в общую смертную кашу переполненного тяжелыми больными больничного коридора, ночью, и благодарил бога за то, что у него так подобрано соседство города за окном и света, и тени, и жизни, и смерти, и за то, что он сделал меня художником, чтобы любить все его формы и плакать над ними от торжества и ликования.

Крепко целую тебя. Твой *Боря*.

Кланяйся Эйхенбауму, если он помнит меня и если ты его увидишь. Удивительное дело. За 10 минут до случившегося инфаркта я шел по Бронной и на противоположном тротуаре увидел шедшего навстречу Эйхенбаума или человека, очень похожего на него. Если бы это был Борис Михайлович, он как-нибудь отозвался бы на этот пристальный взгляд. Я смутно вспомнил, что он очень был болен, подумал, как ничего никогда нельзя знать наперед, а через 10 минут...

Целую тебя.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 25.1.1953

Я шла домой по морозной улице и в миллионный раз пересматривала свою жизнь,—как часто делаю за последнее время. Думала о тебе. И еще с этой о тебе думой увидела в дверном ящике твое письмо.

Слава богу, что уже опять вижу твой почерк, слышу тебя.

Хочу рассказать тебе о Борисе Михайловиче. Он был тронут и глубоко польщен твоим приветом. То на Бронной был не он. Но странное совпадение объясняет твоей необыкновенной тонкостью чувства. На твой вопрос («если он меня помнит?») ответил: «Не только помню, но имя Бориса Леонидовича звучит для меня торжественно. Много большого означает это имя, и невозможно его «помнить» или «не помнить». Так вот, Борис Михайлович несравненный специалист по инфар-

кту. Он просил передать тебе: 1) испытательный год действительно показан. Необходимо год не работать, но, зато, по истечении года человек возрождается. Сам Борис Михайлович не верит, что был приговорен к смерти. Он здоров и вполне работоспособен. 2) Инфаркт опасен между 40—50 годами. В твоём возрасте болезнь исцелима (Борису Михайловичу 66 лет). 3) Если ты не гипертоник и не страдаешь стенокардией (грудной жабой), то ты со временем забудешь, что перенес эту болезнь, так она благополучно заживет.

Вот эти три пункта я не могу тебе не сообщить. Делаю такую оговорку, так как не хочу втягивать тебя в переписку и обременять тебя ответами. Ради бога, не считай нужным мне отвечать. Я прекрасно понимаю, что тебе нужен отдых именно по части писания.

Ты, наверно, уже в санатории. На всякий случай: имей в виду, что час езды от Ленинграда переносит человека в божественный по климату и благоустроенный посёлок Комарово (бывшее Келомякки, под Териоками). Там воздух — нет, кажется, равного! Есть там «дом творчества» писательской организации, с отдельными комфортабельными комнатами и полным пансионом «повышенного типа». Там и окреп Эйхенбаум.

Желаю тебе полной поправки. Не могу сказать, как я пережила твою болезнь. И как тебя люблю, как ты мне дорог.

У мужа Машуры рентген показал рак желудка, а я этого не допускала из любви к ним и верила, что мой оптимизм в состоянии изменить диагноз. Так, представь себе, и вышло: вера оказалась правильной рентгена. У него только язва.

Сердечно обнимаю тебя. Привет Зине и Ленечке. Я всей душой сопереживала с ними тревогу за тебя. Будь здоров.

Твоя Оля.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 27.V.1953

Дорогой Боря!

Много и часто думаю о тебе. О твоём здоровье запросила Шуру ещё в апреле, но ответа не получила. Едва ли можно предположить, что теперь пропадают письма¹. Что же думать? — Не знаю.

¹ Письмо не пропало, но А. Л. Пастернак, занятый по работе и в трудных домашних обстоятельствах, сумел ответить О. М. только в июне.

Наш город стал провинцией. Все, что еще живет, говорит, действует, переводится в Москву. Не стало ни мысли, ни действия. Провинция — плохое старое слово, из которого, как из флакона, испарился Рим. Теперь она сказывается в мелкоумии, капитальных ремонтах с выселением и без выселения, в Шемякиных судах и пародировании общественных гротесков, вроде «Смерти Тарелкина». Как ни описывали провинцию! от «Ревизора» и до Пошехонья. Но, в сущности, ее следует изобразить в полном безличьи и отупелой слепоте, иначе — в равнодушии и непонимании термина «жизнь». Мне так тяжело от этого кладбищенского провинциализма, что сказать не могу! У меня идет капитальный ремонт без выселения, все изничтожено, изгажено, по-слепому тупо и глухо. Это отсутствие разумности («логики») и мотивировок, когда касается не критики и гносеологии, а уборных и дымоходов, непереносимо.

Я говорю, может быть, о пустяках, но у меня смещены планы, и я больше не понимаю, что значит пустяк.

Большое горе у Машуры. Ее муж Павел пошел оперировать язву желудка, был в хорошем состоянии. Ему прибавили перитонит, а сердце, которое обязано было «не выдержать» (стенокардия, инфаркт и прочее диагнозы), никак не хотело умереть. И пришлось ему пройти через огромные муки. И, конечно, погибнуть. Не пойдя он на операцию, еще пожил бы не один год.

Что сказать о себе самой? Я много сделала за эту зиму. Но пишу неровно, с печалью в сердце, повторяюсь, сбиваюсь. Обстоятельства, люди и эпоха внушали мне безверье в свои силы. Мне предстояло оправдать свое рождение от моих отца и матери. Общественным масштабом я не владею из-за упорства своего характера и ненависти к оппортунизму. Но есть своя прелесть и в том, чтобы в 63 года оправдаться перед лицом прожитых собственных лет.

Я работаю последние годы над эстетикой античного художественного образа¹. Мой материал — трагедия. Между прочим, проблема хора особенно в ней трудна, даже чисто внешне: диалектальность, архаика мысли, образов, оборотов. Но едва ли кто-нибудь у нас знает трагедию и может ее читать лучше меня. Последнее десятилетие я читала студентам только трагедию и

¹ Имеется в виду трактат «Образ и понятие», опубликованный в «Мифе и литературе древности» в сокращенном виде (М., 1978).

Платоновский «Пир», который есть альфа и омега классики.

Любопытные вещи получились у меня. Я непререкаемо верю в их правоту. А главное: я могла добраться до них только тем путем, которым шла. Это-то и есть «оправданье».

Лето я проведу под Териоками, в академическом рае Комарова, где за комнату с верандой и балконом плачу... 4000 р.! Физически я, как ныне говорят, «ничего», умственно — тоже, но страшно утомлена душевно, хочется сказать — смертельно, неизлечимо, ибо — ибо всему на свете положен предел. А что желудок то плох, то лучше, так это связано, может быть, с язвой, но я не лечусь. Но не это худшее из зол.

Крепко тебя обнимаю.

Твоя Оля.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 12 июля 1953

Дорогая Оля, я глазам своим не верю, что это наконец я пишу тебе. Спасибо тебе, не пиши мне, пожалуйста, таких чудных писем. Тяжко чувствовать себя дикой скотиной, оставляя их неотвеченными изо дня в день.

Фауст, работа и пр. не извинение: основная гадость остается налицо. Это моя добрая воля или высшая степень моего нынешнего эгоизма, что я в большей мере, чем бывало раньше, исключая все и жертвую всем ради двух-трех задач или трудов, ставших после инфаркта неотложными.

Надо умереть самим собой, а не напоминанием о себе (об этом и ты пишешь!), надо кончить роман и кое-что другое; то есть, это не то выражение, не надо, а хочется, хочется непобедимо сильно. Как я себя чувствую? Да наисчастливейше, по той простой причине, что чувство счастья должно сопровождать мои усилия, для того, чтобы удавалось то, что я задумал, это неустранимое условие. И по какой-то предуготовленности, это чувство счастья ко мне возвращается из достигнутого, как производственный след его возникновения и обратная отдача.

Пошла корректура обеих частей Фауста, и я не меньше десятой доли этой лирической реки в 600 страниц переделал заново в совершенно других решениях,

было любопытно, могу ли я еще себе позволить такую блажь и дерзость, как, не считаясь с часами дня и ночи, пожелать родить на свет такого Фауста, который был бы мыслим и представим, который отнимал бы у пространства место, им занимаемое, как тело, а не как притязание, который был бы Фаустом в моем собственном нынешнем суждении и ощущении.

В твоём письме очень важно то, что ты говоришь о трагедии и хорах. Как я что-то из мира этих представлений преследовал в триметрах и хорах третьего акта второй части! И затем, загробные обрядности пятого акта. Ах, какое счастье было биться над выражением этого всего, чтобы оно пело, дышало, существовало. У Гете и у меня лучше всего получилось самое трудное, немислимое и неисполнимое: загробный греческий мир третьего акта и загробный христианский, современный. Мне кажется: осенью книга выйдёт, и из этого хвастливого письма вырастает и надвигается на тебя угроза неизбежного прочтения ее.

Я ничего не написал тебе. И ты видишь, как торопливо добывается это прощение, которое я хочу получить от тебя, безобразною спешкою, теснящеюся в одну фразу через все письмо, да еще почерком, который может тебя обеспокоить мыслью, не заболел ли я снова.

Крепко, крепко целую тебя.

Меня живо огорчила Машурина утрата. Я мало знал ее мужа, но знал только с лучшей стороны, мне он очень нравился своей внешностью, умом, мужской положительностью и спокойствием. Если можно, я спустя некоторое время напишу ей. Прости меня, я и тебе пишу как-то призрачно, не чувствуя, что пишу тебе. Я был все время с тобой и с твоим письмом, но бездеятельно,—деятельно же я с какой-то отвратительной жадностью весь в одной работе.

Крепко целую тебя.

Твой *Боря*.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 30.XII.1953

Дорогая Олюшка, с Новым годом! Отчего я не пишу тебе? Вследствие, главным образом, лежащего в основе свинства, разумеется. Но есть и другие причины. Потому что надо встретиться, пожить вместе. В этих

условиях взаимосведомление проходит естественно. Да и не в информации дело, а в развивающейся в совместной болтовне философии. Затем я не пишу потому, что все более или менее в порядке у меня, а писать о хорошем всегда граничит с хвастовством или на него сбивается.

Ничего, конечно, для меня существенным образом не изменилось, кроме одного, в нашей жизни самого важного. Прекратилось всedневное и повальное исчезновение имен и личностей, смягчилась судьба выживших, некоторые возвращаются.

Все, что ты мне предсказала хорошего в близком после инфаркта будущем, начало сбываться в конце лета. Кажется, я тебе об этом писал. Мне удалось переделать чудовищную махину обоечастного Фауста, как мне хотелось. След удовлетворения, оставшийся у меня после возвращения корректур, неправильно разрастался в ожидании выхода книги и создал иллюзию, будто переводом и содержательно, в смысле материально-ощутимого целого и системы мыслей, достигнуто что-то новое, сразу открывающееся, очевидное. Теперь Фауст вышел. Я вижу, что это не так, что это ошибка ощущения. Но у меня нет разочарования. В это заблуждение насчет внутренней стороны текста я введен другою удачей: текучестью и естественностью языка и формы, единственным условием, при котором можно прочесть около 600 страниц лирического стиха, то, чего я в первую голову добивался и добился.

Я вчера (но еще в самом грубом поверхностном наброске или пересказе) кончил роман, которому только недостает задуманного эпилога, и написал около дюжины новых стихотворений. Вот уже и глупо, что я тебе все это пишу. Что дает это перечисление? Однако, ты из этого заключи, что я здоров и что у меня легко на душе.

Последнее время частые припадки печени у Зины, так что мы отменили предполагавшуюся встречу Нового года. Вчера и позавчера у нее были сильные боли, сегодня ей легче.

Все вышеизложенное есть только распространенное вступление к единственно важному, к просьбе, чтобы ты при первой возможности, как-нибудь в начале января, написала мне о себе и Машуре, как вы и что у вас слышно. И передай ей, пожалуйста, самые лучшие пожелания и поздравления с наступающим Новым годом. Крепко целую тебя.

Твой Боря.

Ленинград, 27.XII.1953

Боря, дорогой, где же Фауст? Я не смела тебя беспокоить родственной лирикой, но мне очень хотелось издать тьму восклицаний. Ведь я, не зная о твоей работе над Фаустом, уже несколько лет ждала ее, и на моем столе водворялись бумажки с надписью: «Фауст». Это значило, что я жду его и буду тебе о нем писать. И вдруг — твое сообщенье, что он выходит в свет. С Новым годом, с Новым Фаустом! Но где он?

Чмок, чмок. Твоя Оля.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 31.XII.53

Мамочка моя родная, сестра моя Олюшка! Подумай, какое совпадение! Я сегодня утром написал тебе письмо, намеренно серое, чтобы не связывать тебя и не побуждать к длинному ответу. Но этот холод к Фаусту и все, что там о нем сказано, — искренне и оправдано, и остается в силе. Я захватил письмо на прогулку и забыл опустить его в ящик, имел в виду выйти вечером и отослать. И вдруг — твоя открытка, с ее безмерным теплом меняющая весь тон разговора.

Завтра вышлю тебе Фауста, но верь мне, это факт уже свершившийся и отошедший в прошлое. У меня никакого нетерпения к нему, можешь даже не читать его. Писать же даже совсем немного о нем и не думай, прошу тебя!! Я ведь не кривляюсь и не рисуюсь, ты, надеюсь, мне поверишь.

Я уже и в первом письме хотел как-нибудь довести до твоего сознания, не вдаваясь в частности и доказательства, что мне очень хорошо. Я уже и раньше, в самое еще страшное время, утвердил за собою род независимости, за которую в любую минуту мог страшно поплатиться. Теперь я могу ею пользоваться с гораздо меньшим риском. Но не в этом источник моего хорошего самочувствия. Тому много причин, много реальных и много воображаемых. Но внешне ничего не изменилось. Время мое еще не пришло. Писать глупости ради их напечатанья я не буду. А то, что я пишу,

все с большим приближением к тому, что думаю и чувствую, пока к печати непригодно. Спасибо тебе за открытку. Люблю и целую тебя.

Твой Б.

Как ты заключишь из первого письма, я Фауста даже не собирался посылать тебе именно, чтобы тебя им не «беспокоить». Как тебе все это объяснить? Это вещи элементарные из начальной физики. Для того, чтобы все это существовало, значило, двигалось (Фауст, я, работы, радости), требуется воздух. В безвоздушном пространстве оно немыслимо. А воздуха еще нет. Но я счастлив и без воздуха. Вот пойми ты это, пожалуйста.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

<Надпись на книге Гете «Фауст». М., ГИХЛ, 1953>

Дорогой сестре моей Оле,
талантливой, мужественной, умной
От *Бори*

к новому 1954 году

31 декабря 1953 г.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 7.I.1954

Дорогая моя Олечка, сестра моя! Этим ответом на твою телеграмму я хочу предупредить тебя, хочу предотвратить ненужную с твоей стороны трату времени и душевных сил, ненужную, как говорила покойная Цветаева, растрату. Третье письмо я пишу тебе, чтобы рассказать тебе, как двойственна и таинственна, как разбросана по сторонам и противоречива моя жизнь, каким счастьем я полон последние месяцы и в каком я отчаянии от того, что внутренний этот план для внешнего ничего не значит,—третье письмо пишу я тебе об этом и до сих пор ничего не сумел объяснить.

Не страдай за меня, пожалуйста, не думай, что я терплю несправедливость, что я недооценен. Удивительно, как уцелел я за те страшные годы. Уму непостижимо, что я себе позволял!! Судьба моя сложи-

лась именно так, как я сам ее сложил. Я многое предвидел, а главное, я многого не в силах был принять,—я многое предвидел, но запасся терпением не на такой долгий срок, как нужно. И, как я писал тебе, время мое еще далеко.

И ведь Фауст—не главное. Рядом есть вещи, перевешивающие значение работы,—роман, подведение его к концу, новые стихотворения к роману, новое состояние души. Это внутренне значит безмерно много и внешне не значит ровно ничего.

Я знаю, что много хорошего в переводе. Но как мне рассказать тебе, что этот Фауст весь был в жизни, что он переведен кровью сердца, что одновременно с работой и рядом с ней были и тюрьма, и прочее, и все эти ужасы, и вина, и верность¹. Но и это не главное.

Последнюю волну живой воды, расшевелившей текст, я пролил на него в листах корректуры нынешним летом. Переделки мои, совершенно новые страницы, количественно очень многочисленные, уходили в возвращаемых листах, у меня дома следов от сделанного не осталось, и вследствие спешки я ничего не помнил. С результатами я столкнулся только теперь, и во всей книге строчек, которые продолжали бы меня коробить своей скованностью, наберется не больше десятка, их так легко было переделать,—не хватило смелости отойти от буквы подлинника чуть-чуть больше в сторону, на свободу. В остальном же все звучит и выглядит, как мне хотелось, все отлилось именно в ту форму, о которой я мечтал.

Разочарован я другим. Сверх хорошего перевода сам Гете еще нуждался в претворении и превращении посредством хорошего вдохновенного введения и комментария, которых нет. Сколько раз предлагал я в этом направлении свои услуги. Но разве можно какому-то непосвященному беспартийному доверить такой ответственный идеологический участок? А я мог бы так живо и доступно, легкою сжатой прозой пересказать содержание, так естественно выделить действительные странности оригинала, несообразности его последовательности с нравственной точки зрения, остающиеся здесь неотмеченными и необъясненными, и так честно и заинтересованно сам бы постарался найти им объяснение, что из этого что-нибудь наверное бы получилось, приносящее свой деятельный свет в дополнение к проясняющему действию перевода. Ах, как все мы

¹ Имеется в виду арест О. В. Ивинской 9 октября 1949 г.

были без надобности свободны, когда еще ничего не значили и ничего не умели!

Не пиши мне много, пожалуйста, не утруждай себя длинным и сложным разбором. Ты знаешь, как я ценю и люблю твои письма,—дело не в этом. Не отравляй себе удовольствия, которое все же тебе наверное доставили некоторые страницы, вымышленной утомительной обязанностью в ответ или отплату. Не терзай своего сердца обидными сопоставлениями того, как это велико, с тем, как это мало или недостаточно признано. Я не могу тебе ничего сказать о том подпольном признании, которым балует меня судьба, оно всегда так неожиданно, но говорить об этом было бы глупо и нескромно,—и самое неслыханное и фантастическое из этой области—чужие тайны, которых я не вправе касаться. Прости меня, зачем я пишу это все тебе, я ничего не умею сказать. Мне хорошо, Оля.

Твой Б.

ФРЕЙДЕНБЕРГ—ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 6. I. 1954

Дорогой Боря!

Только что я хотела ответить тебе, как следует, на твои два письма, особенно на последнее, поразившее меня братской сердечностью, живостью и ласковостью (я так и метнулась к тебе, и столько во мне поднялось!),—как пришел Фауст.

Ты и взаправду *должен* быть счастлив, быть удовлетворен высшим и единственным на земле удовлетворением. А сколько раз ты считал себя у конца! Бесплодие творящего—милость Божия. Она наливает силой и дает паузу, без которой не было бы на свете ритма. Когда ты падал—сколько предстояло тебе сделать! Что ждало тебя!

Фауст—это монумент твоей славы. Я взяла профессиональными руками книгу, посмотрела в нее—и поняла это.

Но почему именно Фауст? Чего еще недоставало тебе после тебя самого и Шекспира?

Потрясает картина твоего в 64 года полноводья. Ты вдруг вышел из заточенья не с бледным лицом, а в горностае, во весь рост творческой гордости, во всем великолепии высочайшей полноты и меры.

Я не люблю родины Пуришкевича и III-го Отделения. Я устала до смерти от желудочной болезни, от

тошноты, надрывающей сердце. У меня головокруженья и рвоты, но с отвратительным отсутствием беременности. Я несколько лет не говорила с тобой из-за Шпекина¹.

Но когда я взяла в руки твою книгу, я подумала: вот это — ощупь культуры во всей ее осязательности. Это вклад, который делается на глазах нерукотворным событием кровью русской культуры, ничем не смываемой. Дверь отворилась, ты вошел и сел. Это — факт.

Тут уж нет ни вкусов, ни школ. Означаешь ты будущее или прошлое. Сурков ты или Исаковский, Бурлюк или буржуй — или Александр Александрович Смирнов. На Фаусте они зубы себе обломают, потому что это шире — для русской культуры, — чем Шекспир или Пастернак. Это первый русский Гете, уже не говоря о Гете ГДР. Это политический факт. Так что и для слепых и для зрячих. Превосходен язык, живой, естественный, точный, сжатый. Простота формы сочетается с полнотой гетевской мудрости, и ее измеренье в глубину дается легко, как во всякой подлинной зрелости. Прекрасно играет ирония и налет шутки, составляющей привкус немецкого средневековья. Все дано в движеньи и в колорите. Заострены сентенции, которых так много, и концовки. Чудно звучит мелос.

Да, ты не можешь не чувствовать себя хорошо. Тебе дано счастье не только быть великим, но и стать великим. Тебе дано осуществленье.

Я еще не все прочла, но ясно одно: ты изменил природу перевода, сделав его из обычного иностранца в кафтане — самостоятельным оригиналом, который жадно читается без ощущения, что ты в гостях. Как горько, что закрыты мамины глаза! Как бы она теперь читала!

Надписью на книге ты меня огорошил, чтоб не сказать — огорчил. Насколько было бы лучше, если б не было этой оценки, такой неестественной в устах брата. Ты неисправимый... литератор.

Крепко обнимаю тебя.

Твоя Оля.

Я уверена, что ты получишь официальное признание.

¹ Почтмейстер в «Ревизоре» Гоголя, читающий чужие письма.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 18.III.1954

Боря, в апреле пойдет твой Гамлет в Александринке. Тебе не хотелось бы послушать себя в звучаньи? Этот спектакль несет большой смысл... Приехал бы ты на генеральную репетицию или премьеру. Я могу узнать точную дату. Пожил бы у меня, сироты.

Гамлета будет играть Фрейндлих, талантливый актер; очень был хорош... в Хлестакове. Я уверена, ты остался бы доволен.

Обнимаю тебя.

Твоя Оля.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 20.III.1954

Дорогая моя Олюшка, спасибо тебе сердечное за открытку. Я знаю об этом спектакле, со мной списывался Козинцев, режиссер, и тоже звал в Ленинград. Я не поеду. Мне надо и хочется кончить роман, а до его окончания я — человек фантастически, маниакально несвободный. Вот, например, до такой степени.

В апрельском номере журнала «Знамя» собираются напечатать десять моих стихотворений из романа «Живаго», в большинстве написанных в этом году. Я их читаю в гостях, они мне приносят одну радость. Их могло бы быть не десять, а двадцать или тридцать, если бы я позволял себе их писать. Но писать их гораздо легче, чем прозу, а только проза приближает меня к той идее безусловного, которая поддерживает меня и включает в себя и мою жизнь, и нормы поведения и прочее и прочее, и создает то внутреннее, душевное построение, в одном из ярусов которого может поместиться бессмысленное и постыдное без этого стихописания. Мне не терпится освободиться поскорее от этого прозаического ярма для более мне доступной и полнее меня выражающей области.

Или, например, если не считать некоторого Зининого неприкосновенного сбережения, с текущим, повседневным бюджетом у меня теперь некоторая временная заминка. И опять, из-за неоконченного и пишущегося романа у меня нет времени постоять за себя, что-то предпринять, похлопотать в издательстве и т. д.

Вследствие поглощенности этою мыслью, у меня нет времени спорить, когда мне говорят глупости, и за недосугом я со всеми соглашаюсь и предпринимаю правку, о которой просят редактора переиздаваемых переводов, хотя этого совсем не надо делать. Видишь, какое несчастье этот роман и как надо стараться поскорее от него избавиться. По тем же причинам пишу тебе второпях, за что прошу простить меня.

Я тебя не поблагодарил за твое щедрое чувствами, великодушное письмо о Фаусте. Но оно было именно то, написание которого я хотел предупредить и не успел. Как ты доверчива, если думаешь, что перевод оценят и обратят на него внимание (я привожу в своих выражениях надежды, которые ты питала в письме). У меня никогда расчетов и притязаний таких не было и быть не может.

Теперь о другом, гораздо более важном. Если ты знаешь кого-нибудь из участников постановки и спектакля, передай им от меня выражения сильнейшей признательности и пожелания успеха. Чтобы они не думали, если я остался в стороне, молчу и не даю о себе знать, что я что-то возомнил о себе, что безразличен к ним и что работа их не представляет для меня значения. Или иногда я отзываюсь слишком вынужденно торопливо с превратными последствиями, на письме лежит налет угрюмой отписки, способной оскорбить получателя. Так, на меня, кажется, обиделся Козинцев.

Милая, дорогая Оля, вот и тебе написал я безобразное по глупости письмо, состоящее из единственного слова «роман» в двадцати повторениях. А как бы я хотел обнять тебя, повидаться и поговорить с тобой!! И это будет, будет когда-нибудь, увидишь. Без конца целую тебя.

Твой Боря.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 27. III. 1954

Дорогая Олюшка!

Мне прислали афишу о готовящемся Гамлете, расклеенную у вас. Это очень радостно, но там неправильность, сказано: перевод Б. Пастернак, а не Пастернака, как надо. Я об этом писал Козинцеву, но в вежливой, не настойчивой форме, прося его, чтобы в следующих афишах о днях спектаклей ошибку исправили и имя

склоняли. Если у тебя есть знакомства с кем-нибудь из группы близко стоящих к театру или постановке, сделай милость, напхни об этой моей просьбе, и чтобы кто-нибудь последил о ее исполнении. Если это для тебя сопряжено с какой-нибудь неловкостью или трудом, если нет путей, забудь и прости.

Крепко тебя целую.

Твой *Боря*.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 3.IV.1954

Дорогой Боря, я сделала то, что ты хотел, но дойдет ли грамматика до сознания корректора, — сказать трудно. Увижу на премьере 11-го апр<еля> афишу. Играют самые первые актеры. После премьеры опишу тебе все впечатления. На тебя все обижены, до широкой публики включительно.

До скорой бумажной встречи!

Твоя *Оля*.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 4 апреля 1954 г.

Дорогая Оля!

Ответь одно: исправили ли имя на афишах (Пастернака). Тебя, наверное, поражает эта мелочность при кажущемся отсутствии интереса ко всему остальному. Но крупными, частями жизнь будет возвращаться с неисчислимо многих и разных сторон. За всем не поспеть. Мне привезли уже одно мнение артистов московского гастролирующего у вас театра, соперников и недоброжелателей, похваливших Полония и призрака отца и нашедших Гамлета слишком деятельным и оптимистичным, не оставившим ничего от трагедии. Но ведь таков перевод. Бедные исполнители! Привезут мне еще и другие сплетни.

Целую тебя.

Твой *Боря*.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 10.IV.1954

Ошибка исправлена. Завтра премьера, жду с волнением. Жди отчета от меня.

Пишу по дороге из театра на почте, в руках колбасы, сосиски и булки для приятельницы. До послезавтра.

Твоя Оля.

ПАСТЕРНАК — ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 12 апреля 1954

Золото мое, Олюшка, спасибо тебе, что ты так горячо и деятельно держишь меня в курсе событий. Слышал очень хорошие отзывы о спектакле. В Ленинграде часто бывает Ливанов, большой мой друг, который должен был играть Гамлета во МХАТе пятнадцать лет тому назад. На днях он был с женой, и оба (приятели Черкасова) просили у него и Козинцева, чтобы их пустили на генеральную, и им отказали. На премьеру отсюда выехала Л. Ю. Брик. Вообще это — театральное событие, о котором будут мнения самые разнообразные и противоположные. Не страдай за меня, как я всегда прошу. Сейчас должен выступить на одном вечере венгерской поэзии. В четвертом, апрельском номере журнала Знамя есть несколько моих стихотворений из романа. 16-го будет обсуждение Фауста (перевода) в Союзе писателей. Пока все это очень незначительно и пока, все же, очень чуждо. Только бы хватило сил для решающих проявлений и не подорваться на этих предварительных пустяках. А столько еще можно сделать и сказать!

Целую тебя, хорошая моя.

Твой Б.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 11.IV.1954

Дорогой Боря!

Спектакль великолепный, но без Шекспира. Гамлета ставят, как современную психологическую реалистиче-

скую драму. Когда я прочла в газете, что в Гамлете показаны «уродливые общественные отношения» и что цель Козинцева «ярко воссоздать образ героя, защищающего стремления людей к разумной жизни, лишенной лжи, насилия, угнетения человека человеком», я готова была увидеть в Гамлете народного демократа или предтечу декабристов. Кое-что в этом направлении имеется—пантомимический показ простого народа и восстание, предводительствуемое Лаэртом в одежде корабельщика, с разорванной белой рубахой. Но это не больше, как «приближение к нашей современности». Желая побороть рутину, театр дал много нового в трактовке и в мизансценах. В начале—пролог. Темно. Бьют башенные часы, средневековые, с заводными средневековыми фигурами. В глубине сцены—гробница, Гамлет перед ней на коленях. Благоговейно толпится народ. Гамлета любят, к нему тянутся. Он одаряет нищих.

Клавдий—маленький, рыжий, бледный; он суетлив. Смотрится в ручное зеркало. Гертруда—красивая женщина, без степенности, но с мелкой заносчивостью. Полоний традиционно толст и очень хитер. Лаэрт—бандит. Офелия приходит в своей последней сцене без цветов и венка, в бархатной верхней мантилье, пышной, которую потом сбрасывает.

Все естественны, правдивы, просты. Сцен на троне нет. Король и королева, как современные любовники, влекутся друг к другу, ищут рук и взглядов, ходят; «Гонзаго» разыгрывается в саду, с подмостков балаганной телеги. Призрак появляется на башенной вышке; он дороден, простоволос, добр, гуманен. Ну, а Гамлет?

Его играет умный, интеллигентный актер с широким диапазоном. Такого детально разработанного Гамлета я никогда не видела (уж не говоря о бездарном Качалове). Внешний образ до максимума прост. Черная одежда чуть не из коленкора, «шляпы» и кудрей нет. Большой лоб, высокая худощавая фигура, тонкие ноги. Умен, саркастичен и хитер в отношениях с врагами, добр и мягок. Трогателен. В сцене с матерью не резок, а после призрака по-чеховски нежен, грустен, мягок. Забыв игру, я смотрела на него, как на «живого» человека, жизнь которого проходила, как жизнь знакомого. Мысль «в чем же его драма?» не вставала. Разве ты думаешь о драме, когда у тебя в столовой пьет чай твой знакомый, «несчастный в жизни»?

Офелию играла даровитая молодая актриса, показавшая себя в Джульетте (из театра для детей).

Фигурка, молодость, полная естественность интонаций и движений, доведенная до бытовизма; но лицо простецкое, но поэзии никакой. Кто был хорош — так это Горацио. Я никогда не видела такой сердечности, достигнутой просто и скромно. Да: Розенкранц и Гильденстерн. Щегольски одетые высокие два красавца, без обычной угодливости и приседаний. Фортинбраса нет совсем. А тем самым нет и замечательного философского образа. Что такое Гамлет без Фортинбраса? Это так у Мопассана: в конечной фразе — раскрытие всего смыслового смысла (написала нечаянно, но оставляю). Второй возможный вариант жизни, облегченный, но настоящий, действенный, реальный; вот кто Фортинбрас. Это вечная молодость, это жизнь в непосредственном ее потоке и свершенье. Он должен прийти. Когда Гамлет умирает, приходит Фортинбрас — иначе не шла бы жизнь на земле. Сколько уносит с собой Гамлет! В чем его драма? В том, что он жил за жизнь (если б можно было так взаправду сказать!), брал на себя ее, творил от утра до вечера ее значенья, пролезал через толщу ее смыслов, как подземные черви; утомленье Гамлета бесконечно. Фортинбрас облегчен отсутствием этой мировой усталости. Каким светом он наполняет эпилог Гамлета! Сколько в нем шекспировского величественного оптимизма! Конечно, в «мещанской драме» Козинцева ему нет места. — Все знаменитые монологи нарочито «ореалены» и сделаны обыденными. То *to be or not to be*¹ проходит на фоне заглушенного где-то за сценой органа и совершенно пропадает. Многие неясности «Гамлета» выутюжены: все это ясно до предела. Мизансцена «галереи» заменена, — ну, разумеется! — интерьером. Показана комната Гамлета. Посредине — огромная Ника на постаменте, без головы, как и следует; на полу античный барельеф, над ним полка с огромным свертком (древняя рукопись!). Здесь идет разговор с Полонием. «Слова, слова, слова» Гамлет произносит, полусидя на столе или ручке кресел, и при этом с шумом перелистывает кучки страниц. Сильная по драматизму сцена с «оленом» после «Гонзаго» мелодраматически переходит в «театрализованное зрелище» с танцами, криками и шутовством. — Купюр масса. Убраны шекспировские метафоры и афоризмы. Стих «снят»: читают, как говорят. Если б мы не жили в яркую, замечательную эпоху, я сказала бы, что такое противоборство стиху, ритму, страсти, темпераменту могла бы породить только эпо-

¹ Быть или не быть (англ.).

ха, распластавшая человека и вынудившая из него внутренности, эпоха растоптанного стиха и облеванной души. Объясни: если нужно скрывать ритм и метр, как скрывают порочное происхождение, зачем писать в ритме и метре? Тогда давай разговаривать, как во время обеда.

Ты сочтешь за родственное преувеличение («щедрость чувств», как ты называешь), если я скажу, что никогда ни у каких двух писателей не было столько умственного родства, как у Шекспира и у тебя. Все, за что тебя так нещадно гнали и хотели вытравить,— это «шекспиризмы». Когда читаешь Шекспира, поражаешься, сколько в нем «пастерначьего», того, что твои критики называли футуризмом, хлебниковщиной и т. п. Шекспировские образы, метафористика, многоплановость мысли, спрягаемость событий во всех временах и видах одновременно, доведение частности до универсализма, величайший поэтический ум. Поразительно значенье анахронизмов у Шекспира. Он держит в одной руке нити прошлого и настоящего. Замечательно, как в «Цезаре» и «Антонии» он делает ремарки в нашу сторону, разрывая ткань времени. Так, у какого-нибудь Гольбейна к богородице и богу могут примоститься целые семейства Мейеров. Как убоги эти требования «современности» и «реализма»! Нельзя же требовать, чтоб у слона был хобот. Можно подумать, что они видели искусство без современности и без реализма, и жеребенка, вскормленного в консультации.

Я ушла, не досидев до конца. И не потому, что было скучно. Но актеры уже показали свой «потолок» и больше ничего дать не могли. А искусство есть ожиданье. Когда больше ждать нечего—с этим все кончается. Как любовь.

Я шла домой счастливая свежестью вечера. И у меня были свои тени: мама, дядя Ленчик. Гамлет—это не только история театра, но и семья, и юность, и та духовная физиология, которой живешь и держишься, ее не замечая.

Тебя знает весь цивилизованный мир. Но когда шумела и жужжала толпа, наполнявшая все ярусы и партер, и усаживалась, задевая чужие ноги, какой явной стала история! Твое величие можно было купить в любой афише и поразиться его осязательности. Вот поднялся занавес—и твой язык раздался со сцены, твой жизненный подвиг сделался сценическим воплощением. Гамлет в переводе Бори!

Но чувства гордости у меня не было. История поглощала семью.

Извини, что я тебя занудила. Ради бога, не вздумай отвечать. Я пишу тебе «по мере надобности», и этого права у меня не отнимай, не стесняй меня глупыми условностями. Я знаю, что ты хороший мальчик и культурный гражданин, но очень занят и сыт по горло чернилами. Обязательность твоих ответов лишает меня возможности иногда говорить с тобой,—а ты не знаешь, какая бывает в этом потребность.

Обнимаю тебя. Надеюсь, что ты здоров и хорошо работаешь.

Твоя Оля.

Сейчас мне сказали, что конец Гамлета таков: покойники лежат во мраке, небо озаряется ярким светом—и там, в вышине, появляется на постаменте Ника, та самая. Как говорится—комментарии излишни.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 16.IV.1954

Дорогая Оля! Мгновенно отвечаю тебе по прочтении твоего талантливого, увлекательного, большого и глубокого письма, и в момент самый неподобающий: сейчас седьмой час вечера, а в семь тридцать в Союзе писателей обсуждение моего перевода Фауста, и я иду туда. Я плакал, читая твои строки. Милый друг мой, достань где-нибудь через неделю или дней через десять четвертый номер журнала «Знамя» (тут он уже вышел). Там за вычетом двух-трех стихотворений, раньше написанных,—все новое. Тебе приятно будет увидеть в нынешней печати такое простое, естественное и непохожее на нее. Главное, конечно, не в них, а в прозе, в «системе», которой они вращаются и к которой тяготеют. И слова «доктор Живаго» оттиснуты на современной странице, запятнаны им! Без конца тебя целую, радость моя.

Меня огорчает, что присобачили они ко мне Маршака. Зачем это?¹

Твой Б.

¹ Г. М. Козинцев писал Пастернаку, что хочет кончить спектакль чтением 74-го сонета в переводе С. Маршака. Чтобы избежать контаминации кардинально противоположных образных структур разных переводов, Пастернак перевел специально для Козинцева 74-й сонет и прислал ему. Но в спектакль был включен перевод Маршака.

Москва, 12. VII. 1954

Дорогая Олюшка! Жива ли ты и что делаешь? Как твоё здоровье? Я более чем свинья перед тобой, я подлец и мерзавец (если только это действительно более свиньи), что отделался короткой отпиской в ответ на твой большой обстоятельный разбор Гамлетовской премьеры. Это было замечательное письмо, содержащее целый мир представлений, в общей сложности споривших глубиной и яркостью с самим Гамлетом. И когда я теперь слышу или узнаю что-нибудь об этой постановке, передо мной встают не Шекспир, не Александринка, не Ленинград, а твоё письмо.

Я боюсь, что ты не знаешь, как я люблю тебя, и не чувствуешь, как я тебя целую. Но если я расстанусь со своим, вошедшим в привычку, трудолюбием, что тогда от меня останется?

Зимой несколько либеральных месяцев были в том отношении облегчением, что знакомые заговорили живее и с большим смыслом, стало интереснее ходить в гости и видеть людей.

Кроме того, наступил перерыв в утомительном этом плавании по собственной вынужденной безбрежности, без руля и без ветрил, некоторое подобие органического наполненного жизнью воздуха подступило к твоей судьбе, охватило ее кругом, опять придало ей очертания. Стало легче работать. Элемент определенности, хотя бы даже далекой, одним своим присутствием в пространстве дал опять почувствовать, где ты начинаешься и кончаешься, чего хочешь, почему у тебя такие странные желания и что ты должен делать.

Я и тогда был вне этих слабых перемен и не льстил себя никакими надеждами. Но обстановка была приятнее своим бóльшим сходством с жизнью. А теперь опять я погрузился в бездонность полной своей свободы и одиночества. Я хочу кончить роман и верю, что кончу его. Никто не мешает мне писать его. Я здоров и хорошо себя чувствую. Зимой был ремонт дачного дома, который мы арендуем у Литфонда. Он переделан и превращен во дворец. Водопровод, ванна, газ, три новых комнаты. Мне неловко в этих помещениях, это не по чину мне, мне стыдно стен огромного моего кабинета с паркетным полом и центральным отоплением. Я работаю, я не умею отдыхать, наслаждаться, но как скучны и бездарны черновые карандашные заготовки, которые я делаю к последней части! Можешь себе

представить, какой это ужас и отчаяние, если я позволил себе отложить в сторону дневной урок и дал волю постоянному желанию немного побыть с тобой. Но не буду гневить бога: вот я немного отвел душу с тобой, ничего не упомянув. А разве это не счастье. И кроме того: судьба так мягка ко мне. Но так несоизмерима разница между тем, что можно и должно было бы сделать, будь хоть какая-нибудь связь и сходство с любимым путем в окружающем и тем, что даешь и делаешь без этой общности.

Каждое лето я с некоторой надеждой, что это когда-нибудь осуществится, зову тебя к нам. Я не повторяю этой просьбы, она только возрастает в силе.

Поцелуй, пожалуйста, от меня Машуру. Это не слова, не безграничная условность. Очень часто целые полосы отдаленного детского прошлого проходят передо мною, особенно нынешним обжигающе-жарким летом, с заскакивающими в дом кузнечиками. Я опять все вижу не только с жаром, звуками и запахами тех дней, но и с чувством, что освобождающее, облегчающее дыхание будущего уже было после горячей тесноты их и бедной правды. Ах, Оля, Оля! Так, как тебя, мне надо было бы повидать только девочек, и не из-за близости родства только, а прибавившегося потом знания мира¹. Обширности кругозора, твоей деятельности, их путешествий. Крепко целую тебя.

Твой *Боря*.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 17.VII.1954

Боря, друг ты мой дорогой, что же это за чудеса? Ежедневно думаю о тебе, пишу; наконец, с решимостью берусь за перо — выношенное, уже разлагающееся в утробе, письмо — и в эту минуту твой конверт, где все предвидено и все сказано. Ну конечно же, я именно и не жива и не здорова, — твой вопрос прямо в мишень.

До чего же это вышло грубо и глупо: как только ты написал мне «возьми Знамя», тут-то я и смолкла. А рецензии уже были мне известны². Мое молчанье как

¹ Пастернаку не пришлось увидеться с сестрами, живущими в Англии.

² Публикация 10 стихотворений из «Доктора Живаго» в «Знамени» (1954, № 4) вызвала отрицательные отклики в печати. К. Зелинский и К. Симонов писали, что в этих стихах Пастернак сузил свой кругозор в понимании людей и времени.

бы становилось мнением (не в твоих, конечно, глазах, но в моих). Поэтому я даже не смела спросить тебя, как прошло обсуждение Фауста,—а интересовало меня это чрезвычайно.

А дело-то все было в том, что мне казалось беспардонным говорить с тобой до Знамени, у меня же вспыхнула та желудочная хвороба, которая всем представляется раком, всем—кроме меня (я не верю ни в какую решительную свою болезнь, которая освободила бы меня от груза бытия и старенья). Словом, я уже прячу эту штуку, отмучиваюсь и переживаю. Но она вырывает меня из жизни, разрушая тот режим бессмертия, который я вынуждена была себе создать.

А дальше вот что. С тех пор, как журналов перестали трепетать, их перестали и выписывать. Мне предстояло пойти в библиотеку. Так вот, сатана ущипнул меня за мою левую ножку, да еще в подъеме, и я пошла плясать на одной ноге. Ну, постель, хирург, телефоны, советы, возмущенья и увещанья... et cetera. А диагноз? В том-то и дело, что он, из чувства солидарности, стал хромать и «шкандыбать» не хуже меня. В общем—бесполезная хвороба, но я не выхожу с сотворенья мира, и провела всю Сахару в ящике, обращенном на солнце.

И представь себе—провела расчудесно. Не утруждая свою совесть, я вдруг получила индульгенцию на разрыв с внешним миром.

Теперь пойми, с каким энтузиазмом благодарности я читала твое письмо! Это ангел освобожденья. Мифология не говорит, кто отбивал гвозди Прометея. Но это был ты. Я получила право писать тебе, не достав Знамени.

Милый друг мой! Сейчас я паду к твоим ногам и начну тебя восхвалять! Все, что имеет человек на сердце и хочет высказать, ты, как воплощенье, как выраженье во плоти, очерчиваешь в нем и вокруг него. Извини меня, если я повторяюсь. Но паки и паки мне нужно сказать тебе, что в тебе семья достигла такого выхода в открытое море, что во мне нет ничего, что не было бы доведено тобой до безграничности. Никакая точная механика не может достичь твоей точности, если нужно дать определенье тому, что без границ или в границах. Говорила я тебе или нет, что значит то странное счастье, которое испытывает человек, «состоящий (буквально!) в родстве» с искусством? Это отбрасывает его в сторону и к ногам, как тень. Я говорю именно об этом. Если хочешь, это—возвращенье к «исповеди», которую мы с тобой вели в юности и

называли ее (помнишь? помнишь, конечно! — у тебя память все навеки помнит) «завещаньем»¹. Так вот, это и есть разгадка семейной шарады, того, почему я сторонилась тебя, уходила, ощущала дистанцию почти по-железнодорожному, вплоть до невозможности сесть в дизель и поехать в Москву, притронуться к твоей жизни руками; почему я любила тебя больше всех на свете, и не было тех слов, которыми я умела бы передать, как двуединен ты мне, ты, взявший меня в интегральном исчислении, выразивший и всегда выражавший то мое, что называется человеческой жизнью. Во мне не было никогда ничего, что я не могла бы тебе сказать. А это бывает только к одному, не к двум, на свете. Какое счастье, что я по паспорту твоя двоюродная сестра! Это почти неправдоподобно. Но вот я имею право написать тебе это, и еще успеть написать.

Греки были дураки, когда верили в умирающих богов. Умирают и воскресают только люди.

Помимо общезначимого поэзии, твои одни ритмы могли дать полную биографию нашей семье. Когда мама не была в состоянии дотянуться до тебя логикой мысли, я ей читала твои стихи и в ритмике того, что составляет твою мысль, ей открывалось столько родного и великого, что слезы текли из ее глаз, и она сидела потрясенная — и гордая. Это-то и было чувство названного «своего»; главного, слитого с простотой биологически доставшейся нам жизни.

Хочу рассказать тебе один, как говорится, пустячок.

За последнее время вышла целая литература в изд. Академии Наук (плюс в энциклопедии) об отце как изобретателе кино (я все еще не выхожу и ее не видала). Кино, заметь! Ведут со мной переписку, просят фотопортретов. А таких «пред-изобретателей» было много. А модели не сохранились. Что же послужило историческим свидетельством? Представь: только папиных же несколько фраз в его неизданных Записках, о существовании которых никто никогда бы не узнал. Как случайно они уцелели, сквозь революции, войны, осады, смерти и смерчи, Сашкины руки и Сашкины судьбы! Но в хламе и пыли семейной рухляди, по которой бегали крысы, они лежали под броней истории спокойней, чем в пантеоне лени и стали².

¹ Имеются в виду письма от 23 и 25 июля 1910 г.

² Патенты на изобретения и «Воспоминания изобретателя» Фрейденберг передала в Музей связи. В. Н. Рогинский в 1950 г. опубликовал две статьи: «Михаил Филиппович Фрейденберг — изобретатель

Даже бессильная, беззащитная мысль, промелькнувшая без реализации—в зеленой молодости, но мысль творческая, манифестировала себя, вошла в историю техники, показала изобретателя.

Разве нет в этом великого утешенья? Разве нет вечности и ее кладовых, где истинное и великое не тлеет и не слепнет?

Конечно, работай и работай. Ты король, твое имя высечено. Ты в дядю, из не отдыхающих, но и дядя в какой-то мере отдыхал. Утомленье оборачивается разочарованьем; мысль свежей, когда приходит после перерыва. Но это азбучные истины, и ты извини мне трюизм.

Я напишу тебе, когда смогу выходить. Рада за твой комфорт. Не люблю я каменного века русских дач. Сердечно тебя целую.

Оля.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 21. VII. 1954

Дорогая Олюша, опять мне нечем отплатить тебе за твое молодое, полное силы чудное письмо. Не ходи никуда, высылаю тебе «Знамя». Но ты только не вздумай писать в ответ и утруждать себя разбором. Совсем даже не предполагается, что ты должна быть в восхищении. Посылаю тебе курьеза ради: любопытные страницы, где лени и стали нет и в помине. Потом для меня было радостью, что два сакраментальных слова: «доктор Живаго» попали в печать.

Здесь часть того (сверх немногого, имевшегося раньше), что я написал прошлым летом. Вдруг, после больницы, санатория, трепета, ограничений, произошли вещи, не предусмотренные режимом,—волна счастья, еще раз прочистившегося слуха и открывшихся глаз, и тогда именно я заново пробежал всего Фауста перед окончательной редакцией и написал эти вещи и еще несколько.

Спасибо тебе большое за письмо. Крепко целую тебя.

Твой Боря.

АТС» (Известия АН СССР. Отдел технических наук, № 8) и «Изобретатель автоматической телефонной связи» (Вестник связи. Техника связи, № 7); о кинематографе Фрейденберга писал И. В. Соколов: «Вклад русской науки и техники в изобретение кинематографа» (Труды по истории техники, вып. IV. М., 1954).

Ленинград, 27. VII. 1954

Дорогой мой Боря, извини меня, пишу в большой спешке — уезжаю, лечиться надо, мое здоровье — как в чулке спущенная петля.

Большое тебе сердечное спасибо — прежде всего — за самый факт присылки журнала, а уж о «содержимом» и говорить нечего. Я понимаю — ты не для моего отзыва, и что тебе мой отзыв; да это нисколько и не отзыв; а только выражение тех чувств, о двойственности которых я тебе писала в прошлом письме. В твоих стихах я снова нахожу и до максимума биографически-близкое, непередаваемо понятное — и тот «иконостас», ту ограду, которая отделяет профана (в античном смысле) от запретного. Я хочу сказать простую, наипростейшую вещь: что с искусством нельзя быть запанибрата, и метрическое свидетельство никаких прав не дает. Я всегда чтילה в тебе художника, с которым мне нельзя быть на короткой ноге, и даже именно потому, что мы родня.

Так вот, совсем по-чужому. Я понимаю, как никто, что значит увидеть два слова в печатных буквах. Удивительно, как это бывает: дверь наглухо закрыта, а все же выдается день, когда появляется щель, и вдруг печатные буквы!

О гере тебе очень удалось в одной скупой строчке дать полную характеристику. Это вовсе не так легко, как кажется на взгляд.

В твоих стихах мне показалось много нового, так сказать, тебя нового. Мне показалось, что лексика у тебя другая, что весь язык новый какой-то, другой, тяготеющий к огромной простоте, в реальной фактуре, в чеканке точной мысли. Но не знаю, почему — мне показалось, что еще ни один цикл твоих стихов так не приближал тебя к твоим молодым началам, так не возвращал к Близнецам в тучах, словно ты шел по кругу и в наибольшем уходе от робкого вступленья оказался, в своей зрелости, в двух шагах от своей юности. Если это так (наверно, я говорю чепуху), значит — очень хорошо. Хорошо, когда творец, подобно детскому воздушному шару, всегда привязан ниткой к своей молодости и к своему детству, что он «говорит себя» (как сказали бы греки) и держит единство со своей основой. Ты давно это напечатал, но никогда не поздно поцеловать и поздравить. Большой верой ты дышишь, большая твоя жизнь.

Прощаюсь с тобой на долгий срок. Думаю прожить на Карельском перешейке до глубокой осени. Люблю беспросветные дожди, падающие на лес молчаливых сосен. Они стоят в таком сплошном множестве, такие высокие и подобные друг другу, молчащие, что это производит впечатление иной высоты, достоинства, несокрушимого благородства. Бывало, истерзанная людьми, я спасалась в них духовно и думала—какие они добрые! не мучают, не интригуют, не насилуют, а могут, вот так просто, расти и жить возле меня.

Прости меня, что я в последнее время так «нудила» тебя. Не поминай лихом, ведь ты знаешь сердце. Я очень утомлена, очень сорвана. Свои мысли я выражала вычурно, ибо напряженно; форма им не давалась, не хотела вытечь, как вода из узкого горлышка,—чем больше наклоняешь пузырек, тем затор сильнее. Я ненавижу эту свою манеру. Это стиль раннего Асеева, многозначительная вычурная недоговоренность с намеками на личность. Я не раз обижала твой вкус. Но, клянусь тебе—и свой собственный.

Работы у меня много, надо одно закончить, другое начать, а нога требует покоя, надо ее везти, возиться с такой чепухой.

Это называется спешить!!

Крепко обнимаю тебя. Будь здоров, будь счастлив.

Твоя Оля.

Ой, все забываю рассказать тебе два факта «после театрального разъезда» Гамлета Козинцевского:

1) Моя ученица спрашивает сынка, что он вынес из Гамлета. Он ответил всерьез: «Как что? Гамлет борется за крепкую семью. Я все понял».

2) Соседка спрашивает меня: «Скажите, Ольга Михайловна, что это там у Гамлета за птица без головы (Ника Самофракийская). Некого было спросить. Публика недоумевала—почему птица в человеческий рост и без головы».

Вот теперь адью по-настоящему!

Оля.

ПАСТЕРНАК—ФРЕЙДЕНБЕРГ

Москва, 31. VII. 1954

Дорогая Оля!

Несколько слов еще совсем впопыхах в торопливость твоих дорожных сборов или, может быть, тебе вдогонку. Я знаю, что ты имеешь в виду, говоря о

напряженности своих писем или обвиняя себя в вычурности. Но ведь ты клеветал на себя. Чувство неоконченности мысли и, вследствие этого, неполной точности ее выражения так знакомо всем, кто имеет с этим дело! Я мог оставить твое письмо без ответа на этот раз, но не могу не защитить тебя от твоих собственных нападков.

И,—несколько совпадений. Ты случайно в конце письма назвала одно имя,—ты помнишь, кого?— («это стиль раннего Асеева»). У меня был разрыв со всем этим кругом и, шире, со всей средой, но истекшею зимой несколько человек так растрогали меня теплотой и определенностью своих изъяснений, что я не устоял и, между прочим, был как-то у него и его жены. Мы втроем провели вечер, я на память читал им все новое, часть которого потом попала в «Знамя». Кто-то плакал из них, я, честное слово, не помню, кто, но она сказала мужу (они на «вы»): Вы знаете, точно сняли пелену с «Сестры моей жизни». Это как раз и твое мнение.

А другое,—вместе с твоим письмом пришло от дочери повесившейся в 1941-м году Марины Цветаевой из восемнадцатилетней ее ссылки, из Туруханска. Мы с ней на ты, и очень большие друзья, я девочкой видел ее в 35 году в Париже. Это очень умная, пишущая страшно талантливые письма несчастная женщина, не потерявшая юмора и присутствия духа на протяжении нескончаемых своих испытаний. Так вот я хотел переправить тебе ее письмо, так вы в чем-то похожи, такие соседки по месту в моем сердце и так неоправданно строга она к себе и неведомо, чего требует от себя и хочет. Но пересылать это письмо было бы нескромно. Нет. Олечка, все хорошо. Хорошо даже и то, что грустно. Крепко целую тебя.

Твой Боря.

ФРЕЙДЕНБЕРГ—ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 4 ноября 1954 г.

Дорогой Боря!

У нас идет слух, что ты получил Нобелевскую премию. Правда ли это? Иначе — откуда именно такой слух? Мой вопрос, возможно, очень глуп. Но как же его не задать? Жду с нетерпением твоей открытки. Будь здоров!

Твоя Оля.

Переделкино, 12.XI.1954

Дорогая моя Олюшка!

Как я рад бываю каждой твоей строчке, виду твоего почерка!

Такие же слухи ходят и здесь. Я — последний, кого они достигают, я узнаю о них после всех, из третьих рук. «Бедный Боря, — подумаешь ты, — какое нереальное, жалкое существование, если ему некуда обратиться по этому поводу и негде выяснить истину!»

Но ты не представляешь себе, как натянуты у меня отношения с официальной действительностью и как страшно мне о себе напоминать. При первом движении мне вправе задать вопросы о самых основных моих взглядах, и на свете нет силы, которая заставила бы меня на эти вопросы ответить, как отвечают поголовно все. И это все обостряется и становится страшнее, чем сильнее, счастливее, счастливее, плодотворнее и здоровее делается в последнее время моя жизнь. И мне надо жить глухо и таинственно.

Я скорее опасался, как бы эта сплетня не стала правдой, чем этого желал, хотя ведь это присуждение влечет за собой обязательную поездку за получением награды, вылет в широкий мир, обмен мыслями, — но ведь опять-таки не в силах был бы я совершить это путешествие обычной заводной куклой, как это водится, а у меня жизнь своих, недописанный роман, и как бы все это обострилось! Вот ведь вавилонское пленение! По-видимому, бог миловал, эта опасность миновала.

Видимо, предложена была кандидатура, определено и широко поддержанная. Об этом писали в бельгийских, французских и западногерманских газетах. Это видели, читали. Так рассказывают.

Потом люди слышали по Би-би-си, будто (за что купил, продаю) выдвинули меня, но, зная нравы, запросили согласия представительства, ходатайствовавшего, чтобы меня заменили кандидатурой Шолохова, по отклонении которого комиссия выдвинула Хемингуэя, которому, вероятно, премию и присудят. Хотя некоторые говорят, будто спор еще не кончен. Но ведь все это болтовня, хотя и получившая большое распространение.

Но мне радостно было и в предложении попасть в разряд, в котором побывали Гамсун и Бунин, и, хотя бы по недоразумению, оказаться рядом с Хемингуэем.

Я горжусь одним; ни на минуту не изменило это течение часов моей простой, безымянной, никому не ведомой трудовой жизни.

Есть ангел хранитель у меня в жизни. Вот что главное. Слава ему.

Крепко целую тебя, золото мое.

Твой *Боря*.

P.S. Прости меня за явную для тебя торопливость тона. Чувство чего-то нависающего, какой-то предопределенной неожиданности не покидает меня, без вреда для меня, то есть не волнуя и не производя во мне опустошающего смятения, но все время поторапливая меня и держа все время начеку.

Я хорошо работаю. Да, и вот что интересно. Зина отдала дачу на зимний лад, по-царски, и я зиму в Переделкине.

ФРЕЙДЕНБЕРГ — ПАСТЕРНАКУ

Ленинград, 17.XI.1954

Боря, родной мой, твое письмо такое беглое, но оно совершенно потрясло меня каким-то эпическим величием твоего духа. Ты так мудр, благороден и высок, так велико твое понимание жизни и истории, что человек не может, читая тебя, не потрясаться. Слезами могу ответить тебе. Не словами.

Ты мастер говорить то и так, как оно эмбрионально лежит в животе невысказанных дум, еще не довершенных событий. Платон назвал бы тебя повивальной бабкой. Ты писатель и есть. Но разве я могу найти эти сжатые формулировки, эту послушность слова, передающего всю суть хаоса фактов и мыслей? Хочется сказать тебе о тысяче вещей, и я ловлю себя на желаньи ввязаться в какие-то темы о передвигающихся материках, об Азии, идущей на Европу, об Ассурбанипалах и ГЭСах, о метро в университете, о малахитах и «дневном свете» во мраке ночи, о ночи при дневном свете — и черт знает, как ни начинается метаться моя мысль в той бутылке, где ей положено сидеть.

Я рада за тебя. До сих пор я знала о заочном обучении, теперь узнала, что на свете есть и заочное коронованье. Это лучший для тебя исход. Горечь, конечно, остается. Хотелось бы, чтоб хоть на юге солнце светило, раз у меня за окнами сейчас летит снег. Я так горда за тебя, за наших стариков!

А помнишь, как я давеча предрекала тебе, что сейчас наступает момент «официального признания»? Я слышала в воздухе шум крыльев, но не знала, откуда он. Согласись, что и на расстоянии от твоей жизни я угадываю иногда такие вещи, которые тебе еще не видны. Если ты не самая последняя свинья, ты должен это признать.

Милый мой, дорогой! Никогда динамит не приводил к таким благим последствиям, как эта кандидатура на трон Аполлона. Что с того, что ты в Переделкине одиноко свершаешь свой невидимый подвиг,—где-то наборщики в передниках за то получают зарплату и кормят свои семьи, что набирают твое имя на всех языках мира. Ты способствуешь изжитию безработицы в Бельгии и в Париже. Машины с шумом вертятся, краска пахнет, листы торопливо фальцуются,—а ты в Переделкине завтракаешь с Зиной или жалуешься на прутья золотой клетки. Это, брат, единство действия и единство Времени, хотя и при отсутствии единства места.

Я горда и счастлива твоим высоким оптимизмом. В тебе сидит старец Зосима и дышит с тобой светом вечности. Боже, как это хорошо у Достоевского, что все ждут чуда при «успении» Зосимы, а его тело «пропахивает» и прогнивает еще быстрее, чем у всех грешников. Соблазн получается полный; даже Алеша отказывается от своего учителя. Высокое через смердящее! Максимум света и богооткровенья через «дни нашей жизни» и тлен.

Не видишь ты, сколько смысла в твоём Переделкине и в прутьях, поверх которых где-то за тридевять земель говорят о твоём чистом «я», никому не видимом. Так ведь и вершатся наши судьбы, а мы их не видим.

Милый брат мой (говоря стилем Зосимы), и я плачу и шучу. Мне давно хотелось открыться тебе. У меня утрата, и невознаградимая. Я потеряла—себя.

Да, да, я совершенно убитый человек. Я зачахла и захирела от кислородного голодания. Mr. Bonnard никогда не был моим идеалом, хотя его местопребыванье и восхищает туристов. Я, на месте Байрона, никогда не употребляла бы выражения «chainless Mind»¹. Он не знал, с чем кушают реализм.

Этим исчерпываются все семейные сведенья обо мне.

¹ Бонивар Ф. (1493—1570)—швейцарский поэт, воспетый как «шильонский узник». Chainless Mind—букв.: «раскованный разум», не знающий цепей.

Вчера была у меня Машура. Она своеобразный человек, в трех измерениях. Взяла с меня слово, что я передам тебе ее любовь, привет, большое сердечное тепло. Но это то же, что объяснение в любви по сборнику любовных писем. Наивно ужасно! Доскажи себе сам все самое хорошее, а я холодею от таких поручений.

Поскольку я разболталась и расписалась, добавлю тебе еще кое-что ни к селу, ни городу. Не говори Зине, но я бы на ее месте никогда не простила бы мне того зимнего вечера, когда она зашла ко мне с Леней перед отъездом в Москву, в день своей тревоги. Ты, конечно, об этом знаешь. О моем «гостеприимстве» ты узнал много монструозного, и это была совершенная правда.

Один мой знакомый раз сказал мне: «Никогда не осуждайте людей, а особенно советских».

Зине я предстала, как жалкий трус. А я вполне смела. Но мной владели обстоятельства, а не мои личные чувства. Давно я хотела сказать это — тебе. Зина же, субъективно, вполне права.

Обнимаю тебя. Если что у тебя откристаллизуется, напиши.

Твоя Оля.

**Б.Л.Пастернак
и М.И.Цветаева**

Марина Цветаева и Борис Пастернак были москвичами, ровесниками, из профессорских семей. Их отцы приехали в Москву из провинции и собственными силами добились успеха, известности и общественного положения. Матери обоих были одаренными пианистками из плеяды учеников Антона Рубинштейна.

В годы войны и революции Цветаева и Пастернак были лишь шапочно знакомы. По словам Цветаевой: «Три-четыре беглых встречи.—И почти безмолвных, ибо никогда ничего нового не хочу.—Слышала его раз, с другими поэтами в Политехническом музее. Говорил он глухо и почти все стихи забывал. Отчужденностью на эстраде явно напоминал Блока». Пастернак, со своей стороны, так же вспоминает безмолвие первых встреч: «На одном сборном вечере в начале революции я присутствовал на ее чтении в числе других выступавших. В одну из зим военного коммунизма я заходил к ней с каким-то поручением, говорил незначительности, выслушивал пустяки в ответ. Цветаева не доходила до меня».

В мае 1922 года Цветаева уехала к обретенному вновь после многолетней разлуки мужу в Берлин. Вскоре Пастернак прочел изданные в 1921 году «Версты» и написал Цветаевой длинное восторженное письмо. «Меня сразу покорило лирическое могущество цветаевской формы, кровно пережитой, не слабогрудой, круто сжатой и сгущенной, не запыхивающейся на отдельных строчках, охватывающей без обрыва ритма целые последовательности строф развитием своих периодов. Какая-то близость скрывалась за этими особенностями, быть может, общность испытанных влияний или одинаковость побудителей в формировании характера, сходная роль семьи и музыки, однородность отправных точек, целей и предпочтений. Я написал Цветаевой в Прагу... Она ответила мне. Между нами завязалась переписка, особенно участившаяся в середине двадцатых годов, когда появилось ее «Ремесло» и в Москве стали известны в

списках ее крупные по размаху и мысли, яркие, необычные по новизне «Поэма Конца», «Поэма Горы» и «Крысолов». Мы подружались»¹.

Об этом содружестве и истинной любви, заключенной в обращенных друг к другу стихах, прозе, критических заметках и, главное, удивительных письмах, прекрасно написала дочь Цветаевой Ариадна Сергеевна Эфрон (Звезда, 1975, №6). По ее воле текст большей части переписки Цветаевой и Пастернака не может быть опубликован ранее начала будущего века. Без всяких сомнений, эту работу можно отнести к значительнейшим явлениям истории русской литературы. Переписка Цветаевой и Пастернака длилась с 1922 года по 1935, достигнув апогея в 1926 году и затем постепенно сходя на нет. За это время они ни разу не виделись.

ПАСТЕРНАК—ЦВЕТАЕВОЙ

14.VI.1922. Москва.

Дорогая Марина Ивановна!

Сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату Ваше—«Знаю, умру на заре, на которой из двух»—и был, как чужим, перебит волною подкатывавшего рыдания, наконец прорвавшегося, и когда я перевел свои попытки с этого стихотворения на «Я расскажу тебе про великий обман», я был так же точно Вами отброшен, и когда я перенес их на «Версты, и версты и версты и черствый хлеб»,—случилось то же самое.

Вы—не ребенок, дорогой, золотой, несравненный мой поэт, и, надеюсь, понимаете, что это в наши дни означает, при обилии поэтов и поэтесс не только тех, о которых ведомо лишь профсоюзу, при обилии не имажинистов только, но при обилии даже неопороченных дарований, подобных Маяковскому, Ахматовой.

Простите, простите, простите!

Как могло случиться, что, плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Федоровны², я не знал, с кем рядом иду?

Как могло случиться, что, слушав и слышав Вас неоднократно, я оплошал и разминулся с Вашей верстовой Суинберниадой (и если Вы даже его не знаете, моего кумира,—он дошел до Вас через побочные

¹ Пастернак Б. «Люди и положения». Избранное в 2-х томах, т. 2.

² Скрябина (Шлёцер) Т. Ф.—жена Скрябина.

влиняья, и ему вольно в Вас, родная Марина Ивановна, как когда-то Байрону было вольно в Лермонтове, как — России вольно в Рильке).

Как странно и глупо кроится жизнь! Месяц назад я мог достать Вас со ста шагов, и существовали уже «Версты», и была на свете та книжная лавка в уровень с панелью, без порога, куда сдала меня ленивая волна теплого пловившегося асфальта! И мне не стыдно признаться в этой своей приверженности самым скверным порокам обывательства: книги не покупаешь потому, что ее можно купить!!!

Итак — простите, простите! <...>

ЦВЕТАЕВА — ПАСТЕРНАКУ

Берлин, 29 нов<ого> июня 1922 г.

Дорогой Борис Леонидович!

Пишу Вам среди трезвого белого дня, переборов соблазн ночного часа и первого разбега.

Я дала Вашему письму остыть в себе, погрестись в щелбне двух дней — что уцелеет?

И вот, из-под щелбня:

Первое, что я почувствовала — пробегом взгляда: спор. Кто-то спорит, кто-то сердится, кто-то призывает к ответу: кому-то *не заплатила*. — Сердце сжалось от безнадежности, от ненужности. — (Я тогда не прочла еще ни *одного* слова).

Читаю (все еще не понимая — кто) и первое, что сквозь незнакомый разгон руки доходит: *отброшен*. (И — мое: несносное: Ну да, кто-то недоволен, возмущен! О Господи! Чем я виновата, что он прочел мои стихи!) — Только к концу второй страницы, при имени Татьяны Федоровны Скрябиной — как удар: Пастернак!

Теперь слушайте:

Когда-то (в 1918 г., весной) мы с Вами сидели рядом за ужином у Цетлинов. Вы сказали: «Я хочу написать большой роман: с любовью, с героиней — как Бальзак». И я подумала: «Как хорошо. Как точно. Как вне самолюбия. — Поэт».

Потом я Вас пригласила: «Буду рада, если» — Вы не пришли, потому что ничего нового в жизни не хочется.

Зимой 1919 г. встреча на Моховой. Вы несли продавать Соловьева — «потому что в доме совсем нет хлеба». — А сколько у Вас выходит хлеба в день?» —

«5 фунтов». — «А у меня 3». — «Пишете?» — «Да (или нет, не важно)».

— «Прощайте», — «Прощайте».
(Книги. — Хлеб. — Человек.)

Зимой 1920 г., перед отъездом Эренбурга, в Союзе Писателей читаю «Царь-Деву» со всей робостью: 1. рваных валенок, 2. русской своей речи, 3. явно — большой рукописи. Недоуменный вопрос на круговую: «Господа, фабула ясна?» и ободряющее хоровое: «Со всем нет. Доходят отдельные строчки».

Потом — уже ухожу — Ваш оклик: «М<арина> И<вановна>!» — «Ах, Вы здесь? Как я рада!» — «Фабула ясна, дело в том, что Вы даете ее разьединенно, отдельными взрывами, в прерванности».

И мое молчаливое: Зорок. — Поэт.

Осень 1921 г. Моя трущоба в Борисоглебском перелуке. Вы в дверях. Письмо от И<льи> Г<ригорьевича>. Перебарывая первую жадность, заглушая радость ропотом слов (письмо так и лежит нераспечатанным) — расспрось: «Как живете? Пишете ли? Что — сейчас — Москва?» и Ваше — как глухо! — «Река... Паром... Берега ли ко мне, я ли к берегу... А может быть и берегов нет... А может быть и» —

И я, мысленно: Косноязычие *большого*. — Темноты.

11-го (по-старому) апреля 1922 г. — Похороны Т. Ф. Скрябиной. Я была с ней в дружбе два года подряд, — ее единственным женским другом за жизнь. Дружба суровая: вся на деле и беседе, мужская, вне нежности земных примет.

И вот провожаю ее большие глаза в землю.

Иду с Коганом, потом еще с каким-то, и вдруг — рука на рукав — как лапа: Вы. — Я об этом тогда писала Эренбургу. Говорили о нем, я просила Вас писать ему, говорила о его безмерной любви к Вам, Вы принимали недоуменно, даже с тяжестью: «Совсем не понимаю за что... Как трудно...» (Мне было больно за И. Г., и этого я ему не писала.) — «Я прочла Ваши стихи про голод...» — «Не говорите. Это позор. Я совсем другого хотел. Но знаете — бывает так: над головой сонмами, а посмотришь: белая бумага. Проплыло. Не коснулось стола. А это я написал в последнюю минуту: пристают, звонят, номер не выйдет...»

Потом рассказывали об Ахматовой. Я спросила об основной ее земной примете. И Вы, вглядываясь:— Чистота внимания. Она напоминает мне сестру. Потом Вы меня хвалили («хотя этого говорить в лицо не нужно») за то, что я эти годы все-таки писала,— ах, главное я и забыла!— «Знаете, кому очень понравилась Ваша книга?— Маяковскому».

Это была *большая* радость: дар всей *чужести*, побежденные пространства (времена?).

Я— правда— просияла внутри.

И гроб: белый, без венков. И— уже вблизи— успокаивающая арка Девичьего монастыря: благодать.

И Вы... «Я не с ними, это ошибка, знаете: отдаете стихи в какие-то сборники...»

Теперь *самое главное*: стоим у могилы. Руки на рукаве уже нет. Чувствую— как всегда в первую секундочку после расставания— плечом, что Вы рядом, отступив на шаг.

Задумываюсь о Т<атьяне> Ф<едоровне>.— Ее последний земной воздух. И— толчком: чувство *прерванности*, не додумываю, ибо занята Т. Ф.— допроводить ее.

И, когда оглядываюсь, Вас уже нет: *исчезновение*.

Это мое последнее видение Вас. Ровно через месяц— день в день— я уехала. Хотела зайти, чтобы обрадовать Э<ренбург>га живым рассказом о Вас, но чувство, что: чужой дом— наверно не застану и т. д.

Мне даже и стыдно было потом перед Эренбургом за такое слабое рвение по дружбе.

Вот, дорогой Борис Леонидович, моя «история с Вами»— тоже в прерванности.

Стихи Ваши я знаю мало: раз слышала Вас с эстрады, Вы тогда сплошь забывали, книги Вашей не видела.

То, что мне говорил Эренбург— ударяло сразу, захлестывало: дребезгом, щебетом, всем сразу: как Жизнь.

Бег по кругу, но круг— мир (вселенная!) и Вы— в самом начале, и никогда не кончите, ибо смертны.

Все только намечено— острями!— и не дав опомниться— дальше. Поэзия *умыслов*,— согласны?

Это я говорю по тем пяти-шести стихотворениям, которые знаю.

Скоро выйдет моя книга «Ремесло»,—стихи за последние полтора года. Пришлю вам с радостью. А пока посылаю две крохотные книжечки, вышедшие здесь без меня—просто чтобы окупить дорогу: «Стихи к Блоку» и «Разлука».

Я в Берлине надолго, хотела ехать в Прагу, но там очень трудна внешняя жизнь.

Здесь ни с кем не дружу, кроме Эренбургов, Белого и моего издателя Геликона.

Напишите, как дела с отъездом: по-настоящему (во внешнем ли мире: виз, анкет, миллиардов)—едете. Здесь очень хорошо жить, не город (тот или иной)—безымянность—просторы! Можно совсем без людей. Немножко как на том свете.

Жму Вашу руку.—Жду Вашей книги и Вас.

М. Ц.

Мой адрес: Berlin—Wilmersdorf, Frautenaustrasse 9, «Frautenau-Haus».

ПАСТЕРНАК—ЦВЕТАЕВОЙ

12 ноября 1922. Берлин.

<...> Я знаю—Вы с не меньшей страстью, чем я, любите—скажем для краткости—поэзию. Вот что я под этим разумею.

Я больше всего на свете (и, может быть, это—единственная моя любовь)—люблю правду жизни в том ее виде, какой она на одно мгновение естественно принимает у самого жерла художественных форм, чтобы в следующее же в них исчезнуть. Телодвижение это жизни не навязано со стороны. Бирманский лес по собственной своей охоте лезет в эту топку. Не надо обманываться: вероятно, мы односторонни. Весьма возможно, что жизнь разбредается по сторонам и что поток образует дельту.

Нам, с доскональной болью знающим одно из ее колен, позволительно представить себе устье именно в этом ее изгибе. И на любом ее верховье, ничего не знаящем о море, можно, закрыв глаза, при крайней сверхчеловеческой внимательности к тону ее тока и пластике ее плеска, представить себе, что с ней когда-нибудь будет, и, следовательно, какова ее сущность и сейчас. <...>

Я был очень огорчен и обескуражен, не застав Вас в Берлине. Расставаясь с Маяковским, Асеевым, Кузми-

ным и некоторыми другими, я в той же линии и в том же духе рассчитывал на встречу с Вами и с Белым.

Однако разочарование на Ваш счет — истинное еще счастье против разочарования Белым. Здесь все перессорились, найдя в пересечении произвольно полемических и театрально приподнятых копий фикцию, заменяющую отсутствующий предмет. Казалось бы, надо уважать друг друга всем членам этой артели, довольствуясь взаимным недовольством, — без которого фикции бы не было. Последовательности этой я не встретил даже в Белом. <...>

В начале января 1923 года в Берлине, в издательстве «Геликон» вышла четвертая книга стихов Пастернака «Темы и вариации». Пастернак, выполняя просьбу Цветаевой, послал ее в Прагу.

«Несравненному поэту Марине Цветаевой, «донецкой, горючей и адской» (стр. 76) от поклонника ее дара, отважившегося издать эти высевки и опилки, и теперь кающегося.

*Б. Пастернак
29.1.23
Берлин».*

В надписи на книге Пастернак включал Цветаеву в число настоящих поэтов, которым он посвятил свое стихотворение, написанное два года тому назад. Указанная в скобках страница относится к нему:

*Нас мало, нас может быть трое
Донецких, горючих и адских
Под серой бегущей корою
Дождей, облаков и солдатских
Советов, стихов и дискуссий
О транспорте и об искусстве.*

В 1921 году, когда писалось это стихотворение, еще до знакомства с «Верстами» Цветаевой, в эти «трое» входили Маяковский, Асеев и Пастернак.

ЦВЕТАЕВА — ПАСТЕРНАКУ

Мокропсы, 11-го нов<ого> февраля 1923 г.

Дорогой Пастернак,

Это письмо будет о Ваших писаниях, и — если хватит места и охота не пропадет! — немножко и о

своих. Ваша книга — ожог. Та ливень, а эта — ожог: мне больно было, и я не дула. (Другие — кольдкремом мажут, картофельной мукой присыпают! — Подлецы!) — Ну, вот, обожглась, обожглась и загорелась, — и сна нет, и дня нет. Только Вы. Вы один. Я сама — собиратель, сама не *от себя*, сама всю жизнь от себя (рвусь!) и успокаиваюсь только, когда уж ни одной зги моей — во мне. Милый Пастернак — разрешите перескок: *Вы — явление природы*. — Сейчас объясню, почему. Проверяю на себе: никогда ничего не беру из вторых рук, а люди — это вторые руки, поэты — третьи. Стало быть, Вы не человек и не поэт, а *явление природы*. Чистейшие первые руки. Бог по ошибке создал Вас человеком, оттого Вы так и не вжились — ни во что! И — конечно — Ваши стихи не человеческие: ни приметы. Бог задумал Вас дубом, — сделал человеком, и в Вас ударяют все молнии (*есть* — такие дубы!), а Вы должны жить. (— На дубе не настаиваю: сама сейчас в роли дуба, и сама *должна жить*, но — мимо!)

Пастернак, чтобы не было ни ошибки, ни лжи: люди — вторые руки, но: народы, некоторые, в очень раннем детстве, дети и поэты — без стихов, это *первые руки*! Вы — поэт без стихов, т<о> е<сть> так любят, так горят и так жгут — только не пишушие, пишушие раз, — восьмистишие за жизнь, не ремесленники (пусть гении) пера.

— Почему каждые Ваши стихи звучат, как последние?

«После этого он больше ничего не писал».

Начинаю догадываться о какой-то Вашей тайне. Тайнах. Первая: Ваша страсть к словам — только доказательство, насколько они для Вас *средство*. Страсть эта — *отчаяние сказа*. Звук Вы любите больше слова, и шум (пустой) больше звука, — потому что в нем *все*. А Вы обречены на слова, и как каторжник изнемогая... Вы хотите *невозможного*, из области слов выходящего. То, что Вы поэт — промах. (Божий — и божественный!)

Вторая: Вы не созерцатель, а вершитель, — только дел таких нет здесь. Не мыслю Вас: ни воином, ни царем. И оттого, что *дел нет* — вся бешеная действительность в стихи: ничто на месте не стоит.

А знаете, Пастернак, Вам нужно писать большую вещь. Это будет Ваша вторая жизнь, первая жизнь, единственная жизнь. Вам никого и ничего станет не нужно. Вы ни одного человека не заметите. Вы будете страшно свободны. Ведь Ваше «тяжело» — только оттого, что Вы *пытаетесь*: вместить в людей, втиснуть в

стихи. Разве Вы не понимаете, что это безнадежно, что Вы не *протратитесь*. (Ваша тайная страсть: протратиться до нитки!)—Слушайте, Пастернак, здраво и трезво: в этом веке Вам дана только одна жизнь, столько-то лет,—хоть восемьдесят, но мало. (Не для накопления, а для протраты.) Вы не израсходуетесь, но Вы задохнетесь. Пена вдохновения превратится в пену бешенства, Вам надо *отвод*: ежедневный, чуть ли не ежечасный. И очень простой: тетрадь.

Лирические стихи (то, что называют)—отдельные мгновения *одного* движения: движение в прерывности. Помните, в детстве вертящиеся калейдоскопы? Или у Вас такого не было? Тот же жест, но чуть продвинутый: скажем—рука. Вправо, чуть правой, еще чуть и т. д. Когда вертишь—движется. Лирика—это линия пунктиром, издали—целая, черная, а взглядишь: сплошь прерывности между... точками—безвоздушное пространство: смерть. И Вы от стиха до стиха умираете. (Оттого «последность»—каждого стиха!)

В книге (роман ли, поэма, *даже* статья!) этого нет, там свои законы. Книга пишущего не бросает, люди—судьбы—души, о которых пишешь, хотят *жить*, хотят дальше жить, с каждым днем пуще, кончать не хотят! (Расставание с героем—всегда разрыв!) А ведь у Вас есть книга прозы, и я ее не знаю. Чье-то детство. Не приснилось же? Но глазами ее не видела. Не Вы ли сами обмолвились в Москве? Вроде Лилит. Кажется, и Геликон говорил.

Не забудьте написать.

Теперь о книге вплотную. Сначала наилюбимейшие цельные стихи.

До страсти: Маргарита. «Облако. Звезды. И сбoku...» «Я их мог позабыть» (сплошь),—и последнее.

Жар (ожог)—от них.

Вы вторую часть книги называете «второразрядной».—Дружочек, в людях я загораюсь, и от шестого сорта, здесь я не судья, но—стихи! «Я их мог позабыть»—ведь это вторая часть!

Я знаю, что можно не любить, ненавидеть книгу—неповинно, как человека. За то, что написано *тогда-то*, среди *тех-то*, *там-то*. За то, что *это* написано, а не *тō*.—В полной чистоте сердца, не осмеливаясь оспаривать, не могу принять. В этой книге несколько вечных стихов, она на глазах выписывается, как змея выпрастывается из всех семи кож. Может быть, за это Вы ее и не любите. Какую книгу свою Вы считаете первой и—сколько—считаете написали?

Письмо залежалось. Мне его трудно писать. Все, что я хочу сказать Вам—так непомерно! Возвращаясь к первой его части, верней к тому, уже отделанному (письма мои к Вам—перерывы в том непрерывном письме моем к Вам, коим являются все мои дни после получения книги. Как Вы долго звучите,—пробив!)... Возвращаясь к «единственному поэту за жизнь» и страстнейше поверив: *да!* Один раз только, когда я встретила с Т. Чурилинным («Весна после смерти»), у меня было это чувство: ручаюсь за завтра,—сорвалось! Безнадежно! Он замучил своего гения, выщипал ему перья из крыл. (А Вы—бережны?) Ни от кого: ни от Ахматовой, ни от Мандельштама, ни от Белого, ни от Кузмина я не жду иного, чем сам. (Ничего, кроме него.)—Любя, может быть, страстно!—(Завершение, довершение: *до, за—предел!*) Я же знаю, что Ваш предел—Ваша физическая смерть.

Ваша книга. Большой соблазн написать о ней. И знаете, есть что-то у Вас от Lenau. Вы его когда-нибудь читали?

Dunkle Cypressen!
Die Welt ist gar zu lustig,—
Es wird *doch* alles vergessen!

— Не Ваши?—Особенно вторая строка.—И Вы сами похожи на кипарис.

Но мешаете писать—Вы же. Это прорвалось как плотина—стихи к Вам. И я такие странные вещи в них узнаю. Швыряет, как волна. Вы *утомительны* в моей жизни, голова устает, сколько раз на дню ложусь, валюсь на кровать, *опрокинутая* всей этой черепной, междуреберной разноголосицей: строк, чувств, озарений,—да и просто шумов! Прочтете—проверьте. Что-то встало, и расплылось, и кончать не хочет,—а я унять не могу. Разве от человека такое бывает?! Я с человеком в себе, как с псом: надоел—на цепь. С ангелом (аггелами!) играть труднее.

Вы сейчас (в феврале этого года) вошли в мою жизнь после большого моего опустошения: только что кончила большую поэму (надо же как-нибудь назвать!), не поэму, а наваждение, и не я ее кончила, а она меня,—расстались, как разорвались!—и я, освобожденная, уже радовалась: вот буду писать самодержав-

ные стихи и переписывать книгу записей,—исподволь—и все так хорошо пойдет.

И вдруг—Вы: «дикий, скользящий, растущий»... (олень? тростник?) с Вашими вопросами Пушкину, с Вашим чертовым соловьем, с Вашими чертовыми корпусами и конвоирами!—

(И вот уже стих: С аггелами—не игрывала!)

— Смеюсь, это никогда не перейдет в ненависть. Только трудно, трудно и трудно мне будет встретиться с Вами в живых, при моем безукоризненном голосе, столь рыцарски-ревнивом к моему всяческому достоинству.

Пастернак, я в жизни—волей стиха—пропустила большую встречу с Блоком (встретились бы—не умер), сама—20-ти лет—легкомысленно наколдвала: «И руками не потянусь». И была же секунда, Пастернак, когда я стояла с ним рядом, в толпе, плечо с плечом (семь лет спустя!) глядела на впалый висок, на чуть рыжеватые, такие некрасивые (стриженный, больной)—бедные волосы, на пыльный воротник заношенного пиджака.—Стихи в кармане—руку протянуть—не дрогнула. (Передала через Алю, без адреса, накануне его отъезда.) Ах, я должна Вам все это рассказать, возьмите и мой жизненный (?) опыт: опыт опасных—чуть ли не смертных—игр.

Сумейте, наконец, быть тем, кому это нужно слышать, тем бездонным чаном, ничего не задерживающим (*читайте внимательно!!!*), чтобы сквозь Вас—как сквозь Бога—ПРОРВОЙ!

Ведь знаете: йкоса—все очень просто, мое «в упор» всегда встречало искоса, робкую людскую кось. Когда нужно было слушать—приглядывались, сбивая меня с голоса.

— Устала.—И лист кончается.—Стихи пришлю, только не сейчас.

М. Ц.

ЦВЕТАЕВА—ПАСТЕРНАКУ

Прага, 8 марта 1923 г.

Дорогой Пастернак.

Со всех сторон слышу, что Вы уезжаете в Россию (сообщают наряду с отъездом Шкапской). Но я это знала давно,—еще до Вашего выезда!

Письмо Ваше получила, Вы добры и заботливы.

Оставьте адрес, чтобы я могла переслать Вам стихи. «Ремесло» пришлю тотчас же, как получу. Уже писала Геликону. Может быть, застанет Вас еще в Берлине.

— Что еще? — Поклонитесь Москве.

Еще раз спасибо за внимание и память, и — от всей души — добрый путь!

М. Ц.

ПАСТЕРНАК — ЦВЕТАЕВОЙ

14.VI.1924

Марина, золотой мой друг, изумительное, сверхъестественно родное предназначенье, утренняя дымящаяся моя душа, Марина. <...>

За что я ненавижу их <письма>. Ах, Марина, они невнимательны к главному. Того, что утомляет, утомительной долготы любованья они не передают. А это — самое поразительное.

Сквозь обиход пропускается ток, словно как сквозь воду. И все поляризуется <...> И когда сжимается сердце, Марина!.. И насколько наша она, эта сжатость, — ведь она насквозь стилистическая!

Это — электричество, как основной стиль вселенной, стиль творенья на минуту проносится перед человеческой душой, готовый ее принять в свою волну <...> ассимилировать, уподобить!

И вот она, заряженная с самого рождения и нейтрализующаяся почти всегда в отрочестве, и только в редких случаях большого дара (таланта) еще сохраняющаяся в зрелости, но и то действующая с перерывами, и часто по инерции, перебиваемая риторическим треском самостоятельных маховых движений (неутомляющих мыслей, порывов, «любящих» писем, вторичных поз) — вот она заряжается вновь, насвежо, и опять мир превращается в поляризованную баню, где на одном конце — питающий приток <...> времен и мест, восходящих и заходящих солнц, воспоминаний и полаганий, — на другом — бесконечно — малая, как оттиск пальца в сердце, когда оно покалывает, щемящая прелесть искры, ушедшей в воду. <...>

Какие удивительные стихи Вы пишете! Как больно, что сейчас Вы больше меня! Вообще — Вы — возмутительно большой поэт. Говоря о щемяще-малой, неуловимой прелести, об искре, о любви — я говорил об этом. Я точно это знаю.

Но в одном слове этого не выразить, выражать при помощи многих — мерзость.

Вот скверное стихотворение 1915 года из «Барьеров»:

Я люблю тебя черной от сажи
Сожиганья пассажей, в золе
Отпылавших андант и адажий
С белым пеплом баллад на челе,
С заскорузлой от музыки коркой
На поденной душе, вдалеке
Неумелой толпы, как шахтерку,
Проводящую день в руднике.

О письмо, письмо, добалтывайся! Сейчас тебя отправят. Но вот еще несколько слов от себя:

— Любить Вас так, как надо, мне не дадут, и всех прежде, конечно,—Вы. О, как я Вас люблю, Марина! Так вольно, так прирожденно, так обогащающе ясно. Так с руки это душе, ничего нет лучше, легче! <...>

Вы видите, как часто я зачеркиваю? Это оттого, что я стараюсь писать с подлинника. О, как меня на подлинник тянет! Как хочется жизни с Вами! И, прежде всего, той ее части, которая называется работой, ростом, вдохновеньем, познаньем. Пора, давно пора за нее. Я черт знает сколько уже ничего не писал, и стихи писать наверное разучился.

Между прочим я Ваши тут читал. «Цветаеву, Цветаеву!»—кричала аудитория, требуя продолжения. <...>

А потом будет лето нашей встречи. Я люблю его за то, что это будет встреча со знающей силой, то есть то, что мне ближе всего, и что я только в музыке встречал, в жизни же не встречал никогда. <...> И вот опять письмо ничего не говорит. А может быть, даже оно Ваши стихи рассказывает своими словами.—Какие они превосходные! <...>

В начале 20-х годов Пастернак бедствовал, не имея средств прокормить семью. К этому же времени трагически сгустилось сознание незначительности всего написанного им после книг «Сестра моя жизнь» и «Темы и варьяции» (1917—1918). Это чувство перерастало в мысль о том, что профессиональное занятие лирической поэзией не оправдано временем. Эпоха войн и революций нуждается в историке или создателе эпоса. Своими сомнениями Пастернак делился с Цветаевой как с первым читателем и критиком. Летом 1925 года он принялся за поэму «Девятьсот пятый год». В постоянном общении с Цветаевой как с

первым читателем и критиком писалось начало поэмы «Лейтенант Шмидт». Пастернаку казалось, что Цветаева может до конца понять те задачи, которые он ставил перед собой, то, как он их решал, и оценить, насколько это ему удалось.

В начале августа 1925 года Цветаева передала Пастернаку слухи о том, что умер их любимый немецкий поэт Райнер Мария Рильке. В ответном письме от 16 августа Пастернак просил ее проверить эти сведения и уточнить обстоятельства. Тогда же он в тоске писал своей сестре Жозефине в Мюнхен, что его томит предчувствие собственной близкой смерти.

Весной 1926 года преодолевая чувство безысходности и душевного кризиса, Пастернак закончил поэму «Девятьсот пятый год». Главными событиями, определившими для него возможность дальнейшей работы и существования, было чтение цветаевской «Поэмы Конца» и полученное из Германии от отца известие, что Рильке жив и прислал ему письмо. В нем Рильке писал, что зимой в Париже он услышал о «ранней славе» Бориса Пастернака и читал его «очень хорошие стихи» в маленькой русской антологии, изданной И. Эренбургом, и по-французски — в журнале «Коммерс».

Письмо отца пришло в тот же день, когда Пастернак прочел «Поэму Конца» Цветаевой и весь был под властью этого впечатления. Это совпадение было одним из сильнейших переживаний его жизни. Он вспоминал о нем в послесловии к «Охранной грамоте», написанном в виде посмертного письма к Рильке:

«Как я помню тот день. Моей жены не было дома. Она ушла до вечера в Высшие художественные мастерские. В передней стоял с утра неприбранный стол, я сидел за ним и задумчиво подбирал жареную картошку со сковородки, и, задерживаясь в паденьи и как бы в чем-то сомневаясь, за окном редкими считанными снежинками нерешительно шел снег. Но заметно удлинившийся день весной в зиме, как вставленный, стоял в блуждающей серо-бахромчатой раме.

В это время позвонили с улицы, я отпер, подали заграничное письмо. Оно было от отца, я углубился в его чтение.

Утром того дня я прочел в первый раз «Поэму Конца». Мне случайно передали ее в одном из ручных московских списков, не подозревая, как много значит

для меня автор и сколько вестей пришло и ушло от нас друг к другу и находится в дороге. Но поэмы, как и позднее полученного «Крысолова», я до того дня еще не знал. Итак, прочитав ее утром, я был еще как в тумане от ее захватывающей драматической силы. Теперь с волнением читая отцово сообщение о Вашем пятидесятилетии и о радости, с какой Вы приняли его поздравление и ответили, я вдруг наткнулся на темную для меня тогда еще приписку, что я каким-то образом известен Вам. Я отодвинулся от стола и встал. Это было вторым потрясением дня. Я отошел к окну и заплакал.

Я не больше удивился бы, если бы мне сказали, что меня читают на небе. Я не только не представлял себе такой возможности за двадцать с лишним лет моего Вам поклонения, но она наперед была исключена, и теперь нарушала мои представления о моей жизни и ее ходе. Дуга, концы которой расходились с каждым годом все больше и никогда не должны были сойтись, вдруг сомкнулась на моих глазах в одно мгновение ока. И когда! В самый неподходящий час самого неподходящего дня!

На дворе собирались нетемные говорливые сумерки конца февраля. В первый раз в жизни мне пришло в голову, что Вы—человек, и я мог бы написать Вам, какую нечеловечески огромную роль Вы сыграли в моем существовании. До этого такая мысль ни разу не являлась мне. Теперь она вдруг уместилась в моем сознании. Я вскоре написал Вам».

В ожидании точного текста письма Рильке Пастернак обрушил на Цветаеву поток восторженных писем.

ПАСТЕРНАК—ЦВЕТАЕВОЙ

25 марта 1926 г.

Наконец-то я с тобой. Так как мне все ясно и я в нее верю, то можно бы молчать, предоставив все судьбе, такой головокружительно-незаслуженной, такой преданной. Но именно в этой мысли столько чувства к тебе, если не все оно целиком, что с ней не совладать. Я люблю тебя так сильно, так вполне, что становлюсь вещью в этом чувстве, как купающийся в бурю, и мне надо, чтобы оно подмывало меня, клало на

бок, подвешивало за ноги вниз головой¹ — я им спеленут, я становлюсь ребенком, первым и единственным, мира, явленного тобой и мной. Мне не нравятся последние три слова. О мире дальше. Всего сразу не сказать. Тогда ты зачеркнешь и подставишь.

Что же я делаю, где ты меня увидишь висящим в воздухе вверх ногами?

Я четвертый вечер сую в пальто кусок мгlistо-слякотной, дымно-туманной ночной Праги, с мостом то вдали, то вдруг с тобой, перед самыми глазами, качу к кому-нибудь, подвернувшемуся в деловой очереди или в памяти, и прерывающимся голосом посвящаю их в ту бездну ранящей лирики, Микеланджеловской раскидистости и Толстовской глухоты, которая называется Поэмой Конца. Попала ко мне случайно, ремингтонированная; без знаков препинания.

Но о чем речь, разве еще стол описывать, на котором лежала?

Ты мне напомнила о нашем боге, обо мне самом, о детстве, о той моей струне, которая склоняла меня всегда смотреть на роман как на учебник (ты понимаешь чего) и на лирику как на этимологию чувства (если ты про учебник не поняла).

Верно, верно. Именно так, именно та нить, которая сучится действительностью; именно то, что человек всегда делает и никогда не видит. Так должны шевелиться губы человеческого гения, этой твари, вышедшей из себя. Так, именно так, как в ведущих частях этой поэмы. С каким волнением ее читаешь! Точно в трагедии играешь. Каждый вздох, каждый нюанс под-сказан.

«Преувеличенно — преувеличенно то есть», «Но в час когда поезд подан — вручающий», «Коммерческими тайнами и бальным порошком», «Значит — не надо, значит — не надо», «Любовь это плоть и кровь», «Ведь шахматные же пешки, и кто-то играет в нас», «Расставание, расставаться?» — (Ты понимаешь, я этими фразами целые страницы обозначаю, так что: «Я не более, чем животное, кем-то раненное в живот», «Уже упомянуто шахматами».) Верно пропустил, поэма лежит справа, взглянуть и проверить, но не хочу, тут живое, со слуха, что все эти дни при мне, как «мое с неба

¹ Оттого-то я и проговариваюсь, и пишу. Ты такая прекрасная, такая сестра, такая сестра моя жизнь, ты прямо с неба спущена ко мне; ты в пору последним крайностям души.

Ты моя и всегда была моею и вся моя жизнь — тебе. (Примеч. Б. Пастернака.)

свалившееся счастье», «родная», «удивительная», «Марина» или любой другой безответный звук, какой, засуча рукава, ты из кучи можешь достать с моего дна.

А у людей так. После чтенья, моего, *такого* чтенья,— тишина, подчиненье, атмосфера, в которой и начинается это «купанье в бурю». Как же это делается? Иногда движеньем брови. Сижу сутулясь, сгорбясь, старшим. Сижу и читаю так, точно ты это видишь, и люблю тебя и хочу, чтобы ты меня любила. Потом, когда они перерождены твоей мерой, мудростью и безукоризненной глубиной, достаточно повести бровью и, не меняя положенья, бросить шепотом: «А? Каково! Какой человек большой!», чтобы сердце тут же занеряло, открытое в своей болтливости, и при всех проговорках законспирированное от них породю в раздвинутых тобою далях.

Какой ты большой, дьявольски большой артист, Марина!

Но о поэме больше ни слова, а то придется бросить тебя, бросить работу, бросить своих и, сев ко всем вам спиною, без конца писать об искусстве, об гениальности, о никем никогда по-настоящему не обсужденном откровении объективности, о даре тождественности с миром, потому что в самый центр всех этих высот бьет твой прицел, как всякое истинное творенье. Только небольшое замечание об одном выраженьи. Я боюсь, что у нас не во всем совпадает лексикон, что в своем одинаковом отщепенстве, начавшемся с малых лет, мы с тобой не по-одинаковому отталкивались от последовательно царивших штампов. Слова артист и объективность могли быть оставлены тобой в терминологии кругов, от которых ты бежала. Тогда ты в них только слышишь, что они— Сивцево-Вражечьи, прокурены, облиты вином и оставлены навсегда за ненужностью на той или другой гостеприимной лестнице.

Я же их захватил с собой, и об артистизме ничего не скажу, тут если не мое богословье, то целый том, не поднять. А об объективности вот что. Этим термином я обозначаю неуловимое, волшебное, редкое и в высочайшей степени известное тебе чувство. Вот оно в двух словах. Ты же, читая, прикинь на себя, припомни свое, помоги мне.

Когда Пушкин сказал (ты знаешь это точнее, прости невежество и неточность): «а знаете, Татьяна моя собирается замуж», то в его времена это было, вероятно, новым, свежим выраженьем этого чувства.

Захватывающая парадоксальность ощущения была гениально скопирована высказанным парадоксом. Но

именно этот-то парадокс и прокурен и облит вином на Сивцевом Вражке и издолблен в лепешку по гимназиям.

Может быть, только оттого парадоксальность объективности перевернулась в наши (мои и твои) дни на другой бок.

Он менее парадоксален. Для выраженья того чувства, о котором я говорю, Пушкин должен был бы сказать не о Татьяне, а о поэме: знаете, я читал Онегина, как читал когда-то Байрона. Я не представляю себе, кто ее написал. Как поэт он выше меня.

Субъективно то, что только *написано* тобой. Объективно то, что (из твоего) *читается* тобою или правится в гранках, как написанное *чем-то* большим, чем ты. Знаешь ты это, знаешь? Все равно, я знаю это о тебе.

И опять больше, меньше.—тут не чины, не в этом моя объективность. Не в этом ее жалостная, роковая, убойная радостность. А в незаслуженном дареньи. Все упомянутое и занесенное, дорогое и памятное стоит как поставили и самоуправничает в жизненности, как его парадоксальная Татьяна,—но тут нельзя останавливаться и надо прибавить: и ты вечно со всем этим, там, среди этого всего, в этом Пражском притоне или на мосту, с которого бросаются матери с незаконнорожденными, и в их именно час. И этим именно ты больше себя: что ты там, в произведеньи, а не в авторстве.

Потому что твоим гощеньем в произведеньи эмпирика поставлена на голову. Дни идут и не уходят и не сменяются. Ты одновременно в разных местах.

Вечный этот мир весь начисто мгновенен (как в жизни только молния). Следовательно, его можно любить постоянно, как в жизни только—мгновенно. Нет признака, которого бы я не желал вложить в термин: откровенье объективности.

Прямо непостижимо, до чего ты большой поэт!

Болезненно близко и преждевременно подступило к горлу то, что будет у нас, и кажется скоро, потому что этим воздухом я дышу уже и сейчас. *Mein grösstes Leben lebe ich mit dich*¹. Я мог бы залить тебя сейчас смехом и взволнованным любованьем, и уже и сейчас, поведив по своей жизни и рассказав про ее основанья, крылья, перистили и пр., показать тебе, где в ней начинаешься ты (очень рано, в шестилетнем возрасте!), где исчезаешь, возобновляешься (Мариной Цветаевой Верст), напоминаешь собственное основанье, насильно

¹ Своей высшей жизнью я живу с тобой (нем.).

теснишься мною назад, и вдруг, с соответствующими неожиданностями в других частях (об этом в другом, следующем письме) начинаешь наступать, растешь, растешь, повторяешь основанье и обещаешь завершить собою все, объявив—шестилетнюю странность лицом целого, душой зданья. Ты моя безусловность, ты, с головы до ног горячий, воплощенный замысел, как и я, ты—невероятная награда мне за рожденье и блужданья, и веру в бога и обиды.

Сестра моя жизнь была посвящена женщине. Стихия объективности неслась к ней нездоровой, бессонной, умопомрачительной любовью. *Она вышла за другого.* Вьюном¹ можно было продолжить: впоследствии я тоже женился на другой. Но я говорю с тобой. Ты знаешь, что жизнь, какая бы она ни была, всегда благороднее и выше таких либреттных формулировок. Стрелочная и железнодорожно-крушительная система драм не по мне. Боже мой, о чем я говорю с тобой и к чему!

Моя жена порывистый, нервный, избалованный человек. Бывает хороша собой, и очень редко в последнее время, когда у ней обострилось малокровье. В основе она хороший характер. Когда-нибудь в иксовом поколении и эта душа, как все, будет поэтом, вооруженным всем небом. Не низостью ли было бы бить ее врасплох, за то, и пользуясь тем, что она застигнута не вовремя и без оружия. Поэтому в сценах—громкая роль отдана ей, я уступаю, жертвую,—лицемерю (!!), как полибреттному чувствует и говорит она.

Но об этом ни слова больше. Ни тебе, ни кому другому. Забота об этой жизни, мне кажется, привита той судьбе, которая дала тебя мне. Тут колошмати не будет, даже либреттной.

Мои следующие письма будут скучны тебе, если ты не со мной сейчас, и не знаешь, кто с кем и почему так переписывается. О Rilke, куске нашей жизни, о человеке, приглашающем нас с тобой в Альпы будущим летом,—потом, в другом письме.

А теперь о тебе. Сильнейшая любовь, на какую я способен, только часть моего чувства к тебе. Я уверен, что никого никогда еще так, но и это только часть. Ведь это не ново, ведь это сказано уже где-то в письмах у меня к тебе, летом 24-го года, или может быть весной, и может быть уже и в 22—23-м. Зачем ты сказала мне, что я как все? Ты ломилась? Зачем ты так занозишься в униженьи? И унижение нарочитое, и

¹ Волнистая черта—знак курсива.

заноситься не надо. Ты ломилась? Ты правда так думаешь? А я как раз в фатальных тонах все это воспринимаю оттого только, что такого счастья руками не сделать и вломом не достать. Ну куда б я мог вломиться, чтобы сделать тебя? Чтобы вызвать тебя на свет в один час со мною? Руки твои и свои я знаю, хорошие руки, но и воспоминанья стоят предо мной, и воображаются твои. Сколько сделано людей, сколько в отрочестве объявлено гениев, доверенных, друзей, единственных, сколько мистерий!

Отчего их так много? Не оттого ли, что по детской глупости работалось постоянно одно, то именно «ты», которое оказалось налицо, и это одно поролось за работой, за гниlostью нитки, за гниlostью затеи. И вот вдруг ты, несозданная мною, врожденно тыкаемая каждым вздрогом,—преувеличенно, то есть во весь рост.

Что ты страшно моя и не создана мною, вот имя моего чувства. А я, говоришь, как все? Значит ты создала меня, как их? Тогда за что ты не бросаешь меня и столько всего мне спускаешь? Нет, ты тоже не создавала меня, и знаешь насколько я твой.

Всю жизнь я быть хотел, как все.
Но век в своей красе
Сильнее моего нитья
И хочет быть, как я.

Это из «Высокой болезни», которую я, за вычетом этого четверостишья, терпеть не могу.

Как удивительно, что ты—женщина. При твоём таланте это ведь такая случайность! И вот, за возможностью жить при Debordes-Valmore¹ (какие редкие шансы в лотерее!)—возможность—при тебе. И как раз я рождаюсь. Какое счастье. Если ты еще не слышишь, что об этом чуде я и говорю тебе, то это даже лучше. Я люблю и не смогу не любить тебя долго, постоянно, всем небом, всем нашим вооруженьем, я не говорю, что целую тебя только оттого, что они падут сами, лягут помимо моей воли, и оттого, что этих поцелуев я никогда не видал. Я боготворю тебя.

Надо успокоиться. Скоро я напишу тебе еще.
Спокойнее, как раньше.

Когда перечитываю письма,—ничего не понимаю. А ты? Какое-то семинарское удручающее однословье!

¹ Марселина Деборд-Вальмор (1786—1859), французская поэтесса.

Восхищение Цветаевой и чтение «Поэмы Конца» во многих домах шло одновременно с ростом беспокойства. Еще зимой Пастернака встревожило желание Цветаевой написать поэму о самоубийстве Есенина и интерес к подробностям его гибели. Пастернак по ее просьбе собирал воспоминания и газетные вырезки, и это увеличивало тревогу. А теперь эта поэма о собственном конце. Тайна смерти всегда волнует писателя. Попыткой приоткрыть ее проникнуто написанное в те дни стихотворение Пастернака, посвященное недавней смерти Ларисы Рейснер. В нем нашло выход также желание выйти из тупика, в который завело его в последних главах «Девятьсот пятого года» «стремление научиться объективному тону и стать «актуальнее», как он писал тогда А. И. Груздеву. Острое недовольство собой вылилось крутым поворотом к лирической метафоре и сжатости. Его письмо к Цветаевой от 11 апреля 1926 года кончалось так:

«Не оперные поселяне,
Марина, куда мы зашли?
Общественное гулянье
С претензиями земли.

Ну как тут отжаться занятью,
Когда по различью путей
Как лошади в Римском Сенате
Мы дики средь этих детей.

Походим меж тем по поляне.
Разбито с десятков эстрад.
С одних говорят пожеланья.
С других по желанью острят.

Послушай, стихи с того света
Им будем читать только мы,
Как авторы Вед и Заветов
И Пира во время чумы.

Но только не лезь на котурны,
Ни на паровую трубу.
Исход ли из гущи мишурной?
Ты их не напишешь в гробу.

Ты все еще край непочатый.
А смерть это твой псевдоним.
Сдаваться нельзя. Не печатай
И не издавайся под ним.

Чтобы испытать возможен ли на этой почве переход к настоящей прежней поэзии с воображеньем, идеализацией, глубиной и пр<очее>, я вслед за Шмидтом, прерывая работу над книгой, хочу написать «реквием» по Ларисе Рейснер. Она была первой, и, может быть, единственной женщиной революции, вроде тех, о которых писал Мишле. Вот один из набросков.

...Но как я сожалею,
Что я не смерть и ноль в сравненьи с ней,
Тогда б я знал, чем держится без клея
Людская повесть на обрывках дней.

Как я присматривался к матерьялам!
Валились зимы в мушку, шли дожди,
Запахивались вьюги одеялом
С грудными городами на груди.

Все падало, все торопилось в воду,
За поворотом превращалось в лед,
Разгорячась, влюблялось на полгода,
Я даже раз влюблен был целый год.

.....
Смешаться всем, что есть во мне Бориса,
Годами отходящего от сна,
С твоей глухой позицией, Лариса,
Как звук рифмует наши имена.

Вмешать тебя в случайности творенья,
Зарифмовать с начала до конца
С растерянностью тени и растенья
Растущую растерянность творца».

На следующий день было послано письмо Рильке.

12 апреля 1926. Москва.

Великий, обожаемый поэт!

Я не знаю, где окончилось бы это письмо и чем бы оно отличалось от жизни, позволь я заговорить в полный голос чувствам любви, удивления и признательности, которые испытываю вот уже двадцать лет.

Я обязан Вам основными чертами моего характера, всем складом духовной жизни. Они созданы Вами. Я говорю с Вами, как говорят о давно происшедшем, которое впоследствии считают истоком всего происходящего, словно оно взяло оттуда свое начало. Я вне себя от радости, что стал Вам известен как поэт,— мне

так же трудно представить себе это, как если бы речь шла о Пушкине или Эсхиле.

Чувство невообразимости такого сцепления судеб, своей щемящей невозможностью пронизывающего меня, когда я пишу эти строки, не поддается выражению. То, что я чудом попался Вам на глаза, потрясло меня. Известие об этом отозвалось в моей душе подобно току короткого замыкания.

Все ушли из дому, и я остался один в комнате, когда прочел несколько строк об этом в письме Л. О. Я бросился к окну. Шел снег, мимо проходили люди. Я не воспринимал окружающего, я плакал. Вернулись с прогулки сын с няней, затем пришла жена. Я молчал,— в течение нескольких часов я не мог выговорить ни слова.

До сих пор я был Вам безгранично благодарен за широкие, нескончаемые и бездонные благодеяния Вашей поэзии. Теперь я благодарю Вас за внезапное и сосредоточенное благодетельное вмешательство в мою судьбу, сказавшееся в таком исключительном проявлении. Входить при этом в подробности значило бы претендовать на Ваше внимание, на что я никогда не решусь, пока Вы мне сами этого не прикажете. Это значило бы также постичь цепь трагических событий истории и суметь о них рассказать, что, вероятно, превосходит мои силы.

Тем не менее всякий, кто способен учиться, может усвоить из нашего жизненного опыта, что великое в своем *непосредственном проявлении* оборачивается собственной противоположностью. Осуществившись, оно становится *ничтожным* в меру своего величия и косным в меру своей активности.

Такова между прочим и наша революция— противоречие уже с самого своего возникновения: разрыв течения времени под видом неподвижной и жуткой достопримечательности. Таковы и наши судьбы, *неподвижные*, недолговечные, *зависимые* от темной и величественной исторической исключительности, трагичные даже в самых мелких и смехотворных проявлениях. Однако о чем я разговорился? Что касается поэзии и поэта, иными словами особого в каждом случае преломления света европейской всеобщности, то есть множества слитых воедино судеб безымянных современников,— что касается поэзии, все остается по-прежнему. Как исстари, так и теперь и *здесь* все зависит от воли случая, которая, будучи воспринята глубоко и своевременно, приводит именно к недостающему преломлению. Тогда все становится до глупости

простым, внеисторическим и постигающим течение времени, свободным и роковым. Тогда заново становишься поэтом, после того, как восемь лет не знал этого обессиливающего счастья. Так случилось со мной в последние дни, а до того долгие восемь лет я был глубоко несчастлив и все равно, что мертв, хоть и в самом глубоком унынии никогда не забывал о возвышенном трагизме революции. Я совсем не мог писать, я жил по инерции. Все уже было написано в 1917—1918 году.

А теперь я словно родился заново. Тому две причины. О первой из них я уже говорил. Она заставляет меня онеметь от благодарности, и сколько бы я об этом ни писал, это не идет в сравнение с моими чувствами.

Позвольте мне сказать также и о другой причине, тем более, что для меня эти события взаимно связаны и что дело касается поэтессы, которая любит Вас не меньше и *не иначе*, чем я, и которая (как бы широко или узко это ни понимать) может в той же степени, что и я, рассматриваться как часть Вашей поэтической биографии в ее действии и охвате.

В тот же день, что и известие о Вас, я здешними окольными путями получил поэму, написанную так неподдельно и правдиво, как здесь в СССР никто из нас уже не сможет написать. Это было вторым потрясением дня. Это—Марина Цветаева, прирожденный поэт большого таланта, родственного по своему складу Деборд-Вальмор. Она живет в Париже в эмиграции. Я хотел бы, о ради Бога, простите мою дерзость и видимую назойливость, я хотел бы, я осмелился бы пожелать, чтобы она тоже пережила нечто подобное той радости, которая, благодаря Вам, излилась на меня. Я представляю себе, чем была бы для нее книга с Вашей надписью, может быть «Дуинезские Элегии», известные мне лишь понаслышке. Пожалуйста, простите меня! Но в преломленном свете этого глубокого и далеко идущего совпадения, в радостном ослеплении я хотел бы вообразить себе, что истина заключена именно в таком преломлении и что моя просьба выполнима и имеет смысл. Для кого, зачем? Этого я не смог бы сказать. Может быть для поэта, который вечно составляет содержание поэзии, и в разные времена именуется по-разному.

Ее зовут Марина Ивановна Цветаева и живет она в Париже: 19^{me} arr. 8, Rue Rouvet.

Позвольте мне считать Вашим ответом исполнение моей просьбы относительно Цветаевой. Это будет

знаком для меня, что я и впредь могу писать Вам. Я не смею мечтать о прямом ответе. И без того я отнял у Вас столько времени своим растянутым письмом, которое заведомо кишит ошибками и несуразицей. Когда я его начинал, я думал лишь достойно засвидетельствовать Вам свое преклонение. Неожиданно и в который уже раз я ощутил, каким откровением Вы для меня стали. Я забыл, что чувства, которые простираются на годы, возрасты, разные местности и положения, не могут поддаться внезапной попытке охватить их одним письмом. И слава Богу, что забыл. А то я не написал бы и этих беспомощных строк. Лежат же исписанные листы, которые я никогда не решусь послать Вам за их многословие и нескромность. Лежат и две книги стихов¹, которые я по первому побуждению собрался отправить Вам, чтобы ими, как сургучом, осязаемо запечатать это письмо, и не посылаю из боязни, что Вам когда-нибудь придет в голову читать этот сургуч. Но все становится лишним, стоит выговорить то, что важнее всего. Я люблю Вас так, как поэзия может и должна быть любима, как живая культура славит свои вершины, радуется им и существует ими. Я люблю Вас и могу гордиться тем, что Вас не унижит ни моя любовь, ни любовь моего самого большого и, вероятно, единственного друга Марины, о которой я уже упоминал.

Если бы Вы захотели меня осчастливить несколькими строчками, написанными Вашей рукой, я попросил бы Вас также воспользоваться для этого Цветаевским адресом. Нет уверенности, что почтовое отправление из Швейцарии дойдет до нас.

Ваш Борис Пастернак.

Через тридцать лет Пастернак так вспоминал об этом письме и объяснял причины, почему он включил Цветаеву в свои отношения с Рильке:

«Он сыграл огромную роль в моей жизни, но мне никогда в голову не приходило, что я мог бы осмелиться ему написать. Я не представлял себе, чтобы почта могла служить мостом к недоступному, совсем другому, чем все на свете существующему миру, с которым я был связан только своим поклонением, и вдруг оказалось, что мост этот перекинут далекой случайностью помимо меня. Только тогда я в первый

¹ «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации».

раз в жизни подумал, что мог бы написать ему. Но у нас были прерваны сношения со Швейцарией. И во Франции жила Цветаева, с которой я был в переписке и большой дружбе и которая тоже знала и любила Рильке. Мне хотелось попутно сделать ей подарок, представить ее Рильке, познакомить их. Я просил его не отвечать мне, не тратить на меня драгоценного времени, но в качестве знака, что письмо дошло до него, послать «Сонеты к Орфею» и «Элегии» Цветаевой во Францию» (письмо к З. Ф. Руофф 12 мая 1956).

Одновременно с письмом Рильке Пастернак писал Цветаевой о своем желании немедленно приехать к ней с тем, чтобы потом вместе с нею навестить Рильке. Так рождается план встречи троих поэтов, проходящий лейтмотивом их переписки. «Что бы мы стали делать с тобой—в жизни? Поехали бы к Рильке»,—цитирует затем Цветаева слова Пастернака.

Не дожидаясь ответа, Пастернак снова пишет Цветаевой 20 апреля, сразу вслед за письмом к ее другу М. А. Волошину с благодарностью за подаренную акварель. Еще 3 апреля Пастернак послал Цветаевой опросник анкеты Академии художественных наук для составления биографического словаря писателей XX века. Получив заполненный лист, он писал, как взволновал его ответ на вопрос о матери, совпадающий с тем, что он мог бы сказать о своей. «Ученица Рубинштейна, редкостно одаренная в музыке»,—написала в анкете Цветаева.

ПАСТЕРНАК—ЦВЕТАЕВОЙ

20/IV/26

Завтра я встану другим, скреплюсь, возьмусь за работу. А эту ночь проведу с тобой. Наконец-то они разошлись по двум комнатам. Я тебе начинал сегодня пять писем. Мальчик болен гриппом, Женя при нем, еще—брат и невестка. Входили, выходили. Поток слов, которые ты пила и выкачивала из меня, прерывался. Мы отскакивали друг от друга. Письма летели к черту, одно за другим. О как ты чудно работаешь! Но не разрушай меня, я хочу жить с тобой, долго, долго жить.

Вчера я прочел в твоей анкете о матери. Все это удивительно! Моя в 12 лет играла концерт Шопена и

кажется Рубинштейн дирижировал. Или присутствовал на концерте в Петербургской консерватории. Но не в этом дело. Когда она кончила, он поднял девочку над оркестром на руки и, расцеловав, обратился к залу (была репетиция, слушали музыканты) со словами: «Вот как это надо играть». Ее звали Кауфман, она ученица Лешетицкого. Она жива. Я, верно, в нее. Она воплощение скромности, в ней ни следа вундеркиндовства, все отдала мужу, детям, нам.

Но это я пишу о тебе. Утром, проснувшись, думал об анкете, о твоём детстве и с совершенно мокрым лицом напевал их, балладу за балладой, и ноктюрны, все, в чем ты выварилась и я. И ревел. Мама при нас уже не выступала. Всю жизнь я ее помню грустной и любящей.

Мне понадобилось написать Волошину и Ахматовой¹. Два запечатанных конверта скоро легли в сторону. Меня потянуло поговорить с тобой, и тут я измерил разницу. Точно ветер пробежал по волосам. Мне именно стало не вмоготу писать тебе, а захотелось выйти взглянуть, что сделалось с воздухом и небом, чуть только поэт назвал поэта. Вот колодка, вот мы друг для друга, вот голодный рацион, которого мы должны держаться год, если ты проживешь и обещаешь мне, что я тоже выживу. Родной мой друг, я не шучу, я никогда не говорил так. Уверь меня, что ты на меня полагаешься, что ты доверилась моему чутью. Я расскажу тебе, откуда эта оттяжка, отчего еще не я с тобой, а летняя ночь, И<лья> Г<ригорьевич>, Л<юбовь> М<ихайловна>² и прочая.

Я это объясню потом.

В противоположность твоим сновиденьям я видел тебя в счастливом, сквозном, бесконечном сне. В противоположность моим обычным, сон был молодой, спокойный, безболезненно перешедший в пробуждение. Это было на днях. Это был последний день, что я называл себе и тебе счастьем. Мне снилось начало лета в городе, светлая, безгрешная гостиница без клопов и быта, а может быть и подобье особняка, где я служил. Там внизу были как раз такие коридоры. Мне сказали, что меня спрашивают. С чувством, что это ты, я легко пробежал по взволнованным светом пролетам и скатился по лестнице. Действительно, в чем-то дорожном, в дымке решительности, но не внезапной, а крылатой,

¹ См.: Литературное наследство, т. 93. М., 1983.

² И. Г. Эренбург и его жена, Любовь Михайловна, находились тогда в Париже.

планирующей, стояла ты точь-в-точь так, как я к тебе бежал. Кем ты была? Беглым обликом всего, что в переломное мгновенье чувства доводит женщину на твоей руке до размеров физической несовместимости с человеческим ростом, точно это не человек, а небо в прелести всех плывших когда-либо над тобой облаков. Но это было рудиментом твоего обаянья. Твоя красота, переданная на фотографии,—красота в твоём особом случае—т. е. явленность большого духа в женщине ударяла в твоё окруженье прежде, чем я попадал в эти волны блаженствующего света и звучности. Это были состоянья мира, вызванные в нём тобою. Это трудно объяснить, но это-то и придавало сновиденью черту счастливости и бесконечности.

Это была гармония, впервые в жизни пережитая с силой, какая до тех пор бывала только у боли. Я находился в мире, полном страсти к тебе, и не слышал резкости и дымности собственной. Это было перее первой любви и проще всего на свете. Я любил тебя так, как в жизни только думал любить, давно-давно, до числового ряда. Ты была абсолютно прекрасна. Ты была и во сне, и в стенной, половой и потолочной аналогии существованья, т. е. в антропоморфной однородности воздуха и часа—Цветаевой, т. е. языком, открывающимся у всего того, к чему всю жизнь обращается поэт без надежды услышать ответ. Ты была громадным поэтом в поле большого влюбленного обожанья, т. е. предельной *человечностью стихии*, не среди людей или в человеческом словоупотребленьи («стихийность»), а у себя на месте.

Отчего, когда два года назад я в той же волне пустился собирать тебя и стал натекаться на Ланов¹, я Ланам не придал никакого значенья наперекор твоей документации, наперекор быть может и нынешнему твоему возраженью, что у Ланов есть вес в твоём сердце. Отчего для меня существует только С<ергей> Я<ковлевич>² и моя жизнь.

Ты же пишешь о женщине с мертвыми пальцами: ты может быть любила ее? И это ты видишь меня и говоришь, что знаешь? Но ведь даже и если бы Э<льза> Ю<рьевна>³ была полною себе противополо-

¹ Ланн Евгений Львович (1896—1958)—писатель и переводчик; Александра Васильевна Кривцова (1898—1958)—его жена.

² Сергей Яковлевич Эфрон (1893—1941), муж Цветаевой. Дальше в письмах он называется также «Сережа», «С. Я.».

³ Эльза Юрьевна Триоле (1896—1970), французская писательница; родилась и выросла в Москве. С 1919 г.—во Франции.

ложностью, то и тогда требовалось бы нечто исключительное, возвращающее от отдельных лет и лиц к первооснове жизни, ко входу, к началу — иными словами требовалась бы ты — чтобы вывести меня из линии и довести до чего-нибудь достойного именованья. Я ведь не только женат, я еще и я, и я полуребенок. Т. е. у меня нет в этом частоты, которая грозила бы опасностью жизнеискаженья. И опять, понимаешь ли ты?

Есть несколько случаев, когда Женя страдала по недостаточным поводам, т. е. когда я начинал любить и не долюблывал даже до первого шага. Есть тысячи женских лиц, которых мне бы пришлось любить, если бы я давал себе волю. Я готов нестись на всякое проявление женственности, и видимостью ее кишит мой обиход. Может быть, в восполнение этой черты я рожден и сложился на сильном, почти абсолютном тормозе.

Так вот, в том, что Э<льзы> Ю<рьевны> не было даже среди недостаточных поводов, причинявших страданье Жене, и вся замечательность ее вероятной антипатии ко мне. Я ее видел два-три раза тут в обществе, чаще чужом, чем своем. При моем появлении она во всеуслышанье заявляла, что она так мол и так — а я на нее даже не обращаю вниманья. Я конфузился ее бестактности, ссылаясь на то, что я вообще тюфяк или бездушная кукла, и говорил все, что в таких случаях говорится. Мне пришлось у ней побывать не из-за ее напоминаний, а из-за Есенина, по тому естественному закону, который до фантастики преувеличивает цену всего, что из чужого мира помогает как-нибудь мне с тобой. Она мне читала свою прозу, и я ее хвалил, где она этого заслуживала. Она не без способностей, но я сказал ей, что писателя и текст создает третье измеренье — глубина, которая подымает сказанное и показанное вертикально над страницей, и что важнее — отделяет книгу от автора. Я сказал ей, что этого у нее нет и что это верно приходит с работой. Я не знаю, зачем ей вздумалось искать или стараться симпатизировать мне. Действительных причин думать дружить со мной у ней нет. Я хочу сказать, что по всему я должен был бы быть нулем для нее или безразличен, как большинству тут, тронутому тем же противоречьем подражанья мне и пр. Неприятной стала она мне после твоего письма, и ты конечно мне поверишь, что не из-за слов о Гапоне¹ (она его слышала только один раз, и я

¹ «Гапон» — первоначальное название главы «Детство» поэмы Пастернака «Девятьсот пятый год».

не ей его читал), которые не новы для меня, а потому, что явилась из ночи в твое письмо, в первое твое письмо, сделавшее мне невыносимым дальнейшее существование без тебя.

Марина, позволь мне прервать это самомучительство, от которого никому не будет никакого проку. Я задам тебе сейчас вопрос, без всяких пояснений со *своей* стороны, потому что я верю в *твои* основания, которые у тебя должны быть, должны быть неизвестны мне и составляют часть моей жизни. Ты на него ответь, как никому никогда не отвечала,—как себе самой. *Ехать ли мне к тебе сейчас или через год?* Эта нерешительность у меня не *абсурдна*, у меня есть настоящие причины колебаться в сроке, но нет сил остановиться на втором решении (т. е. через год). Если ты меня поддержишь во втором решении, то из этого произтечет следующее. 1) Я со всем возможным напряжением проработаю этот год. Я передвинусь и продвинусь не только к тебе, но и к какой-то возможности быть для тебя (пойми широчайшим образом) чем-то более *полезным* в жизни и судьбе (объяснять—это томы исписать), чем это было бы сейчас.

Тогда я попрошу твоей помощи. Ты *должна* будешь представить себе, как я читаю твои письма, и что со мной при этом делается. Я перестану совершенно отвечать тебе, т. е. никогда не дам воли чувству. Т. е. буду видеть тебя во сне и ты об этом ничего не будешь знать. Год это мера, я буду соблюдать ее. Речь идет *только* о работе и вооружении, о продолжении усилий, направленных на то, чтобы *вернуть* истории поколение, видимо отпавшее от нее, и в *котором находимся я и ты*.

Ни о чем больше нет речи. У меня есть цель в жизни, и эта цель—ты. Ты именно становишься меньше целью, а частью моего труда, моей беды, моей теперешней бесполезности, когда счастье увидеть тебя этим же летом заслоняет для меня все, и я не вижу долей этого целого, которые может быть увидишь ты. Распространяться тут—значит затуманивать. Марина, сделай как я тебя прошу. Оглядишься, вдумайся в *свое*, только в то, что кругом *тебя*, хотя бы это были *твои* представления обо мне, или хотя бы слова, сказанные при тебе утром французскими твоими рыбаками,—осмотришься и в этом огляде почерпни толчок для ответа, но не в твоём желании видеть меня, потому что ты знаешь, как я тебя *люблю* и увидеть это тебе должно хотеться.

И отвечай тотчас же.

Если ты меня не остановишь, то тогда я еду с пустыми руками только к тебе и даже не представляю себе куда еще и зачем еще. Не поддавайся живущей в тебе романтике. Это плохо, а не хорошо. Ты сама шире этого только, а я как ты. Между тем если еще есть судьба на свете, а я это увидел нынешней весной, то еще не тот кругом у нас русских воздух (а может быть и во всем мире), когда можно доверяться человечности случая или лучше — приравненности неизвестности к поэту. Тут заряжать надо собственной рукой. А это — год. Но я почти уверен, что еду к тебе сейчас, побросав всякие работы. Все равно, пока ты меня не приведешь в порядок, я ни за что взяться не могу.

Посылаю тебе фотографию. Я ужасно безобразен. Я именно таков, как на фотографии, — она удачна. Я только щурюсь, потому что смотрю на солнце, что и делает ее особенно неприятной. Глаз надо закрыть.

Не слушай меня. Отвечай свободно. Умоляю тебя.

Вернувшись незадолго перед тем из Лондона, куда она ездила по приглашению Д. П. Святотолк-Мирского, организовавшего ей два литературных вечера, М. Цветаева сдержанно отнеслась к этому безоглядному и внезапному порыву. Она собиралась с детьми на лето в Вандею, в приморскую деревню Сен-Жиль. Приезд Пастернака не вписывался в ее планы.

ПАСТЕРНАК — ЦВЕТАЕВОЙ

5. V. 26.

На днях придет твой ответ. Может, он потребует телеграфного отклика. Тогда этот огромный перерыв перебьется для тебя лающим лаконизмом депеши. Давно, давно, уже не помню когда, пришло твое письмо, последнее из Парижа, с холодком и о Ходасевиче, т<о> е<сть> виноват: с ответным холодом на мое, о Ходасевиче. В тот день я узнал, что увижу тебя не в St.-Gilles. Это случилось до письма, и холод письма облегчил мне тяжесть этого сознания.

И все же, ты можешь обложить меня льдом, а оно невыносимо. Прости, что я так невозможно разлетелся тогда. Этого не следовало делать. Это должно было остаться моей возрождающей тайной до самого свиданья с тобой. Я мог и должен был скрыть от тебя до

встречи, что никогда теперь не смогу уже разлюбить тебя, что ты мое единственное законное небо, и жена до того, до того законная, что в этом слове, от силы, в него нахлынувшей, начинает мне слышаться безумье, ранее никогда в нем не обитавшее. Марина, у меня волосы становятся дыбом от боли и холода, когда я тебя называю.

И я тебя не спрашиваю, хочешь ли ты или нет, т<о> е<сть> допускаешь ли, потому что, порываясь по всему своему складу к свету и счастью, я бы и горе твоего отказа отождествил с тобою, т. е. с хватающей за сердце единственностью, с которой мне никогда не разойтись.

Я ничего почти не говорил, и все стало известно Жене, главное же объем и неотменимость. И она стала нравственно расти на этом резком и горячем сквозняке, день за днем, до совершенной неузнаваемости. Какая ужасная боль это видеть и понимать, и любить ее в этом росте и страданьи, не умея растолковать ей, что изнутри кругом именованный тобой, я ее охватываю не с меньшей нежностью, чем сына, хотя и не знаю, где и как это распределяется и сбывается во временах.— Если удастся, я ее с мальчиком снаряжу на лето к сестре в Мюнхен. Если за лето успею, осенью поеду сам. Если нет, предстоит страшная, душевно бездонная зима, и потом, наконец, весна. Дольших сроков на свете не имеется, они недопустимы и невообразимы.

Что значила твоя последняя фраза в анкете: «Жизнь—вокзал; скоро уеду; куда—не скажу»? (У меня анкеты нет, привожу на память.)

Я не обеспокоился, понял как провозглашение бессмертия, т<о> е<сть> ударенье на нем, на секрете и на вере, а не на *буквальной скорости*, как поняла Ася¹, залив меня безысходною тревогой (потому что это пониманье *твоей сестры*). На этот вопрос не забудь ответить. Ах как иногда глупо сболтнется! Ведь я не о том прошу. Но скажи, что я понял правильно, а если (чего вообразить не в силах) это не так, то умоляю тебя, переуверуй! На днях приходит письмо от сестры из Мюнхена. Заклинает и уверяет меня, что в этом году не умру. Письмо, по мимолетном недоуменьи, восстановило в моей памяти две-три недавних бессонницы, когда этот страх меня преследовал. Очевидно, я ей об этом проврался. Но письма припомнить не могу, и—не ответ ее, так и не знал бы о его существованьи. Но такая

¹ Анастасия Ивановна Цветаева (р. 1894), писательница, сестра Марины Ивановны.

буря ежедневных примет! Все торжествует, забегает вперед, одаряет, присягает. Перечислить нет возможности. Вдруг я стал тут для всех хорош. Вспомнили, и посыпалось со всех концов. Как ты по-особенному хороша, когда исключительно случайно проносишься в этом вихре участия. Например, то-то и то-то обо мне. И затем, вдруг (надо прибавить, что это говорит человек, даже не знающий, знакомы мы с тобой или нет) восхищенное сообщение, что Версты (твои) ходят в списках по Москве.

Или иногда непрямо, письмо о том, что со мной что-то верно происходит в последнее время, потому что корреспондент или корреспондентка часто видят меня во сне, и пр. и пр.

Точно ты завела или ко мне приставили тут специальных пифий. Я до бессмыслицы стал путать два слова: я и ты.

8/V/26

Благодарю и верю. Как трудно писать! Сколько его накатывало и расходовалось эту неделю. Ты указала берега. О насколько я твой, Марина! Везде, везде.

Вот он твой ответ. Странно, что он не фосфоресцирует ночью. Такой чудесности я не допускал. Я бродил вокруг да около того же. Я двадцать раз уезжал и двадцать раз меня останавливал голос, который я ненавидел, пока он был моим. Ты и тут предупредила. И как! Знаешь ли ты, что, заговоря, ты всегда *превосходишь* представление, даже внушенное обожаньем.

Одному человеку я на днях это выразил так. Мне пишет человек, которого я люблю до самозабвения. Но это такой большой человек и это так широко свидетельствуется в письмах, что иногда становится больно скрывать их от других. Эта боль и называется счастьем.

Ты всего не знаешь. Ты усадила меня за работу. Но как благодарить тебя за то, что, облегчая мне этим разлуку, ты третий месяц уподобляешь часть людей и обстоятельств себе.

Я говорю о тебе, как о начале. Как это объяснить? Обращаются как с драгоценностью. Как с вещью, заряженной золотом, любовно и осторожно. И так как я заряжен тобой, я люблю их всех за это обращение. За чутье, за подчиненье тому, чем я дымлюсь, очевидно.

Я напишу тебе, как только будет готов Шмидт. Только так я могу заставить себя взяться за работу. Это будет недели через три. Я много чего расскажу тебе тогда. Ты ведь все-таки живешь тут и во всей *осязательности* отдельных происшествий со мной.— Но об этом сегодня ни слова. Когда я буду писать тебе, буду один.

Твой ответ чудный, редкостный. Если мои слова о грохоте (невозможно далеко, божественно-благородном) *законности* кажутся тебе расходящимися с твоими последними словами о замужестве, ты их вымарай, чтобы их больше не видеть. На самом деле я в них выражаю то самое, что составляет суть и дыханье твоего письма.

Летом, осенью и зимой будут случаи и полосы, когда нам будет казаться, что мы пошли наперекор весне, поперек нее. Я тебе желаю счастья в эти дни, тебе и себе.

Прилагаю к этому письмо недоконченное, начатое в ожиданье твоего ответа. Ни на него, ни на это последнее, в котором я выражаю песку St.-Gilles-ского пляжа свою робость и покорность и все то, что требуется, чтобы задобрить воздух,— не отвечай. Давай молчать и жить и расти. Не обгоняй меня, я так отстал. Семь лет я был нравственным трупом. Но я нагоню тебя, ты увидишь. Про страшный твой дар не могу думать. Догадаюсь когда-нибудь, случится инстинктивно. Открытый же и ясный твой дар захватывает тем, что, становясь *долгом*, возвышает человека. Он навязывает *свободу*, как призванье, как край, где тебя можно встретить. Лето 1917 г. было летом свободы. Я говорю о поэзии времени, и о своей. В «Шмидте» одна очень взволнованная, очень моя часть просветляется и утомленно падает такими строчками:

О государства истукан,
Свободы вечное преддверье!
Из клеток крадутся века.
По Колизею бродят звери,
И вечно тянется рука
В столетий изморось сырую,
Гиену верой дрессируя,
И вечно делается шаг
От римских цирков к римской церкви,
И мы живем по той же мерке,
Мы, люди катакомб и шахт:

До этого стихи с движеньем и даже может быть неплохие. Эти же привожу ради мысли. Тут в теме твое влиянье (жид, выкрест и пр. из Поэмы Конца). Но ты это взяла как символ и вековечно, трагически, я же в точности как постоянный переход, почти орнаментальный канон *истории*: арена переходит в первые ряды амфитеатра, каторга — в правительство, или еще лучше: можно подумать при взгляде на историю, что идеализм существует больше всего для того, чтобы его отрицали.

Прости за щепетильную и мелочную просьбу и не удивляйся неожиданной деловитости. Не все понимают, что в «Потемкине»¹ слова «За обедом к котлу не садились и *кушали* молча хлеб да воду...» — не случайная описка, а сказано так умышленно. Именно это *кушать* — солдатское, т. е. вернее казарменное выражение, а не всякие там хлебать или шамать и прочие глаголы, употребительные на воле и дома. Кроме того, это выражение почерпнуто из матерьялов. Вот я и хочу тебя спросить. Не сопроводить ли некоторых выражений вроде: скатывать палубу; буксирный кнехт и пр. объяснительными сносками, и не дать ли в их ряду и сноску к слову «кушали»? Если ты с этим согласна, то под звездочкой я бы тогда дал просто документальную выдержку: «Борщ кушать было невозможно, вследствие чего команда без приварочного обеда и *кушала только хлеб с водою*». Из дела № 3769—1905 г. Д-та Полиции 7-го делопроизводства «О бунте матросов на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Показанье матроса Кузьмы Перелыгина. — Разумеется, в оригинале по старому правописанью.

В документе, который называется: «Правда о Потемкине». Написал минно-машинный квартирмейстер первой статьи броненосца «Князь Потемкин-Таврический» Афанасий Матюшенко. «Ребята, почему не кушаете борща?» — «Кушай сам, а мы будем *кушать воду с хлебом*». И вообще вся страница этого замечательного воспоминанья (Матюшенко повешен в 1907 г., его предал Азеф) пестрит этим кушаньем воды. Между прочим меня удивляет, что некоторые слышат в этом какую-то странность. По-моему, это в стихии языка, и может быть даже без наводящих подробностей матерьяла я сказал бы так и сам. Для сноски разумеется

¹ «Потемкин» — первоначальное название главы «Морской мятеж» в поэме «Девятьсот пятый год». Эта глава тогда печаталась в Париже, в журнале «Версты».

достаточно одного Перелыгнна. Остальные сноски под соответствующими словами. Шканцы—средняя часть корабля. Считается самой почетной и даже священной его частью. Кнехт—железный столбик для зацепки каната. Скатить палубу значит вымыть ее, закрыв люками входы во все находящиеся помещенья. Батарейная палуба с башней—бронированная надстройка на середине броненосца со входами в машинные и минные части и в арсенал. Щит—железное приспособление, служащее прицелом для орудийной стрельбы на маневрах. Камбуз—судовая кухня. Спардек—площадка, которая образуется потолком надстройки, имеющейся в средней части корабля. Ют—часть кормы до бизань-мачты. А может быть, ничего этого не нужно? Какой-то глупый получается вид. Как ты думаешь?

Как я ненавижу свои письма! Но так как я отвечу на твой продолжением и окончанием Люверс¹ и так как, что бы я ни написал взамен этой ерунды, завершающейся тремя перепутанными страницами о сносках и опять о червях, получится то же самое, то я и посылаю тебе эти вспышки разыгрывающегося тупоумья. Марина, я говорю это искренне, бесстрашие же мне внушает фатализм, т. е. вера в целое, растянутое по времени пренебрежение к частностям.—Была неделя, когда я полностью вышел из семьи. Истекшею зимой меня часто донимали разные предвестья возраста и нездоровья. Удивительно, как поправляет и омолаживает страданье. Я вдруг узнал в глаза свою давно не виденную жизнь. Прости за письмо, за глупые стихи, за невозможное многословье о сносках, ни к чему не нужных. Я хорошо напишу летом, я все пройду снизу доверху. Я тебе напишу о тебе, о предельном, о самом дорогом: о тебе безотносительной, «объективной». И о том как представлял я себе мое прикосновение к тебе. Говорю, и громоздятся словесные извращения. Это оттого, что все стало жизнью.—Чего-то жду от Англии. Либо просто-напросто тебя, либо в уподоблении. Может быть легче будет жить, легче встретиться.—На вопрос о последней фразе анкеты ты ответила. Слава Богу. Отрывками твоих стихов в письмах пользуюсь как сжатыми образцами лирической силы и высоты. Как хорошо, что мы поем эту хвалу друг другу не первыми, а со стольких-стольких голосов.

¹ Повесть «Детство Люверс», издававшаяся в 1922 и 1924 гг., была отделанным началом романа. Пастернак пишет Цветаевой о намерении продолжить работу над ним. Роман завершен не был; рукопись уничтожена автором.

И все-таки, что я не поехал к тебе—промах и ошибка. Жизнь опять страшно затруднена. Но на этот раз—жизнь, а не что-нибудь другое.

Безоговорочное решение ехать к Цветаевой сменилось альтернативой. Голос здравого смысла взял верх над романтикой первого движения. Пастернаку казалось невозможным явиться к Рильке, не написав чего-нибудь нового, достойного, оправдывающего это вторжение. Уже 20 апреля он вернул судьбу их встречи в руки Цветаевой.

Ее ответ его обрадовал: она не только предоставила ему свободу выбора, но и напоминала ему о его долге, что явно отодвигало встречу на год.

О своем письме Цветаева через пять лет писала Тесковой:

«Летом 26-го года, прочтя где-то мою Поэму Конца. Б<орис> безумно рванулся ко мне, хотел приехать—я отвела: не хотела всеобщей катастрофы»¹.

Рильке получил письмо от Бориса Пастернака только в первых числах мая. Оно проделало длинный путь: из Москвы в Берлин к родителям, потом в Мюнхен к сестре, оттуда, наконец, в Швейцарию. Рильке поразительно быстро выполнил содержащуюся в письме просьбу и написал Цветаевой:

«Валь Мон, Глион сюр Территэ (Во), Швейцария (временный адрес), 3 мая 1926.

Дорогая поэтесса,

сейчас я получил бесконечно потрясающее меня письмо от Бориса Пастернака, переполненное радостью и самыми бурными излияниями чувств. Волнение и благодарность—все то, что всколыхнуло во мне его послание,—должны идти от меня (так понял я из его строк) сначала к Вам, а затем, через Ваше посредничество, дальше—к нему! Две книги (последнее, что я опубликовал), которые отправятся вслед за этим письмом, предназначены для Вас, Ваша собственность. За ними, если только у меня остались экземпляры, последуют еще две: их надо будет переслать Борису Пастернаку²; надеюсь, цензура их пропустит. Я так потрясен силой и глубиной его слов, обращенных ко мне, что сегодня не

¹ Цветаева М. Письма к А. Тесковой. Прага, 1969.

² Здесь и далее слова, написанные в немецком тексте по-русски, в переводе выделены полужирным шрифтом.

могу больше ничего сказать: прилагаемое же письмо отправьте Вашему другу в Москву. Как приветствие. Что рассказать Вам? Вы знаете, что уже более 26 лет (с того времени, как я был в Москве) я причисляю отца Бориса, Леонида О<сиповича> П<астернака>, к своим верным друзьям. Этой зимой (в самом ее начале) после долгого-долгого перерыва я получил от него письмо из Берлина и ответил ему, радуясь, что мы снова нашли друг друга. Но уже до известия от Леонида Осиповича я знал, что его сын стал значительным и сильным поэтом: в прошлом году, когда я был в Париже, друзья показали мне несколько его произведений, которые я читал взволнованно и растроганно (ведь я еще читаю по-русски, хотя и не без известного напряжения и труда; но письма все же легко!). Во время моего прошлогоднего почти *восьмимесячного* пребывания в Париже я возобновил знакомство со своими русскими друзьями, которых не видел двадцать лет. Но почему — спрашиваю я себя — почему не довелось мне встретиться с *Вами*, *Марина Ивановна Цветаева*¹. Теперь, после письма Бориса Пастернака, я верю, что эта встреча принесла бы нам обоим глубочайшую сокровенную радость. Удастся ли нам когда-либо это исправить?!

Райнер Мария Рильке.

P.S. Французский мне *так же* близок, как и немецкий; упоминаю это на тот случай, если французский, наряду с Вашим родным языком, для Вас более удобен».

В конверт с этим письмом была вложена записка, адресованная Пастернаку. Цветаева отправила ее в Москву не сразу, добавив от себя две фразы из письма Рильке к ней, где он говорит о впечатлении, которое произвело на него письмо Пастернака. Одновременно с письмом Рильке надписал и послал Цветаевой книги «Дуинезские элегии» и «Сонеты к Орфею». Вторые экземпляры, обещанные Борису Пастернаку, не были посланы. Цветаева немедленно ответила Рильке вдохновенным письмом — между ними завязалась переписка.

Только 18 мая пришло к Пастернаку долгожданное известие от Рильке. «Получение этой записки было одним из немногих потрясений моей жизни, я ни о чем

¹ Цветаева приехала в Париж в ноябре, а Рильке уехал оттуда в августе 1925 г.

таким не мог мечтать»,— писал Пастернак через тридцать лет¹.

В заказном конверте, посланном Цветаевой, содержалось два голубых листка. Один из них— от Рильке с тем самым письмом, которое, по словам Пастернака, ему грезилось и которого он «и в сотой доле не заслуживал»:

«Валь мой, Глион (Во)

Дорогой мой Борис Пастернак,

Ваше желание было исполнено тотчас, как только непосредственность Вашего письма коснулась меня словно веянье крыльев: «Элегии» и «Сонеты к Орфею» уже в руках поэтессы! Те же книги, в других экземплярах, будут посланы Вам. Как мне благодарить Вас: Вы дали мне увидеть и почувствовать то, что так чудесно приумножили в самом себе. Вы смогли уделить мне так много места в Вашей душе,—это служит к славе Вашего щедрого сердца. Да снизойдет на Вас всяческое благословение!

Обнимаю Вас. Ваш Райнер Мария Рильке».

Пастернак всю жизнь хранил оба эти листочка. Летом 1960 года мы их вынули из конверта с надписью «Самое дорогое», который лежал в кожаном бумажнике в кармане его пиджака. На втором, протертом по сгибу, по-немецки рукою Цветаевой было переписано из письма Рильке к ней:

«Я так потрясен силой и глубиной его слов, обращенных ко мне, что сегодня не могу больше ничего сказать: прилагаемое же письмо отправьте Вашему другу в Москву. Как приветствие».

Письмо от Цветаевой, полученное в начале мая, содержало странную просьбу принять участие в судьбе поэтессы Софии Парнок, с которой Марина была близка в 1915 году. Приложенные к письму стихи из цикла «Подруга» 1915 года были для Пастернака как прикосновение к электрическому конденсатору— лейденской банке, «заряженной болью, ревностью, ревом и страданьем».

По заказу газеты «Известия» Пастернак написал стихотворение о всеобщей забастовке, начавшейся в Лондоне 3—4 мая, и послал эти стихи Цветаевой.

¹ Письмо к З. Ф. Руофф от 12 мая 1956 г.— Вопросы литературы, 1972, № 9.

Стихи не были опубликованы. Денежные затруднения ввиду отправки жены с сыном за границу в Германию засадили его за круглосуточную работу над «Лейтенантом Шмидтом».

Пересылая письмо Рильке, Цветаева ничего не написала о своей переписке с Рильке и полученных ею по просьбе Пастернака книгах. Эта внезапно возникшая в отношениях с Цветаевой нота умолчания мучила Пастернака. Это чувствуется в его письмах к ней до 10 июня, когда он вдруг получил переписанные ею два первых письма Рильке к ней.

ПАСТЕРНАК—ЦВЕТАЕВОЙ

19/V-26

До этого были три неотправленных. Это болезнь. Это надо подавлять. Вчера пришла твоя передача его слов: твое отсутствие, осязательное *молчание* твоей руки. Я не знал, что такую похоронную музыку может поднять, отмалчиваясь, любимый почерк. Я в жизни не запомню тоски, подобной вчерашней. Все я увидел в черном свете. Болен Асеев ангиной, четвертый день 40 градусов. Я боюсь, боюсь произнести чего боюсь. И все в таком роде. Так я не могу, не хочу и не буду тебе писать. Я страшно дорожу временем, ставшим твоим живым раствором, только разжигающим жажду. Я дорожу годом, жизнью, и боюсь нервничать, боюсь играть этим нечеловеческим добром.

По той же причине не отзываюсь на письмо о Парнок. Ей мне сделать нечего, потому что никакой никогда мы каши с ней не варили, да еще вдобавок письмо застало меня в новой ссоре с ней: накануне я вышел из «Узла»¹, отчасти из-за нее. Писать же о двадцатилетней Марине в этом обрамлении и с данными, которые ты на меня обрушила, мог бы только св. Себастьян. Я боюсь и коситься на эту банку, заряженную болью, ревностью, ревом и страданьем за тебя, хотя бы краем одного плеча полуобнажающуюся хоть в прошлом столетии. Попало ни в чем не повинным. Я письмо получил на лестнице, отправляясь в Известия, где не был четыре года. Я вез им стихотворенье, написанное слишком быстро для меня, об английской забастовке, уверенный, что его не примут. В трамвае

¹ Имеется в виду кооперативное издательство «Узел», выпустившее в 1926 г. книгу «Избранных стихов» Пастернака.

прочел письмо и стихи (если это — банка, то анод и катод, и вся музыка и весь ад и весь секрет конечно в них: Зачем тебе, зачем моя душа спартанского ребенка). И вот таким, от тебя и за тебя влетел я в редакцию, хотя и своего достаточно было. Они не знали, куда от меня деваться. Единственное, похожее на человеческую мысль, что они сказали, было: поэт в редакции это как слон в посудной лавке. Между прочим я слишком высказался там в тот день, и может быть мои общие страхи возвращаются и к тому вечеру. Среди всего прочего я сказал, что, начав играть в нищих, все они стали нищими, каких не бывает, каких бы только выставляли в зверинцах, если бы природа и пр. и пр.

Соображенья житейские заставляют меня признать все уже написанное о Шмидте «1-ою частью» целого, уверовать в написание второй и сдать написанное в журнал. Я над вещью работы не брошу. Она будет. Но мне хотелось посвящение тебе написать по окончании всего и хорошо написать. Помещать же его надо в начале. Вчера, перед сдачей, написал как мог.

ПОСВЯЩЕНЬЕ

Мельканье рук и ног и вслед ему
«Ату его сквозь тьму времен! Резвей
Ревя рога! Ату! А то возьму
И брошу гон и ринусь в сон ветвей».

Но рог крушит сырую красоту
Естественных, как листья леса, лет.
Царит покой, и что ни пень — Сатурн:
Вращающийся возраст, круглый след.

Ему б уплыть стихом во тьму времен:
Такие клады в дуплах и во рту.
А тут носи из лога в лог, ату,
Естественный, как листья леса, стон.

Век, отчего травить охоты нет?
Ответь листвою, пнями, сном ветвей
И ветром и травю мне и ей.

Тут — понятие (беглый дух): героя, обреченности истории, прохожденья через природу, — моей посвященности тебе. Главное же, как увидишь, это акростих с твоим именем, с чего и начал: слева столбец твоих букв, справа белый лист бумаги и беглый очерк чувства. Писал в странном состоянии, доля которого

впрочем была и в значительно худшем, т. е. просто плохом, для газеты стихе об Англии. Так как оно кончается тем же колечкоподобным, узким и втягивающим словом, что и посвящение, то вот:

Событье на Темзе, столбом отрубей
Из гомозни претензий по вытяжной трубе!
О будущность! О бьющийся об устье вьюшки дух!
Волнуйся сам, но не волнуй, будь сух!

Ревущая отдушина! О тяга из тяг!
Ты комкаешь кусок газетного листа,
Вбираешь и выносишь и выплескиваешь вон
На улицу на произвол времен.

Сегодня воскресенье и отдыхает штамп
И не с кого списать мне дифирамб.
Кольцов помог бы втиснуть тебя в тиски анкет.
Но в праздник нет торговли в Огоньке.

И вот, прибор бушующий, не по моей вине
Сегодня мы с тобой наедине.

Асфальтов блеск и дробь подков и гонка облаков.
В потоке дышл и лошадей поток и бег веков.
Все мчит дыша, как кашалот, и где-то блещет цель,
И дни ложатся днями на панель.

По палке вверх взбегает плеск нетерпеливых рук.
Конаясь, дни пластают век, кому начать в игру.
Лицо времен, вот образ твой, ты не живой ручей,
Но столб вручную взмывших обручей.

Событье на Темзе, ты вензель в коре
Влюбленных гор, ты—ледником прорытое тире,
Ты зиждешь столб, история, и в передвижке дней
Я свижусь с днем, в который свижусь с ней.

Хотя я сегодня немножко успокоился и снова помню и знаю, отчего остался на год, а отсюда и: *зачем*; но до получения письма от тебя темы Рильке затрагивать не в состоянии¹. Это именно то письмо, которое мне грезилось и которого я и в сотой доле не заслуживаю. Он ответил немедленно. Но когда, помнишь, я запрашивал у тебя посторонних и действи-

¹ А также и думать о нем, а писать ему и подавно. (Примеч. Б. Пастернака.)

тельных опор для решенья, лично для себя я избрал, как указанье, именно это письмо, вернее срок его прихода.

Я не рассчитал, что совершить ему предстояло не два, а больше четырех концов (везли с оказией к родным в Германию, оттуда послали ему, может быть не прямо, от него на Rue Rouvet¹, потом на океан, потом лишь от тебя ко мне). У меня было загадано, если ответ его будет вложен в письмо с твоим решеньем, послушаюсь *только* своего нетерпенья, а не тебя и не «другого» своего голоса. И верно хорошо, что тогда вы с ним разошлись. Но что ты разошлась с ним вторично, что вместе с ним пришла не ты, а только твоя рука, потрясло меня и напугало. Успокой же меня скорее. Марина, надежда моя. Не обращай вниманья на скверные стихи в письмах. Вот увидишь Шмидта в целом. Если же посвященье плохо, успеи остановить.

Я твоей просьбы относительно Над<ежды> Ал<ександровны>² еще не исполнил. Ты должна меня простить. Это тоже из самосохраненья. Боюсь избытка тебя в делах и в дне. С исполненьем просьбы запоздаю.

ЦВЕТАЕВА — ПАСТЕРНАКУ

22-го мая 1926 г., суббота.

Борис!

Мой отрыв от жизни становится все непоправимей. Я переселяюсь, переселилась, унося с собой всю страсть, всю нерастрату, не тенью — обескровленной, а столько ее унося, что надоила б и опоила бы весь Аид. О, у меня бы он заговорил, Аид!

Свидетельство — моя исполнительность в жизни. Так роль играют, заученное. Ты не знаешь моей жизни, именно этой частности слова: жизнь. И никогда не узнаешь из писем. Боюсь вслух, боюсь сглазить, боюсь навлечь, неблагодарности боюсь — не объяснить. Но, очевидно, так несвойственна мне эта дорогая несвобода, что из самосохранения переселяюсь в свободу — полную. (Конец «Мблодца».)

Да, о Мблодце, если помнишь, — прав ты, а не Ася. «Б<оря> по своей неслыханной доброте увидел в конце простое освобождение и порадовался за тебя».

¹ Парижский адрес Цветаевой у Черновых.

² Н. А. Нолле-Коган, жена критика П. С. Когана; Цветаева дружила с ней в 20-е гг.

Борис, мне все равно, куда лететь. И, может быть, в том моя глубокая безнравственность (небожественность). Ведь я сама—Маруся: честно, как нужно (тесно, как не можно), держа слово, обороняясь, заслоняясь от счастья, полуживая (для других—более, чем—но я-то знаю), сама хорошенько не зная для чего так, послушная в насилии над собой, и даже на ту Херувимскую идя—по голосу, по чужой воле, не своей.

Я сама вздохнула, когда кончила, ошастливленная за нее—за себя. Что они будут делать в огонь-синь? Лететь в него вечно. Никакого сатанизма. Херувимская? Так народ захотел. (Прочти у Афанасьева сказку «Упырь».—Пожалуйста!) И, нужно сказать, хорошо выбрал час.

Борис, я не знаю, что такое кощунство. Грех против grandeur¹ какой бы то ни было, потому что многих нет, есть одна. Все остальные—степени силы. Любовь! Может быть—степени огня? Огонь-ал (та, с розами, постельная), огонь-синь, огонь-бел. Белый (бог) может быть силой бел, чистотой сгорания? Чистота. Которую я неизменно вижу черной линией. (Просто линией.)

То, что сгорает без пепла—бог.

А от этих—моих—в пространствах огромные лоскутья пепла. Это-то и есть Мблodeц.

Я не даром отдала эту поэму тебе. Переулочки и Мблodeц вот, досель, мое из меня любимое.

Еще о жизни. Я ненавижу предметы и загромождения ими. Точно мужчина, давший слово жене, что все будет в порядке. (А она умерла или вроде.) Поэтому—не упорядоченность жизни, построенная на разуме, а мания. Вдруг, среди беседы с другом, которого не видела 10 лет, срывается: «забыла, вывешено ли полотенце. Солнце. Надо воспользоваться». И совершенно стеклянные глаза.

Словно вытверженный урок—как Отче наш, с которого не собьешь, потому что не понимаешь ни слова. Ни слога. (Есть деления мельчайшие слов. Ими, кажется, написан «Мблodeц».)

То, что ты пишешь о себе, я могу написать о себе: со всех сторон любовь, любовь, любовь. И—не радуется. Имя (без отчества), на которое я прежде была так

¹ Величие (фр.).

щедра,—имя ведь тоже затрепывается. Не воспрещаю. Не отвечаю. (Имя требует имени.) Вдруг открыли Америку: меня: Нет ты *мне* открой Америку!

«Что бы мы стали делать с тобой—в жизни?» (точно необитаемый остров! на острове—знаю).— «Поехали бы к Рильке». А я тебе скажу, что Рильке перегружен, что ему ничего, никого не нужно, особенно *силы*, всегда влекущей: отвлекающей. Рильке—отшельник. Гете в старости понадобился только Эккерман¹ (воля последнего к второму Фаусту и записывающие уши). Рильке перерос Эккермана, ему—между богом и «вторым Фаустом» не нужно посредника. Он старше Гете и ближе к делу. На меня от него веет последним холодом имущего, в имущество которого я заведомо и заранее включена. Мне ему нечего дать, все взято. Да, да, несмотря на жар писем, на безукоризненность слуха и чистоту вслушивания—я ему не нужна, и ты не нужен. Он старше друзей. Эта встреча для меня—большая растрата, удар в сердце, да. Тем более, что он прав (не его холод! оборонительного божества в нем!), что я в свои лучшие высшие сильнейшие, отрешеннейшие часы—сама такая же. И может быть от *этого*, спасаясь (оборонительного божества в себе!), три года идя рядом, за неимением Гете, была Эккерманом, и *большим*—С. Волконского². И так всегда хотела во всяком, в любом—не быть.

Всю жизнь хотел я быть как все,
Но мир, в своей красе,
Не слушал моего нытья
И быть хотел—как я.

Даже без кавычек. Этот стих я так запомнила со слов Л. М. Эренбург еще в 1925 г. весной. И так он мне ближе. Век ведь—поправка на мир.

Да! Доехал ли Эренбург? Довез ли? Посылаю тебе еще тетрадку, для стихов. Сегодня у нас первый тихоокеанский день: ни ветринки.—(Такие письма можно писать?)

Недавно у меня был чудный день, весь во имя твое. Не расставалась до позднего часа. Не верь «холодкам». Между тобой и мною такой сквозняк.

¹ Эккерман И.-П. (1792—1854)—секретарь Гете, автор книги «Разговоры с Гете».

² Волконский С. М. (1860—1937)—писатель и театральная деятель; в 1920 г. Цветаева была с ним дружна, переписывала его рукописи.

Присылай Шмидта. У меня в Праге был его сын, и для него была трагедией добавка «Очаковский». Чудный мальчик, похожий на отца. Я помню его в 1905 г. в Ялте на пристани. Будь здоров. Обнимаю, родной.

М.

Как я тебя понимаю в страхе слов, уже искажаемых жизнью, уже двусмысленных. Твое сторожкое ухо — как я его люблю, Борис!

ПАСТЕРНАК — ЦВЕТАЕВОЙ

23/V/26.

У меня к тебе просьба. Не разочаровывайся во мне раньше времени. Эта просьба не бессмысленна, потому что, поверив сейчас про себя, на слух, слова: «разочаруйся во мне», я понял, что я их, когда заслужу, произнести способен. До этого же не отворачивайся, что бы тебе ни показалось.

И еще вот что. Отдельными движеньями в числах месяца, вразбивку, я тебя не домогаюсь. Дай мне только верить, что я дышу одним воздухом с тобою, и любить этот общий воздух. Отчего я об этом прошу и зачем заговариваю? Сперва о причине. Ты сама эту тревогу внушаешь. Это где-то около Рильке. Оттуда ею поддувает. У меня смутное чувство, точно ты меня слегка от него отстраняешь. А так как я держал все вместе, в одной охапке, то это значит отдаляешься ты от меня, прямо своего движенья не называя.

Я готов это нести. Наше остается нашим. Я назвал это счастьем. Пускай оно будет горем. Существенности, которая бы развела нас врозь, я никогда в свой круг не втяну, не захочу. А поэтическая воля предвосхищает жизнь. Собственно я никогда никакой воли за собой не помню, а всегда лишь предвиденья, предвкушенья и... осуществленья, — нет лучше: проверки.

И вот недавно, с тобою, решительно *впервые* случилось это со мной по-человечески, как у людей воли.

Ты простоте открыла радость недостававшего разряда. Степень стала основаньем¹.

¹ Об этом (о воле, предвосхищеньи и о простоте беспредельного разряда) есть у меня рассказ 1916 года, не сделанный. Сейчас решил, что отделаю летом. (Примеч. Б. Пастернака.)

И вот ты сейчас возмутишься, точно это я завожу неожиданный *plusquam perfekt*¹.

Ничего не изменилось.

Все равно *одно* одиночество, одни выхода и рысканье то же и те же излюбленности в лабиринте литературы и истории, и одна роль. Чудесно о тебе написал Святополк-Мирский². Тот же самый Зелинский³ прислал, раскаявшись и устыдившись политической клеветы, идущей от Кусикова⁴, убогого ничтожества, ни на что лучшее не способного, которого и я достаточно хорошо знаю по столкновениям в Берлине, где они, засев в «Накануне»⁵, травили Белого и, когда требовалось, так нагло переписывали его заслуги в чужую графу, что так и ждалось номера, где просто будет снят Борис Николаевич и подпись под фотографией: Ал. Н. Толстой. Таков — «ся-ков» сей — Кусиков, в корне, правду сказать, совсем безобидный малый. Сказанное похороны, памяти не стоит. Держал он книжную лавку. В крайнем случае, когда он заведет мясную, забирать, из злопамятности, будешь не у него.

Статья переремингтонена на тонкой посольской бумаге. Не только не пожалел, но значит нашел, отчеркнул, поручил на Rue de Grenelle машинистке. Задала им работу. Чудесная статья, глубокая замечательная, и верно, очень верно.

Люблю С<вятополк>-М<ирского>. Но я не уверен, справедливо ли *определяет* меня. Я не про оценку, про определение именно. Ведь это выходит вроде «Шума Времени», как ты его определяешь — натюрмортизм? Не так ли? А мне казалось, что я в глухую, обходами, туго, из-под земли начинаю в реалистическом обличьи спасать и отстаивать идеализм, который тут только под полой и пронести, не иначе. И не в одном запрете дело, а в перерождении всего строя: читательского, ландкартного (во временах и пространствах) и своего собственного, невольного.

¹ Давно прошедшее время (*нем.*).

² Святополк-Мирский Д. П. О Мбодце.—Современные записки, 1926, № 27.

³ Зелинский К. Л. (1896—1970)—литературный критик.

⁴ Кусиков А. Б. (1896—1963)—поэт; примыкал к имажинистам.

⁵ «Накануне» — газета, издававшаяся в Берлине в 1922—1924 гг.

Перед нелюбимое слово «первый поэт» заскакиваю, чтобы заслонить тебя от него. Ты — *большой* поэт. Это загадочнее, превратнее, больше «первого». Большой поэт — сердце и субъект поколения. Первый поэт — объект дивованья журналов и даже... журналистов. Мне защищаться не приходится. Для меня, в моем случае — первый, но тоже и большой как ты, т<о> е<сть> таимый и отогреваемый на груди поколением, как Пушкин между Баратынским и Языковым — Маяковский. Но и первый. Что же касается этого слова в статье, то напирать на него было бы близорукой придижкой. Разность терминологии. Св<ятополк>-Мирский под «первым» понимает подлинно большой, т<о> е<сть> я бы так рассуждал: единство поколения — единственность лирической стихии — единственность в своем боге, сосредоточивающаяся в данное время в данном лице. Постоянна только наша способность быть проводниками или приемниками единственности. Волны же эти все время в движеньи. Стихия именуемости ошеломительней имени. Устойчивое имя то же, в отношении духа, что атом в учении о материи: — приближенное обобщенье. —

Говорю о ст<атье> в «Совр<еменных> зап<исках>». Статьи под рукой нет. Тотчас по прочтеньи послал Вильяму¹ в Красноярск, надеясь на скорый привоз ее Эренбургом. Оттого коротко и отзываюсь. Следовало бы перечесть.

Я еще хотел сказать о цели предостереженья. В случае моего молчанья не приписывай ему ничего типического, напрашивающегося. Так, например, когда в журналах помещается что-нибудь мое, я эти номера получаю. В толстых всегда есть что-нибудь любопытное, интересное или даже достойное. В теперешний, *трудный* для меня период преодоления *реализма* через поэзию, там всегда есть вещи лучше моих, нередки даже случаи, когда вообще *весь* номер в своей праздничной легкости, этажом выше и опрятнее моих отяжеленных будней. Я этих журналов не читаю, т. е. не могу читать не из небрежности. Но у меня сердце не на месте. Будь ты тут, я бы верно ими зачитывался. Так вот, пример из тысячи. Если бы тебе вручили бандероль новеньких журналов с двумя-тремя страницами, разрезанными для правки, ты не думай, что это я

¹ Вильям (Вильмонт) Н. Н. (1901—1986) — переводчик и историк литературы.

рвусь осчастливить тебя своими неудачами и только ими занят изо всего тома. Нет, это значит совсем другое. У меня является возможность послать тебе книжки в нетронutom виде, где много хорошего (в «Ковше», например, весь уровень выше моей доли). Я этой возможностью и пользуюсь¹.

Спекторский определенно плох. Но я не жалею, что с ним и 1905-ым, за исключением двух-трех недавних глав из «Шмидта», залез в такую скуку и аритмию. Я эту гору проем. А надо это; потому что в природе обстоятельств и неизбежно, и еще потому, что это в дальнейшем освободит ритм от сращенности с наследственным содержанием. Но таких вещей в двух словах не говорят. Ты поймешь неправильно и решишь, что я мечтаю о холостом ритме, о ритмическом чехле? О, никогда, напротив. О ритме, который девять месяцев носит слово. Перебирая старую дребедень, нашел в сборничке 22 года две странички², за которые, в противоположность вещам в посылаемых журналах, стою горой. Прилагаю, и ты прочти не спеша, не обманываясь формой: это не афоризмы, а подлинные убеждения, может быть даже и мысли. Записал в 19-м году. Но так как это идеи скорей неотделимые от меня, чем тяготеющие к читателю (губка и фонтан), то поворот головы и отведенность локтя чувствуются в форме выраженья, чем может быть ее и затрудняют. Святополк говорит, что мы разные. Прочти. Неужели разные? Разве это не ты? У меня это единственный экземпляр. Если ты с чем-нибудь будешь настолько несогласна, что захочешь спорить, приведи задевшее место целиком, а то не буду знать, о чем говоришь. А из журнального много-много если в отрывке 1905 (в Звезде) найдется два-три настоящих слова.—

Рильке сейчас не пишу. Я его люблю не меньше твоего, мне грустно, что ты этого не знаешь. Отчего не пришло тебе в голову написать, как он надписал тебе книги, вообще, как это случилось, и может быть что-нибудь из писем. Ведь ты стояла в центре пережитого взрыва и вдруг—в сторону.—Живу его благословением. Если будет что, посылай просто по почте. Дойдет, думаю, лишь бы не швейцарские марки.

Верно, не удержусь и пошлю 1-ю часть Шмидта. Когда она была сдана, нашел матерьял, несоизмеримо

¹ В бандероль вложены альманах «Ковш», 1926, № 4 (гл. 1—4 «Спекторского»), и журналы «Русский современник», 1924, № 2; «Звезда», 1926, № 2 (главы из «905 года»).

² «Несколько положений»—сб. «Современник», 1992, № 1.

существеннейший, чем тот, которым пользовался. Переделывать — надо бы помещьем владеть. Не придется. Вгоню главу в виде клина, от которой эта суть разольется в обе стороны. Допишу эту дополнительную главу и тогда вышлю»¹.

Если письмо покажется чудным, тем скорее вспомни о просьбе, с которой оно начинается.

Кланяйся Але, поцелуй мальчика, кланяйся С. Я. Мы может быть будем обеими семьями друзьями. И это не ограничение, а еще больше, чем было. Увидишь. Этой весной я стал сильно седеть. Целую тебя.

ЦВЕТАЕВА — ПАСТЕРНАКУ

St.-Gilles, 23-го мая 1926 г., воскресенье, I.

Аля ушла на ярмарку. Мурзик спит, кто не спит — тот на ярмарке, кто не на ярмарке — тот спит. Я одна не на ярмарке и не сплю. (Одиночество, усугубленное единоличностью. Для того, чтобы ощутить себя неспящим, нужно, чтобы все спали.)

Борис, я не те письма пишу. Настоящие и не касаются бумаги. Сегодня, например, два часа идя за Муркиной коляской по незнакомой дороге — дорогам — сворачивая наугад, все узнавая, блаженствуя, что наконец на суше (песок — море), глядя походя — какие-то колючие цветущие кусты — как гладишь чужую собаку, не задерживаясь — Борис, я говорила с тобой непрерывно, в тебя говорила — радовалась — дышала. Минутами, когда ты слишком долго задумывался, я брала обеими руками твою голову и поворачивала: вот! Не думай, что красота: Вандея *бедная*, вне всякой внешней heroic'и, кусты, пески, кресты. Таратайки с осликами. Чахлые виноградники. И день был серый (окраска сна), и ветру не было. Но — ощущение чужого Троицына дня, умиление над детьми в ослиных таратайках: девочки в длинных платьях, важные, в шляпках (именно ках!) времен моего детства — нелепых — квадратное дно и боковые банты, — девочки, так похожие на бабушек, и бабушки, так похожие на девочек... Но не об этом — о другом — и об

¹ В работе над поэмой «Лейтенант Шмидт» Пастернак пользовался воспоминаниями З. И. Ризберг и письмами к ней Шмидта («Лейтенант П. П. Шмидт. Письма, воспоминания, документы». М., 1922). Дополнительная 8 глава («Письма к сестре»), которую оканчивается I часть поэмы, написана по письмам Шмидта к сестре — А. П. Избаш («Лейтенант П. П. Шмидт. Воспоминания сестры». Л., 1925).

этом — и всем — о нас сегодня из Москвы или St.-Gill'a — не знаю, глядевших на нищую праздничную Вандею. (Как в детстве, смежив головы, висок в висок, в дождь, на прохожих.)

Борис, я не живу назад, я никому не навязываю ни своих шести, ни своих шестнадцати лет, — почему меня тянет в *твое* детство, почему меня тянет — тянуть тебя в свое? (детство: место, где все осталось *так* и *там*). Я с тобой сейчас, в Вандее мая 26 года непрерывно играю в какую-то игру, что в игру — в игры! — разбираю с тобой ракушки, щелкаю с кустов зеленый (как мои глаза, сравнение не мое) крыжовник, выбегаю смотреть (потому что когда Аля бежит — это я бегу!), опала ли *Vie* или взошла (прилив или отлив).

Борис, но одно: *я не люблю моря*. Не могу. Столько места, а ходить нельзя. Раз. Оно двигается, а я гляжу. Два. Борис, да ведь это та же сцена, т. е. моя вынужденная заведомая неподвижность. Моя косность. Моя — хочу или нет — терпимость. А ночью! Холодное, шарахающееся, невидимое, нелюбящее, исполненное себя — как Рильке! (Себя или божества — равно.) Землю я жалею: ей холодно. Морю не холодно, это и есть — *оно*, все, что в нем ужасающего — оно. Суть его. Огромный холодильник (Ночь). Или огромный котел (День). И совершенно круглое. Чудовищное *блюде*. *Плоское*, Борис. Огромная плоскодонная люлька, ежеминутно вываливающая ребенка (корабли). Его нельзя погладить (мокрое). На него нельзя молиться (страшное. Так, Иегову например бы ненавидела. Как всякую власть). Море — диктатура, Борис. Гора — божество. Гора разная. Гора умалется до Мура (умиляясь им!). Гора дорастает до гетевского лба и, чтобы не смущать, превышает его. Гора с ручьями, с норами, с играми. Гора — это прежде всего *мои ноги*, Борис. Моя точная стоимость. Гора — и большое тире, Борис, которое заполни глубоким вздохом.

И все-таки — не раскаиваюсь. «Придается все — лишь тебе не дано»¹. С этим, за этим ехала. И что же? То, с чем ехала и за чем: *твой стих*, т. е. преображение вещи. Дура я, что я надеялась увидеть *воочию* *твое* море — заочное, над'очное, вне-очное. «Прощай, свободная стихия» (мои 10 лет) и «Придается все» (мои тридцать) — вот мое море.

Борис, я не слепой; вижу, слышу, чую, вдыхаю *все*, что полагается, но — мне этого мало. Главное не сказа-

¹ Первая строка главы «Морской мятеж» поэмы «Девятьсот пятый год».

ла: море смеет любить только рыбак или моряк. Только моряк или рыбак знают, что это. Моя любовь была бы превышением прав («поэт» здесь *ничего* не значит, самая жалкая из отговорок. Здесь — чистоганом).

Ущемленная гордость, Борис. На горе я не хуже горца, на море я — даже не пассажир! *дачник*. Дачник, любящий океан... Плюнуть!

Рильке не пишу. Слишком большое терзание. Бесплодное. Меня сбивает с толку, выбивает из страхов, — вставший Nibelungenhort¹ легко справиться?! Ему — не нужно. Мне больно. Я не меньше его (в будущем), но я моложе его. На много жизней. Глубина наклона — мерило высоты. Он глубоко наклонился ко мне — может быть глубже, чем... (неважно!) — что я почувствовала? *Его рост*. Я его и раньше знала, теперь знаю его на себе. Я ему писала: я не буду себя уменьшать, это Вас не сделает выше (меня не сделает ниже!) это Вас сделает только *еще одиноче*, ибо на острове, где мы родились — все — как мы.

Durch alle Welten, durch alle Gegenden, an allen Weg'enden
Das ewige Paar der sich — Nie — Begegnenden².

Само пришло, двустилием, как приходит все.

Итог какого-то вздоха, к которому никогда не прирастет предпосылка.

Для *моей* Германии нужен был весь Рильке. Как обычно, начинаю с отказа.

О Борис, Борис, залечи, залижи рану. Расскажи, почему. Докажи, что все так. Не залижи, — *выжги* рану! «Вкусих мало меду» — помнишь? Что — мед!

Люблю тебя. Ярмарка, ослиные таратайки, Рильке — все, все в тебя, в твою огромную реку (не хочу — море!). Я так скучаю по тебе, точно видела тебя только вчера.

М.

25 мая 1926 г., вторник, II.

Борис, ты меня не понял. Я так люблю твое имя, что для меня не написать его лишний раз, сопровождая письмо Рильке, было настоящим лишением, отказом.

¹ Сокровище Нибелунгов (нем.).

² Через все миры, через все страны, по концам всех дорог Вечные двое, которые никогда не могут встретиться (нем.).

То же, что не окликнуть еще раз из окна, когда уходят (и с уходящим на последующие десять минут, *всё*. Комната, где даже тебя нет. Одна тоска расселась).

Борис, я сделала это сознательно. Не ослабить удара радости от Рильке. Не раздробить его на два. Не смешать двух вод. Не превратить *твоего события* в собственный случай¹. Не быть ниже себя. Суметь не быть.

(Я бы Орфею сумела внушить: не оглядывайся!) Оборот Орфея—дело рук Эвридики. («Рук»—через весь коридор Аида!) Оборот Орфея—либо слепость ее любви, невладение ею (скорей, скорей!), либо—о, Борис, это страшно—помнишь 1923 год, март, гору, строки:

Не надо Орфею сходить к Эвридике,
И братьям тревожить сестер—

Либо *приказ* обернуться—и потерять. Все, что в ней еще любило—последняя память, тень тела, какой-то мысок сердца, еще не тронутый ядом бессмертья, помнишь?

...С бессмертья змеиным укусом
Кончается женская страсть!²

все, что еще отзывалось в ней на ее женское имя—шло за ним, она не могла не идти, хотя, может быть, уже не хотела идти. Так, преображенно и возвышенно, мне видится расставание Аси с Белым³—не смейся—не бойся.

В Эвридике и Орфее перекличка Маруси с Мблодцем—не смейся опять!—сейчас времени нет додумать, но раз сразу пришло—верно. Ах, может быть просто продленное «не бойся»—*мой* ответ на Эвридику и Орфея. Ах, ясно: Орфей за ней пришел—*жить*, тот за моей—не жить. Оттого она (я) так рванулась. Будь я Эвридикой, мне было бы... стыдно—назад!

О Рильке. Я тебе о нем уже писала (Ему не пишу). У меня сейчас покой полной утраты—божественного ее лика—*отказа*. Пришло само. Я *вдруг* поняла. А чтобы закончить с моим отсутствием в письме (я так и хотела: *явно*, действительно отсутствовать)—Борис, простая вежливость не совсем или совсем не простых вещей.— Вот.—

¹ Не «воспользоваться» «случаем» письма к Рильке, чтобы наз<вать> тебя еще раз. (Примеч. М. Цветаевой.)

² Из стихотворения «Эвридика—Орфею».

³ Анна Алексеевна Тургенева (1892—1966), первая жена Андрея Белого.

Твой чудесный олень с лейтмотивом «естественный»¹. Я слышу это слово курсивом, живой укоризной всем, кто *не*. Когда олень рвет листья рогами—это естественно (ветвь—рог—сочтутся). А когда вы с электрическими пилами—нет. Лес—мой. Лист—мой. (Так я читала?) И зеленый лиственный костер над всем,—Так?—

Борис, когда мне было шесть лет, я читала книжку (старинную, переводную) «Царевна в зелени». Не я—мать читала вслух. Там два мальчика убежали из дому (один: Клод Бижар—Claude Bigeard—Бижар—сбежал—странно?), один отстал, другой остался. Оба искали *царевну в зелени*. Никто не нашел. Только последнему вдруг неожиданно *хорошо* стало. И какой-то фермер. Вот все, что я помню. Когда мать поставила голосом последнюю точку—и—паузой—конечное тире, она спросила: «Ну, дети, кто же была эта царевна в зелени?» Брат (Андрей) сразу ответил: «Почем я знаю». Ася, заминая, начала ластиться, а я только покраснела. И мать, зная меня и эти вспышки:— «Ну, а ты как думаешь?»—«Это была... это была... *натура!*»—«Натура? Ах ты!—умница». (Правда, ответ запоздал на век? 1800 г.—Руссо.) Мать меня поцеловала и обещала мне вне всякой педагогики, в награду (спохватившись, скороговоркой): «За то, что хорошо слушала...» книжку. И подарила. Но гнуснейшую: Mariens Tagebuch и, что еще хуже, Машин дневник, противоестественный, потому что *Маша*—и тетя *Гильдеберта*, и праздник «трех королей» (Dreikönigsfest) и пр. Противоестественный потому еще, что мир непреложно делился на богатых девочек и бедных мальчиков, и богатые девочки этих бедных мальчиков, сняв с себя (!) одевали (в юбки, что ли?). Аля эту книгу читала и утверждает, что там тоже был мальчик, который тоже сбежал в лес (потому что его бил сапожник), но вернулся. Словом: *натура* (как—часто) повлекла за собой противоестественность. Эту ли горькую расплату за *свою природу* имела в виду мать, даря? Не знаю.

Борис, я только что с моря и поняла одно. Я постоянно, с тех пор, как *впервые не полюбила*², порываюсь любить его, в надежде, что может быть выросла, изменилась, ну просто: а вдруг понравится?

¹ Имеется в виду «Посвящение». Его содержание относится к замыслу поэмы: преследование эпического героя и связанные с этим трудности преодоления лирики.

² В детстве любила, как и любовь. (Примеч. М. Цветаевой.)

Точь-в-точь как с любовью. Тождественно. И *каждый раз*: нет, не мое, не могу. То же страстное выигрыванье! (о не заигрыванье! — никогда) гибкость до предела, попытка проникнуть через слово (слово ведь больше, чем вещь: оно само — вещь, которая есть только — знак. Назвать — овестить, а не развоплотить) — и — отпор.

И то же неожиданное блаженство, которое забываешь, как только вышел (из воды, из любви) — невозстановимое, нечислящееся. На берегу я записала в книжку, чтобы тебе сказать. Есть вещи, от которых я в постоянном состоянии отречения: *море, любовь*. А знаешь, Борис, когда я сейчас ходила по пляжу, волна явно подлизывалась. Океан, как монарх, как алмаз: слышит только того, кто его *не* поет. А горы — благодарны (божественны).

Дошла ли, наконец, *моя*? (Поэма Горы.) Крысолова¹, по возможности, читай вслух, полувслух, движением губ... Особенно «Увод». Нет, все, все. Он, как «Мблodeц», писан с голосу.

Мои письма не намеренны, но и тебе и мне нужно *жить и писать*. Просто — перевожу стрелку. Ту вещь о тебе и мне почти кончила². (Видишь, не расстаюсь с тобой!) Впечатление от чего-то драгоценного, но — осколки. До чего *слово* открывает *вещь*! Думаю о некоторых строках. — До страсти хотела бы написать Эвридику: ждущую, идущую, удаляющуюся. Через глаза или дыхание? Не знаю. Если бы ты знал, как я *вижу* Аид! Я, очевидно, на еще очень низкой ступени бессмертия.

Борис, я знаю, почему ты не идешь за моими вещами к Н. А.³ От какой-то тоски, от самообороны, как бежишь письма, которое требует всего тебя. Кончится тем, что все пропадет, все мои Гет'ы. Не перепоручить (не перепоручишь?) ли Асе? Жду Шмидта.

М. Ц.

Я не слишком часто пишу? Мне постоянно хочется говорить с тобою.

¹ Цветаева послала Пастернаку поэмы «Крысолов» и «Поэму Горы». «Увод» — 4-я глава поэмы «Крысолов».

² Поэма «С моря».

³ Н. А. Коган, с которой были посланы Пастернаку книги, вероятно, «Разговоры с Гете» И.-П. Эккермана («Все мои Гет'ы»).

26-го мая 1926 г., среда, III.

Здравствуй, Борис. Шесть утра, все веет и дует. Я только что бежала по аллейке к колодцу (две разные радости: пустое ведро, полное ведро) и всем телом, встречающим ветер, здоровалась с тобой. У крыльца (уже с полным) вторые скобки: все еще спали — я остановилась, подняв голову навстречу тебе. Так я живу с тобой, утра и ночи, вставая в тебе, ложась в тебе.

Да, ты не знаешь, у меня есть стихи к тебе, в самый разгар Горы (Поэма конца — одно. Только Гора раньше и — мужской лик, с первого горяча, сразу высшую ноту, а Поэма конца уже разразившееся женское горе, грянувшие слезы, я, когда ложусь, — не я, когда встаю! Поэма горы — гора, с другой горы увиденная. Поэма конца — гора на мне, я под ней). Да, и клином врезавшиеся стихи к тебе, недоконченные несколько, взывание к тебе во мне, ко мне во мне.

Отрывок:

...В перестрелку — скиф.
В христопляску — хлыст,
— Море! — небом в тебя отваживаюсь.
Как на каждый стих —
Что на тайный свист
Останавливаюсь.
Настораживаюсь
В каждой строчке: стой!
В каждой точке — клад.
— Око! — светом к тебе расслаиваюсь
Расхожусь. Тоской
На гитарный лад
Перестраиваюсь.
Перекраиваюсь...¹

Отрывок. Всего стиха не посылаю из-за двух незаткнутых дыр. Захоти — и стих будет кончен, и этот, и другие. Да, есть ли у тебя три стиха: *Двое*, посланные мною тебе летом 1924 г., два года назад, из Чехии: «Елена, Ахиллес — Разрозненная пара»; «Так разминовываемся — мы»; «Знаю — один Ты равносущ Мне»².

Не забудь ответить. Тогда пришлю.

Борис, у Рильке взрослая дочь, замужем, где-то в Саксонии, и внучка Христина, двух лет. Был женат,

¹ Из стихотворения «В седину — висок».

² Цикл «Двое» состоит из трех стихотворений; Цветаева приводит здесь заключительные строки каждого из них.

почти мальчиком, два года—в Чехии—расплелось. Борис, последующее—гнусность (моя): мои стихи читает с трудом, хотя еще десять лет назад читал без словаря *Гончарова* (И Аля, которой я это сказала, тотчас же: «Я знаю, знаю, утро *Обломова*, там еще сломанная галерея»). Гончаров—таинственно, а? Тут-то я и почувствовала. Когда (*Tzarenkreis*¹) из тьмы времен—прекрасно, когда *Обломов*—уже гораздо хуже. Преображенный—Рильке (родительный падеж, если хочешь Рильке'м) *Обломов*. Какая растрата! В этом я на секунду увидела его иностранцем, т. е. себя русской, а его немцем. Унизительно. Есть мир каких-то твердых (и низких, твердых в своей низости) ценностей, о котором ему, Рильке, не должно знать ни на каком языке. Гончаров (против которого житейски, в смысле истории русской литературы такой-то четверти века ничего не имею) на устах Рильке слишком теряет. Нужно быть милосерднее.

(Ни о дочери, ни о внучке, ни о Гончарове—никому. Двойная ревность. Достаточно одной.)

Что еще, Борис? Листок кончается, день начался. Я только что с рынка. Сегодня в поселке праздник—первые сардины! Не сардинки—потому что не в коробках, а в сетях.

А знаешь, Борис, к морю меня уже начинает тянуть, из какого-то дурного любопытства—убедиться в собственной несостоятельности.

Обнимаю твою голову—мне кажется, что она такая большая—по тому, что в ней—что я обнимаю целую гору,—Урал. «Уральские камни»—опять звук из детства. (Мать с отцом уехали на Урал за мрамором для музея. Гувернантка говорит, что ночью крысы ей отъели ноги. Таруса. Хлысты². Пять лет.) Уральские камни (*дебри*) и хрусталь графа Гарраха (Кузнецкий)—вот все мое детство.

На́ его—в тяжеловесах и хрусталях.

Где будешь летом? Поправился ли Асеев? *Не болей.*

Ну, что еще?

— *Всё!*—

М. Ц.

Замечаешь, что я тебе дарю себя в *раздробь*?

¹ Стихотворный цикл Рильке «Цари» («Книга образов»).

² В анкете ГАХН Цветаева отметила: «Раннее детство—Москва и Таруса (хлыстовское гнездо на Оке)». Об этом в мемуарной прозе «Кирилловны».

Горячо благодарю тебя за все¹.— Вычеркни меня на время, недели на две, и не больше чем на месяц, из сознания. Прошу вот зачем. У меня сейчас сумбурные дни, полные забот и житейщины. А мне больше и серьезнее, чем даже в последнее время, надо поговорить с тобой. Поводы к этому разбросаны в твоих последних письмах. Этого нельзя сделать сейчас. Я между прочим до сих пор не поблагодарил Рильке за его благословенье. Но и это, как и работу над Шмидтом, как и чтение тебя (настоящее) и разговор с тобой, придется отложить. Может быть, я ошибаюсь в сроке и все это станет возможно гораздо скорее.—

У меня сейчас нет своего угла, где бы я мог побыть с твоей большой карточкой, как это было с маленькою, когда я занимался в комнате брата с невесткой (оба на полдня уходили на службу). И я о ней пока не хочу говорить, по малости того, что я бы сейчас сказал в сравненьи с тем, что скажу. У меня на руках в течение дня были «Поэма Горы» и «Крысолов». Я охотно отдал их на прочтенье Асе по той же причине непринадлежности себе.

Я их прочел по одному разу. При этом недопустимом и невозможном, в твоём случае, чтении, мне показалось, что несколько новых, особенных по поэтическому значению, магических мест есть в «Крысолове», удивительно построенном и скомпонованном. Эти места таковы, что, возвратившись к ним, я должен буду призадуматься над *определеньем* неуловимой их новизны, новизны родовой, для которой слова на языке, может быть, не будет и придется искать. Но пока считай, что я тебе ничего не сказал. Больше чем когда-либо я именно в этот раз хочу быть перед тобою зрелым и *точным*. Асе больше понравилась (и больше «Поэмы Конца») — Поэма Горы. По первому чтенью я отдаю предпочтенье «Крысолову», и во всяком случае той стороне в нем, о которой пока еще ничего не сказал.—

Эренбург пришел ко мне, пробыв тут вне досягаемости неделю. Он еще не все мне передал. Из оттисков только «Гору» и «Крысолова» в одном экземпля-

¹ Пастернак получил присланные с Эренбургом поэмы, фотографии и прочее.

ре. На квартире, где он остановился, его никогда не застать.—

Лучше всего с фуфайкой и с кожаной тетрадкой для стихов. Обе положил, первую в ожидании зимы, вторую—в ожиданьи (безнадежном) какой-нибудь неслыханной мысли¹,—без горечи и боли, которая вызывается во мне взглядами других подарков, устремленными в мою теперешнюю пустоту. Деньги, до получения, мечтал отдать Асе. Но они пришли в очень критическую минуту и мне, пока что, от этой мечты приходится отказаться.

Положенье, на первый взгляд, такое. Человек бушевал и обновлялся при виде маленькой карточки и вот получил большую. Человек обезумел от некоторых мест поэмы и вот получил две. На него пролился золотой дождь, и с его каплями в волосах он адресуется к источнику: погоди, мол, я завтра поблагодарю тебя. Как бы ни было велико у тебя искушение увидеть это в таком роде, как бы ни было велико правдоподобье образа, гони этот призрак, ничем не похожий на истину. Лучше всего было бы в точности исполнить просьбу: забыть меня на месяц. Ради бога не взрываись. Впрочем я готов допустить и крайность с твоей стороны. Я так в своих надеждах тверд, что готов все начать сызнова.—

Была у меня мысль послать тебе в этот промежуток написанную половину Шмидта, «Поверх барьеров»² и еще всякой дребедени с условием, чтобы ты мне об этом ни слова не писала, пока я не возобновлю человеческого разговора с тобой. Но Шмидта не хочу окружать оговорками и вообще не пошлю, пока не будет кончен. С тем падает и весь план. Опять были частные совпадения: блюдце (о море), множество выражений, рифм и пр. в поэмах.

Очень хочется все поскорее устроить с семьей, остаться одному и опять приняться за работу. Разгон верно упущен, но что делать.

Боюсь лета в городе,—духоты, пыли, бессонницы, накатов чужого, но заразительного скотства; идеи ада (бесформенного страдания). Если же воспользоваться одним из сотни приглашений, боюсь захлебнуться благодарностью новых впечатлений, освеженья, которое скажется никак не сейчас, а обязательно через

¹ В этой тетради (с вытравленной дарственной надписью от Али матери) Пастернак написал II и III части «Охранной грамоты».

² «Поверх барьеров»—вторая книга стихов Пастернака.—Изд-во «Центрифуга», 1917.

годы. Боюсь влюбиться, боюсь свободы. Сейчас мне нельзя. То, что в руках у меня, не так держу, чтобы отложить в сторону. За год ухвачусь ловчее, т. е.— метафоры неуместны—прикован пока к данному подоконнику и к верстаку чудовищностью расходов и невыравнявшимся заработком.

Весной был выпад категоризма. Я рванулся было вон из круга вынужденного принижения Жени, тебя, себя самого и (какой глупый порядок) всего мира. Удручает кажущийся возврат к сеяню обид и обиженности. Я говорю о нравственной неуловимости, которою пересыпан обиход в том случае, когда *единственное* чистое и безусловное его место составляет *работа*.

Тебе кажется, что это пусть горько, но нормально. Мне нет.

7/VI/26.

Совпадения словаря и манеры таковы, что предположенное все-таки вышло, чтобы не казалось, что Шмидта и Барьеры записал под влиянием Крысолова¹.

О Барьерах. Не приходи в унынье. Со страницы, примерно, 58-й станут попадаться вещи поотраднее. Всего хуже середина книги. Начало: серость, север, город, проза, предчувствуемые предпосылки революции (глухо бунтующее предназначенье, взрывающееся каждым движеньем труда, бессознательно мятежничающее в работе, как в пантомиме)—начало, говорю я, еще может быть терпимо. Непозволительно обращение со словом. Потребуется перемещение ударенья ради рифмы—пожалуйста: к услугам этой вольности областные отклоненья или приближенья иностранных слов к первоисточникам. Смешенье стилей. Фиакры вместо извозчиков и малорусские жмени, оттого что Надя Синякова, которой это посвящено,—из Харькова и так говорит. Куча всякого сору. Страшная техническая беспомощность при внутреннем напряжении, может быть бóльшем, чем в следующих книгах.

Есть много людей, ошибочно считающих эту книжку моею лучшею. Это дичь и ересь, *отчасти* того же порядка, что и ошибки твоей творческой *философии*, проскользнувшие в последних письмах.

Прости за смелость,—я это кругом обошел и знаю.

¹ Позже Пастернак называл цветаевскую манеру 20—30-х гг. футуристической.

Опечаток больше, чем стихов, потому что жил тогда (в 16 г.) на Урале. Постарался Бобров. Типический грех горячо преданного человека. Т<о> е<сть> правил и выпускал он.

О Шмидте два слова. Нетерпеж *послать* (только *послать*, на почту снести). Между 7-й и 8-й цифрой пропуск. Будет письмо к сестре (совсем другой человек пишет, нежели автор писем к «предмету»). Очень важная вставка. Почти готово,—но дошло со 2-й частью, где только и начинается драма (Превращенье человека в героя в деле, в которое он не верит, надлом и гибель). Будь ангелом, сделай милость, не пиши о вещах, пока я подробно в Крысолове не отчитаюсь. Будь другом, все равно, понравится ли, нет ли, пока молчи. Зачем остальная дребедень, объяснил уже раньше.

Ася называет его Сережей¹, и я подружился с этим именем. Все им очарованы, кто знает, и говорят одно хорошее. Мне кажется, что я его за что-то люблю, потому что мне как-то от него больно. Нет, просто люблю его и по-мужски, чудесно, *уважаю*.

Мне позвонили из «Комсомольской Правды» (неслыханный случай) с просьбой разрешить напечатать «Мне 14 лет» (выбор, для комсомола!). Когда напечатают, будет возможность, если захочешь, со ссылкой, на № комсомола в Верстах! Ты меня ненавидишь, я это чувствую.

ПАСТЕРНАК—ЦВЕТАЕВОЙ

10/VI/26.

Тех писем не нагнать и не задержать в дороге. Впрочем, завтра попробую послать воздушной. Ничего в них нет страшного или дурного. Но ими говорит то угнетенье, в котором я находился, пока не увидел второго письма Рильке к тебе. Теперь я люблю все (тебя, его и свою любовь) так же бесконечно, как, в последний раз, восемнадцатого мая (день твоей молчаливой пересылки). Знаешь, что меня тяготило последнее время? В твоих словах о нем мне стали мерещиться границы (тезисы об одиночестве и творчестве, вещи известные мне, как и тебе, не меньше); но, как это бывает со всем краугольным, когда я его узнаю и с ним соприкасаюсь, известные мне небрежнее, мимоходнее,

¹ С. Я. Эфрон, муж Цветаевой.

обязательно в какой-нибудь частности, известные мне легче и живее, чем в твоей бесспорной формулировке. Ты же выражала их почти как ложь. Я боялся, что ты любишь его недостаточно. Мне трудно все это рассказать тебе с начала, с того предвосхищенья, которым была внушена вся весна, и поездка к тебе, и письмо к нему, и чутье всего, что должно было последовать: потянуть, полететь на нас из будущего. Я прекрасно понял (и это есть у меня в неотосланном письме) породистость и душевный такт твоей сдержанности при пересылке. Но именно то, что этому прирожденному движению было оказано предпочтение перед случайностью промаха (не промолчать, оказаться не золотой, а неизвестного состава), меня и огорчило. Уже этот конверт бесконечность затуманивал, если не упразднял. Моей, предвидевшейся мне (бесконечности) на наш счет, я в красоте твоей сдержанности не узнал. Марина, тебе не придется негодовать и удивляться: я сам дальше все это объясню, дай только договорить мне, это я не обвиняю, а оправдываюсь. И все, что ты потом ни писала, увеличивало несходство. Теперь все ясно.

Я позволял своему чувству жить допущеньем, что мы светопрозрачны друг для друга, т<о> е<сть> что мое письмо к нему прошло через тебя, и что мои домыслы о вашем знакомстве равносильны невиденным фактам. Твои же слова о нем, т<о> е<сть> та сторона их, которая была производной, и шла в ответ на мою путаницу и беспокойство, не только не успокаивали, а их усугубляли. Я сказал уже. Двумя химерами отдавали эти ответы (моя вина). Мне представилось, что у тебя есть границы, которые я могу увидеть (представляешь точность горя!). Я пришел к мысли, что ты его не любишь, как надо и можно, как я (представляешь и это!!). А ты еще подливала масла в огонь: Гончаров, Marine и пр.

Теперь эти химеры рассеяны, не тобою, потому что даже в твоём последнем письме (лавр оценен и съеден)—ты продолжаешь бить меня по тому же больному месту: тычешь границами (выдуманными) его якобы, и своего чувства к нему, а вместе с тем, в этой части и неизбежно при всей моей reconnaissance¹ к тебе («Благонамеренный», Цветаева)²—и призраком своих собственных.

¹ Признательность (фр.).

² Пастернак имеет в виду статью Цветаевой «О благодарности. Из дневника 1919 г.» (Благонамеренный, № 1. Брюссель, 1926).

Химеры рассеяны его изумительным вторым письмом к тебе. По этому ответу легко заключить о твоих к нему. Вот чего мне все время недоставало, и удивительно, как ты этого не поняла. Вместо того, чтобы переписывать его строчку о силе *моего* письма, ты должна была именно хоть строчку (т<о> е<сть> знак только какой-нибудь) дать из его письма о твоей силе, из его письма о его силе с тобою. Тогда бы время не перекопилось так, как это случилось. Правда, однажды ты наконец догадалась сказать мне, как это велико у тебя, и как велика отдача, и этого было бы за глаза довольно с меня, когда бы в том же письме ты не рассердилась на что-то и не затемнила сказанного первым приступом межевых страстей. Теперь все однородно уподоблено, поднято на исходную высоту, вольно порознь и благодатно в целом. *Больше сноситься об этом не надо*¹. Горячо верю, что если ты уже успела провиниться перед той стороной (а как мне этого не бояться при твоих письмах со схемами), то задолго до этих рассуждений (воображаю, как они тебе отвратительны) все восстановлено тобою же. Ужасно страдаю, что не могу написать ему сейчас, что не пора. Я уже говорил тебе, что у меня сумбур, пыль и моль летает и деньги доставать и своих отправлять за границу. Крысолова перечел и хочу сегодня же написать тебе о нем. Если это примут воздушною, то придет через дня три-четыре вслед за этим. Нам надо любить друг друга по твоим правилам («Благодарность»). И я *не ошибся в тебе*. Но я так верю каждому твоему слову, что когда ты принялась умалять или оледенять его, я принял это за чистую монету и пришел в отчаянье, в котором бы и остался, если б не его письмо к тебе (от 10/V). Оно тебя мне вернуло.

Эта радость пришла вчера. Перед этим ты мне снилась два раза подряд. Ночью (я лег в пятом часу утра) и днем (досыпался в сумерки). Смутно помню только ночной сон. Ты сюда приехала. Я тебя водил к твоим младшим сестрам (которых нет) в несколько домов, каждый из которых ты признавала домом своего детства, они выбегали в том возрасте, в котором ты их покинула, и так, в этом повторно колеблющемся шуме

¹ Т. е. не надо пересылать, «принимать во вниманье», «держаться известности» и пр. Но один раз из неизвестности надо было вывести. (Примеч. Б. Пастернака.)

сменяющихся вариантов какой-то очень глубокой темы (обладал ею я, и ты была девочкой перед моей душевной сединой) колтыхаясь с горки на горку, из-под полка под полку, проволокалась перед нами летняя, суетоличная, неподвижно горящая Москва.

Крепко тебя обнимаю. Прощай мне все.

ПАСТЕРНАК — ЦВЕТАЕВОЙ

13/VI/26 г.

Мой друг.

Я прочел еще раз Крысолова, и у меня уже написано полписьма об этой удивительной вещи. Ты увидишь и не пожалеешь. Я не могу дописать его сейчас. Я все расскажу тебе потом. В разговоре о Крысолове будут ссылки и на свое: недавнее, нехорошее (Высокая Болезнь) — (не люблю) — (прилагаю); и на одно давнее, подлинное, нигде не напечатанное (перепишу и вышлю, при той первой возможности, которая будет и возможностью продолженья письма). Ни о чем высланном уже и высылаемом (ни даже о Барьерах) ничего не говори, пока не получишь «Чужой Судьбы» (рукоп. 1916 г.)¹ и письма о Крысолове. Тогда и спрошу обо всем в целом, т<о> е<сть> посоветуюсь с тобой, как быть, и поправимо ли десятилетье. Да, еще посылаю вставку под 8-ю цифру в Шмидта, письмо к сестре. На все посланное смотри как на судебный материал. Исподволь посылаю, чтобы под руками был, когда заговорим. В письме о Крысолове будет не о вещи только, о многом еще, много личного, — словом, обо всем, вызванном вещью. Поэмы Горы не перечитывал. Вот отчего о ней речи пока нет. Всеми помыслами люблю тебя и крепко обнимаю. Не верю в свой год до тебя. Что под встречей с тобой понимаю, если это требует еще разъяснения, тоже в Крысолововом письме.

14/VI/26.

Того письма о Крысолове, которое начал на днях, не дописать. Начинаю наново, а то уничтожу. Оно начато с дурною широтой, слишком с разных сторон сразу, слишком лично, слишком изобилует воспомин-

¹ Рукопись не сохранилась.

наньями и личными сожаленьями. Т. е. оно чересчур эгоистично, и эгоизм его — страдательный: это барахтанье всего существа, получившего толчок от твоей сложной, разноударной поэмы. Крысолов кажется мне менее совершенным и более богатым, более волнующим в своей неровности, более чреватым неожиданностями, чем Поэма Конца. Менее совершенен он тем, что о нем хочется больше говорить. Восхищенность Поэмой Конца была чистейшая. Центростремительный заряд поэмы даже возможную ревность читателя втягивал в текст, приобщая своей энергии. Поэма Конца — свой, лирически замкнутый, до последней степени утвержденный мир. Может быть это и оттого, что вещь лирическая и что тема проведена в первом лице. Во всяком случае тут где-то — последнее единство вещи. Потому что даже и силовое, творческое основание ее единства (драматический реализм) — подчинено лирическому факту первого лица: герой-автор. И художественные достоинства вещи, и даже больше, *род* лирики, к которому можно отнести произведение, в Поэме Конца воспринимаются в виде психологической характеристики героини. Они присваиваются ей. В положении, что большой человек написал о большом человеке, вторая часть перевешивает первую, и изображенный удесятерит достоинства изобразившего.

Что может, вообще говоря, служить началом единства и окончательности несобственной, неперволичной лирики? Чтобы долго не думать и ответить тотчас, доверюсь беглому ощущенью. Тут два фокуса. Редко они уравниваются. Чаще борются. Однако для достижения окончательной замкнутости вещи и тут требуется либо равновесие обоих центров (почти немыслимое), либо совершенная победа одного из них, или хотя бы долевая, неполная, но *устойчивая*. Такими фокусами мне кажутся: 1. Композиционная идея целого (трактовка ли откровенно сказочного образа, или вымысла мнимо правдоподобного, или любой другой предметной тенденции). Это один центр. 2. Технический характер сил, двинутых в игру, химическая характеристика материи, ставшей в руках первой (1°) силы миром; спектральный анализ этого небесного тела. Бесконечность первой волны упирается в идеальное бессмертие предмета (вселенной). Бесконечность второй, завершаясь горячим, *реальным* бессмертием энергии, есть, собственно говоря, поэзия — в ее ключевом бое. В Крысолове, несмотря на твою прирожденную способность *компоновать*, мастерски и разнообразно

проявленную в Сказках¹, несмотря на тяготенье всех твоих циклических стихотворений к поэмам, несмотря наконец на изумительность композиции самого Крысолова (крысы как образное средоточье всей идеи вещи! Социальное перерождение крыс!!—идея потрясающе простая, гениальная, как явление Минервы)—несмотря на все это — поэтическое своеобразие ткани так велико, что *вероятно* разрывает силу сцепленья композиционного единства, ибо таково именно действие этой вещи. Сделанное в ней говорит языком *потенции*, как это бывает у больших поэтов в молодости или — у гениальных самородков — в начале. Это удивительно молодая вещь, с проблесками исключительной силы. Действие голого поэтического сырья, т. е. проще: сырой поэзии, перевешивает остальные достоинства настолько, что лучше было бы объявить эту сторону окончательным стержнем вещи и написать ее насквозь сумасшедше.

Может быть так она и написана, и в последующих чтениях под этим углом у меня и объединится. Святополк-Мирский очень хорошо и верно сказал о надобности многократного вчитыванья².— Замечательно, что в самой композиции были два мотива, двинувшие тебя по пути оголенья поэзии и писания чистым спиртом. Это, во-первых, издевательская нота сатиры, сгустившая изображение до нелепости и таким образом, и параллельно этому доведшая *аффект* выраженья до крайности, до той крайности, когда, разгоревшись среди высказанного, *физическая* сторона говора в дальнейшем овладевает словом как предметом второстатейным и начинает *реально* двигаться в нем, как тело в одежде. Это конечно благороднейшая форма зауми, та именно, которая заключена в поэзии от века. Хорошо и крупно, что она у тебя не в случайных мелочах и не на поверхности, как это часто бывало у футуристов, а вызвана внутренней мимикой, совершенно ясна и, как кусок музыкального произведения, подчинена всему строю (например, Рай-город и пр.). Потом она — предельно, почти телесно — ритмична.— Вторым поводом в сюжете для разнузданья поэзии был мотив музыкальной магии. Это ведь была отчаянно трудная задача! Т. е. она ужасно затруднена реализмом прочего изложения. Это точь-в-точь как если бы факиры своим чудесам предпосылали речь о гипнозе или фокусники — объяснение своих приемов и потом, разоружившись,

¹ «Царь-Девница», «Мблodeц».

² Святополк-Мирский Д. О Мблodeце.—Современные записки, 1926, № 27.

все-таки бы ошеломляли! Т<о> е<сть> ты понимаешь, начни ты всю поэму с «Ти-ри-ли» «Индостан» — это было бы в тысячу раз легче, чем дать одним и тем же языком и жестом сперва — правдоподобье (отрицанье чудес) и затем — чудо. Словом, никакая похвала не достаточна за эту часть шедевра, за эту его чудесность. Но сколько бы я ни говорил о «Крысолове», как о законченном мире со своими качествами, постоянно будут нарастать кольца, типические для всякой *потенции*. Говоришь о вещи, нет-нет соскользнешь на речь о поэзии вообще; говоришь о тебе, то и дело поднимаются собственные сожаленья: силы, двинутые тобою в вещь, страшно близки мне, и особенно в прошлом. Не прочти я Крысолова, я был бы спокойнее в своем компромиссном и ставшем уже естественным — пути.

— *Перебои*, ритмическое перемежение мысли заскакивающими (ровно насколько можно) скобками другой. «Фиговая! Ибо что же лист // Фиговый («Mensch, wo bist?») — // Как не прообраз ее? («Bin nackt»), // Наг, потому робею».

Осатаненье восстающего на себя ритма, одержимость приступом ускоряющегося однообразья, стирающего разность слов и придающего несущейся интонации видимость и характер слова.

В партии Рай-город эта стихия матерьялизуется до *предела* в переходе: Кто не хладен, и не жарок, прямо в Гаммельн поез — Жай-город — и знакомый, уже раньше поразивший дикостью, лейтмотив целиком, точно лошадь в реку, обрушивается в несущееся дальше изложение, чтобы сразу пресечься рожком ночного сторожа. (Замечательно.)

Такое задалбливанье, анестезированье слова встречается не раз в поэме и постоянно служит либо эквивалентом насмешки (почти высыванье языка), либо материализацией флейтового лейтмотива. Вообще ты в этом отношении Вагнерианка, лейтмотив твой преимущественный и сознательный прием. Так, чудесно набеганье того же лейтмотива в следующей главе, где он, помимо напоминанья, представляет еще варьянт горячности (вместо сарказма — волна гордости): В моих (через край — город). В этой второй главе прекрасен переход от сравнительной аритмии рассужденья о снах, досадливого и против воли копанья — к партии «замка не взломав», которая кажется возмущеньем подавленного ритма. Это ощущение не обманывает, ритм, разбушевываясь, как всегда у тебя, начинает формировать *лирические сужденья*. (Не сущность вещей, —

вещественность сути. Не сущность вещей — *существенность вещи*.) Это собственно — поэтический полюс зауми. Во всех смыслах. Т<о> е<сть> я так его всегда переживал. Диаметральные противоположности возможны лишь как завершенья *однородной* сферы. Они достаточны для ее построенья, т. е. они дают все и все исчерпывают. Какая однородность связует законченную лирическую сентенцию Лермонтова с материальным до бессмыслицы звучаньем иных элементов его стиха? (Лермонтова я взял потому, что при его дилетантской подчас аффектации посторонних поэзии вещей, при множестве дурных стихов, при его двойственности в деле эмоции — в одном случае истинная эмоция поэта, — в других якобы нечто большее: слабость и беспорядок «искренности», при всем этом вдвойне поразительна его сухая мизантропическая *сентенция*, задающая собственно тон его лирике и составляющая если не поэтическое лицо его, то звучащий, бессмертный, навеки заражающий индекс глубины.) — Так вот. Ту и другую крайность связует их общий родник: движенье. Твои нагромождающиеся друг на друга определенья всегда сопутствуют апогею ритма, всегда своею формой и содержанием ему обязаны, всегда наконец натуральны в этом именно месте возвысившейся до предела стихии, начинающей мыслить и швыряться определеньями, формулами, пифическими «мантиссами», кусками оформленного смысла. Точно так же и разлеты в тупики осязаемого слова, т. е. в элементы губного, горлового и мышечно-шейного возбужденья или охорашиванья — порождаются изгибами и поворотами ритма. Но в этой поэтической физике «бесконечно большое» (определенье, сентенция, философствующее слово) удавались тебе всегда несравненно больше, чем выраженье «бесконечно малого» (основанье качества, тональности образа, неповторимости и пр.). — Опять радостно узнать, при повторении, что прокатившаяся часть была лейтмотивной (Засова не сняв, замка не затронув). Я уже сказал, что в этой вещи *частности* отобраннее, чем это у тебя в обычае:

«Гусиных перьев для нотариуса».

«Полка с мопсами в лавке глиняной».

В «Напасти» снова удивительная музыка.

За несколько минут перед этим пришла Женя с известием, что получила заграничный паспорт. Бросаю письмо. Надо доставать деньги. Вообще взволнован и отвлечен. Думал поспеть до этого — не вышло.

Знаешь что? Пошлю-ка тебе пока эту ерунду. Слух тебя не обманет. Ты по вялости и топтанью на месте восстановишь хаос, в котором я урывками конспектировал этот разбор. При первой возможности (думаю, через неделю) допишу и дошлю. Самые замечательные части конечно Увод и Детский рай, и часть «Напасты». Т<ак> к<ак> я неизбежно забуду, что тут писал (*так* писано), то ты не будь в претензии, если в дальнейшем обсуждении встретишь повторенья сказанного.

Затем еще вот что. Тебе конечно покажется, что в этом Сакулинско-Коганском¹ разборе нет веянья жизни (моей, твоей, всякой истинной). Ну так вот тебе. Больше года мы жили без крыс, когда-то (плод разрухи) нас одолевавших. В день проченья *поэмы*, опять набежали, пришлые, на дворе ремонт. Толкуй эпизод как знаешь. Я с ними конечно не уживусь и выведу, хотя бы они и были притянуты лирикой. Но все-таки это интересно.

Ужасно хочется работать. Перерыв затянулся. Как только работу возобновлю, приду и душевно в более ясное, упорядочное состояние. Сейчас себе не принадлежу.

Если ты мной недовольна несмотря на объясненья и причины, которые твое воображенье воссоздаст во всей живости, если захочет; если ты все-таки мной недовольна, скажи это прямо, а не давай этому чувству раствориться в общем тоне слов.

Такой раствор всегда огорчительнее чистого недовольства во всей крепости. Тут дается простор мнительности и собственной печали.

Также залежалось дополнение к Шмидту. Или я отослал уже его? Последние недели перепутались у меня в памяти, и ответ на эту неуверенность даст мне письменный стол, хотя и он в совершенном запуске. Значит, если не дослал, прилагаю. Вторую часть начну писать по отъезде своих. А забот-то, забот!

И Рильке еще не поблагодарил. Простится ли?

Отсылаю не перечитывая. Ты все знаешь.

¹ Сакулин Павел Никитич (1868—1930) и Коган Петр Семенович (1872—1932)—в 20-х гг. литературоведы социологического толка.

Пастернак мучился тем, что не может ответить Рильке на его добрые слова, и жаловался на это в письме отцу:

«Меня гложет сознание, что сегодня ровно месяц со дня получения письма (а оно еще три конца проделало, так как Марина Ивановна была уже на океане, в Вандее, и ей его переслали из Парижа). Но мне надо быть вполне собой и собраться с мыслями, чтобы на него ответить. Ради Бога, папочка, не исправляй моей оплошности и не вздумай благодарить его за меня».

Статья Цветаевой «Поэт о критике», иллюстрированная большой подборкой «Цветник» из «Литературных бесед» Г. В. Адамовича, печатавшихся в «Звене» за 1925 год, вызвала волну недоброжелательной критики в русской эмиграционной печати. Возникла угроза уменьшения или даже лишения чешской стипендии, бывшей для Цветаевой единственным постоянным источником существования.

ЦВЕТАЕВА — ПАСТЕРНАКУ

St.-Gilles. 21-го июня 1926 г.

Мой дорогой Борис.

Только что — Шмидт, Барьеры и журналы. Пишу только, чтобы известить, что дошло. Ничего еще не смотрела, потому что утро в разгаре. Одновременно письмо из Чехии с требованием либо возвращаться сейчас, либо отказаться от чешской стипендии. («Отказаться» — ход неудачно построенной фразы, просто в случае невозврата — отказывают.)

Возвращаться сейчас невозможно, — домик снят и уплочено до половины Октября, кроме того — нынче первый солнечный день, первое море, Борис. Возвращаться ни сейчас, ни потом мне невозможно: Чехию я изжила, вся она в Поэмах Конца и Горы (герой их 13-го обвенчан)¹, Чехии просто нет. Вернусь в погребенный черновик.

Следовательно, — (невозвращение) — я на улице. Думаю (непонятный отказ чехов, обещавших стипендию по крайней мере до Октября) — эхо парижской травли («Поэт о критике» — травля), а м<ожет> б<ыть> и

¹ Герой «Поэмы Горы» и «Поэмы Конца» — К. Б. Родзевич — женился на М. С. Булгаковой. Цветаева сама способствовала его браку, подарила невесте белое венчалное платье. (Цветаева А. Из прошлого. — Новый мир, 1966, № 2.)

донос кого-нибудь из пражских русских: везде печатается—муж—редактор и т. д. С. Я. получает с № (Версты), при чем I еще не вышел, а II намечается только к Октябрю.

Пишу в Чехию с просьбой выхлопотать мне заочную стипендию, как Бальмонту и Тэффи¹, которых чехи содержат, никогда в глаза не видав (меня видели, всегда с ведром или мешком, *три с половиной года*,— не нагладелись, должно быть!).

Пишу в сознании полной бессмысленности. Явный подвох какого-нибудь завистника. (Завидовать— мне! И, после краткого вдумывания: да, можно, но тогда нужно просить Господа Бога, чтобы снял меня с иждивения, а не чехов.)

Кроме того (возврат в Чехию) в Чехии С. Я. делать нечего. Ни заработков, ни надежд. Даже на фабрику не берут, ибо русские затирают.

Таков мой жизненный поворот. Не принимай к сердцу, огляди издали—как я. Почему сообщая? Чтобы объяснить некоторую заминку со Шмидтом,—дня три уйдут на письма, т<о> е<сть> те полтора-два часа в день, которые у меня есть на графику, ту или иную.

Борис, где встретимся? У меня сейчас чувство, что я уже нигде не живу. Вандея—пока, а дальше? У меня вообще атрофия настоящего, не только не живу, никогда в нем и не бываю.

Громовая статья П. Струве (никогда не пишущего о литературе), статьи Яблоновского, Осоргина, многих,— всех задетых (прочти Поэт о критике, поймешь)—чья-то зависть—чья-то обойденность—и я на улице, я— что!—дети.

Мур ходит, но оцени! только по пляжу, кругами, как светило. В комнате и в саду не хочет, ставишь—не идет. На море рвется с рук и неустанно кружит (и падает).

Да, Борис, о другом. В Днях² перепечатка статьи Маяковского о недостаточной действенности книжных приказчиков. Привожу дословно: «Книжный продавец должен еще больше гнуть читателя. Вошла комсомолка с почти твердыми намерениями взять, например, Цвета-

¹ Псевдоним Н. А. Лохвицкой (1872—1953), автора юмористических рассказов.

² «Дни»—ежедневная газета под редакцией А. Ф. Керенского, выходившая в Берлине в 1922—1928 гг.

еву. Ей, комсомолке, сказать, сдувая пыль со старой обложки,—товарищ, если вы интересуетесь цыганским лиризмом, осмелюсь предложить Сельвинского. Та же тема, но как обработана! Мужчина! Но это все временное. Поэтому напрасно в вас остыл интерес к Красной Армии; попробуйте почитать эту книгу Асеева»¹ и т. д.

Передай Маяковскому, что у меня есть и новые обложки, которых он просто не знает.

Между нами—такой выпад Маяковского огорчает меня больше, чем чешская стипендия: не за себя, за него.

«Но все это—временное», а—

*«Время—горе небольшое:
Я живу с твоей душой»...²*

Скоро напишу, Борюшка, это письмо не в счет.

М.

Шмидт получен, скоро получишь о тебе и мне. И еще элегию³ (мне) Рильке. Люблю тебя.

ПАСТЕРНАК—ЦВЕТАЕВОЙ

1/VII/26

Ты напрасно будешь искать ответа на последние три письма. А между тем от одного предположенья, что в каком-то смысле рука, протянутая к тебе, будет пуста, мне больно, некстати больно, т. е. вредоносно больно одною лишней болью сверх общей усталости и упадка. Распространяться не хочу, писать не перепишешь. Больше чем когда-либо мне сейчас приходится заботиться о покое и нравственном равновесии, эгоистически на границе смешного, как старой деве. Я остался один в городе, по многим причинам, из которых главная

¹ Маяковский В. Подождем обвинять поэтов (Красная новь, 1926, № 4). М. Цветаева цитирует по памяти.

² Вариант двух строк из неоконченного стихотворения «Время—бремя небольшое» (май 1924 г.) с эпиграфом из Б. Пастернака «Я живу с твоей карточкой». 1 февраля 1925 г. Цветаева писала Пастернаку: «Борис, все эти годы живу с Вами, с Вашей душой, как Вы—с той карточкой».

³ Мы не располагаем сведениями о том, чтобы Цветаева знакомила Пастернака с «Элегией» Рильке. В архиве Пастернака имеется листок с переписанными его рукой шестью первыми строками элегии и припиской к ним: «Элегия Рильке, написанная им в 1926 году Цветаевой. Сообщил мне Ivar Jvask 1 октября 1959».

в твоём обладании, и с единственной целью — поработать с пользой, т<о> е<сть> с усиленной и ускоренной выработкой, чтобы быть на будущий год сильнее средствами и досугом. Я сейчас очень бегло назову одну вещь, вероятно известную тебе другой стороной чем мне, может быть и вовсе даже непонятную. Может быть это меня покажет с новой и дурной стороны. Но не стыжусь сознаться. Я боюсь лета в *городе*, потому что это чистая сводка наисущественнейших существностей живого, бытийствующего человека, причем каждая из существностей этих дана наизнанку и *извержена*, начиная от солнца и кончая чем тебе заблагорассудится. Одиночество дано в таком виде, в каком одиноко сумасшествие или одиноки муки ада. Тема жизни или одна из ее тем подчеркнута зверски и фанатически, с продырявлением нервной системы. Пыль, песок, духота, африканская жара.

Если бы я стал говорить дальше, я бы тебя насмешил: тут пошли бы... искушенья св. Антония. Но ты не смейся. Есть страшные истины, которые узнаешь в этом абсурдном кипении воздерживающейся крови. Ты прости, что я об этом говорю. На всех этих истинах, открывающихся только в таком потрясении, держится, как на стонущих дугах, все последующее благородство духа, разумеется до конца идиотское, ангельски трагическое.

Это самая громкая нота во вселенной. В *этом* звук, несущийся сквозь мировое пространство, я верю больше, чем в музыку сфер. Я его слышу. Я не в силах повторить его или даже вообразить себе в его вихревой, суммарно-сонмовой простоте, моя же словесная лепта в этом стержневом стоне, — вот она. Я жалуясь всеми сердечными мышцами, я жалуясь так полно, что если бы, купаясь, я бы когда-нибудь утонул, ко дну пошла бы трехпудовая жалоба о двух вытянутых руках, — я жалуясь на то, что никогда не мог бы любить ни жены, ни тебя, ни, значит, и себя и жизни, если бы вы были единственными женщинами мира, т<о> е<сть> если бы не было вашей сестры миллионов; я жалуясь на то, что Адама в Бытии не чувствую и не понимаю; что я не знаю, как у него было устроено сердце, как он чувствовал и *за что* жалел. Потому что только за то я и люблю, когда люблю, что, правым плечом осязая холод правого бока мироздания, левым — левого, и значит, застилая все, во что глядеть мне и куда идти, она в то же время кружит и роится роем неисчислимой моли, бьющейся летом в городе на границе дозволенного обнаженья.

Но я напрасно выбалтываю это тебе, дорогая подруга. Горько может быть уже и то, что механизм чувства я *знаю* по той боли, какую он мне иногда причиняет изнутри. Зачем еще открывать его тебе. Бог тебя знает, как ты еще на него взглянешь. И потом никогда ничем хорошим не может пахнуть машина. Как я рад, что пишу тебе. Мне становится чище и спокойнее с тобою.— Мы думаем одинаково в главном. Полушутливых опасений «влюбиться» ты не поняла. Тут то же самое. Та же двойственность, без которой нет жизни, то же *горе* подкатывающих к сердцу и к горлу качеств—родных, именных, тех же, что во мне законом, *но* излившихся за мои контуры, весь век барабанищих по периферии.

Из них построен мир. Я люблю его. Мне бы хотелось его проглотить. Бывает у меня учащается сердцебиение от подобного желанья, и настолько, что на другой день сердце начинает слабо работать.

Мне бы хотелось проглотить этот родной, исполинский кусок, который я давно обнял и оплакал и который теперь купается кругом меня, путешествует, стреляется, ведет войны, плывет в облаках над головой, раскатывается разливом лягушачьих концертов подмосковными ночами и дан мне в вечную зависть, ревность и обрамление. (Знакомо? Знакомо?) Это опять нота единства, которой множество дано во звучанье, для *рожденья* звука, на разжатых пястях октав. Это опять—парадокс глубины.

Боже, до чего я люблю все, чем не был и не буду, и как мне грустно, что я это я. До чего мне упущенная, нулем или не мной вылетевшая возможность кажется шелком против меня! Черным, загадочным, счастливым, отливающим обожаньем. Таким, для которого устроена ночь. Физически бессмертным. И смерти я страшусь только оттого, что умру я, не успев побывать всеми другими. Только иногда за письмами к тебе, и за твоими, я избавляюсь от ее дребезжащей, поторапливающей угрозы. Дай я обниму тебя сейчас крепко, крепко и расцелую, всем накопившимся за рассужденьями. Но нежность была во всех этих мыслях. Ты ее слышала?

О не исключаяющих друг друга исключительностях, об абсолютах, о *моментальности* живой правды.

Слава Богу, что так. Нам легко будет,—общий язык одной черты. Ты знаешь о чем я? О письме про Рильке, про Гете, Гельдерлина, Гейне. Про «больше всех на свете». Главное же о моментальности правды.

На этом у меня бывали расхожденья с людьми. Про себя я давно имел обыкновение говорить, что я могу

быть дорог, близок, легок и постоянен тому, кто знает, что мгновенье соперничает только с вечностью, но больше всех часов и времен. Надо заводить что-то не свое, общечужое, чтобы в продолженьи часов сидеть с человеком, хорошо себя чувствующим в часах. Это как партия пернатого с пресноводным.

А как это ужасно в любви!

2/VII/26

Я нарочно не перечитываю. Прямо с последней строки я пошел к Эренбургу, собиравшемуся на вокзал. Попал на какое-то подобье прощального обеда. Были Майя¹, Сорокин² и еще какой-то человек, которого я не знаю. Много пили, мне незаметно подливали.

На вокзал от него было рукой подать, он уезжал в Киев, с Брянского, а квартира его первой жены, где он остановился,—над самым Дорогомиловским мостом. Шли берегом, в этих местах сохранившим хаотичность 18—19-го. Дело было под сумерки, с обоих берегов купались. Панорама здесь, если помнишь, широкая. Вся она была заслонена от солнца не то пылью, не то подобьем какой-то сухой, остолбеневшей и тихой пасмурности, той серой воздушной протрацией, которая бывает в городе вечерами. Только в далекие гимназические годы мне бывало так, т. е. с такою обширностью, грустно.

Картина дышала какою-то печальностью, только что всплывшей из забвенья и готовой вот-вот нырнуть в него назад. «Скажите Марине» начал было я и не стал продолжать, несмотря на его усердное выпрашивание, попеременно с усмешкой, точно он годами старше меня.

Вряд ли он что-нибудь сможет рассказать тебе. Мы видались несколько раз. Что он видел? Семью, может быть, но очень поверхностно. Меня среди других. Меня (в первые дни своего пребывания здесь)—в надеждах, в твердой уверенности, что все, приведшее его тут в отчаянье,—пустяки и пена, существо же цело и сохранно. Наконец меня же в последние дни, в совершенно другом настроении, что вероятно ускользнуло бы от него, если бы я сам ему не сказал о перемене. Это прекрасный человек, удачливый и движущийся, биографически переливчатый, легко думающий, легко живу-

¹ Мария Павловна Кудашева (Майя Кювелье); позже—жена Ромена Роллана.

² Сорокин Тихон Иванович—историк и искусствовед, его жена, Екатерина Оттовна Сорокина, была первой женой Эренбурга.

щий и пишуший: — легкомысленный. Я никогда не замыкаюсь перед ним, но и не помню случая, чтобы когда-нибудь успешно высказался перед ним или открылся. Я не знаю, как он может любить меня и за что. Он не настолько прост, чтобы быть для меня обывателем, т. е. куском бытовой непринужденности (обычайшим моим собеседником). И он не настолько художник, чтобы я становился в беседе игрушкой часа, положенья или принесенного из дому настроенья. Так как, несмотря на все его удачи, я его считаю несчастливцем, то внутренне, про себя, никогда впрочем этого ему не показывая, желаю ему добра, желаю с аффектацией и упорством. И мне бы очень хотелось, чтобы ты не согласилась со мной и меня осадил: он вовсе не художник. Я желал бы, чтобы ты была другого мненья. Найди в нем то, чего я в нем напрасно ищу, и я стану глядеть твоими глазами. Я очень боялся его приезда, после своего письма о «Рваче»¹. Мне думалось, что нам не избежать тяжелых разговоров. Но не было случая. Все обошлось благополучно.

— Я выше меры испустословился по поводу начала Крысолова. Тебе верно было неприятно читать. Пропорционально достоинству частей мне теперь после той воды о первых частях надлежало бы излить ее бассейнами. Но я эту пропорцию нарушу. Постараюсь, вкратце. Наилучшие главы: Увод и Детский рай. На их высоте (но, по теме, без флейты; а это ведь как партия без королевы!) — Напасть. В ратуше² нравится мне меньше. Почти исключительно, как и в первой половине, приходится говорить о ритме, о музыкальной характеристике действующих слагаемых, о лейтмотивах. Прерогативы ритма в Уводе и Д<етском> Р<ае> почти предельны, это то, о чем может мечтать лирик: тут и субъективный ритм пишущего, его страсть и полет, и подъем, т<о> е<сть> то, что никогда почти не удается: искусство, берущее предметом себя же, а ты вспомни поэтов, художников и чудаков в драмах, повестях и пр., вспомни эту извечную пошлятину, чтобы правильно измерить свою собственную заслугу. В Напасти ритм живописующий. И как он живописует! Он какой-то природно гостинодворский, точно музыка всегда знала такую тональность. Только искрометность его и позволяет тебе мгновенным бреднем пройти по рынку, захватив целую площадь, во всей ее случайности, в садок двух-трех ритмических определений.

¹ «Рвач» — повесть Эренбурга (1925).

² «В ратуше» — пятая глава поэмы «Крысолов».

Прекрасен своей силой (богатством дальнейших возможностей) мотив судаченья (а у нас а у нас), в особенности когда он возвращается после *ошеломляющей* по своей воплощенности крысиной фуги. Просто кажется, что ты срисовала одновременно и крысиную стаю, и отдельных пасюков и свела этот рисунок на сетчатку ритма, ниткой отбив по ней, к хвосту, к концу, это накатывающее, близящееся, учащающееся укороченье! Ритм похож тут на то, о чем он говорит, как это редко ему случается. Похоже, что он состоит не из слов, а из крыс, не из повышений, а из серых хребтов.

Всего скупей о наилучших главах: все предшествующие наблюденья вызваны к существованью магнетической полнотой этих центральных. Так что, косвенно, многое уже сказано и о них. Увод!!! Буду лаконичен и беспорядочен. Хорошо идут мимо ратуши. Бредовар. Очень хороши *единством стиля*, тяготеющего к какой-то действительности тридевятого царства, все словообразование главы. Они собираются в узел фантастического правдоподобья. У места, куда он их ведет, имеется особая флора, климат, нравы и тайны: ими объясняется жуткое постоянство этого словаря. Вообще, в этой сказочной партии—за сердце хватющий лиризм. Тирили.—Его собственная одержимость сильней всего охарактеризована *реализмом* ритмически вылепленной *флейты*. Ее реализм странно сказывается на странице 44, где за двукратным восклицаньем,— «не жалейте» попадает в окончанье строки и содержит, между жалейте и аллейке, зачеркнутую или намеренно опущенную рифму «флейте», вдвойне навязанную мнимым отсутствием.

Вообще поразительна ритмическая фигура (лейтмотив) Крысолова! Первая строчка этой правдивейшей музыкальной фразы интонирована до последней степени. Индостан. Страшно действует то, что U U— занято *одним* словом (восклицаньем). Возбужденное этим анапестом и призванное работать, воображенье, не находя сопротивления в виде оформленного предложения, с разбега строит образ самого флейтиста, его так сказать *позитуру* (корпус, подающийся вперед на узде и в артикуляции этого трехчленья: U U—в пушину!). Поразительны волны идеальные (перекаты смысла) в моменты, когда расходится гипнотическая сведенность флейтовой темы (например, чего стоит одно это: миру четвертый час и ни который год). Здесь Индия усыпительно матерьяльна. Резня красок—это ты сама о своей руке сказала, и оценила правильно. А в новом переплетеньи с лейтмотивом неверья и отрез-

вленья (примерно с ритмического *перебоя*: тот, кто в хоботе видит нос *собственный*) тема флейты дорастает до захватывающей *новой* силы.

Это ведь по существу *полный траурный марш*, колдовски-неожиданно подслушанный откуда не при-выкли, с черного его хода, или с черного входа впущенный в душу; между тем как мы всегда в Бетховенский, Шопеновский, Вагнеровский и вообще во всякий траурный марш вступали со стороны ожидающегося выноса, через парадное *Te Deum*¹. В «Ратушу» ты вложила много мысли и остроумья. По значению ратсгерр от Романтизма—замечателен. Он как персонаж просится в группу, окружающую и поддерживающую Фауста. Сарказм главы очень содержателен и не карикатурен.

Плачьте и бдите, чтоб нам спалось,
Мрите, чтоб мы плодились!

Так же хороша тема «Я». Очень ловко чехол вырастает в символ. Жвачно-бумажный. Но когда к концу главы бороздой взрезает ее сложную рябь угроза знакомого и ставшего родным голоса: Не видать как своей души!, имитирующего окончательное и непоправимое: «Не видать как своих ушей!», тогда понимаешь, отчего, невзирая на свои крупные достоинства, глава оставляет более холодным, нежели 1-я и 2-я. (Потому что только IV-я и последняя ни в какое сравнение с другими нейдут.) Это оттого, что после «Увода» внимание, прикованное к судьбе Крысолова, нетерпеливо ждущее даже не развязки, а жаждущее счастья ему, уже не соглашается заниматься ничем другим, как бы оно ни было интересно, и, видя в VI-й главе только то, что относится к развитию темы, т<о> е<сть> измену слову и предательство, воспринимает их мгновенно и томится оттяжкой взрыва.

И бытовая роспись, может быть наиудачнейшая в этом месте, его только мучит и возмущает. Может быть это в твои планы и входило. Терзательная глава.

И опять,— живопись, живопись. Живопись и музыка. Как я люблю тебя! Как сильно и давно! Как именно эта волна, именно это люблю, к тебе ходившее когда-то без имени, было тем, что проело изнутри мою судьбу, и снаружи ее почернило и омеланхолило, и висит на руках и путается в ногах. Как именно *потому* по роду *этой* страсти, я медлителен и неудачлив, и таков как

¹ «Тебе, Бога хвалим» — молитва «Славнословие» (лат.).

есть. И твой женский возраст, и твое незнание того, как и зачем встретимся, и моя вчерашняя вера в прелесть, теперь перескочившая на год и годом от меня закрытая и как бы переставшая существовать. Все это в духе этого чувства. Всего этого не изменить. Это я собственно про «Детский Рай». Жестокая и страшная глава, вся вылившаяся из сердца, вся в улыбке, и — жестокая, и страшная. Восхитительно взята школа. Гул да балл. Гун да галл. И пропущенный сквозь эту лихорадящую, будоражащую, раннеутреннюю ритмику:

Школьник? Вздор. Бальник? Сдан.
Ливня, ливня барабан.
Глобус? Сбит. Ранец? Снят.
Щебня, щебня водопад,—

пропущенный, стало быть, через нее вчерашний, показавший свою силу «Индостан!» U U — страшный анапест, при вчерашнем ритмическом магните, только с измененным звучаньем. В тот миг, как узнаешь его мелодию, хочется кинуться ограждать детей от ее последовательности (от знания конца)

Детвора
Золотых вечеров мошкара!

Это обреченные все разом входят в очковое поле зренья ритма. Некоторое облегченье, что для животных флейта звучала реально флейтой (реализм неукоснительный, беспродышно-фатальный, для душ же он метафоризируется, зовет трубой (бессознательно в фонетике рифмы: тра ра ра). Очищается, просветляется также и траурный марш. Гармония его раскалывается надвое. Мотив обетованья (звучит почти честно, *действительно* благовествующе): Есть у меня — — — —

И мотив отпевальный: В царстве моем... — (звучит как канон: идеже несть болѣзнь, ни печаль, ни въздыханье). Первый мотив вырастает в глубине, за сеткой обольщенья, достигает твердости, истинной высоты, оплаченной драматически, в прорвавшейся после строчки: «Для мальчиков — радость, для девочек — тяжесть» личной ноте:

Дно страсти земной
И рай для одной.

Но довольно о Крысолове. Я боюсь, что сделал его ненавистным тебе кропотливостью своего разбора. *Summa summagum*¹: абсолютное, безраздельное гос-

¹ В конечном итоге (лат.).

подство ритма. Оно естественно вызвано характером сюжета. Предельно воплощенное в двух драматических главах, где творятся и показываются его чудеса, оно распространяется и на другие главы, где ритм только лишается первого лица, остается же (в остальном) во всей силе и вызывает к существованию мысли, образы, повороты и переплетенья темы.—

Я получил твое письмо о чешских злоключениях. Не могу сказать, как меня все это огорчает. Не уезжай из Франции, умоляю тебя. Мне кажется, ты ближе к России, будучи там, нежели в Чехии, хотя по географии выходит наоборот. Я не знаю, чем это объясняется, но думаю, что и у тебя такое же чувство. Мне верится, что все у тебя обойдется, хотя я и не преуменьшаю трудностей, неожиданно свалившихся на тебя.

Ах эти вечные интриги! Страдаю от них последнее время и я. Скучно рассказывать, но месяц назад мне (материально и в смысле перспектив) было сравнительно легче. Теперь же очень трудно, и возникает опасенье, что будет как прошлый год. Но ради всего святого не возвращайся в Чехию. Приведенных слов Маяковского не знаю, потому что вообще ничего не читаю и не знаю, что кругом делается. Плюнь! Я тебе о нем напишу. Он престранно устроен. Может быть, ему кажется, что это он тепло о тебе вспомнил. Он давно в Крыму, а то бы я с ним поговорил. Я, сильно любя его, раза два-три в жизни ссорился с ним по такому же поводу. Тогда я сталкивался с полным его неведением того, о чем шла речь. Прости за скучное многословное письмо. Теперь путь к Крысолову очищен. Его можно читать по-сибаритски.

Но «Крысолов» не такая вещь, о которой можно сказать, что она «страшно нравится» и дело с концом. Меня волновали ее особенности и хотелось в них разобраться.

ЦВЕТАЕВА — ПАСТЕРНАКУ

1-го июля 1926 г., четверг.

Мой родной Борис,
Первый день месяца и новое перо.

Беда в том, что взял Шмидта, а не Каляева¹ (слова

¹ Каляев И. П. (1877—1905)—член боевой организации эсеров. Казнен за убийство великого князя Сергея Александровича.

Сережи, не мой), героя времени (безвременья!), а не героя древности, нет, еще точнее—на этот раз займствую у Степуна¹: жертву мечтательности, а не героя мечты. Что такое Шмидт—по твоей документальной поэме: Русский интеллигент, перенесший 1905 г. Не моряк совсем, до того интеллигент (вспомни Чехова «В море»!²), что столько-то лет плаванья не отучили его от интеллигентского жаргона. Твой Шмидт студент, а не моряк. Вдохновенный студент конца девяностых годов.

Борис, не люблю интеллигенции, не причисляю себя к ней, сплошь *пенснейной*. Люблю дворянство и народ, цветение и <корни>, Блока синевы и Блока просторов. Твой Шмидт похож на Блока-интеллигента. Та же неловкость шутки, та же невеселость ее.

В этой вещи меньше тебя, чем в других, ты, огромный, в тени этой маленькой фигуры, заслонен ею. Убеждена, что письма почти дословны,—до того не твои. Ты дал человеческого Шмидта, в слабости естества, трогательного, но такого безнадежного!

Прекрасна Стихия³. И естественно, почему. Здесь действуют большие вещи, а не маленький человек. Прекрасна Марсельеза⁴. Прекрасно все, где его нет. Поэма несетя мимо Шмидта, он—тормоз. Письма—сплошная жалость. Зачем они тебе понадобились? Пиши я, я бы провалила их на самое дно памяти, завалила, застроила бы. Почему ты не дал зрительного Шмидта—одни жесты—почему ты не дал Шмидта «сто слепящих фотографий»⁵, не дающих разглядеть—что?—да уныние этого лица! Зачем тебе понадобился подстрочник? Дай ты Шмидта в действии—просто ряд сцен—ты бы поднял его над действительностью, гнездящейся в его словесности.

Шмидт не герой, но ты герой. Ты, описавший эти письма!

(Теперь мне совсем ясно: ополчаюсь именно на письма, только на письма. Остальное—ты.)

¹ Степун Ф. А. (1884—1965)—публицист. В предисловии к кн. «М. Цветаева. Проза» (Нью-Йорк, 1953) вспоминал об этом разговоре с Цветаевой в 1920 г.

² Рассказ А. П. Чехова «В море».

³ Глава 4 называлась «Стихия».

⁴ Глава 5 называлась «Марсельеза».

⁵ Из стихотворения Пастернака «Гроза моментальная навек» (1917).

Да, очень важное: чем же кончилась потеря денег? Остается в тумане. И зачем этот эпизод? Тоже не внушает доверия. Хорош офицер! А форма негодования! У офицера вытащили полковые деньги, и он: «Какое свинство!»¹ Так неправдоподобен бывает только документ.

Милый Борис, смеюсь. Сейчас перечитывая наткнулась на строки: «Странно, скажите, к чему такой отчет? Эти мелочи относятся ли к теме?»² Последующим двустушием ты мне уже ответил. Но я не убеждена.

Борис, теперь мне окончательно ясно: я бы хотела *немого Шмидта*. Немого Шмидта и говорящего тебя.

Знаешь, я долго не понимала твоего письма о Крысолове,—дня два. Читаю—расплывается. (У нас разный словарь.) Когда перестала его читать, оно выяснилось, проступило, встало. Самое меткое, мне кажется, о разнообразии поэтической ткани, отвлекающей от фабулы. Очень верно о лейтмотиве. О вагнерианстве мне уже говорили музыканты. Да все верно, ни с чем я не спорю. И о том, что я как-то докрикиваюсь, доискиваюсь, докатываюсь до *смысла*, который затем овладевает мною на целый ряд строк. Прыжок с разбегом. Об этом ты говорил?

Борис, ты не думай, что это я о твоём (поэма) Шмидте, я о *теме*, о твоей трагической верности подлиннику. Я, любя, слабостей не вижу, всё сила. У меня Шмидт бы вышел не Шмидтом, или я бы его совсем не взяла, как не смогла (пока) взять Есенина. Ты дал живого Шмидта, чеховски-блоковски-интеллигентского. (Чехова с его шуточками прибауточками усмешечками ненавижу с детства.)

Борис, родной, поменьше писем во второй части или побольше, в них, себя. Пусть он у тебя перед смертью вырастет.

¹ Глава 3 «Письмо о дрязгах» выпущена из окончательного текста.

² Заключительная строфа «Письма о дрязгах».

Судьба моя неопределенна. Написала кому могла в Чехии. Благонамеренный кончился¹. Совсем негде печататься (с двумя газетами и двумя журналами разругалась). Будет часок пришлю тебе нашу встречу. (Переписанную потеряла.) Пишу большую вещь, очень трудную². Полдня уходит на море—гулянье, верней сиденье и хождение с Муром. Вечером никогда не пишу, не умею.

Может быть осенью уеду в Татры (горы в Чехии), куда-нибудь в самую глушь. Или в Карпатскую Русь. В Прагу не хочу—слишком ее люблю, стыдно перед собой—той. Пиши мне! Впрочем раз я написала сегодня, наверное получу от тебя письмо завтра. Уехали ли твои? Легче или труднее одному?

Довез ли Эренбург мою прозу: Поэт о критике и Герой труда. Не пиши мне о них отдельно, только если что-нибудь резнуло. Журналов пока не читала, только твоё.

Я бы хотела, чтобы кто-нибудь подарил мне целый мой день. Тогда бы я переписала тебе Элегию Рильке и свое.

Напиши мне о летней Москве. Моей до страсти—из всех—любимой.

Ответ Цветаевой на письмо Пастернака (от 1 июля 1926 г.) об искушениях, с которыми связано для него одинокое лето в городе, раскрывает одну из существенных противоположностей их жизненных установок.

Для Пастернака евангельское положение о преодолении соблазна было законом существования духовной вселенной. Он считал, что на восприимчивости человеческой совести к словам Христа: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем», «держится как на стонущих дугах все последующее благоденствие духа».

Его жалоба на то, во что обходится ему преодоление соблазна, неожиданно возмутила Цветаеву. Кроме того, ее письмо—своеобразный итог размышлений о возможности реальной жизни с любимым человеком.

¹ Журнал «Благонамеренный», где печаталась Цветаева, прекратил свое существование на втором номере.

² 6 июня 1926 г. окончена поэма «Попытка комнаты». В июле 1926 г. начата следующая вещь—«Как живет и работает черная лестница».

10-го июля 1926 г., суббота.

Я бы не могла с тобой жить не из-за непонимания, а из-за понимания. Страдать от чужой правоты, которая одновременно и своя, страдать от правоты—этого унижения я бы не вынесла.

По сей день я страдала только от неправоты, была одна права, если и встречались схожие слова (редко) и жесты (чаще), то двигатель всегда был иной. Кроме того, твое не на твоём уровне—не твое совсем, меньше твое, чем обратное. Встречаясь с тобой, я встречаюсь с собой, всеми остриями повернутой против меня же.

Я бы с тобой не могла жить, Борис, в июле месяце в Москве, потому что ты бы на мне *срывал*—

Я много об этом думала—и до тебя—всю жизнь. Верность как самоборение мне не нужна (я—как трамплин, унижительно). Верность как постоянство страсти мне непонятна, чужда. (Верность, как неверность—все разводит!) Одна за всю жизнь мне подошла (может быть ее и не было, не знаю, я не наблюдательна, тогда подошла неверность, форма ее). Верность от восхищения. Восхищение заливало в человеке все остальное, он *с трудом* любил даже меня, до того я его от любви отводила. Не восхищенность, а восхищенность. Это мне подошло.

Что бы я делала с тобой, Борис, в Москве (езде, в жизни)? Да разве единица (какая угодно) может дать сумму? Качество другое. Иное деление атомов. Сущее не может распасться на быть имеющее. Герой не дает площади. Теме нужна площадь, чтобы еще раз и по-новому дать героя (себя).

Оговорюсь о понимании. Я тебя понимаю издали, но если я увижу то, чем ты прельщаешься, я *зальюсь* презрением, как соловей песней. Я взликую от него. Я излечусь от тебя мгновенно. Как излечилась бы от Гете и от Гейне, взглянув на их *Kätchen-Gretchen*. Улица как множественность, да, но улица, воплощенная в одной множественности, возомнившая (и ты ее сам уверишь!) себя единицей, улица с *двумя* руками и *двумя* ногами—

Пойми меня: ненасытная исконная ненависть Психеи к Еве, от которой во мне нет ничего. А от Психеи—все. Психею—на Еву! Пойми водопадную высоту моего презрения (Психею на Психею не меняют). Душу на тело. Отпадает и *мою* и *ее*. Ты сразу осужден, я не понимаю, я отступаю.

Ревность. Я никогда не понимала, почему Таня,

заслуженно-скромного о себе мнения, негодует на X за то, что он любит еще других. *Почему?* Она же видит, что есть красивее и умнее, то, чего она лишена, у нее *в цене*. Мой случай усложнен тем, что *не частен*, что моя *та cause*¹, сразу перестав быть моей, оказывается *cause* ровно половины мира: *Души*. Что измена мне — *показательна*.

Ревность? Я просто уступаю, как душа всегда уступает телу, особенно чужому — от чистейшего презрения, от неслыханной несоизмеримости. В терпении и негодовании растворяется могущая быть боль.

Не было еще умника, который сказал бы мне: «Я тебя меняю на стихию: множество: безликое. Я тебя меняю на собственную кровь». Или еще лучше: мне захотелось улицы. (Мне никто не говорил *ты*.)

Я бы обмерла от откровенности, восхитилась точностью и — может быть поняла бы. (Мужской улицы нет, есть только женская. — Говорю о составе. — Мужчина жаждой своей ее создает. Она есть и в открытом поле. — Ни одна женщина (исключения противоестественны) не пойдет с рабочим, все мужчины идут с девками, *все поэты*.)

У меня другая улица, Борис, льющаяся, почти что река, Борис, без людей, с концами концов, с детством, со всеми, кроме мужчин. Я на них никогда не смотрю, я их просто не вижу. Я им не нравлюсь, у них нюх. Я не нравлюсь *полу*. Пусть в твоих глазах я теряю, мною завораживались, в меня почти не влюблялись. Ни одного выстрела в лоб — оцени.

Стреляться из-за Психеи! Да ведь ее никогда не было (особая форма бессмертия). Стреляются из-за хозяйки дома, не из-за гостыи. Не сомневаюсь, что в старческих воспоминаниях моих молодых друзей я буду — первая. Что до мужского настоящего — я в нем никогда не числилась.

Лейтмотив вселенной? Да, лейтмотив, верю и вижу, но лейтмотив, — клянусь тебе! — которого *никогда* в себе не слышала. Думается — мужской лейтмотив.

Моя жалоба — о невозможности стать телом. О невозможности потонуть («Если бы я когда-нибудь пошел ко дну»...).

Борис, все это так холодно и рассудочно, но за каждым слогом — живой случай, живший и, повторю-

¹ Мое дело (*фр.*).

стью своей, научивший. Может быть, если бы ты видел с кем и как, ты бы объявил мой инстинкт (или отсутствие его) правым! «Не мудрено...»

Теперь вывод.

Открывалось письмо: «не из-за непонимания, а из-за понимания». Закрывается оно: «не понимаю, отступаю». Как связать?

Разные двигатели при равном уровне—вот твоя множественность и моя. Ты не понимаешь Адама, который любил одну Еву. Я не понимаю Еву, которую любят все. Я не понимаю плоти как таковой, не признаю за ней никаких прав—особенно голоса, которого никогда не слышала. Я с ней—очевидно хозяйкой дома—незнакома. (Кровь мне уже ближе, как текучее.) «Воздерживающейся крови...» Ах, если бы моей было от чего воздерживаться! Знаешь, чего я хочу—когда хочу. Потемнения, посветления, преображения. Крайнего мыса чужой души—и своей. Слов, которых никогда не услышишь, не скажешь. Небывающего. Чудовищного. Чуда.

Ты получишь в руки, Борис,—потому что конечно получишь?—странное, грустное, дремучее, певучее чудовище, бьющееся из рук. То место в Мблодце с цветком, помнишь? (Весь Молодец—до чего о себе!)

Борис, Борис, как мы бы с тобой были счастливы—и в Москве, и в Веймаре, и в Праге, и на этом свете, и особенно на том, который уже *весь в нас*. Твои вечные отъезды (так я это вижу) и—твоими глазами глядящее с полу. Твоя *жизнь*—заочная со всеми улицами мира, и—ко мне домой. Я не могу присутствия и ты не можешь. Мы бы спелись.

Родной, срывай сердце, наполненное мною. Не мучься. Живи. Не смущайся женой и сыном. Даю тебе полное отпущение от всех и вся. Бери все что можешь—пока еще хочется брать!

Вспомни о том, что кровь старше нас, особенно у тебя, семита. Не приручай ее. Бери все это с лирической—нет, с эпической высоты!

Пиши или не пиши мне обо всем, как хочешь. Я, кроме всего,—нет, раньше и *позже* всего (до первого рассвета!)—твой друг.

М.

Версты вышли. Потемкин четверостишиями. В конце примечания. Наши портреты на одной странице¹.

¹ В № 1 журнала «Версты» за 1926 г. были напечатаны «Поэма горы» Цветаевой и глава «Потемкин» («Морской мятеж») из поэмы «Девятьсот пятый год» Пастернака.

Версты великолепны. Большой благородный том, сторожайший. Книга, не журнал. Критика их искалечит и ключьями будет питаться год. В следующем письме вышлю содержание.

На днях сюда приезжает Св<ятополк> М<ирский>, прочту ему твоего Шмидта, которого читаю в четвертый раз и о котором накапливает большое письмо. Напишу и отзыв Мирского. (Его сейчас пресса дружно дерет на части, особенно за тебя и меня.)

С Чехией выяснится на днях. Так или иначе увидимся, м<ожет> б<ыть>, из Чехии мне еще легче будет (—к тебе, куда-нибудь). Может быть—все к лучшему.

Иду на почту. До свидания, родной.

Второе письмо о Крысолове поняла сразу и сплошь: ты читал так, как я писала, я тебя читала так, как писал ты и писала я.

За мной еще то о тебе и мне¹ и Элегия Рильке. Помню.

Получил ли «Поэт о критике» и «Герой труда». (Дано было Эренбургу.)

ПАСТЕРНАК—ЦВЕТАЕВОЙ

11/VII/26

Дорогая Марина!

Последнее время я очень *боялся*, что получу от тебя письмо, в котором, без своего ведома себя насилуя, ты примешься хвалить Шмидта. Я именно *боялся* этого. Я не стыжусь признаться в этом страхе, но не взялся бы сказать, за что я опасался: за цельность ли и высоту твоего образа, за твердокаменность ли своей веры в тебя или просто за чистоту твоей совести. И как всегда ты из этой заминки вышла верная себе, и без пятнышка. Дурацкие состоянья сопутствуют творчеству, тут А не равно А, логика бессильна или вечно неприлична и пьяна.

Нисколько несмотря на страх, в котором я только что тебе признался, я твоим письмом был очень огорчен. Ничего удивительного тут нет, и настроение, в

¹ «Попытка комнаты».

котором ты меня оставила, вполне заслуженное. Написать дурную вещь—горе неподдельное для нашего брата. Но как сдержать это чувство в разумных границах. И как их определить. Неудачен тем же и весь 905 год.

Еще большее горе написать дурную книгу. Бóльшее еще сознавать, что ты давно упал и никогда тебе не подняться. И вот, наконец, разрастающаяся горечь и стыд за себя, требуя абсолютной краткости итога, чего-то вроде «круглого числа», скашивает все дробь и приходит к пределу: всего большее (и так оно и есть) быть вообще пародией на человека и пародией на лирика.

Что все эти прискорбные стадии я быстро пробегаю в душе, задерживаясь на последней, в том виновато конечно не мнение твое, до мелочей совпадающее с моим собственным. Для этих отчаянных настроений имеется сейчас благодарная почва. Ты спрашиваешь, легче ли или труднее мне одному? Страшно трудно.

У меня есть какие-то болезненные особенности, парализованные только безвоьем. Они целиком подведомственны Фрейду, говорю для краткости, для указания их разряда.

Все слабые стороны чувствительности, одновременно и христианской и просто-напросто животной, изъязвлены и подняты во мне до бреда, до сердечного потрясения. Жизнь, как она у меня сложилась, *противоречит* моим внутренним пружинам. Я это помню и знаю всегда и в нормальных условиях всегда этому противоречью радуюсь. В одиночестве я остаюсь с одними этими пружинами. Если бы я уступил их действию, меня разнесло бы на первом же повороте. Но нет человека, которого, при таком заряде, останавливало бы благоразумье. И я—не исключенье. Но поддайся я действию этих сил, как тотчас же и навеки мне пришлось бы расстаться со всем дорогим, с чем я разделил свою жизнь, со всеми людьми моей судьбы. Чтобы далеко не ходить, скажу просто: после такой раскатки я бы уже не считал возможным взглянуть в лицо своему сыну.

Вот это-то и останавливает меня, ужас *этой* навсегда нависающей ночи.

Ты меня представляешь проще и лучше, чем я на самом деле. Во мне пропасть женских черт. Я чересчур много сторон знаю в том, что называют страдательностью. Для меня это не одно слово, означающее один недостаток; для меня это больше, чем целый мир. Целый действительный мир, т. е. действительность

сведена мною (во вкусе, в болевом отзыве и в опыте) именно к этой страдательности, и в романе у меня героиня, а не герой — не случайно¹.

У меня гостит сейчас Ник. Тихонов. Он 7 лет провел на войне. Он нарушил мое одиночество, и я прямо ему назвал, в чем он мне мешает и чем удобен. Он мешает моим настроеньям. Мне светлей и легче за его рассказами, чем в полной беспрепятственности с самим собой.

Вот мужчина. В соседстве с ним мои особенности достигают силы девичества, превосходя даже степень того, что можно назвать женкостью.

Ich habe Heimweh unbeschreiblich
Von Tränen ist der Blick verhängt
Ich fühle ferne mich und weiblich...

I. R. Becher²

Но ты может быть не знаешь, о чем я говорю? Об убийственной власти, которую надо мной имеют видимости, химеры, возможности, настроенья и вымыслы. Я с первых детских дней и до настоящего времени влекся через годы и положенья в постоянной завесе каких-нибудь навязчивых идей, всегда болезненных, всегда истачивающих сердце, всегда противоречащих действительному положенью вещей. Менялись только эти завесы. *Жизни, как ее верно постоянно видят другие, хоть тот же Ник. Тихонов, я никогда не видал и не увижу.*

Мне что-то нужно сказать тебе о Жене. Я страшно по ней скучаю. В основе я ее люблю больше всего на свете. В разлуке я ее постоянно вижу такой, какую она была, пока нас не оформило браком, т. е. пока я не узнал ее родни, и она — моей. Тогда то, чем был полон до того воздух, и для чего мне не приходилось слушать себя и запрашивать, потому что это признание двигалось и жило рядом со мной в ней, как в изображеньи, ушло в дурную глубину способности, способности любить или не любить.

Душевное значенье рассталось со своими вседневными играющими формами. Стало нужно его воплощать и осуществлять. Тут я удач не видел. Темная тень

¹ Речь идет о повести «Детство Люверс».

² Я неопишуемо тоскую по родине,
Мой взор застлан слезами,
Я чувствую себя далеким и женственным...
И.-Р. Бехер

невоплотимости легла на эти годы и испортила нам обоим существование. Вот отчего я часто, вероятно, хуже, чем должен бы, писал тебе о ней. Ты с ней обязательно должна познакомиться. Если она будет в Париже, вас все равно столкнет случай, я это вижу, или я не я.

У меня к тебе большая просьба. Позволь мне (но только по-хорошему) снять посвящение тебе с этой посредственной вещи. Если ты это поймешь и дашь согласие, мне станет многим легче. Меня мучит мысль, что я связал твое имя и значит мысль о тебе с таким бледным пятном и что по моей вине ты как-то будешь с ним ходить в паре. Ведь ты же это должна понять. Будь в этом отношении такою же прямой, как во всем до сих пор. Уладились ли твои дела с Чехией? У меня с матерьяльной стороны предвидятся улучшения. Госиздат верно переиздаст Сестру и Темы¹.

С нетерпением жду стихов, как ты говоришь о нас обоих. Т<о> е<сть> просто вероятно замечательных новых твоих стихов.

Твой Б.

Когда будешь писать, не забудь упомянуть о посвящении, прошу тебя. Тихонову очень понравился Крыслов. Потом я ему дал Поэму Конца. Он в восторге. Он сказал, что после Ахматовой это первый серьезный большой голос в поэзии. Если тебе этого мало (т<о> е<сть> если ты формулировку считаешь неудачной), то прими в расчет, что Тихонов вообще человек иного и не близкого круга. Но прекрасный человек.

Просьба позволить снять посвящение Цветаевой с поэмы «Лейтенант Шмидт» была вызвана серьезным отношением к ее критике. Цветаевское мнение о поэме, «до мелочей совпадающее», как он писал, с его собственным, в то же время обнаружило иное понимание замысла работы и тех целей, которые Пастернак в ней преследовал. Ставя себя в условия исторического писателя, воссоздающего легендарный образ героя революции, Пастернак сознательно удерживался от романтической поэтизации, желая дать реального лейтенанта Шмидта. Первая часть, которую разбирала Цветаева, была экспозицией, драма начиналась во второй. «Преобразование человека в героя в деле, в

¹ Пастернак Б. Две книги. М., 1927 («Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации»).

которое он не верит, надлом и гибель», — писал Пастернак ей 7 июня, посылая рукопись.

Спустя много лет Пастернак объяснял возникшее между ними недоразумение расхождением в понимании тона поэмы:

«Посвященье в дальнейшем не воспроизводилось и может даже считаться снятым. Лейтенант Шмидт около 1905 года был предметом детского и юношеского поклонения Марины Цветаевой. Это вызвало посвященье. Автор, пользуясь материалами того времени для своей поэмы, подходил к ним без романтики и реалистически, видя в задаче обеих поэм («Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт») картину времени и нравов, хотя бы и в разрезе историко-революционном. Поэтому, когда документы, наряду с высотой и трагизмом материала, обнаруживали черты ограниченного ли политического фразерства, или по-иному смешные, автор переносил их в поэму с целью и умыслом, в сознании их самообличающей красноречивости. Снабжать их комментарием ни с какой стороны было невозможно. Но без объяснения некоторая ирония № 3 («Письма о дрязгах») и в особенности «Мужского письма» (№ 6), по мнению автора, совершенно прозрачная (тон интеллигентской хвастливости), осталась не понятой большинством и даже людьми такой смысловой восприимчивости, как Цветаева и Маяковский.

Обязательная *приподнятость* в трактовке героя и героической стихии предполагалась настолько сама собою, что намеренная и умышленная психологическая и бытовая пошловатость и обыденщина некоторых частей поэмы была оценена как недостаточная их проникновенность, как нехватка пафоса и неудача. Это расхождение в понимании тона поэмы решило судьбу ее последней редакции (она была сжата в полтора раза) и оставило в неопределенности посвящение, сделав его, может быть, излишним. В переписке автора с Цветаевой 27—28 годов есть разговор на эту тему. Есть письма, в которых Цветаева выражает мысль, что писать «Шмидта» было напрасным усилием, потому что *все равно* опять скажут, что вот, мол, *интеллигент возвеличил интеллигента*, и ничего этим не будет доказано. (Очевидно, уже и тогда М<арина> И<вановна> понимала половину того, что нам приходится делать, как попытку *самообеленья* или *реабилитации* нас, вечно без вины виноватых, — знак ее пронизательной трезвости в такие еще сравнительно ранние годы нашего двадцатилетия и из такого далека.)

В отдельном издании первой части «Л<ейтенанта> Ш<мидта>» автором были выкинуты

«Посвящение», «Письмо о дрязгах» и «Мужское письмо». Существа дальнейших сокращений (частей 2-й и 3-й) автор не помнит. Поэма печаталась в «Нов<ом> мире», кажется, в 1926 г. полностью».

В двадцатых числах июля Цветаева пришла к выводу, что их переписка с Пастернаком зашла в тупик, что она не может ему больше писать, и просила его тоже ей не писать. Смысл несохранившегося письма восстанавливается по тому, что Цветаева сообщила Рильке 14 августа. Из одновременного письма к А. Тесковой известно, что она собиралась тогда ехать в Чехию. Этим объяснялась настоятельная просьба Пастернака сообщить ему новый адрес. В письме к жене, уехавшей на полтора месяца в Германию и мечтавшей о Париже, Пастернак так объяснял сложившуюся ситуацию:

«Я не испытываю твоего чувства ревностью. Я сейчас совершенно одинок. Марина попросила перестать ей писать, после того как оказалось, что я ей пишу о тебе и о своем чувстве к тебе. Возмутит это и тебя. Это правда дико. Будто бы я ей написал, что люблю тебя больше всего на свете. Я не знаю, как это вышло. Но ты этому не придавай значенья. Ни дурного, ни хорошего. Нас с нею ставят рядом раньше, чем мы узнаем сами, где стоим. Нас обоих любят одною любовью раньше, чем однородность воздуха становится нам известной. Этого ни отнять, ни переделать. Мы друг другу говорим ты и будем говорить. В твоём отсутствии я не мог не заговорить так, что она просила меня перестать. Я не предал тебя и основанья ревновать не создал. Вообще, создал ли я что-нибудь нарочно, ради чего-нибудь или в отместку тебе? Я не могу изолировать тебя от сил, составляющих мою судьбу. Двух жизней и двух судеб у меня нет. Я не могу этими силами пожертвовать, я не могу ради тебя разрядить судьбу. Я хотел бы, чтобы ты была такою силой, одной из них. В этом случае не было бы никакой путаницы, единственность твоя бы восторжествовала, все стало бы на место. Но бесчеловечно и думать — допустить тебя, не вооруженной большой мыслью или большим чувством, не в форме силы, слагающей мою судьбу, в этот круг, на это поле. Совершенно помимо меня, ты обречена на постоянное страданье. Я не хочу неравной борьбы для тебя, человека смелого и с широкой волей. Ты поражений не заслуживаешь» (29 июля 1926 года).

Если я примусь отвечать тебе, все будет продолжаться деятельно и документально. Или ты веришь в перемены? Нет, главное было сказано навсегда. Исходные положения нерушимы. Нас поставило рядом. В том, чем мы проживем, в чем умрем и в чем останемся. Это фатально, это провода судьбы, это вне воли.

Теперь о воле. В планы моей воли входит не писать тебе и ухватиться за твою невозможность писать мне как за *обещанье* не писать. При этом я не считаюсь ни с тобой ни с собой. Оба сильные и мне их не жаль. Дай Бог и другим так. Я не знаю, сколько это будет продолжаться. Либо это приведет ко благу, либо этому не бывать. И ты мне не задашь вопроса: к чьему? Благом может быть лишь благо абсолютной деятельной правды.

Не старайся понять.

Я не могу писать тебе и ты мне не пиши.

Когда твой адрес переменится, *пришли мне новый*. Это обязательно!

Позволь мне не рассказывать себя и не перечислять отдельных шагов, которые я делаю чистосердечно и добровольно.

До полного свиданья. Прости мне все промахи и оплошности, допущенные в отношении тебя. Твоей клятвы в дружбе и обещанья, подчеркнутого карандашом (обещанья выехать ко мне), никогда тебе не возвращу назад. Расстаюсь на этом. Про себя не говорю, *ты все знаешь*.

Не забудь про адрес, умоляю тебя.

Еще до того, как тебе напишет Асеев, расскажу это тебе сам. Зимой у Бриков пробовал читать «Поэму Конца». У нас были шероховатые отношения, читать я принялся в ответ на просьбу прочесть что-нибудь свое, верно вообще вид у меня был вызывающий. Мне и не преминули отомстить самым чувствительным образом. Я не мог вынести этого пренебреженья и бросил на второй странице. Я возмутился, стал шуметь, вечер был безобразный. На прошлой неделе я дал Асееву, который тогда тоже присутствовал, прочесть Поэму Конца и Крысолова в печатных оттисках. Я дал ему месяц на прочтение и для спокойного, ничем не связанного отзыва. Он позвонил мне рано утром по

телефону, под сильнейшим впечатлением этой ни с чем не сравнимой, гениальной вещи. Потом я ее слышал в его изумительном чтении на квартире Бриков. Лиля и Маяковский в Крыму. Асеевский ученик и любимец, Кирсанов, пальцы изъязвил чернилами, переписывая ее. Кажется он это сделал в одну ночь. Асеев читал и Крысолова, тоже чудесно, на разные голоса. Мы проразбирали тебя до четырех часов ночи. Они мечтают о перепечатке Поэмы в Лефе. Я не спрашиваю твоего согласия, потому что считаю мечту неосуществимой. Главлит не допустит твоего имени, а до Главлита верно и Маяковский, относительно которого все уверены, что вещь ему понравилась безумно.

По-видимому, аналогия к чтению Шмидта со Святополком-Мирским? Да, даже в тот же день. (Мы полунощничали с 28-го на 29-е.) О нет, нет и трижды нет, моя мука, моя прелесть, моя судьба, мой несравненный поэт, нет, не унижай меня и себя, тут нет параллели.

И зачем это чтение со С<вятополком>-М<ирским>? То есть не с ним, я хочу сказать, а чтение чего! Ты меня так обижаешь, серьезно обсуждая 1905 г.! Я иногда поддавался тебе и вот так только могла возникнуть нелепость посвященья! Но уверяю тебя, по силам, сложившим 1905, это находится на середине между службой и писательством. Координаты же по отношению к поэзии не берусь даже определить.

Ты меня оскорбляешь своей скрытой и подавленной жалостью. Но это пустяки. Я жалованья еще не получил и 1905 dokonчу. Я тебе ничего там не посвящу, потому что хочу книжку выпустить с посвященьем: «Среднему читателю и его опекунам». Или: «...и его деревянной лошадке».

Не пиши мне, прошу тебя, и не жди от меня писем. Пойми также и то, что ни слова не говорю о стихах «о нас». Ведь у тебя редкостное воображение. Ну, а тут и рядового было бы довольно, чтобы все прочесть и постигнуть. Справлюсь со всем.

Весь твой Б.

Но адрес обязательно. Целую Францию за все, что она дала мне. Ты еще забыла Рильке, когда так истолковала переезд. Помнишь?

Ты спрашивала о статьях: Поэт о критике и Герой Труда. Эренбург их не привез. Не будет ли еще okazji?

Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно, я вчера заболел, написав то письмо, но я его и сегодня повторяю. Я тебе не могу рассказать, зачем так и почему.

Но так надо. Если то, для чего я жертвую твоим голосом, твоими письмами и всем собой (кроме воли), заключающимся в одном обожании тебя—если это не частность, а сила судьбы и высота, то это дело жизни, и *ее* дело найтись среди нас и дать восторжествовать и своей единственности, рядом с нашей. Если даже это и частность, то и перед частностью у меня есть долг, бездонный долг.

Сегодня ты в таком испуге, что обидела меня! О, брось, ты ничем, ничем меня не обижала! Ты не обидела бы, а уничтожила меня только в одном случае. Если бы когда-нибудь ты перестала быть мне тем высоким захватывающим другом, какой мне дан в тебе судьбой. Когда я из Таганки, где квартира Бриков, в пятом часу возвращался по пустой Москве в заре, редких извожиках, метельщицах и петухах, после разговоров о Поэме Конца, где говорилось, что ты «наша»; т. е. где Асеев говорил, что это могли бы написать Боря и Володя (вздор и ложь, ты не обижайся, а радуйся, ты пойми, что это—ласка и побратимство, а не тыканье пределами в чудо, внезапность и беспредельность, да, еще надо тебе сказать, что Асеев назвал кровнейших своих друзей)—я сызнова, как весной, спинным хребтом, виском и всем правым боком ощутил веянье твоего рядостоянья, весь, шевелящий волоса холод твоей женской валькирической смежности, весь чистый теряющийся из глаз раскат моей нежности к твоей силе.

Умоляю тебя об одном. Никогда не давай мне почувствовать, что за Асеевым и Маяковским я стал *далее тебе*. В тебе еще нет ничего, что бы могло тебе объяснить основанье моей тревоги. И, не понимая меня, ты справедливо оскорбишься этим предвестием ревности. Основанья же к ней—во мне. В том, как сильно я хочу товарищества с тобой этих превосходных друзей, людей и поэтов.

Асеев сказал: «как она там может жить?» и странно прибавил... «среди Ходасевичей». И тогда я подхватил это сопоставленье и, вспомнив одно свое письмо, сказал им про твою нелюбовь к нему и про то, как тебя покорило, когда я стал его защищать. Я знал, как

они на меня за тебя набросятся (они Ходасевича ни в грош не ставят и ненавидят), и только затем и говорил, изображая все в ином свете, чем это было в действительности. Боже, что это было за наслаждение слышать от них, как ты хороша и как я глуп и снисходителен!

Вчерашняя моя просьба остается в силе. Умоляю тебя, не пиши мне. Ты знаешь, какая мука будет для меня получить от тебя письмо и *не ответить*. Пусть будет последним—мое. Благословляю тебя, Алю, Мура и Сережу, и все, все твое. Не удивляйся этой волне, на миг удивившей и меня и давшей смысл этому движению и крепость. Кончаю в слезах. Обнимаю тебя.

Держи меня в известности относительно перемены адресов. В час добрый тебе в Чехию!

«Как живет и работает черная лестница»¹— заглавье бездонное. Пропать повествовательного, таящегося обещанья, лирической полносмысленности каждого сказанного слова. Громадная, легко выраженная метафора!

Не смейся и не презирай. Ты не все правильно понимаешь во мне. Может быть ты переоцениваешь меня целиком. Но некоторых серьезных сторон ты недооцениваешь.

И все вздор—эти оценки, переоценки, пониманья. Не обращай вниманья.

Переписка с Рильке все глубже захватывает Цветаеву. Все эмоциональнее и взволнованнее становится тон ее писем к нему. В то же время затухает ее общение с Пастернаком; уже в своем письме к нему от 10 июля она делает попытку от него отстраниться. С августа ее переписка с Пастернаком приостанавливается, тогда как лирическая напряженность ее писем к Рильке достигает апогея. Речь идет о возможной встрече; намечается ее место и время.

Однако эта встреча уже не могла состояться, Рильке был неизлечимо болен. Физические и нравственные страдания (об этом с большой откровенностью рассказано в его письмах к Цветаевой) усугублялись тем, что врачи не могли установить причину его болезни. Окончательный диагноз—белокровие—был поставлен лишь незадолго до смерти.

Рильке скончался 29 декабря 1926 года в клинике Валь-Мон. Узнав об этом, Цветаева тут же написала Пастернаку.

¹ Первоначальное название «Поэмы Лестницы».

Bellevue, 31-го декабря 1926 г.

Борис!

Умер Райнер Мария Рильке. Числа не знаю,—дня три назад. Пришли звать на Новый год и, одновременно, сообщили. Последнее его письмо ко мне (6 сентября) кончалось воплем: «Im Frühling? Mir ist lang. Eher! Eher!»¹ (Говорили о встрече.) На ответ не ответил, потом уже из Bellevue мое письмо к нему в одну строку: «Rainer, was ist? Rainer liebst du mich noch?»²

Передай Светлову (Молодая Гвардия), что его Гренада³ — мой любимый — чуть не сказала: мой лучший — стих за все эти годы. У Есенина ни одного такого не было. Этого, впрочем, не говори,—пусть Есенину мирно спится.

Увидимся ли когда-нибудь?
— С новым его веком, Борис!

М.

ЦВЕТАЕВА — ПАСТЕРНАКУ

Bellevue, 1-го января 1927 г.—Ты первый, кому пишу эту дату.

Борис, он умер 30-го декабря, не 31-го. Еще один жизненный промах. Последняя мелкая мстительность жизни — поэту.

Борис, мы никогда не поедем к Рильке. Того города — уже нет.

Борис, у нас паспорта сейчас дешевле (читала накануне). И нынче ночью (под Новый год) мне снились

¹ «Весной? Мне это долго. Скорее! Скорее!» (нем.) Приблизительный пересказ слов Рильке из письма от 19 августа 1926 г.

² «Райнер, что с тобой? Любишь ли еще меня?» (нем.) Парафраз из письма Цветаевой от 7 ноября 1926 г.

³ Светлов Михаил Аркадьевич (1903—1964)—советский поэт. Стихотворение «Гренада» было напечатано в газете «Комсомольская правда» 29 августа 1926 г.

1) океанский пароход (я на нем) и поезд. Это значит, что ты приедешь ко мне и мы вместе поедem в Лондон. Строй на Лондоне, строй Лондон, у меня в него давняя вера. Потолочные птицы, замоскворецкая метель, помнишь?

Я тебя никогда не звала, теперь время. Мы будем одни в огромном Лондоне. Твой город и мой. К зверям пойдем. К Тоуэру пойдем (ныне—казармы). Перед Тоуэром маленький крутой сквер, пустынный, только одна кошка из-под скамейки. Там будем сидеть. На плацу будут учиться солдаты.

Странно. Только что написала тебе эти строки о Лондоне, иду в кухню и соседка (живем двумя семьями)—Только что письмо получила от (называет неизвестного мне человека). Я:—Откуда?—Из Лондона.

А нынче, гуляя с Муром (первый день года, городок пуст) изумление: красные верха дерев!—Что это?—Молодые прутья (бессмертья).

Видишь, Борис, втроем в живых, все равно бы ничего не вышло. Я знаю себя: я бы не могла не целовать его рук, не могла бы целовать их—даже при тебе, почти что при себе даже. Я бы рвалась и разрывалась, распинаясь, Борис, п<отому> ч<то> все-таки еще *этот свет*. Борис! Борис! Как я знаю тот! По снам, по воздуху снов, по разгроможденности, по насущности снов. Как я не знаю этого, как я не люблю этого, как обижена в этом! Тот свет, ты только пойми: свет, освещение, вещи, *инако* освещенные, светом твоим, моим.

*На тьм свѣту*¹—пока этот оборот будет, будет и народ. Но я сейчас не о народах.

— О нем. Последняя его книга была французская, *vergers*.

Он устал от языка своего рождения.

(Устав от вас, враги, от вас, друзья,
И от уступчивости речи русской...

16 г.)².

¹ Народное выражение, употреблено также в поэме «Попытка комнаты».

² Из стихотворения «Над синевою подмосковных рощ» (цикл «Стихи о Москве»).

Он устал от всемогущества, захотел ученичества, схватился за неблагодарнейший для поэта из языков — французский («poésie») — опять смог, еще раз смог, сразу устал. Дело оказалось не в немецком, а в человеческом. Жажда французского оказалась жаждой ангельского, тусветного. Книжкой Vergers он проговорился на ангельском языке.

Видишь, он ангел, неизменно чувствую его за *правым* плечом (не моя сторона).

Борис, я рада, что последнее, что он от меня слышал: Bellevue.

Это ведь его первое слово оттуда, глядя на землю!¹ Но тебе необходимо ехать.

ПАСТЕРНАК — ЦВЕТАЕВОЙ

3 февраля 1927 г.

Дорогой друг! Я пишу тебе случайно и опять замолкну. Но нельзя же и шутить твоим терпеньем. Шел густой снег, черными лохмотьями по затуманенным окнам, когда я узнал о его смерти. Ну что тут говорить! Я заболел этой вестью. Я точно оборвался и повис где-то, жизнь поехала мимо, несколько дней мы друг друга не слышали и не понимали. Кстати ударил жестокий, почти абстрактный, хаотический мороз. По *всей* ли грубости представляешь ты себе, как мы с тобой осиротели? Нет, кажется нет, и не надо: полный залп беспомощности снижает человека. У меня же все как-то обесцелилось. Теперь давай жить долго, оскорбленно-долго, — это мой и твой долг. <...>

ЦВЕТАЕВА — ПАСТЕРНАКУ

Bellevue, 9-го февраля 1927 г.

Дорогой Борис,

Твое письмо — отписка, т. е. написано из высокого духовного приличия, доборовшего тайную неохоту письма, сопротивление письму. Впрочем — и не тайное, раз с первой строки: «потом опять замолчу».

¹ Место под Парижем, откуда Цветаева послала открытку Рильке 7 ноября, по-французски значит: прекрасный вид.

Такое письмо не прерывает молчания, а только оглашает, называет его. У меня совсем нет чувства, что такое (письмо) было. Поэтому все в порядке, в порядке и я, упорствующая на своем отношении к тебе, в котором окончательно утвердила меня смерть Р<ильке>. Его смерть — право на существование мое с тобой, мало — право, собственноручный его приказ такового.

Грубость удара я не почувствовала (твоего, «как грубо мы осиротели» — кстати, первая строка моя в ответ на весть тут же:

Двадцать девятого, в среду, в мглистое?
Ясное? — нету сведений! —
Осиротели не только мы с тобой
В это пред-предпоследнее
Утро... —)

Что почувствовала, узнаешь из вчера (7-го, в его день) законченного (31-го, в день вести, начатого) письма к нему, которое, как личное, прошу не показывать¹. Сопоставление Р<ильке> и М<ая>ковского для меня при всей(?) любви (?) моей к последнему — кошунство. Кошунство — давно это установила — иерархическое несоответствие.

Очень важная вещь, Борис, о которой давно хочу сказать. Стих о тебе и мне — начало Попытки комнаты — оказался стихом о нем и мне, *каждая строка*. Произошла любопытная подмена: стих писался в дни моего крайнего сосредоточения на нем, а направлен был — сознанием и волей — к тебе. Оказался же — мало о нем! — о нем — сейчас (*после 29 декабря*), т<о> е<сть> предвосхищением, т<о> е<сть> прозрением. Я просто рассказывала ему, живому, к которому же *собиралась!* — как не встретились, как *иначе* встретились. Отсюда и странная меня самое тогда огорчившая... нелюбовность, отрешенность, *отказность* каждой строки. Вещь называлась «Попытка комнаты» и от каждой — каждой строкой — отказывалась. Прочти внимательно, вчитываясь к каждую строку, *проверь*. Этим летом, вообще, писала три вещи.

1) Вместо письма (тебе), 2) Попытка комнаты и Лестница — последняя, чтобы высвободиться от средоточия на нем — здесь, в днях, по причине его, меня, нашей еще: жизни и (оказалось!) завтра смерти —

¹ Имеется в виду «Новогоднее», из которого и взята цитата. Первоначальное название — «Письмо» (опубликовано в журнале «Версты», 1928, № 3).

безнадежного. Лестницу, наверное, читал? Потому что читала Ася. Достань у нее, исправь опечатки.

Достань у Зелин<ского>, если еще в Москве, а если нет—закажи—№ 2 Верст, там мой Тезей—трагедия—1 ч<асть>¹. Писала с осени вторую, но прервалась письмом к Р<ильке>, которое кончила только вчера. (В тоске.)

Спасибо за любование Муром². Лестно (сердцу). Да! У тебя в письме: звуковой призрак, а у меня в Тезее: «Игры—призрак и радость—звук». Какую силу, кстати, обретает слово призрак в предшестве звукового, какой силой наделен такой звуковой призрак—думал?

Последняя вежа на пути твоём к нему³: письмо для него, пожалуйста, пришли открытым, чтобы научить критика иерархии и князя—вежливости. (Примечание к иерархии: у поэта с критиком не может быть тайн от поэта. Никогда не пользуюсь именами, но—в таком контексте—наши звучат.) Письма твоего к нему, открытого, естественно,—не прочту.

Да! Самое главное. Нынче (8-го февраля) мой первый сон о нем, в котором не «не все в нем было сном», а ничто. Я долго не спала, читала книгу, потом почему-то решила спать со светом. И только закрыла глаза, как Аля (спим вместе, иногда еще и Мур третьим): «Между нами серебряная голова». Не серебряная—седая, а серебряная,—металл, так поняла. И зал. На полу светильники, подсвечники со свечами, весь пол утыкан. Платье длинное, надо пробежать, не задевши. Танец свеч. Бегу, овеая и не задевая—много людей в черном, узнаю Р. Штейнера⁴ (видела раз в Праге) и догадываюсь, что собрание посвященных. Подхожу к господину, сидящему в кресле несколько поодаль. Взглядываю. И он с улыбкой: Rainer Maria Rilke. И я, не без задора и укора: «Ich weiss!»⁵ Отхожу,

¹ Версты, 1926, № 2. Позднее трагедия «Тезей» была названа «Ариадна».

² Летом 1926 г. И. Г. Эренбург привез в Москву фотографии, на одной из которых изображен Мур, сын Цветаевой. Пастернак в письме, на которое отвечает Цветаева, называет его Наполеонидом, что впоследствии с гордостью цитировалось Мариной Ивановной.

³ 12 января 1927 г. Цветаева переслала Пастернаку письмо князя Д. П. Святополка-Мирского с просьбой не давать ему своего адреса, а переписываться через нее. Ответ Пастернака на первое письмо Святополка-Мирского был переслан через Цветаеву, но последующая переписка велась непосредственно.

⁴ Штейнер Рудольф (1861—1925)—создатель учения антропософии.

⁵ «Знаю!» (нем.)

вновь подхожу, оглядываюсь: уже танцуют. Даю досказать ему что-то кому-то, вернее дослушать что-то от кого-то (помню, пожилая дама в коричневом платье, восторженная) и за руку увожу. Еще о зале: полный свет, никакой мрачности и все присутствующие — самые живые, хотя серьезные. Мужчины по-старинному в сюртуках, дамы — больше пожилые — в темном. Мужчин больше. Несколько неопределенных священников.

Другая комната, бытовая. Знакомые, близкие. Общий разговор. Один в углу, далеко от меня, молодой, другой рядом — нынешний. У меня на коленях кипящий чугунок, бросаю в него щепку (наглядные корабль и море). — «Поглядите, и люди смеют после этого пускаться в плавание!» — «Я люблю море, мое: Женевское». (Я, мысленно, как точно, как лично, как порильковски): — «Женевское — да. А настоящее, особенно Океан, ненавижу. В St.-Gill'e...» И он mit Nachdruck¹: «В St.-Gill'e все хорошо, — явно отождествляя St.-Gill с жизнью. (Что впрочем и раньше сделал, в одном из писем: «St.-Gilles-Sur-Vie (survit)»². «Как Вы могли не понимать моих стихов, раз так чудесно говорите по-русски?» — «Теперь». (Точность этого ответа и наивность этого вопроса оценишь, когда прочтешь Письмо³.) Все говоря с ним — в пол оборота ко мне: «Ваш знакомый...», не называя, не выдавая. Словом, я побывала у него в гостях, а он у меня.

Вывод: если есть возможность такого спокойного, бесстрашного, естественного, вне-телесного чувства к «мертвому» — значит оно есть, значит оно-то и будет там. Ведь в чем страх? Испугаться. Я не испугалась, а первый раз за всю жизнь чисто обрадовалась мертвому. Да! еще одно: чувство тлена (когда есть) очевидно связано с (приблизительной) длительностью тлена; Р. Штейнер, например, умерший два года назад, уже совсем не мертвый, ничем, никогда.

Этот сон воспринимаю, как чистый подарок от Р<ильке>, равно как весь вчерашний день (7-е — его число), давший мне все (около 30-ти) невозможных, неосуществимых мест Письма. Все стало на свое место — сразу.

По опыту знаешь, что есть места недающиеся, неподдающиеся, невозможные, к которым *глохнешь*. И вот — 24 таких места в один день. Со мной этого не бывало.

¹ Подчеркнуто (нем.).

² См. письмо Рильке к Цветаевой от 10 мая 1926 г.

³ «Новогоднее».

Живу им и с ним. Не шутя озабочена разницей небес—его и моих. Мои—не выше третьих, его, боюсь, последние, т<о> е<сть>—мне еще много-много раз, ему—много—один. Вся моя забота и работа отныне—не пропустить следующего раза (его последнего). Грубость сиротства—на фоне чего? Нежности сыновства, отцовства?

Первое совпадение лучшего для меня и лучшего на земле. Разве не естественно, что ушло? За что ты принимаешь жизнь?

Для тебя его смерть не в порядке вещей, для меня его жизнь—не в порядке, в порядке ином, иной порядок.

Да, главное. Как случилось, что ты средоточием письма взял частность твоего со мной—на час, год, десятилетие—разминовения, а не наше с ним—на всю жизнь, на всю землю—расставание. Словом, начал с последней строки своего последнего письма, а не с первой—моего (от 31-го). Твое письмо—продолжение. Не странно? Разве что-нибудь еще длится? Борис, разве ты не видишь, что то разминовение, всякое, пока живы, частность—уже уничтоженная. Там «решал», «захотел», «пожелал», здесь:стряслось.

Или это—сознательно? Бессознательный страх страдания? Тогда вспомни его Leid¹, звук этого слова, и перенеси его и на меня, после такой потери ничем не уязвимой, кроме еще—такой. Т<о> е<сть>—не бойся молчать, не бойся писать, все это раз и, пока жив, неважно.

Дошло ли описание его погребения². Немножко узнала о его смерти: умер утром, пишут—будто бы тихо, без слов, трижды вздохнув, будто бы не зная, что умирает (поверю!). Скоро увижусь с русской, бывшей два последних месяца его секретарем. Да! Две недели спустя получила от него подарок—немецкую Мифологию 1875 г.—год его рождения. Последняя книга, которую он читал, была Paul Valéry³. (Вспомни мой сон.)

Живу в страшной тесноте, две семьи в одной квартире, общая кухня, вдвоем в комнате, никогда не бываю одна, страдаю.

¹ Страдание (нем.).

² Имеется в виду переписанное Цветаевой из французских газет описание похорон Рильке в Рароне. Пастернак получил его 5 февраля 1927 г.

³ P. Valéry. L'âme et la danse (П. Валери. Душа и танец; фр.).

Кто из русских поэтов (у нас их нет) пожалел о нем?
Передал ли мой привет автору Гренады? (Имя забыла.)

Да, новая песня
и новая жисть.
Не надо, ребята,
о песнях тужить.
Не надо, не надо,
не надо, друзья!
Гренада, Гренада, Гренада моя¹.

Версты эмигрантская печать безумно травит. Многие не подадут руки. (Ходасевич² первый.) Если любопытно, напишу пространнее.

В этом письме Цветаева впервые рассказывает о поэме «Попытка комнаты», упоминания о которой рассыпаны в ее летних письмах. Поэма была послана Пастернаку в следующем письме и получена 20 февраля. Через два дня Пастернак писал Цветаевой, что узнал в этой вещи конкретные детали их весенней переписки.

Кончина Рильке была для Цветаевой отсроченным итогом «невстречи» с ним. Сознание того, что Рильке не хочет с нею встретиться, сменилось роковой невозможностью свидания. «—Я никогда его не видела, и для меня эта потеря—в духе (есть ли такие?)... Потеря Савойи с ним—куда никогда не поеду, провалившейся 31 декабря со всеми Альпами—сквозь землю»,—писала Цветаева через две недели после его смерти Е. Черносвитовой, благодаря ее за присылку «Мифологии», которую Рильке купил ей по ее просьбе и не отослал. Тут же она интересовалась, дошли ли ее последние письма и открытка, на которые Рильке не ответил, и не упоминал ли он ее имени и по какому поводу³.

В то же время смерть Рильке Цветаева трактует как право и даже «собственноручный приказ» на их союз с Пастернаком. Вспоминая весну, когда она «отвела» приезд Пастернака к ней, она пишет: «Я тебя никогда не звала, теперь время».

Свою былую размолвку, «разминовение» она объясняет просто и лаконично: «Видишь, Борис, втроем в живых, все равно бы ничего не вышло». Пастернак

¹ Неточная цитата из «Гренады» М. Светлова.

² На выход журнала «Версты» В. Ф. Ходасевич отозвался критической статьей в «Современных записках», 1926, № 29.

³ Текст письма Цветаевой Е. Черносвитовой восстановлен А. С. Эфрон по черновой тетради и опубликован в «Новом мире», 1969, № 4.

подчеркнул вьюном это «втроем», проверяя сделанную в 1944 году А. Крученых машинописную копию. Такая трактовка отношений давала ему понимание обстоятельств лета 1926 года, когда он оказался вне переписки с Рильке.

В своем письме к Цветаевой Пастернак сопоставил имена Рильке и Маяковского как вехи жизненных событий. Для него это было естественным, в этот ряд попадала у него «Поэма Конца». «Так волновали меня только Скрябин, Рильке, Маяковский, Коген», — писал он о Поэме весной 1926 года сестре. Это перечисление затем отразилось в главах «Охранной грамоты». В феврале 1927 года Цветаева усмотрела в этом кощунство, «иерархическое несоответствие», но потом, в статье 1932 года «Поэт и время» оно перерастает в полноправное противостояние Рильке и Маяковского в их отношении ко времени. Оба имени соединены показательностью для своего времени, «своевременностью» и необходимостью ему.

ПАСТЕРНАК — ЦВЕТАЕВОЙ

<Ноябрь> 1927 г.

Дорогая Марина!

Валит снег, я простужен, хмурое, хмурое утро. Хорошо, верно, сейчас проплыть на аэроплане над Москвой, вмешаться в этот поход хлопьев и их глазами увидеть, что они делают с городом, с утром и с человеком у окна <...>

Вот главные нервные пути моего влечения к тебе, способные затмить более непосредственные: мне нужно «соблазнить» тебя в пользу более светлой и менее отреченной судьбы, нежели твоя нынешняя, и я это так чувствую, точно именно это, а не что-нибудь другое, составляет мою грудь и плечо <...>

По словам Аси, она старалась рассказать обо мне в наивозможно худшем духе (чтобы уберечь тебя от неизбежного разочарования?). Она либо клевет на себя, либо поступила, как надо, либо же... а, да мне все равно. Замечательно, что о тебе она рассказывала так, что я с трудом удерживался от слез: очевидно, на мой счет у ней нет опасений <...>

Она дала мне свои экземпляры твоих «С моря» и «Новогоднего», Екатерина Павловна¹ скоро должна привезти мои.

¹ Е. П. Пешкова, первая жена Горького.

Что сказать, Марина! Непередаваемо хорошо! Так, как это, я читал когда-то Блока; так, как читаю это, писал когда-то лучшее свое. Страшно сердечно и грустно и прозрачно. Выражение, растущее и развивающееся, как всегда у тебя, живет совпадением значительности и страсти, познания и волнения <...>

Прежде всего и больше всего я, конечно, люблю тебя, что может быть ясно ребенку. Но я не был бы собой теперешним, если бы оставался у этого сумасшедшего родника, а не шел вниз вдоль его течения, по всем последовательностям, которые лепит время.

Время, твоя величина и моя тяга.

И вот — планы, планы. Тебе кажется естественным положение, в котором ты находишься, мне — нет.

Выправить эту ошибку судьбы, по нашим дням, еще Геркулесово дело.

Но оно и единственное, других я не знаю.

В письме к Горькому, между прочим, эту целенаправленность я выразил так: «Если бы Вы меня спросили, что я теперь собираюсь писать, я ответил бы: все, что угодно, что может вырвать это огромное дарование (то есть тебя) из тисков ложной и невыносимой судьбы и вернуть его России» <...>

Эпистолярный роман Цветаевой и Пастернака постепенно, год за годом терял свою силу и уходил в прошлое. Письма становились все реже, в них сквозила усталость.

31 декабря 1929 года Цветаева писала:

«Борис, я с тобой боюсь всех слов, вот причина моего не-писанья. Ведь у нас кроме слов нет ничего, мы на них обречены. Ведь все, что с другими — без слов, через воздух, то теплое облако *от — к* — у нас словами, безголосыми, без поправки голоса... Каждое наше письмо — последнее. Одно — последнее до встречи, другое — последнее навсегда. Может быть оттого что редко пишем, что каждый раз — все заново. Душа питается жизнью, — здесь душа питается душой, саможорство, безвыходность.

И еще, Борис, кажется боюсь боли, вот этого простого ножа, который перевортывается. Последняя боль? Да кажется тогда, в Вандее, когда ты решил не-писать и слезы действительно лились в песок — в действительный песок дюн. (Слезы о Р<ильке> лились уже не вниз, а ввысь, совсем Темза во время отлива.)

С тех пор у меня в жизни ничего не было... Но это я осознаю *сейчас*, на поверхности себя я просто закамелела...

Борис, последний день года, третий его утренний час. Если я умру не встретив с тобой такого,—моя судьба не сбылась, я не сбылась, потому что ты моя последняя надежда на всю меня, *тú* меня, которая *есть* и которой без тебя не быть. Пойми степень насущности для меня того рассвета.

— Борис, я тебя заспала, засыпала — печной золой зим и морским (Муриным) песком лет. Только сейчас, когда только еще вот-вот заболит! — понимаю, насколько я тебя (себя) забыла. Ты во мне погребен — как рейнское сокровище — до поры...»¹

25 января 1930 года:

«Не суждено нам было стать друг для друга делом жизни, на Страшном суде будешь отвечать *не* за меня. (Какая сила в: не суждено! какая вера! Бога познаю только через *не* свершившееся)».

Откладываемая в течение десяти лет встреча Пастернака и Цветаевой состоялась только в 1935 году, когда она уже никому не была нужна и никому не в радость. Пастернак описал ее в автобиографии «Люди и положения»:

«Летом 1935 года я сам не свой и на грани душевного заболевания от почти годовой бессонницы попал в Париж на антифашистский конгресс. Там я познакомился с сыном, дочерью и мужем Цветаевой и как брата полюбил этого обаятельного, тонкого и стойкого человека.

Члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращении в Россию. Частью в них говорила тоска по родине и симпатии к коммунизму и Советскому Союзу, частью же соображения, что Цветаевой не житье в Париже и она там пропадает в пустоте без отклика читателей.

Цветаева спрашивала, что я думаю по этому поводу. У меня на этот счет не было определенного мнения. Я не знал, что ей посоветовать, и слишком боялся, что ей и ее замечательному семейству будет у нас трудно и беспокойно. Общая трагедия семьи несоизмеримо превозмогла все мои опасения».

¹ Вопросы литературы, 1985, № 9.

Москва, 13 октября 1935 г.

Дорогая Марина! Я жив еще, живу, хочу жить и — надо. Ты не можешь себе представить, как тогда, и долго еще потом мне было плохо. «Это» продолжалось около пяти месяцев. Взятые в кавычки означает: что, не видав своих стариков двенадцать лет, я проехал, не повидав их¹; что, вернувшись, я отказался поехать к Горькому, у которого гостили Роллан с Майей², несмотря на их настояния; что, имея твои оттиски, я не читал их; что действие какой-то силы, которой я не мог признать ни за одну из тех, что меня раньше слагли, укорачивало мой сон с регулярностью заклятья, и я ждал наступленья той первой здоровой ночи, после которой мог бы возобновить знакомую и родную жизнь вслед за этой, неузнаваемой, никакой, непроглядной.

Тогда бы только и смогли прийти: родители, ты, Роллан, Париж и все остальное, упущенное, уступленное, проплывшее мимо.

Может быть, это затянулось по моей вине. Больше еще, чем участие врачей, требовалось участие времени. Я ему вредил своим нетерпением... Это было похоже на узел с вещами, разваливающимися в спешке: подбираешь одно, ползет другое.

Это прекратилось лишь недавно, с переездом всех в город с дачи и моим возвращением к привычной обстановке. Я стал спать и занялся приведеньем здоровья в порядок...

Теперь я прочел твою прозу. Вся очень твоя, всегда смотришь в корень и даешь полные, запоминающиеся определения, все безошибочно, но всего замечательнее «Искусство при свете совести» и «У Старого Пимена»; отчасти и о Волошине. В этих, особенно названных двух, анализ, ненасытимость анализа, так сказать, вызваны природою предмета, и жар, и энергия, которые ты им посвящаешь, естественны и легко делимы.

В «Матери и музыке» такой надобности на первый

¹ Пастернак приехал накануне закрытия Конгресса и не имел возможности по дороге заехать к родителям, жившим в Мюнхене. Обрато возвращались морем через Лондон.

² Летом 1935 г. Ромен Роллан с женой М. П. Кудашевой были в Москве.

взгляд меньше, или же разбор, как ты и сама замечаешь (дизезы и бемоли), идет не по существу. Но твоих образов и черточек и тут целая пропасть...

Летом мне переслали твое письмо... Я не мог тебе ответить вовремя, потому что был болен. Помнишь ли ты свою фразу про абсолюты? В ней все преувеличено. А состояние мое, которому ты была свидетельницей, преуменьшено. Но такое непонимание — оно естественно — я встретил и со стороны родителей: они моим неприездом потрясены и перестали писать мне.

Я хочу жить и боюсь что-нибудь накаркать. Давай думать, что это только перерыв в моей жизни...

Ну, допустим, — а вдруг я поправлюсь и все вернется? И мне опять захочется глядеть вперед, и кого же я там, по силе и подлинности того, например, что было в Рильке, вместо тебя увижу?..

Когда же вы приедете?

Скажи, а не навязываюсь ли я тебе, — после твоего летнего письма?

Твой Б.

ЦВЕТАЕВА — ПАСТЕРНАКУ

<Конец октября> 1935 г.

Дорогой Борис!

Отвечаю сразу — бросив все (полувслух, как когда читаешь письмо. Иначе начну думать, а это заводит далеко).

О тебе: право, тебя нельзя судить, как человека. <...> Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери на поезде, мимо 12-летнего ожидания. И мать не поймет — не жди. Здесь предел моего понимания, человеческого понимания. Я, в этом, обратное тебе: я на себе поезд повезу, чтобы повидаться (хотя, может быть, так же этого боюсь и так же мало радуюсь). И здесь уместно будет одно мое наблюдение: все близкие мне — их было мало — оказывались бесконечно мягче меня, даже Рильке мне написал: *Du hast recht, doch Du bist hart*¹ — и это меня огорчало потому, что иной я быть не могла. Теперь подводя итоги, вижу: моя мнимая жестокость была

¹ Ты права, но ты жестока (нем.).

только—форма, контур сути, необходимая граница самозащиты—от вашей мягкости, Рильке, Марсель Пруст и Борис Пастернак. Ибо вы в последнюю минуту—отводили руку и оставляли меня, давно вышедшую из семьи людей, один на один с моей человечностью. Между вами, нечеловеками, я была только человек. Я знаю, что ваш род—выше, и мой черед, Борис, руку на сердце, сказать:—О, не вы: это я—пролетарий.—Рильке умер, не позвав ни жены, ни дочери, ни матери. А все—любили. Это было печение о своей душе. Я, когда буду умирать, о ней (себе) подумать не успею, целиком занятая: накормлены ли мои будущие провожатые, не разорились ли близкие на мой консилиум, и м<ожет> б<ыть> в лучшем, эгоистическом случае: не растащили ли мои черновики.

Собой (душой) я была только в своих тетрадах и на одиноких дорогах—редких, ибо всю жизнь—водила ребенка за руку. На «мягкость» в обращении меня уже не хватало, только на общение: служение: бесполезное жертвоприношение. Мать-пеликан в силу созданной ею системы питания—зла.—Ну, вот.

О вашей мягкости: Вы—ею—откупаетесь, затыкаете этой гигроскопической ватой дыры ран, вами наносимых, вопиющую глотку—ранам. О, вы добры, вы при встрече не можете первыми встать, ни даже откашляться для начала прощальной фразы—чтобы «не обидеть». Вы «идете за папиросами» и исчезаете навсегда и оказываетесь в Москве, Волхонка, 14¹, или еще дальше. Роберт Шуман забыл, что у него были дети, число забыл, имена забыл, факт забыл, только спросил о старших девочках: все ли у них такие чудесные голоса?

Но—теперь ваше оправдание—только такие создают такое. Ваш был и Гете, не пошедший проститься с Шиллером и X лет не приехавший во Франкфурт повидаться с матерью—бережась для Второго Фауста—или еще чего-то, но (скобка!)—в 74 года осмелившийся влюбиться и решившийся жениться—здесь уже сердца (физического!) не бережа. Ибо в этом вы—растратчики... Ибо вы от всего (всего себя, этой ужасной жути: нечеловеческого в себе, божественного в себе) <...> лечитесь самым простым—любовью. <...>

Я сама выбрала мир нечеловеков—что же мне роптать?

¹ Адрес Пастернака в Москве.

Моя проза: пойми, пишу для заработка: чтения вслух, то есть усиленно-членораздельного и пояснительного. Стихи — для себя, прозу — для всех (рифма — «успех»). Моя вежливость не позволяет мне стоять и читать моим «последним верным» явно непонятные вещи — за их же деньги. То есть часть моей тщательности (то, что ты называешь анализом) — вызвана моей сердечностью. Я — отчитываюсь. А Бунин еще называет мою прозу «прекрасной прозой, но безумно-трудной», когда она — для годовалых детей.

<...> Твоя мать, если тебе простит, — та самая мать из средневекового стихотворенья — помнишь, он бежал, сердце матери упало из его рук, и он о него споткнулся: «Et voici le cœur lui dit: T'es-tu fait mal, mon petit?»¹

Ну, живи. Будь здоров. Меньше думай о себе. Але и Сереже я передам, они тебя вспоминают с большой нежностью и желают — как я — здоровья, писанья, покоя.

Увидишь Тихонова — поклонись <...>

М. Ц.

¹ «А сердце сказало ему: «Не ушибся ли ты, малыш?» (фр.)

**Б.Л.Пастернак
и М.Горький**

Первое знакомство Пастернака с Горьким как общественным деятелем, писателем и человеком связано с революцией 1905 г. В автобиографическом очерке «Люди и положения» Пастернак ограничивал себя рассказом о тех событиях, которые формировали его как художника. Описывая виденные им эпизоды революционного движения, в которое было вовлечено Училище живописи, где преподавал его отец и где находилась их квартира, он вспоминает митинги в актовом зале, участие студентов в боевых дружинах, опасности охотнорядского погрома, которым подвергалось училище. В этом же ряду как лично пережитое событие он называет приезд в Москву Горького: «В конце 1905 года в Москву, охваченную всеобщей забастовкой, приехал Горький. Стояли морозные ночи. Москва, погруженная во мрак, освещалась кострами. По ней, повизгивая, летали шальные пули, и бешено носились конные казачьи патрули по бесшумному, пешеходами не топтанному, девственному снегу. Отец виделся с Горьким по делам журналов политической сатиры — «Бича»¹, «Жупела» и других, куда тот его приглашал».

Возможно, что однажды, отправляясь такую ночью к Горькому, отец взял с собой 15-летнего сына, который взволнованно переживал владевшие обществом надежды на революционное обновление и стремился непосредственно участвовать в событиях. В его глазах Горький был воплощением русской революции.

В воспоминаниях Л. О. Пастернака рассказывается о нескольких свиданиях с Горьким в это время, о том, что Горький приходил к ним домой и в разговоре выяснилось, что он был знаком с работой Л. О. Пастернака еще в 1880-х годах в одесской юмористической газете «Пчелка». О близости

¹ В «Биче» как будто Горький не принимал участия, может быть, он назван вместо «Жала», издававшегося в Москве.

художника со Львом Толстым, об иллюстрировании «Воскресения» и о «ряде ценнейших, артистически тонких пастелей, изображающих Толстого в его домашней обстановке», писал Горький в 1927 г. Через несколько месяцев Л. О. Пастернак снова виделся с Горьким в Германии; на одном из благотворительных литературных вечеров в Берлине он сделал карандашный набросок с Горького во время его чтения. Он посетил его в санатории в Целлендорфе, где Горький позировал ему для портрета. Было сделано два рисунка, один из которых находится в Третьяковской галерее, а второй, датированный 13 марта 1906 г., был одобрен М. Ф. Андреевой, приобретен Горьким и хранится в его музее. Слова Андреевой о портрете Б. Пастернак приводит в своем очерке «Люди и положения», это позволяет предположить, что он сопровождал отца в его поездке к Горькому.

Началом своих сложно складывающихся отношений с Горьким Пастернак считал письмо, посланное им по адресу литературно-политического журнала «Современник». Горький вел в нем литературно-художественную редакцию до апреля 1913 г., идейные несогласия в журнале заставили его уйти, но с июня 1914 г. он снова взял на себя негласное редактирование. В начале 1915 г. Пастернак по совету Е. Г. Лундберга, причастного к этому изданию, послал в «Современник» свой перевод стихотворной комедии Г. Клейста «Разбитый кувшин» со статьей о нем. Его уведомили, что работы приняты к печатанию. Из переписки с редакцией следует, что автор был недоволен отсрочками, задержкой корректур, тем, что статью, по его мнению, неотделимую от перевода, печатать не стали, рукописи долго не возвращали, гонорар задерживали. Он не знал об идейных разногласиях в журнале, приведших к его закрытию в октябре 1915 г., в результате чего эта переписка попала в «Коллекцию вещественных доказательств» полицейского управления. Послушавшись С. П. Боброва, тоже печатавшегося в этом журнале и считавшего недопустимым редакционную правку корректур, Пастернак написал Горькому. Письмо, переданное Горькому, в коллекцию не попало, сохранилась сопроводительная записка, начинавшаяся следующими словами: «М. Г.! Прошу препроводить прилагаемое заказное письмо Алексею Максимовичу, который, как я слышал, руководит художественным отделом «Современника». Мне непонятны те искажения текста, которыми изобилуют гранки: сокращения, прозаические вставки, выкидки

наиболее ярких мест комедии и т. п. Восстановить коррективным путем первоначальный текст — превыше сил моих» (7 мая 1915 г.).

Действительно, текст, напечатанный в «Современнике» (1915, № 5), не корректен. Кроме опечаток и неверного чтения некоторых мест по рукописи, он содержит купюры, сократившие резкости и бытовые вульгаризмы немецкой комедии, а свойственный разговорному языку эллипсис дополнен словами, нарушающими стихотворный размер.

Только через три года, летом 1918 г., когда Горький приезжал в Москву, Пастернак узнал от него, что в этом письме он «жаловался Горькому на Горького. Комедия была помещена по его указанию, и он правил ее своею рукою» («Люди и положения»). Пастернак ходил к Горькому получить заказ на дальнейшие переводы драм Клейста от издательства «Всемирная литература», которое тогда создавал Горький, и разговор зашел, вероятно, и о переводе 1915 г. В последующие месяцы Пастернак перевел три трагедии Клейста (Анкета Всероссийского профсоюза писателей 19 апреля 1919 г.). Об этом свидании с Горьким, приехавшим в Москву на неделю с 23 по 29 июня, известно из письма Пастернака от 5 февраля 1921 г.

ПАСТЕРНАК — ГОРЬКОМУ

<Москва, 5 февраля 1921 г.>

Дорогой Алексей Максимович!

Однажды я по пустячному поводу, без основания и несправедливо поднял ненужную и глупую историю о правке «Разбитого кувшина»¹. Вы, наверное, уже ничего не помните, и это письмо, м<ожет> б<ыть>, удивит Вас и покажется непонятным. Но дайте мне выложить то, что на душе у меня, я его пишу не для Вас, а для себя. Я страшно виноват перед Вами, я без вины перед Вами виноват, и этой вины я ни изжить, ни искупить не в состоянии: не знаю как. Горечь этого сознания не оставляет меня, особенно ужасно мне было первое

¹ Перевод комедии Г. Клейста «Разбитый кувшин», опубликованный в журнале «Современник» (1915, № 5), был Горьким отредактирован и значительно улучшен, по позднему признанию самого Пастернака. Но в то время Пастернак, не зная, что правка принадлежит Горькому, в письме от 8 мая 1915 г. заявил редакции резкий протест против изменений, внесенных в текст.

открытие этой моей вины, которой я за собой раньше не знал,—я Вам пишу чистосердечно, т<о> е<сть> без преувеличений, и говорю: вина, ее и разумею, как бы противоречиво это ни казалось, как бы ни просилось на язык логически более удобное «недоразуменье». Если бы я оправдывался (хотя бы перед самим собою), психологические условия моей роковой оплошности могли бы иметь значение,—но оправдаться я никак не надеюсь—тут важен результат, тут важно то, что в сумме целого ряда несчастных случайностей я оказался несмываемо виноватым перед Вами, вот и все. И оттого я называю это виною. Так оно и есть. Я Вам пишу о своем горе, дочтите письмо до конца.

Никогда в жизни я так не бледнел от чувства непоправимости при внезапном каком-нибудь известии, как в тот вечер 18 года, когда летом я вернулся от Вас после первого моего посещения и узнал то, что уже три года влачил за собой, того не зная. Я себе места не находил от этого чувства и бросился Вам писать. Но это так некстати и так досадно сплелось с тем, что я у Вас по делу был, что этот шаг, такой необходимый и такой единственный, показался мне невыносимым, невозможным. Я не знаю, за что судьба послала мне этот случай. Но я не преувеличиваю его тягостности: чувство это, как сознание проклятья, пошло трещиной по всему моему миру, раздвоив все то, чем приходится жить, когда пишешь. И я не каюсь Вам. В чем мне каяться? И не винюсь. Какое тут может быть извиненье? Но эта роковая бессмыслица, отравившая мне мое отношение к двум людям, с этой бессмыслицей связанным: к себе и к Вам, к себе в особенности (о хаотической путанице, царящей в последнем чувстве, уже совсем нестерпимом, мне нет надобности говорить)—эта бессмыслица мне не под силу. Я это опять испытал, будучи у Вас по просьбе Пильняка¹. Мне кажется, что когда Вы узнаете все это, у меня станет чище и яснее на душе. Письмо это я передам лично: я знаю, что Вы его получите. Считаться с этим письмом Вам не надо. Я знаю, что оно покажется Вам отвратительным—это сознание мое—лишний пример того, как множится и плодится бацилла этой моральной горечи во мне: как в ней ни двинься, куда ни глянь, ее растишь, ее множишь: это линия безвыходности, всякий выход из которой только ее удлиняет. Что ж делать? Но

¹ Как явствует из письма Б. Пильняка к Горькому от 22 февраля 1920 г., Пильняк просил Пастернака осведомиться у Горького относительно возможности публикации его нового романа в альманахе «Дом искусств» (АГ).

надо было, чтоб Вы это узнали. Если б я Вам рассказал, как двойственно и как несчастно сложился мой «литературный путь» после этого случая, Вы бы увидели, как планомерно и последовательно казнит жизнь за всякий поступок, сделанный без согласия с характером человека, т<о> е<сть> за всякую нечаянность, оплошность, за все то, словом, за что может винить человека только мысль мистика. За недоразуменье.

Ваш *Б. Пастернак*.

Как непосредственному участнику событий, выросшему в воспоминаниях автора до размеров символического образа революции, Пастернак послал книгу «Девятьсот пятый год» Горькому со следующей надписью: «Алексею Максимовичу Горькому, величайшему выраженью и оправданью эпохи с почтительной и глубокой любовью. Б. Пастернак. 20.IX.27. Москва».

Горький поблагодарил за присылку письмом, ни словом, однако, не обмолвившись о впечатлении от книги.

ГОРЬКИЙ—ПАСТЕРНАКУ

<Сорренто, 4 октября 1927 г.>

Дорогой Борис Леонидович—

получил книжку Ваших стихов¹, сердечно благодарю Вас!

Кстати, извещаю, что «Детство Люверс» переведено на английский язык и, вероятно, в ближайшие недели выйдет из печати в Америке². Условий перевода и издателей я еще не знаю, узнав—немедля сообщу Вам. Я немало слышал о том, как Вы живете, от Зубакина и Цветаевой³, но они не могли сказать мне, пишете ли Вы

¹ Пастернак Б. Девятьсот пятый год. М.—Л., Госиздат, 1927.

² Повесть Пастернака «Детство Люверс» в переводе на английский язык М. И. Будберг должна была выйти в свет с предисловием Горького (см. приложение) в издательстве «Robert M. Bride and Company. New-York». Издание не осуществилось.

³ Борис Михайлович Зубакин (1894—1937), археолог, поэтимпровизатор, и Анастасия Ивановна Цветаева (р. 1894), писательница и переводчица, были в гостях у Горького в Сорренто в августе 1927 г.

прозу? Очень хотелось бы этого, ибо, судя по «Детству», Вы можете писать отличные книги.

Всего доброго. И еще раз — спасибо!

А. Пешков

Пастернак считал нужным объясниться, и 10 октября он писал:

ПАСТЕРНАК — ГОРЬКОМУ

<Москва> 10.X.27

Дорогой Алексей Максимович!

Горячо благодарю Вас за письмо. Ваше обещание сообщить мне дальнейшие подробности относительно перевода «Д<етства> Л<юверс>» смутило меня до крайности. В неловкости, которую оно для меня несет, я неповинен. Неужели не найдется никого другого, кто бы это сделал вместо Вас? Ваш рабочий день для всех нас драгоценен. Легко вообразить, сколько на него делается отовсюду покушений. Вы у всех на виду и, вероятно, связаны дружеской перепиской с лучшими людьми мира. Вы в родстве и перекличке с крупнейшими его событиями. Можно догадаться, с какой бесцеремонностью и в каком числе забрасывают Вас всякими просьбами и вопросами отсюда. Ведь каждый тысячный считает себя первым и единственным, произведения же Ваши, обращенные к человеку без обиняков и околичностей, вероятно развязывают в русском читателе его исконную сущность, и он, «тоже» не чинясь и точно делая Вам этим честь, тотчас лезет к Вам в прямые собеседники. К этому надо прибавить Вашу удивительную отзывчивость и редкую заботливость о людях, примеры которой и у меня перед глазами. Пополнять эти ряды, даже и с Вашего согласия, я считал бы преступлением. Ради бога, бросьте мысль о «Детстве Люверс» и в том случае, если только этой мысли я и обязан переводом вещи.

Выставляя себя таким непритязательным, я себе как будто противоречу. Я послал Вам книжку¹, и, м<ожет> б<ыть>, на Ваш отклик рассчитывал. Но вот

¹ «Девятьсот пятый год».

и точные границы моей претензии. Я не мог не послать ее Вам. О посылке Вам первому и более, чем кому-либо другому, именно этой книги я мечтал, когда еще только собирал ее для отдельного издания. Определяющие мотивы этой мечты мне хотелось выразить в надписи Вам, но, м<ожет> б<ыть>, это не удалось мне. Взволноваться Вами как писателем особой заслуги не составляет. Проглотить в два долгих вечера «Артамоновых», не отрываясь, это *только* естественно для всякого, кто не кривит натурой и не создал себе искусственной чувствительности взамен прирожденной и наличной. Однако эта естественная читательская благодарность тонет у меня в более широкой признательности Вам как единственному, по исключительности, историческому олицетворению. Я не знаю, что бы для меня осталось от революции и где была бы ее *правда*, если бы в русской истории не было Вас. Вне Вас, во всей плоти и отдельности, и вне Вас, как огромной родовой персонификации, прямо открываются ее выдумки и пустоты, частью приобщенные ей пострадавшими всех толков, т<о> е<сть> лицемерничающим поколением, частью же перешедшие по революционной преемственности, тоже достаточно фиктивной. Дышав эти десять лет вместе со всеми ее обязательной фальшью, я постепенно думал об освобождении. Для этого революционную тему надо было взять исторически, как главу меж глав, как событие меж событий, и возвести в какую-то пластическую, несектантскую, общерусскую степень. Эту цель я преследовал посланной Вам книгой. Если бы я ее достиг, Вы скорее и лучше всякого другого на это бы откликнулись. Вы о ней не обмолвились ни словом,— очевидно попытка мне не удалась. Еще раз горячо благодарю Вас за письмо. Трудно говорить о неудаче без некоторой печали в голосе. Но Вы бы ее только усугубили, если бы в моих последних словах прочли что-либо подобное упреку. Откуда и быть ему. Не сердитесь на неприлично-скупую запись полей¹.

Глубоко Вам преданный

Б. Пастернак.

В августе 1927 г. у Горького в Сорренто гостила А. И. Цветаева со своим другом Б. М. Зубакиным. Зубакин, археолог и поэт, переписывался с Горьким в

¹ Последние строки письма написаны на полях.

течение нескольких лет и совершенно его очаровал. «Весьма увлекаюсь этим человеком, замечательно порусски сделанным. Талантлив он — несомненно», — писал Горький М. М. Пришвину в феврале 1927 г. В июне 1927 г. в переписку включилась А. И. Цветаева. После 20 дней, проведенных в Сорренто, она съездила в Париж к сестре и рассказала Горькому о ее бедственном положении. М. Цветаева послала Горькому свои книги и два письма (24 августа и 8 октября 1927 г. — Архив Горького). В них она благодарила Горького за его доброту к Асе и просила устроить доступ в Россию ее книге «После России». «Вещь вернулась бы в свое лоно, — писала она. — Здесь она никому не нужна, а в России меня еще помнят».

Предупрежденный телеграммой Пастернак 12 октября встречал А. И. Цветаеву на вокзале. Из ее рассказов он узнал о намерении Горького оказать помощь М. Цветаевой. Выполняя поручение Горького найти человека, через которого можно было бы послать деньги, А. И. Цветаева писала: «Относительно Ваших слов о Марине, о деньгах я говорила с Борисом П. Он согласен, чтобы деньги шли как бы от него. Просил Вам это сообщить, простите, что задержала. Адрес его у Вас есть? Волхонка, 14, кв. 9. Адрес Марины он знает. Он уже написал ей, что будут деньги, чтобы она не удивилась. А Вам огромное спасибо за нее» (15 октября 1927 г. — Архив Горького).

ПАСТЕРНАК — ГОРЬКОМУ

<Москва> 13.X.27

Дорогой Алексей Максимович!

Приехала Ан<астасия> Цветаева, и я спешу загладить несколько оплошностей, допущенных во вчерашнем письме¹ по незнанию. Прежде всего я глубоко признателен Марии Игнатьевне² за перевод «Люверс». На эту тему я говорил, как о какой-то далекой, заокеанской вещи. Ничего дурного я этим не сказал, но именно в этом упоминании факта, находящегося под Вашей крышей, в холодно-неопределенном тоне безразличного неведения и заключена неловкость, и Вы

¹ Имеется в виду письмо от 10.X.27 г.

² Мария Игнатьевна Будберг.

мне ее простите. Об этом же прошу и Марию Игнатьевну.

Ан<астасия> Ив<ановна> передала мне вскользь и Ваше впечатление от «Девятьсот пятого года». Мое предположение подтвердилось, и если бы я об этом узнал вчера, я бы его не стал высказывать Вам в виде догадки. Я знаю, как неприятно бывает говорить человеку, что его работа не годится или тебе не нравится. Как ни счастлив я был бы получить от Вас еще одно письмо, я еще более хотел бы Вас уверить в сказанном уже вчера. Среди случаев, когда Вы жертвуете своим временем и силами в чужую пользу, попадают и стоящие, серьезные. Мой пока не из таких. Я не жду от Вас ответа. Если в нем явится неизбежная и крайняя надобность, я сам Вам об этом напишу.

Еще одна неотложная поправка. Не понимаю, как это могло случиться. Цветаева и Зубакин, между прочим, как-то рассказывали Вам о моем житье-бытье. В том бедственном виде, в каком они Вам его представили, оно было года два еще назад, однако от этих трудностей теперь ни следа не осталось. Переменной этой я как раз и обязан «1905-му году». Теперь я не только не нуждаюсь, но иногда имею возможность помогать и другим в нужде. В этом неприятном недоразумении кругом виноват я. Очевидно я не умею с таким же красноречием радоваться удачам, с каким, видно, жалуюсь на препятствия.

Алексей Максимович, оснований моей душевнейшей благодарности Вам—не перечислить. Иных я и не вправе касаться. Горячо Вас за все благодарю. Кроме того, кто еще лучше Вас знает природу прямых человеческих связей и их дальнейших случайных ветвлений! Поэтому я ложных сближений на мой счет с Вашей стороны не боюсь.

В том узле лиц и фактов, которого Вы с таким великодушием этим летом коснулись, важно и близко мне огромное дарование Марины Цветаевой и ее несчастная, непосильно запутанная судьба. Существенная и в отдельности, Ан<астасия> Ив<ановна> во многом родная сестра ей. Вот и всё, поскольку может быть речь обо мне. Роль же и участь первой, то есть М<арины> Ц<ветаевой>, таковы, что если бы Вы спросили, что я собираюсь *писать* или делать, я бы ответил: все, что угодно, что может помочь ей и поднять и вернуть России этого большого человека, м<ожет> б<ыть> не сумевшего выровнять свой дар по судьбе или, вернее, обратно.—Я не имел еще возмож-

ности прочесть «Жизнь Клима Самгина». Это моя ближайшая мечта. Если разрешите, я запишу то, что эта книга во мне вызовет.

Преданный Вам

Б. Пастернак.

ГОРЬКИЙ—ПАСТЕРНАКУ

<Сорренто, 18 октября 1927 г.>

Дорогой мой Борис Леонидович—

я ничего не сказал о Вашей книге стихов, потому что не считаю себя достаточно тонким ценителем поэзии и потому еще, что уверен: похвалы уже надоели Вам. Но теперь, когда Вам показалось, что я промолчал из нежелания сказать Вам, что книга будто бы неудачна, я говорю: это—не так. Вы ошиблись. Книга—отличная; книга из тех, которые не сразу оценивают по достоинству, но которым суждена долгая жизнь. Не скрою от Вас: до этой книги я всегда читал стихи Ваши с некоторым напряжением, ибо—слишком, чрезмерна их насыщенность образностью и не всегда образы эти ясны для меня; мое *воображение* затруднялось вместить капризную сложность и часто—недоочерченность Ваших образов. Вы знаете сами, что Вы оригинальнейший творец образов, Вы знаете, вероятно, и то, что богатство их часто заставляет Вас говорить—рисовать—чересчур эскизно. В «905 г.» Вы скупее и проще, Вы—классичнее в этой книге, насыщенной пафосом, который меня, читателя, быстро, легко и мощно заражает. Нет, это, разумеется, отличная книга, это—голос настоящего поэта, и—социального поэта, социального в лучшем и глубочайшем смысле понятия. Не стану отмечать отдельных глав, как, напр<имер>, похороны Баумана, «Москва в декабре», и не отмечу множество отдельных строк и слов, действующих на сердце читателя горячими уколами.

«Детство Люверс» выйдет в Америке весною, вместе с книгой О. Форш «Одеты камнем».

Что Вы теперь пишете? Как живете?

У меня гостил месяца два знакомый Ваш—Зубакин, который, по письмам его, показался мне человеком интересным и талантливым, но личное знакомство с ним очень разочаровало и даже огорчило меня. Человек

с хорошими задатками, но совершенно ни на что не способный и — аморальный человек.

Еще раз — благодарю за книгу.

Крепко жму руку.

А. Пешков.

Отзыв Горького «осчастливил» Пастернака, во многих письмах того времени сквозит радость по этому поводу.

ГОРЬКИЙ — ПАСТЕРНАКУ

<Сорренто, 19 октября 1927 г.>

Сегодня послал Вам письмо¹, дорогой Б<орис> Л<еонидович>, и получил Ваше второе². Вы сообщаете, что Цветаева «передала вскользь» мое «впечатление» о «905 г.» и «подтвердила» Ваше «предположение». Из моего второго письма Вам Вы, конечно, видите, что не «подтвердила». Но она подтвердила сложившееся у меня представление о ней как человеке слишком высоко и неверно оценившем себя и слишком болезненно занятом собою для того, чтоб уметь — и хотеть — понимать других людей. И она, и Зубакин, кроме самих себя, иной действительности не чувствуют, и к рассказам их о ней следует относиться с большой осторожностью.

Говоря о стихах Ваших, я, кажется, забыл сказать, что — на мой взгляд — «образность» их нередко слишком мелка для темы, чаще — капризно не совпадает с нею, и этим Вы тему делаете неясной. А затем я думаю, что Вы всю жизнь будете «начинающим» поэтом, как мне кажется, по уверенности Вашей в силе В<ашего> таланта и по чувству острой неудовлетворенности самим собою, чувству, которое весьма часто звучит у Вас. Это — хорошо. С В<ашей> высокой оценкой дарования Марины Цв<етаевой> мне трудно согласиться. Талант ее мне кажется крикливым, даже — истерическим, словом она владеет плохо и ею, как А. Белым, владеет слово. Она слабо знает русский язык и обращается с ним бесчеловечно, всячески искажая его. Фонетика, это

¹ Письмо от 18.X.27.

² Письмо от 13.X.27.

еще не музыка, а она думает: уже музыка. Я не могу считать стихами такие штуки, как:

Глаз явно не туплю
Сквозь ливень — перюсь
Венерины куклы
Вперяйтесь.

Такого у нее — много.

И, м<ожет> б<ыть>, еще хуже такое:

Я не более, чем животное,
Кем-то раненное в живот,

или:

Паром в дыру ушла
Пресловутая ересь вздорная,
Именуемая душа¹,

или:

Горловых — горловых ущелий
Ржавь, живая соль...
Я любовь узнаю по щели,
Нет! — по трели
Всего тела вдоль².

М. Цветаевой, конечно, следовало бы возвратиться в Россию, но — это едва ли возможно.

«Самгина» у меня уже нет. Скоро получу московское издание³ и пошлю Вам. А Вы мне, пожалуйста, пришлите Ваши «Стихи», объявление о выходе которых напечатано на обложке 10-й книги «Красной нови»⁴

Крепко жму руку.

А. Пешков.

Ю.Х.27.
Sorrento.

Широкий смысл намерения Пастернака, состоявший в первую очередь в том, чтобы новые работы Цветаевой были доступны русскому читателю⁵, Горь-

¹ Цитаты из «Поэмы Конца», напечатанной в сб. «Ковчег». Прага, изд-во «Пламя», с. 19, 28.

² Цитата из стихотворения «Приметы» (Цветаева Марина. После России. Париж, 1928, с. 138—139).

³ Горький М. Жизнь Климса Самгина (Сорок лет), т. 1. М., Госиздат, 1927.

⁴ Пастернак Б. Две книги. Стихи. М.—Л., Госиздат, 1927.

⁵ О предположительной публикации «Поэмы Конца» в «Лефе» Пастернак писал М. Цветаевой 30 июля 1926 г. (семейный архив Пастернака).

кий понял узко практически, как просьбу помочь ей вернуться. Это казалось ему невозможным, вероятно, потому, что он знал популярность в эмиграции стихов Цветаевой о белой армии и характер участия ее мужа в гражданской войне. Этим же объясняются поиски непрямого пути посылки денег Цветаевой, желание сохранить эту тему в тайне и нервность по поводу обсуждения ее в переписке. Поняв обоюдую «тягостность» и неловкость положения¹, Пастернак освобождает Горького от нее, взяв посылку денег на себя. Он еще 3 октября 1927 г. просил свою сестру Жозефину, жившую в Мюнхене, срочно выслать деньги Цветаевой и рассчитывал повторить этот способ вскорости.

ПАСТЕРНАК — ГОРЬКОМУ

<Москва> 25.X.27

Дорогой Алексей Максимович!

Горячо благодарю Вас за письмо², — на него надо бы отвечать телеграммой из одних коротких, порывистых глаголов. Вы знаете, что меня им осчастливили, — так и писали. Оттого я и был неуверен насчет вещи, и Ваше недовольство ею представлялось мне легко вероятным, что ради нее я покинул привычную мне область неотвязной субъективности: Вы же прежде всего огромный художник, и, следовательно, неумеренный, неловко учтенный или плохо пережитый отход от нее (как бы частная форма этой субъективности ни была Вам далека) мог Вас оттолкнуть как ложное вообще творческое поползновение. Но, значит, это не так, и радости моей нет конца.

Письмом Вашим горжусь в строгом одиночестве, накрепко заключаю в сердце, буду черпать в нем поддержку, когда нравственно будет приходиться трудно.

Пишу сейчас, потеряв голову от радости, точно пьяный, — не мой почерк, и, наверно, пишу нескладницу: не судите сегодняшних моих слов литературно.

Ради бога, не пишите мне, не тратьте на меня время и не создавайте мне праздника на самых буднях. Когда

¹ О том, как рискуют Цветаева и Эфрон, если в Париже станет известно о помощи со стороны Горького, С. Я. Эфрон писал Пастернаку 12 января 1928 г. (семейный архив Пастернака).

² Письмо от 18.X.27 г.

надо будет, я сам, нарушая эту просьбу, Вас о том попрошу.

Цветаева рассказывает о Вас с большим упоением, с глубиной, со способностью постижения и с хорошей, никого не унижающей, преданностью. Зубакина не видал, но о роде нашего знакомства Вы успели догадаться по моим умолчаниям. Теперь, после Ваших слов о нем, не будет с моей стороны предательством, если я скажу, что встреч с ним избегаю давно и насколько возможно. Я не знаю, что Вы разумели, назвав его аморальным. Надо сказать, что о нем ходит сплетня, определенно вздорная, и мне кажется, что он сам ее о себе распускает. Я почти убежден в этом, да это и в духе его психологического типа. Ведь весь он из алхимической кухни Достоевского, легче всего его себе представить в Павловске на даче у Мышкина. Это надо сказать в его защиту. Он очень изломан, но никакою подлостью, ни в малейшей мере не запятнан. Я избегал его не из-за этих слухов, а оттого, что всякая встреча с ним ставит в нестерпимое положение особой двойственности. Человек ведет себя так, точно он призван *только* поражать и нравиться (если такое призвание вообще мыслимо!), а, между тем, менее всего в *естественную тайну* настоящего воздействия посвящен. Будто он никогда и не нюхал того, чем сам хочет пахнуть. Мы даже никогда не познакомились с ним. Он мне однажды представился, с визитной карточкой и чепухой, точно выскочив на пружине из трескучей потешной коробки. Между тем даже и этот скачок уже поражал какой-то несоответственностью, глубоко меня переконфузившей. По всему смыслу его подорожной, т<о> е<сть> его склонностям и притязаниям, менее всякого другого ему было позволительно высказывать из коробки. Избытком треска одно время, под его вероятным влиянием, страдала и А<настасия> И<вановна>.

Простите меня за это путаное письмо и по его беспорядку судите о действии Вашего одобрения. От всего сердца желаю Вам всего наилучшего и легких, больших дней.

Ваш Б.П.

На следующий день после этого радостного известия Пастернак получил от Горького еще одно письмо, очень его огорчившее. Оно было продиктовано негодованием на обеих сестер Цветаевых, на младшую — за поспешную передачу его первого впечатления о «905-м

годе», на старшую — за «опьянение словами» в стихах, которое он не любил. Недавно получив от М. Цветаевой ее книги, он придирчиво и не совсем точно выписал цитаты из них, в частности из «Поэмы Конца», которую Пастернак особенно ценил.

ПАСТЕРНАК — ГОРЬКОМУ

<Москва> 27.X.27

Дорогой Алексей Максимович! Зачем Вы так безжалостно бросаете меня из крайности в крайность? Как хорошо, что я вчера успел дать волю своей радости, — недаром меня тянуло к телеграмме; как трудно было бы мне это сделать сегодня! За что Вы обрушились на А. И.¹, между тем как источник Вашего гнева лежит, по-видимому, в моем письме, в какой-то его черте, мне неведомой и навлекшей Ваше негодование на людей неповинных? Но хотя это сознание вины перед ними и Вами меня не оставляет, однако я ума не приложу, в чем мне оправдываться. Все письма, кроме вчерашнего, взволнованно беспорядочного, я писал Вам в состоянии признательной сосредоточенности, с наивозможнейшей точностью, к которой обязывает забота о том, чтобы на Вас не нависало хвостов из неясностей, домыслов, возможностей и вопросов и чтобы Вам не казалось, что их надо разбирать, приводить в действительность, дарить ответом.

Только стремление к этой исчерпанности, избавляющей Вас от траты времени, и вызвало у меня второе письмо вдогонку первому, потому что ведь ничего дурного, требующего других каких-нибудь поправок, ушедшее письмо не заключало. Но вот оно ушло, и в тот же день, — каков бы сам по себе он ни был, — приехал живой человек от Вас². Мог ли я оставить Вас, большого, поглощенного заботой о людях и непомерно занятого человека, с моими предположениями, после того как, правильно или нет, он мне их подтвердил? Ведь от ответа, воспользовавшись его обходительностью, я бросился бы Вас избавлять и в том случае, если бы он эти предположения не подтвердил мне, а рассеял. Ясно, что никакой эквивалент Вас заменить не может, что мало таких вещей, которые в полном смысле можно сделать за Вас. Ясно также, что, не говоря уже о

¹ А. И. Цветаева.

² А. И. Цветаева приехала 12 октября 1927 г.

письме, один Ваш автограф—бесспорная ценность, как ее ни понимать и какого употребления из нее ни делать.

Однако вот ведь всякое мое обращение к Вам я заканчиваю постоянно просьбой *не писать* мне. Кстати, верите ли Вы в деятельную искренность моих слов, в полное их соответствие моим мыслям и желаньям? Странно, Вы можете что угодно сказать о моих вещах, о моем литературном складе, Вы всего меня можете заключить в какие угодно кавычки, но допустите только, что Вы мне не верите, и это разом выпрямит меня нравственно и заставит сказать Вам, что эту же недоверчивость Вы наблюдали в Толстом, что это— профессиональная подозрительность романиста, мне очень знакомая и, пусть это не смешит Вас, побежденная мною в первом зачатке.

А от Ваших ответов и связанной с ними радости я добровольно отказываюсь еще и потому, что помимо переписки существует жизнь, не в смысле страстей и характеров, а в смысле истории, т. е. широко и досуже спутывающегося и *распутывающегося* времени. Разве исторические силы, которым Вы дали выражение, не в переписке с моей судьбой? Разве огромное, сложившееся Ваше *поведенье* не переписывается с моим, складывающимся и выясняющимся?

Нет, как поэт, я нисколько не «начинающий», как Вы это сказали (но *ей-Богу* не обидно!), но для того, чтобы приносить пользу, нужен *авторитет*,—и тут я, конечно, еще совершенный щенок. Между прочим *этим* кругом интересов я обязан Вам, как и строю мысли о русской истории, о своеобразной миссии и судьбе интеллигенции и прочем. Тут на моих взглядах и, главное,— *склонностях* сильнейший отпечаток Вашего именно влиянья.

А теперь о лицах, Вами затронутых. Допущенная Ан<астасией> Цветаевой неточность, основанная на произвольно истолкованной недомолвке, по-моему не из тех вещей, которые заслуживают таких возмущенных кавычек. А вокруг них ведь и собралось Ваше негодование, и от них распространилось дальше, по пути захватывая имя за именем, положение за положением. Ее ошибка, конечно, огорчила меня, но трудно сказать, как огорчили меня Вы, придав ее оплошности такое значенье. Я рад, что в прошлом письме успел сказать, как она говорит о Вас, т. е. как живы и высоки Вы в ее мыслях. И так как ничего, кроме рудимента, т. е. простого благородства и порядочности, мы в виде нормы с людей спрашивать не вправе, то она абсо-

лютно перед Вами чиста. Другой вопрос — безотносительная ценность людей на наш глаз и мерку.

Тут мне и хочется Вас спросить: зачем все это о Цв<етаевой> и З<убаки> не *знать мне, за что Вы на меня* именно взвалили это бремя? Ведь все это было и остается Вашим делом. Ведь вниманья Вашего к Зубакину и через него к Цветаевой я не мог счесть досадною странностью: зная Вас, я не мог этого себе позволить. Объяснения этой неожиданности я охотнее искал в чем угодно другом: в моей, может быть, недооценке Зубакина, в Вашей доброте, в готовности пригреть человека и поставить его на ноги.

Видимое расхождение наших взглядов, в особенности на З<убакина>, я, как мог, поспешил свести к очевидной несоизмеримости наших альтруистических ресурсов, в особенности же потому, что на Ваше приглашенье¹ смотрел, как на рождественскую сказку, вкус же к таким метаморфозам прямо у меня связан с тем чувством к людям, которое сами Вы во мне Вашей деятельностью воспитали. Я душой радовался их поездке, как чуду, свалившемуся с неба. Я ни единым помыслом не смел вмешаться в эту историю, и более того: я как неизбежность переварил и наперед спустил Зубакину весь тот мыслимый вздор, который он по своей природе обязательно должен был удручающе нагородить у Вас *и на мой счет*². За них у меня не было тревоги, потому что прямого интереса к З<убакину>, как к писателю, я в Вас не предполагал и иначе понял Ваше движенье; за себя не тревожился, потому что помимо слов, Зубакинских и всяких, есть жизнь и время, все ставящее на должные места, — тревожиться за Вас мне не приходило в голову. Итак, вмешательству моему не было ни повода ни причины. И вот, во все это меня вмешиваете Вы, и на каком тягостном переломе всего эпизода!

Ну что мне теперь делать?

Вправе ли я оставлять в полном неведении Ан<астасию> Ив<анов>ну, за которую мне больно,

¹ Горький выслал приглашение Зубакину и Цветаевой в июле 1927 г.

² Это место письма со слов «наперед спустил Зубакину» подчеркнуто красным карандашом рукою Горького. Такого же рода замечания о Пастернаке имеются в письмах Зубакина Горькому: «Кажется любит, побаиваясь (неизвестно чего), впрочем я его как-то упрекал жестоко, Пастернак»; «Я стараюсь ни у кого не бывать. Мой «круг» — это те, кто изредка бывает у меня: Шенгели, П. Романов, Пильняк, Пастернак, А. Цветаева, Ив. Рукавишников — два-три ученых...».

потому что для меня это ничуть не писательница, не неоформленная претензия, ничего такого, а просто человек и друг, и, в настоящих границах,—достойный?

Вправе ли я, при моем отношении к Вам, оставлять Зубакина при его иллюзиях, или в уважение к Вам, надо будет открыть глаза и ему, когда меня с ним столкнет первый случай. Как мне себя вести? Связываете ли Вы меня этим письмом, или даете мне свободу. Я в полной неизвестности, и как видите, первым делом считаюсь с Вами. Но тяжелой миссии этой я не заслужил, и не знаю, зачем Вы меня в это положение поставили.

Однако есть дело, в которое я теперь не могу не вмешаться, не дожидаясь Вашего решения. Позвольте мне говорить со всей откровенностью. Я знаю, что это—в какой-то мере—тайна, которую я вправе знать, но которой не должен касаться. Но как мне выйти из этого круга с соблюдением всех градусов и ничьих запретов не нарушая!

Итак, я прорываю его. Я говорю о новом примере Вашей отзывчивости, о деньгах для М. Цв<етаевой>. Дорогой, дорогой Алексей Максимович, знайте, никакая фамильярность или задняя мысль относительно Вас с моей стороны немыслима! Ничего, кроме желанья простоты и блага, моя просьба не содержит. Вы меня осчастливите, если ее поймете и ей последуете. Вот она. Я умоляю Вас, откажитесь вовсе от денежной помощи ей, неизбежной тягостности в результате этого ни Вам, ни М. Цв<етаевой> не избежать! В этом сейчас нет острой надобности. Мне удалось уже кое-что сделать¹, м<ожет> б<ыть> удастся и еще когда-нибудь.

Я страшно устал за этим письмом и верно не меньше того утомил Вас. Простите.

Заклучу вынужденно лаконично. Я люблю Белого и М. Цветаеву и не могу их уступить Вам, как никому никогда не уступлю и Вас.

Письмо это попробую послать возд<ушной> почтой. Если удастся, то оно опередит то, на которое я ссылаюсь, как на вчерашнее. «Клима Самгина» буду ждать с благодарностью и нетерпением.

Глубоко преданный Вам

Б. Пастернак.

¹ М. Цветаева получила деньги, посланные ей по просьбе Б. Пастернака его отцом, и благодарила Л. О. Пастернака письмом.

<Сорренто, 7.XI.1927>

Борис Леонидович —

истерический тон Вашего последнего письма для меня загадочен, оправданий ему я не вижу и предлагаю Вам прекратить переписку со мною, опасаясь, что она может только усилить недоразумения.

Странное впечатление вызывает Ваш вопрос: «За-чем все это о Цвет<аевой> и Зуб<акине> знать мне, за что Вы на меня именно взвалили это бремя?»

Какое «бремя»? Ведь Вы сами назвали Зуб<акина> человеком «из алхимической кухни Достоевского», сами же сообщили мне, что он, интереса ради, выдумывает о себе «сплетни», — я с этим согласился, Зуб<акин> оставил у меня по себе удручающее впечатление. А<настасия> И<вановна> умнее его, но она тоже «из Достоевского» — на мой взгляд.

А о ее сестре Вы не должны были писать того, что написали.

Грустно, что все так вышло, но писать Вам я больше не стану.

А. Пешков.

ПАСТЕРНАК — ГОРЬКОМУ

<Москва> 15.XI.27

Дорогой Алексей Максимович!

Просьбу о М. Ц<ветаевой> мне внушило одинаково сильное чувство к Вам и к ней. Высказывая ее, я настолько был убежден, что истинные ее мотивы дойдут до Вас во всем чистосердечьи, что видимая нескромность дела меня не испугала.

Вчера я получил Ваше письмо с предложением не писать Вам больше. С нынешней Вашей суровостью, впервые обращенной непосредственно ко мне, мне легче, чем с той косвенною, которая меня так взволновала. Тогда мне пришлось переживать за других. При этом я не мог не дать лишку. Что-то подсказывало мне, что в замкнутости переписки, т. е. *наедине с Вами*, долг мой — вступить за них, а не подхватывать Ваше негодование. В последнем случае я бы их предал, хотя бы потому только, что Вы бесконечно сильны, а они слабы. Неужели на моем месте Вы поступили бы иначе?

Или, вот еще что,—с этого ведь все началось. Ради Бога, Алексей Максимович, станьте на мое место: NN превратно передает мне Ваше мнение о вещи, меня кровно касающейся (о «905-м»). Из радости получается огорченье. Потом все разъясняется, радость двойная, и ей нет границ. И вот в самый ее разгар получают Ваши раздраженные строки об оплошности этой NN. Ну что бы Вы стали делать в моем положении? Разделили бы это раздражение против NN, или, как лицо замешанное, как невольный и несчастный повод, всеми силами этому раздражению воспротивились?

В заключение, за все это поплатился я. Хочется верить, что запрещенье Ваше временно и Вы когда-нибудь его с меня снимете. А пока, подчиняюсь ему. Вы хорошо знаете, как это меня огорчает. Однако либо этого не было и у Вас в мыслях, либо довольно и того, что я этому не подавал оснований, но *обиды в мое огорченье* никакой не замешалось. Я только получил письмо с дурною *вестью* от Вас и в меру ее и опечален.

Неизменно преданный Вам

Б. Пастернак.

P. S. Я еще раз писал Вам, в первых числах месяца¹. Вероятно письмо пропало. Хотя там прямых извинений не было (п<отому> ч<то> ни в чем перед Вами не виноват), но истерическим свое предпоследнее письмо признал в нем и я. Получив его, Вы меня бы вероятно пощадили. Мне оно было дорого другой стороной, и жалко, что не послал его заказным.

Ваш Б. П.

ПАСТЕРНАК—ГОРЬКОМУ

<Москва> 16.XI.27

Дорогой Алексей Максимович!

Простите, что после вчерашнего обещанья вновь Вам навязываюсь. Но дело вот в чем. М<ожет> б<ыть> в прошлых письмах к Вам мне случилось обмолвиться, что Ваших писем я не только никому не показываю, но даже и не рассказываю о них, гл<авным> образом лицам, в них названным. Так было до нынешнего дня, когда Ан<астасия> Ив<ановна> с

¹ Вероятно, Горький этого письма не получил; в архиве оно не сохранилось.

выпиской из Вашего последнего письма к ней (с ссылкой на мою бестактность) попросила у меня объяснения относительно всего происшедшего. Я вынужден был кое-что ей рассказать, т<о> е<сть> мне пришлось в виду Вашей ссылки на меня, отступить от своего намеренья сохранить всю эту путаницу в тайне. Я рассказал ей только самое необходимое. О недоразумении, порожденном ее неудачной передачей Ваших слов, о том, как меня огорчило Ваше возмущенье этим, о неудаче моей попытке вступить за нее и разорвать другой клубок, смотанный ею или З<убакины>м вокруг М<арины> Ц<ветаевой>, и наконец о том, чем все это кончилось для меня. Я ей также привел свои слова о З<убакине>, я не забыл этого сделать. Последнее ее очень огорчило.

Вы знаете, фатальной моей ошибкой было то, что я вмешал их в мои письма. С другой стороны, это было естественно, они приехали прямо от Вас, я ничего еще не знал.

Если мне суждено когда-нибудь опять прийти Вам на память, мне хотелось бы, чтобы Вы вспомнили обо мне в совершенной отдельности от кого бы то ни было и каких бы то ни было происшествий. Вы знаете, что я ни в чем не виноват, всего же менее в томительном однообразии темы, которой мне пришлось, скрепя сердце, подчиниться, как несчастной случайности, разрастающейся от письма к письму.

Ваш Б. Пастернак.

Совершенно убийственна мысль, что все началось для меня с ни с чем не сравнимой Вашей внимательности (известие о переводе) и дальше, слепо следуя желанью оградить Вас от лишних слов, заменимых движений и ненужной траты времени, я роковым образом пошел по направленью, докучному для Вас, двойственно-мучительному для меня, и так блестяще отблагодарил Вас за тепло и ласку. Однако благодарность моя по-прежнему велика и ничуть не стала меньше от того, что Вы не захотели понять меня. Я счастлив, что узел Вы разрубили именно на мне. Всего меньше минутных случайностей повлечет за собой удар по этому месту.

Ваш Б. П.

По-видимому, одновременно с письмом Пастернаку от 7 ноября Горький написал А. И. Цветаевой, содержание этого письма восстанавливается из ее ответа:

«Совершенно не поняла в Вашем письме слов: «очень жалею, что Вы все-таки сказали о Вашей сестре Пастернаку». Вы дали мне поручение устроить это дело через кого-нибудь из моих друзей, якобы от него. Я выбрала Пастернака, но, ведь, для того, чтобы дать Вам ответ, я должна была спросить его согласия? Его согласие я сообщила Вам. Оплошности здесь не вижу, сколько ни думала,—что между вами было дальше, что Пастернак написал Вам—мне не известно, он мне ничего не говорил. Если же центр Вашей фразы в слове «все-таки»,—то я еще менее ее понимаю: сказали Вы мне об этом плане за три дня до моего отъезда, и с тех пор не произошло ничего, к чему бы могло отнестись это «все-таки». Или же надо было сообщить мне об этом происшествии, чтобы дело—остановить. Бесконечно жалею, что на дело о Марине согласилась, но таких последствий не ждала. Единственное, в чем я б<ыть> м<ожет> была неосторожна, это в дружеской передаче Пастернаку Вашего первого впечатления от «905-го года». Передала ему и Ваше доброе (о «Детстве Люверс» и о нем самом) мнение. Для него всякое Ваше мнение было важно, потому я и передала. Вины в этом не вижу. Ваша А. Ц.»

Говоря о том, что он собирается писать, чтобы «выправить ошибку» и «вырвать это огромное дарование из тисков ложной и невыносимой судьбы и вернуть его России», Пастернак повторил эти слова еще определеннее в письме к самой Цветаевой. «Выправить эту ошибку судьбы» Пастернак собирался своей работой. Прежде всего он имел в виду роман в стихах «Спекторский», основной темой которого стала трагическая разобщенность людей, волею судьбы оказавшихся по разные стороны границы. Этой осенью он писал пятую главу, договорившись о публикации окончания романа в «Красной нови».

ПАСТЕРНАК—ГОРЬКОМУ

<Москва> 16.XI.1927

Дорогой, дорогой Алексей Максимович!

Случайно позвонил Екатерине Павловне, узнав, что она приехала¹, и от нее узнал, что Вы больны. Плюньте

¹ Е. П. Пешкова приехала из Сорренто в Москву 21 октября 1927 г.

на нас порознь или всех вместе взятых и поскорее выздоравливайте. Забудьте всю ту скуку и чепуху, которую нагоняли на Вас мои письма, хотя бы в той малой доле, какой они занимали Ваше внимание. Верю в Ваше скорое выздоровление и о состоянии Вашего здоровья буду справляться у Екатерины Павловны. Всего, всего Вам лучшего от всего сердца. «Клима Самгина» недавно достал и читаю урывками, Вы не поверите, но письмами и рукописями из провинции завален даже и я, работать почти не приходится, и «Самгиным», как и своей работой, я жертвую слабым взрослым людям, нуждающимся в няне и за этим обращающимся ко мне. Ах, ведь и все наше недоразумение¹ из этого же круга, и как Вы этого не поняли!! Но по поводу «Самгина» в данный миг, на этой странице, следующее. Всей живой первой частью он разбрелся впрок, под вторую часть, когда грянет гром и заскачут молнии над его пастбищным досугом. Вся их судьба в ней, во второй части, отложенной в эти дни в сторону, на каком-то отдалении от постели. Так вот, в начатки этой рукописи, где-то лежащей, в той ли же комнате или в соседней, я верю безгранично и больше, чем в В<ашего> врача и лекарства, которые он Вам прописывает. Полное Ваше исцеление и поправка придут из того угла, где она находится. Если бы я мог, я бы написал Вашей второй части, как женщине, которая Вас завтра поставит на ноги. Еще раз, наискорейшего Вам выздоровления. Если письмо застанет Вас оправившимся, то опять, как в лучшие дни переписки, прошу Вас, *не занимайтесь мной*, я все знаю и почувствую, а Вы на меня время не тратьте, и будьте здоровы, о Вас узнаю у Екатерины Павловны. Простите за эту новую истерику, но сегодня не могу иначе.

Весь Ваш Б. П.

Внезапный разрыв плечевых связок вывел Пастернака из работы и позволил ему взяться за откладываемое чтение. В письме от 23 ноября 1927 г. он записал свои впечатления от первой части романа.

¹ Письмо от 27 октября 1927 г.

<Москва> 23.XI.27

Дорогой Алексей Максимович!

В последний раз нарушаю Ваше запрещение, следуя побуждению несравненно сильнейшему, чем до сих пор. После этого раза я все равно бы надолго замолк, и без Вашей просьбы. Ко многому из того, что я постараюсь тут сказать Вам, я был готов наперед. Но я не мог предвидеть, что растяну и частью разорву себе плечевые связки на левой руке, что необходимость полной и продолжительной неподвижности, выведя меня из привычного строя, даст мне случай прочесть «Клима Самгина» почти без перерыва и что писать я об этом буду, преодолевая отчаянную физическую боль.

Прежде всего горячее и восхищенное спасибо Вам за всю громадную 5-ю главу¹, этот силовой и тематический центр всей повести. Чем она замечательна помимо своей прямой, абсолютной художественности? Характеристика империи дана в ней почти на зависть новому Леонтьеву², т<о> е<сть> в таком эстетическом завершении, с такой чудовищной яркостью, захватывающе размещенной в отдалении времен и мест, что образ непреодолимо кажется величественным, а с тем и прекрасным. Но чем более у него этой неизбежной видимости, тем скорее он тут же, на твоих глазах, каждой строчкой своей превращается в зрелище жути, мотивированного трагизма и заслуженной обреченности. Именно неуловимостью атмосферных превращений этого удушья, с виду недвижимого (почти монументального), и потрясает эта глава и остается в памяти. И я не о Ходынке только. Исход романа Клима с Лидией, как одновременность, тоже треплется, сыреет и сохнет на том же воплощенном воздухе. Этим и гениальна глава, то есть тем, что существо истории, заключающееся в химическом перерождении каждого ее мига, схвачено тут, как нигде, и передано с насильственностью внушения.

Странно сознавать, что эпоха, которую Вы берете, нуждается в раскопке, как какая-то Атлантида. Странно это не только оттого, что у большинства из нас она

¹ 5-ю главу 1-й части романа «Жизнь Клима Самгина».

² Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891)—писатель и публицист.

еще на памяти, но в особенности оттого, что в свое время она прямо с натуры изображалась именно Вами и писателями близкой Вам школы как бытовая современность. Но как раз тем и девственнее и неисследованнее она в своем новом, теперешнем состоянии, в качестве забытого и утраченного основания нынешнего мира, или, другими словами, как дореволюционный пролог под пореволюционным пером. В этом смысле эпоха еще никем не затрагивалась. По какому-то странному чутью я не столько искал *прочитать* «Самгина», сколько *увидать* его и в него взглядеться. Потому что я знал, что пустующее зияние еще не заселенного исторического фона с первого раза может быть только заброшено движущейся краской, или, по крайней мере, так его занятие (оккупация) воспринимается современниками. Пока его необитаемое пространство не запружено толпящимися подробностями, ни о какой линейной фабуле не может быть речи, потому что этой нити пока еще не на что лечь. Только такая запись со многих концов разом и побеждает навязчивую точку эпохи как единого и обширного воспоминания, еще блуждающего и стучащегося в головы ко всем, еще ни разу не примкнутого к вымыслу. Благодаря тому, что современный читатель хотя бы в этой памятной причастности притянут к душевному поводу произведения, он его оценивает в некотором искажении. Он недооценивает его сюжетности и порядка. М<ожет> б<ыть>, он переоценивает его историчность, т<о> е<сть> какую-то предварительность, в чей-то или какой-то прок и не догадывается, что в этом ощущении сам он, читатель, чувствует впрок *потомству*. Он забывает, что следующее же поколение воспримет Самгиных и Варавку, т<о> е<сть> оба этажа первой главы и неназванный город кругом дома как замкнутую самоцель, как пространственный корень повествования, а не как первую застройку запущенной исторической дали, не как явочно-случайную запись белого анамне<с>тического полотна. Однако абберация современников так естественна, что, не гнушаясь ею, позволительно судить даже под ее углом. Даже в том случае, если допустить, что работа сделана во облегчение чьего-то нового приступа (пускай и Вашего, во второй, м<ожет> б<ыть>, части), Ваш подвиг не умаляется в своей *творческой колоссальности*, т<о> е<сть> в каком-то элементе, который я бы назвал *поэтической подоплекой* прозы. Какова же радость, когда за пятой главой вдруг открывается, что она-то и является этим отнесенным в даль гаданий новым приступом, когда видишь,

что он уже сделан.—Мне сейчас очень трудно писать, да, вероятно, не легко и думать, п<отому> ч<то> по ночам я не сплю. «Самгин» мне нравится больше «Артамоновых», я мог бы ограничиться одним этим признанием. Однако, вдумываясь (просто для себя) в причины художественного превосходства повести, я нахожу, что ее достоинства прямо связаны с тем, что читать ее труднее, чем «Д<ело> А<ртамоновых>», что, обсуждая вещь, с интересом и надеждой тянешься к оговоркам и противоположениям, короче говоря, высота и весомость вещи в том, что ее судьба и строй подчинены более широким и основным законам духа, нежели беллетристика бесспорная.

Отнюдь не в пояснение сказанного, но просто по невольности, с какой это мне припомнилось, расскажу другой случай. По тому, как тут носились с «Митиной любовью»¹, по сознанию того, что может написать Бунин, и по многому другому, я начал читать книгу с понятным волнением, наперед расположенный в ее пользу. Красота изложения, наполовину бесследно прошедшая мимо меня, оставила во мне отзвук *пустоты* и психологической загадки. И это после всего! После всего, перенесенного хотя бы автором, нет—именно им! Не поймите меня превратно. Не сюжет наперед я навязывал ему или разочаровывался выбором темы. Нет, нет. Героя и его чувство разом я принял с благодарностью как данность, в смутно нетерпеливом предвидении того, чем будет автор в дальнейшем мерить жизнь и как трактовать ее фатальность. Я простил бы ему сколь угодно чуждый комментарий, объяснимый биографически, я ждал, что разверзнутся небеса и устами писателя заговорит онтология средневековья; я ждал, что на меня пахнет *хоть чем-нибудь* из того, чего недавно нельзя было позволить себе здесь и что огульно, на круг, называют мистикой или идеализмом. Я не требовал от него историзма в смысле глубокой и далеко идущей летописности, но то, что он, историк, «обыкновенные истории» продолжает рассказывать так же, как во времена, когда об их прямом родстве не догадывались, это было неожиданностью полной, решающей и разочаровывающей вчистую.

Не могу больше писать и сейчас брошу. Я не знаю, близки ли будут Вам мои слова о «Самгине», и скорее думаю, что весь круг моих рассуждений Вам чужд и ничего Вам не скажет. Вы как-то ложно воспринимаете

¹ Бунин И. Митина любовь. Л., «Книжные новинки», 1926.

меня, но, как я уже сказал, я знаю, что это выправится в свое время. Но у меня к Вам есть просьба. Не отказывайтесь от обещания и пришлите мне «Клима Самгина». Пожелайте мне чего-ниб<удь> хорошего в надписи, пусть это будет даже нравоучение. Это было бы огромной радостью для меня. И горячее спасибо за прочитанное.

Ваш Б. П.

Прочитав, вижу, что изложил ничтожную долю того, что хотел сказать. И вообще не умею писать письма.

Горький сразу же набросал текст дарственной надписи у себя в блокноте (30 ноября 1927 г.) Но книги из Госиздата пришли только через месяц, и Горький написал книгу, сильно изменив тон сказанного. Ушла неуверенность интонации, появилась четкость формулировок:

«Борису Леонидовичу Пастернаку

Пожелать Вам «хорошего»? Простоты,— вот чего от души желаю я Вам, простоты воображения и языка. Вы очень талантливый человек, но Вы мешаете людям понять Вас, мешаете, потому что «мудрствуете» очень. А Вы—музыкант, и музыка,—при ее глубине,—мудрости враждебна. Вот мое понимание. Книгу только сегодня получил из Москвы.

А. Пешков

27.XII.27»

Книга с надписью сохранилась в семейном собрании Пастернака.

Из надписи и последовавших за ней писем видно, что у Горького и Пастернака было разное понимание того, что зовется простотой в искусстве. Пастернак считал, что непредвзятое прямое высказывание всегда проще, чем общепринятая условность, считающаяся понятной в силу привычности выражения, и стремился всегда именно к этой простоте.

<Москва> 21. XII. 27

Дорогой Алексей Максимович!

Простите, что, не находя другого выхода, воспользуюсь В<ашим> адресом для пересылки письма Асееву. Он до сих пор не сообщил мне своего, а между тем у меня залеживается его телеграмма, на которую надо ответить. В письме к нему я попрошу его сообщить свой адрес и возможностью Вашей передачи больше злоупотреблять не буду¹.

Я знаю, что написал Вам глупости о второй части «Самгина». Когда Вы были больны, я еще не слышал, что она уже написана. Случиться это могло оттого, что я живу дикарем и никуда не хожу. Но Вам наверное смешно было читать эти на год запоздавшие пожеланья. О существовании второй части узнал сравнительно недавно, т. е. недели две тому назад. Когда мне стало известно, что второю долей она пойдет в Красной Нови, это сразу определило мое отношение к новой редакции².

Вообще говоря, у меня лично не было причин относиться к ней враждебно. Кое-кто из ее состава даже заслуживает симпатии. Воронский³ никогда особенно не жаловал меня, и при всем искреннем моем к нему уважении я не люблю людей, полагающих, что они сами не достаточно типичны, и находящихся в искусственном усилении типа некоторую защиту от жизни или облегчение ее трудностей. У Вас в «Самгине» эта черта или очень близкая восхитительно воплощена в писателе-народнике, которого Вы сравниваете с кормилицей. Воронский падок на этот жанр, и вообще, валяние дурака распространено у литераторов и считается признаком сырой и широкой монументальности. Между тем, этот Малый театр доступен всякому, не вовсе уже обиженному Богом, и данные для него всегда приходят с третьей рюмкой.

Однако, несмотря на все это и совершенную мало-значительность тех форм, в которые вылилось осуж-

¹ Письмо Пастернака Н. Н. Асееву от 21 декабря 1927 г. содержит объяснение причины денежной задержки (ЦГАЛИ, ф. 1334.1.375).

² В «Красной нови» (1928, № 5-6) печатались заключительные главы второй части «Жизни Клима Самгина».

³ Воронский А. К. (1884—1943)—главный редактор журнала «Красная новь».

денье расправы с Ал<ександром> Конст<антинов-
внчем>¹, было что-то примитивно благородное в несго-
воренной общности, с какой это производилось.

Долгое время я от участия в новой Кр<асной>
Нови воздерживался. Можно радоваться, что это чу-
ранье кончилось². Пользуясь Вашим сравнением, ска-
жу, что оно начало вырождаться в очень глупый и
длительный Воспитательный дом.

От души желаю Вам и всем Вашим веселых праз-
дников и хорошей встречи Нов<ого> года.

Преданный Вам

Б. Пастернак.

ГОРЬКИЙ—ПАСТЕРНАКУ

<Сорренто, 28 декабря 1927 г.>

Асеев давно уехал отсюда³, а так как московского
адреса его я не знаю, то Ваше письмо к нему пересы-
лаю Вам, Борис Леонидович.

Вчера послал Вам «Жизнь Самгина»⁴, раньше не
мог, не было книги. Вместе с этим письмом посылаю
XIX т.⁵

Асеев оставил мне Ваши «Две книги»⁶, прочитал их.
Много изумляющего, но часто затрудняешься понять
связи Ваших образов и утомляет Ваша борьба с языком,
со словом. Но, разумеется, Вы — талант исключительно
своеобразия.

Очень понравился мне Асеев, хороший человек, и
много он может сделать хорошего, кажется мне.

Будьте здоровы.

А. Пешков.

28.XII.27

¹ В апреле 1927 г. журнал был подвергнут критике в Отделе печати ЦК ВКП(б), вскоре была создана новая редколлегия в составе А. К. Воронского, Ф. Ф. Раскольникова, В. М. Фриче и В. Н. Василевского. Воронскому пришлось уйти из журнала.

² В «Красной нови» печаталось продолжение «Спекторского» (1928, № 1, 7; 1929, № 12), затем ежегодные публикации новых стихов Пастернака (1929, № 5; 1930, № 12; 1931, № 1).

³ Асеев гостил у Горького в Сорренто в ноябре 1927 г. (см. воспоминания Н. Асеева «В гостях у Горького». — В кн.: «Горький. Сборник статей и воспоминаний о М. Горьком», под ред. И. Груздева. М.—Л., Госиздат, 1928).

⁴ «Жизнь Климса Самгина», ч. 1. М., Госиздат, 1927.

⁵ Горький А. М. Собр. соч., т. XIX. Воспоминания. Рассказы. Заметки. Берлин, Книга, 1927.

⁶ Пастернак Б. Две книги. Стихи. М.—Л., Госиздат, 1927.

<Москва> 4.I.1928

Дорогой Алексей Максимович!

Горячо Вас благодарю за подарок. Нелепая прихоть иметь от Вас надпись в виде пожелания явилась у меня в самом разгаре очень докучливой и мучительной болезни, когда наша физиология становится суеверной и даже пожеланию выздоровления радуешься как близкому его наступлению. Вероятно, эта потребность передалась Вам, потому что, взяв тему шире, Вы все же в надписи пошли по ее направлению, пожелав мне выздоровления и в моей работе, которая Вам кажется без надобности сложной и надломленной. У Вас обо мне ложное представление. Я всегда стремился к простоте и никогда к ней стремиться не перестану.—Я со смешанным чувством читаю Вашу, несмотря ни на что, все же дорогую надпись. Мне грустно, что привет в ней омрачен какой-то долей осуждения и что мое чутье отказывается решить, насколько симпатия в ней уравновешена антипатией. Что-то в моих словах очевидно до Вас не доходит, и уже от того одного остальное обречено на постоянные превратности. Еще раз спасибо.

Ваш *Б. Пастернак*.

ПАСТЕРНАК—ГОРЬКОМУ

<Москва> 7.I.28

Дорогой Алексей Максимович!

Ваше сопроводительное письмо при моем на имя Асеева было для меня неожиданностью. Надпись на «Жизни Самгина» с советом не мудрствовать я понял, как прощальную. Оттого и в ответе моем Вы могли прочесть тихо сглоченную печаль и—примиренье. Но одно тягостное чувство, временами являвшееся у меня в эти месяцы и Вашей надписью, как мне казалось, подкрепленное, рождается у меня и сейчас, за Вашими словами о «Двух книгах»¹.

¹ Пастернак, зная отношение Горького к стихам, вошедшим в сб. «Две книги», сознательно не посылал его, несмотря на просьбы Горького и намеки в его письмах. Асеев подарил эту книгу Горькому, и тот отзывается о ней в письме от 28 декабря 1927 г.

У меня все время впечатленье какой-то дрящейся бестактности по отношению к Вам, которой я, того не ведая, являюсь назойливо повторяющимся предлогом. Зачем меня показывают и навязывают Вам, зачем надоедают мною? Догадываетесь ли Вы, что это не только не вызвано лично мною, но просто противно моим привычкам и всей моей природе? Особенно неуместно, что этим угощают именно Вас.

Я знаю, что Вы в моей бережности не нуждаетесь. У меня, разумеется, есть свои непоколебимые представления о Вашей силе, охвате и историческом значении, о глубине и почти что вездесущности Вашей души. Но бережность в отношении Вашего времени и вниманья, тем не менее, никогда меня не покидала. Я только раз от нее отступил. Я *должен* был послать Вам «1905-й год», потому что, в идее, я писал его, как-то все время с Вами считаясь¹. По той же причине я должен был интересоваться Вашим отзывом о нем, о Годе. Но не обо мне. Занимать Вас собою, «талантом» и пр.² никогда, никогда я не хотел, и не осмелился бы, если бы даже мне свойственны были такие поползновенья. Ведь сам-то я не посылал Вам «Двух книг» и никогда бы их не послал, потому что для обсуждения большим человеком они чересчур, и до неприличья,—личные. Вот почему Ваши замечанья обо мне по многому, по разному глубоко меня конфузят. Притом я догадываюсь, что чужд Вам, что крупной, покровительственной простоты у Вас ко мне быть не может, и Ваше признание, на котором есть налет сторонней неделикатной навязанности, ставит меня перед Вами почти что в несчастное положение. Ваш одобрителный отзыв о «Детстве Люверс»³ и слова Ваши о Годе меня осчастливили. Этого, на тему о «способностях», было с меня за глаза довольно. В дальнейшем, т. е. в том, что исподволь, в Вашей близи, напоминанье обо мне продолжало работать в виде ненасытного до неприличья насоса, я не повинен, и легко себе представить, как это удручает меня.

Однако из уваженья, с которым я отношусь к

¹ Книга была послана 20 сентября 1927 г.

² Кавычки объясняются тем, что слово взято из письма Горького от 28 декабря 1927 г.: «Но, разумеется, Вы—талант исключительного своеобразия».

³ Горький прочел «Детство Люверс» летом 1921 г. и очень полюбил. В предисловии для готовившегося американского издания Горький отмечал высокое мастерство, с которым написана повесть (3, с. 308—310).

любому Вашему слову, я Вашего совета¹ не могу оставить без поясняющего возраженья. Осматриваюсь и вспоминаю. Мудрил ли я больше, чем мгновеньями, в молодости, случается всякому? Нет, Алексей Максимович, как ни обманчива видимость, греха этого я за собой не сознаю. Напротив того, когда ни вспомню себя в прошлом и недавно минувшем в состоянии увлеченья и собранности, везде и всегда это посвящено взрыву против *мудрствованья в мудреном*, всегда отдано прямому и поспешному овладенью мудреным, как простым.

Зато до ненавистности мудрена сама моя участь. Вы знаете моего отца, и распространяться мне не придется. Мне, с моим местом рожденья, с обстановкою детства, с моей любовью, задатками и влеченьями, не следовало рождаться евреем. Реально от такой перемены ничего бы для меня не изменилось. От этого меня бы не прибыло, как не было бы мне и убыли. Но тогда какую бы я дал себе волю! Ведь не только в увлекательной, срывающей с места жизни языка я сам, с роковой преднамеренностью вечно урезаю свою роль и долю. Ведь я ограничиваю себя во всем. Разве почти до неподвижности доведенная сдержанность моя среди общества, живущего в революцию, не внушена тем же фактом? Ведь писали же Вы в свое время об идиотствах, допускавшихся при изъятьях церковных ценностей, и глубоко были правы. А ведь этими изъятьями кишит наша действительность на каждом шагу, и не бывает случая, когда бы моя свобода в теперешнем окруженьи не казалась мне (*мне самому*, а не «кн<ягине> Марье Алексеевне») неудобной, потому что все пристрастья и предубежденья русского свойственны и мне. Веянья антисемитизма меня миновали, и я их никогда не знал. Я только жалуясь на вынужденные пути, которые постоянно накладываю на себя я сам, по «доброй», но зато и проклятой же воле! О кривотолках же, воображаемых и предвидимых, дело которым так облегчено моим происхожденьем, говорить не стоит. Им подвержен всякий, кто хоть чего-нибудь в жизни добивался и достиг. Ведь и вокруг Пушкина *даже* ходили с вечно раскрытою грамматикой и с закрытым слухом и сердцем. А что прибавишь к *такому* примеру? — Нет, внешняя судьба моя незаслуженно, преувеличенно легка. Но во внутреннем самоограниченьи, в причинах которого я Вам признался,

¹ Имеется в виду пожелание простоты, сделанное в надписи на «Жизни Клим Самгина».

м<ожет> б<ыть> и есть много такого, что можно назвать мудрствованьем.— Дорогой Алексей Максимович, простите, что вошел в такие интимности. С долей той или иной фатальности вероятно живет каждый.—

Вы не ошиблись в Асееве. Это человек большой сердечности и очень хороший. Когда-то мы с ним были очень близки, и только в последние годы наши пути разошлись. Особенно осложнилась наша дружба благодаря пресловутому «Лефу», который мне кажется недостойной Ник<олая> Ник<олаеви>ча и Маяковского ерундой. Но м<ожет> б<ыть> журнал и люди, им объединенные—выше моего пониманья. Я с этим течением давно порвал, и разумеется, они на меня обижены¹.—

Я Вам наверное давно надоел своими благодарностями, но всегда есть причина Вас благодарить. Большое спасибо Вам за высылку XIX-го тома, он вероятно на днях придет². Алексей Максимович, если дело с переводом «Детства Люв<ерс>» осуществилось, и мне будут причитаться какие-нибудь деньги, то, пожалуйста, пусть не переводят их сюда: у меня есть один старый долг за границей³.

Простите, что пишу мелко.

Преданный Вам

Б. Пастернак.

ПАСТЕРНАК—ГОРЬКОМУ

Москва <Начало апреля> 1928 г.

Дорогой Алексей Максимович!

Так как уже и конверт, покрытый Вашей рукой, приводит в понятное волнение, то письма Ваши читаешь всегда почти превратно, т<о> е<сть> с готовой уже и преувеличенной чувствительностью. Перечтя последнее Ваше письмо (где об обеих Цветаевых и т. д.)⁴, я поздно увидал, что в нем совсем нет тех нот, которые до пугающей явственности почудились мне в нем при

¹ Летом 1927 г. Пастернак послал письмо в редакцию «Лефа» с заявлением о выходе.

² 28 декабря 1927 г. Горький выслал т. XIX Собрания сочинений («Воспоминания. Рассказы. Заметки».— Берлин, Книга, 1927).

³ Имеется в виду долг родителям, возможно, посылка денег М. Цветаевой.

⁴ Письмо от 19 октября 1927 г.

первом чтении, и понял, что я ответил Вам глупо, с тою именно истерикой, которую Вы так не любите. Я не раскаиваюсь ни в одном из движений, сложивших мое нелепое письмо,—взять под защиту от Вашего гнева всякого, кого бы он косвенно, через меня, ни коснулся, было и остается моим трудным долгом перед Вами,—но в том-то и нелепость, что, м<ожет> б<ыть>, Вы этих движений вызывать не думали, и я неправильно понял Вас¹.

Последнее время часто в газетах читаешь адреса и приветствия Вам, и во всех них разноречивые даты². Наверное, Вы считаете все это докучливой пошлостью и на всех поздравителей сердиты. Однако, может быть, за далью, от Вашего взгляда ускользнуло, как разительно в Вашем случае все эти юбилейные тексты отличаются от извечно знакомого нам академического трафарета. Я не видал ни одного, где не жила бы, и отдельными местами не находила себя, выраженная, особая, в каждом данном случае, прямая, неповторяющаяся задетость. Так же точно, к примеру, взволновала меня вся первая, историческая часть правительственного манифеста³. И тут горячность правды либо рвет риторический наигрыш, либо вдруг в фальшивом ложе периода находит себе свободное, некрасноречивое место.

И так как рокошующая пошлость этой условности в Вашем случае опрокинута даже фраками и крахмальными грудями, то в ту же дверь ломлюсь и я. И вот—без красноречивых фигур. Я за несколько тысяч верст от Вас. Я могу подумать и передумать. Я могу написать слово и зачеркнуть. Так именно мне и хочется поздравить Вас, медленно, медленно, в неестественном раздумье, с неторопливым отбором предвидений и пожеланий. Все они стекаются в одно. Оно уже давно готово. Как только его назвать?—Ну, так вот. Я желаю Вам, чтобы чудо, случившееся с нашей родиной, успело в возможнейшей скорости обернуться своей особой давно заслуженной чудесной гранью лично к Вам. Чтобы огромная, черная работа, взваленная в России на писателя, когда он крупен своим сердцем и своим истинным патриотизмом, была, видимо, для Вас, сдела-

¹ Пастернак говорит о своем письме Горькому от 27 октября 1927 г., в котором он «взял под защиту» А. И. и М. И. Цветаевых.

² 29 марта 1928 г. отмечалось 60-летие со дня рождения Горького (день рождения Горького—28 марта 1868 г.).

³ Имеется в виду постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР от 29 марта 1928 г.—Правда, № 76, от 30 марта.

на современным русским мыслителем, историком, публицистом. Чтобы дикая миссия работы за всех была снята с Вас и Вы могли бы дать волю Вашему безошибочному воображению, избавленные от надобности исправлять чужие ошибки. Вот, в намеке, глубочайшее мое пожелание Вам. Но и в ряду близких, желающих Вам радости, здоровья, счастья и долголетия, позвольте мне быть не последним.

Преданный Вам Б. П.

Выйдя летом 1927 г. со скандалом из «Лефа», сотрудником которого он числился, Пастернак не принимал участия в обострившейся к концу 20-х годов литературной полемике различных течений. Широкое празднование 60-летия Горького и его приезд в Москву вселяли надежды на разрешение трудностей. Два приветственных письма, апрельское к юбилею и майское к приезду, были естественным продолжением переписки Пастернака. На расширенном заседании редакции «Красной нови» 9 июня 1928 г. Пастернак выступил с пожеланиями и просьбой, чтобы Горький как уникальная фигура в общественной жизни взял в свои руки и объединил писательские группировки. При этом произошла неловкость. Уставший от долгого заседания Горький сразу после выступления Пастернака ушел, что, по свойственной ему чувствительности, Пастернак принял на свой счет. С объяснения этого эпизода он начал свое письмо.

ПАСТЕРНАК—ГОРЬКОМУ

<Москва> 31.V.30

Дорогой Алексей Максимович!

У меня к Вам огромная просьба. О ней—ниже, вперед несколько слов о другом.

Я видел Вас три раза в Ваш первый приезд летом 28 г., и на третий, чтобы не показаться бессловесной куклой, попросил слова в Вашем присутствии на собрании в Кр<асной> нови. Когда я кончил, Вы поднялись и, не глядя в мою сторону, покинули собрание. Безмолвная укоризна, которую нельзя было не прочесть в этом движении, осталась для меня загадкой. Я уловил упрек, но не понял его. Однако я понял, что какие-то мне неведомые обстоятельства так

низко уронили меня в Ваших глазах, что, при невозможности все это выяснить, мне придется с этой тяжкой неизвестностью примириться. С того вечера я ничем не беспокоил Вас. Я и сейчас не осмелился бы нарушить этот порядок, если бы не весенняя моя встреча с П. П. Крючковым¹.

Он может рассказать вам, какую неоценимую поддержку он неожиданно оказал мне в трудную для меня минуту. До посещения его на Кузнецком я с ним не был знаком. На столе лежала редакционная почта. Я узнал Вашу руку, и естественно зашел разговор о Вас. П. П. слушал, кивая и улыбаясь.

Так не мог бы вести себя Ваш секретарь, если бы таинственная преграда, затруднявшая мой доступ к Вам, существовала реально. Он должен был бы знать о ней. Я сказал ему, что какие-то люди или превратно поданные факты погубили меня в Вашем мнении. Он возразил, что меня ложно информировали, что ничего такого нет. Это было страшной радостью для меня и большим освобождением.

Потому что в глубине души я знаю, как Вы ко мне относитесь, когда меня не навязывают Вам, без всяких натяжек в ту или другую сторону. И я люблю Ваш трезво-дружелюбный суд тем более, что он мне кровно близок и давно знаком. Так ко мне относятся самые дорогие люди: мой отец и старшая сестра.

Итак, П. П. с редким участием расспрашивал меня о моем житье-бытье, планах и нуждах. Я предположил, и вероятно не ошибся, что то была новая волна Вашей удивительной заботы обо всем мало-мальски проявившем себя в России, коснувшаяся также и меня, и потому не отвергайте, пожалуйста, моей глубочайшей благодарности Вам, за себя и за всех.

Между прочим, перебирая всякие соблазны, П. П. назвал то самое, что является существом моей нынешней просьбы. И как жалко, что я тогда же не оформил своего желанья окончательно. Он согласился бы может быть помочь мне до отъезда, что крайне упростило бы все и ускорило, а также избавило бы Вас от чтенья длинных писем.

Все последние годы я мечтал о поездке на год — на

¹ Крючков П. П. (1889—1938) — издательский работник, секретарь Горького и посредник между ним и литературными, общественными и издательскими организациями, осуществлявшими начинания Горького.

полтора за границу, с женой и сыном. В крайности, если это притязанье слишком велико, я отказался бы от этого счастья в их пользу. Поездки же без них я и не обсуждал, за ее совершенной непредставимостью. Я хотел бы повидать родителей, с которыми не видался около 8-ми лет. Зимой 22 года я побывал в Германии, с тех пор ни разу не выезжал.

Помимо свиданья со своими, мне хочется и нужно побывать во Франции¹ и в Англии², может быть. И я боюсь встречи с друзьями, как боялся бы поездки к Вам, потому что тепла и веры, излившихся на меня за эти годы, ничем, ничем не возместить. Чем больше я это сознаю, тем несчастнее делает меня сознание моей глубокой и позорной задолженности. В том, что я бессилён отдариться, виноват, разумеется, я сам. Но и не я один.

Оттого-то, из весны в весну, я так долго и откладывал исполнение этой мечты. У меня начато две работы, стихотворная и прозаическая³, мыслимые лишь при широком и крупном завершении, и конфузно-смешные без него или с окончаньем невыношенным и скомканным. Мне туго работалось последнее время, в особенности в эту зиму, когда город попал в положение такой дикой и ничем не оправдываемой привилегии против того, что делалось в деревне, и горожане приглашались ездить к потерпевшим и поздравлять их с их потрясениями и бедствиями. До этой зимы у меня было положено, что, как бы ни тянуло меня на запад, я никуда не двинусь, пока начатого не кончу. Я соблазнял себя этим, как обещанной наградой, и только тем и держался.

Но теперь я чувствую,—обольщаться нечем. Ничего этого не будет, я переоценил свою выдержку, а м<ожет> б<ыть> и свои силы. Ничего стоящего я не сделаю, никакие отсрочки не помогут. Что-то оборвалось внутри, и не знаю,—когда; но почувствовал я это недавно. Я решил не откладывать. Может быть поездка поправит меня, если это еще не полный душевный конец.

Я произвел кое-какие попытки и на первых же шагах убедился, что без Вашего заступничества разре-

¹ Во Франции жила М. Цветаева, свидание с которой откладывалось с года на год с 1925 г.

² В Англию Пастернака приглашала Р. Н. Ломоносова, писательница, жена известного инженера Ю. В. Ломоносова.

³ «Спекторский» и роман, отделанное начало которого опубликовано под названием «Повесть».

шенья на выезд мне не получить. Помогите мне, пожалуйста,— вот моя просьба. Ответьте, прошу Вас, либо сами, если урвете время (я знаю,— это бессмыслица: его не может у Вас быть, если его даже не хватает мне и товарищам в моем положении), либо попросите П. П. ответить мне по адр. «Ирпень, Киевс. округа, Пушкинская ул., 13, мне»¹.

Надо ли говорить, в каких чувствах я пишу Вам, и как равно готов принять любой Ваш ответ, потому что с радостью признаю над собой Ваше право даже и осудить меня за желанье и быть о нем особого мнения. Но если бы Вы нашли нужным замолвить обо мне, Ваше слово всесильно,—я знаю. Будьте же моей судьбой в ту или другую сторону. В обоих случаях равное спасибо.

Ваш Б. Пастернак.

Сердечный привет П. П.

Чтобы понять значение этого письма для Пастернака, надо знать, что последний год был труден для него во всех отношениях: болезни, бытовые условия, обострение критики попутчиков и правой опасности в литературе; весной 1930 г. самоубийство Маяковского.

В январе 1929 г. Пастернак начал большую работу: «Названа она вчерне «Революция», будет листа на 3, на 4, а может быть, и больше, и явится звеном «Спекторского», т. е. в ней я предполагаю фабуляторно разделить со всем военно+военно-гражданским узлом, который в стихах было бы распутывать затруднительно».

Начата и отложена была работа над «Охранной грамотой», автобиографической прозой, роман в стихах «Спекторский» тоже требовал окончательного завершения. Год за годом Пастернак откладывал поездку к родителям, которые были отправлены на лечение в Германию в 1921 г. Отцу было уже под семьдесят лет, они не виделись с 1923 г.

Горькому не удалось помочь Пастернаку. В своем ответе он излагает причины отказа.

¹ Пастернак отправил жену и сына на лето под Киев и 14 июня 1930 г. поехал к ним сам.

<Сорренто, июнь 1930>

Крайне удивлен Вашим письмом, дорогой Борис Леонидович! Решительно, искренно говорю Вам—у меня нет ни тени неприязни к Вам, нет ничего, что—на мой взгляд—могло бы задеть Вас, внушить Вам странную мысль о моей неприязни. Я мало знаю Вас как человека,—высоко ценю Ваш талант, очень жалею, что никогда не удалось мне поговорить с Вами.

Инцидента в редакции «Кр<асной> нови» я не помню, но косою взгляд мой не мог относиться к Вам. Я терпеть не могу безделья «деловых» собраний и заседаний и всегда раздражаюсь, присутствуя на них.

Второй раз пишете Вы мне такое письмо, и это чрезвычайно смущает меня.

Просьбу Вашу я не исполню и очень советую Вам не ходатайствовать о выезде за границу,—подождите! Дело в том, что недавно выехал сюда Анатолий Каменский¹, и сейчас он пишет гнуснейшие статейки в «Руле»², читает пошлейшие «доклады». Я уверен, что это его поведение—в связи с таким же поведением Вл. Азова—на некоторое время затруднит отпуски литераторов за рубеж. Всегда было так, что за поступки негодяев рассчитывались приличные люди, вот и для Вас наступила эта очередь.

Желаю всего доброго!

А. Пешков.

Летом следующего года Пастернак, вернувшись из поездки на строительство тракторного завода в Челябинске, виделся с Горьким, который к тому времени прочел в рукописи «Охранную грамоту». Пастернак писал об этом жене: «Сегодня утром видел Горького. Не просился, вышло случайно. Принял почти с нежностью,—веселый, свежий, крепкий, любодорого глядеть. Про «Охранную грамоту»—густо, яростно—замечательно» (14 июня 1931 г.; фотокопии в семейном архиве). Шел разговор о переводе «Охранной грамоты» и издании ее за границей. О подробностях этого разговора известно из писем к П. П. Крючкову, с которым велась переписка в связи с этим изданием.

¹ Каменский А. П. (1876—1941)—прозаик реалистической школы.

² «Руль»—эмигрантская газета, издававшаяся в Берлине.

Второй раз Пастернак решился обратиться к Горькому за помощью в 1933 г., когда из сборника прозы в ГИХЛ была исключена «Охранная грамота» и остановлено Собрание его сочинений, готовившееся в «Издательстве писателей в Ленинграде». Эти неудачи срывали его работу над романом, о котором три года назад он писал Горькому.

ПАСТЕРНАК—ГОРЬКОМУ

<Москва> 4. III. 33

Дорогой Алексей Максимович.

Ну как решиться мне беспокоить Вас? А между тем может быть у Вас явится охота и возможность помочь мне. И, говоря правду, одни Вы в силах это сделать. Вот в чем дело.

Сейчас культпроп ЦК в общем порядке (т. е. не в отношении меня одного) предложил Ленинградскому издательству писателей отказаться от моего собрания. Кроме того, случилась у меня другая неприятность. С 29-го года собирал ГИХЛ (он еще ЗиФом тогда был) мою прозу, и на днях должен был выпустить. Внушили издательству, чтобы предложило само оно мне отказаться от «Охранной грамоты», входящей в сборник, под тем предлогом, что «Охр<анная> гр<амота>» неодобрительно была принята писательской средой, и будет не по-товарищески с моей стороны пренебрегать этим неодобрением¹. Но тут ничего, очевидно, не поделаться: руководство ГИХЛа само истощило все возможности в склонении влиятельных виновников запрещения в мою пользу, и ничего не добилось, а я и подавно. Да и поздно что-ниб<удь> предпринимать. 9 листов вместо 14-ти уже отпечатаны и их брошюруют². Больно мне это главным образом тем, что «Охр<анная> гр<амота>» показывала бы лицо автора. Из нее всякому было бы видно, что он не обожествляет внешней формы, как таковой, потому что все время говорит о внутренней, что он не оскардуальствует, что

¹ Критическая кампания вокруг выхода «Охранной грамоты» носила вульгарно-социологический, «проработочный» характер: Тарасенков А. К. Охранная грамота идеализма (Литературная газета, 1931, 18 декабря); Миллер-Будницкая Р. О философии искусства Б. Пастернака и Р.-М. Рильке (Звезда, 1932, № 5).

² Пастернак Б. Воздушные пути, ГИХЛ, 1933. Сборник включал «Апеллесову черту», «Детство Люверс», «Воздушные пути» и «Повесть».

считает он горем, а не достойным подражания «фрагментаризмом» незаконченную отрывочность всего остального, за вычетом одной «Охр<анной> гр<амоты>», матерьяла сборника. А теперь ко всем этим вредным недоразумениям будет достаточный повод.

Мне не на что жаловаться, Алексей Максимович,— в ничемности и несостоятельности всего мною сделанного я убежден горячее и глубже, чем это звучит в холодных и довольно еще снисходительных намеках критики или предполагается в сферах, куда мне нет доступа отчасти и потому, что меня туда не тянет.

Еще менее могу я жаловаться на недостаток чьей-нибудь симпатии: доброй воли поддержать меня кругом так незаслуженно много, что, не будучи ни большим писателем, ни драматургом, я при помощи одного расположения издательств довольно сносно держусь в нынешней необходимости моей зарабатывать на два дома, при 7-ми иждивенцах¹, среди невозможных современных трудностей. На это ведь требуются тысячи сейчас, и со стыдом должен признаться, что я их получаю на веру². Ерунду я эту вываливаю Вам, чтобы поскорее перейти к делу, и Вы меня простите.

Я долго не мог работать, Алексей Максимович, потому что работою считаю прозу, и все она у меня не выходила. Как только округлялось начало какое-нибудь задуманной вещи, я в силу матерьяльных обстоятельств (не обязательно плачевных, но всегда, все же,—реальных) его печатал. Вот отчего всё обрывки какие-то у меня, и не на что оглянуться. Я давно, все последние годы мечтал о такой прозе, которая как крышка бы на ящик легла на все неоконченное, и досказала бы все фабулы мои и судьбы³.

И вот совсем недавно, месяц или два, как засел я за эту работу, и мне верится в нее, и очень хочется работать. На ближайший месяц мне и незачем ее оставлять,—пока что, можно. Но мне долго придется писать ее, не в смысле вынашивания или работы над стилем, а в отношении самой фабулы; она очень разбросанная и развивается по мере самого исполненья;

¹ На попечении Пастернака была семья его первой жены, остававшейся с сыном, и новая семья: З. Н. Нейгауз и двое ее сыновей от первого брака.

² Договор с Издательством писателей в Ленинграде, заключенный в августе 1931 г. на собрание сочинений, обуславливал ежемесячные гонорарные выплаты (Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома, 1979. Л., Наука, 1981, с. 199—200).

³ Имеется в виду несохранившийся роман 1930-х годов, являющийся продолжением «Повести».

дополнения все время приходится вносить промеж сказанного, они все время возвращают назад, а не прирастают к концу записанного, замысел уясняется (пока для меня самого) не в одну длину, но как-то идет в распор, поперечными складками.

Короче говоря, по счастью (для вещи) ее нельзя публиковать частями, пока она не будет вся написана, а писать ее придется не меньше года. И еще одно обстоятельство, того хуже: по исполнению ее (а не до того) придется поехать по местам (или участкам жизни, что ли), в нее вовлеченным¹.

Словом, это дело долгое. И большим, уже сказавшимся для меня, счастьем было то, что начал я далекую эту затею в не тронутой еще иллюзии того, что собрание мое будет выпускаться,—оно меня на этот срок или хотя бы на полсрока обеспечивало.

Алексей Максимович, нельзя ли будет сделать для меня исключенья, из тех, что ли, соображений, что разнотомного собрания у меня еще не было, что (формально) первое оно у меня? Говорю—формально, потому что арифметически оно конечно собирается частью из уже ранее выпущенного, частью из переиздаваемого.

Однако ряду товарищей то же обстоятельство не помешало выходить собраниями—я не знаю, кому точно, но напр. Асееву и Жарову—кажется мне, но м<ожет> б<ыть> я ошибаюсь. Да и не в том дело.

Алексей Максимович, я намеренно ограничиваюсь лишь просьбой этой. Я хотел Вас очень видеть истекшею весной и здорово надоедал П. П.², но ничего не вышло.

От души желаю Вам всего лучшего.

Ваш Б. Пастернак.

Москва, 19

Волхонка, 14, кв. 9

Реакция Горького на это известие отразилась в письме Крючкову от 18 марта 1933 г.: «Пастернак жалуется, что Главлит забраковал его «Охранную грамоту»—вещь бесспорно литературную <...> Фу, черт! Когда же у нас литературой будут вестись толковые люди?»³ Из письма Пастернака следует, что Горький ему ответил, вероятно, через Крючкова, просьбой отложить хлопоты до его возвращения.

¹ Действие первой части романа происходило на Урале.

² Имеется в виду переписка с П. П. Крючковым по поводу издания «Охранной грамоты» за границей.

³ Архив Горького, т. XIV. М., 1976, с. 504.

<Москва> 8.IV.33

Дорогой Алексей Максимович.

Горячо благодарю Вас за ответ. Запоздываю благодарностью, потому что был нездоров. Разумеется, терпит мое дело до Вашего приезда, да и тогда никакого спеху с ним не будет. Побеспокоил Вас под впечатлением нескольких неудач, и пожалел об этом, да поздно. Еще и еще раз простите и будьте здоровы. Ото всего сердца желаю Вам всего лучшего.

Ваш *Б. Пастернак.*

**Б.Л.Пастернак
и Н.С.Тихонов**

Пастернак и Тихонов познакомились в начале 1924 года в левовском кружке у Бриков. Тихонов привлек внимание Пастернака своей недавно вышедшей книгой стихов «Брага». Он подарил ее, написав: «Борису Пастернаку, великоллепному мастеру и собрату—человек «Браги» и «Орды» Николай Тихонов». Действенная поэзия войны и мужества вызывала горячие симпатии. За написанным виделась нелегкая биография человека, недавно вернувшегося с фронтов мировой и гражданской войн; энергия и военная романтика были не выдуманньими, кровно пережитыми.

Н. Тихонов работал тогда над тремя поэмами сразу: «Красные на Араксе», «Шахматы» и «Лицом к лицу», и выразил желание познакомиться с поэмой Пастернака «Высокая болезнь». Он вспоминал впоследствии, как «для него и для Пастернака одновременно встал вопрос о выходе за пределы малой формы, которая перестала удовлетворять, и как они искали способов, не прибегая к фабуле, продвигать лирический материал на большие расстояния»¹.

ТИХОНОВ—ПАСТЕРНАКУ

<Ленинград, 15 февраля 1924 г.>

Дорогой Борис Леонидович!

В Петербурге господствует седой провинциализм. Литература или трясет жидкими ребрами на диванах редакций, отарзаненных² и опроценных, или сделалась однодумкой, сидящей у моря и ждущей погоды.

Но море сейчас во льду, а погода—в нетях—каждый день—новое.

¹ Гинзбург Лидия. О старом и новом. Л., 1982, с. 361.

² Роман Э. Берроуза «Тарзан» (перевод с англ. Н. Каменщикова-Македонского.—Московский рабочий, 1922).

Отдельные поэтические кружки похожи на церковные кружки — звяканье медяков, падающих с религиозной отчетливостью на их дно, регистрируется верующими для укрепления неофитов.

Единственное утешение — у каждого желающего есть своя комната, где он может читать, что хочет, и говорить, о чем говорится.

Известия о литературных явлениях мы находим в «Вечерней биржевке», то бишь, в «Красной газете», рядом с бюллетенями обсерватории и курсом червонца¹, или — или где-нибудь в стороне.

А между тем время и пространство вслушиваются друг в друга. Борис Леонидович, — Вы написали поэму². Больше того, Вы читали ее в Москве.

Вы знаете, что каждое новое появление Ваше на страницах журналов встречается с особым вниманием.

Сейчас обретение целой поэмы — уже само по себе событие большой важности.

Но Вы, так редко балующий нас своими посещениями, — и на этот раз не измените своего правила.

Вас нельзя встретить ни в одном питерском журнале, в большинстве московских — тоже.

Значит — остается одно, Борис Леонидович, — я должен оговориться — я не имею понятия о величине поэмы и о том, где она будет напечатана.

Но уже и кратких сообщений о ней довольно для того, чтобы я просил Вас: на каких угодно условиях пришлите ее мне — я обязуюсь вернуть Вам экземпляр в самый кратчайший срок, в целостности и сохранности — но я должен прочесть ее.

Я сейчас по уши закопался в поэме. Я работаю сразу над тремя вещами. Для одной — из-за отсутствия точного материала нить рвется ежеминутно — я еду весной на Восток — венчать его с Россией. Благодарнейший материал³.

Вторая — «Шахматы» — ругаемая и подругиваемая всеми. Она требует продолжения. С ней легче. Время работает за меня. Более компактного хаоса, чем эта поэма, не было и не будет.

¹ «Красная газета» — массовая рабочая газета (Пг., Л., 1918—1939). Содержала разные виды местной информации: городскую и судебную хронику, происшествия, сводку погоды, объявления.

² Речь идет о поэме «Высокая болезнь».

³ Подразумевается поэма «Красные на Араксе» (Ковш, 1925, № 1). Чтобы собрать материал, необходимый для ее завершения, Тихонов летом 1924 г. ездил на Кавказ.

Но третья вещь должна быть самой ясностью. Я перечитываю и рву написанное и снова пишу и снова уничтожаю. Или я или она. Вдвоем нам не будет места и отдыха. Я ее выживу из памяти.

Понимаете, Борис Леонидович, до чего мне хочется видеть Вашу поэму. Я знаю из нее четыре строки—4!!—Я знаю, что моя просьба громоздка—но я буду благодарен за себя и за будущее потомство (без иронии), если получу ее.

В Питере живых людей надо искать днем с прожектором, а поэм не найдешь ни с каким освещением.

Я сижу, как дерево в снегу,—я закопан в поэмы, в английский язык, в изучение Востока, и все сразу, и все вдруг. Я не скучаю, но иногда мне нужно услышать настоящий голос, пересекающий пространство и организующий время.

Я жду Вашего голоса.

Я жду Вашей поэмы¹, Борис Леонидович, как только я кончаю свою,—первый экземпляр я вышлю Вам.

Привет Вашим близким.

Крепко любящий Вас *Ник. Тихонов*

15/II 1924.

Адрес мой: Ленинград—Зверинская, 2, кв. 21. Николай Семенович Тихонов.

ПАСТЕРНАК—ТИХОНОВУ

<Москва>21/IV <19>24

Напрасно, дорогой Николай Семенович, обиделись Вы на меня и даже, как мне передавали,—рассердились. Взаимное сношение поэтов требует большой веры друг во друга, и если я замедлил ответом, ваше воображение должно было подсказать Вам какие угодно другие объяснения моего безмолвия, но никак не те, которые могут рассердить или обидеть. Вот видите, не будь у Вас сердца на меня, я прямо бы начал с извинений, теперь же случай проводит меня прямо к Вам мимо них.

Вы спрашивали о моей поэме. В начале зимы затеял я большую отчетную вещь, трезвую, сухую и немоло-

¹ Имеется в виду поэма «Лицом к лицу».

дую, в представлении моем носились только: тон и размер,—и всего менее я стал бы звать ее поэмой,—да, затеял я, значит, ее писать, и сделал глупость, показав ее кое-кому на неделе же ее первого возникновенья. Теперь этого не поправить, да и целая зима прошла, утвердив мою оплошность, и потребуются слишком длинные нитки, чтобы этот на год отплывший, непродолженный кусок приметать к продолженью, чем далее, тем менее терпимому и предвидимому. В той же форме, которой поспособствовали слабость воли, обстоятельства и прочая вспомогательная дребедень, порция этого многословия вскорости выйдет в «Лефе»¹, и Вы успеете восхититься. Вчера я держал ее корректуру и должен сказать, что по скуке и тупоумию это произведение вполне совершенное. Когда Ахматова про Вас сказала, будто собираетесь Вы порвать навсегда (я не помню выраженья) с писаньем стихов «сюжетных» и «о чем-нибудь», я громко эту ее фразу подхватил и за Вас порадовался, и под налетом этой темы и закончился ночной чай у Асеева, где все мы до этого читали, радовались друг другу, сожалели о брошенных молодых наших путях, кляли отклоненья и собирались встретить утро решительно переменившимися к лучшему (т. е. ставши прежними и новыми в одно и то же время).

Посылайте мне скорее все, что Вами сделано нового. Вышло ли у Вас что-нибудь (отдельным изданием) после «Браги»²? Вы поэт моего мира и пониманья, лучше не скажешь, и нечего прибавлять. В литературное коло-вращенье я не вставился и механически с частями шестерни не сообщаюсь. Вот отчего многого я не вижу и не знаю, с чем автоматически сталкиваются другие. Жалко, что, не читавши регулярно «Красной нови», пропустил несколько Ваших вещей. Их хвалили. Мне нравятся Ваши стихи в «России»³. Теперь вот что сделайте. Напишите точно, в каких именно номерах каких журналов Вы имеетесь, я их достану. У меня был очень тяжелый во всех отношеньях год. Крепко жму Вашу руку.

Ваш Б. Пастернак.

¹ Первая редакция поэмы «Высокая болезнь» напечатана в журн. «Леф» (1924, № 1/5).

² «Брага» (М., Круг, 1922)—вторая книга стихов Тихонова. В 1924 г. отдельной книгой была издана поэма «Сами» (М., ГИЗ, 1924).

³ Стихотворение «Дождь» (Россия, 1924, № 1).

25.4. <1924>, Ленинград

Добрый день, дорогой Борис Леонидович. Никакого не может быть даже разговора о том, что я имею сердце на Вас,—вероятно, Анна Андреевна или гиперболический Виктор¹ мои простые слова—о том, что Вы долго не даете никакой вести о себе,—пересказали с каким-нибудь оттенком, не лишенным образности.

Я Вас очень люблю и поэтому когда-нибудь подыму сердце—с кем же и воевать, как не с теми, кого любишь,—но это уже не в плане какой-либо обиды, а в движении работы и радости. Вы один из тех немногих, с кем можно говорить о нашем труде нашими словами, обходясь без литературных адвокатов и адвокатствующих литераторов.

Поэму Вашу, несмотря на аттестацию, жду с нетерпением². Стих, как иноходец, узнается на ходу.

Что касается моих стихотворений, то следить за ними, читая из месяца в месяц «Красную новь» и другие—не красные «нови»,—дело совершенно пропащее и убыточное.

В журналах я за год печатался не больше 5—6 раз, и то, чем я дорожу до некоторой степени, я покажу Вам лично по приезду в Москву. А приеду я не позже 10 мая, и обязательно³.

Стихи же, печатавшиеся,—печатались по причинам и в условиях, сходных с Вашими, даже не подменяя слабоволие—рассеянностью.

Единственное исключение за прошлый год, т. е. со времени «Браги», составляют «Шахматы». Как их ни ругали все последними словами, я люблю их дикое и темное нагромождение. Почему?—не знаю. Я их люблю так же, как люблю смотреть на отряхивающихся от холодной ванны собак, с мокрой взвихренной шерстью, громадными глазами, опирающихся на лапы так, точно они впервые почувствовали их под собой.

У меня на руках есть цикл стихов о Юге⁴, в них я попробовал повеселиться,—то же и в последней поэме

¹ А. А. Ахматова и В. Б. Шкловский.

² О поэме «Высокая болезнь».

³ Тихонов приехал в Москву в июне 1924 г. и бывал у Пастернака.

⁴ Стихи «Из цикла «Юг» впервые опубликованы в альм. «Литературная мысль», кн. III. Л., Мысль, 1925.

«Лицом к лицу». В ней я подсчитал все зубоскальства балладного тона и сюжетные преискурранты и убедился, что они изнасились и обнаглели. Я развалил поэму и повеселился при этом.

Может быть, как отряхивающаяся мокрая собака,— не знаю. Не кажется ли Вам, Борис Леонидович, что слишком серьезно, слишком серьезно и тяжело, с мрачностью пишутся стихи за последнее время. Мне захотелось хохотать и улыбаться без спросу и без ограничения. Если это лишний грех—тем лучше. «Юга» еще не знают в Москве. Если Вам скажут, что моя поэма никуда не годится,—не верьте, если будут хвалить ее за «хороший тон»,—не верьте. Сами можете не читать.

Она—опыт вивисекционного порядка. Было слишком большим искушение искромсать сюжет так, чтобы он помнил долго,—и я его справил в мясорубку.

Конечно, это не поэма, а все та же отряхающаяся собака.

Я Вас очень хочу видеть—и в Москву хочу—побродить. Я не читал ни одного Вашего стиха после «Тем и вариаций»¹, несмотря на упорнейшие розыски в журналах и альманахах. Я скучаю без Ваших стихов—серьезно—*по-настоящему*.

Здесь гостит Волошин. Он похож на жирный, волошский орех, со скорлупой, которую не берет молоток. Застрахованный от грехопадения орех. А его «История русской интеллигенции» по Овсяннико-Куликовскому² для школ I ступени—то бишь поэма о России³—вполне прекрасна и «коктебельна». Средство для страдающих бессонницей. Почему не жить ореху?—Он жесток и питателен, как мука Нестле и передовица «Известий». Если он переложит шестистопным ямбом «Капитал» Маркса, Демьян будет сконфужен бесповоротно.

Как прошел вечер «Литературное сегодня», с Ахматовой⁴?—Что касается литературной шестерни, в которую вы не «вставились»,—то в Питере и при желании

¹ Сборник «Темы и варьации» вышел в 1923 г.

² Трехтомный труд Д. Н. Овсяннико-Куликовского «История русской интеллигенции (Герои русской художественной литературы XIX века)» (СПб., 1906—1911).

³ Отрывок из поэмы М. А. Волошина «Россия» напечатан в альм. «Недра» (№ 6, М., 1925) с подзаголовком «Неоконченная поэма». По-видимому, Тихонов ознакомился с нею в рукописи или в чтении Волошина. Рукопись содержит на 140 строк больше напечатанного в альманахе (ИРЛИ, ф. 562).

⁴ 17 апреля 1924 г. в Москве, в помещении Консерватории, состоялся вечер журнала «Русский современник».

этого нельзя было бы сделать. Здесь даже разбитое литературное колесо не сразу отыщешь.—Стоит ли жалеть об этом.

До скорого свидания.

Крепко жму Вашу руку.

Н. Тихонов.

Чтобы справиться с материальными трудностями, Пастернак вынужден был поступить на службу. Сначала С. П. Бобров предложил ему работу в области статистики: «Служба у меня обещает получиться по статистической части,—сообщал Пастернак О. Э. Мандельштаму 19 сентября 1924 г.—Так как я в юридических дисциплинах ничего не смыслю и вообще в отношении теории, как уясняется мне, гораздо наивнее, чем мог предполагать, то придется мне на месяц засесть за разнообразные курсы, до преодоления которых не буду себя считать вполне человеком»¹. Тем временем Я. З. Черняк—тогда сотрудник Института Ленина при ЦК ВКП (б)—привлек Пастернака к участию в составлении библиографии зарубежных высказываний о Ленине. «Если бы Вас обо мне спросили,—писал Пастернак Мандельштаму 31 января 1925 г.,—ответ один—занимаюсь библиографией (по Ленину), как оно есть и в действительности. Трудно, заработок мизерный»². Издание этой библиографии, предполагавшееся под ред. И. В. Владиславлева в ГИЗе, не осуществилось.

ТИХОНОВ—ПАСТЕРНАКУ

<Ленинград, декабрь 1924 г.>

Дорогой Борис Леонидович!

Давно собирался я писать Вам, да то одно, то другое задерживало, прямо держало за руки.—Я узнал от гостей здесь перевальцев, что Вы занимаетесь статистикой или библиографией,—кажется, я не так понял их—но это не важно. Значит, то, что Вы думали написать большое в прозе, опять отложили. Почему, Борис Леонидович? Вас нигде не видно. Ни в одном журнале ничего нет. Когда же будет новая Ваша книга?

Я написал такую большую и сумбурную до глупости

¹ Архив семьи Пастернака.

² Вопросы литературы, 1972, № 9, с. 161.

вещь—что сказать страшно. В ней около 600 строк и столько напихано туда разного, что дочитать до конца без отдыха невозможно¹.

Один перечень введенных лиц занял бы полстраницы: Тифлис, Мцыри, медвежонок, хевсуры, тигр, осетинская девочка, бандиты, белые, красные, полосатые—баня, дорога и пр. и пр. и пр.

Одним словом, мой шашлык пережарен—а может быть, и наоборот.

Константин Федин кончил недавно свой роман «Города и годы». Роман толстый и почтенный. Веня Каверин написал повесть из жизни налетчиков: «Конец хазы».

Свою поэму я продал в альманах Госиздата. Думаю, что в феврале я забреду в Москву. Тогда я расскажу Вам всякое про наши дела в Питере.

Юноши из «Перевала» производят очень честное впечатление. По-моему, у них есть несомненные успехи².

Сейчас я работаю над приведением в порядок книги стихов, которая к весне должно быть будет собрана³.

Что в ней будет и как это уложится—никому не известно, всего менее мне.

Напиши о себе хоть 2 слова, Борис Леонидович,—а то мы питаемся одними слухами, а это очень немного.

Да, в «Русском современнике»—выходит статья Тынянова «О поэзии»,—где о Вас есть несколько любопытных замечаний и, по-моему, верных⁴.

Какой неожиданный поворот стиха у Асеева. Давно ли это? «Лирическое отступление»—очень любопытно⁵. Вы знаете, за что будет бороться сейчас стих—за интонацию и иронию. Есенин пьянствует в Персии⁶.—

¹ Поэма «Дорога» опубликована в альм. «Ковш» (кн. 2. Л., ГИЗ, 1925).

² Литературная группа «Перевал» возникла зимой 1923—1924 г. при редакции «Красной нови».

³ Эта книга стихов вышла в 1927 г. под названием «Поиски героя. Стихи 1923—1926 гг.» (Л., Прибой).

⁴ В журн. «Русский современник» (1924, № 4) было напечатано начало статьи Ю. Н. Тынянова «Промежуток (О поэзии)». Публикация статьи оборвалась на гл. 8 (на 4-м номере журнал прекратился), тогда как анализу творчества Пастернака посвящена гл. 9. Полностью статья была напечатана в кн. Тынянова «Архаисты и новаторы» (Л., Прибой, 1929) с посвящением Пастернаку, которого не было в журнальной публикации.

⁵ Поэма Н. Н. Асеева «Лирическое отступление» впервые опубликована в журн. «Лэф» (1924, № 2).

⁶ С сентября 1924 г. по февраль 1925 г. С. Есенин находился в Тифлисе, Баку и Батуме, где, в частности, писал свои «Персидские мотивы» (М., Советская Россия, 1925).

Футуристский гиперболизм Маяковского перешел в самый осмысленный и строгий анекдот или в сюжет.— Тут поезд идет еще, но идет под откос. Может быть, действительно лирическое отступление будет объявлено скоро по всему фронту, но здесь за вами—слово.

Привет всем—Петру Никаноровичу Зайцеву¹—если увидите его.

Н. Т.

Адрес мой: Зверинская ул., 2, кв. 21.

ТИХОНОВ—ПАСТЕРНАКУ

<Ленинград, февраль—март, 1925 г.>

Дорогой Борис Леонидович.

Я читал Вашу поэму, вернее, 1-ю главу («Спекторский») в «Ковше» у Груздева². Борис Леонидович,— это очень хорошо—любовная сцена—исключительна. Стихов такой прямоты и честности давно не было в русской поэзии. Трудности, которые Вы себе поставили задачей, велики—это видно уже и на проработанном материале, но ведь и работать стоит, только борясь и имея дело с какой-то новой и враждебной силой. Признаться, стихотворные экскурсии Маяковского все больше похожи на прогулки совшкол. Зато Асеева «Лирическое отступление» очень человечно и очень звучит—чуть-чуть пахнет вивисекцией правда,—но тут ничего не поделаешь. Потом в издании Ленгиза выкинули Гейновский иронический эпиграф—напрасно³.

Возвращаясь к Вашей поэме, хочу еще сказать Вам, что она, конечно, явление такое, что далеко оставит позади многое из написанного сейчас. Будете ли Вы писать ее непрерывно—или она будет являться неопределенно, по кускам? Еще одно, что мне хочется

¹ Поэт Петр Никанорович Зайцев (1889—1971) был в то время секретарем изд-ва «Недра».

² Пастернак послал И. А. Груздеву, члену редколлегии «Ковша», первую главу «Спекторского» и в письме просил показать эту главу Тихонову. Этим обстоятельством объясняется тот факт, что Тихонов ознакомился в редакции альманаха с полным текстом первой главы романа, отрывок из которой был напечатан во второй книге «Ковша» (вышла в августе 1925 г.). Любовная сцена в публикацию «Ковша» не входила. Полный текст глав 1—3 появился в 1925 г. (Круг, № 5).

³ В книге Н. Н. Асеева «Поэмы» (М.—Л., ГИЗ, 1925) отсутствует предварявший первую публикацию поэмы «Лирическое отступление» (Леф, 1924, № 2) эпиграф из стих. Гейне из цикла «Heimkehr» («Возвращение на родину».—нем.).

узнать от Вас: будет ли в каждой главе заключаться самостоятельный эпизод—или они будут связаны непрерывностью и переходами из главы в главу? Правда ли, что триединство—до революции, революция и после нее—тоже найдет место в композиции? Здесь Вашей поэмой очень заинтересованы, и это не любопытство. Она органична, и потому требования к ней очень повышены.

Я Вас очень люблю, Борис Леонидович, и потому рад, что Вы снова начали писать, и так писать. Вы сами знаете, какая редкость сейчас—настоящие стихи—с солью, с колкостью, и вместе с теплотой и силой.

Очень хочу приехать к Вам, в Москву,—хоть ненадолго, да грехи не пускают. Думаю, что выберусь все же в мае,—тогда поговорим обо всем подробнее. Помните, как я нагрязнул с Кавказа прошлой осенью и поднял переполох?

Зима эта была какая-то слишком общая и спешная, и проскочила она незаметно. Почему книги Ваших рассказов не видно в Ленинграде¹? «Круг» опять мудрит чего-то—а где его издание «Тем и вариаций»²? Тоже зажиллил—

Странная вещь,
Непонятная вещь—

Как Вам понравился «Ковш»? Сидели, сидели, все-таки кое-что высидели—сразу же обрушилось на нашу голову, что это контрреволюция и проч. В общем, старая история.

Хотите эпиграмму о напостовцах и попутчиках (не моя только):

Кольцо Сатурново сказала: а не дурно
В попутчики теперь мне пригласить Сатурна.
— Ах,—отвечал Сатурн,—мне не догнать тебя,
Ты, стоя на посту, вертишься вокруг меня³.

Ничего эпиграмма. Немного устарела, но ей уж год жизни. Итак, Борис Леонидович,—до скорого свиданья. Если Вы напишете, буду очень рад. Я знаю, что Вы пишете очень редко,—привет Вашей жене и Асееву.

Н. Тихонов.

¹ Пастернак Б. Рассказы (М.—Л., Круг, 1925).

² Предполагавшееся переиздание сборника «Темы и варьяции» в изд-ве «Круг» не состоялось.

³ Эпиграмма Ю. Н. Тынянова. Автограф первых двух строк ее сохранился в альбоме К. И. Чуковского «Чукоккала» (М.—Л., Искусство, 1979, с. 339).

<Москва, 7 июня 1925 г.>

Дорогой Николай Семенович!

Извиненья и выраженья чувств до Вас наверное своевременно доходили через других людей. Удивительно, что я Вам не написал по ознакомлении с «Дорогой» у Асеева¹. Он ее прочел восхитительно, Вам так не прочесть. Потом я стал ждать выхода «Ковша» для дотошного ее разбора. С такой безоговорочностью мне у вас нравилась одна «Брага». Наибольшее впечатление в слушаньи на меня произвели: тигр, осетинская пастушка, перевал через хребет. В особенности последний эпизод. Теперь говорю по воспоминанью. Я хотел было взять рукопись, но потом рассудил, что надо ее повезти на дачу к Брикам. Теперь скоро ее увижу. Катаев видел «Ковш» сверстанным.

У нас снята дача под Москвой, а переехать все не удастся,—холода и безденежье. Когда будете тут, обязательно к нам. Надо, справившись с расписанием по рубрике Немчиновка—Усово (Александровской железной дороги), взять билет на поезд, совпадающий с поездами этой ветки. Билеты на эту линию выдаются *без очереди*. Билет надо взять в Усово. Пересесть в Немчиновке. По приезде в Усово спросить, как пройти в Александровское. Переход через Москва-реку (вброд или кликнуть перевозчика). В Александровском спросить новый дом (избу) Шарова. Окраина деревни. Бурная встреча друзей.

Вышел ли отдельной книжкой Ваш «Вамбери»? Я журнала не получаю и не читал². Его очень хвалят. Если вышел, пришлите.

Садофьев³ сказал, что большинство меня в Петербурге не принимает. В той форме, в какой он эту сентенцию высказал, это было некоторой новостью для меня, глубоко и до странности меня огорчившей. Врет? Врет?!

Вы всегда несправедливы к Маяковскому. Прав все-таки оказался я в своем к нему отношении. Он написал «Парижские стихи», бесподобные по былой

¹ «Я напишу сегодня Тихонову,—сообщал Пастернак И. П. Груздеву.—Асеев привез его замечательную «Дорогу».

² Тихонов Н. Вамбери. Повесть для юношества. Л., ГИЗ, 1925. Первая публикация—в журн. «Новый Робинзон», 1925, № 3—6.

³ Садофьев Илья Иванович (1889—1965)—поэт, один из членов редколлегии альм. «Ковш».

свежести¹. Интересно, что Вы скажете насчет «Лисьей шубы» Казина, которую прочтете в «Красной нови»².

Вы спрашивали, связным ли романом будет «Спекторский»? Да, надеюсь. Несвязного в нем пока лишь то, что в самый разгар работы над 2-ой главой мне пришлось все побросать и наспех омолоди — виноват — оmlадеичитьс³. Впасть в детство мне придется, по всей вероятности, сплошь все лето. Таковы обстоятельства. Долгов у меня столько, что я скоро стану державой. Вы, конечно, догадались, что я говорю о вещах для Маршака и Чуковского. Крепко вас целую.

Ваш Б. Пастернак

В июле 1926 года Тихонов приезжал на неделю в Москву и останавливался у Пастернаков на Волхонке. Пастернак отправил жену с двухлетним сыном на лето в Германию к родителям, а сам остался в Москве один, чтобы поработать. Он писал сыну, после отъезда Тихонова: «Знаешь, жил у нас в комнате, спал на диване дядя один, ты его не знаешь, а мама знает. Зовут его Тихонов Николай — дядя Коля. Так ты ему на карточке полюбился, что хотел он ее со стенки снять и с собой увезти».

Вернувшись в Ленинград, Тихонов с удовольствием вспоминает эту «воздушную», «ералашную» неделю, проведенную в Москве:

ТИХОНОВ — ПАСТЕРНАКУ

<Пудость Ленинградской обл., 20-е числа июля 1926 г.>

Дорогой Борис Леонидович!

Добрый день.

Московская воздушная неделя — та, которую ты добродушно разделил со мной, — до сих пор у меня в памяти.

¹ См.: Маяковский В. Париж (Московский рабочий, 1925).

² Поэма Казина В. В. «Лисья шуба и любовь» опубликована в «Красной нови», 1925, № 5.

³ Чтобы выбраться из долгов, Пастернак занялся детской литературой. «Карусель» напечатана в журн. «Новый Робинзон» (1925, № 9, илл. Н. Тырсы; отд. изд. — Л., ГИЗ, 1925; илл. Д. И. Митрохина). «Зверинец», написанный летом 1925 г., был издан позже (ГИЗ, 1929).

Это были очень славные дни—ей-богу. Если бы вокруг было немного больше зелени и воды и немного меньше людей—это была бы по-своему совершенная неделя.

Я даже начинаю всерьез порой скучать по тем ералашным дням. Сiju сейчас в месте, которое зовется Пудостью—я называю его Гадостью. Может быть, я несправедлив—окружающее даже похоже чуть на подмосковные виды.—Потом я «непрерывно» еду в Туркестан¹.

Он шевелится, как большое поле передо мной, и я не знаю, с чего начать.—Уеду, должно быть, около 10-го, то есть после 10-го. Проездом через Москву прибегу взглянуть на твой счастливый угол. Жаль, что не увижу твоего сына. Я его помню крепко.

Если бы я выбирал попутчика в азиатские эти пустыни—я бы с «благоговейным» азартом выбрал бы Пастернака. Он умеет делать дни легкими и веселыми. Это ничего, что он временами рассеян. Истинный путешественник и должен быть таким. Он должен забыть, где лежит его записная книжка. Заглядывать в нее можно только после захода солнца.—Так мы условимся.

Как живет лейтенант Шмидт²? Я должен буду на днях огорчить одного скромного поэта: он собирался написать осенью поэму, используя переписку лейтенанта Шмидта. Я сообщу ему, что это уже сделано и что он может не беспокоиться.—Осенью же я надеюсь слушать в 1-й и действительно настоящий раз, как «Лейтенант Шмидт» будет прочитан Пастернаком, и прочитан без отговорок. Не правда ли?

Вчера я прошел по лесам 20 верст, и у меня развалились сапоги. Прямо сказать—настоящие люди подбивают теперь подметки.

Что касается ленинградцев, то они живут так.

Груздев Илья занят семейным очагом. Сидит над Горьким и анатомирует старика³.

¹ В августе 1926 г. Тихонов совершил первую поездку по Туркмении, что отразилось в сб. его рассказов «Рискованный человек» (М., ГИЗ, 1927).

² К этому времени была написана 1-я часть поэмы «Лейтенант Шмидт» (Новый мир, 1926, № 8-9). В ней использованы документальные материалы—письма П. П. Шмидта к З. И. Ризберг и к сестре—А. П. Избаш.

³ Результатом этой работы явился, помимо кратких биографических очерков, обширный труд «Горький и его время» (М., 1938).

Вагинов пишет драму в стихах, очень странную¹. Посмотрел бы я на театр, который взялся бы ее поставить.

Федин уехал по Волге на лодке втроем. Старик Джером-Джером не дает ему спать.

Тынянов пишет роман из жизни шутов Петра Великого².

Каверина, кажется, берут в солдаты³.

От Петровского и Петникова я получил открытку из Ялты⁴.

Приезжайте к нам осенью, Борис Леонидович. Я даже на Вы перешел от уважения.

Я буду три дня и три ночи врать о Туркестане с севера на юг и с востока на запад.— Я это могу и даже с удовольствием.

Привет мой твоему брату—и твоей жене, тому юному германцу из страны Маркса и Энгельса—и той слушательнице моего рассказа⁵—и Асееву—старому славному вождю волчьих стай—Акеле⁶, и Маяковскому, если он приехал, и всей баптистской обедне во главе с Шкловским и Лили Юрьевной.

Напиши мне, пожалуйста, до 6 августа, чтобы я получил письмо во благовремение, о том, как ты себя чувствуешь.— Если же душа твоя не лежит к чернилам и словам, посылаемым на дальнейшее расстояние,— я разрешаю тебя от этой необходимости. Не пиши, но живи счастливо и поцелуй от меня своего хорошего сына; когда он вернется, я буду уже в песках Кара-Кумов, и, кроме чесоточных верблюдов, кто разделит мое одиночество?

Прощай пока.—

Любящий тебя *Н. Тихонов.*

¹ Вагинов Константин Константинович (1899—1934)— поэт и прозаик. О какой его стихотворной драме идет речь, неизвестно.

² Ю. Н. Тынянов работал над романом «Король Самоедский» — о придворном шуте Лакосте.

³ В. А. Каверин проходил в то время военные сборы.

⁴ Петников Григорий Николаевич (1894—1977)— поэт, близкий по направлению Хлебникову, фольклорист и переводчик.

⁵ А. Л. Пастернак, Е. В. Пастернак и Эрнст Розенфельд (друг семьи, гостивший у Пастернаков). «Слушательница» рассказа — вероятно, С. С. Адельсон, жившая в той же квартире.

⁶ Акела — вожак волчьей стаи в повести Р. Киплинга «Маугли».

<Москва> 19.XI.<19> 28

Дорогой Николай!

Пишу второпях, и прости, в письме ничего не найдешь, кроме просьбы. Сегодня выезжает в Ленинград Шарль Вильдрак¹, остановится в Доме ученых Цекубу (кажется, на Миллионной) и пробудет у вас три дня. Ему надо и хочется познакомиться с тобою и следовало бы повидать несколько человек, которых мы назвали с ним почти в один голос, не сговариваясь. Я бы возлюбил тебя еще больше, если это возможно, а также и он был бы тебе очень признателен, если бы ты связался с ним, не откладывая дела в долгий ящик, по телефону и повидался с ним. Прости за нескромность, но лично я советовал бы тебе пригласить его к себе в первый же вечер, позвав из людей, которых ему хочется узнать, тех, которые Марии Константиновне² и тебе приятны. Мандельштам, кажется,—здесь в Москве. Ну, так вот, познакомиться ему надо с Анной Андреевной, с тобою, с Кузминым, с прозаиками, т. е. с Замятиным, Фединым, Тыняновым, Кавериним и др. Впрочем, он только тебе будет благодарен, если ты, помимо права хозяина, воспользуешься и своим правом передового и первейшего поэта и выправишь этот список и в этом отношении, т. е. заменишь своим. Да, и про Ольгу Дмитриевну забыл³! Он милейший человек, и очень простой, и как поэт мне очень нравится. Я думаю, он как живое явление, как частица переживаемого и как обещанье будет мил и близок тебе. Это первый случай, что я захотел действительной дружбы с приезжим, которой лично пока не заслужил, но одно другому не помеха. Дорогой, ты не пожалеешь. И не бойся, что он будет тебе в тягость: в среду придет Пильняк, который много с ним тут встречался и на которого, в основном, Вильдрак возлагает все надежды (в смысле показа города, людей и пр. и пр.). А главное, это не «знатный иностранец» и очень прост. Ты знаешь, как я живу. В том, что он ко мне пошел, нет ничего

¹ Шарль Видрак (наст. фамилия—Мессаже; 1882—1971)— французский поэт, друг Ромена Роллана. В ноябре 1928 г. посетил Советский Союз; впечатления от этой поездки описал в книге очерков «Russie neuve», Paris, 1937 («Новая Россия»).

² Мария Константиновна Тихонова-Неслуховская, жена Тихонова.

³ Писательница О. Д. Форш.

удивительного: у меня много друзей тут. Но он у меня сидел довольно долго, и я его видел и успел узнать. И поэт очень настоящий. Позови его к себе. Обнимаю тебя и целую руку Марии Константиновне. Прости за вмешательство,—но как было это сделать иначе? Ну, бегу на вокзал отправить письмо.

Твой Б. П.

ПАСТЕРНАК—ТИХОНОВУ

<Москва, 31 мая 1929 года>

Дорогой Николай!

Мы живем как свиньи, ничего друг о друге не знаем. Но я доволен жизнью. С конца января все время работал, кажется, не без удачи. Начал большой роман в прозе, написал первую часть, листа на два с половиной, на три, сдал в Новый мир. Не знаю как назвать... Да и называть рано, четвертая, вероятно, доля предположенного. В целом, м<ожет> б<ыть>, назову «Революция», если к лицу будет. Но это несколько решительно не относится к делу, о к<отором> ниже.

Сейчас поэтический язык, в разных пропорциях состоящий из Хлебникова, тебя и меня, становится и начинает казаться мне нейтральным, незаимствованным и обыденным. Я перестал его слышать, мне ни холодно от него, ни жарко; мне было бы от него тяжело и страшно, если бы я перестал работать. С моей постоянной тягой к опрятному одиночеству мне, конечно, жутко бы показалось оставаться доживать свои дни в таком многочисленном и наполовину отталкивающим обществе, если бы,—как говорю, я не знал и не чувствовал, что ухожу в сторону, ну хотя бы Чарской—не смейся, как не смеюсь и я, называя эту писательницу.

В отношении людей, застрявших в формах и средствах в немолодом возрасте, можно сказать просто. Они удовлетворились преддверием искусства, его первой, лицевой половиной, и мне страшно созерцать баб с керосиновыми бидонами в молочной: зачем, спрашивается, было входить именно сюда?

Гораздо труднее с молодежью, с которой этого (по ее возрасту) нельзя и спрашивать. Дело было бы легче, когда бы не время такое крутое. <...>¹

¹ Конец письма не обнаружен, печатается по копии, сохранившейся в архиве Д. Хренкова.

<Москва, 14 июня 1929 г.>

Дорогой Николай, благодарю и уступаю: с ласковостью и содержанием твоего письма тягаться не в силах, сдаюсь, рекорд — твой.

Но шутки в сторону, — я рад, — я не знал, что все у нас с тобой так хорошо, — спасибо.

А мне на будущей неделе удалят разом 6 зубов и потом будут долбить челюстную кость, — развязка прескверной истории, тянувшейся около пяти лет и только теперь, благодаря рентгену, разъяснившейся.

Знаешь, с кем еще мне так просто радостно (и ясно), как с тобой? С Пильняком. Это единственный, пожалуй, человек, с которым встречался эту зиму.

Наверное семья вскоре после операции поселится под Можайском, я же задержусь недели на 2 или больше, — сколько перевязки потребуют. На этот, вероятно, срок буду «осужден» на полное молчанье — то-то отдохну — тут уж никакие таланты и обещанья ничего со мной не поделают¹ и перед собой буду чист. Прочту «Вазир-Мухтара», все откладывал до подходящего случая, вот и нашелся².

Вообще нынешней весной повернулась жизнь (на двух-трех примерах) неожиданно простой, беспощадно трогательной стороною. Это как когда у Шекспира герои без штанов сидят и зал рыдает, а Лир под дождем мокнет и колобродит.

Во-первых, Коля Асеев стал кровью харкать, и тут обнаружилось, что у него в острейшей форме туберкулез, чуть ли не то, что прежде звали скоротечной чахоткой. По счастью, он уже в санатории, где такие формы теперь поддаются полному излечению (из одного легкого воздух выкачивают, оно сморщивается комочком, и, благодаря его бездействию и неподвижности, каверны зарубцовываются; тогда его вновь распускают). Случаев кровохарканья у него было два-три, и по

¹ Имеются в виду молодые поэты, отказывать которым в их просьбах о встрече Пастернак никогда не умел.

² Ю. Н. Тынянов послал Пастернаку только что вышедшую книгу «Смерть Вазир-Мухтара» со следующей надписью: «Борису Пастернаку, который своим существованием делает жизнь более достойной. Юр. Тынянов. 1929. II. 20» (АП).

внешности никто бы не сказал, в какой он опасности. Меня, естественно, эта новость ошеломила, я с ним видался, помногу и так, как когда-то, т<о> е<сть> как лет 10 или 15 тому назад.

Потом Мандельштам превратился для меня в совершенную загадку, если не почерпнет ничего высокого из того, что с ним стряслось в последнее время. В какую непоучительную, неудобоваримую, граммофонно-газетную пустяковину превращает он это дареное, в руки валящееся испытанье, которое могло бы явиться источником обновленной силы и вновь молодого, нового достоинства, если бы только он решился признать свою вину, а не предпочитал горькой прелести этого сознания совершенных пустяков, вроде «общественных протестов», «травли писателей» и т. д. и т. д.

Тут на днях собиралась конфликтная комиссия. Его на ней не было, и я, защитник, первый признал его виновным, весело и по-товарищески, и тем же тоном напомнил, как трудно, временами, становится читать газеты (кампания по «разоблачению» «бывших» людей и пр. и пр.) и вообще, насколько было в моих силах, постарался дать движущий толчок общественнической лавине, за прокатом и паденьем которой широко и звучно очистился воздух, обвиняемому подобающий и заслуженно присущий. И теперь вся штука в том, воспользуется ли Осип Эмильевич этой чистотой и захочет ли он ее понять.

Наконец,—последний случай жизненной простоты—читал я как-то прозу у Пильняка ему и его питомцам¹. Все это было удивительно счастливо и радостно. Это была замечательная ночь, и люди были замечательные. И хотя я понял, что все это вызвано Петровским парком, а не прозой, меня именно то и радовало, что эта неприкрыто чистая чужепричинность мне дороже каких-то критических выяснений сделанного. Я радовался ей, как сквозной, неподдельной случайности, до бесстыдства откровенной.

Имей в виду (с этого следовало начать), что это не ответ на твое письмо. Ответить тебе я бы мог лишь с твердого места, широко и щедро, как ты, ощущая обоих в диалоге. Но под собой я чувствую нечто шаткое и неопределимое, точно меня занесло в некую

¹ Пастернак читал у Пильняка, который жил на Ямском поле, вблизи Петровского парка, «Повесть», начатую им в январе 1929 г.

операционную пятилетку, и пока мне не индустриализируют челюсти, не знаю, как себя вести и за что приняться. Видишь, вот ведь и «Вазира» я раньше наступленья социализма читать не смогу.

Расхожденье бухгалтерских данных с моими расчетами проистекает верно оттого, что в «Грамоте» считали $1\frac{1}{2}$ печ. листа, а теперь их, видно, оказалось меньше. Потому что так было дело. «Грамота» была оплачена из полуторалистового расчета, и за нее получено 625 руб. ($350 \text{ р.} \times 1\frac{1}{2}$)¹.

Потом я в этом году получил аванс в 200 р. и в его погашенье послал «Реквием». Не помню, сколько в нем строк (полтора руб., за переводную строчку, расценка *очень хорошая*), но, кажется, около 150-ста. Тогда за него выходит что-то около 225 р. Из 625 и 200 и получается та сумма авансов, которую тебе указали (у тебя 819 р., а не 825 оттого, что почтовые расходы с меня вычитывались). Итак, если в «Грамоте» $1\frac{1}{2}$ листа, то мне с «Звезды» дополучить еще 25 руб., если же правилен расчет бухгалтерии (т. е. что я «Звезде» еще около полтора ста рублей должен), то это лишь в том случае, если листовой расчет «Грамоты» был произведен неправильно, а производили его у вас и, кажется, Н. Л. Это ничего, что я с тобой на такие темы?

Выраженья твоей скромности не знаю как высмеять и чем отстранить. Да и не надо. Мечтаю о времени, когда индустриализация будет уже за плечами, и проза подвинута, и некоторые домашние сложности лета далеко позади. Страшно хочу тебя видеть. Обнимаю, пока подбородок цел. Сердечный привет от нас обоих Марии Константиновне.

Твой Б.

В этом письме идет речь о реакции Мандельштама и писательской общественности на выступление Д. И. Заславского, обвинившего Мандельштама в плагиате. Для своего фельетона, напечатанного в «Литературной газете» 7 мая 1929 года, Заславский использовал инцидент полугодовой давности между критиком А. Г. Горнфельдом, издательством ЗиФ и О. Мандельштамом. По договору с ЗиФом Мандель-

¹ Здесь и далее речь идет о расчетах за первую часть «Охранной грамоты» и перевод «Реквиема» Р.-М. Рильке (Звезда, 1929, № 8). Очевидно, в расчете при выдаче аванса была допущена ошибка — 625 р. вместо 525 р.

штам сделал литературную обработку двух старых переводов «Тия Уленипигеля» В. Н. Карякина и А. Г. Горнфельда, но на титульном листе появившейся книги было ошибочно поставлено имя Мандельштама как переводчика, а не редактора. Мандельштам первым поднял тревогу и настоял на немедленном печатном исправлении ошибки в письме издательства ЗиФ в вечернюю «Красную газету» 13 ноября 1928 года. Одновременно Мандельштам телеграфно известил обо всем Горнфельда и выразил готовность удовлетворить его материально. Заславский для своего фельетона взял письмо Горнфельда, напечатанное 28 ноября 1928 года в той же газете, но недобросовестно отрезал кусок, цитирующий поправку ЗиФа и обеляющий Мандельштама, при этом сознательно утаив полный достоинства ответ Мандельштама, до конца признающего свою ошибку и «моральную ответственность», связанную с дурной практикой издательств (Вечерняя Москва, 10 декабря 1928). С протестом против этого необоснованного обвинения выступила группа писателей, открытое письмо которых вскрывало подоплеку фельетона Заславского. Письмо подписали К. Зелинский, Вс. Иванов, Н. Адуев, Б. Пильняк, М. Казаков, И. Сельвинский, А. Фадеев, Б. Пастернак, В. Катаев, К. Федин, Ю. Олеша, М. Зощенко, Л. Леонов, Л. Авербах, Э. Багрицкий, напечатано оно было 13 мая 1929 года в «Литературной газете». В следующем номере газеты 20 мая, однако, был помещен ответ Заславского, оскорбительный не только в отношении Мандельштама, но и всех его 15 защитников. Дело было передано в конфликтную комиссию ФОСП, заседание которой состоялось 11 июня 1929 года. Мандельштам на заседание не явился. Пастернак, выступавший от лица писательской общественности, всеми силами стремился прекратить это дело, принимавшее по инициативе «Литературной газеты» опасный для Мандельштама характер. Он знал, что полное оправдание Мандельштама и признание вины газетой в год великого перелома и расцвета критики и самокритики немыслимо. Он протестовал против обвинений Мандельштама в плагиате, однако хотел, чтобы в качестве компромисса Мандельштам вновь подтвердил свою «моральную ответственность» перед автором перевода.

<Москва> 5.XII.<19>29

Дорогой Николай!

Горячо благодарю тебя за письмо. «Поэм» с «Вырой» у меня нет, хотя все в отдельности знаю по прежним изданиям, а «Выру» по «Звезде», и я был у тебя, когда ты ее писал, и Ракова как бы пережил¹. Страшно буду благодарен за книгу, если пришьешь. «Барьеры», за двумя-тремя исключениями, я роздал кому попадется, все больше случайным посетителям, чтобы поскорей уходили. Но и эту скучную книгу ты получишь. Я обменяю авторские второго издания «Двух книг» на барьерские, и ждать этого придется недолго². Между прочим, я тебе безбожно плагиатировал в основной мысли, заложенной в окончание «Спекторского». Потому что если в двух словах выразить то, что со мной делалось, то это были — поиски героя³. Ты скажешь, что это слишком общо, но можешь быть уверен, что пустыми каламбурами я бы тебя угощать не стал и, думается, знаю, что говорю. Это было следование по направлению твоей метафоры, которая шире и обязательнее словесного названия, точно так же, как «Облако в штанах» *все еще* поэзия, а не заголовки, и можно быть под властью всей поэмы, вторично вложенной в эти два слова. Еще точнее я мог бы сказать о «Сестре»⁴, но это не столь удобно.

Со всем, о чем ты пишешь, я глубоко согласен и не так наивен, как тебе, верно, кажется. Я уверен, что литература никому не нужна, и только в этом вижу достоинство эпохи. Я стал бы ликовать, если бы об этом заявили открыто и свернули издательства и закрыли бы лит. газету и лит. отделы в других. Я только оставлю про себя право раздражаться по поводу

¹ Поэма «Выра» вошла в книгу Тихонова «Поэмы» (М.—Л., ГИЗ, 1928). Впервые — в журн. «Звезда» (1927, № 11) с примечанием автора: «Выра» — деревня около Гатчины, где 29 мая 1919 г. бывший Семеновский полк перешел на сторону белых. Здесь погиб комиссар рабочей бригады, член Исполкома тов. Раков».

² В 1929 г. ГИЗ выпустил переработанный заново сборник стихов Пастернака «Поверх барьеров», а в 1930 г. — второе стереотипное издание сборника «Две книги».

³ Речь идет о книге Тихонова «Поиски героя. Стихи 1923—1926 гг.» (Л., Прибой, 1927).

⁴ «Сестра моя жизнь».

того, что этого не делают и ради какого-то отвода глаз ставят нас в положенье детей, не без баловства даже.

В одном я не согласен с тобой: мне нравится «Петр Первый»¹, и я не могу понять, как это он тебя оставляет равнодушным. Дай его Марии Константиновне: она счастливее и свободнее нас с тобой, она не опутана *последствиями* дружб каждого из нас, которых нельзя пресечь без того, чтобы не сделать людей (может быть, только в нашем дружеском мненьи) несчастными. Комкаю и кончаю. Ты все понимаешь! Но «Петр»! Молодец Толстой. Как легко, густо, страшно, бегло все двинуто. Как не перестает быть действительностью в движеньи, как складывается в загадки (не сюжетные, а историографические), как во всех изворотах, на всем ходу разъясняется!

Впрочем, дар легкости в прозе и у тебя очень велик, и мы, может быть, в разном положеньи. Ты был вправе недооценить его.

Получил от Эрлиха обе книжки². Напрасно он стыдится «Перовской». За вычетом двух-трех действительных штампов, где он *рассуждает* о штампе, а не *жертвует собой* ради него, все в ней—настоящая поэзия. Она вообще без самопожертвованья невысказана. Я жертвовал собой и во имя прозрений и во имя традиции. Первое делалось, когда любилось легко и когда пристрастия дифференцировались. Когда одни любили одно, а другие—другое. Когда же настало такое положенье, когда все будто бы любят одно, а на самом деле ничего не любят, я полюбил традицию, чтобы не вовсе распротиться с этим чувством. Меня не может не трогать Перовская. Я сам все эти годы жертвую собой для штампа. Я знаю, что и это поэзия, мне это близко. Книжка о Есенине написана прекрасно. Большой мир раскрыт так, что не замечаешь, как это сделано, и прямо в него вступаешь и остаешься. Писать ему не буду. Не хочется размазывать в виде трактата и в упор человеку то, что тут сказалось коротко и гладко. Передай, что захочешь, и мою благодарность. Последняя новость. В Ленгизе не знают, издавать «Сп<екторского>» или не издавать. Но ты молчи, не звони. Храни в тайне,—есть соображенья. Обнимаю. Твой Б.

¹ Первый том романа А. Н. Толстого «Петр Первый» печатался в журн. «Новый мир» (1929, № 7—12).

² Эрлих Вольф. Софья Перовская. Поэма. Изд-во писателей в Ленинграде, 1929; Эрлих Вольф. Право на песнь. Воспоминания о Есенине. Изд-во писателей в Ленинграде, 1930.

Значительным событием в цепи отношений Пастернака с Тихоновым стала их совместная поездка в Грузию в ноябре 1933 года в составе бригады Оргкомитета Союза писателей. Пастернак включился в состав бригады с деловой целью получить подстрочники у грузинских поэтов. Он писал об этом Г. Э. Сорокину: «Я стал было переводить современных грузинских поэтов, и вдруг все дело споткнулось об их невозможную лень: никак не добиться от них подстрочников для переводов. Только затем и еду в Тифлис, по почте этого не уладить»¹.

ПАСТЕРНАК — ТИХОНОВУ

4 января <19>34. *სამსჯელო*².

*ბოგობ ვბვრობ*³, дорогой мой?

Ты, конечно, сразу введен в курс воспоминаний данными письменами, не правда ли? А что, если я, например, покажу тебе такое: *ფაჯბაზა*?⁴

Не уходит ли у тебя душа в пятки при мысли о договорах⁵? А у меня случилось вот что. Когда я приехал, оба мальчика были в кори⁶. Только они оправились, как старший заболел скарлатиной. Чтобы обеспечить младшему скорейшее посещение детсада и обезопасить от заражения, его отделили от заболевшего, а больного с большим трудом пристроили (я нарочно так выражаюсь и не говорю: поместили) в хорошую больницу. Потом у нас была дезинфекция, как до войны, формалиновая, с выворачиваньем всех потрохов и покиданьем дома, и потом с проветриваньем

¹ Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома, 1979, с. 221.

² Москва (груз.).

³ Как живешь (груз.).

⁴ Не думай, пожалуйста, что <это> фи́га с инкрустациями, — это Закгиз. (Примеч. Б. Пастернака.)

⁵ В 1933 г. Пастернак заключил с Московским товариществом писателей договор на книгу переводов грузинских поэтов. Другой договор Тихонов и Пастернак заключили с издательством Закгиз на сборник переводов из грузинской поэзии. Оба сборника вышли два года спустя (Грузинские лирики. М., Советский писатель, 1935; Поэты Грузии. Тбилиси, Закгиз, 1934). Кроме того, Пастернак перевел поэму Важа Пшавела «Змеед» (Тбилиси, Закгиз, 1934).

⁶ Сыновья З. Н. Пастернак Адриан и Станислав Нейгаузы.

этого маленького авлабара¹ все 31-е число, весь остаток старого года, при восьмидесятиградусном, если ты привык к небольшим преувеличениям, морозе и вышедших дровах. Оргкомитеты были все в разлете, и нам пришлось все это поднять самим, самыми смертными и демократическими средствами. Неделью мы были отрезаны при общем вое соседей от воды и всего с нею связанного, а когда 1-го сели с Зиной друг против друга выяснить, кто из нас первый не выдержит этих молчаливых переглядок и рассмеется, поучительную эту игру прервали телефонным сообщением, что заболел и Лялик, отделенный младший сын Зинаиды Николоаевны, но сверх ожидания это не скарлатина, а ветряная оспа, и завтра я его с совершенно измучившейся Зиной перевезу из Трубниковского переулка домой. Я нарочно даю тебе это коротенькое резюме всего проверченного и проработанного, чтобы с его помощью измерить степень того легкомыслия и оптимизма, или энтузиазма, уж не знаю, право, как лучше это назвать,—которые я вывез из Грузии. Потому что, несмотря на все перечисленное, чувствую я себя так, точно мне сейчас в «Ориант»² и, миновав обоих парикмахеров, я в конце коридора открою дверь и, о радость!—ты будешь ерошить волосы и рвать бумажки, а Гольцев³—лежать под пледом с ячменем. Нет, каков заряд-то, а? И вовсе не виновный какой-нибудь, а более глубокий и широкий, черт знает, в чем он, опять не знаю как сказать.

Наслышаны мы, между прочим, что не меньше нашего полюбился вам Шаншиашвили Сандро⁴. Я давно догадывался, что: если говорить о людях, он гораздо ближе тебе, чем, скажем, Юрин⁵ или Колосов⁶, и даже симпатичнее Кирпотина⁷. Надо ли говорить, что я вполне разделяю твою симпатию и, например, даже не

¹ От названия района старого Тифлиса со смешанным народонаселением.

² Гостиница в Тбилиси, где останавливались члены бригады писателей.

³ Гольцев Виктор Викторович (1901—1955)—литературный критик, автор работ о Тихонове и о грузинской литературе.

⁴ Шаншиашвили Александр Ильич (Сандро) (1888—1979)—грузинский писатель.

⁵ Юрин Михаил Петрович (1894—1951)—поэт, член группы «Молодая гвардия»; в те годы—редактор закавказского комсомольского журнала «Красные всходы».

⁶ Колосов Марк Борисович (р. 1904)—писатель, в 1930-е годы заместитель ответственного редактора журнала «Молодая гвардия».

⁷ Кирпотин Валерий Яковлевич (р. 1898)—литературовед и критик.

сравнил бы его с Никулиным. Но прости мне этот тон (это ощущение «Орианта»; помнишь пытку коньяком (Арсенишвили², Гаприндашвили³ и пр.)?). Как твоя работа? Не заставят ли нас делать одно и то же? Списываешься ли ты с Мицишвили⁴? Помнишь ли ты вообще что-нибудь? Да жив ли ты, черт побери, если уж на то пошло, и что с тобой, наконец?!

А я, может статья, подзаймусь грузинским, но не раньше, чем оргкомитеты переведут на положение пожарных команд, с ночными дежурствами и вызовом на дом по первому требованию, а также изобретут сыворотку ото всех детских болезней сразу. Еще в скобках: ориантизм тона возможен благодаря тому, что у Адика болезнь в очень легкой форме и все у Жени тоже благополучно. И ты не поверишь, представь себе, я наравне с сулемою и лизолем переводил все это время Чиковани и Абашидзе⁵, ведрами, изо дня в день. Не хочу и за глаза обижать названных: у Чиковани замечательный есть материал — «Мингрельские вечера», не шутя восхитительный, и тот я переведу как-нибудь в другое время⁶, потому что его можно переводить без рецепта. В предвидении конца страницы я чувствую совершенную беспомощность перед Марией Константиновной: ты, наверное, чтобы подать себя большим планом (хотя это не в твоём характере), таких гадостей нарасказал про меня, если вообще обмалвливался, что никакими поклонами теперь делу не помочь. Если это не так, то потрудись передать ей самый сердечный на свете привет, и знай: от меня он, собака. Зины нет здесь, она с младшим и лишь завтра переедет. Урывками читала она (оцени условия) «Кл<яtvу> в тумане»⁷ и восхищалась.

¹ Никулин Лев Вениаминович (1891—1967)—писатель.

² Арсенишвили Алексей Ильич (Али) (1892—1939)—грузинский критик и литературовед.

³ Гаприндашвили Валериан (1888—1941)—грузинский поэт.

⁴ Мицишвили Николо (1894—1937)—грузинский писатель, главный редактор Загиза. Книга «Поэты Грузии» вышла под его редакцией и с его предисловием.

⁵ Чиковани Симон (1902—1966) и Абашидзе Ираклий (р. 1909)—грузинские поэты.

⁶ «Мингрельские вечера» Чиковани в переводе Пастернака напечатаны в книге «Поэты Грузии».

⁷ Тихонов Ник. Клятва в тумане. Роман. Изд-во писателей в Ленинграде, 1933.

Хотя переводы Ч<иковани> и А<башидзе> чудовищные, но тем не менее, однако, я дал их Колосову, в «Молодую гвардию»¹. Лучше будет,— звездану².

Письмо не подписано. На конверте: «От Б. Пастернака. Москва, 19, Волхонка, 14, кв. 9. От чистого сердца».

ПАСТЕРНАК — ТИХОНОВУ

<Переделкино> 2.VII.<19>37

Николай,

кругом такой блеск, эпоху так бурно слабит жидким мрамором, что будет просто жалко, если ты так и не узнаешь, как мне понравилась твоя книга³.

Я давным-давно не испытывал ничего подобного. Она показалась мне немыслимостью и чистым анахронизмом по той жизни, которою полны ее непринужденные, подвижные страницы. Было б менее удивительно, если б она была написана лет пять тому назад. Но теперь... Где и когда, в какие непоказанные часы и с помощью какой индусской практики удалось тебе дерзгировать в мир такого мужественного изящества, произвольной мысли, сгоряча схваченной, порывистой краски. Откуда это биенье дневника до дерзости неприятельного в дни обязательного притязанья, эфиопской напыщенности, вневременно надутой, нечеловеческой, ложной. Это просто непредставимо.

Книга у меня вся разобрана, но не писать же мне статью о ней,—это утомительно. Когда будешь тут, наведайся,—поговорим, если тебе интересно.

Когда стихи появлялись в отдельности, они мне нравились, но без слез и испуга. Они занимали один из этажей «Знамени», и было приятно, что «Знамя» стоит, лифт работает, и все этажи целы⁴. Я не предполагал, что в творческой своей субстанции они взовьются таким столбом, что они так из ряду вон и так неожиданны.

¹ «Баллада спасения» И. Абашидзе и «Ушгульский комсомол» С. Чиковани в переводе Пастернака напечатаны в журн. «Молодая гвардия» (1934, № 2), затем вошли в книгу «Поэты Грузии».

² Т. е. отдам в журнал «Звезда».

³ Тихонов Н. Тень друга. Стихи. Л., ГИХЛ, 1936.

⁴ Стихи, составившие книгу, печатались в журнале «Знамя», 1935, № 8; 1936, № 1—3.

Разумеется «Кахетинским стихам» легче жить на свете¹. В этом нет ничего удивительного. Они (как и мое «Второе рожд<ение>») из категории тех стихов, которые затем и рождаются, чтобы нравиться, привлекать и, в результате всего, жить припеваючи. Менее всего неумышленны ночные серенады. Для этого жанра не последнее дело, чтобы в конце концов кто-то выглянул в окно. Так бьет без промаха поэтичность самой поэтичности.

Совсем другой коленкор «Тень друга». Здесь положение драматическое, а не мадригальное. И пусть это тебе не понравится, я по-своему ценю его выше.

Здесь море, природа, война, путевые наблюдения, радости самого путешествия и все предметы изображения без стеснения сунуты в боковой карман современного сшитого костюма, а отсюда—на стол рабочей комнаты в какой-то наперед облюбованный период, отданный работе и во всей естественности вдохновенный. Поэзия налицо тут в эксцессах замкнутости, в здоровой лихорадке одиночества и дьявольщины писанья: этого не приходится придумывать, взвинчивать и романтизировать. Также очень хорошо, что это протекает без ежеминутных грошовых восторгов и пересудов и что при этом совсем нет женщин. Именно совокупностью этих признаков, которые когда-то считались обязательными для каждого прокладывающего свои пути в искусстве (а чем другим может быть художник?), и показалась мне книга какою-то белою вороной на нынешнем эпигонском горизонте.

Сейчас все полно политического охорашиванья, государственного умничанья, социального лицемерья, гражданского святошества, а книга живет действительной политической мыслью, деятельной, отрывающейся вдаль, не глядящейся в зеркало, не позирующей.

Видно, как все возникало. Кувыркающаяся мешанина моря, целый ночной мир движенья, изнизанного чайками и мыслями. Видно, как естественно, повествовательную вылазкой воображенья домыслена тихая картина станционного захолустья, увиденного на остановке (ряд рассказов так Чеховым написан), в «Воскресенье в Польше». Очень схвачены все краски, особенно парижские. Самым лучшим стихотвореньем книги кажется мне «Самофракийская Победа». Оказывается дифирамбизм мыслим, и в редких случаях истинности

¹ Тихонов Н. Стихи о Кахетии. М., Советский писатель, 1935.

он не форма красноречья, а нравственно пластическое осязание, опьяненно точное.

Наверное, всех умиляет «Кот-Рыболов», но это не для меня. Единственно слабой страницей книги кажется мне единственная в ней декларационная; та, в которой ты с неуместной, страшно сейчас распространенной торжественностью обещаешь «Стихом простым я слово проведу» и не сдерживаешь обещанья¹. Вся книжка читается легко, лишь эту, в которой ты поднимаешь какую-то дароносицу (какую именно, не видно), мне пришлось перечесть дважды и «вдумчиво», чтобы сообразить, в чем тут дело. Книга такая, что ты вправе играть Верленовским заглавьем («Бельг<ийские> пейзажи»)², Блоковскими интонациями, вообще вступать в крупный, разбросанный разговор. Почти все хорошо, больше половины. Оч<ень> хороши «Птица», «Легенды Европы», «Противогаз».

Письмо залеживается. Единственный способ не утаить его от тебя — это отправить его неоконченным. От души тебя поздравляю с «Тенью». Я не сумел представить тебе свои ощущения так, чтобы они тебя заинтересовали и убедили. Прощай. Будь здоров. Привет Марии Константиновне.

Твой Б.

Послевоенные отношения Пастернака и Тихонова отличаются сдержанностью, о чем свидетельствует записка Пастернака по поводу вдовы А. Белого. Тихонов был тогда в секретариате Союза писателей.

ПАСТЕРНАК — ТИХОНОВУ

<Москва> 21 марта 1944.

Дорогой Николай!

Бедствует и, что называется, тает вдова Андрея Белого, Клавдия Николаевна Бугаева. Она получает пенсию в 200 руб. и голодает вдвоем с сестрою. Мне кажется, можно было бы придраться к тому факту, что это с любой точки зренья и в любой концепции крупная фигура прошлого, большой поэт, друг Блока, и выдающийся представитель символизма, и повисить в ува-

¹ Стихотворенье «Площадь Бастилии».

² Название повторяет цикл стихов Верлена из книги «Песни без слов».

жение его памяти эту пенсию хотя бы рубл<ей> до пятисот. Я знаю, что все это зависит не от тебя. Поговори с Поликарповым¹. Лично я никогда не решился бы беспокоить тебя по собственному поводу, чтобы не заподозрить себя в злоупотреблении нашей бывлой дружбой, и прости, что мне пришлось изменить этой сдержанности. Сердечный привет.

Твой *Борис*.

Я не знаю, как передадут тебе это письмо, но кто подаст (может быть, Вера Оскаровна Станевич-Анисимова, моя добрая знакомая), тот и будет следить за дальнейшим движеньем этого дела.

¹ Поликарпов Д. А.—в то время оргсекретарь Союза писателей, потом—заведующий Отделом ЦК КПСС.

**Б.Л.Пастернак
и А.С.Эфрон**

Пастернак познакомился с дочерью Цветаевой, Ариадной Эфрон, в июне 1935 года, когда приезжал на 12 дней в Париж на Конгресс в защиту культуры. Марина Ивановна через несколько дней уехала в Фавьер, а Ариадна была Пастернаку гидом по Парижу. Она вспоминала потом, как каждый день приходила к нему в гостиницу и они отправлялись гулять по городу.

Через два года Ариадна Эфрон вернулась вслед за отцом в СССР, жила какое-то время в Мерзляковском переулке у своей тети Е. Я. Эфрон, работала в редакции газеты «Revue de Moscou» на Страстном бульваре, иногда забегала к Пастернаку. Через два месяца после приезда в Москву М. Цветаевой, 27 августа 1939 г., Ариадна была арестована и приговорена к восьми годам лагерей.

В Коми АССР, на станции Ракпас, она получила от Пастернака несколько писем и книжки его переводов из Шекспира. После освобождения, в августе 1947 года, Ариадна поселилась в Рязани, и ей поначалу даже дали место преподавателя графики в художественно-педагогическом училище. На несколько дней ей удалось попасть в Москву, повидать родных. Письмом из Рязани открывается подборка. Зимой 1948 года Эфрон получила первую книгу «Доктора Живаго» и послала автору подробный разбор романа. Но 22 февраля 1949 г. она была повторно арестована и отправлена в ссылку в Туруханск, где пробыла до июля 1955 года, когда получила возможность жить в Москве.

ЭФРОН—ПАСТЕРНАКУ

20 сентября 1948

Дорогой Борис! Сегодня, очень рано утром, я слышала, как журавли улетают. Я подошла к окну и увидела, как они летят в смутном, рассветном небе, и

потом уже не могла уснуть—все думала. Почему написала тебе об этих журавлях, и сама не знаю. Развернула твое письмо—и они мне вспомнились. Наверное, есть какое-то скрытое, а может быть и явное, сходство между твоим почерком и полетом этих больших, сильных птиц, вечно разорванных между севером и югом, зимой и летом, птиц без средней полосы и золотой середины в жизни.

Как люблю я их крик в тумане сумерек или рассвета, и стройно-колеблющийся силуэт их эскадрильи, и того, последнего, мощными, на расстоянии бесшумными, взмахами крыльев догоняющего своих...

«Всё другое уже переделано»,—пишешь ты. Не знаю. Сомневаюсь. Во-первых, одной человеческой жизни, даже семижильной, явно мало для того, чтобы переделать «всё»—(хорошее или дурное). Во-вторых—во-вторых, я настолько одичала, что необычайно трудно мне излагать свои мысли—они переродились в смутные ощущения, понятные лишь мне одной, моему единственному собеседнику. Они теснятся в голове, пока не пожирают друг друга, и тогда «голове становится легче дышать». Просто мне хотелось сказать тебе, что ты, первый из известных мне поэтов, сделавший тайное—явным, выразивший то невыразимое, до чего некоторые твои предшественники—скажем Тютчев, Фет, добивались иногда, случайно. И эти их случайности являлись—на мой взгляд и мое чутье—лучшим в их лирике. Но я—плохой судья в этих вопросах, т<ак> к<ак> слух мой настолько развит—а для объективного отношения к делу это—еще хуже глухоты!—что даже самого трудного тебя понимаю я с полслова. Не только теперь, а еще и тогда, когда была совсем девчонкой, т<о> е<сть> когда это самое чутье прекрасно сосуществовало с любовью к кино, чтением иллюстрированных журналов и уютных романов Марлит, с тем, что давно и легко отпало, как отслужившая шкурка змеи.

Самое, самое лучшее, самое радостное, самое чистое в природе всегда, в любом возрасте и любых условиях заставляло меня вспоминать тебя—творца стихотворных ливней, первые капли которых ртутинками катятся в пыли, гроз, трепещущей листвы, этих нежных, сияющих, женственных переходов от слез к улыбке и вспять. Чувство природы, чувство детства, чувство праздника и печали, вкуса и запаха, и прости за опошленное звучание этих прекрасных слов—женской души—все далось тебе в руки. Нет, ты ужасный хам

по отношению к самому себе, если в самом деле считаешь, что «все дурное уже переделано». Боюсь, что лучшего, чем лучшее из вышеназванного дурного, тебе уже не создать! Ну, конечно, был и у тебя, как у всякого настоящего поэта, всякий хлам, но без него нет творчества. А сколько его в ранних маминских стихах—пусть она не сердится на меня за эти слова!

Поэзия сегодняшнего дня это, на мой взгляд, сплошное «хлеб наш насущный даждь нам днесь», и только один Маяковский владел ею вполне,—и она им. Но—не единым хлебом жив человек, даже в такие времена, когда хлеб—это всё. Говорю это en pleine connaissance de cause¹. Велика и глубока сила поэта, и равна ей по величине и глубине только память читателя, о которой обычно поэты не имеют понятия. Ты—тоже. Опять-таки говорю en pleine connaissance de cause.

Ну, вот и всё сегодня. Я тоже ужасно занята, но такими безнадежно нудными делами, что—да Бог с ними совсем, стоит ли о них говорить! И устала.

Целую тебя.

Аля.

ПАСТЕРНАК—ЭФРОН

<Открытка>

10 окт<ября> 1948

Дорогая Аля! Высылаю тебе обещанную рукопись прямо из-под машинки моей приятельницы, маминной тетки и ее большой почитательницы Марины Казимировны Баранович, переписывавшей ее. Из одной франц<узской> вставки я уже вижу, что в ней должны быть опечатки, но у меня нет времени проверять ее, не думаю, чтобы ошибки были так многочисленны, чтобы портили впечатление. Когда прочтешь рукопись и у тебя не будет настоятельной, непреодолимой потребности показать ее еще кому-ниб<удь>, я попрошу тебя переслать ее таким же порядком: г. Фрунзе, почтамт, до востребования, Елене Дмитриевне Орловской. Если это тебе покажется в бытовом отношении неудобным, то в таком случае я попрошу тебя написать мне об этом, и вернешь рукопись по почте мне. Я все время

¹ С полным основанием (фр.).

жил в Переделкине. Мой младший сын однажды сказал, что звонила Ариадна Сергеевна. У нас есть знакомая Ариадна Борисовна, может быть, это была она и он спутал.

Целую тебя.

Твой Б.

ЭФРОН—ПАСТЕРНАКУ

14.10.48

Дорогой Борис! Вчера получила книгу, а сегодня открытку. Спасибо тебе. Я недавно была в Москве несколько дней, звонила тебе, мне сказали, что ты—на даче, т<ак> ч<то> сын твой не спутал, это была именно я. Ужасно жалела, что не удалось повидать тебя, да и сейчас еще жалею. В Москву выехала по приглашению нескольких добрых людей из Союза писателей, которые захотели помочь мне уладить дела с работой, т<о> е<сть> именно с той работой, с которой я вот уже скоро два месяца все ухожу. Обещал все уладить и со всеми переговорить Жаров, который вчера приехал в Рязань на празднование тридцатилетия комсомола, но повидать его и дозвониться ему нет никакой возможности—в гостинице «Звезда» (по температуре—звезда полярная!) ему не сидится, а до остальных мест пребывания—никак не доберешься. Вообще все эти тревобления, мелкие, но постоянные, плюс ко всему ранее пережитому, издергали меня окончательно, как может издергать ежечасно повторяемое «что день грядущий»... из так называемой популярной арии. Очень тяжело и сумасшедше, когда день вчерашний все время насильственно перевешивает, берет перевес над завтрашним, а у меня все время так и получается, и не по моей воле.

Скажи, сколько времени можно читать книгу, мне и еще немногим нескольким? У меня есть мечта, по обстоятельствам моим не очень быстро выполняемая—мне бы хотелось иллюстрировать ее, не совсем так, как обычно, по всем правилам, «оформляются» книги, т<о> е<сть> обложка, форзац и т. д., а сделать несколько рисунков пером, попытаться легко прикрепить к бумаге образы, как они мерещатся, уловить их, понимаешь? М<ожет> б<ыть>, и даже наверное, это было бы не твое и не то—впрочем, почему «даже наверное»? Как раз может оказаться и твоим, и тем самым. Но это осуществимо только при условии, если я останусь здесь, ибо, если не дай Бог придется в скором

времени перебираться к Асе, то это будет долгий перерыв во всем на свете. Это будет просто ужасно, пишу я совершенно искренне, совершенно искренне сознавая собственное свинство.

Целую тебя.

Твоя Аля.

ЭФРОН—ПАСТЕРНАКУ

20 ноября 1948

Дорогой злой Борис! Позволь на этот раз не послушаться тебя, и не быть тебе другом, и не отсылать (пока еще) «его» во Фрунзе, и «делать себе из него муку», и «тратить на него свои вечера». Тем более, что ты только что, совсем недавно, разрешил мне все это. Это раз. Во-вторых, какая может быть непосредственная связь между моим отношением к тебе и моим же отношением к роману? Хоть он и твой, но, раз написан, он уже *он*, сам по себе, и сам за себя отвечает. Таким образом, может быть хорошее отношение к автору и плохое—к произведению, и плохое к автору и хорошее—к произведению, и может быть отношение дух захватывающее и к тому, и к другому, одним словом—все может быть. Таким образом, если я хочу многое написать тебе о написанном тобою, то это вовсе не для того, чтобы доказать свое отношение к тебе. Это во-вторых. А в-третьих—о какой закономерности недостатков говоришь ты, *ты*? Ты можешь говорить о закономерности недостатков, ну, скажем, своих детей—но не об этом ребенке, созданном совсем иным творческим методом!

Ты писал как ты мог и как хотел, дай же мне почитать так, как я могу и как хочу, и дай мне написать м<ожет> б<ыть> не совсем так, как мне хочется, п<отому> ч<то> я не всегда умею, но так, как смогу. И не пиши мне, Бога ради, таких, сверху чуть приглаженных, но на самом деле таких злых открыток.

Прости меня за медленность—что-то сделалось со временем и со мной. Время существует, но оно никогда не мое, оно меня гонит и гоняет по пустякам, и я совершенно загнана всякой конторской белибердой и домашними «делами»—топкой, от которой никому не жарко, готовкой, от которой никто не сыт, и т. д., и все надоело, ну и Бог с ним. Крепко целую тебя, дорогой злой Борис!

Твоя Аля.

20 ноября 1949

Дорогой Борис! Твой изумительный Шекспир дошел до меня уже давно, а мне так не хотелось отвечать на него наспех и вкратце, и все ждала, что вот-вот будет настоящий свободный вечер, когда я смогу быть наедине с тобой—несмотря на расстояние, с ним (с Шекспиром, то есть!) несмотря на столетия, разделяющие нас, и, наконец, с самой собою, несмотря на все на свете. Ничего не получается. Такие вечера ждут меня, видно, только на том свете, а пока что приходится писать тебе так, как голодная собака кусок глотает—вполне судорожно.

Я помню, как-то писала маме о том, что радость теперь только ранит, мгновенно вызывает чувство острой боли, так бывало, когда я получала ее письма. И в самом деле, жизнь настолько приучила к толчкам, что только их и ждешь от нее—причем всегда недаром. Вдруг, среди снегов, снегов, снегов, еще тысячу раз снегов, среди бронированных, как танки, рек, стеклянных от мороза деревьев, перекосившихся, как плохо выпеченные хлеба, избушек, среди всего этого периферийного бреда—два тома твоих переводов, твой крылатый почерк, и сразу пелена спадает с глаз, на сердце разрывается завеса, потрясенный внутренний мирок делается миром, душа выпрямляет хребет. И больно, больно от радости, как бывало больно от маминых писем, как от встречи с тобой, как от встречи с монографией твоего отца в библиотеке рязанского художественного училища, как от встречи с твоим «Детством Люверс» там, где никаких Люверсов и никаких детств.

На какой-то промежуток времени—вне времени—жизнь становится сестрою, ну а потом всё сначала.<...>

В клубе, или «Районном доме культуры», где я работаю, часто бывает кино. Когда-то, девочкой, я очень любила его, сейчас же совсем не переносу. Все его условности—грим, декорации, освещение—угнетают. Никогда ничего не смотрю, некогда и не хочется. На днях, идя с работы, проходя через темный зал, увидела случайно на экране несколько кадров американской картины «Ромео и Джульетта». Джульетта с черными от помады губами, с волосами, взбитыми à la «маленькие женщины» Луизы Олькотт, в кафешантанном дезабилье ворковала на чистейшем американском диалекте с Ромео из аргентинцев—из аргентин-

ских парикмахеров. За сводчатым окном что-то чирикало, какой-то соловьино-жавороночный гибрид. Экран гнулся под тяжестью двуспальной кровати, убранной с голливудским великолепием.

Задерживаться я, конечно, не стала, а, придя домой донельзя усталая и сонная, схватила твой перевод «Ромео и Джульетты». Страшная, страстная, предельно-простая и ужасно близкая к жизни вещь. Современна и архаично, как сама жизнь. Какой ты молодец, Борис! Спасибо тебе за Шекспира, за тебя самого. Спасибо тебе за все, мой родной. Ужасно я бессловесная, а когда словесная, то ужасно косноязычная — надеюсь, что ты и так все понимаешь, что хотела бы, да не умею, сказать.

Книг у меня здесь совсем нет. Я бы очень хотела получить твои «Ранние поезда». Вообще все что возможно твоего. Если нетрудно. Если трудно — тоже.

Крепко тебя целую. Напиши мне.

Твоя Аля.

А как чудесно изданы книги!

ПАСТЕРНАК — ЭФРОН

20 дек <абр> 1949

Дорогая бедная моя Аля!

Прости, что не пишу, что и сейчас не напишу тебе. Умоляю тебя, крепись, мужайся, даже по привычке, по-заученному, в моменты, когда тебе это начинает казаться бесцельным или присутствие духа покидает тебя.

Ты великолепная умница, такие вещи надо беречь. Как хорошо ты видишь, судишь, понимаешь все, как замечательно пишешь! Еще до твоего письма ко мне сидел у Елиз<аветы> Яковл<евны> и Зин<аида> Митрофановна¹ вслух читала твое только что тогда полученное послание. Ну пронизательность! Ну глубина! Ну остроумие — прелесть, прелесть!

О себе нечего рассказывать, все по-старому, пусть они тебе напишут, только милая печаль моя попала в беду, вроде того, как ты когда-то раньше².

¹ Елизавета Яковлевна Эфрон — тетка Ариадны, дальше в письмах называется также Лили. Зинаида Митрофановна Ширкевич — ее приятельница и компаньонка.

² Арест О. В. Ивинской.

Как только будет возможность, пошлю тебе что-ниб<удь> из книжек или еще что-ниб<удь>, если можно будет.

От души всего тебе лучшего. Твой Б.

ЭФРОН—ПАСТЕРНАКУ

5.1.50

Дорогой Борис! Только что получила твое, первое здесь, письмо. Спасибо тебе. Я, кажется, не в первый раз пишу тебе о том, что почерк твой всегда, всю жизнь, напоминает мне птиц, взмахи могучих крыльев. Вот и сейчас, только взглянула на твой конверт, и почудилось, что всем законам вопреки все журавли вернулись, и все лебеди. А как было печально, когда они улетали, все эти стаи, сложенные треугольником, как солдатские письма! Горизонт сторожили вытянутые в струнку ели, тяжело ворочал свои волны Енисей, воздух пронзали холодные струи. До жути величественная это вещь—Север! Много пережила я северных зим, но ни одну так ежечасно, ежеминутно, не чувствовала, как эту. Уж очень она тяжело, даже своей красотой, давит на душу. М<ожет> б<ыть> потому, что красота эта абсолютно лишена прелести. И, как к таковой, я к ней была бы равнодушна, если бы не чувствовала ее настолько сильнее себя.

Я не отчаиваюсь, Борис, я просто безумно устала, вся, с головы до пяток, снаружи и изнутри. Впрочем, м<ожет> б<ыть> это и называется отчаянием?

Твоя печаль очень меня огорчила, из-за тебя, главным образом. Много хотелось бы сказать тебе, но эти снега так располагают к молчанию! Могу только думать и чувствовать о тебе, тебя и с тобою.

Что могу рассказать тебе о своей жизни? Бесконечно много и беспредельно бестолково работаю, пытаюсь быть художником без красок, кистей, а на это уходит не только все рабочее, но почти и все нерабочее время. Всегда чувствую самую настоящую радость оттого, что работаю под крышей, а не под открытым всем ветрам, метелям и морозам небом. И хоть более или менее по специальности. По данным условиям это—большое счастье.

Жилищные условия неважные, главное—нет своего угла, в редкие свободные минуты я всегда обречена на общество людей, с которыми у меня ни общего языка, ни общих интересов, и, что наименее приятно—общее

жилье. Вечно донимает холод, несмотря на то, что я превращаю в дрова и то, что сама зарабатываю, и то, что мне присылают. Но все это терпимо, все это даже не лишено интереса, лишь бы знать, что короленковские огоньки—впереди, а не позади. Но сейчас, впервые в жизни у меня совершенно не о чем мечтать, а я только так и могу жить—следуя за мечтой, как осел за репейником, привязанным к палке погонщика.

Ты вот пишешь, что я умница. А я, честное слово, с бóльшим удовольствием была бы последней дурочкой в Москве, чем первой умницей в Туруханске.

Твоего Шекспира перечитываю до бесконечности. Я им безумно дорожу, и, представь себе, отдала его в руки совершенно незнакомого паренька, который пробовал достать твои стихи в здешней, очень маленькой, библиотечке. Он вернул его в полной сохранности, ему очень понравилось, но он сказал, что ему было нелегко вылавливать тебя из Шекспира, очень просил только твоих стихов, у меня же нет ничего. Я только помню отрывки про море из «1905-го года» и про елку из «Ранних поездов». До сих пор не знаю, что за паренек, видимо какой-н<и>б<удь> геолог или геодезист, или еще какой-н<и>б<удь> «гео». Наверное и сам пишет.

Пора приниматься за очередное нечто. Крепко тебя целую и люблю. Спасибо тебе за все.

Твоя Аля.

ПАСТЕРНАК—ЭФРОН

19 янв<аря> 1950

Дорогая моя Алечка, спасибо тебе за твое письмо воздушной почтой от 5-го янв<аря>, родная моя. И опять ничего не напишу тебе не из-за недосуга или какой-ни<будь> «важности» моих дел, а из-за невозможности рассказать тебе главную мою печаль, что было бы глупо и нескромно, и что вообще невозможно по тысяче иных причин.

Но что надо было бы сказать тебе, что было бы радостно и приятно знать тебе, это вот что. Если несмотря на все испытанное ты так жива еще и не сломлена, то это только живущий бог в тебе, особая сила души твоей, все же торжествующая и поющая всегда в последнем счете, и так далеко видящая и так насквозь! Вот особый истинный источник того, что еще

будет с тобой, колдовской и волшебный источник твоей будущности, которой нынешняя твоя судьба лишь временно внешняя, пусть и страшно затянувшаяся часть.

Если бы речь шла только о твоей талантливости, я бы так не распространялся, но бывает еще дар какого-то магического воздействия на течение вещей и ход обстоятельств. То что ты как заговоренная идешь через эти все несчастья, это чудо тоже творческое, от тебя исходящее.

Не думай, что я начинаю роман с тобой, пытаюсь влюбить тебя в себя или что-ниб<удь> подобное (я без того люблю тебя)—но смотри, что ты *можешь*: твое письмо глядит на меня живой женщиной, у него есть глаза, его можно взять за руку, и ты еще рассуждаешь! Я верю в твою жизнь, бедная мученица моя, и, помани мое слово, ты еще увидишь!..

Я тебе пытался доказать тут что-то, недостаточно оформив это для себя. Такие вещи никогда не удаются... Послал тебе немного денег и две-три книжки. Когда наконец выйдет однотомник Гете с 1-й частью Фауста в моем переводе и если будут оттиски, пошлю тебе. Крепко целую тебя.

Твой Б.

ЭФРОН—ПАСТЕРНАКУ

31.1.50

Дорогой мой Борис, это не письмо, а только записочка, через пень колоду возникающая в окружающей меня суете и сутолоке. Я получила всё, посланное тобой, и за всё огромное тебе спасибо. Стихи твои опять, в который раз, потрясли всю душу, сломали все ее костыли и подпорки, встряхнули ее за шиворот, поставили на ноги и велели—живи! Живи во весь рост, во все глаза, во все уши, не щурься, не жмурься, не присаживайся отдохнуть, не отставай от своей судьбы! Безумно, бесконечно, с детских лет люблю и до последнего издыхания любить буду твои стихи, со всей страстью любви первой, со всей страстью любви последней, со всеми страстями всех любовей от и до. Помимо того, что они потрясают, всегда, силой и точностью определения неопишуемого и невыразимого, неосязаемого, всего того, что заставляет страдать и радоваться не только из-за и не только хлеба насущному, они являлись всегда, и всегда являться будут критерием совести поэтической и совести человеческой.

Я тебе напишу о них, когда немного приду в себя — от них же.

На твое письмо я немного рассердилась. Не нужно, дорогой мой Борис, ни обнадеживать, ни хвалить меня, ни, главное, приписывать мне свои же качества и достоинства. Этим же, кстати и некстати, страдала мама, от необычайной одаренности своей одарявшая собой же, своим же талантом, окружающих. Часть ее дружб и большинство ее романов являлись по сути дела повторением романа Христа со смоковницей (таким чудесным у тебя!). Кончалось это всегда одинаково: «О как ты обидна и недаровита!» — восклицала мама по адресу очередной смоковницы, и шла дальше, до следующей смоковницы. От них же — первый, или первая, есмь аз. Больше же всего я рассердилась на то, что мол я могу подумать о начале какого-то романа или о чем-то в этом роде. Господи, роман продолжается уже свыше 25 лет, а ты до сих пор не заметил, да еще пытаешься о чем-то предупредить или что-то предупредить. Я выросла среди твоих стихов и портретов, среди твоих писем, издали похожих на партитуры, среди вашей переписки с мамой, среди вас обоих, вечно близких и вечно разлученных, и ты давным-давно вошел в мою плоть и кровь. Раньше тебя я помню и люблю только маму. Вы оба — самые мои любимые люди и поэты, вы оба — моя честь, совесть и гордость. Что касается романа, то он был, есть и будет, со встречами не чаще, чем раз в десять лет, на расстоянии не меньшем, чем в несколько тысяч километров, с письмами не чаще, чем бог тебе на душу положит. А то м<ожет> б<ыть> и без встреч и без писем, с одним только расстоянием.

Дорогой Борис, все, что ты мог бы рассказать мне о своей печали, я знаю сама, поверь мне. Я ее знаю наизусть, пустые ночи, раздражающие дни, все близкие — чужие, страшная боль в сердце от своего и того страдания. И почему-то на лице вся кожа точно стянута, как после ожога. Дни еще кое-как, а ночью все та же рука вновь и вновь выдирает все внутренности, все entrailles¹, что Прометей с его печенью и что его орел! А если заснешь, то просыпаешься с памятью, уже нацеленной на тебя, еще острее отточенной твоим сном. Как четко и как страшно думается и вспоминается ночью... Мой бесконечно родной, прости мне мое косноязычие, мое ужасное смоковничье неумение выразить то, что чувствую, думаю, знаю. Но ты, который

¹ Потроха (фр.).

понимаешь язык ветра, дождя, травы, конечно поймешь и меня, несложную.

Целую тебя и желаю тебе.

Твоя Аля.

ПАСТЕРНАК — ЭФРОН

19 февр<аля> 1950

Дорогая Аля! Зачем ты называешь свое большое, полное души и мысли письмо короткой временной запиской, и собираешься сверх неисчислимо многого, сказанного уже в нем, написать мне еще что-то о стихах, точно я такой ненасытный вампир,—не надо, Аличка. Эти книжки я послал тебе после твоих слов о «пареньке» в клубной библиотеке, на случай, если кому-ниб<удь> понадобится.

Я долго болел гриппом с очень высокой температурой и чувствую себя еще и сейчас совсем разбитым. Тут было какое-то подытоживающее потрясение всего жизненного существа, и чем-то вроде обвинительного приговора после болезни, как после судебного разбирательства, над душой повисла растерянность и слабость.

Я боюсь заговаривать с тобой на эту тему, потому что каждый такой мой намек будет вызывать бурю твоих возражений, но мое авторское барахтанье в жизни чересчур затянулось, у многих гораздо раньше опускались руки, и ведь это недоразумение, я давно смирился и вообще никогда ни на что не в претензии.

Я рад, что я житейски нужен семье и нескольким близким, и хотел бы быть нужным двум-трем людям вроде тебя, которых люблю. Потребность в зарработке, которая, бог даст, долго еще у меня будет, оправдывает в моих глазах мое существование, а средством заработка останется для меня литературный перевод. А об остальном нечего и думать, всему было свое время, и надо быть благодарным прошлому.

Мне трудно писать, слабость отражается даже на почерке.

Целую тебя.

Твой Б.

Сообщи, пожалуйста, Асе, что я хвораю и не так скоро напишу ей.

22 февр<аля> 1950

Дорогая Аля!

Я тебе написал на днях в состоянии такой хандры и, вероятно, умственной расслабленности, что не уверен, не были ли в письме нарушены законы смысла и согласования частей речи,—ты оставь без внимания то письмо.

Мне гораздо легче сейчас, не беспокойся обо мне. Все же одно соображение, высказанное там, остается в силе. Не воображай, пожалуйста, что ты в каком-то нравственном долгу передо мной, что ты меня в чем-то недостаточно убедила, чего-то не договорила или не дописала. Ты всегда исчерпывающе красноречива и сильна, я чувствую и знаю твою любовь и горжусь твоей одаренностью и одухотворением. Я все знаю, не трать времени и сил на меня, они так нужны, так нужны тебе в твоих чудовищных условиях. Говорю не обиняками, это причины прямые, никаких других нет.

Всего тебе лучшего. Будет время и возможность, опять напомни о себе. Спасибо тебе.

Твой Б.

ЭФРОН — ПАСТЕРНАКУ

6. III. 50

Дорогой Борис! Получила два твоих гриппозных письма, одно за другим. Нет, дорогой мой Борис, я очень далека от того, чтобы «чувствовать себя в долгу» перед тобой, и от мысли, что я могу или должна что-то «доказать» тебе. Неужели на старости лет мои письма, мои попытки писем, делаются такими же настырными, утомительными и, по долгу человечности, требующими ответа, как Асины? (В жизни не встречала более мучительного чтения!) Прочтя твои отповеди, смягченные неизменным дружелюбием, я почувствовала себя «militante¹ № 2» и ужасно смутилась. Видишь ли, когда мне хочется написать тебе, ну, скажем, о твоих стихах, то это вовсе не по какому-либо долгу службы или дружбы, а просто потому, что это для меня очень большая радость, тем ббольшая, что у меня их совсем не

¹ Воительница (фр.).

осталось. В прежней, теперь кажущейся небывалой, жизни, было все—плюс стихи. В теперешней жизни ничего не было. Потом появились твои стихи, и сразу опять все стало, потому что в них все, бывшее, будущее, вечное, все, чем душа жива. Вот об этом мне тебе хотелось рассказать, но, видимо, все мое здешнее бытие настолько насыщено тревогой и неустойчивостью, что ничего, кроме тревоги и неустойчивости, я не сумела выразить. По себе знаю, насколько утомительны и лишни такие письма, да и такие люди, как их ни люби, ни уважай, ни сочувствуй им. Во всем этом виноваты мои нелепые обстоятельства больше, чем я сама. Правда, все эти пятидесятиградусные, безысходные морозы, теснота и темнота в избушке, непрочность на работе, угнетенное, неравноправное состояние всё делают как-то шиворот-навыворот, как в «Алисе в стране чудес». Я не буду больше тебе писать, чтобы не усугублять твоего гриппа, и такого, и душевного.

Мне хотелось тебе писать еще и потому, что ты сам о себе многого не знаешь, т<о> е<сть> не о себе, а о своих стихах. Вот на днях я получила письмо от одной молоденькой приятельницы, студентки последнего курса Литфака. Она разошлась с мужем, сдала трехлетнего сына бабке и ушла к какому-то юноше, в пользу которого пишет только четыре слова: «чудесные волосы, ярьй пастернаковец». Т<ак> к<ак> она существо не типа Далилы, то дело тут явно не в чудесных волосах. Позабавил и тронул меня этот случай, я так живо представила себе, как обладатель вышеупомянутых волос и нескольких книжек твоих стихов очаровал эту двадцатитрехлетнюю женщину несколькими твоими ливнями, грозами, «Вальсом со слезой» и «Рождеством», разбил ее жизнь и умчал ее «на ранних поездах» куда-то под Москву, где она и обретается сейчас, вполне счастливая до той поры, пока не сообразит, что все это—какой-то плагиат. Стихи-то ведь—твои, а что касается волос, то ведь он может облысеть!

Ты их не знаешь, ни его, ни ее, ни многих, многих, для которых твои стихи та же самая радость, которую мне никак не удастся выразить. Да я теперь и пробовать не буду.

На днях к нам приезжал наш кандидат в депутаты Верховного Совета. Мороз был страшный, но все туруханское население выбежало встречать его. Мальчишки висели на столбах и на заборах, музыканты промывали трубы спиртом, а также и глотки, и репети-

ровали марш «Советский герой». Рабочее и служащее население несло флаги, портреты, плакаты, лозунги, особенно яркие на унылом снежном фоне. И вот с аэродрома раздался звон бубенцов. Мы-то знали, что с аэродрома, но казалось, что едет он со всех четырех сторон сразу, такой здесь чистый воздух и такое сильное эхо. Когда же появились кошевки, запряженные низкорослыми мохнатыми быстрыми лошадками, то все закричали «ура!» и бросились к кандидату, только в общей сутолоке его сразу трудно было узнать, у него было много сопровождающих — и у всех одинаково красные, как ошпаренные морозом, лица. И белые шубы — овчинные. Я сперва подумала, что я уже пожилая и не полагается мне бегать и кричать, но не стерпела и тоже куда-то летела среди мальчишек, дышл, лозунгов, перепрыгивала через плетни, залезала в сугробы, кричала «ура» и на работу вернулась ужасно довольная, с валенками, плотно набитыми снегом, охрипшая и в клочьях пены.

Ты знаешь, я так люблю всякие демонстрации, праздники, народные гулянья и даже ярмарки, так люблю русскую толпу, ни один театр, ни одно «нарочное» зрелище никогда не доставляло мне такого большого удовольствия, как какой-н<и>б<удь> народный праздник, выплеснувшийся на улицы — города ли, села ли.

То, чего мама терпеть не могла.

И опять я написала тебе много всякой ерунды, такой лишней в теперешней твоей жизни. Как я хорошо себе представляю ее, чувствую, да просто знаю!

Крепко тебя целую. Не более больше!

Твоя Аля.

ПАСТЕРНАК — ЭФРОН

29 марта 1950

Дорогая Аля!

Получил замечательное твое, по обыкновению, письмо в ответ на мои гриппозные и отвечаю, по обыкновению, коротко и второпях.

Чудно ты пишешь о приезде депутата, о встрече его и о себе. Ты сама это знаешь. И на притворную тему «militante № 2» тоже великолепно ломаешься. И тоже все чудно знаешь. Я тебя крепко целую.

Если «Воскресение» с частью отцовских иллюстраций я по забывчивости посылаю тебе вторично, ты меня прости и книгу подари кому-нибудь другому.

В книгу я всунул несколько страниц новых стихов, продолжение прежних (Из романа в прозе), я их написал в ноябре и декабре. Они сразу оттолкнут тебя, покажутся неяркими и чересчур (нехудожественно) личными. Но если, перечтя их, по прошествии некот<орого> времени, ты их допустишь, и если то, что я тебе сейчас предложу, покажется тебе имеющим смысл, исполнимым и удобным, перепиши их (хотя бы от руки) и пошли Асе.

Но вопрос, дойдут ли они вообще по почте, п<отому> ч<то> я всунул их в книгу и м<ожет> б<ыть> этого нельзя делать.

Я обрадовался твоему письму еще и оттого, что начал беспокоиться о твоём здоровье.

Твой Б.

У меня ничего не изменилось, но сам я здоров, много и хорошо работаю.

Напиши, когда все получишь и спишешься с Асей.

ЭФРОН—ПАСТЕРНАКУ

10 апреля 1950

Дорогой Борис! Твои письма, оба, дошли до меня в тот же день и час,—и книга, и стихи. Спасибо тебе.

О стихах: среди всего твоего, мною прочитанного когда-либо, нет и не было «отталкивающего», да пожалуй и не может быть, слишком велика *притягательная* сущность твоих стихов, чтобы была возможна хоть в какой-то мере какая-то контр-притягательная сила. Насчет же «неяркости» и «нехудожественно-личного», то, по-моему, ни «яркостью», ни «художественностью» стихи твои никогда, слава Богу, не грешили. Для меня «яркость» синоним «внешнего», а «художественность» граничит с искусственностью. В последнем я, может быть, неправ, понимая это по-своему, а м<ожет> б<ыть> у меня это атавизм типа галлицизма, т<о> е<сть> «art»—«artificiel». По-моему, неспроста отсутствует у галлов понятие «художественности», при наличии понятий искусства и ремес-

ла. Как ты думаешь? Да и вообще, может ли *твое* личное оказаться «нехудожественным», претворясь в *стихотворение*? Подчеркнула «твое», т<ак> к<ак> у многих—может, а у тебя не получается.

Стихи твои—прекрасны. Спасибо тебе за них, за то, что ты их пишешь, за то, что ты—ты.

Все перепишу и пошлю.

Что же до «*militante № 2*», то эта тема не притворна и не разыграна. Потому что со мной тоже не раз случалось—получать письма, написанные от души, но так, что их душа не приемлет, ибо ужасно трудно любить так, как нужно любимому, а не любящему (не прими это как-н<и>б<удь> узко!), и писать так, как это нужно адресату, особенно гриппозному. Тут дело не в том, чтобы «подладиться» как-то, а—чтобы это было именно *то самое*.

Один экз<емпляр> «Воскресения» ты мне подарил в Москве, но я не смогла захватить его сюда с собой. Очень рада, что ты прислал мне эту книгу, не из-за Толстого, а из-за отца, осуществившего тему лучше, чем автор, т<о> е<сть> с не меньшей любовью, но абсолютно без сантиментальности. Ты понимаешь, вторая половина книги расхолаживает меня к первой, прекрасной, тем, что напряжение, по теме и замыслу должествующее нарастать, падает, расплывается, захлебывается в лжи толстовской «правды», точно уже не Толстой, а его вегетарианцы писали.

Жаль, что репродукции неважные и часть иллюстраций срезана—видимо, чтобы не уменьшать до искажения. Вот например в иллюстрации к заутрене (или к чистому четвергу?)—там, где все со свечками—срезана чудная фигурка мальчика, который крестится, с силой вжимая пальчики, сложенные щепоткой, в лоб, как бабушка учила. Беленькая головка наклонена, только темя видно и эта ручонка. А особенно сильна сцена, где Катюша, в арестантском халате, почти спиной к зрителю, видит там, вдали, Нехлюдова, а за ее спиной конвоир, так вот *настороженность* руки конвоира.

Часть этих иллюстраций, в чудесных репродукциях, я видела в монографии твоего отца в Рязани—писала тебе тогда об этой книге, и до сих пор не могу себе простить, что не догадалась украсть ее, там столько чудесного, и много портретов вас, детей и подростков, и матери.

Живу все так же. Жду весны, как никогда в жизни. Бывало, весна приходила своим чередом, а здесь, чтобы она пришла, нужно все сверхчеловеческое напря-

жение человеческой воли, ибо здесь она не просто весна, а такое же чудо, как воскресение Лазаря, настолько все мертво и спеленуто. (Как хорошо у тебя про Лазаря в последних стихах!) И вот я все время из недр своих взываю и вопияху, но вызвала пока что только один-единственный весенний день с настоящей капелью и попытками луж. Обрадовалась — и все пропало. Пурга, заносы, морозы.

А наше село чем-то похоже на Вифлеем. Каким-то библейским убожеством, м<ожет> б<ыть> таящим в себе Чудо, а м<ожет> б<ыть> только ожиданием его, чаянием.

Снега и снега, лачуги, лохматые коровы, косматые псы. Все время приходится перебарывать возникающее от пейзажа и окружения желание волочить ноги и сутулиться, насколько город подтягивает, настолько село, да еще северное, размагничивает.

Работаю много, часто свыше своих, теперь небольших, сил, но работа эта не утоляет жажды настоящей работы и даже не заглушает ее, несмотря на то, что считаюсь художником и работа близка к специальности.

Чувствую себя неважно, плохо переношу климат. Постоянная противная температура в окрестностях 37,5 и постоянно чувствую сердце, это, плюс многое другое, очень утомляет.

Но в общем все, как всегда, терпимо.

Спасибо тебе за все.

Целую тебя.

Твоя Аля.

ЭФРОН—ПАСТЕРНАКУ

5.5.1950

Дорогой Борис! Огромная к тебе просьба: мне очень нужны мамины стихи: 1—цикл стихов к Пушкину, 2—цикл стихов к Маяковскому и 3—цикл стихов о Чехии. Последний цикл написан был мамой в период захвата Гитлером Чехословакии. М<ожет> б<ыть> все это есть у тебя, если нет, то может быть у Крученых, у к<оторо>го много маминых вещей, рукописных и перепечатанных. Если нет ни у тебя, ни у Крученых, то есть у Лили в черновиках. Мне нужны обязательно все три цикла. Теперь так—если ты обратишься к Крученых, то очень попрошу тебя—не от

моего имени. Мы с ним не очень ладим, и мне он может отказать, а тебе наверное нет. И последняя инстанция—Лиля. Там труднее всего, т<ак> к<ак> они обе устали, больны, им это очень утомительно и трудно, и кроме того действительно нелегко разыскать нужное в черновиках, если у них нет оттисков или хотя бы переписанного набело. Только мне очень хочется, чтобы все мамины тетради остались на месте, т<ак> к<ак> даже при самом бережном отношении что-н<и>б<удь> может пропасть, как это случилось с письмами, а рукописи—невосстановимы.

Я знаю, что тебе это будет очень трудно, но просить мне больше некого, т<ак> к<ак> только тебе могу доверить эту просьбу, во-первых, и вообще во-вторых. Очень прошу тебя, сделай это, и если возможно—поскорее.

Кроме того, если есть возможность, пришли немного хотя бы своих книг, т<о> е<сть> книг своих стихов, у меня на руках осталось только надписанное тобою мне, а читателей, и среди них таких, которые заслуживают иметь твои книги, много. Если нельзя прислать несколько экземпляров, то пришли хоть немного, и я отдам в библиотеку, где часто тебя спрашивают и где нет ничего твоего.

Прости за эти трудновыполнимые просьбы. Один Бог знает, кажется, с какой радостью я все это сделала бы сама!<...>

Скоро ледоход. Я впервые увижу его на такой большой реке. Енисей—огромный, шире Волги на много. Я боюсь ледохода, даже на Москва-реке. Это страшно, как роды. Весна рождает реку. Последний ледоход я видела в прошлом году на Оке, и мне было в самом деле и страшно и немного неловко смотреть, как на что-то личное и тайное в природе, несмотря на то, что все было так явно!

У меня опять очередное несчастье—через две недели я буду без работы, т<о> е<сть> нашему учреждению не на что нас, не-бюджетных, живущих на «привлеченные средства»,—содержать. А работу найти очень трудно, почти невозможно. Господи, как жить, что делать, о какую стенку головой биться, и ума не приложу! М<ожет> б<ыть> за эти две недели что-н<и>б<удь> чудесным образом наклюнется, хотя шансов на это никаких. Никак не вылезу из серии плохих чудес, никак не попаду в хорошие! (чудеса).

Крепко тебя целую.

Твоя Аля.

25 мая 1950

Дорогая Аля!

О Чехии придет тебе Елиз<авета> Як<овлевна>, к Пушкину достанет Крученых, разыщем и о Маяковском. Сейчас все разъезжаются по дачам, это затрудняет.

Каждый раз как заходит разговор о маминых книгах или рукописях, это мне как нож в сердце. Разумеется, это укор уничтожающий и убийственный, что у меня ничего не осталось отцовского, Цветаевского, Рильковского, близкого как жизнь и как жизнь растекшегося¹. Этому нет имени, и ссылки на то, как я живу, как складывалась жизнь и пр<очее>, оправдать меня не могут, а разве только послужить успокоением, что из многих видов преступности это не самый худший. Так, проезжая на антифашистский съезд, где я тебя видел, я не захотел встретиться с родителями, потому что считал, что я в ужасном виде, и их стыдился. Я твердо верил, что это еще случится с более достойными возможностями, а потом они умерли, сначала мать, а потом отец, и так мы и не повидались. Это все одного порядка, и этого много у меня в жизни, но клянусь тебе, не от невнимания или нелюбви!!

У тебя очень хорошо о весне, о *ледоходе*.

У меня все так же нет ничего своего, что я мог бы послать тебе. Посылаю тебе однотомник Гете нарочно без надписи, чтобы ты могла подарить его Вашей библиотеке с твоей собственной, если это тебе будет интересно.

В однотомнике есть мой перевод Фауста, и не будет ничего удивительного, если он удовлетворит тебя. Сколько принесено было в жизни жертв призванию, какая создана замкнутость и пр<очее>, пора, кажется, научиться. Гораздо удивительнее совершенство остальных переводов, мелких и крупных, людей с более скромным именем, среди которых мой Фауст затерялся.

Это было для меня открытием. И переводить, как оказывается, не стоит, все научились.

Крепко целую тебя.

Как только будет возможность, переведу тебе денег.

Твой Б.

¹ Это все в чьих-то руках, но поди вспомни в чьих, когда их так неисчислимо много! (Примеч. Б. Пастернака.)

28 мая 1950

Дорогая Аля!

Вот «К Пушкину», достали только вторую половину, первую разыскивают. О Чехии пришлет Елиз<авета> Яковлевна. Это переписал своей рукой Крученых и я не даю переписывать на машинке, чтобы не задерживать.

Осталось о Маяковском, делают и это.

Прости меня за торопливость, послал тебе заказной бандеролью однотомник Гете, посмотри, что тебе будет интересно, и потом от себя со своей надписью подари в Вашу библиотеку.

Твой Б.

ЭФРОН — ПАСТЕРНАКУ

7.VI.50

Дорогой Борис! Получила твое письмо, и второе со стихами, и только сейчас осознала, до какой степени разрознено все мамино. То, что переписал Крученых, лишь незначительная часть пушкинского цикла, а не то, что «первая» или «вторая». Там было не менее десяти стихотворений — я, конечно, могла бы восстановить в памяти хоть названья, если бы голова не была сейчас так заморочена и не похожа на самое себя.

Когда я думаю об огромном количестве всего написанного ею и потерянного нами, мне страшно делается. И еще страшнее делается, когда думаю, как это писалось. Целая жизнь труда, труд всей жизни. И еще многое можно было бы разыскать и восстановить, и сделать это могла бы только я, единственная оставшаяся в живых, единственный живой свидетель ее жизни и творчества, день за днем, час за часом, на протяжении огромного количества лет. Мы ведь никогда не расставались до моего отъезда, только тогда, когда я уехала, она писала без меня, и то уже совсем немного.

Я никогда не смогу сделать этого, я разлучена с ее рукописями, я лишена возможности разыскать и восстановить недостающее. Я ничего не сделала для нее живой, и для мертвой не могу.

Мне очень понятно все, о чем ты говоришь. Конечно, тогда ты не мог увидаться с родителями, тогда еще казалось, что главное хорошее — впереди, тогда еще многое «казалось», а жизнь проходила, и для многих — прошла уже. Как же тяжело чем дальше, тем больше сталкиваться с невозстановимым и непоправимым.

Я ужасно устала. Такая длинная, такая темная и холодная зима, постоянное, напряженное преодоление ее, а теперь вот весна — дождь и ветер, ветер и дождь, вздыбившаяся свинцовая река, белые ночи, серые дни. Ледоход начался 20 мая, и до сих пор по реке бегут, правда все более и более редкие, все более и более обглоданные льдины. Пошли катера, этой или будущей ночью придет первый пароход из Красноярска. Но пока что нигде никакой зелени, по селу бродят грустные, низкорослые, покрытые клочьями зимней шерсти коровы и гложут кору с жердей немудреных наших заборов.

Одним словом, мне ужасно кюхельбекерно и скучно — надеюсь, что только до первого настоящего солнечного дня.

Пишу тебе ночью. Без лампы. Спать не хочется и жить тоже не особенно. Тем более, что живется так нелегко, так дергано и так неуверенно!<...>

Книгу, о к<отор>ой пишешь, еще не получила, жду с нетерпением и вряд ли отдам. Самой нужны стихи. По уши увязла в прозе.

Спасибо тебе за все, за все, мой дорогой. Как только у меня что-н<и>б<удь> «утрясется», напишу тебе по-человечески, а сейчас только по-дождливому пишется.

Очень люблю тебя за все.

Твоя Аля.

ЭФРОН — ПАСТЕРНАКУ

8. IX. 50

Дорогой Борис! Все никак не удается написать тебе, а вместе с тем нет ни одного дня, чтобы не думала о тебе и не говорила бы с тобой. Но занятость и усталость такие, что всем этим мыслям и разговорам так и не удастся добраться до бумаги. Большое, хоть и ужасно запоздалое, тебе спасибо за твоего «Фауста». Для меня он — откровение, т<ак> к<ак> до этого читала (уже давно) в старых переводах, русских и французских, где за всеми словесными нагромождени-

ями Гете совершенно пропал, вместе с читателем. Я, любя твое, очень к тебе придиричива, но тут о придириках не может быть и речи — безупречно.

Вообще — прекрасен язык твоих переводов, шекспировские я все читала, ты, как никто, умеешь, помимо остального, передавать эпоху не вдаваясь в архаичность, что ли, благодаря этому читающий чувствует себя современником героев, их язык — его язык. Необычайное у тебя богатство словаря. Фауста прочла сперва начерно, сейчас перечитываю медленно и с наслаждением, по-настоящему наслаждаюсь каждым словом и словечком, рифмами, ритмами, и тем, что все это — живое, крепкое, сильное, настоящее.

Милый мой Борис, жестоко ошибаются те, кто не чувствует в твоём творчестве жизнеутверждающего начала. Тебе, конечно, от этого не легче! Не тот критик плох, который писать не умеет, — а тот, который не умеет читать! <...>

Благодаря тебе с жильем все у меня налажено и улажено, славный маленький домик на берегу Енисея, комната и кухня, живем вдвоем с приятельницей и с нами собака. Пристроили сени, все оштукатурили снаружи и внутри, все — сами, и теперь все побелила и известка так съела пальцы, что перо держу раскорякой, особенно большой и указательный пальцы пострадали. Все лето провозилась с глиной, навозом и пр<очими> стройматериалами. Трудно, т<ак> к<ак> обе работаем, но зато надеемся, что зимой теплее будет, чем в прежней хибарке. И главное — ни хозяев, ни соседей, так хорошо! Осталось осуществить еще очень трудное — запастись топливом и картошкой на зиму, особенно трудно с дровами, их надо очень много, а пока еще нет ни полена. Вот-вот начнутся дожди, а тогда к лесу не подступишься. Трудно здесь с транспортом. <...>

Когда будет минутка, напиши хоть открытку, я очень давно ничего о тебе не знаю. Даже Лиля, и та чаще пишет. Жалуется она на дождливое лето. Надеюсь, дождь не помешал тебе хорошо работать, и, работая, хоть немного отдохнуть от города. А я бы уже с удовольствием отдохнула от деревни.

На днях впала в детство — затаив дыхание смотрела «Монте-Кристо» в кино. Только, к сожалению, не дублировано, почему-то все говорили по-французски.

Крепко тебя целую.

Твоя Аля.

21 сент<ября> 1950

Дорогая Аля!

Прости, что давно не пишу тебе, и не тревожусь. Как здоровье твое? Боюсь об этом и думать, бедная ты моя.

Позволь не рапортовать тебе, откуда мое молчание, какие у меня бывают огорчения и отчего мне надо и нравится так нечеловечески гнать работы, свои собственные и переводные.

Писал ли я тебе, что за один июнь месяц перевел и сдал в отделанном и переписанном виде Шексп<ировского> Макбета? И все в таком темпе.

Была тревога, когда в «Нов<ом> мире» выругали моего «Фауста» на том основании, что будто бы боги, ангелы, ведьмы, духи, безумье бедной девочки Гретхен и все «иррациональное» передано слишком хорошо, а передовые идеи Гете (какие?) оставлены в тени и без внимания. А у меня договор на вторую часть! Я не знал, чем это кончится. По счастью, видимо, статья на делах не отразится.

Прости, и толкового письма жди от меня не скоро. На пристройку к енисейскому домику хочу послать тебе, но смогу не раньше ноября.

Бросаю писать, потому что ничего путного все равно не смогу сказать: не вижу подходящих эпистолярных форм.

Мне написала со своей дачи Елиз<авета> Яковл<евна>, в письме тревожится о тебе и хвалит твою акварель с видом Енисея.

Как мы с тобой похожи! Все, что ты писала об Асе, об ее способе переписываться через копирку, и об ее обстоятельности и пр<очее>, — в точности повторяется со мною.

Целую тебя.

Твой Б.

ЭФРОН — ПАСТЕРНАКУ

25 сентября 1950

Дорогой Борис! От тебя так давно нет ни слова, что я по-настоящему встревожена: здоров ли ты? Если здоров, и даже если болен, то по получении этого письма напиши мне открытку для успокоения, пойми,

насколько это выматывает силы, постоянно тревожиться о нескольких последних близких, оставшихся в живых. В самом деле—каждая весточка с «материка» прибавляет бодрости, они—последнее горячее для моего мотора («а вместо сердца пламенный мотор!»), каковой в это лето работает с большими переборами.

А лето для здешних мест было хорошее, много дней подряд стояла ясная погода, и благодаря этому все тайное в природе становилось явным и было очень красиво. Только схватывать эту красоту удавалось урывками из-за постоянной, непрерывной занятости. «Мелочи жизни» заели окончательно и меня, и жизнь мою. В таком постоянном барахтанье, суете, борьбе за хлеб насущный я еще никогда не жила, хоть и приходилось по-всякому. Но всегда, при любых обстоятельствах, удавалось урывать хоть сколько-то времени «для души». Здесь—невозможно, и поэтому я всегда беспокойна, все мои до отказа заполненные дни кажутся безнадежно пустыми, обвиняю себя в лени, а на самом деле это совсем не так. Ты представляешь себе, какой ужас—трудовой день, результатом которого является только сытость и только сон! Все, спавшее во мне ранее до того дня, когда можно будет проснуться, теперь определенно проснулось и бодрствует вхолостую, с полным сознанием безвозвратности каждого проходящего часа, дня, месяца. А их прошло уже немало. Жить же иначе здесь невозможно, либо в живых не останешься, либо нужно выигрывать самую крупную сумму при каждом тираже каждого займа, и жить чужим трудом, что всегда нестерпимо—даже мама, которая вполне имела на это право, всегда старалась все делать сама—как я ее понимаю!

Но все же надеюсь, что дальше будет легче, м<ожет> б<ыть> даже зимой будет оставаться свободное время на что-то свое, т<ак> к<ак> лето—сплошная подготовка к зиме, и таким образом теоретически зимой должно быть свободнее и спокойнее. Но как только вспомнишь, что зима тоже является подготовкой к лету, так и чувствуешь, что до конца дней своих так и будешь кружиться, сперва как белка в колесе, потом—как слепая лошадь, только не помню где, в чем кружатся слепые лошади, но знаю, что кружатся! Между прочим, кстати о белке, у меня была белка, сразу в клетке и в колесе, т<о> е<сть> белка в квадрате. Я была маленькая, беличья клетка стояла на окне в моей детской, белка была рыжая с белой

грудкой, и смотреть на то, как она крутится в колесе, было совсем неинтересно.

За лето мы с приятельницей, с которой живем вместе, утеплили и оштукатурили домик, в котором живем, сами пристроили к нему сени, которые также оштукатурили,—а это только написать легко! Строительный материал добыть было очень и очень нелегко, т<ак> к<ак> частным лицам такие вещи не продаются, но, в конце концов, притворившись организацией, кое-как купили необходимое количество горбылей, которые по одному нужно было притащить на себе. Потом всеми правдами и неправдами искали и находили гвозди. Потом заказали дверь, которую нам сделали сначала слишком узкой, потом слишком короткой, но потом она как-то разбухла, села, одним словом как-то исковеркалась и стала такой, как нужно.

Потом мучились со всякими замками, крючками, рамами, стеклами, планками, дранками и т. д.

Таскали из леса мох, из оврагов глину, собирали, делая вид, что это не мы, конский и коровий навоз для штукатурки и затирки, «то соломку тащит в ножках, то пушок в носу несет». Все это—до и после работы, и плюс к этому—готовка, стирка, мытье полов и прочие мелкие домашние дела. И все—на себе, и картошка, и дрова, и вода—все нужно таскать. И все нужно рассчитывать и страшно экономить. И несмотря на то, что все делается своими руками, обходится это «все» очень дорого. Сейчас я больше всего на свете хотела бы жить в гостинице, желательно в Москве, ходить в музеи, в гости и просто по улицам. Я даже во сне всегда вижу город, города, в которых не бывала, но во сне узнаю, а сельская местность, слава богу, достаточно надоедает наяву, чтобы еще сниться.

Но в конце концов получился у нас славный маленький домик, белый снаружи и внутри, чистенький и даже уютный, когда прихожу с работы, всегда радуюсь тому, что угол—свой, никаких соседей и хозяев, тихо и кругом—просторный берег и во все три окошка видна большая, пока еще сравнительно спокойная река.

Были в лесу несколько раз, собрали довольно много грибов, насолили, намариновали, засушили. Варенья сварили три банки, можно было бы хоть три ведра, ягод достаточно, но сахар дорог. Ягоды здесь—черника, голубика, есть где-то брусника и морошка, но мест мы не знаем, а слишком углубляться в тайгу

боимся, каждое лето кто-н<и>б<удь> пропадает, в этом году, например, заблудилась теща начальника милиции, ее искали и пешком и самолетами и так и не нашли.

Домик наш — самый крайний на берегу, под крутым обрывом. Слева есть соседи метров за 300, живут в землянке, справа — никого. Однажды ночью было очень страшно, нас разбудил отчаянный стук, сопровождавшийся отчаянным же матом. Мы не открывали — стук продолжался, потом ночной гость стал ломать дверь, сорвал крючок и ввалился в сени. Я, собрав остатки храбрости, заперла приятельницу в комнате, а сама вышла в сени. Нашла там вдребезги пьяного лейтенанта в мыльной пене и в сметане — когда он ворвался в сени, на него свалилась банка кислого молока, а сам он попал в ведро с мыльной пеной, оставшейся от стирки. На мои негодующие вопросы он ответил, что по его мнению он находится в горах на границе, где каждый житель рад приютить и обогреть озябшего пограничника. Я сказала, что кое-какие границы он, несомненно, перешел, и предложила ему отвести его в такой дом, где его приютят, обогреют и примут с распростертыми объятьями. Сперва лейтенант слегка упирался, считая наиболее подходящим для отдыха с обогревом именно наш дом, но потом сдался, я взяла его под ручку и с трудом дотащила до... милиции, где сдала очень удивленному именно моим (у меня скорбная репутация женщины порядочной и одинокой!) появлением дежурному. И правда, одета я была легкомысленно — тапочки на босу ногу, юбка и телогрейка, распахнутая на минимуме белья. И под руку со мной мыльно-сметанный лейтенант. Но такие случаи здесь очень редки, так что, надеюсь, этот лейтенант был первым и последним.

Сейчас мучаюсь с дровами — на зиму нужно 20 — 25 куб., а у нас только 5. Купили 5 кулей картошки.

Немножко очухиваюсь только в постели, когда, зажегши лампу, в полнейшей тишине перечитываю самые чудесные места твоего «Фауста» и еще кое-какие переводы. Ты прав — общий уровень переводов этого сборника — высок, и Гете освобожден от тяжеловесности переводов прошлого, а также от чужих вариаций на его тему. Какое счастье, что я совершенно лишена чувства зависти и ревности, и совсем беспристрастно и бесстрастно сознаю, насколько я отстала от всяких хороших дел, в частности и от стихотворных переводов. До того заржавела, что сейчас ничего путного не смогла бы сделать, обеднел до ужаса мой словарь. Тем

более радуюсь именно богатству словаря этих стихотворных переводов.

Моей приятельнице случайно прислали среди всяких стареньких носильных вещей маленький томик с золотым обрезом — Виньи «Стекло», по-французски. Вещь написана в 1823 г., а не перечитывала я ее уже больше двадцати лет. И сейчас перечла как бы заново, вспомнила маму, очень любившую эту книгу, рассказывающую о судьбах трех поэтов разных эпох — Жильбера, Четтертона и Шенье. Помнишь ли ты ее? Давно ли читал? Меня немного раздражал разноречивой между темой и языком — язык какой-то чересчур «барокко» и весь в жестах, если можно так сказать. Но как страшно было быть *настоящим* поэтом в те далекие времена! И о своих современниках и о своих предшественниках Виньи, пожалуй, справедливо говорит, что «Le Poète a une malédiction sur sa vie et un benediction sur son nom»¹, но зато немало и дикого говорит с нашей сегодняшней точки зрения.

Итак, очень буду ждать хотя бы открыточки. Ты пойми, уже треугольники гусей улетают на юг, и такая неумолимая зима впереди, а тут еще и писем нет.

Крепко тебя целую.

Твоя Аля.

Ты знаешь, сегодня день рожденья папы и мамы.

ПАСТЕРНАК — ЭФРОН

30 сент<ября> 1950

Дорогая моя Аля!

Я опять получил от тебя письмо, полное души и ума, про лес, про твою маму, про мои переводы. Я всегда кому-нибудь показываю твои письма, хвастаю ими, так они хороши.

Но зато я тебе пишу в последнее время пустые, бездушные, торопливые записки, лишенные содержания, просто, чтобы ты не думала, что я забыл тебя, и не беспокоилась.

Отчего, кроме недостатка времени, я стал в последнее время так тих и односложен, этого не объяснишь...

¹ оэта проклятая жизнь и благословенное имя (фр.).

(Половина листка оторвана и сожжена мною
тогда же, в 1950 или позже, в 1953 г.— А. Э.)
(На обороте:)

<...> неумелое выражение моей сущности, отнюдь не мрачной, а ясной и радостной, наводит на них тень и заражает превратно понятыми настроениями, что людям, которым и без того трудно, вредно слушать меня.

Может быть это приступ мнительности, но вот именно я стал сдерживаться, чтобы как-нибудь не огорчить тебя большими посланиями. Прости меня.

Наверное перед тем как ты написала мне о Фаусте тебе попался ругательный отзыв о переводе в Новом мире. Не тревожься, все это пустяки...

ЭФРОН — ПАСТЕРНАКУ

7 октября 1950

Дорогой Борис! Как я обрадовалась, увидев наконец твой почерк на конверте! В самом деле, твое такое долгое молчание все время грызло и глодало меня исподволь, я очень тревожилась, сама не знаю, почему. Наверное потому, что вся сумма тревоги, отпущенная мне по небесной смете при моем рождении на всех моих близких, родных и знакомых, расходуется мною теперь на 2—3 человек. Тревог больше, чем людей. Я не жду от тебя никаких «обстоятельных» писем, во-первых, потому, что не избалована тобой на этот счет, а во-вторых, знаю и понимаю, насколько ты занят. Но я считаю, что две немногословных открытки в месяц не повредили бы ни Гете, ни Шекспиру, а мне определенно были бы на пользу, я бы знала основное — что ты жив и здоров, а об остальном, при моей великолепной тройной интуиции (врожденной, наследственной и благоприобретенной) — догадывалась бы.

У нас с 28 сентября зима всюю, началась она в этом году на 10 дней позже, чем в прошлом, когда снег выпал как раз в день моего рождения. Уже валенки, платки и все на свете, вся зимняя косолапость. Все побелело, помертвело, затихло, но пароходы еще ходят, сегодня пришел предпоследний в этом году. Две нестерпимых вещи — когда гуси улетают и последний пароход уходит. Гусей уже пережила — летят треугольником, как фронтовое письмо, перекликаются скрипу-

чими, тревожными голосами, душу выматывающими. А какое это чудесное выражение — «душу выматывать», ведь так оно и есть — летят гуси, и последний тянет в клюве ниточку из того клубка, что у меня в груди. О, нить Ариадны! В лесу сразу тихо и просторно — сколько же места занимает листва! Листва — это поэзия, литература, а сегодняшний лес — голые факты. Правда, деревья стоят голые, как факты, и чувствуешь себя там как-то неловко, как ребенок, попавший в заросли розог. Ходила на днях за вениками, наломала — и скорей домой, жутко как-то. И белизна кругом ослепительная. Природа сделала белую страницу из своего прошлого, чтобы весной начать совершенно новую биографию. Ей можно. А главное, когда шла в лес, то навстречу мне попался человек, про которого я точно знала, что он умер в прошлом году, прошел мимо и поздоровался. Я до сих пор так и не поняла, он ли это был, или кто-то похожий, если он, значит — живой, если нет — то похожий, и тоже живой.

Здоровье ничего, только сердцу тяжело. Это такой климат — еще севернее — еще тяжелее. На пригорок поднимаешься, точно на какой-н<и>б<удь> пик, а ведро воды, кажется, весит вдвое больше положенного — вернее, налитого. Лиля прислала мне какое-то чудодейственное сердечное лекарство, от которого пахнет камфарой и нафталином, и еще чем-то против моли. Я не умею отсчитывать капли, и поэтому глотаю, как придется, веря, что помогает, если не само средство, так то чувство, с которым Лиля посылала его. А вообще живется не совсем блестяще, т<ак> к<ак> моя приятельница, с которой живу вместе, больше не работает, и мы неожиданно остались с моей половинной ставкой pour tout moyen d'existence¹, т<о> е<сть> 225 р. в месяц на двоих, с работой же очень трудно, т<ак> к<ак> на физическую мы обе почти неспособны, а об «умственной» и мечтать не приходится. Как ни тяжелы мои условия работы, как ни непрочна сама работа, я буквально каждый день и час сознаю, насколько счастлива, что есть хоть это. Кроме того, я очень люблю всякие наши праздники и даты, и вся моя жизнь здесь состоит из постоянной подготовки к ним.

Хорошо, что пока мы обе работали, успели подготовить наше жилье к зиме, обзавестись всем самым необходимым — у нас есть два топчана, три табуретки,

¹ Как единственным средством существования (фр.).

два стола (из которых один мой собственный, рабочий), есть посуда, ведра и т. д. Есть 5 мешков картошки и полбочки капусты насолили (здесь у нас не растет, привезли откуда-то), кроме того насолили и намариновали грибов, и засушили тоже, и сварили 2 банки варенья, так что есть чем зиму начать. Только вот с дровами плохо, смогли запасти совсем немного, а нужно около 20 кубометров. Тебе, наверное, ужасно нудно читать всю эту хозяйственную ахинею, но я никак не могу удержаться, чтобы не написать, это вроде болезни—так некоторые всем досаждают какой-н<и>б<удь> блуждающей почкой или язвой, думая, что другим безумно интересно.

Статьи о «Фаусте» я не читала, а только какой-то отклик на нее в «Литературной газете», писала тебе об этом.

Дорогой Борис, если бы ты только знал, как мне хочется домой, как мне ужасно тоскливо бывает,— выйдешь наружу, тишина, как будто бы уши ватой заткнуты, и такая даль от всех и от всего! Возможно, полюбила бы я и эту даль, м<ожет> б<ыть> и сама выбрала бы ее—*сама!* Когда отсюда уходит солнце, я делаюсь совсем малодушной. Наверное, просто боюсь темноты!

Крепко тебя целую, пиши открытки, очень буду ждать. Если за лето написал что-н<и>б<удь> свое, пришли, пожалуйста, каждая твоя строчка—радость.

Твоя Аля.

Недавно удалось достать «Госпожу Бовари»—я очень люблю ее, а ты? Замечательная вещь, не хуже «Анны Карениной». А «Саламбо» напоминает музей восковых фигур—несмотря на все страсти. Да, ты знаешь, есть еще один Пастернак, поэт, кажется литовский или еще какой-то, читала его стихи в Литер<атурной> газете.

ПАСТЕРНАК—ЭФРОН

5 дек<абря> 1950

Аля, родная, прости, что я так редко и мало пишу тебе, настолько реже и меньше, чем хотел бы, что кажется, будто не пишу совсем. Не сочти это за равнодушие или невнимание.

В конце лета я полтора-два месяца писал свое, продолжение прозы, а теперь по некоторым соображениям решил двинуть вперед перевод второй части Фауста. Это нечто вроде твоих лозунгов, подвигается медленнее, чем у меня в обычае, непреодолимо громоздкая смесь зачаточной и оттертой на второй план гениальности с прорвавшейся наружу и торжествующей Вампукой. Вообще говоря это труд решительно никому не нужный, но так как нужно делать что-нибудь ненужное, лучше буду делать это.

Алечка, все это я написал для того, чтобы записать чем-нибудь эти полстраницы. То, что я хочу сказать тебе, вырази́мо в нескольких строках. Жизнь, передвижения, теснота квартир научили меня не загромождать жилища, шкапов и ящиков стола книгами, бумагой, черновиками, фотографиями, перепиской. Я уничтожаю, выбрасываю или отдаю все это, ограничивая рукописную часть текущей работой, пока она на ходу, а библиотеку самым дорогим и пережитым или небывалым (но ведь и это, к счастью, растаскивают). Когда меня не станет, от меня останутся только твои письма, и все решат, что кроме тебя я ни с кем не был знаком.

Ты опять поразительно описала и свою жизнь, и северную глушь и морозы, и было бы чистой болтовней и празднословием, если бы я упомянул об этом только ради похвал. Вот практический вывод. Человек, который так видит, так думает и так говорит, может совершенно положиться на себя во всех обстоятельствах жизни. Как бы она ни складывалась, как бы ни томила и даже ни пугала временами, он вправе с легким сердцем вести свою, с детства начатую, понятную и полюбившуюся линию, прислушиваясь только к себе и себе доверяя.

Радуйся, Аля, что ты такая. Что твои злоключения перед этим богатством! Крепко тебя целую.

Твой Б.

ЭФРОН—ПАСТЕРНАКУ

5 июня 1952

Дорогой мой Борис! Еще плывут по Енисею редкие льдины, а уже июнь! Никак не могу привыкнуть к тому, что здешняя природа и погода так отстают от общепринятого календаря, да и вообще от всего на свете. За окном—безнадежный дождь, мелкий, нуд-

ный, и все вокруг — цвета дождя, и небо, и земля, и сам Енисей, шумящий возле дома. Этот дождь назревал как болезнь уже несколько суток, и наконец разразился сперва, а потом и пошел и пошел однообразно стучать и стучать по крыше. Ночей у нас уже больше нет, стоит один и тот же непрерывный огромный день, сразу ставший таким же привычным, как недавняя непрерывная ночь. Еще нигде ни травинки, ни цветочка, весна еще ленится и потягивается, пасмурная и неприветливая, как старухина дочка из русской сказки. Навигация пока что не началась, но на днях ждем первого пассажирского парохода из Красноярска. Гуси, утки, лебеди прилетели. Кажется, все готово, все на местах, дело за весной. Я живу все так же, без божества, без вдохновенья, и без настоящего дела, несмотря на постоянную занятость и благодаря ей. Сонмы мелких и трудоемких работ и забот не снимают с меня все обостряющегося чувства вины и ответственности за то, что все, что я делаю, — не то и не так, и по существу ни к чему. Быт пожирает бытие, и все получается вроде сегодняшнего дождя, не нужного здешней болотистой почве, и к тому же такого некрасивого!

Поговорить даже не с кем. Правда, все мои бывшие собеседники остаются при мне, но ведь это же монолог! А о диалоге и мечтать не приходится. Тоска, честное слово!

Ты прости меня, что я к тебе со своими дождями лезу, как будто бы у тебя самого всегда хорошая погода. Но кому повем? Ты знаешь, когда вода близко шумит, и шум ее сливается с ветром, я всегда вспоминаю раннее детство, как мы с мамой приехали в Крым, к Пра, матери Макса Волошина. Ночь, комната круглая, как башенная (кажется, и в самом деле то была башня), на столе маленький огонек, свечка или фонарь. В окно врывается чернота, шум прибоя с ветром пополам, и мама говорит — «это море шумит», а седая кудрявая Пра режет хлеб на столе. Я устала с дороги, и мне страшновато.

Мне иногда кажется, что я живу уже которую-то жизнь, понимаешь? Есть люди, которым одну жизнь дано прожить, и такие, кто много их проживает. Вот я сейчас читаю книгу о декабристах, и все время такое чувство, что все это было недавно, на моей памяти — м<ожет> б<ыть> просто потому, что все *живое* близко живым? Ведь Пушкин — совсем современник, а Жуковский — далек. Я хорошо помню Сергея Михайловича Волконского, внука декабриста, и в самом деле

все близко получается—ведь его отец родился в Сибири!

Нет, бог с ним с дождем, а жить все равно интересно. И все равно—*живые*—бессмертны!

Когда же ты устанешь переводить и захочешь пойти покопаться в огороде, вот в эту самую минутку, между переводом и огородом, напиши мне открытку. (Хотя бы.) Пусть у меня будет хоть иллюзия диалога. Мне очень хочется узнать о твоём здоровье, и очень хочется, чтобы никакие боли тебя не мучили. Когда ты долго молчишь, я думаю (и, увы, иногда угадываю!), что ты болеешь. И не столько из-за дождя я написала тебе, и не столько из-за свободного вечера (а их будет так мало летом—дрова, картошка, всякие общественные сенокосы, уборочные, народные стройки!), сколько из-за желания сказать тебе что-то от всего сердца хорошее. И опять не вышло.

Крепко тебя целую. Будь здоров!

Твоя Аля.

ПАСТЕРНАК—ЭФРОН

14 июня 1952

Дорогая Аля!

Я еще по поводу предыдущего твоего письма хотел повторить тебе, какая у тебя замечательная и близкая мне наблюдательность. У меня в продолжении романа, только что написанном и которого ты не знаешь, есть о том же самом, что у тебя в прошлом письме: о земле, выходящей из-под снега в том виде, в каком она ушла зимой под снег, и о весенней желтизне жизни, начинающейся с осенней желтизны смерти и т. д.

Я очень хорошо поработал для себя в апреле и мае и читал несколько друзьям большой новый кусок прозы, еще не переписанной. Это было большое счастье, и было совсем недавно, неделю с чем-то тому назад.

Я здоров, я живу незаслуженно хорошо, Аля, с блажью, фанабериями (проза, чтение), которые позволяю себе.

Мы завтра переезжаем на дачу, и я тебе пишу эти поспешные строки в обстановке подведенных итогов и валяющихся на полу обрывков веревки и оберточной бумаги.

Мне хорошо, Аля, я стал как-то шутливо-спокоен. Я не остыл в жизни, а готов загореться и горю как-то

шире, целым горизонтом, как будто я только часть пожара, вообще только часть того, что думает воздух, время, человеческая природа (в возвышающем отвлечении), я боюсь сглазить, я боюсь это говорить. Меня нечего жалеть, я что-то вроде Хлестакова, я заедаю чужой век, мне выпала даром, неизвестно за что, м<ожет> б<ыть> совсем не мне предназначенная судьба, незаслуженно, неоправданно.

Вот моя открытка тебе, между переводом и огордом. Я летом хочу кончить роман, так, как он был начат, для себя самого.

Tout à toi¹ Б.

ЭФРОН — ПАСТЕРНАКУ

1 октября 1952

Дорогой мой Борис! Спасибо тебе за твое чудесное письмо, пришедшее ко мне с первым снегом, выпавшим на Туруханск, еще не очухавшийся от прошлогодней зимы. Оно пришло с юга на север, упрямой птицей, наперекор всем улетающим стаям, всем уплывающим пароходам, всему, всем, покидающим этот край для жизни и тепла. Душу выматывает это время года — вот, пишу тебе, а за окном пароход дает прощальные гудки — у них такой обычай: в свой последний рейс они прощаются с берегами — до следующей весны. И гуси, и лебеди прощаются. А снег падает, и все кругом делается кавказским с чернью, и хочется выть на луну. Из круглосуточного дня мы уже нырнули в такую же круглосуточную ночь — круглая, как сирота, ночь! И, когда переболит и перемелется в сердце лето, солнце, тогда настанет настоящая зима, по-своему даже уютная.

А вообще-то жить было бы еще несравненно труднее, если бы я не чувствовала постоянно, что ты живешь и пишешь. В этом какое-то оправдание моей не-жизни и не-писания, как вышеназванная ночь оправдывается вышеназванным днем. Почему — не додумала, но именно так. Я пишу тебе эту записочку, чтобы успеть отправить ее до того, слава Богу короткого, но все же промежутка времени, когда из-за погоды будет работать только телеграф. Я убийственно устала, и у меня нет секунды на передышку, я, кажется, и во сне

¹ Весь твой (фр.).

тороплюсь. Трудные домашние и утомительные служебные дела и вообще самое всесторонне тяжелое время года. Я скоро напишу тебе, более или менее как следует, ответ на твое письмо, а пока просто коротенькое за него спасибо, радость ты моя! Целую тебя, главное—будь здоров!

Твоя Аля.

ЭФРОН—ПАСТЕРНАКУ

8 декабря 1952

Дорогой мой Борис! Недавно получила открытку от Лили, а вслед за ней телеграмму—о том, что тебе лучше. Слава богу! Я не то, что волновалась и беспокоилась, п<отому> ч<то> и так почти всегда о ком-то и о чем-то беспокоюсь и волнуюсь, а просто все во мне стало подвластно твоей болезни, я ничего, кроме нее, по-настоящему не понимала и не чувствовала. Одним словом—все время болела вместе с тобой и продолжаю болеть. Правда, после весточек о том, что ты поправляешься, на душе стало легче, но у меня всегда бывало так, что всякую боль и тревогу я переносила труднее и помнила дольше, чем нужно, и с физическим прекращением боли она все равно еще долго жила во мне. Так же и теперь—ты все болишь во мне, хоть я и знаю, что тебе легче.

Не писала тебе все время из-за какого-то внутреннего оцепенения, которое по-настоящему прекратится только тогда, когда я получу от тебя первые после болезни строки. Все время думала о тебе и с тобою, и все свои силы присоединяла к твоим, чтобы скорее побороть болезнь. Это не слова.

А так у меня все по-прежнему. Зима в этом году, кажется, особенно лютая, все время около 40°, несколько дней доходило до 50°, и все время ветры. Мы обе на работе с утра до вечера, придешь, а дома все промерзло и снег выступил на стенах. К счастью, печка у нас хорошая, сразу дает тепло. Еще больше холода донимает темнота, день настолько короткий, что о нем и сказать нечего. С утра и до ночи керосиновые лампы, только в редкие солнечные дни как бы рассветает ненадолго. Очень устают глаза, да и вообще все устает от холода и темноты, от их неизбежности и однообразия. Однообразно здесь все, редки просветы нового или чего-то, по-новому увиденного. Поэтому всегда—здесь—особенно радуют праздники, это по-настоящему

«красные» дни, в лозунгах и знаменах, дни, с красной строки вписанные в белым-белые страницы зимы. Я живу так далеко от всего, что перестала ощущать и понимать расстояния, объемы, размеры. Стоишь на высоком берегу, и только и чувствуешь, что спиной упираешься в полюс, лицом — в Москву, головой — в небо. Все близко, просто и ведомо, и аравийские восходы над ледяной пустыней, и звездные дожди, и... и... и... Кстати об «и», я прочла «За правое дело», все, кроме окончания. Не могли не понравиться отдельные места, и не могла не разочаровать вся книга в целом: Рассыпчатая она, без стержня, без хребта, без героя — записная книжка, а не книга. Гроссман, конечно, талантлив и бесспорно наблюдателен, но меня всегда раздражает такая форма повествования (вот у Эренбурга, например, да и у многих, начиная, кажется, с Дос-Пассоса) — будто бы автор сценарий пишет, заранее представляя себе, как все это будет выглядеть на экране. А некоторые вещи как-то (с моей точки зрения) бестактны — как, например, одна подруга прикалывает другой брошку, там, в бомбоубежище, чувствуя, что больше они не встретятся. Накинь одна пожилая женщина другой платок на плечи, вот уже и правдоподобно, а брошечку могла восемнадцатилетняя восемнадцатилетней же приколоть — тем брошка и ценность и память даже при бомбардировке. И кроме того, мне кажется, не характерно для интеллигенции подчеркивать *прощальность* встречи. Пусть ты знаешь, что навсегда, а другому, близкому, ни за что не покажешь, чтобы он не знал, не почувствовал, чтобы ему легче было. И много-много такого как-то огорчило меня в этой книге-хронике. Вернее всего — придираюсь, смотрю со своей колокольни, я бы, мол, не так сделала, я бы по-другому написала... А отдельные места хороши, хороша разговорная речь, природа.

Крепко, крепко целую тебя, поправляйся, мой родной. Представляю себе, как измучила тебя болезнь и неподвижность! Будь здоров!

Твоя Аля.

ПАСТЕРНАК — ЭФРОН

12 января 1953

Аля, Алечка! Ты и твои слова все время были со мной. Я — дома, скоро с Зиной поеду в санаторий. Все время чувствую сердце, теряюсь, до каких границ

распространять осторожность, всякое ли сжатие, укол и прочее принимать за предупредительный сигнал, но тогда можно с ума сойти. Двухмесячной лежкой наложил себе снова затрудненную подвижность шеи (отложение солей). Но это все пустяки! О, как по-маминому, по-нашему было в больнице первые ночи, пока было опасно, на пороге смерти! Как огромно и торжественно было около Бога! Как я ликовал, как благодарил его, как молился. Господи,—шептал я,—сейчас это только слова благодарности, если же ты унесешь меня, весь я с головы до ног, со всей моею жизнью стану благодарственным тебе приношением и смешаюсь с другими такими дарами тебе и растворюсь в вековечном отзвуке твоего дела.

Милый друг, без конца целую тебя.

ЭФРОН—ПАСТЕРНАКУ

3 октября 1955

Боренька, нашла в маминой записной книжке (м<ожет> б<ыть> это вошло в ее прозу о тебе? не знаю—не перечитывала лет 20).

«Есть два рода поэтов: парнасцы и—хочется сказать—везувцы (-ийцы? Нет, везувцы: рифма: безумцы). Везувий, десятилетия работая, сразу взрывается всем (В! Взрыв—из всех явлений природы—менее всего неожиданность). Насколько такие взрывы нужны? В природе (а искусство не иное) к счастью вопросы не существуют, только ответ. Б. П. взрывается сокровищами».

Боренька, а ведь это о твоём романе (хоть запись и 1924 г.!). Как-то ты живешь, мой родной? Целую тебя и люблю.

Твоя Аля.

Ты мне ничего не ответил о романе: переписывается ли, переписан ли, когда и как можно прочесть?

15 окт<ября> 1955

<...> Я, конечно, знаю о разговоре О.¹ с тобой. Зачем тебе ездить сюда, это вовсе не способ меня увидеть. Да ты, кажется, и не собираешься. Еще менее желательно, чтобы ты или кто-ниб<удь> из твоих близких, в том числе Д. Н., прочли роман в том получерновом виде, в каком он был в руках Марины Казимировны и какой представляет ее перепечатка. Зачем это тебе? В результате моих и, немного спустя, ее стараний, роман выйдет к концу года в готовом и окончательном виде с первой до последней страницы, в каком-то состоянии одним из первых будет дан на прочтение Вашему Мерзляковско-Вахтанговскому объединению.

Прости меня за грубости, содержащиеся в этом письме.

Крепко тебя целую. Елизавете Яковлевне, Зинаиде Митрофановне и Журавлевым² сердечный привет.

Твой Б.

ЭФРОН — ПАСТЕРНАКУ

26 октября 1955

Дорогой мой Борис! Прости, что я такая свинья и не отозвалась сразу на твое письмо. Лиля очень заболела, и я все ездила туда и что-то возила, и ездила к Егорову и заказывала лекарства и отвозила их ночью, и для чего-то ночью же и возвращалась в Москву, и т. д. Мне сказали, что ты звонил и что ты должен был быть на Лаврушинском до половины второго (во вторник), я звонила тебе около часу, но тебя уже не было.

Егоров все говорит, чтобы я не беспокоилась, но Лиллю-то он не видел, а только меня, и вряд ли по моему состоянию можно определить ее!

¹ О. В. Ивинская.

² Д. Н. Журавлев, тец и актер Вахтанговского театра, его жена и Зинаида Митрофановна — друзья Е. Я. Эфрон, собиравшиеся у нее в квартире в Мерзляковском переулке (Мерзляковско-Вахтанговское объединение).

Боренька, твой роман мы все будем читать в таком виде, в каком ты захочешь, все это зависит только от твоего желания, мы-то, читатели, давно готовы. И в то время, которое тебе будет удобно, и в любую очередь. Это Оля¹ меня смутила, сказав, что уже можно взять у М<арины> К<азимировны>². Ко мне приходила одна очень милая окололитературная девушка, мамина почитательница и подражательница, она, кстати, говорила мне, что у ее знакомых «ребят» (тоже почитателей и подражателей) уже есть экземпляры твоего романа, что они у кого-то достали и перепечатали—не знаю, что это может быть? Возможно, это начало, то, что давно уже «ходило в списках»? Или они в самом деле успели где-то подхватить уже почти готовый вариант?

Нет, я совершенно не стремлюсь тебя видеть «наильно», ни пр'езжать к тебе, я очень хорошо знаю и понимаю, что в часы работы ты занят, а в часы отдыха—отдыхаешь, и что каждый лишний и нелишний человек тебе вроде кошки через дорогу, я очень люблю тебя и за это, м<ожет> б<ыть> не так бы—именно за это!—любила, если бы не знала, что я у тебя всегда близко, под рукой—и что ты меня любишь больше, и помнишь больше именно оттого, что между нами всегда пропасти и расстояния километров и обстоятельств, и что иначе и быть не должно. Это уже традиция.

На болшевской даче ужасный холод, я там простудилась и сейчас больная и злая.

Заканчиваю подготовку предполагаемого маминого сборника, это очень трудно, и ты знаешь, почему. С неожиданной горячностью предлагает свою помощь Тарасенков, и просто по-хорошему—Казакевич, а больше никому и дела нет. Тарасенков, тот видно думает, что если выйдет, так, мол, его заслуга, а нет, так он в стороне и ничего плохого не делал. Со мною же он мил потому, что знает о том, что у меня есть много маминого, недостающего в его знаменитой «коллекции». Есть у него даже перепечатанные на машинке какие-то мамини к тебе письма, купленные конечно у Крученых. Подлецы они все, и покупающие, и продающие. У меня в маминих рукописях лежит большая пачка твоих к маме писем, и никогда, скажем, Лиле или Зине, у к<ото>рых все хранилось все эти годы, и в

¹ Оля—О. Ивинская.

² М. К. Баранович—знакомая Б. Пастернака, перепечатававшая роман.

голову не пришло прочесть хоть одно из них. И я никогда в жизни к ним не притронусь, ни к тем, остальным, от других людей, которые она берегла. И после моей смерти еще 50 лет никто их не прочтет. Тебе бы я, конечно, их отдала, но ты же все теряешь и выбрасываешь и вообще ужасный растяпа, ты только подумай, что она, мертвая, сберегла твои письма, а ты, живой, ее писем не уберег и отдал кажим-то милым людям. Лучше бы ты их сжег своей рукой! Боже мой—мама вечная моя рана, я за нее обижена и оскорблена на всех и всеми и навсегда. Ты-то на меня не сердись, ты ведь все понимаешь.

Целую тебя и люблю.

Твоя Аля.

**Б.Л.Пастернак
и В.Т.Шаламов**

Переписка началась в 1952 году, когда В. Т. Шаламов освободился из заключения, но жил в маленьком поселке в Якутии около Оймякона. Он работал фельдшером в больнице. Со случайной оказией ему удалось отправить в Москву две тетради своих колымских стихов. Его жена Галина Игнатьевна Гудзь передала эти тетради Пастернаку. В них была вложена записка:

Борис Леонидович.

Примите эти две книжки, которые никогда не будут напечатаны и изданы. Это лишь скромное свидетельство моего бесконечного уважения и любви к поэту, стихами которого я жил в течение двадцати лет.

В. Шаламов

22. III. 1952

Адрес мой, если захотите отвечать: Хабаровский край, поселок Дебин. Центральная больница — Шаламов Варлам Тихонович.

Еще лучше написать через мою жену: Москва, 34, Чистый пер., 8, кв. 7. Галина Игнатьевна Гудзь.

ПАСТЕРНАК — ШАЛАМОВУ

9 июля 1952

Дорогой Варлам Тихонович!

В середине июня Ваша жена передала мне две Ваши книжки и записку. Я тогда же по собственному побуждению пообещал ей, что напишу Вам. Это очень трудно сделать. Я склоняюсь перед нешуточностью и суровостью Вашей судьбы и перед свежестью Ваших задатков (острой наблюдательностью, даром музыкаль-

ности, восприимчивостью к осязательной, материальной стороне слова), доказательства которых во множестве рассыпаны в Ваших книжках. И я просто не знаю, как мне говорить о Ваших недостатках, потому что это не изъяны Вашей личной природы, а в них виноваты примеры, которым Вы следовали и считали творчески авторитетными, виноваты влияния и, в первую голову,— мое.

И, для того, чтобы Вам стало яснее дальнейшее (а совсем не из поглощенности собой), я скажу несколько слов о себе.

Если бы мне можно было сейчас переиздаться, я бы воспользовался этою возможностью для того, чтобы отобрать очень, очень немногое из своих ранних книг и в попутном предисловии показать несостоятельность остающегося в них и предать его забвению.

Я пришел в литературу со своими запросами живописи и яркости, отчасти сказавшимися в первой редакции книги «Поверх барьеров» (1917 г.). Но и она претерпела уже некоторые искажения. Я был на Урале, а издатель, плативший этим дань футуризму, приветствовал опечатки и типографские погрешности как положительный вклад в издание и выпустил книгу, не послав мне корректуры.

Какие-то свежие ноты были в нескольких стихотворениях книги «Сестра моя жизнь». Но уже «Темы и вариации» были компромиссом, шагом против творческой совести, такой книги не существует. Ее не было в замыслах, в намерении. Ее составили отходы из «Сестры моей жизни», отброшенный брак, не вошедший в названную книгу при ее составлении.

Дальше дело пошло еще хуже. Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы, период для Маяковского еще более убийственный и обезличивающий, чем для меня, неблагополучный и для Есенина, период, в течение которого, например, Андрею Белому могло казаться, что он останется художником и спасет свое искусство, если будет писать противное тому, что он думает, сохранив особенности своей техники, а Леонов считал, что можно быть последователем Достоевского, ограничиваясь внешней цветистостью якобы от него пошедшего слога. Именно в те годы сложилась та чудовищная «советская» поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Твардовский, Исаковский и Сурков, настоящие все же поэты, кажутся мне

богами. В разбор всей этой, и моей собственной, ерунды я вхожу только потому, что потом буду говорить о Ваших тетрадках.

Из своего я признаю только лучшее из раннего (Февраль. Достать чернил и плакать... Был утренник, сводило челюсти) и самое позднее, начиная со стихотворений «На ранних поездах». Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюденной и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анненского и у Льва Толстого, и очень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом с общественным нигилизмом революции, я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги к мягкости и благозвучию и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше.

Но, повторяю, только Вы сами и мое уважение к Вам заставляют меня касаться материй, не заслуживающих упоминания, потому что, даже обладая даром Блока или Гете и кого бы то ни было, нельзя останавливаться на писании стихов (как нельзя не прийти к выводу, сделав ведущие к нему посылки), но от всех этих бесчисленных неудач и недомолвок, прощенных близкими и поддержанных дурным примером, надо рвануться вперед и шагнуть к какому-то миру, который служит объединяющей мыслью всем этим мелким попыткам; надо что-то сделать в жизни; надо написать повесть о жизни, заключающую какую-то новость о ней, действительную, как открытие и завоевание; надо построить дом, которому все эти плохо написанные стихи могли бы послужить плохо притесанными оконными рамами; надо *после* этих стихов, как после неисчислимо многих шагов пешком, оказаться на совсем другом конце жизни, чем до них.

Не думайте, что я сужу и осуждаю себя и Вас и столь многих в этом роде с официальных нынешних позиций. Не утешайтесь неправотою времени. Его нравственная неправота не делает еще Вас правым, его бесчеловечности недостаточно, чтобы, не соглашаясь с ним, тем уже и быть человеком. Но его расправа с эстетическими прихотями распущенного поколения благодетельна, даже если она случайна и является следствием нескольких, в отдельности ложно направленных толчков.

Видите, какого труда и потери времени Вы мне стоите. А Вы будете огорчаться, обижаться и чего

доброе еще строго критиковать это длинное и проклятое письмо на такие кропотливые и невылазные темы, которое я пишу начисто и которого не буду переписывать.

Итак, что я хочу всего настоятельнее и прежде всего сказать Вам? Пусть все написанное послужит Вам ступенью к дальнейшему совершенствованию. Я говорю о Вашем внутреннем совершенствовании, о совершенствовании главной Вашей, наиболее Вашей мысли в жизни, о совершенствовании какого-то Вам ведомого (это Ваш секрет) излюбленного поворота воображения или сосредоточения сил, почти predeterminedного и в котором Вы читаете свое предназначение. Но не о совершенствовании стихописания (избави боже), потому что никакие стихи, и написанные гораздо лучше, не самоцель и, сами по себе, яйца выеденного не стоят,— это Вы сами знаете, это знает проявленная Вами даровитость.

В заключение все же немного о Ваших стихах. Я, по-моему, уже достаточно справился с самим собою и не буду усложнять разбора Ваших грехов постоянным сравнением со своими.

1) Удивительно, как я мог участвовать в общем разврате неполной, неточной, ассонирующей рифмы. Сейчас таким образом рифмованные стихи не кажутся мне стихами. Лишь в случае гениального по силе и ослепительного по сжатости содержания я, может быть, не заметил бы этой вихляющей, не держащейся на ногах и творчески порочной формы.

2) Ваша сильная сторона— «Волшебный мир всеобщих соответствий», строчки и строфы с образно хорошо воплощенными черточками природы и жизни: Перчаток скрюченный комок.—И безголовое пальто, Со стула руки опустив.—Гребенка прыгает в углу, Катаясь лодкой на полу.—В колючих листьях огуречных.—Тяжелый лебедь шлепается в лужу.—Хотели б ветки сбросить тяжесть, Какая им не по плечам.—И запах пригоревшей каши напоминает шоколад.—Огонь перелетает птицей, Как ветром сорванный орел.—Мне не забыть рябых озер,— Пузатых парусов.— Гравюру мороза в окне.— Ползет, как кошка по карнизу,— Изодранная в кровь заря.— В подсвечниках сирень... Волнистым льдом, оплывшим стеарином Беспомощного горного ключа.— Но разглядев мою подругу, Переглянулись зеркала.

3) Ваша слабая сторона, отрицательное начало, подтачивающее все Ваши удачи, все счастливые Ваши подступы и живые вступления к теме, это Ваши

частые, почти постоянные переходы от фигур и метафор, основанных на действительно существующих ощущениях, к игре разнозначительными оттенками слова, к голой словесности, к откровенному каламбуру. Неужели и в этом виноват только я? Неужели Вы не замечаете разрушительного, обесценивающего действия того элемента, подрывающего, подтачивающего все Ваши добрые достижения тем вернее, что почти всегда Вы начинаете Ваши длинные, зачастую растянутые стихи с обрисовки действительно виденного или пережитого, а когда этот неподдельный запас истощится (тут бы и кончить стихотворение), приписываете к нему многословное и натянутое каламбурное дополнение, производящее впечатление рассудочной неподлинности. Или, м<ожет> б<ыть>, я чего-то не понимаю! Я ведь и «романтическую иронию» не очень-то жалую. Сейчас я приведу Вам примеры определенно отрицательные, чтобы Вы поняли мою мысль. Но иногда, когда эта игра не так оголенно упирается в общеупотребительные выражения и поговорки, т<о> е<сть> когда она не сведена так явно и сознательно только к речевому острословию, а сверх фразы заключает в себе и что-то иное, эта фигура не только приемлема, но бывает часто и хороша, чему тоже будут примеры.

а) Вот эти (на мой взгляд) срывы (после хороших, часто, строф и страниц) — Бродил в изодранных лаптях, Ты лыко ставил мне в строку.— Толок речную воду в ступке, В уступах каменных толок.— И зайцы в том краю Не смели б показаться, Куда-нибудь на юг, Гнала бы их как зайцев.— Он фунта лиха знает цену И за ценой не постоит.— Снег чувствует себя Как ветеран войны на чтение Воспоминаний для ребят.— И он нас здесь интересует Как прошлогодний снег.— Вся белая от страха, Нитка чуть жива.— А в строчке: «Река поэзии впадает в детство» налет этого приема топит и обесценивает живую и ценную мысль.

в) Вот примеры, где по видимости такой же прием, но наполненный истинным содержанием или вовлеченный в поток настоящего поэтического движения и им разогнанный, производит совсем иное впечатление. Хорошо, удачно, допустимо: — Земля поставлена на карту // И перестала быть землей.— Мы живы не только хлебом // И утром на холодке // Кусочек живого неба // Размачиваем в реке (очень хорошо).— Рукой отломим слезы, // Такой уж тут мороз.— И кровь не бьет и кровь не льет — // До свадьбы заживет.— И надоевшее таежное творенье // Небрежно снегом закидав (хорошо), Ушел варить лимонное варенье.

4) Жалко, что эта умственная напряженность мешает Вам ввериться задаткам лирической цельности, которая Вам свойственна и прорывается отдельными строфами: Им тоже, может статься, Хотелось бы годок Не знать радиостанций И авиадорог. Где юности твоей условия, Восторженные города, Что пьют подряд твое здоровье, Всегда, всегда.—И в снежной синей пене Тонули бы подряд Олени и тюлени, Долины и моря.— Я писал о чем попало, Но свою имел я цель. В стекла била, завывала И куражилась метель.

Но этой легкости и стройности надо подчинять не отдельные четверостишия, а целые стихотворения.

Из них мне понравились многие: «Мне грустно тебе называть имена», «В нем едет Катя Трубецкая», «У облака высокопарный вид», «Поездка» (только нехорошо, где ... ты взглядом узких карих глаз Показываешь вверх, то есть нехорош этот надуманный зенит и нехорошо то, что он ее оставляет), «Гусеница», «Приманка», «Платье короля», «Свадьба колдуна» (отчасти), начало «Кареты прошлого», в «Космическом»: все об Уране, «Ты верно снова замужем», «Сестре Маше», «Вечерний холодок». Но почти ни одно из них, несмотря на серьезность содержания стихотворения «Сестре Маше» и тонкость и вдохновенность многих других, не понравилось мне целиком, безоговорочно.

Итак, чтобы подвести итог этим разговорам о стихах, вот мое общее по ним заключение, мое мнение. Вы слишком много чувствуете и понимаете от природы и пережили слишком чувствительные удары, чтобы можно было замкнуться в одни суждения о Ваших данных, о Вашей одаренности. С другой стороны, слишком немолодо и немилостиво наше время, чтобы можно было прилагать к сделанному только эти облегченные мерил.

Пока Вы не расстанетесь совершенно с ложною неполною рифмовкой, неряшливостью рифмы, ведущей к неряшливости языка и неустойчивости, неопределенности целого, я, в строгом смысле, отказываюсь признать Ваши записи стихами, а пока Вы не научитесь отличать писанное с натуры (все равно с внешней или внутренней) от надуманного, я Ваш поэтический мир, художническую Вашу природу не могу признать поэзией. Все это я говорю «в строгом смысле», но в творчестве никакого смысла, кроме строгого, и не существует. И зачем мне щадить Вас? Вы не бездарны и с жизнью связаны очень тесною связью высокой художественной восприимчивости, явствующей из Ваших строк. Если бы даже двадцать Пастернаков,

Маяковских и Цветаевых творили беззакония, расшатывая свои собственные устои и расковыывая враждебные им силы дилетантизма, все равно, эта Ваша связь с жизнью, а не их пример, давно должны были подсказать Вам, что Вы себя и Ваши опыты должны подчинить дисциплине более даже суровой, чем школа жизни, такая строгая в наши дни.

Но довольно о стихах. Я бы о них не писал, и я не писал бы Вам, если бы мне не верилось, что атмосфера в будущем, м<ожет> б<ыть> уже недалеко, смягчится, что наваждение безвыходности развеется и снято будет с общего склада современных судеб, что у Вас будет простор и выбор, когда Вам понадобится более вольный и менее стесненный взгляд. И вот с этой целью, чтобы отвести Ваш взор, слишком прикованный к стихам (все равно своим и чужим), прикованный слишком колдовски, мелко и слепо, я и написал Вам это все. Будьте здоровы. Не сердитесь на меня. Я верю в Ваше будущее.

Ваш *Б. Пастернак*

P. S. Для проверки своего мнения я показал Ваши книжки и свое письмо жене, женщине из военной среды, человеку здравому, уравновешенному и скорее старого закала, не склонному к вольностям новаторства, левизне и декадентщине. Она бегло, поверхностно просмотрела несколько стихотворений и, прочтя письмо, сказала: «По-моему, очень талантливо, и ты отозвался слишком строго, пристрастно и субъективно. Я знаю твои взгляды, но нельзя их навязывать другим». Так что, может быть, я несправедлив.

Б. П.

И я упустил сделать главное, поблагодарить Вас за присланные книжки и за доброе Ваше отношение ко мне, незаслуженное.

ШАЛАМОВ — ПАСТЕРНАКУ

Кюбюма, 24.XII.52

Дорогой Борис Леонидович.

Только неделю назад Ваше чудесное летнее письмо оказалось в моих руках. Я проехал за ним полторы тысячи километров в морозы свыше 50° и только

позавчера вернулся домой. Спасибо Вам за сердечность, за доброту Вашу, за деликатность — словом, за все, чем дышит Ваше письмо — такое дорогое для меня тем более, что я вполне готов был удовлетвориться сознанием того, что Вы познакомились с моими работами, и видел в этом чуть не оправдание всей своей жизни, так угловато и больно прожитой. Я так боялся, что Вы ответите пустой, не нужной мне похвалой, и это было бы для меня самым тяжелым ударом. Я хотел строгого суда, без всяких и всяческих скидок на что бы то ни было. Я и сейчас еще не знаю — есть тут скидки или нет. Я ведь не так уж ждал и ответа. Я послал их потому, что в жизни есть всегда какое-то неисполненное обещание, несделанный поступок, неосуществленное намерение и боязнь раскаяния в том, что обещание, поступок, намерение — не выполнено. Я ощущал долг перед собственной совестью, беспокойство душевное — что я не могу ничем, кроме простого и показавшегося бы странным письма, благодарить Вас за все то хорошее, чистое и прямое, что было в Ваших стихах и освещало мне дорогу в течение многих лет.

Я видел Вас один раз в жизни. Не то в 1933 или в 1932 году в Москве в клубе МГУ Вы читали «Второе рождение», а я сидел, забившись в угол, в темноте зала и думал, что счастье — вот здесь, сейчас — в том, что я вижу настоящего поэта и настоящего человека — такого, какого я представлял себе с тех пор, как познакомился со стихами. Всего за несколько лет я был огорошен и подавлен строками: «Февраль. Достать чернил и плакать. Писать о феврале навзрыд» и т. д. Я волновался и не понимал, какую силу и глаз надо иметь, чтобы написать такие стихи. И с того времени каждая Ваша строка, бывшая в печати, привлекала и тревожила меня.

Стихи я пишу давно, с детства, но, кажется, никогда показывать их кому-либо не пробовал и впервые показал вот Вам. Все, что было написано раньше, — безвозвратно потеряно, да мне и не жаль тех стихов. Мне жаль стихов последних лет — их растеряно немало, и только десятая, может быть, часть показана Вам.

Позднее, когда я встретился со стихами Анненского и они стали очередным откровением для меня — мне было ясно, что поэтические идеи Анненского близки Вашим. Вы пишете о влияниях. Я никогда как-то не доверял этому понятию. Мне казалось, что в ряде случаев (и в моем также) дело не во

влиянии, а в исповедывании одной и той же веры. Влияние—это порабощение, а единоверие—это свобода.

Я всей душой согласен с Вами, что писание стихов как самоцель—чушь. Но ведь как рождалось то и росло: игра, в которой ощущаешь силу, голос старых мастеров, от которого перехватывает дыхание, топотанье стихов в мозгу—такое неотвязное, что легче становится только тогда, когда запишешь их, мир, который с каждым годом все покорнее ложился на бумагу.

А потом—ведь с юности думалось, как бы послужить людям, принести хоть какую-нибудь пользу, не даром прожить жизнь, сделать что-то, чтобы люди были лучше, чтобы жизнь была теплей и человечней. И если чувствуешь в себе силу сделать это стихами, в искусстве—тогда все другие пути теряются в тумане и все становится не важным, подчас и сама жизнь. Так много растеряно, брошено, убито, не достигнуто, и только самое дорогое пронесено через всю жизнь: любовь к жене и стихи.

К тому же я верю давно в страшную силу искусства, силу, не поддающуюся никаким измерениям и все же могучую, ни с чем не сравнимую силу. Вечность этих Джиоконд и Инфант, где каждый находит свое смутное, не осознанное и волнующее, и художник, умерший много веков назад, силой своего искусства воспитывает людей до сих пор, что может быть завидней такой силы и какое счастье может ощущать тот, кто положил свой камень в это вечное здание. Я никого ни с кем не сравниваю, я снимаю понятие масштабов.

И как бы ни была грандиозна сила другого поэта—она не заставит меня замолчать. Пусть в тысячу раз слабее выражено виденное мной—это впервые сказано. Я счастлив оттого, что я понимаю, ощущаю, как писалась эта картина, я понимаю волнение художника и завидую ему, понимаю его душу, понимаю, как он говорил с жизнью и как жизнь говорила с ним. И больше того: я глубоко убежден, что искусство—это бессмертие жизни. Что то, чего не коснулось искусство,—умрет рано или поздно.

Может быть, Вам смешно читать эти наивные строки. Я ничего не понимаю в теоретической стороне дела. Я просто объясняю Вам—почему я пишу стихи. Притом я уже ничего не могу с собой сделать—то, что заставляет брать карандаш и бумагу,—сильнее меня.

Притом я смею надеяться, что все, написанное мной—меньше всего литература.

Я пишу и не вижу конца всему тому, что мне хочется сказать и рассказать Вам. Вижу у себя тысячи недостатков, кроме указанных Вами, но все же написанное мною—стихи, и общение с жизнью на этой дороге—оправдано.

Вы говорите много верного, но кое в чем я не могу согласиться с Вами. И прежде всего—о зачеркивании прошлого, Ваших прошлых работ. Этот мотив переполняет Ваши последние сборники, и стало быть, я знал это и раньше Вашего письма. Не чересчур ли жестоко это отречение? Я понимаю, что строгий мастер растет и живет, отрицая и уничтожая самого себя, но я помню, знаю и другое. Ведь я знаю людей, которые жили, выжили благодаря вашим стихам, благодаря тому ощущению мира, которое сообщалось Вашими стихами—именно теми, которые предадут сейчас сожжению. Думали ли Вы об этом когда-нибудь? О людях, которые остались людьми только потому, что с ними были Ваши слова, Ваши рисунки и мысли? Что стихи читались, как молитвы. Не в том дело, что «ученики» брошены, стихи-то ведь живут и без Вас. К тому же это вовсе и не ученики. Но была же в стихах этих такая жизнь и сила, которая, повторяю, людей сохранила людьми.

Второй вопрос—это ассонирующая рифма. Тут, мне кажется, Вы неправы—ибо рифма ведь это не только крепь и замок стиха, не только главное орудие, ключ благозвучия. Она—и главное ее значение в этом—инструмент поисков сравнений, метафор, мыслей; оборотов речи, образов—мощный магнит, который высовывается в темноту, и мимо него пролетает вся вселенная, оставляя в стихотворении ничтожную часть применяемого. Она—инструмент выбора, орудие поэтической мысли, орудие познания мира, крючок невода—стихотворения, и нет, мне кажется, надобности во имя только благозвучия отсекаать заранее часть невода. Добыча будет беднее.

Спасибо за присланные пять чудесных стихотворений. О каждом из них можно много говорить, вернее, с каждым из них, потому что—разве надо говорить о стихотворении? Жена прислала мне еще стихи Цветаевой, но большинство—из «Верст», которые я хорошо знаю, и большим удовольствием было перечесть их снова и снова. Вот какой праздник сейчас у меня на полюсе холода—письма жены, Ваше письмо и стихи.

Ваши и Цветаевские. У меня есть, конечно, немногие Ваши стихи — переписанные из «Земного простора»¹ — заполненные старые, подклеенные листочки из книжки, случайно попадавшие мне в последние годы.

Еще раз я горячо благодарю Вас за письмо. Вы ставите передо мной большие и высокие задачи. Бог знает, сумею ли я победить в этой борьбе, но мне кажется, я понял правду и душу поэзии, и сознание этой силы заставит меня держаться бумаги и чернил.

Я благодарю Вас также за постскрипtum и за письмо моей жене. Кажется, большей нежности и деликатности не видел я в жизни.

Желаю Вам здоровья, счастья, душевного мира и покоя. Желаю творческой силы — такой, какая отличала Вас всегда, как взыскательного художника. Берегите себя.

Передайте мой сердечный привет Вашей жене.

Поздравляю Вас и Вашу жену с новым годом. Желаю его видеть для Вас счастливым творчески и в добром здравьи.

В. Шаламов.

Б. ПАСТЕРНАК — Г. И. ГУДЗЬ

27 фев<аля>. 1953, Болшево.

Дорогая Галина Игнатьевна. Здешний мой адрес до 20-го марта следующий: ст. Болшево Ярославской ж. д. Санаторий Академии наук СССР Сосновый бор, мне. Если будет что-ниб<удь> от Варлама Тихоновича, перешлите сюда. Прочитали ли Вы рукопись?² Есть ли у Вас время ее переписывать? Перед отъездом сюда я Вам названивал — в третьей тетради будут некоторые изменения, я хотел внести их до Вашей переписки, но они — незначительны и это несущественно. Мне гораздо лучше, начал работать. Здесь очень нянчатся со всеми и, в частности, со мной, но тут довольно шумно и я плохо сплю.

От души Вам всего лучшего.

Ваш *Б. П.*

¹ Пастернак Б. Л. Земной простор. М., 1945.

² Речь идет о рукописи первой книги романа «Доктор Живаго». Пастернак дал ее Галине Игнатьевне для чтения, но она предложила свою помощь в перепечатке.

7 марта 1953 г.

· Дорогая Галина Игнатьевна!

Благодарю Вас за пересылку письма Шаламова. Очень интересное письмо. Особенно верно и замечательно в нем все то, что он говорит о роли рифмы в возникновении стихотворения, о рифме, как орудии поисков. Его определение так проникательно и точно, что оно живо напомнило мне то далекое время, когда я безоговорочно доверялся силам, так им охарактеризованным, не боясь никакого беспорядка, не заподозривая и не опорочивая ничего, что приходило снаружи из мира, как бы оно ни было мгновенно и случайно.

С тех пор все переменялось. Даже нет языка, на котором тогда говорили. Что же тут удивительного, что, отказавшись от многого, от рискованностей и крайностей, от особенностей, отличавших тогдашнее искусство, я стараюсь изложить в современном переводе, на нынешнем языке, более обычном, рядовом и спокойном хоть некоторую часть того мира, хоть самое дорогое (но Вы не думайте, что эту часть составляет евангельская тема, это было бы ошибкой, нет, но издали, из-за веков отмеченное этою темой тепловое, цветное, органическое восприятие жизни).

Не удивляйтесь, что на письмо Шаламова я отвечаю Вам, а не ему, потому что так обстоятельно, как я хотел бы написать ему, я не в состоянии.

И, знаете, отложим мысль о переписке романа как-нибудь до другого случая. Не втягивайтесь в это и не начинайте работы, а как-нибудь на днях, когда у Вас будет время, принесите рукопись жене, мне эти тетради скоро могут понадобиться.

Февральская революция застала меня в глуши Вятской губ. на Каме, на одном заводе. Чтобы попасть в Москву, я проехал 250 верст на санях до Казани, сделав часть дороги ночью, узкою лесной тропой в кибитке, запряженной тройкой гусем, как в Капитанской дочке.

Нынешнее трагическое событие¹ застало меня тоже вне Москвы, в зимнем лесу, и состояние здоровья не позволит мне в дни прощанья приехать в город. Вчера утром вдали за березами пронесли свернутые знамена с черною каймою, я понял, что случилось. Тихо кругом.

¹ Смерть Сталина.

Все слова наполнились до краев значением, истиной. И тихо в лесу.

Всего лучшего. Привет Кастальской и через нее Варв. Павл. Малеевой¹ и ее мужу.

Ваш Б. П.

В. ШАЛАМОВ—ПАСТЕРНАКУ

Томтор, 25 мая 1953 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Жена прислала мне запись телефонного разговора с Вами 16 апреля о моих письмах Вам. Не знаю, чем заслужил я столь сердечное отношение Ваше. Нет, не качества мои, а Ваша врожденная деликатность и сердечность подсказывают Вам столь преувеличенные похвалы моим попыткам осмыслить вопрос, который мучает меня давно—то, чему я не находил ранее выхода и ответа.

Но если отбросить все преувеличенное, незаслуженное, лишнее, сказанное Вами, то останется все же самое для меня дорогое и важное—Ваш интерес к тем сущностям, грубым, нестройным и м<ожет> б<ыть> наивным—но выношенным жизнью, найденным в личном ощущении и им проверенным. Вы многократно видели все это в настоящем свете и цвете и определите ложность и правильность моих догадок.

За эту переписку задет такой большой кусок моей жизни, что и не писать Вам я не могу, хотя и чувствую, как я врываюсь в Ваше спокойствие, в Ваше здоровье и силы и чересчур жадно и беззастенчиво пользуюсь Вашим вниманием, деликатностью и сердечностью. Я чувствую себя как-то виноватым перед Вами и все-таки пишу.

Я слишком давно оторван от общественной жизни, от культурной жизни, чтобы жалеть об этом. И чтобы желать чего-либо другого, кроме прояснения вопросов этих для себя.

Я продолжаю тот, наверное, бесконечный список вопросов, который я начал развертывать перед Вами в прошлых письмах.

Нет слов с одинаковым значением для каждого, с одинаковым смысловым содержанием. Даже такое,

¹ Кастальская Н. А. и Малеева В. П.—знакомые Пастернака и Г. И. Гудзь.

казалось бы, универсальное слово, как «смерть», отнюдь не воспринимается всеми людьми одинаково. В нашем вопросе поэтическая интонация сообщает слову (за которым стоит понятие) смысловые оттенки. Это обстоятельство, бесспорность которого очевидна для поэта (да и не только для поэта), определяет то, что поэт пишет для самого себя, хочет, по Флоберу, «нравиться самому себе», ищет ясности ощущения в самом себе, находит ее и увлекает других собственным ощущением слова, события, темы. Подлинная поэзия, конечно, всегда земная поэзия. Но не арифметическая поэзия. Подлинная поэзия предстает как некий алгебраический ряд, алгебраическая задача, куда каждый читатель может вносить свою арифметику, делать свои жизненные, арифметические подстановки.

Именно эти находки—теоремы и формулы—делают гениев, и в этом одна из главнейших причин вечности, скажем, Шекспира.

Есть другая поэзия—оперирующая арифметическими величинами, когда читательской работы не требуется и приводится цифровая выкладка, дается однократное и тем самым не вечное, а временное решение задачи. Примеров этой второй, арифметической поэзии приводить не надо.

Алгебраическими величинами поэт может сделать любые слова, ибо поэтических слов, как таковых, нет. Но есть поэтический ряд, расположение слов. Зачем ходят в театр смотреть Шекспира? Зачем (почему) его читают? Почему «Ромео и Джульетта» даже в кино, искусстве, по сравнению с театром, второсортном, волнует до слез людей, которым, казалось бы, вовсе и всячески чужда жизнь Вероны, итальянского города, о котором написал англичанин, никогда не видевший ни ее, ни ее людей в глаза? Не быт же ходят изучать по Шекспиру? Я еще не видел в исторических музеях плачущих людей, я видел их только в художественных галереях. <...>

«Алгебра» в поэзии—это, конечно, не «символы» русских поэтов начала двадцатого века. Она трижды, четырежды земная, из земли родившаяся, но не возвращавшаяся в землю, а продолжающая жить в земле.

Это касается ощущений «Гефсиманского сада»—я горжусь Вашей внутренней свободой и благоговею перед ней.

Удивительно и больно то, что слишком часто люди принимают за стихи вовсе другое. Стихи эти, поэтически безупречные, полны необычайной силы, прелести и задушевности. А книга эта—родник чистоты, и кто

обойдется без образов этого мира? И кем бы был, например, Толстой (весь от ранних вещей до последних) без нее?

Письмо мое снова затянулось, а сказать не удалось и тысячной доли того, что надо бы.

Доброго Вам здоровья, Борис Леонидович, творчества, творчества. Мне очень, очень жаль, что я не могу познакомиться с Вашим романом — куски переписывать нет смысла — нужна вещь вся.

И примите мои глубокие извинения за те стихи мои, с которыми познакомила Вас моя жена. Эти семь-восемь стихотворений — лишь десятая часть новой книжки «Времена года», которую я посылал в письмах, но почта работает плохо и до нее дошли только, к несчастью, наименее интересные и важные. Я был в полной уверенности, что она давно все получила, и надеялся, что Вы сможете увидеть все сразу. А так не стоило их и показывать Вам. Я прошу у Вас разрешения повидаться с Вами хоть на пять минут, если я буду когда-либо проезжать через Москву.

Привет Вашей жене.

Еще раз желаю Вам счастья, здоровья и творчества.

В. Шаламов.

ПАСТЕРНАК — ШАЛАМОВУ

18 дек<абря> 1953

Дорогой Варлам Тихонович!

Если у Вас не прошло еще желание иметь эти слышанные стихи, то вот они, их мне переписали. Я не проверял их, только в одном месте заменил одно слово.

От души всего Вам лучшего.

Ничего Вам не пишу, т<ак> к<ак> к концу года обязательно хочу кончить роман в первой черновой записи.

Ваш *Б. П.*

ШАЛАМОВ — ПАСТЕРНАКУ

Озерки, 27 декабря 1953

Дорогой Борис Леонидович.

Горячо благодарю Вас за присланные стихи, за Ваше отношение ко мне, право, мной вовсе не заслуженное. Как раз эти стихи мне дороги по-особенному.

Письмо Ваше дошло до Озерков лишь вчера, 26 декабря.

Сердечно поздравляю Вас и Вашу жену с Новым годом. Хочу, чтобы Ваш новый год был творчески сильным, чтобы в новом году была открыта Вам дорога к свободному общению с читателем. Чтобы Вы по-прежнему были совестью нашего времени, чтобы не пришлось снова писать Магдалин. Чтобы Вы хранили верность своему великому искусству — с той неподкупной чистотой, как Вы это делали всю жизнь.

Я сейчас весь в Вашем романе, в его мыслях и идеях. Письмо о нем получится большое, боюсь, что оно Вас утомит. Благодарю Вас за «Фауста» (жена мне писала) и за все, за все.

Желаю здоровья и счастья.

Ваш В. Шаламов.

ПАСТЕРНАК — ШАЛАМОВУ

(Дарственная надпись на книге Гете «Фауст». М., 1953)

Среди событий, наполнивших меня силою и счастьем на пороге нового 1954-го года, было и Ваше освобождение и приезд в Москву. Давайте с верою и надеждой жить дальше, и да будет эта книга не содержанием, не духом своим, а просто, как предмет в пространстве и объект суеверия, талисманом Вам в постепенно облегчающейся Вашей судьбе и утверждающейся деятельности.

Б. Пастернак. 2 янв<аря> 1954 г. Москва.

ШАЛАМОВ — ПАСТЕРНАКУ

<Озерки, январь 1954>

Дорогой Борис Леонидович.

Я не знаю только, как мне писать. То, что пишется, это и письмо Вам, и дневник, и замечания на «Доктора Живаго» — все вместе.

Я прочел Ваш роман. Я никогда не думал, не мог себе даже в самых далеких моих чаяниях последних пятнадцати лет представить, что я буду читать Ваш ненапечатанный, неоконченный роман, да еще получаемый в рукописи от Вас самих. Всего два месяца назад,

чужой всем окружающим, затерянный в зиме, зиме, которой вовсе и нет дела до людей, вырвавших у нее какие-то уголки с печурками, какие-то избушки среди неизбывного камня и леса, среди чужих пьяных людей, которым нет дела ни до жизни, ни до смерти, я пытался то робко, то в отчаянии стихами спасти себя от подавляющей и растлевающей душу силы этого мира, мира, к которому я так и не привык за семнадцать лет.

Затерянный, но не забытый. Я вернулся и пришел в Лаврушинский. Встретился с Вами. Поймите, чем это было для меня. Поймите даже мою немоту. Ведь от встречи после разлуки с городом можно плакать на подъезде вокзала, а тут была встреча с моей женой, женщиной, подвиг которой я не могу поставить в ряд ни с чем слыханным или читанным. Ведь ожидание мужей с войны—<...> ребячество, даже по времени ребячество. Когда все искусство, все газеты, доклады—все кричат на каждом шагу, увязывая ее с мужем и провозглашая ее героизм, и совсем, совсем другого масштаба дело, когда все ей кричат: «твой муж—преступник, порви с ним и ты будешь свободна от дискриминации», ее лишают службы, ей мстят всей силой государства. Она годами бедствует и плакать уже разучилась. На руках ее 1,5-летний ребенок. И какую нужно иметь душевную силу и веру в человека, чтобы семнадцать лет писать по 100 писем в год, встретить его на вокзале. Вот на другой день после этой встречи я и был у Вас впервые. И эту встречу, зная, чем она является для меня, она подготовила.

И встреча с дочерью, второе ее для меня рождение, а меня для нее—первое—я ведь оставил ее ребенком 1,5 лет, а сейчас ей 18, и она студентка 2 курса.

И, наконец, в эти же два дня—эта необыкновенная встреча с Вами. Кем Вы были для меня, чем были Ваши стихи для меня целых двадцать лет—об этом надо и рассказывать и писать отдельно.

Не правда ли—не слишком ли много событий для двух дней одного человека. Простите меня,—что я пишу не о романе, это тоже о романе, впрочем—это состояние, созданное его чтением, это фразы, подсказываемые Вашими героями—так что они толкнули меня на исповедь.

Видите ли, Б<орис> Л<еонидович>, я никогда не выступал в роли литературного критика.

Я не задаю вопроса, для чего роман написан, и не отвечаю на этот вопрос. Он написан потому, что нечто тревожащее Вас требует выхода на бумагу, требует

записи, и притом не стихотворной. Сильны какие-то чувства, которые поэт не вправе или не в силах выполнить в стихах и не вправе удержать в себе. Они живут рядом со стихами, они в сущности своей то же самое, что стихи. Остаются идеи, требующие трибуны не стихотворной.

Ваш роман поднимает много вопросов, слишком много,—для того, чтобы перечислить и развить их в одном письме. И первый вопрос—о природе русской литературы. У писателей учатся жить. Они показывают нам, что хорошо, что плохо, пугают нас, не дают нашей душе завязнуть в темных углах жизни. Нравственная содержательность есть отличительная черта русской литературы. Это осуществимо лишь тогда, когда в романе налицо правда человеческих поступков, т<о> е<сть> правда характеров. Это—другое, нежели правда наблюдений. Я давно уже не читал на русском языке чего-либо русского, соответствующего адекватно литературе Толстого, Чехова и Достоевского. «Доктор Живаго» лежит, безусловно, в этом большом плане.

И знаете что? Я могу следить за организацией, за композицией романа, обращать на нее внимание только тогда, когда у автора оказывается мало силы, чтобы увлечь меня своими ощущениями, мыслями, образами, словарем. Но когда мне хочется с автором, с его героями спорить, когда их мысли я могу противопоставить свою—или, побежденный ими, согласиться, пойти за ними, или их дополнить—я говорю с его героями как с людьми у себя в комнате—что мне за дело до архитектуры романа. Она, вероятно, есть, как эти «внутренние своды» в «Анне Карениной», но я встречаюсь с писателем, как бедный читатель, лицом к лицу с его мыслями и чувствами—без романа, забывая о художественной ткани произведения.

Вот почему мне нет дела—роман ли «Д<октор> Ж<иваго>», или картины полувекового обихода, или еще что. Там много таких мыслей (высказанных Веденяпиным, Ларой, самим Живаго), о которых мне хочется думать, и все это отдельно от романа живет во мне, и душевная тревога, поднятая этими мыслями.

Обратили ли Вы внимание (конечно, Вы ведь все видите и знаете), что в сотнях и тысячах произведений нет *думающих героев*? Мне кажется, это потому, что нет *думающих авторов*. Это в лучшем случае.

К мыслям Веденяпина, Лары, Живаго я буду возвращаться много раз, записывать их, вспоминать ночью. <...>

Но уж лучше по порядку, от страницы к странице. Великолепен мальчик, рыдающий на свежем могильном холме, протягивающий руки в повествование.

Сейчас отвыкли от такой прозы, весомой, требующей внимания.—Это я не о мальчике, а обо всем романе.

Никем вслух не уважается то, что тысячелетиями волновало человеческую душу, что отвечало на самые сокровенные ее помыслы. Выработан, м<ожет> б<ыть>, лучшими умами человечества и гениальными художниками язык общения человека со своей лучшей внутренней сущностью—всеми этими апостолами и позднее таким писателем, как Иоанн Златоуст, умевший управлять всеми тайнами человеческой души.
<...>

Я читывал когда-то тексты литургий, тексты пасхальных служб и богослужений Страстной недели и поражался силе, глубине, художественности их—великому демократизму этой алгебры души. А в корнях своих она имела Евангелие. Толстой понимал всеконечность Христа хорошо, стремясь со своей страшной силой поднять из той же почвы новые гигантские деревья жизни. А Лютер?

И как же можно грамотному человеку уйти от вопросов христианства?

И как можно написать роман о прошлом без выяснения своего отношения к Христу. Ведь такому будет стыдно перед простой бабой, идущей ко всемогущей, которую он не видит, не хочет видеть и заставляет себя думать, что христианства нет.

А как же быть мне, выдавшему богослужения на снегу, без риз, среди тысячелетних лиственниц, с наугад рассчитанным востоком для алтаря, с черными белками, пугливо глядящими на таежное богослужение.
<...>

Так что же такое роман, да еще доктор Живаго, которого долго-долго, до половины романа, нет, нет еще и тогда, когда во весь рост и во весь роман развернулась подлинная героиня первой половины картин—во всем своем обаянии (только отчасти—тургеневско-достоевском)—чистейшая как хрусталь, сверкающая, как камни ее свадебного ожерелья,—Лара Гишар. Очень Вам удался портрет ее, портрет чистоты, которую никакая грязь никаких комаровских не очернит и не запачкает. Я таких Лар, ну не таких, а поменьше, помельче, знал. Она живая в романе. Она знает что-то более высокое, чем все другие герои романа, включая Живаго, что-то более настоящее и

важное, чем она ни с кем не умеет поделиться (хотя бы и хотела).

Имя Вы ей дали очень хорошее—это лучшее русское женское имя, это имя женщин русской горестной судьбы—имя Бесприданницы, героини удивительной пьесы, необычайной для Островского, и в то же время имя женщины, героини моей юности, женщины, в которую я по-мальчишески был влюблен без памяти, и эта влюбленность очищала, поднимала меня—если можно влюбиться, раза два видав ее издали на улицах, сотни раз перечитывая каждую строчку, которую она написала, и видеть, как ее в гробу выносят из Дома печати. На похороны Ларисы Михайловны Рейснер я не имел силы идти. Но обаяние ее и теперь со мной—оно сохраняется не памятью ее физического облика, не ее удивительными книгами, начисто изъятыми из всех библиотек, не ее биографией, короткой, блестящей и стремительной—оно сохраняется в том немногом хорошем, что все-таки, смею надеяться, еще осталось во мне, противу всяких естественных законов. Вы-то знали ее, Вы даже стихотворение о ней написали.

Но я не о ней, а о Ларисе Гишар. Все, все правдиво в ней. И труднейшая сцена падения Лары не вызывает ничего, кроме ощущения нежности и чистоты (61 стр.). И даже в воспоминании о мерзком она «шагает, словно по воздуху, гордая, воодушевляющая сила». <...>

Женщины Вам удаются лучше мужчин—это, кажется, присуще самым большим нашим писателям. <...>

Теперь подойдем к вопросу, который мучает меня, который так дисгармоничен книге, который наряду с важнейшими мыслями, с тончайше-чудесными наблюдениями природы, плотно увязанными с настроениями героев, с единством «нравственного и физического мира», наиболее блестящим образом достигнутого, осуществленного в романе, представляет собой грубое, резко кричащее, выпадающее из всего строя романа явление, и от которого мне больно за Вас, художника.

Я говорю о языке простого народа в Вашем романе.

Именно о языке, а не психологическом оправдании поступков этих людей. Ваш язык народа—все равно—рабочий ли это, крестьянин ли, или городская прислуга. Кроме того, он одинаков для всех этих групп, чего не может быть, даже сейчас, а тем более раньше, при большей разобщенности этих групп населения. Ваш народный язык—это лубок, не больше. Я знаю этот язык, и знаю слишком. Словарь там беден, бедность

словаря компенсируется преимущественно интонациями за счет пересыпания речи матерщиной, а без нее он не представляет никаких «блезиров». В крестьянском быту больше поговорок, обыкновенных, обыкновенных широкоизвестных, язык городской прислуги скуден, но в общем чист, рабочие тоже говорят обыкновенным языком и даже не любят словесных узоров, всяких художественных расцветок. <...>

Может быть, лучшее место книги—это кусок о Риме и Христе—дневник Веденяпина. Я переписал себе этот чудесный кусок и, м<ожет> б<ыть>, его выучу.

И вот еще что: когда солдатчина, военщина начинает править миром, мне кажется, что если это пойдет так дальше—будет Третье пришествие и начнется история нового, второго христианства. <...>

В христианстве все дело в пришествии, в перемещении в быт.

Не палка, а музыка, сила безоружной истины—правильно.

Вот обо всем таком и надо говорить, думать, писать романы. Я раньше, до знакомства с Вами поражался, случайно встречаясь с кем-либо из печатающихся,—никто не интересовался таким вопросом, как что такое искусство. Я думал, они притворяются, должны же они хотя бы хотеть понимать такое.

Еще один момент важный, отличающий со всей положительностью «Д<октора> Ж<иваго>»,—это *спокойствие* повествования. Оно иного характера, чем библейский язык или, скажем, военные отчеты, и далеко от того и другого—при обилии мест высокой лиричности голос никогда не повышается. Это я считаю огромным достоинством и драгоценной особенностью языка, знакомого мне и по «Детству Люверс». <...>

ШАЛАМОВ—ПАСТЕРНАКУ

Озерки, 22 января 1954 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Благодарю за Вашу всегдашнюю заботу обо мне, за сердечное внимание, которое мне дороже всего на свете. Благодарю за чудесную надпись на «Фаусте», за слова, вновь и вновь утверждающие душевные мои стремления.

Вам не надо так говорить о моем письме по поводу «Доктора Живаго». Вряд ли оно было для Вас сколько-

нибудь интересным и значительным. Мне же, конечно, не жаль никакого времени, жизни не жаль для того, чтобы иметь возможность говорить с Вами, писать Вам, проверять Ваши мысли на себе и в себе самом открывать какие-то новые уголки, которые были настолько затемнены, что, думалось, их вовсе не существовало. От наших встреч я вырос, разбогател душевно и благодарю Бога за великое счастье, которое досталось мне в жизни,—счастье личного общения с Вами.

Думается—схлынет, пройдет вся эта эпоха зарифмованного героического сервизма, с полной утерей и перспективных оценок и взгляда назад, и светлый ручей поэзии вновь покажет свою неиссякаемую силу со всей ее свежестью и чистотой. Грустно, конечно, что подлинные стихи для нынешней молодежи (осведомленность о них, вкус к ним) представляют сейчас, как никогда ранее, какую-то (в лучшем случае) звездную туманность, новую Галактику, скопление далеких миров, в котором под силу разобраться только старикам-астрономам. Одна из причин этого—воспитанное годами недоверие к поэзии, боязнь ее, подмена ее рифмованными «кантатами». Но все это удешевляет требования к искусству, к его честным и искренним слугам. В сохранении верности поэзии трижды укрепить себя. Мне думается, никогда еще в истории русской поэзии не было такого трудного времени для искусства, когда смещены понятия, когда старые слова наполнены новым, иным, фальшивым и притом меняющимся смыслом, когда читатель (и поэт, как читатель) полностью дезориентирован этой фальшивостью понятий. Чрезвычайно трудно (и не по мотивам личной славы, гордости, что ли) не сбиться с дороги.

Не у всякого сердце—надежный и верный компас. Даже т<ак> н<азываемое> «общение» поэта с широким читателем—тоже очень сложная штука. Дело в том, что поэт чувствует себя как бы в кольце охраны—всех этих лжеистолкователей, лжеисследователей, лжепророков и вынужден через головы стражи, через ряды конвоя обращаться к верующей в него толпе, если и не полностью понимающей, то чувствующей его истину и доверяющей его чутью. Даже в ближних конвою рядах этой толпы могут быть люди, которые как бы и народ, но которые вовсе не народ, а только подголоски конвоя. Жить поэту очень трудно, и только глубочайшая вера в справедливость своих идей, вера в свое искусство заставляет жить и работать, создавая новые вещи, год от году все большей силы, глубины и

художественной убедительности. Он не только чувствует—он знает, что он необходим времени, что он не простой свидетель. Он—совесть времени, его неподкупный судья. И он с удовлетворением отмечает, что гений его крепнет год от году, что голос его становится все проникновенней и чище, что смысл всех событий и идей становится все яснее и безоговорочней. Я отнюдь не смотрю пессимистически на будущее поэзии. Ее способность к бессмертию бесспорна для меня. Бесспорна для меня и ее нерукотворность, что ли—что она живет и в поэте и как-то помимо поэта, как Блоковская Прекрасная Дама, как Гриновская Бегущая по волнам. Что ее нельзя отменить, растоптать, как нельзя и создать. Что мир предстает как какой-то материал для ее детских игр, для ее роста и раздумий. Что она входит в людей случайно, и вовсе не со всеми, в кого вошла, бывает до конца их дней. Что она поработает человека. Что она отводит его в сторону от других людей. Что она спасает и легко может губить, что она заставляет человека доверять только ей. И, наконец, что она обращается постоянно к единственно вечному в человеке, присущему ему—к его страданию. Страдание вечно само по себе, мир почти не меняется временем в основных своих чертах—в этом ведь и сущность бессмертия Шекспира.

Именно страдание человека есть коренной предмет искусства, есть сущность искусства, его неизбывная тема.

Опять, как всегда, письмо не находит конца, а я боюсь Вас утомить вещами, которые мучают меня, а Вам-то давно и хорошо известны.

Я хочу просить Вас, Борис Леонидович, прочесть еще одну тетрадку стихов моих. Частью это—вовсе новые стихи, частью—стихи прошлого года, написанные после тех, что Вы видели в последний раз. И теперь, как и раньше, в последние годы, удержаться от записей этих нельзя. Жизнь как-то требует переварить и в стихах, как-то выбросить это беспокойство ощущений на бумагу, что понемногу и делается.

Вместе с этим письмом посылаю одно прошлогоднее, которое до Вас не дошло. Посылаю потому, что все, что есть в этом письме, представляется мне уже сказанным Вам, и сказанным именно тогда, когда это письмо написано.

Привет Вашей жене.

Желаю счастья, творчества.

Ваш В. Шаламов.

Озерки, 3 мая 1954 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Вы меня вовсе забыли и бросили. Я хотел бы, если уж нельзя Вас видеть—передать Вам давно готовую книжку (не книжку, а просто несколько десятков стихотворений), надеясь, что Вы найдете время когда-нибудь их посмотреть. Там нет ничего, что могло бы удивить мир, но, быть может, кое в чем они будут для Вас интересны.

Хотел бы взять назад ту синенькую тетрадку, которую Вы читали.

Хотел бы видеть окончание романа и все стихи Ваши, написанные за последние три месяца (век, кажется, прошел).

Если Вам не хочется почему-либо видеться со мной—прошу позвонить моей жене, и она зайдет к Вам.

Ваш *В. Шаламов.*

ПАСТЕРНАК — ШАЛАМОВУ

4 июня 1954

Дорогой мой Варлам Тихонович!

Ваша синяя тетрадь, еще не дочитанная мною, ходила по рукам и везде вызывала восторги. Я только сегодня получил ее обратно и увезу на дачу, где дочитаю до конца и перечту еще раз заново. Когда я принялся читать ее, я стал отчеркивать карандашом наиболее понравившиеся мне и исчертил сплошь, почти все страницы прочитанной половины. Наверное, я напишу Вам подробнее об этом собрании, когда толком перечту его. Вы одна из редких моих радостей и в некоторых отношениях единственная, и Вам наверное странно, как это можно, не кривя душой, так долго воздерживаться и отказываться от того, что так близко и дорого. Но я так создан, что пока мучаюсь над чем-нибудь, что надо сделать и что еще не сделано, я вынужден отгораживаться от самого естественного и милого. Это еще продолжается, потерпите, распространите свое всепрощение на более долгий срок.

Никто из читавших не говорил о незаконченности, о неокончателности отдельных стихотворений, никаких недостатков никто не находил, а я по-прежнему пора-

зился богатствам основного потока, питающего стихотворения, одухотворенностью наблюдений, чувств и мыслей, точностью слов и их тонкостью, и относительной, по сравнению со всем этим, недостаточностью того, что превращает некоторую последовательность строф в отдельно стоящее стихотворение, в самостоятельную форму, в какое-то последнее слово по данному поводу. Напрасно я завязал вновь разговор об этом. Я не собирался писать Вам ничего серьезного, а перед отъездом на дачу хотел еще раз сказать Вам, что я люблю Вас, считаю, что Вы одарены настоящим талантом и верю в Вас.

Посылаю Вам в качестве подарка полученный из «Знамени»¹ читательский отклик на стихотворения в апрельском номере. Не сопровождаю комментарием, Вы слишком тонки, чтобы не оценить всей прелести этих рассуждений. Меня с детства удивляла эта страсть большинства быть в каком-ниб<удь> отношении типическими, обязательно представлять какой-ниб<удь> разряд или категорию, а не быть собою. Откуда это, такое сильное в наше время поклонение типичности. Как не понимают, что типичность — это утрата души и лица, гибель судьбы и имени.

Будьте здоровы, всего лучшего.

Ваш Б. П.

ШАЛАМОВ — ПАСТЕРНАКУ

Озерки, 22 июня 1954 г.

Дорогой Борис Леонидович!

Только теперь добралось до меня Ваше, как всегда сердечное, чудесное письмо. В нем очень много душевного, дорогого, родного мне — всего, что меня бесконечно радует и укрепляет.

Для меня ведь ощущение самой жизни после личных встреч с Вами стало иным — и все мне теперь кажется, что будто бы я знал Вас всегда, всю мою жизнь, что Вы всегда были со мной, и вовсе неестественной кажется истина. И это как-то не потому, что Вы были со мной Вашими стихами и прежде. Это какое-то новое озарение.

Конечно, мне огорчительно, что целых полгода я Вас не видел. Тут нет никакой обиды, я все понимаю.

¹ В «Знамени» (1954, № 4) опубликована подборка стихов Б. Пастернака.

Я хорошо представляю болезненность от прикосновений всего внешнего, входящего в творчество. И, как бы ни было это внешнее дорого,—оно мешает, оно слишком грубо просто потому, что оно—внешнее. Хирургия знает воспалительные процессы. Когда нельзя подуть на рану—такая чувствуется боль. Понимание этого учит меня терпению. И само творчество—это ведь и есть лечение душевной раны.

То, чего я ищу в жизни, то, что я в какой-то мере пытался выразить в стихах, обязывает меня беречь совесть. Я видел сразу—из Вашего первого письма, что это понято Вами, и, боже мой, как я был счастлив. Мне очень лестно было прочесть (и ранее услышать переданные по телефону) Ваши общие замечания по поводу синей тетради, лестно было прочесть обещание подробного разбора. Но мне хотелось бы критики наистрожайшей.

Вопрос «печататься—не печататься»—для меня вопрос важный, но отнюдь не первостепенный. Есть ряд моральных барьеров, которые перешагнуть я не могу. Но достаточно о себе. Я очень просил бы Вас, когда будет закончен роман,—дать мне один экземпляр с машинки на все. Не потому, что я не хочу ждать его напечатания или там рукопись «коллекционная», что ли,—вовсе не поэтому (простите меня за эти оговорки—их, наверное, не следовало делать). Мне хочется кое о чем подумать с романом, кое о чем поговорить с собой. Каким будет «Д<октор> Ж<иваго>» в печати—я не знаю. Из «Свидания» в «Знамени» отнята важнейшая концовка, да и «Хмель» в какой-то строке, мне кажется, изменен не к лучшему. Я боюсь, что кое-что ценное, важное для меня в «Д<окторе> Ж<иваго>» (а этим важным и ценным является почти весь роман в его первом варианте)—изменится или сгладится.

В «Знамени» нет «Рассвета», нет «Земли», нет «Сказки». Появления других (многих) вещей я и не ждал пока.

Я живу таким медведем—здесь очень плохая библиотека, даже журналов толстых свежих нет—что даже о Ваших стихах в апрельском номере «Знамени» я узнал лишь несколько дней назад в Твери от одного молодого студента, в котором есть кое-что от того, чем привлекательна юность,—какое-то туманное, неосознанное стремление, собранность какая-то, ищущая приложения сила, готовность отдать всего себя без остатка и сразу чему-то большому и главному, послужить какому-то еще не найденному, но обязательно доброму богу.

И мне было как-то жаль, что, вот, те чудесные стихи, которые Вы читали мне в январе, напечатаны в журнале, а я и не знаю, что Вы отдавали их в журнал и т. д. и т. п. Смешное чувство, конечно. И радость, что они напечатаны.

Тираж номеру вы сделали, вероятно, большой, четвертого № не найти в киосках. В каком-то журнале несколько лет назад были напечатаны Ваши стихи о зверинце, о Московском зоосаде, легкие такие строчки—развлекающегося собственными стихами и темой поэта. Куда они делись? Ни в каких сборниках их, мне кажется, не было. Жена не велела мне писать Вам длинное письмо, а я не могу остановиться. Вы не писали в письме—ни о «Докторе Живаго», ни о новых стихах, ни о здоровье, почему Вы не хотите понять, что ведь мне это дороже, важнее всего, м<ожет> б<ыть>; открытку какую-нибудь. А то ведь узнаешь все из десятых рук.

Письмо Ваше было лучшим подарком мне на день рождения и осветило особым светом этот день.

Будете ли Вы на съезде? Выступить, поди, не будете.

Этот ящик Пандоры, из которого дружно вылетели и статьи Померанцева, «Времена года», «Гости», «Оттепель» и т. д.¹—все это говорит не только о поспешности литературного пера, но и о совсем другом говорит настойчиво.

От подарка—читательского «отклика» на Ваши стихи я в полном восторге. Вот так и отучили людей от стихов. В молодости я начал было коллекционировать подобный материал, но скоро бросил, увидя, что нельзя объять необъятное. Эта рецензия мне еще сослужит службу, и не только как показатель «уровня». Достаточно представить страшное—литературные факультеты, часы русского языка в средних школах, доклады, лекции, курсы, литкружки, сессии Академии наук и писательские собрания—ведь где-то вот там рецензент формировал свои понятия и вкусы.

О типичности—при личной встрече.

Желаю вам здоровья, творчества, душевной силы.

Привет Вашей жене.

Ваш *В. Шаламов.*

¹ Имеются в виду статья В. Померанцева «Об искренности в литературе» (Новый мир, 1953, № 12), роман В. Пановой «Времена года», повесть И. Эренбурга «Оттепель» и пьеса Л. Зорина «Гости». После публикации статей В. Померанцева, Ф. Абрамова А. Т. Твар-

Туркмен, 24 октября 1954 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Осмелюсь напомнить Вам о своем существовании и просить, если позволяет Ваше время, о личном свидании. И о всем обещанном, если Вы не забыли (синяя тетрадка). Вы, я убежден, и роман закончили и стихов новых написали немало. А я, в своей деревенской глуши, не успеваю даже чтение наладить сколько-нибудь удовлетворительно; махнув рукой на методическое, систематическое, хочу хоть что-либо прочесть из недочитанного за эти 17 лет. Целая человеческая жизнь, прожитая за Яблоновым хребтом, оставила слишком мало времени на чтение. В новых стихах я все в старой теме, и вряд ли отпустит она меня скоро. Рассказы, которые начал писать, достаются мне с большим трудом — там ведь ход совсем другой.

Желаю Вам счастья, творчества. Вызовите меня, и я приеду. Можно звонить (76-32-50, Маше) или письмом — только адрес мой теперь другой — ст. Решетниково Окт. ж. д., пос. Туркмен, п/о, до востребования.

Или на Чистый переулочек.

Ваш В. Шаламов.

ПАСТЕРНАК — ШАЛАМОВУ

27 окт<ября> 1954

Дорогой мой Варлам Тихонович!

Никогда Вас не забываю. Ничем не могу Вас порадовать относительно себя. Если говорить об окончании романа в смысле плана и общего построения, то в этой грубой приблизительности, я дописал его еще в ноябре прошлого года. Но в выполнении подробностей я еще очень далек от цели.

Если недавно я не мог нахвалиться своим самочувствием, трудолюбием, настроением, сейчас не помню и, может быть, не знаю, что его изменило. В один из промежутков отчаяния, когда силы души оставляют меня, и отвечаю Вам.

Ужасна эта торжествующая, самоудовлетворенная,

довский был отстранен от должности главного редактора журнала. Вышеупомянутые произведения получили резко отрицательные отзывы в критике.

величающаяся своей бездарностью обстановка, бессобытийная, доисторическая, ханжески-застойная. Я так не люблю ее.

Я сам желал встреч с Вами и легко назначал их Вам, когда мог сойтись с Вами хоть на клочке какой-то твердой почвы, и радость достигнутой определенности звала и побуждала делиться ею с самыми близкими. А теперь я снова плаваю, вязну, тону, погрязаю в начатом, неоконченном, несделанном, несовершенном, безнадежном. И руки опускаются—и не вижу конца. Не сердитесь на меня, милый друг.

Я живу на даче, отделанной по-зимнему, со всеми удобствами, наподобие дворца, и живу непозволительно и незаслуженно до бесстыдства роскошно. Я тут буду зимовать. Я вас непременно вызову к себе. Вы, я знаю, думаете, что я Вас обманываю. Увидите.

Все-таки случай со «Знаменем» был коротким про светом. Можно было временно надеяться, обольщаться. Не на свой собственный счет,—на общий. А тогда я пренебрежительно отнесся к этой возможности. Не оценил.

Я никогда не верну Вам синей тетрадки. Это настоящие стихи сильного, самобытного поэта. Что Вам надо от этого документа? Пусть лежит у меня рядом со старым томиком алконостовского Блока. Нет, нет и загляну в нее. Этих вещей на свете так мало. А что тут еще выдумать. Стихов новых не писал, и не пробовал. Их по плану до окончания прозы и не полагалось.

Поклон Галине Игнатьевне.

Еще раз: не сердитесь на меня.

Ваш Б. П.

Пишите, если захотите и понадобится, на городской адрес. Оттуда почту доставляют 6 раз в неделю.

ШАЛАМОВ—ПАСТЕРНАКУ

Туркмен, 29 декабря 1954 г.

Сердечно и горячо поздравляю Вас с Новым годом. Ведь будет же день, когда время вспомнит, чем являются Ваши стихи для него; поймет, что Ваши работы—это и есть то, чем может гордиться страна; поймет, что только выстраданное, искреннее, отмечающее всю и всяческую фальшь, достойно называться искусством. Желаю Вам счастья, здоровья, творческих

успехов, спокойствия—как знать, может быть, этот год, так мало обещающий поначалу, и откроет Вам свободную и широкую дорогу на страницы журналов, к читателю, стосковавшемуся по Вашим стихам, Вашим словам. Вся штука в том, что дело поэта, его жизненная дорога—это не профессия и не специальность. Это совсем другое. Жизнь во имя настоящего, подлинного, так нужного людям—разве это не гордая судьба?

Примите же вместе с Зинаидой Николаевной наши сердечные новогодние поздравления и приветы—мои и Г<алины> И<гнатъевны>.

Ваш *В. Шаламов.*

ШАЛАМОВ—ПАСТЕРНАКУ

Туркмен, 19.II.55

Дорогой Борис Леонидович.

Кажется, вечность прошла с того времени, как получил последнее Ваше письмо. Некому сообщить хотя бы о Вашем здоровье—ни о чем больше.

Мне было легче жить, зная что-либо о Вас. Сейчас труднее, когда столько месяцев не знаешь ничего.

Уважение и доверие к Вам, глубочайшее желание добра и счастья, беспокойство за Ваше здоровье—вот с этим и написано это маленькое письмо.

Ваш *В. Шаламов.*

ШАЛАМОВ—ПАСТЕРНАКУ

Туркмен, 18 апр<еля> 1955

Дорогой Борис Леонидович.

Спасибо Вам за телефонный звонок, за Ваш сердечный разговор. Бесконечно рад, что Вы в бодром здравии и «форме». Меня так тревожило Ваше молчание.

Счастливы слышать о переиздании Ваших стихов и еще более об окончании романа.

Горячий привет З<инаиде> Н<иколаевне>.

Ваш *В. Шаламов.*

Туркмен, 22 мая 1955

Дорогой Борис Леонидович.

По многим причинам хотел бы Вас видеть. Главных три: 1) Целых полтора года мы не встречались, и порой думается, видел ли я Вас вообще. Для меня слишком большое значение имели те немногие встречи с Вами, чтобы я мог к ним относиться равнодушно. Выполнение принятых серьезных решений откладывается и откладывается до встречи с Вами. Кроме того, мне хотелось бы все, написанное мной, отдать Вам.

2) Я по-прежнему твердо уверен, что русская литература, русская поэзия очнется от колдовского гипноза и новые вещи Ваши займут в сердцах всех грамотных людей то первое и огромное место, которое они занимают сейчас в сердцах немногих, имевших счастье прочесть их в рукописях. Я хотел бы видеть Ваши новые работы—и окончание романа и стихи.

3) Я хотел бы просить Вас почитать и то новое, что написано мной за это время. Из стихов, кажется, есть кое-что путное, что должно Вам понравиться. Прозы пока показывать Вам не буду.

Если у Вас есть желание и возможность повидаться со мной, хотя бы в июне, и если здоровье Ваше позволяет, то прошу назначить любой день и час и я приеду. Лучше, конечно, в субботу или воскресенье, но и в другие дни я смогу выбраться. Меня отпустят на сутки—только мне надо за неделю знать об этом.

Если почему-либо нельзя, то прошу тоже известить, не удерживаясь соображениями вежливости и деликатности.

Ваш *В. Шаламов.*

ПАСТЕРНАК — ШАЛАМОВУ

Переделкино, 10 дек<абря> 1955 г.

Дорогой Варлам Тихонович!

Дайте мне еще месяц отсрочки, родной мой. Когда я летом говорил Вашей жене или Вам писал, что роман окончен, речь шла о необработанном, но сюжетно завершенном пересказе содержания. Какая работа еще предстояла потом! А тут еще МХАТ затесался с

просьбой перевести Шиллерову Марию Стюарт, на что ушло полтора месяца.

В январе, если я, бог даст, доживу и если вторая книга в окончательной редакции будет к тому времени перепечатана на машинке, я сам навяжу Вам ее, мне надо, чтобы Вы прочли ее. Вот Вы меня разругаете!!

В промежутке я еще раз напишу Вам, я это ясно предвижу и знаю, а Вы не пишете мне, чтобы не конфузить меня.

Ничего не изменилось. То есть изменилось колоссально много: я окончил роман, исполнил долг, завещанный от Бога, но кругом ничего не изменилось. Я здоров и счастлив в своем замкнутом кругу, когда же делаются учащающиеся попытки вытащить меня из этого одиночества, это всякий раз разочаровывающий удар для меня, настолько я в своей тиши забываю, до какой степени люди могут быть чужими и ненужными, всего лишившись, выродившись и обо всем забыв.

От души желаю всего лучшего Вам и Вашей жене. Забудьте обо мне до нового напоминания.

Если до Нового года не напишу, то с наступающим Новым годом.

Преданный Вам

Б. Пастернак.

ШАЛАМОВ — ПАСТЕРНАКУ

Туркмен, 19.XII.55

Дорогой Борис Леонидович.

Благодарю за письмо Ваше.

Поздравляю Вас и З<инаиду> Н<иколаевну> с Новым годом и от всего сердца желаю счастья и здоровья.

Поздравляю с окончанием романа, верю в Ваш интерес к моему скромному мнению о нем и радуюсь этой вере.

Как я завидую Вашей творческой силе, душе, умеющей не уступить своих внутренних побед и более того — вновь утверждать себя с возрастающей силой, двигаясь дальше и выше.

Мое восхищение, мое уважение — бесконечно. Жена моя присоединяет свои поздравления, приветы.

Ваш *В. Шаламов.*

22 дек <абря> 1955

Дорогой друг мой! Спасибо за скорый ответ. Страшно второпях: мне пришла безумная мысль послать Вам конец романа на спешное прочтение, до отдачи в дальнейшую переписку, недели на полторы на две, до первых чисел января. Как только у Вас освободятся обе тетради, доставьте их для передачи мне на городскую квартиру. Если никого там не будет, в 5-м подъезде Лаврушинского дома дежурит лифтерша Мария Эдуардовна Киреева, отдайте пакет ей для передачи мне в собственные руки, когда я приеду в город. Киреева проживает у нас.

Не утруждайте себя подробным обстоятельным отзывом. Не тратьте на это времени и души. Я по двум-трем словам все угадаю.

Но вот условие. Если Вам будет до неприемлемости чуждо общее восприятие вещей в романе и Вас от меня отшатнет, простите мне мое ошибочное отношение к ним ради тех отдельных страниц, которые останутся Вам родными в нем и понравятся.

Я совершенно был согласен с Вашим замечанием о разговорах людей из простого народа, что они представляю лубок и неестественны. Вы обнаружите, как я упорствую в своих пороках и продолжаю им предаваться.

Дорогой, дорогой мой! То, что Вы усмотрите в этих тетрадях, не следствие тупоумия и черствости души, наоборот, у меня почти на границе слез печаль по поводу того, что я не могу как все, что мне нельзя, что я не вправе.

Сейчас большой поворот в сторону «левого искусства», «опальных имен» и пр. Конечно, я не составляю исключения. Часто куда-то зовут, что-то предлагают. За всеми этими движениями твердая уверенность, что у всех в головах одна и та же каша, и ничего другого быть не может, и только в том разница, в каком виде ее подают, горячею или холодною, с молоком или маслом. Того, что можно думать совсем о другом и совсем по-другому, нет и в допущении. Конечно я ото всего отказываюсь и еще более одинок чем прежде. Пожалейте меня.

Прочтите, прочтите роман. Неважно, что Вы забыли предшествующее. Это несущественно.

Привет Галине Игнатьевне.

Любящий Вас Б. П.

Туркмен, 8 января 1956.

Дорогой Борис Леонидович.

Благодарю Вас за чудесный новогодний подарок. Ничто на свете не могло быть для меня приятней, трогательней, нужней. Я чувствую, что я еще могу жить, пока живете Вы, пока есть Вы—простите уж мне эту сентиментальность.

Теперь к делу. Лучшее во второй книге «Д<октора> Живаго» — это, бесспорно, суждения, оценки, высказывания — ясные, записанные с какой-то чертежной четкостью, это то, что хочется переписывать, учить, запоминать. Прежде всего это — суждения самого Юрия Живаго, но не только доктор говорит голосом автора. Это в плохих романах бывает такой «избранный» рупор. Голосом автора говорят все герои — люди и лес, и камень, и небо. И слушать надо всех: и Симу, и Тягунову, и бельевщицу Таню, и других. В этом — в новых, в таких непривычно верных суждениях — главная сила романа. В суждениях о времени, которое ждет не дождется честного слова о себе. Целые главы: «Варыкино», «Против дома с фигурами», «Рябина в сахаре», Лариса у гроба — очень, очень хороши суждения об искусстве, о вдохновении, о догмате зачатия, о марксизме, оценки времени — все это верно — т<о> е<сть> понятно и близко мне. Да и всех, кто читал роман, сколько я мог заметить, эта сторона сильно волнует. — Каждого на свой лад. Все оценки времени верны, хотя они и даны, оглядываясь — из будущего, ставшего настоящим. Но они тем самым становятся убедительными. Все, что Живаго успел сказать, — все действительно, значительно и живо, все это очень много, но мало по сравнению с тем, что он мог бы сказать.

В романе в огромном количестве — ценнейшие наблюдения, неожиданно вспыхивающие огни, вроде столба, которого не заметил Живаго, уезжая, вроде соловья, незримой несвободы, вроде книжек доктора, которые читает хозяин квартиры на глазах дроворуба, вроде ладанки с одинаковой молитвой у партизана и белогвардейца. И многое, многое другое. Удачно по роману ввязаны в ткань романа стихи, данные в приложении. Меня занимал способ их «подключения» в роман.

Второе бесспорное достоинство — те необычайные акварели пейзажа, которые, как и в первой части, — на

великой высоте. Вообще, не только в пейзажном плане, вторая книга не уступает первой, а даже превосходит ее. Рябина превосходна, снег, закаты, лес, да все, все. Дождливый день в два цвета, рукопись березок, листья в солнечных лучах, скрывающие человека,— все, все.

Пейзаж Толстого—безразличен к герою, описание его самодовлеющее: репейник в «Хаджи Мурате» и трава в тюремном дворе «Воскресения»—это символы или своеобразные эпиграфы, а не ткань вещи.

У Достоевского нет никакого пейзажа (что, конечно, косвенным образом свидетельствует о Вашей правоте в определении искусства, как некоего самостоятельного начала, входящего в любую обстановку и заставляющего все окружающее служить ему. Помните Цветаевскую статью о поэзии, как едином Поэте. Эта формула тоже каким-то краем касается этого дела).

Пейзаж Чехова—противопоставление внешнего и внутреннего мира («Припадок», «Степь»). Ваш пейзаж—внешнее, подчеркивающее внутренний мир героя—эмоциональное постижение этого внутреннего мира.

О героях. Доктор Живаго по-настоящему вышел в главные герои. Умный и хороший человек, привлекающий к себе всех; все его любят, ибо каждый ищет в нем свое, подлинно человеческое, утерянное в житейской суете, в жизненных битвах. Помогая ему, облегчая его быт, его житейское, каждый платит как бы свой долг, род штрафа за то, что человек не удержал в себе того, что давалось ему с детства, жизнь не дала удержать. Так делает и Самдевятов, и Стрельников, и Ливерий, и конечно и в первую очередь и это совершенно естественно,—женщины с их конкретным мышлением, с их жертвенностью. Поэтому-то и третья жена—Марина, по-настоящему любящая, не снижает образа Живаго и—нужна. Вся эта разная и все-таки единая любовь Тони, Ларисы, Марины—показана очень хорошо. О Ларисе—обреченность на несчастье, на житейские неудачи. Освещающая все лучшее в романе и—под колеса, раздавить, растоптать. Все, что я писал о ней Вам раньше,—не сбавлено во второй части ни на йоту, и просто—горькая судьба. Но, верно, так и надо.

Ничего не нашел я фальшивого в судьбах главных героев. <...>

Бледен Стрельников, хотя его трагическая судьба (я говорю не о самоубийстве) намечена верно—так это и есть и было. Евграф объяснен частично, да, кажется, я уже понял, зачем живет этот Евграф. Брат, который найдет, подберет, утвердит лучшее, что было у Юрия

Живаго, воспитает его дочь, издаст его книги, не даст исчезнуть тому, что хочет растоптать жизнь.

Прекрасно о человеке, который рождается жить, а не готовится к жизни, прекрасно о причинах инфарктов, да, наверно, так оно и есть.

«Лубок» ощутим почему-то меньше во второй книге, хотя Вы предупреждали о его упрямом существовании. Даже Вахх не портит дела.

Кое о чем хочется и поспорить. О «нравственном цвете поколения», например, о подготовке героизма, проявленного на войне. Бесспорно, что на войне умирали молодежь легко. Но на какой войне не умирает молодежь легко? Она ведь не знает, не ощущает, что такое смерть, не понимает, не чувствует внутренне, что жизнь—одна. Оттого и самоубийств в молодежном возрасте—больше, чем в другом. Нашу молодежь убеждали еще со школы, с детского сада, что мир, в котором она живет,—это и есть лучшее завоевание человечества, а все сомнения по этому поводу—вредная ложь и бред стариков. Есть, стало быть, что защищать. Не последнюю роль играла знаменитая «вторая линия» с пулеметами в спину первой и смертная казнь на месте, вошедшая в юрисдикцию командира взвода,—аргументы весьма веские. Вы, конечно, помните у Некрасова (Виктора) в книжке «В окопах Сталинграда» (кстати, это чуть не единственная книжка о войне, где сделана робчайшая попытка показать кое-что, как это есть) рассказывается, как на проведение атаки 11 солдатами (которых «поднимают» (термин!)—2 командира с вынутыми револьверами) приезжают представители политотдела, СМЕРШ полка, роты—человек 8 в общей сложности.

Космодемьянская и Матросов—это истерия, аффект. Психологический мотив Орлецовой, желание утвердить себя, «доказать» свой разрыв с прошлым—возможны, тем оно трагичней и грустней. О физическом труде. Я в *полном согласии с классиками марксизма* утверждаю, что физический труд—проклятие человечества, и ничего не вижу привлекательного в усталости от физической работы. Эта усталость мешает думать, мешает жить, отбрасывает в ненужное прожитый день. Поэтизация физического труда—это, конечно, другое, и рассчитана она не на людей, которые обречены им заниматься.

О детдомовцах. Это, вероятно, благородное дело—красиво о них говорить. Но это все фальшь и ложь. Это будущие кадры уголовщины, с которой десятилетиями заигрывало государство, начиная с пресловутой бело-

морской «перековки» и кончая «друзьями народа» на Колыме, которых представители государства призывали помочь уничтожить «врагов народа». И их кровавый отклик на этот провокационный призыв никогда не изгладится из моей памяти. Это — люди, недостойные имени человека, и им нет места на земле.

Ужасна и верна история Тани-бельевщицы. Увы, ничего наследственность в таком не дает (т<о> е<сть> никогда не скажется, если не будет благоприятных условий). Таких детей я знаю много — напр<имер>, лагерные дети, родившиеся от арестантов, — это большая и грустная тема.

Лагерь (он давно — с 1929 г. называется не концлагерем, а исправительно-трудовым лагерем (ИТЛ), что, конечно, ничего не меняет, — это лишнее звено цепи лжи) описан неверно. Никаких столбов там не бывает — ГУЛАГ — это название гл<авного> управления. Прямоугольник арестантов лицами наружу — не бывает, так как это незачем — ведь они неизбежно будут работать вместе. Переключек там действительно много — раз 20 в день. Фамилия, имя, отчество, статья, срок — по такой вот краткой схеме.

Первый лагерь был открыт в 1924 г. в Холмогорах, на родине Ломоносова. Там содержались, гл<авным> обр<азом>, участники Кронштадтского мятежа (четные №№, ибо нечетные были расстреляны на месте, после подавления бунта).

В период 1924—1929 гг. был 1 лагерь Соловецкий, т<ак> н<азываемый> УСЛОН с отделениями на островах, в г. Кеми, на Ухта-Печоре и на Урале (Вишера, где теперь г. Красновишерск). Затем вошли во вкус и с 1929 г. (после известной расстрельной комиссии из Москвы) передали исправдома и домзаки ОГПУ. Дело стало быстро расти, началась «перековка», Беломорканал, Потьма, затем Дмитлаг (Москва — Волга), где в одном только лагере (в Дмитлаге) было свыше 800.000 чел<овек>. Потом лагерям не стало счета: Севлаг, Севвостлаг, Сиблаг, Бамлаг, Тайшетлаг, Иркутлаг и т. д. и т. п. Заселено было густо. Белая, чуть синеватая мгла зимней 60° ночи, оркестр серебряных труб, играющий туш перед мертвым строем арестантов. Желтый свет огромных, тонущих в белой мгле бензиновых факелов. Читают списки расстрелянных за невыполнение норм. <...>

Шестнадцатичасовой рабочий день. Спят, опираясь на лопату, — сесть и лечь нельзя, тебя застрелят сразу.

Лошади ржут, они раньше и точнее людей чувствуют приближение гудочного времени. И возвращение в

лагерь, в т<ак> н<азываемую> «Зону», где на обязательной арке над воротами по фронту выведена предписанная приказами надпись: «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Тех, кто не может идти на работу, привязывают к волокушам, и лошадь тащит их по дороге 2—3 километра.

Ворот у отверстия штольни. Бревно, которым ворот вращают, и семь измученных оборванцев ходят по кругу вместо лошади. И у костра—конвоир. Чем не Египет?

Все это—случайные картинки. Главное не в них, а в растлении ума и сердца, когда огромному большинству выясняется день ото дня все четче, что можно, оказывается, жить без мяса, без сахара, без одежды, без обуви, а также без чести, без совести, без любви, без долга. Все обнажается, и это последнее обнажение страшно. <...>

На свете нет ничего более низкого, чем намерение «забыть» эти преступления. Простите меня, что я пишу Вам все эти грустные вещи, мне хотелось бы, чтобы Вы получили сколько-нибудь правильное представление о том значительном и отменном, чем окрашен почти 20-летний период—пятилеток, больших строек, т<ак> н<азываемых> «дерзаний» и «достижений». Ведь ни одной сколько-нибудь крупной стройки не было без арестантов—людей, жизнь которых—беспрерывная цепь унижений. Время успешно заставило человека забыть о том, что он—человек.

Вот и письмо мое, неизбежно большое, подходит к концу. Вы должны простить мне это многословие.

И еще в двух поступках я должен покаяться перед Вами. Я получил роман 1 января. Хотелось прочесть его не за чайным столом, а как следует. Я задержал его на 2 недели. Второе—не удержался и послал Вам стихи последних лет. Мне так хотелось, чтоб они были у Вас. Просто, чтоб были у Вас. Не затрудняйте себя откликами, ответами обязательными. Кое-что путное там есть. Названия приблизительные, это сборнички, а не книги, тематически стихи могут быть передвинуты из тетрадки в тетрадку—налаживать сейчас нет возможности. Переписку от руки тоже прошу простить.

Еще раз—искренне благодарю Вас за роман, которому нет цены, за все, что Вы в нем сказали.

Сердечный привет Зинаиде Николаевне.

Ваш В. Шаламов.

Когда-то давно Вы получали мои письма с заклеенными клеєм конвертами. Это я заклеивал сам для крепости.

ШАЛАМОВ — ПАСТЕРНАКУ

Туркмен, 12 июля 1956 г.

Дорогой Борис Леонидович.

День 24 июня был одним из самых больших дней всей жизни моей. Более 25 лет назад я себе выдумал смелую сказку — что когда-нибудь я буду читать свои стихи у Вас в доме. Это было одно из самых скрытых, самых дорогих мне, самых страстных моих желаний, самое затаенное, в котором я никогда никому не признавался. Бесчисленное количество раз появлялось это видение. Я так привык к нему, что даже гостей сам приглашал, самовольно рассаживая их по креслам (так, вместо Берггольц у меня сидела Ахматова), так было задумано, с этой верой я жил, никогда ее не теряя. Было много таких лет, когда подобное казалось бредовой фантастикой, сумасбродней которой и придумать нельзя. И все это сбылось самым феерическим образом 24 июня.

Вы для меня давно перестали быть просто поэтом. Иное я искал, находил и нахожу в Ваших стихах, в Вашей прозе. Но даже Вы, боюсь, не измерите для себя всей глубины, всей огромности, всей особенности этой моей радости.

Ведь для меня этот день не просто встреча, льстящая самолюбию, что ли, не просто «честь», не только «признание», «рукоположение». Это — осуществление сердечнейшего, затаеннейшего из *загаданного* — это та самая сказка, которая, как ей и положено, становится все-таки жизнью и в жизни утверждает себя, как некая новая данность. Такова природа всех настоящих сказок.

У меня не было в жизни так называемых «удач», мое счастье если и приходило, то приходило по другим дорогам. С годами это привело к недоверчивости в отношениях с людьми, к вере только в самого себя, к запрещению для себя пользоваться очень многими людскими путями. Я привык встречаться с жизнью прямо, не различая большого от малого. Так меня учили жить, так сам я учил жить других.

Обещаний и уроков в юности было немало. Слишком многое, конечно, разбито, разломано, уничтожено, не осуществлено. В свое время мне не дали учиться,

самым коварным и жестоким образом обрекая меня на вечную полуграмотность, на невежество, сковывая меня безвозвратно и безнадежно навеки. А годы шли. Двадцать лет жизни моей отдал я Северу, годами я не держал в руках книги, не держал листка бумаги, карандаша. О всем прочем я и говорить не хочу. Но когда я приходил в себя—а это все-таки бывало—я возвращался к стихам и возвращался к своему заветному видению. И я—счастлив сейчас.

Каждый человек в 16 лет дает себе какие-то клятвы, какие-то обещания. Иными они забываются, иными не забываются. Для многих слишком хорошая память служит причиной увлечения водкой или еще чем-либо подобным. Я очень боялся в молодости прожить жизнь напрасно, и вот, по тем письмам, которые я получаю с Севера до сих пор, я имею право считать, что жизнь моя там не была совсем напрасной, что меня помянут добрым словом, и помянут люди хорошие. Несчастные, но хорошие.

Для меня никогда стихи не были игрой и забавой. Я считал стихи беседой человека с миром на каком-то третьем языке, хорошо понятном и человеку и миру, хотя родные-то языки у них разные. <...>

Еще раз—благодарю за 24 июня. Я об этом дне еще не один раз погадаю с рифмами в руках—если бог даст силы и время.

Сердечный мой привет.

Всегда Ваш *В. Шаламов.*

Лучшие мои приветы Зинаиде Николаевне.

ШАЛАМОВ—ПАСТЕРНАКУ

12 августа 1956 г.

Дорогой Борис Леонидович.

Позвольте мне еще раз (в тысячный раз, вероятно, если подсчитать все мои заочные разговоры с Вами) сказать Вам, что я горжусь Вами, верю в Вас, боготворю Вас.

Я знаю, Вам вряд ли нужны мои слабые слова, знаю, что у Вас достаточно душевной твердости, ясности и силы, чтобы идти своей дорогой на той невиданной высоте, сказочной для нашего растленного времени, что никакой соблазн, очередная приманка не обманут Вас.

Я никогда не писал Вам о том, что мне всегда казалось — что именно Вы — совесть нашей эпохи — то, чем был Лев Толстой для своего времени.

Несмотря на низость и трусость писательского мира, на забвение всего, что составляет гордое и великое имя русского писателя, на измельчание, на духовную нищету всех этих людей, которые, по удивительному и страшному капризу судеб, продолжают называться русскими писателями, путая молодежь, для которой даже выстрелы самоубийц не пробивают отверстий в этой глухой стене, — жизнь в глубинах своих, в своих подземных течениях осталась и всегда будет прежней — с жаждой настоящей правды, тоскующей о правде; жизнь, которая, несмотря ни на что, имеет же право на настоящее искусство, на настоящих писателей.

Здесь дело идет — и Вы это хорошо знаете — не просто о честности, не просто о порядочности моральной человека и писателя. Здесь дело идет о большем — о том, без чего не может жить искусство. И о еще большем: здесь решение вопроса о чести России, вопроса о том — что же такое, в конце концов, русский писатель? Разве не так? Разве не на этом уровне Ваша ответственность? Вы приняли на себя эту ответственность со всей твердостью и непреклонностью. А все остальное — пустота, никчемное дело. Вы — честь времени. Вы — его гордость. Перед будущим наше время будет оправдываться тем, что Вы в нем жили.

Я благословляю Вас. Я горжусь прямою Вашей дороги. Я горжусь тем, что ни на одну йоту не захотели Вы отступить от большого дела своей жизни. Обстоятельства последнего года давали очередную возможность послужить мамоне, лишь чуть-чуть покрывив душой. Но Вы не захотели этого сделать.

Да благословит Вас бог. Это великое сражение будет Вами выиграно, вне всякого сомнения¹.

Ваш всегда *В. Шаламов.*

¹ В течение 1956 г. Б. Пастернаку было отказано в публикации романа «Доктор Живаго» «Литературной Москвой», «Новым миром» (подробнее см.: Новый мир, 1988, № 6, с. 245—248).

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Л. Гинзбург</i> . Письма Бориса Пастернака	3
От составителей	13

Б. Л. ПАСТЕРНАК И О. М. ФРЕЙДЕНБЕРГ

<i>Пастернак — Фрейденоберг</i> . Москва <1 марта 1910 г.>	19
<i>Фрейденоберг — Пастернаку</i> . СПб. 2 марта 1910 г.	19
<i>Фрейденоберг — Пастернаку</i> . СПб. 10 марта 1910 г.	22
<i>Пастернак — Фрейденоберг</i> . (Талон почтового перевода 55 руб.) <Москва. 8 июня 1910 г.>	22
<i>Пастернак — Фрейденоберг</i> . Меррекуль. 7 июля 1910 г.	23
<i>Фрейденоберг — Пастернаку</i> . СПб. 12 июля 1910 г.	24
<i>Пастернак — Фрейденоберг</i> . Москва. <23 июля 1910 г.>	27
<i>Пастернак — Фрейденоберг</i> . Москва. 26 июля 1910 г.	34
<i>Фрейденоберг — Пастернаку</i> . СПб. <25 июля 1910 г.>	36
<i>Пастернак — Фрейденоберг</i> . Москва. 28 июля 1910 г.	42
<i>Фрейденоберг — Пастернаку</i> . СПб. <30 июля (?) 1910 г.>	47
<i>Фрейденоберг — Пастернаку</i> . СПб. <2 августа 1910 г.>	50
<i>Пастернак — Фрейденоберг</i> . Москва. <3 августа 1910 г.>	50
<i>Фрейденоберг — Пастернаку</i> . СПб. <13 августа 1910 г.>	52
<i>Пастернак — Фрейденоберг</i> . Москва <14 августа 1910 г.>	53
<i>Фрейденоберг — Пастернаку</i> . СПб. <16 августа 1910 г.>	53
<i>Пастернак — А. О. Фрейденоберг</i> . Москва. <19 августа (?) 1910 г.>	53
<i>Фрейденоберг — Пастернаку</i> . СПб. <Август (?) 1910 г.>	56
<i>Пастернак — Фрейденоберг</i>	57
<i>Фрейденоберг — Пастернаку</i> . <Франкфурт. 26 июня 1912 г.>	59
<i>Пастернак — Фрейденоберг</i> . <Marburg, 27 июня 1912 г.>	60
<i>Фрейденоберг — Пастернаку</i> . Франкфурт. 28 июня 1912 г.	62
<i>Пастернак — Фрейденоберг</i> . Marburg. <30 июня 1912 г.>	64
<i>Фрейденоберг — Пастернаку</i> . <Glion, первые числа июля 1912 г.>	65
<i>Пастернак — Фрейденоберг</i> . Marburg. <11 июля 1912 г.>	67

<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Glion. <Середина июля 1912 г.> ...	68
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> <Зима 1913 г. Не отправлено>	70
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> (Надпись на книге «Близнец в жучах») 20 декабря 1913 г.	72
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 29 декабря 1921 г.	73
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> (Надпись на книге «Сестра моя жизнь». Москва, 16 июня 1922 г.)	74
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Тайцы. <25 июля 1924 (?) г.>	75
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Тайцы. <4 марта 1924(?) г.>	77
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. <Конец сентября 1924(?) г.>	78
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 28 сентября 1924 г.	80
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 6 октября 1924 г.	85
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 11—13 октября <19>24 г.	87
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 2 ноября 1924 г.	88
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> (Отрезной купон к почтовому пе- реводу на 100 руб.) Москва. <19 ноября 1924 г.>	92
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 20 ноября 1924 г.	92
<i>Фрейденберг — Е. В. Пастернак.</i> Ленинград. 27 ноября 1924 г.	94
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. <30 ноября 1924 (?) г.>	96
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 3 декабря 1924 г.	97
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. <Начало декабря (?) 1924 г.>	100
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 10 мая 1926 г.	102
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 21 октября 1926 г.	103
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 3 января 1928 г.	108
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. <17 февраля 1928 г.>	110
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 19 февраля 1928 г.	112
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 10 мая 1928 г.	112
<i>Пастернак — А. О. и О. М. Фрейденберг.</i> Москва. 5 июня 1928 г.	114
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 19 июля 1928 г.	115
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 22 октября 1928 г.	116
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 24 декабря 1928 г.	118
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 27 декабря 1928 г.	119
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 8 февраля 1929 г.	120
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 23 мая 1929 г.	122
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 29 мая 1929 г.	123
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 9 июля 1929 г.	124
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 11 июля 1929 г.	125
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 11 июня 1930 г.	126
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Ирпень. 21 августа 1930 г.	127
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 20 октября 1930 г.	129
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 5 декабря 1930 г.	130
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 1 июня 1932 г.	132
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. <Вторая половина октября 1932 г.>	135

<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. <21 октября 1932 г.>	137
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. <27 ноября 1932 г.>	137
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. <3 июня 1933 г.>	139
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 30 августа 1933 г.	140
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 18 октября 1933 г.	140
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. <30 октября 1934 г.>	143
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 3 апреля 1935 г.	144
<i>А. О. Фрейденберг — Е. В. Пастернак.</i> Ленинград. <19 июня 1935 г.>	145
<i>Пастернак — А. О. и О. М. Фрейденберг.</i> Москва. 14 января 1936 г.	146
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> (Надпись на книге «Грузинские лирики». Москва, 1935) 15 января 1936 г.	147
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 1 октября 1936 г.	148
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 7 октября 1936 г.	154
<i>Фрейденберг — Е. В. Пастернак.</i> Ленинград. 8 октября 1936 г.	155
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 1 ноября 1938 г.	163
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 1 января 1939 г.	165
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 14 февраля 1940 г.	166
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. <6 мая 1940 г.>	167
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. <14 мая 1940 г.>	167
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 21 мая 1940 г.	167
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. <28 мая 1940 г.>	168
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 18 июня 1940 г.	168
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> <29 июня 1940 г. М.>	169
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 15 ноября 1940 г.	170
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> (Надпись на книге «Избранные переводы») 15 ноября 1940 г.	172
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> 27 декабря 1940 г.	172
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 4 февраля 1941 г.	173
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 11 февраля 1941 г.	175
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 20 марта 1941 г.	176
<i>Пастернак — О. М. и А. О. Фрейденберг.</i> Москва. 8 апреля 1941 г.	177
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> 8 мая 1941 г.	180
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 8 июня 1941 г.	181
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 17 июня 1941 г.	182
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. <9 июля 1941 г.>	184
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 12 июля 1941 г.	184
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 12 августа 1941 г.	186
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 22 августа 1941 г.	186
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 14 сентября 1941 г.	188
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 8 октября 1941 г.	188
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Чистополь. 18 марта 1942 г.	192
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 26 июня 1942 г.	192
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Чистополь. 18 июля 1942 г.	193

<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 7 августа 1942 г.	195
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 5 ноября 1943 г.	200
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> (Надпись на книге «На ранних поездах») 2 ноября 1943 г.	203
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 6 ноября 1943 г.	204
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> (Телеграмма срочная. 8 февраля 1943 г.)	204
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 12 ноября 1943 г.	204
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 18 ноября 1943 г.	205
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 20 дек<абря> 1943 г.	205
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> (Телеграмма. 12 января 1944 г.)	207
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 10 января 1944 г.	207
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 12 января 1944 г.	207
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 14 апреля 1944 г.	209
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> (Телеграмма. 5 мая 1944 г.)	209
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 12 июня 1944 г.	209
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 16 июня 1944 г.	210
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 30 июля 1944 г.	210
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> (Телеграмма. 1 октября 1944 г.)	212
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> (Надпись на книге «Антоний и Клеопатра». М., ГИХЛ, 1944) 16 ноября 1944 г.	212
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 22 января 1945 г.	212
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 21 июня 1945 г.	214
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. <13 июля 1945 г.>	216
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. <28 июля 1945 г.>	216
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> (Телеграмма. 1 августа 1945 г.)	216
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 2 ноября 1945 г.	217
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 23 декабря 1945 г.	217
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> (Надпись на сборнике «Избранные стихи и поэмы». М., 1945) 23 декабря 1945 г.	218
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 1 февраля 1946 г.	219
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. <24 февраля 1946 г.>	219
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 31 мая 1946 г.	220
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 29 июня 1946 г.	220
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 5 октября 1946 г.	222
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 13 октября 1946 г.	223
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 11 октября 1946 г.	224
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 15 октября 1946 г.	228
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> (Надпись на оттиске «Происхождение эпического сравнения».) 30 октября 1946 г.	228
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 3 ноября 1946 г.	230
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 12 ноября 1946 г.	231
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 24 ноября 1946 г.	232
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 24 января 1947 г.	233
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 31 января 1947 г.	235
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 16 февраля 1947 г.	237
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 2 марта 1947 г.	238
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 26 марта 1947 г.	239

<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 28 марта 1947 г.	240
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 9 апреля 1947 г.	240
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 24 апреля 1947 г.	241
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 20 мая 1947 г.	242
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> (Телеграмма. 15 июля 1947 г.)	243
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 8 сентября 1947 г.	243
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 14 октября 1947 г.	245
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 29 июня 1948 г.	245
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 9 октября 1948 г.	247
<i>Пастернак — К. И. и В. И. Лапшовым и О. Фрейденберг.</i> Москва <середина октября 1948>	248
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> 31 октября 1948 г.	249
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 6 нояб<р> 1948 г.	249
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 29 ноября 1948 г.	250
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 30 ноября 1948 г.	251
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 7 августа 1949 г.	253
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> (Надпись на оттиске «Сафо») 27 ноября 1949 г.	257
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 27 ноября 1949 г.	257
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 9 декабря 1949 г.	259
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 1 августа 1950 г.	260
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 11 октября 1951 г.	261
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 17 октября 1951 г.	261
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 16 июля 1952 г.	262
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. <3 января 1953 г.>	264
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 20 января 1953 г.	265
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 25 января 1953 г.	266
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 27 мая 1953 г.	267
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 12 июля 1953 г.	269
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 30 декабря 1953 г.	270
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 27 декабря 1953 г.	272
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 31 декабря 1953 г.	272
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> (Надпись на книге Гете «Фауст») 31 декабря 1953 г.	273
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 7 января 1954 г.	273
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 6 января 1954 г.	275
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 18 марта 1954 г.	277
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 20 марта 1954 г.	277
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 27 марта 1954 г.	278
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 3 апреля 1954 г.	279
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 4 апреля 1954 г.	279
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 10 апреля 1954 г.	280
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 12 апреля 1954 г.	280
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 11 апреля 1954 г.	280
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 16 апреля 1954 г.	284
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 12 июля 1954 г.	285
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 17 июля 1954 г.	286
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 21 июля 1954 г.	289

<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 27 июля 1954 г.	290
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Москва. 31 июля 1954 г.	291
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 4 ноября 1954 г.	292
<i>Пастернак — Фрейденберг.</i> Переделкино. 12 ноября 1954 г.	293
<i>Фрейденберг — Пастернаку.</i> Ленинград. 17 ноября 1954 г.	294

Б. Л. ПАСТЕРНАК И М. И. ЦВЕТАЕВА

<i>Пастернак — Цветаевой.</i> 14 июня 1922 г. Москва	299
<i>Цветаева — Пастернаку.</i> 29 нов<ого> июня 1922 г. Берлин	300
<i>Пастернак — Цветаевой.</i> 12 ноября 1922 г. Берлин	303
<i>Цветаева — Пастернаку.</i> 11 нов<ого> февраля 1923 г. Мокропсы	304
<i>Цветаева — Пастернаку.</i> 8 марта 1923 г. Прага	308
<i>Пастернак — Цветаевой.</i> 14 июня 1924 г.	309
<i>Пастернак — Цветаевой.</i> 25 марта 1926 г.	312
<i>Пастернак — Цветаевой.</i> 20 апреля 1926 г.	323
<i>Пастернак — Цветаевой.</i> 5—8 мая 1926 г.	328
<i>Пастернак — Цветаевой.</i> 19 мая 1926 г.	337
<i>Цветаева — Пастернаку.</i> 22 мая 1926 г.	340
<i>Пастернак — Цветаевой.</i> 23 мая 1926 г.	343
<i>Цветаева — Пастернаку.</i> 23—25—26 мая 1926 г. St.-Gilles	347
<i>Пастернак — Цветаевой.</i> 5 июня 1926 г.	355
<i>Пастернак — Цветаевой.</i> 10 июня 1926 г.	358
<i>Пастернак — Цветаевой.</i> 13—14—18 июня 1926 г.	361
<i>Цветаева — Пастернаку.</i> 21 июня 1926 г. St.-Gilles	367
<i>Пастернак — Цветаевой.</i> 1—2 июля 1926 г.	369
<i>Цветаева — Пастернаку.</i> 1 июля 1926 г.	377
<i>Цветаева — Пастернаку.</i> 10 июля 1926 г.	381
<i>Пастернак — Цветаевой.</i> 11 июля 1926 г.	384
<i>Пастернак — Цветаевой.</i> 30 июля 1926 г.	390
<i>Пастернак — Цветаевой.</i> 31 июля 1926 г.	392
<i>Цветаева — Пастернаку.</i> 31 декабря 1926 г.	394
<i>Цветаева — Пастернаку.</i> 1 января 1927 г.	394
<i>Пастернак — Цветаевой.</i> 3 февраля 1927 г.	396
<i>Цветаева — Пастернаку.</i> 9 февраля 1927 г.	396
<i>Пастернак — Цветаевой.</i> <Ноябрь> 1927 г.	402
<i>Пастернак — Цветаевой.</i> 13 октября 1935 г.	405
<i>Цветаева — Пастернаку.</i> <Конец октября> 1935 г.	406

Б. Л. ПАСТЕРНАК И М. ГОРЬКИЙ

<i>Пастернак — Горькому.</i> <5 февраля 1921 г. Москва>	412
<i>Горький — Пастернаку.</i> <4 октября 1927 г. Сорренто>	414
<i>Пастернак — Горькому.</i> 10 октября 1927 г. <Москва>	415
<i>Пастернак — Горькому.</i> 13 октября 1927 г. <Москва>	417

<i>Горький — Пастернаку.</i> <18 октября 1927 г. Сорренто>	419
<i>Горький — Пастернаку.</i> <19 октября 1927 г. Сорренто>	420
<i>Пастернак — Горькому.</i> 25 октября 1927 г. <Москва>	422
<i>Пастернак — Горькому.</i> 27 октября 1927 г. <Москва>	424
<i>Горький — Пастернаку.</i> <7 ноября 1927 г. Сорренто>	428
<i>Пастернак — Горькому.</i> 15 ноября 1927 г. <Москва>	428
<i>Пастернак — Горькому.</i> 16 ноября 1927 г. <Москва>	429
<i>Пастернак — Горькому.</i> 16 ноября 1927 г. <Москва>	431
<i>Пастернак — Горькому.</i> 23 ноября 1927 г. <Москва>	433
<i>Пастернак — Горькому.</i> 21 декабря 1927 г. <Москва>	437
<i>Горький — Пастернаку.</i> <28 декабря 1927 г. Сорренто>	438
<i>Пастернак — Горькому.</i> 4 января 1928 г. <Москва>	439
<i>Пастернак — Горькому.</i> 7 января 1928 г. <Москва>	439
<i>Пастернак — Горькому.</i> <Начало апреля> 1928 г. Москва	442
<i>Пастернак — Горькому.</i> 31 мая 1930 г. <Москва>	444
<i>Горький — Пастернаку.</i> <Июнь 1930 г. Сорренто>	448
<i>Пастернак — Горькому.</i> 4 марта 1933 г. <Москва>	449
<i>Пастернак — Горькому.</i> 8 апреля 1933 г. <Москва>	452

Б. Л. ПАСТЕРНАК И Н. С. ТИХОНОВ

<i>Тихонов — Пастернаку.</i> <15 февраля 1924 г. Ленинград>	454
<i>Пастернак — Тихонову.</i> 21 апреля <19>24 г. <Москва>	456
<i>Тихонов — Пастернаку.</i> 25 апреля <1924 г.> Ленинград	458
<i>Тихонов — Пастернаку.</i> <Декабрь 1924 г. Ленинград>	460
<i>Тихонов — Пастернаку.</i> <Февраль — март 1925 г. Ленинград>	462
<i>Пастернак — Тихонову.</i> <7 июня 1925 г. Москва>	464
<i>Тихонов — Пастернаку.</i> <20-е числа июля 1926 г. Пудость Ленинградской обл.>	465
<i>Пастернак — Тихонову.</i> 19 ноября <19>28 г. <Москва>	468
<i>Пастернак — Тихонову.</i> <31 мая 1929 г. Москва>	469
<i>Пастернак — Тихонову.</i> <14 июня 1929 г. Москва>	470
<i>Пастернак — Тихонову.</i> 5 декабря <19>29 г. <Москва>	474
<i>Пастернак — Тихонову.</i> 4 января <19>34 г. Москва	476
<i>Пастернак — Тихонову.</i> 2 июля <19>37 г. <Переделкино>	479
<i>Пастернак — Тихонову.</i> 21 марта 1944 г. <Москва>	481

Б. Л. ПАСТЕРНАК И А. С. ЭФРОН

<i>Эфрон — Пастернаку.</i> 20 сентября 1948 г.	484
<i>Пастернак — Эфрон.</i> 10 окт<ября> 1948 г.	486
<i>Эфрон — Пастернаку.</i> 14 октября 1948 г.	487
<i>Эфрон — Пастернаку.</i> 20 ноября 1948 г.	488
<i>Эфрон — Пастернаку.</i> 20 ноября 1949 г.	489

<i>Пастернак — Эфрон.</i> 20 дек<абря> 1949 г.	490
<i>Эфрон — Пастернаку.</i> 5 января 1950 г.	491
<i>Пастернак — Эфрон.</i> 19 янв<аря> 1950 г.	492
<i>Эфрон — Пастернаку.</i> 31 января 1950 г.	493
<i>Пастернак — Эфрон.</i> 19 февр<аля> 1950 г.	495
<i>Пастернак — Эфрон.</i> 22 февр<аля> 1950 г.	496
<i>Эфрон — Пастернаку.</i> 6 марта 1950 г.	496
<i>Пастернак — Эфрон.</i> 29 марта 1950 г.	498
<i>Эфрон — Пастернаку.</i> 10 апреля 1950 г.	499
<i>Эфрон — Пастернаку.</i> 5 мая 1950 г.	501
<i>Пастернак — Эфрон.</i> 25 мая 1950 г.	503
<i>Пастернак — Эфрон.</i> 28 мая 1950 г.	504
<i>Эфрон — Пастернаку.</i> 7 июня 1950 г.	504
<i>Эфрон — Пастернаку.</i> 8 сентября 1950 г.	505
<i>Пастернак — Эфрон.</i> 21 сент<ября> 1950 г.	507
<i>Эфрон — Пастернаку.</i> 25 сентября 1950 г.	507
<i>Пастернак — Эфрон.</i> 30 сент<ября> 1950 г.	511
<i>Эфрон — Пастернаку.</i> 7 октября 1950 г.	512
<i>Пастернак — Эфрон.</i> 5 дек<абря> 1950 г.	514
<i>Эфрон — Пастернаку.</i> 5 июня 1952 г.	515
<i>Пастернак — Эфрон.</i> 14 июня 1952 г.	517
<i>Эфрон — Пастернаку.</i> 1 октября 1952 г.	518
<i>Эфрон — Пастернаку.</i> 8 декабря 1952 г.	519
<i>Пастернак — Эфрон.</i> 12 января 1953 г.	520
<i>Эфрон — Пастернаку.</i> 3 октября 1955 г.	521
<i>Пастернак — Эфрон.</i> 15 окт<ября> 1955 г.	522
<i>Эфрон — Пастернаку.</i> 26 октября 1955 г.	522

Б. Л. ПАСТЕРНАК И В. Т. ШАЛАМОВ

<i>Пастернак — Шаламову.</i> 9 июля 1952 г.	526
<i>Шаламов — Пастернаку.</i> Кюбюма. 24 декабря 1952 г.	532
<i>Пастернак — Гудзь.</i> Болшево. 27 февр<аля> 1953 г.	536
<i>Пастернак — Гудзь.</i> 7 марта 1953 г.	537
<i>Шаламов — Пастернаку.</i> Томтор. 25 мая 1953 г.	538
<i>Пастернак — Шаламову.</i> 18 дек<абря> 1953 г.	540
<i>Шаламов — Пастернаку.</i> Озерки. 27 декабря 1953 г.	540
<i>Пастернак — Шаламову.</i> 2 янв<аря> 1954 г. (Дарственная надпись на книге Гете «Фауст». М., 1953)	541
<i>Шаламов — Пастернаку.</i> <Озерки. Январь 1954 г.>	541
<i>Шаламов — Пастернаку.</i> Озерки, 22 января 1954 г.	546
<i>Шаламов — Пастернаку.</i> Озерки, 3 мая 1954 г.	549
<i>Пастернак — Шаламову.</i> 4 июня 1954 г.	549
<i>Шаламов — Пастернаку.</i> Озерки, 22 июня 1954 г.	550
<i>Шаламов — Пастернаку.</i> Туркмен, 24 октября 1954 г.	553
<i>Пастернак — Шаламову.</i> 27 окт<ября> 1954 г.	553
<i>Шаламов — Пастернаку.</i> Туркмен, 29 декабря 1954 г.	554

<i>Шаламов — Пастернаку.</i> Туркмен, 19 февраля 1955 г.	555
<i>Шаламов — Пастернаку.</i> Туркмен, 18 апр<еля> 1955 г.	555
<i>Шаламов — Пастернаку.</i> Туркмен, 22 мая 1955 г.	556
<i>Пастернак — Шаламову.</i> Переделкино, 10 дек<абря> 1955 г.	556
<i>Шаламов — Пастернаку.</i> Туркмен, 19 декабря 1955 г.	557
<i>Пастернак — Шаламову.</i> 22 дек<абря> 1955 г.	558
<i>Шаламов — Пастернаку.</i> Туркмен, 8 января 1956 г.	559
<i>Шаламов — Пастернаку.</i> Туркмен, 12 июля 1956 г.	564
<i>Шаламов — Пастернаку.</i> 12 августа 1956 г.	565

П 27 **Переписка Бориса Пастернака / Вступ. статья**
Л. Гинзбург; Сост., подгот. текстов и коммент.
Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака.— М.: Худож.
лит., 1990.—575 с.

ISBN 5-280-01597-0

Книга содержит переписку Б. Л. Пастернака с О. М. Фрейденом, М. И. Цветаевой, А. С. Эфрон, Н. С. Тихоновым, М. Горьким, В. Т. Шаламовым.

П **4702010201-392** без объявл.
028(01)-90

ББК 84Р7

ПЕРЕПИСКА БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Составители:

Евгений Борисович Пастернак
Елена Владимировна Пастернак

Редактор *Т. Шеханова*
Художественный редактор *И. Сальникова*
Технический редактор *Л. Синицына*
Корректор *Г. Ганапольская*

ИБ № 6056

Сдано в набор 05.10.89. Подписано к печати 19.01.90. Формат 84×108 1/16.
Бумага тип. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 30,24.
Усл. кр.-отт. 30,66. Уч.-изд. л. 32,35. Тираж 250 000 экз. Изд. № ПИ-3708.
Заказ № 2992. Цена 3 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
МПО «Первая Образцовая типография» Государственного комитета
СССР по печати. 113054, Москва, Валовая, 28